



ДЭН
СИММОНС

ТЕРРОР

Роман

Annotation

В 1845 году экспедиция под командованием опытного полярного исследователя сэра Джона Франклина отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады на поиск Северо-Западного прохода из Атлантического океана в Тихий – и бесследно исчезает. Поиски ее затянулись на несколько десятилетий, сведения о ее судьбе собирались буквально по крупицам, и до сих пор картина происшедшего пестрит белыми пятнами – хотя осенью 2014 года грянула сенсация: после более чем полутора веков поисков «Эребус» был наконец обнаружен, и ученые уже готовятся приступить к изучению останков корабля, идеально сохранившихся в полярных водах. Но еще за несколько лет до этого поразительного открытия Дэн Симмонс, знаменитый автор «Гипериона» и «Эндимиона», «Илиона» и «Олимпа», «Песни Кали» и «Темной игры смерти», предложил свою версию событий: главную угрозу для экспедиции составляли не сокрушительные объятия льда, не стужа с вьюгой и не испорченные консервы – а неведомое исполинское чудовище, будто сотканное из снега и полярного мрака.

- [Дэн Симмонс](#)

-
-
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)

- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)

- [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [От автора](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
-

Дэн Симмонс

Террор

Посвящаю, с любовью и благодарностью за неизгладимые полярные впечатления, Кеннету Тоби, Маргарет Шеридан, Роберту Корнуайту, Дугласу Спенсеру, Дейви Мартину, Уильяму Селфу, Джорджу Финнеману, Дмитрию Тёмкину, Чарльзу Ледереру, Кристиану Найби, Говарду Хоуку и Джеймсу Арнессу.

Dan Simmons

THE TERROR

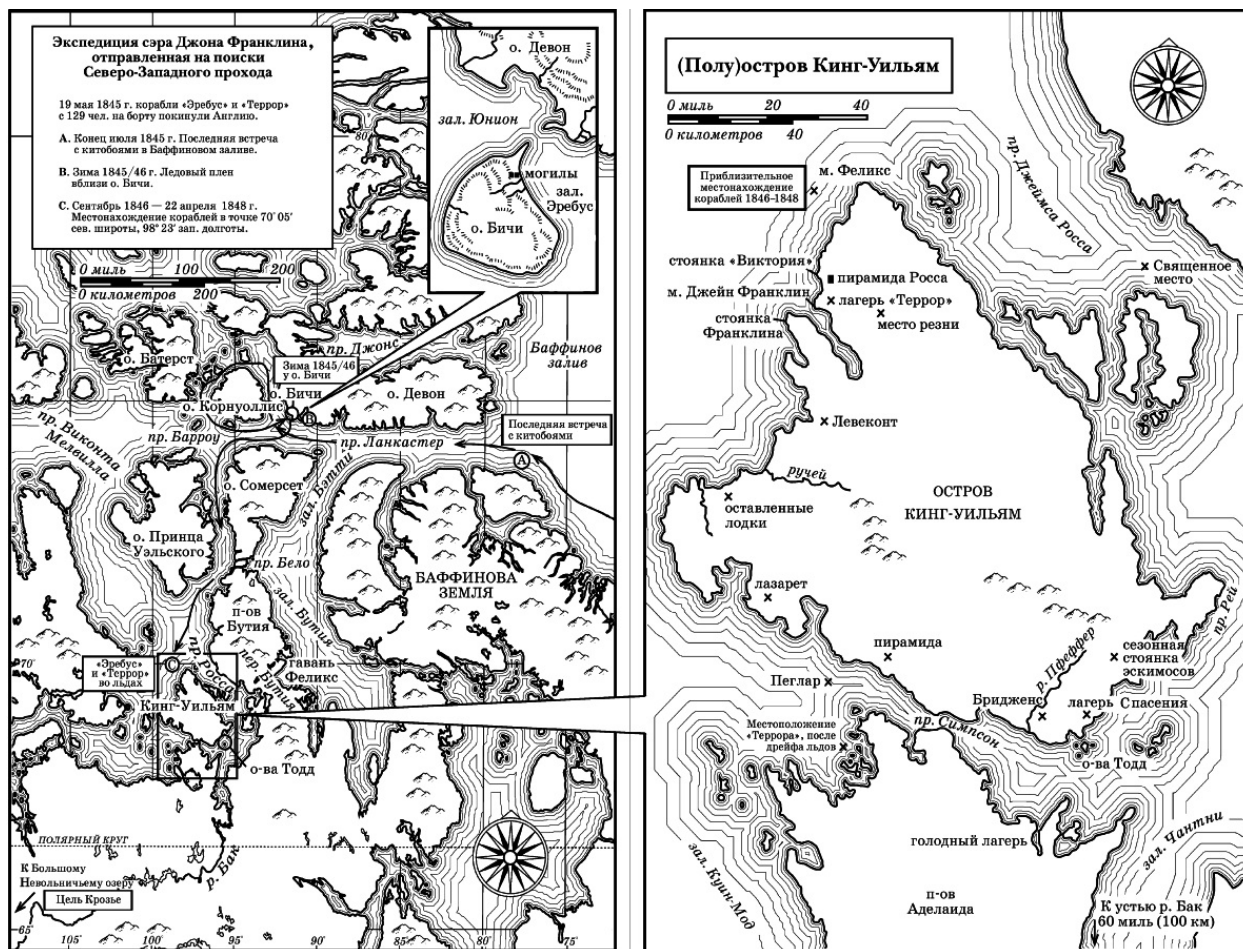
Copyright © 2007 by Dan Simmons

All rights reserved

© М. Куренная, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®



Белизна, лишённая приятных ассоциаций и соотнесённая с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придает торжествующе-плотоядному облику этих бесчеловечных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает еще больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже свирепый тигр в своем геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах.

Герман Мелвилл. *Моби Дик*, 1851

1

Крозье

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

Октябрь 1847 г.

Поднявшись на палубу, капитан Крозье видит свой корабль под натиском небесных фантомов. Над ним – над «Террором» – мерцающие складки света выстреливают вперед, но в следующий миг отпрядывают назад, точно разноцветные руки агрессивных, но все-таки нерешительных призраков. Эктоплазматические пальцы протягиваются к кораблю, растопыряются, готовясь схватить, и отдергиваются.

Температура воздуха минус пятьдесят градусов по Фаренгейту^[1] и быстро падает. Из-за тумана, сгустившегося ранее, в течение единственного часа бледных сумерек, до которого теперь сократился день, укороченные мачты (стенгги, брам-стенгги, верхний рангоут и такелаж были сняты и убраны, чтобы свести к минимуму опасность обрушения на палубу льда и вероятность опрокидывания судна из-за веса ледяных наростов на них) сейчас похожи на обледенелые деревья с грубо обрубленными ветвями и спиленными верхушками, отражающие сполохи полярного сияния, пробегающие по небу от одного еле различимого горизонта до другого. Пока Крозье смотрит, торосистые ледяные поля вокруг корабля становятся голубыми, потом багрово-фиолетовыми, а затем ярко-зелеными, как холмы его детства в Северной Ирландии. На краткий миг возникает ложное впечатление, будто гигантский айсберг, находящийся почти в миле впереди по правому борту и загораживающий от взгляда второй точно такой же корабль, «Эребус», источает цветное сияние изнутри, полыхая своим собственным холодным пламенем, сокрытым в недрах.

Подняв воротник и запрокинув голову по сорокалетней привычке проверять состояние мачт и такелажа, Крозье замечает, что звезды над головой горят холодным ровным светом, но над горизонтом они не только мигают, но также, если смотреть на них пристально, перемещаются, прыгая влево-вправо и вверх-вниз. Крозье видел такое и прежде – не только в этих водах во время предыдущих экспедиций, но и в Антарктике, вместе с Россом, – и один ученый, ходивший с ними в плавание к Южному полюсу, человек, который провел первую зиму во льдах, шлифуя и полируя линзы для своего телескопа, сказал Крозье, что, вероятно, такое поведение звезд

объясняется быстро меняющимся углом преломления света в холодном воздухе, лежащем тяжелыми, но подвижными массами над скованными льдом морями и невидимыми полярными землями. Другими словами, над новыми материками, доселе сокрытыми от глаз человека. «Или по крайней мере, – думает Крозье, – здесь, в Арктике, – от глаз белого человека».

Крозье со своим другом и тогдашним начальником экспедиции Джеймсом Россом открыли именно такой новый континент – Антарктику – без малого пять лет назад. Они назвали море, залив и материк именем Росса. Они назвали горы именами своих друзей и покровителей. Они нарекли два вулкана, видневшиеся на горизонте, в честь своих кораблей – вот этих самых кораблей, – дав дымящимся горам названия Террор и Эребус. Крозье удивило, что они не назвали какой-нибудь значительный географический объект в честь корабельного кота.

Они ничего не назвали в честь его. И сейчас, вечером зимнего сумеречного дня в октябре 1847 года, ни один арктический или антарктический материк, остров, залив, фиорд, горный хребет, вулкан или паршивый айсберг не носит имени Френсиса Родона Мойры Крозье.

Крозье глубоко плевать на это. Едва подумав об этом, он осознаёт, что малость пьян. «Ну что ж, – думает он, машинально удерживая равновесие на обледенелой палубе, теперь наклоненной на двенадцать градусов к правому борту и на восемь градусов к носу, – последние три года я чаще пьян, чем трезв, не так ли? В пьяном виде я по-прежнему остаюсь лучшим моряком и капитаном, чем жалкий бедолага Франклин – в трезвом. Или его розовощекий шепелявый пуделек Фицджереймс, коли на то пошло».

Пьян с тех самых пор, как София...

Крозье трясет головой и направляется по обледенелой палубе к носу и к единственному вахтенному, которого он может разглядеть в мерцающем свете полярного сияния.

Это низкорослый, похожий на крысу Корнелиус Хикки, помощник конопатчика. Здесь, на посту, в темноте все мужчины выглядят одинаково, поскольку все обеспечены одинаковым зимним обмундированием – толстой непромокаемой шинелью, под которую надеваются фланелевые и шерстяные рубахи, фуфайки и свитера; округлыми пухлыми рукавицами, торчащими из широких рукавов; так называемым «уэльским париком», то есть толстой вязаной шапкой с «ушами», плотно прилегающей к черепу и часто надеваемой в комплекте с длинным шерстяным шарфом, который наматывается на голову так, что остается виден только кончик обмороженного носа. Но каждый мужчина вносит в свое обмундирование что-то своеобычное – порой добавляя к нему шарф, взятый из дома,

дополнительный «уэльский парик», который натягивается поверх первого, либо, возможно, разноцветные перчатки, связанные любящей матерью, женой или подругой и торчащие из-под форменных рукавиц Военно-морского флота Великобритании, – и Крозье научился распознавать всех своих оставшихся в живых пятьдесят девять офицеров и матросов даже со значительного расстояния и в темноте.

Хикки смотрит неподвижным взглядом вперед, за обросший сосульками бушприт, передние десять футов которого сейчас утоплены в гряде торосов, поскольку корма британского военного корабля «Террор» под давлением льда поднялась, а нос, соответственно, опустился. Помощник конопатчика так глубоко погружен в свои мысли или так сильно застыл, что не замечает приближения капитана, пока Крозье не становится рядом с ним у поручня, превратившегося в алтарь изо льда и снега. К этому алтарю прислонен дробовик вахтенного. Никому неохота притрагиваться к железу на морозе, даже в рукавицах.

Хикки слегка вздрагивает, когда Крозье опирается на поручень рядом с ним. Капитан «Террора» не видит лица двадцатишестилетнего парня, но клубы пара от дыхания – моментально превращающиеся в облачка ледяных кристаллов, искрящиеся в свете сполохов, – вырываются из-под туго намотанных на голову поверх «уэльского парика» шерстяных шарфов.

Зимой во льдах члены экипажа обычно не отдают честь, даже не прикасаются небрежно пальцами ко лбу, каковым жестом положено приветствовать офицеров в плавании, но тепло закутанный Хикки легко шаркает ногой, пожимает плечами и чуть наклоняет голову, как принято делать при встрече с капитаном на палубе. Из-за мороза время дежурства сократили с четырех часов до двух – видит бог, думает Крозье, на нашем переполненном корабле достаточно людей для этого, даже если удвоить число вахтенных, – и по медленным движениям Хикки он понимает, что парень окоченел от холода. Сколько бы раз он ни повторял часовым, что они должны постоянно двигаться, ходить взад-вперед, совершать бег на месте, прыгать при необходимости, не отвлекаясь от наблюдения за льдами, они все равно предпочитают бóльшую часть времени стоять неподвижно, словно находятся в южных морях, одетые в тропическую хлопчатобумажную форму, и высматривают в воде русалок.

– Капитан.

– Мистер Хикки. Что у вас?

– После тех выстрелов – ничего... после того одного выстрела... почти два часа назад. А совсем недавно я услышал, то есть мне показалось, что я услышал... может, крик или что-то вроде, капитан... из-за того айсберга. Я

доложил лейтенанту Ирвингу, но он сказал, что, вероятно, это просто лед трещит.

Два часа назад Крозье сообщили о звуке выстрела, раздавшегося со стороны «Эребуса», и он мгновенно поднялся на палубу, но, поскольку звук не повторился, не отправил посыльного на другой корабль и никого не отрядил обследовать лед. Выходить на лед в темноте сейчас, когда это... существо... сторожит там, среди торосов и высоких заструг, равносильно смерти. Теперь сообщения с корабля на корабль передавались только в течение короткого и неуклонно сокращающегося периода света около полудня. Через несколько суток дня как такового вообще не будет, только полярная ночь. Круглые сутки. Сто суток полярной ночи.

– Вероятно, это был треск льда, – говорит Крозье, задаваясь вопросом, почему Ирвинг не доложил о похожем на крик звуке. – И выстрел тоже. Просто треск льда.

– Да, капитан. Просто треск льда, сэр.

Ни один ни другой не верят в это – выстрел мушкета или дробовика ни с чем не спутаешь, даже на расстоянии мили, и звук разносится почти сверхъестественно далеко и отчетливо здесь, на Крайнем Севере, – но паковые льды, сжимающиеся все плотнее вокруг «Террора», действительно постоянно громяют, стонут, трещат, хрустят, режут.

Больше всего Крозье беспокоят крики, будящие его каждую ночь, когда он на час-другой погружается в крепкий сон. Звуки ледового треска слишком напоминают громкие мучительные стоны матери в последние дни жизни... и еще сказки старой тетушки о привидениях-плакальщицах, вопли которых в ночи предвещают смерть кого-нибудь в доме. И первые и вторые лишали его сна в детстве.

Крозье медленно поворачивается. Ресницы у него заиндевели, а верхняя губа уже покрылась коркой льда, от замерзшего пара дыхания и соплей. Мужчины научились прятать бороду под шерстяными шарфами и воротами свитеров, но все же им часто приходится прибегать к помощи ножей, чтобы отрубить пряди волос, примерзшие к одежде. Как большинство офицеров, Крозье продолжает бриться каждый день, хотя по причине экономии угля «горячая вода», которую приносит ему вестовой, представляет собой скорее едва растаявший лед, и процедура бритья бывает весьма болезненной.

– Безмолвная леди все еще на палубе? – спрашивает Крозье.

– О да, капитан, она почти всегда здесь, – отвечает Хикки, теперь шепотом, словно это имеет значение.

Даже если Безмолвная и слышит их, она не понимает английскую

речь. Но мужчины верят – все больше и больше с того дня, как существо во льдах начало преследовать их, – что молодая эскимоска является ведьмой, обладающей таинственными способностями.

– Она с лейтенантом Ирвингом, на посту у левого борта, – добавляет Хикки.

– С лейтенантом Ирвингом? Его вахта должна была закончиться более часа назад.

– Так точно, сэр. Но в последние дни где Безмолвная, там и лейтенант, сэр, коли мне будет позволено заметить. Пока она не сходит вниз, он тоже не сходит вниз. Я имею в виду, если только у него нет такой необходимости... никто из нас не может оставаться на морозе так долго, как эта ве... эта женщина.

– Следите за льдом и не отвлекайтесь от своего дела, мистер Хикки.

От резкого голоса Крозье помощник конопатчика снова вздрагивает, но отдает честь пошаркиванием ног и коротким пожатием плеч и опять обращает свой побелевший нос в сторону тьмы, сгустившейся за бушпритом.

Крозье широким шагом направляется к посту на левый борт. Готовя корабль к зиме в прошлом месяце – после трех недель тщетной надежды вырваться из ледового плена в августе, – он снова приказал развернуть нижние реи вдоль продольной оси судна, чтобы использовать их в качестве конькового бруса. Потом они опять соорудили шатер из парусины, покрывающий большую часть главной палубы, снова поставив каркас из брусков, убранных в трюм во время трех недель неоправданного оптимизма. Но хотя люди работают ежедневно по несколько часов, прокапывая лопатами дорожки в снегу, футовый слой которого оставлен на палубе с целью теплоизоляции, скалывая лед ломом и зубилом, а потом выгребая ледяную крошку, забившуюся под парусиновую крышу, и наконец посыпая песком дорожки, здесь всегда остается корка льда, и движение Крозье по наклоненной к носу и к правому борту палубе порой больше напоминает изящное скольжение конькобежца, нежели ходьбу.

Вахтенный на левом борту, по графику несущий дежурство сейчас, гардемарин Томми Эванс – Крозье узнает самого молодого члена экипажа по нелепой зеленой шапочке с помпоном (вероятно, связанной матерью мальчика), которую юный Эванс всегда натягивает поверх объемистого «уэльского парика», – отошел на десять шагов в сторону кормы, чтобы предоставить молодому третьему лейтенанту Ирвингу и леди Безмолвной подобие уединения.

При виде этого у капитана Крозье возникает желание дать кому-нибудь

– всем – крепкого пинка под зад.

Эскимоска, похожая на толстого медвежонка в своей меховой парке с капюшоном и меховых штанах, стоит спиной вполоборота к высокому лейтенанту. Но молодой третий лейтенант подобрался к ней вдоль фальшборта почти вплотную – он еще не касается женщины, но стоит гораздо ближе, чем офицер и джентльмен позволил бы себе стоять возле дамы на вечеринке в саду или на прогулочной яхте.

– Лейтенант Ирвинг.

Крозье не хотел произносить приветствие таким резким, лающим голосом, но нисколько не расстраивается, когда молодой человек подпрыгивает, словно уколотый кинжалом, чуть не теряет равновесие, хватается за обледенелый поручень левой рукой и – как он упорно продолжает делать, хотя теперь знает правила этикета, принятые на корабле во льдах, – отдает честь правой рукой.

Нелепый жест, думает Крозье, и не только потому, что из-за неуклюжих рукавиц, «уэльского парика» и многочисленных теплых поддевок под зимней шинелью молодой Ирвинг малость смахивает на отдающего честь моржа, но также потому, что парень стянул шерстяной шарф со своего чисто выбритого лица – вероятно, с целью показать Безмолвной, как он привлекателен, – и теперь у него под ноздрями болтаются две длинные сосульки, придающие ему еще большее сходство с моржом.

– Отставить! – рявкает Крозье.

«Чертов болван», – добавляет он мысленно, но достаточно громко, чтобы молодой лейтенант мог без труда расслышать произнесенные слова.

Ирвинг стоит неподвижно, бросает взгляд на Безмолвную – во всяком случае, на затылок мехового капюшона – и открывает рот, собираясь заговорить. Очевидно, никакие слова не идут ему на ум. Он закрывает рот. Губы у него такие же белые, как обмороженная кожа.

– Сейчас не ваша вахта, лейтенант, – говорит Крозье, снова слыша в своем голосе металлические нотки.

– Нет, сэр. То есть да, сэр. То есть капитан прав, сэр. То есть...

Ирвинг снова решительно захлопывает рот, но впечатление несколько портит стук зубов. После двух-трех часов на таком морозе зубы порой разрушаются – буквально взрываются, разлетаясь осколками эмали между стиснутыми челюстями. Иногда, по опыту знает Крозье, вы слышите треск эмали за мгновение до разрушения зубов.

– Почему вы все еще здесь, Джон?

Ирвинг пытается моргнуть, но застывшие веки не слушаются, словно намертво примерзшие к глазным яблокам.

– Вы приказали мне заняться нашей гостьей... присмотреть за ней... позаботиться о Безмолвной, капитан.

Крозье вздыхает, выпуская облачко ледяных кристаллов, которые на мгновение повисают в воздухе, а потом падают на палубу россыпью крохотных алмазов.

– Я не имел в виду находиться при ней неотлучно, лейтенант. Я велел вам проверить и доложить мне, чем она занимается, с целью уберечь ее от возможных неприятностей на корабле, а также позаботиться о том, чтобы никто из мужчин не сделал ничего такого... что может ее скомпрометировать. Как по-вашему, здесь, на палубе, она рискует оказаться скомпрометированной, лейтенант?

– Нет, капитан. – Слова Ирвинга звучат скорее как вопрос, чем как ответ.

– Вы знаете, за какое время происходит фатальное отморожение открытых частей тела при такой температуре воздуха, лейтенант?

– Нет, капитан. То есть да, капитан. Думаю, довольно быстро, сэр.

– Вам следует знать, лейтенант Ирвинг. У вас уже шесть раз было обморожение, а ведь календарная зима еще даже не наступила.

Лейтенант Ирвинг скорбно кивает.

– Чтобы палец, нос или любая другая часть тела промерзла насквозь, требуется меньше минуты, – продолжает Крозье, который прекрасно знает, что это просто треп. При каких-то минус пятидесяти для этого требуется гораздо больше времени. Но он надеется, что молодой Ирвинг этого не знает. – Затем отмороженный член откалывается, как сосулька, – добавляет Крозье для пущего эффекта своего весьма эффектного выступления.

– Да, капитан.

– Так вы действительно полагаете, что наша гостья несколько не рискует... оказаться скомпрометированной... находясь здесь, на палубе, мистер Ирвинг?

Молодой Ирвинг, похоже, задумывается, прежде чем ответить. Возможно, осознает Крозье, лейтенант уже слишком много размышлял над данным вопросом.

– Ступайте вниз, Джон, – говорит Крозье. – И обратитесь к доктору Макдональду по поводу своего лица и пальцев. Богом клянусь, если у вас опять серьезное обморожение, я удержу месячное жалованье из вашего общего заработка и в придачу напишу вашей матери.

– Есть, капитан. Благодарю вас, сэр.

Ирвинг собирается снова отдать честь, потом передумывает и ныряет под парусину в сторону главного трапа, по-прежнему держа одну руку наполовину поднятой. Он не оглядывается на Безмолвную.

Крозье снова вздыхает. Молодой Ирвинг нравится ему. Парень поступил к нему добровольцем – вместе с двумя своими товарищами с военного корабля «Экселлент», вторым лейтенантом Ходжсоном и старшим помощником капитана Хорнби, – но трехпалубник «Экселлент» был старым еще во времена, когда Ной не затеял возню со своей посудиною. Корабль стоял без мачт на постоянном приколе в Портсмуте более пятнадцати лет, служа учебным судном для самых многообещающих артиллерийских офицеров военно-морского флота. «К сожалению, джентльмены, – сказал Крозье мальчикам в первый день их пребывания на борту (тогда капитан был пьян сильнее обычного), – вы заметите, коли посмотрите вокруг, что ни на „Терроре“, ни на „Эребусе“ – флагманский корабль капитана сэра Джона стоит на якоре вон там, – так вот, вы заметите, что ни на „Терроре“, ни на „Эребусе“, хотя оба были построены как линейные суда, джентльмены, нет ни одной пушки. Мы безоружны, как новорожденный младенец, – если не считать мушкетов и дробовиков. Безоружны, как чертов Адам в своем чертовом костюме Адама. Другими словами, джентльмены, вы, знатоки артиллерийского дела, нужны нам в этой экспедиции как собаке пятая нога».

Сарказм Крозье в тот день не охладил энтузиазма молодых артиллерийских офицеров – Ирвинг и двое других пуще прежнего загорелись желанием отправиться на несколько зим мерзнуть во льдах. Конечно, дело происходило теплым майским днем в Англии в 1845 году.

– А теперь несчастный молокосос влюбился в эскимосскую ведьму, – вслух бормочет Крозье.

Словно поняв его слова, Безмолвная медленно поворачивается к нему.

Обычно ее лицо остается невидимым в тени глубокого капюшона или наполовину прикрытым широким воротником из волчьего меха, но сегодня Крозье видит крохотный нос, огромные глаза и полные губы. В этих черных глазах мерцают отсветы сполохов.

На вкус капитана Френсиса Родона Мойры Крозье она непривлекательна; в ней слишком много дикарского, чтобы она могла показаться вполне человеческим существом, тем более физически привлекательной женщиной – даже ирландцу-пресвитерианину; вдобавок ум Крозье и области подсознания все еще полны живыми воспоминаниями о Софии Крэкрофт. Но капитан понимает, почему молодой Ирвинг, находясь вдали от дома, семьи и возлюбленной, мог влюбиться в эту

дикарку. Одна ее странность и, возможно, даже зловещие обстоятельства ее появления на корабле и смерть ее спутника, мистически связанные с первыми нападениями жуткого существа, таящегося там, в темноте, – все это наверняка сыграло роль огня, на который летит порхающим мотыльком такой безнадежный молодой романтик, как лейтенант Джон Ирвинг.

С другой стороны, Крозье (как сам он понял и во время своего пребывания на Ван-Дименовой Земле в 1840 году, и в течение месяцев, проведенных в Англии перед этой экспедицией) для романтики слишком стар. И слишком ирландец. И слишком зауряден.

В данный момент он просто хочет, чтобы эта молодая женщина пошла прогуляться по ледяному полю в темноту и не вернулась обратно.

Крозье вспоминает, как четыре месяца назад доктор Макдональд явился с докладом к нему и Франклину после осмотра эскимоски, проведенного в тот же день, когда ее спутник скончался, захлебнувшись собственной кровью. Макдональд высказал мнение, что девушке от пятнадцати до двадцати лет (установить точный возраст аборигенов очень трудно), что она достигла половой зрелости, но по всем признакам девственница. Он доложил также, что эскимоска не произносила ни слова и не издавала ни звука – даже когда ее отец или муж умирал от пулевого ранения, – поскольку у нее нет языка. По мнению доктора Макдональда, язык у нее был не отрезан, но откушен – либо самой Безмолвной, либо еще кем-то.

Крозье был поражен – не столько фактом отсутствия языка, сколько тем обстоятельством, что эскимоска все еще девственница. Он провел в Арктике достаточно много времени – особенно в ходе экспедиции Парри, когда они зимовали близ эскимосской деревни, – чтобы знать: здешние аборигены относятся к половым отношениям так легко, что мужчины спокойно предлагают своих жен и дочерей китобоям или путешественникам в обмен на самые дешевые безделушки. Порой, он знал, женщины сами предлагали себя просто забавы ради, хихикая и болтая со своими товарками или детьми, пока моряки трудились, пыхтели и стонали между ногами смеющейся эскимоски. Они были как животные. Меха и шкуры, которые они носили, вполне могли бы быть их собственными звериными шкурами, насколько понимал Френсис Крозье.

Капитан подносит руку в перчатке к козырьку фуражки, которая примотана к голове толстым шерстяным шарфом и потому не может ни свалиться, ни сползти набекрень, и говорит:

– Мое почтение, мадам. Я посоветовал бы вам подумать о том, чтобы спуститься в вашу каюту в самом скором времени. Здесь становится

холодновато.

Безмолвная пристально смотрит на него. Она не моргает, хотя длинные ресницы у нее почему-то не заиндевели. Разумеется, она ничего не говорит. Она наблюдает за ним.

Крозье снова символически притрагивается к козырьку и продолжает обход палубы: поднимается на задравшуюся под давлением льда корму, потом спускается обратно по правому борту, останавливается поговорить с двумя другими вахтенными, давая Ирвингу время сойти вниз и снять верхнюю одежду, чтобы не возникало впечатления, будто капитан неотступно преследует своего лейтенанта.

Он заканчивает разговор с последним дрожащим от холода вахтенным, матросом Шанксом, когда рядовой Уилкс, самый молодой из морских пехотинцев на корабле, выскакивает из-под парусины. Уилкс накинул поверх формы лишь две широкие поддевки, и зубы у него начинают выбивать дробь еще прежде, чем он передает сообщение.

– Мистер Томпсон свидетельствует капитану свое почтение, сэр, и инженер просит капитана спуститься в трюм как можно скорее.

– В чем дело?

Крозье знает: если паровой котел в конце концов вышел из строя, им всем крышка.

– Прошу у капитана прощения, сэр, но мистер Томпсон говорит, что капитан нужен, поскольку матрос Мэнсон почти взбунтовался, сэр.

Крозье выпрямляется:

– Взбунтовался?

– Почти, так выразился мистер Томпсон, сэр.

– Изъяснитесь внятно, рядовой Уилкс.

– Мэнсон не желает больше носить мешки с углем мимо мертвецкой, сэр. И не желает больше спускаться в трюм. Он говорит, что отказывается самым почтительным образом. Он не желает подниматься наверх, но сидит на заднице у подножья трапа и отказывается носить уголь в котельную.

– Что за глупости такие? – Крозье приходит в страшное раздражение.

– Дело в привидениях, капитан, – говорит рядовой морской пехоты Уилкс, стуча зубами. – Мы все слышим их, когда таскаем уголь или спускаемся за чем-нибудь в трюм. Вот почему люди больше не спускаются ниже средней палубы, если только не получают приказ от офицеров, сэр. Там, в трюме, в темноте что-то скрывается. Что-то скребется и стучит внутри корабля, капитан. Это не лед. Мэнсон уверен, что это его старый товарищ Уокер, – он... оно... и остальные трупы, сложенные в мертвецкой, пытаются выбраться наружу.

Крозье подавляет побуждение успокоить рядового морской пехоты фактами. Возможно, молодой Уилкс не сочтет факты особо успокоительными.

Первый простой факт заключается в том, что скребущие и царапающие звуки, доносящиеся из мертвецкой, почти наверняка производят сотни или тысячи огромных черных крыс, лакомящихся окоченелыми трупами товарищей Уилкса. Крысы – как Крозье знает лучше молодого морского пехотинца – являются ночными животными, а следовательно, они бодрствуют круглые сутки в течение долгой арктической зимы, и зубы у этих существ постоянно растут. Это, в свою очередь, означает, что чертовы твари должны постоянно грызть, грызть и грызть, – и капитан видел, как они прогрызают дубовые бочки, металлические баки со стенками толщиной в дюйм и даже свинцовую обшивку. У крыс там, внизу, не больше трудностей с окоченелыми останками матроса Уокера и пяти его злополучных товарищей по команде (включая трех из лучших офицеров Крозье), чем у человека, жующего кусок холодного вяленого мяса.

Но Крозье не думает, что Мэнсон и остальные слышат просто крыс.

Крысы, как Крозье знает по печальному опыту тринадцати проведенных во льдах зим, обычно поедают трупы чьих-либо товарищей быстро и тихо, если не считать визга, сопровождающего частые драки обезумевших ненасытных тварей.

Звуки, раздающиеся в трюмной палубе, производят не крысы.

Крозье решает не объяснять Уилксу и второй простой факт, заключающийся в том, что, хотя в трюмной палубе обычно безопасно, но холодно, поскольку она находится ниже ватерлинии или поверхности замерзшего моря, сейчас под давлением льда корма «Террора» поднялась на дюжину с лишним футов выше нормы. Корпус корабля там по-прежнему надежно огорожен со всех сторон, но только несколькими сотнями тонн вздыбленного льда и дополнительными тоннами снега, наваленного людьми вдоль бортов по самые фальшборты с целью обеспечения лучшей теплоизоляции зимой.

Какое-то существо, подозревает Френсис Крозье, прорыло ход сквозь эти тонны снега, пробило тоннель сквозь твердые, как железо, ледяные глыбы, чтобы добраться до корпуса корабля. Неким непостижимым образом оно почуяло, какие отсеки, расположенные вдоль корпуса (например, отсеки с водяными цистернами), обшиты изнутри железом, и нашло одно из нескольких складских помещений – мертвецкую, – через которое можно проникнуть прямо в недра корабля. И теперь оно стучит и

скребется, пытаясь забраться внутрь.

Крозье знает, что лишь одно существо на Земле обладает такой силой, непреклонным упорством и умом. Обитающее во льдах чудовище пытается добраться до них снизу.

Не сказав более ни слова морскому пехотинцу Уилксу, капитан Крозье спускается вниз, чтобы поразмыслить над ситуацией.

2

Франклин

Лондон

51°29' северной широты, 0°00' западной долготы

Май 1845 г.

Он был – и навсегда останется – человеком, который съел свои башмаки.

За четыре дня до отплытия капитан сэр Джон Франклин заболел инфлюэнцей, которую подхватил, он был уверен, не от одного из простых матросов или грузчиков в Лондонском порту и не от одного из ста тридцати четырех своих матросов и офицеров – все они были здоровы как ломовые лошади, – а от какого-то хилого лизоблюда из круга светских знакомых леди Джейн.

Человек, который съел свои башмаки.

У жен героических исследователей Арктики существовала традиция шить флаг для водружения в некой самой северной точке маршрута или, как в данном случае, для поднятия на мачте по завершении экспедиции через Северо-Западный проход, и жена Франклина Джейн заканчивала шить шелковый «Юнион Джек», когда он вернулся домой. Сэр Джон вошел в гостиную и рухнул на набитый конским волосом диван рядом с ней. Он не помнил, чтобы снимал туфли, но, очевидно, кто-то его разул – либо Джейн, либо кто-то из слуг, – ибо в скором времени он лежал на спине в полузабытьи, с головной болью, с сильной тошнотой, какой ни разу не испытывал в море, с пылающей от жара кожей. Леди Джейн рассказывала про свой исполненный забот день, не делая пауз. Сэр Джон пытался слушать, увлекаемый от берега яви переменчивыми горячечными волнами болезни.

Он был человеком, который съел свои башмаки, вот уже двадцать три года – с тех пор, как вернулся в Англию в 1822 году после своей первой неудачной сухопутной экспедиции по северу Канады, предпринятой в попытке найти Северо-Западный проход. Он помнил смешки и шуточки, раздававшиеся тогда. Франклин съел свои башмаки – и он ел дрянь и почище во время того провального трехлетнего путешествия, включая мерзкую жидкую кашу, приготовленную из лишайника, соскобленного со скал. На третьем году экспедиции, умирая от голода, он и его люди

(Франклин, уже в полубессознательном состоянии, разделил свой отряд на три группы, предоставив двум другим группам выживать своими силами или погибнуть) сварили голенища сапог, чтобы остаться в живых. В 1821 году сэр Джон – тогда еще просто Джон, он был произведен в рыцари за некомпетентность после следующего своего сухопутного путешествия и неудачной морской экспедиции за полярным кругом – много дней подряд жевал лишь полоски недубленной кожи. Его люди съели свои спальные мешки из бычьей кожи. Потом некоторые перешли к другим вещам.

Но он никогда не ел человечину.

Франклин по сей день задавался вопросом, сумели ли другие участники экспедиции, включая его доброго друга и старшего лейтенанта доктора Джона Ричардсона, устоять перед таким искушением. Слишком много всего случилось за время, пока три группы по отдельности тащились по арктическим пустыням и лесам, отчаянно пытаясь добраться обратно до сооруженного Франклином из подручных материалов маленького форта Энтерпрайз и настоящих фортов, Провиденс и Резольюшн.

Девять белых мужчин и один эскимос погибли. Девять из двадцати одного, которых молодой лейтенант Джон Франклин, тридцатитрехлетний, плотный и уже тогда лысеющий, вывел из форта Резольюшн в 1819 году, плюс один из проводников-аборигенов, которых они нанимали по дороге, – Франклин не позволил эскимосу покинуть экспедицию, чтобы отправиться на поиски пропитания для себя одного. Двое мужчин были хладнокровно убиты. По крайней мере одного из них, несомненно, съели остальные. Но только один англичанин умер. Только один настоящий белый человек. Все прочие были просто французскими наемными рабочими или индейцами. Это был своего рода успех – всего один погибший англичанин, пусть даже остальные превратились в ходячие бородатые скелеты, бормочущие всякий вздор. Пусть даже остальные выжили только потому, что Джордж Бак, тот чертов сексуально озабоченный гардемарин, прошел на снегоступах тысячу двести миль, чтобы доставить продовольственные припасы и, самое главное, привести индейцев, которые позаботились о Франклине и его умирающих людях.

Тот чертов Бак. Отнюдь не добрый христианин. Высокомерный. И не джентльмен в полном смысле слова, несмотря на то что впоследствии он был произведен в рыцари за арктическую экспедицию, совершенную на этом самом корабле, «Терроре», теперь находящемся под командованием сэра Джона.

В той экспедиции – экспедиции Бака – «Террор» попал в торосовую пробку и, сжатый вставшими на ребро льдинами, поднялся на пятьдесят

футов в воздух, а потом упал вниз с такой силой, что все до единой дубовые доски корпуса дали течь. Джордж Бак довел текущее судно до побережья Ирландии и подошел вплотную к берегу за несколько часов до того, как оно должно было затонуть. Матросы обмотали корпус цепями, чтобы покрепче стянуть доски на время, достаточное для обратного пути домой. Все они страдали от цинги – почерневшие десны, кровоточащие глаза, выпадающие зубы – и от галлюцинаций, которыми цинга сопровождается.

Разумеется, после этого Бака возвели в рыцарское достоинство. Именно так поступают Британия и Адмиралтейство, когда вы возвращаетесь из позорно провалившейся полярной экспедиции, понеся чудовищные потери в людях: если вы остаетесь в живых, вам присваивают титул и воздают почести. Когда Франклин вернулся из своей второй экспедиции, предпринятой в 1827 году с целью составления карты береговой линии самой северной части Северной Америки, он был произведен в рыцари лично королем Георгом IV. Парижское географическое общество удостоило его золотой медали. Он получил в награду звание капитана и прекрасный маленький двадцатипушечный фрегат британского флота «Рейнбоу», а также направление на службу на Средиземном море, о каковом назначении еженощно молится каждый капитан Военно-морского флота Великобритании. Он сделал предложение – и получил согласие – одной из ближайших подруг своей покойной жены Элеоноры, энергичной, красивой и искренней Джейн Гриффин.

– За чаем я объяснила сэру Джеймсу, – говорила Джейн, – что честь и репутация моего любимого сэра Джона мне бесконечно дороже любого эгоистического наслаждения обществом мужа, даже если ему придется покинуть меня на четыре года... или пять.

Как там звали ту пятнадцатилетнюю краснокожую индианку, из-за которой Бак собирался драться на дуэли в форте Энтерпрайз, где они зимовали?

Зеленый Чулок. Точно. Зеленый Чулок.

Девушка была порочна. Красива, спору нет, но порочна. Она не знала стыда. Сам Франклин, невзирая на все старания не смотреть в ее сторону, однажды лунной ночью видел, как она сбрасывает с себя дикарские одежды и идет голая через хижину.

Тогда ему было тридцать четыре года, но она была первой голой женщиной, которую он видел в жизни, – и самой красивой. Смуглая кожа. Грудь уже тяжелые, как налитые плоды, но еще девичьи, с маленькими

сосками, со странными ареолами, гладкими темно-коричневыми кружками вокруг сосков, – видение, которое сэра Джон не мог стереть из памяти никакими усилиями за прошедшую с тех пор четверть века. Лобковые волосы у девушки росли не классическим аккуратным треугольником, какой Франклин впоследствии видел у своей первой жены Элеоноры (причем только раз и мельком, когда она готовилась принимать ванну, ибо, по настоянию Элеоноры, их редкие соития происходили в полной темноте), и не жидким растрепанным ворохом пшеничного цвета, представленным на стареющем теле его нынешней супруги Джейн – нет, у молодой индианки по имени Зеленый Чулок лобок украшала лишь узкая, но совершенно черная вертикальная полоска. Тонкая, как перо ворона. Черная, как сам грех.

Гардемарин-шотландец Роберт Худ, уже приживший внебрачного ребенка от другой индианки во время той первой бесконечно долгой зимы в хижине, названной Франклином фортом Энтерпрайз, мгновенно влюбился в юную скво Зеленый Чулок. До этого девушка спала с другим гардемарином, Джорджем Баком, но, когда Бак отправился на охоту, она поменяла партнера с легкостью, ведомой только язычникам и дикарям.

Франклин по сей день помнил рычание и стоны страсти той долгой ночью – не одного трехминутного соития, какие он имел с Элеонорой (никогда не рыча и вообще не издавая ни звука, поскольку джентльмену такое не пристало), и даже не двух, как произошло у него в первую памятную ночь медового месяца с Джейн, но добрых полудюжины. Едва Худ и девушка затихали в смежной пристройке, как начинали все снова – смех, приглушенное хихиканье, потом тихие стоны, постепенно перерастающие в громкие крики, которыми бесстыдная девчонка подгоняла Худа.

Джейн Гриффин было тридцать шесть лет, когда 5 декабря 1828 года она вышла замуж за новоиспеченного рыцаря сэра Джона Франклина. Они провели медовый месяц в Париже. Франклин не особо любил этот город, да и вообще французов, но гостиница была роскошной и еда – отличной.

Франклин испытывал своего рода ужас при мысли, что во время путешествия по континенту они могут случайно встретиться с тем малым, Роже, – Питером Марком Роже, который снискал известное внимание читающей публики, издав свой дурацкий словарь, или что там это было, – с тем самым человеком, который однажды просил руки Джейн Гриффин и получил отказ, как все остальные поклонники, ухаживавшие за ней в прежние годы. Впоследствии Франклин тайком заглянул в дневники Джейн той поры (он оправдывал свой проступок нехитрым соображением: она

наверняка хотела, чтобы он нашел и прочитал многочисленные тетради в переплете из телячьей кожи – иначе зачем стала бы оставлять их на видном месте?) и увидел фразу, написанную безупречным мелким почерком своей возлюбленной в день, когда Роже в конце концов женился на другой: «Любовь всей моей жизни закончилась».

Роберт Худ развлекался с Зеленым Чулком уже шесть бесконечно долгих арктических ночей, когда его товарищ-гардемарин Джордж Бак вернулся с индейцами с охоты. Двое мужчин условились драться на дуэли до смерти на рассвете – около десяти утра – следующего дня.

Франклин не знал, что делать. Тучный лейтенант не мог добиться хотя бы подобия дисциплины от угрюмых наемников или высокомерных индейцев, не говоря уже о том, чтобы совладать со своевольным Худом или импульсивным Баком.

Оба гардемарины были художниками и картографами. С тех пор Франклин не доверял художникам. Когда скульптор в Париже лепил руки леди Джейн и раздушенный содомит здесь, в Лондоне, почти месяц приходил к ним писать ее парадный портрет, Франклин ни разу не оставлял жену наедине с ними.

Бак и Худ собирались на рассвете драться на дуэли насмерть, и Джону Франклину ничего не оставалось, кроме как спрятаться в хижине и молиться о том, чтобы смерть или увечье одного из дуэлянтов или обоих сразу не уничтожило последние остатки здравого смысла в участниках и без того бесславной экспедиции. В полученных им распоряжениях не оговаривалось, что он должен взять с собой продовольствие в путешествие протяженностью тысяча двести миль по арктическим пустошам, прибрежному морю и реке. На собственные деньги он закупил достаточно провизии, чтобы прокормить шестнадцать человек в течение дня. Франклин предполагал, что затем индейцы будут охотиться для них и сносить их кормить, точно так же как проводники тащили его сумки и сидели на веслах в его каноэ из березовой коры.

С каноэ из березовой коры он дал маху. Двадцать четыре года спустя Франклин был готов признать сей факт – по крайней мере, перед самим собой. Всего через несколько дней, в покрытых ледяным салом водах у северного побережья, которого они достигли через полтора с лишним года после выступления из форта Резольюшн, хрупкие суденышки начали разваливаться.

Слушая краем уха безостановочную болтовню Джейн, с закрытыми глазами, пылающим лбом и трещащей головой, Франклин вспомнил утро, когда он, крепко зажмурившись, лежал в своем спальном мешке, в то время

как Бак и Худ разошлись на пятнадцать шагов перед хижинкой, а потом приготовились стрелять. Чертовы индейцы и чертовы наемники – во многих отношениях такие же дикари – отнеслись к дуэли как к увеселительному представлению. Зеленый Чулок, помнил Франклин, тем утром излучала почти эротическое сияние.

Лежа в спальном мешке, зажимая уши ладонями, Франклин все же слышал команду разойтись, команду развернуться кругом, команду прицелиться, команду стрелять.

Потом два щелчка. Потом гогот толпы.

Старый моряк-шотландец, сейчас отдававший дуэлянтам команды, грубый и неотесанный Джон Хепберн, ночью вынул заряды и пули из тщательно подготовленных пистолетов.

Обескураженные непрекращающимся смехом наемных рабочих и хлопающих себя по коленкам индейцев, Худ и Бак плюнули и разошлись в разные стороны. В скором времени Франклин приказал Джорджу Баку вернуться в форты, чтобы закупить еще провизии у торговой компании «Гудзонов залив». Бак отсутствовал почти всю зиму.

Франклин съел свои башмаки и питался соскобленным со скал лишайником – мерзкой слизью, от которой стошнило бы любого уважающего себя английского пса, – но он ни разу не ел человечины.

Через долгий год после несостоявшейся дуэли, в отряде Ричардсона, тогда уже отделившемся от группы Франклина, угрюмый полусумасшедший ирокез Майкл Тероахаут застрелил художника и картографа Роберта Худа, всадив пулю в самый центр лба.

За неделю до убийства индеец принес умирающим от голода людям странного вкуса окорок – как он утверждал, принадлежавший волку, либо забоданному насмерть оленем, либо убитому самим Тероахаутом при помощи оленьего рога, – история индейца постоянно менялась. Оголодавшие люди поджарили и съели мясо, но прежде доктор Ричардсон заметил слабый след татуировки на коже. Позже доктор сказал Франклину, что он уверен: Тероахаут вернулся к телу одного из наемников, умершего в пути несколькими днями ранее.

Измученный голодом индеец и еле живой Худ находились одни, когда Ричардсон, соскабливавший лишайник со скалы, услышал выстрел. Самоубийство, утверждал Тероахаут, но, по словам доктора Ричардсона, повидавшего на своем веку немало самоубийц, положение пули в мозгу исключало вероятность, что Худ произвел выстрел сам.

Теперь индеец был вооружен британским байонетом, мушкетом, двумя заряженными пистолетами и ножом длиной со свое предплечье. Два

оставшихся англичанина – Хепберн и Ричардсон – имели лишь один пистолет и ненадежный мушкет на двоих.

Ричардсон – ныне один из самых уважаемых ученых и хирургов в Англии, друг поэта Роберта Бёрнса, но тогда всего лишь подающий надежды экспедиционный врач и натуралист – дождался возвращения Майкла Тероахута, ходившего за хворостом, убедился, что руки у него заняты, и потом поднял свой пистолет и хладнокровно выстрелил индейцу в голову.

Позже доктор Ричардсон признался, что ел кожаную одежду покойного Худа, но ни Хепберн, ни Ричардсон – единственные выжившие из своей группы – никогда не упоминали о том, что еще они ели в течение следующей недели изнурительного пути до форта Энтерпрайз.

В форте Энтерпрайз Франклин и его люди не могли ходить и даже стоять на ногах от слабости. Ричардсон и Хепберн казались не такими истощенными по сравнению с ними.

Пусть он был человеком, который съел свои башмаки, но Джон Франклин никогда...

– Кухарка готовит на ужин ростбиф, дорогой. Твой любимый. Поскольку она у нас недавно – я уверена, что та ирландка приписывала к счетам лишнее, ибо воровство для ирландцев так же естественно, как пьянство, – я напомнила ей, что ты требуешь, чтобы бифштекс сочился кровью при разрезании.

Франклин, уносимый в забвение набегаящими волнами лихорадки, попытался сформулировать ответ, но головная боль, тошнота и жар были слишком сильны. Нижняя рубашка и все еще пристегнутый воротничок у него насквозь промокли от пота.

– Жена адмирала сэра Томаса Мартина прислала нам сегодня прелестную открытку и чудесный букет – хотя нам меньше всего нужны ее знаки внимания, я должна признать, что розы поистине великолепны. Они стоят в холле – ты видел? У тебя нашлось время поболтать с адмиралом Мартином на приеме? Конечно, он не особо важная персона, верно? Даже в должности инспектора военно-морского флота. Уж конечно, он не так влиятелен, как первый лорд Адмиралтейства или старшие уполномоченные, не говоря уже о твоих друзьях из Арктического совета.

У капитана сэра Джона Франклина было много друзей – все любили капитана сэра Джона Франклина. Но никто его не уважал. Франклин признавал первый факт и отказывался признавать второй на протяжении десятилетий, но теперь знал, что это правда. Все любили его. Никто не уважал.

После Земли Ван-Димена. После тасманийской тюрьмы, где он самым кошмарнейшим образом попал впросак.

Элеонора, его первая жена, умирала, когда он отправился в свою вторую серьезную экспедицию.

Франклин знал, что она умирает. Она знала, что умирает. Ее чахотка – и ясное понимание, что она умрет задолго до того, как муж погибнет в бою или экспедиции, – присутствовала с ними в качестве третьего лица на церемонии бракосочетания. За двадцать два месяца супружества она подарила Франклину дочь – его единственного ребенка, – молодую Элеонору.

Хрупкая и слабая, но почти пугающе сильная духом, первая жена сказала Франклину отправляться во вторую экспедицию – по отысканию Северо-Западного пути, в долгое путешествие по суше и морем вдоль побережья Северной Америки, – хотя она харкала кровью и знала, что конец близок. Она сказала, что для нее будет лучше, если его не будет рядом. Он поверил. Или, по крайней мере, поверил, что так будет лучше для него.

Глубоко религиозный человек, Джон Франклин молился о том, чтобы Элеонора умерла до его отбытия. Она не умерла. Он покинул Лондон 16 февраля 1825 года, написал своей любимой много писем по пути к Большому Невольничьему озеру и узнал о ее кончине 24 апреля на британской военно-морской базе в Пенетангишене. Она умерла вскоре после отплытия его корабля из Англии.

Когда в 1827 году он вернулся из экспедиции, его ждала подруга Элеоноры, Джейн Гриффин.

Прием в Адмиралтействе состоялся меньше недели назад – нет, ровно неделю назад, до чертовой инфлюэнцы. Капитан сэр Джон Франклин и все его офицеры и старшины с «Эребуса» и «Террора» присутствовали на нем, разумеется. А также все гражданские лица из числа участников экспедиции – ледовый лоцман «Эребуса» Джеймс Рейд и ледовый лоцман «Террора» Томас Блэнки вместе с казначеями, врачами и интендантами.

Сэр Джон выглядел эффектно в своем новом синем мундире, синих панталонах с золотыми лампасами, эполетах с золотой бахромой, в нельсоновской треуголке и с положенной по протоколу шпагой. Капитан его флагмана «Эребус» Джеймс Фицджереймс, слывший самым красивым мужчиной Военно-морского флота Британии, выглядел великолепно и держался скромно, как подобает герою войны, каковым он являлся. Фицджереймс очаровал всех в тот вечер. Френсис Крозье был по обыкновению скован, неуклюж и слегка пьян.

Но Джейн ошибалась: в Арктическом совете у сэра Джона не было друзей. На самом деле никакого Арктического совета не существовало. Он являлся скорее почетным обществом, нежели реальной организацией, но также самым закрытым во всей Англии клубом для избранных.

Они все присутствовали на приеме – Франклин, его старшие офицеры и высокие, худые, седовласые члены легендарного Арктического совета.

Чтобы стать членом Совета, требовалось всего-навсего возглавить какую-нибудь арктическую экспедицию и... остаться в живых.

Виконт Мелвилл – первая знаменитость в длинной цепочке встречающих, после прохождения которой Франклин обливался потом и еле ворочал языком, – являлся первым лордом Адмиралтейства и спонсором их спонсора, сэра Джона Барроу. Но Мелвилл не относился к числу бывалых исследователей Арктики.

Поистине легендарные члены Арктического совета – в большинстве своем старики далеко за семьдесят – напоминали в тот вечер раздраженному Франклину скорее ведьм из «Макбета» или бледных призраков, чем живых людей. Все они являлись предшественниками Франклина в деле поисков Северо-Западного прохода, и все вернулись из экспедиций живыми, хотя и не вполне.

«Вернулся ли хоть один из них, – думал Франклин в тот вечер, – по-настоящему живым после зимовья за полярным кругом?»

У сэра Джона Росса, чье шотландское лицо обилием ломаных линий и резко очерченных граней напоминало айсберг, кустистые брови торчали вперед, словно шейные перья пингвинов, о которых рассказывал его племянник сэр Джеймс Кларк Росс после своего путешествия в Антарктику. Грубый голос Росса походил на скрип плиты песчаника, которую волокут по растрескавшейся палубе во время драйки.

Сэр Джон Барроу, превосходящий летами самого Господа Бога и вдвое более могущественный. Организатор первых серьезных исследований Арктики. Все остальные присутствовавшие на приеме, даже седовласые семидесятилетние старцы, были просто детьми... детьми Барроу.

Сэр Уильям Парри, джентльмен из джентльменов даже в окружении особ королевских кровей, который предпринял четыре попытки пройти по Северо-Западному морскому пути, но в результате увидел лишь смерть своих людей и гибель своего корабля «Фьюри», затертого во льдах, раздавленного и затонувшего.

Сэр Джеймс Кларк Росс, недавно посвященный в рыцари, недавно сочетавшийся браком с женщиной, которая взяла с него клятву навеки покончить с экспедициями, – он занял бы должность начальника

экспедиции, ныне доставшуюся Франклину, если бы захотел, и оба мужчины знали это. Росс и Крозье держались несколько обособленно от всех прочих, потягивая горячительные напитки и разговаривая приглушенными голосами, точно заговорщики.

Чертов сэр Джордж Бак. Франклину глубоко претило делить звание сэра с простым гардемаринном, некогда служившим под его началом и к тому же распутником. В тот торжественный вечер капитан сэр Джон Франклин почти пожалел, что двадцать пять лет назад Хепберн вынул порох и пули из дуэльных пистолетов. Бак был самым молодым членом Арктического совета и казался счастливее и самодовольнее всех остальных, даже после того, как разбил и чуть не потопил британский военный корабль «Террор».

Капитан сэр Джон Франклин был трезвенником, но после трех часов шампанского, вина, бренди, шерри и виски остальные мужчины стали держаться непринужденнее, смех вокруг него зазвучал громче, разговоры в большом холле приняли менее официальный характер, и Франклин начал успокаиваться, осознав наконец, что этот прием, все эти золотые пуговицы, шелковые галстуки, сверкающие эполеты, изысканные яства, отличные сигары и любезные улыбки – все это для него. На сей раз виновником торжества был он.

Поэтому он испытал легкое потрясение, когда старший Росс почти грубо оттащил его в сторону и – окутанный клубами сигарного дыма, со сверкающим в свете свечей хрустальным бокалом в руке – принялся резким тоном задавать вопросы.

– Франклин, какого черта вы берете с собой сто тридцать четыре человека? – проскрипел песчаник по шероховатому дереву.

Капитан сэр Джон Франклин моргнул:

– Это крупная экспедиция, сэр Джон.

– Слишком крупная, коли хотите знать мое мнение. Случись какая беда, и тридцать-то человек трудно провести по льдам, посадить в лодки и вернуть в цивилизованный мир. А сто тридцать четыре... – Старый путешественник громко прочистил горло, словно собираясь сплюнуть.

Франклин улыбнулся и кивнул, желая, чтобы старик отвязался от него.

– А вам, – продолжал Росс, – вам уже шестьдесят, черт возьми.

– Пятьдесят девять, – холодно поправил Франклин. Его день рождения был почти два месяца назад. – Сэр.

Старший Росс едва заметно улыбнулся, но лицо его оставалось похожим на айсберг больше, чем когда-либо.

– Какое водоизмещение у «Террора»? Триста тридцать тонн? А у

«Эребуса» около трехсот семидесяти?

– Триста семьдесят две у моего флагмана, – сказал Франклин. – Триста двадцать шесть у «Террора».

– И осадка девятнадцать футов у каждого, я прав?

– Да, милорд.

– Это чистой воды безумие, Франклин. В Арктику еще никогда не посылали судов с такой большой осадкой. Все наши исследования тех территорий свидетельствуют о том, что там, куда вы направляетесь, море мелководное, изобилующее отмелями, подводными скалами и льдами. У моей «Виктори» была осадка всего полтора фатомы, но мы не смогли пройти через бар в заливе, когда зимовали там. Джордж Бак пробил днище, напоравшись на подводные льды, на вашем «Терроре».

– Оба моих корабля дополнительно укреплены, сэр Джон, – сказал Франклин. Он чувствовал, как струйки пота стекают по груди и ребрам к толстому животу. – Сейчас они самые прочные суда в мире.

– А что за дурацкая затея с паровыми локомотивными двигателями?

– Затее вовсе не дурацкая, милорд. – Франклин услышал снисходительные нотки в своем голосе. Сам он ничего не смыслил в паровых двигателях, но с ним в экспедицию шли два опытных инженера и Фицджереймс, служивший в новом паровом флоте. – Это мощные двигатели, сэр Джон. Они позволят нам пройти через льды там, где не удавалось пройти на парусах.

Сэр Джон Росс фыркнул:

– Ведь ваши двигатели даже не судовые, верно, Франклин?

– Да, сэр Джон. Но это лучшие паровые двигатели, какие смогла продать нам Лондонско-Гринвичская железнодорожная компания. Перестроенные для использования в море. Мощные звери, сэр.

Росс отхлебнул виски.

– Мощные, если вы планируете проложить рельсы по Северо-Западному пути и пустить по нему чертов паровоз.

Франклин добродушно хихикнул, хотя не видел ничего смешного в грубом замечании Росса и почувствовал себя глубоко уязвленным. Он часто не понимал, когда другие шутят, и сам не умел шутить.

– Но на самом деле не такие уж и мощные, – продолжал Росс. – Стопятитонная махина, которую затолкали в трюм вашего «Эребуса», выдает всего двадцать пять лошадиных сил. А двигатель Крозье и того меньше... максимум двадцать лошадиных сил. Корабль, который поведет вас на буксире к Шотландии, «Рэттлер», выдает двести двадцать лошадей, с паровым двигателем меньшего размера. Это судовой двигатель,

рассчитанный на работу в море.

На это Франклину было нечего сказать, и потому он просто улыбнулся и взял с подноса у проходящего мимо официанта бокал шампанского. Поскольку употребление алкоголя шло вразрез со всеми его принципами, ему оставалось лишь стоять с бокалом в руке, поглядывая на опадающую пену шампанского и выжидая удобного момента, чтобы незаметно от него избавиться.

– Подумайте, сколько дополнительного продовольствия поместилось бы в трюмы ваших двух кораблей, если бы не эти чертовы двигатели, – настойчиво продолжал Росс.

Франклин огляделся по сторонам, словно в поисках спасения, но все вокруг оживленно разговаривали друг с другом.

– Продовольственных припасов нам хватит с избытком на три года, сэр Джон, – наконец сказал он. – На пять-семь лет, если придется урезать рацион. – Он снова улыбнулся, пытаясь очаровать сурового старика. – К тому же и на «Эребусе», и на «Терроре» имеется центральное отопление. Уверен, такую вещь вы оценили бы по достоинству на вашей «Виктори».

Светлые глаза Джона Росса холодно блеснули.

– «Виктори» раздавило льдами, как скорлупку, Франклин. Новомодное паровое отопление здесь не помогло бы, верно?

Франклин осмотрелся вокруг, пытаясь встретиться взглядом с Фицджереймсом. Или хотя бы с Крозье. С кем угодно, кто пришел бы к нему на помощь. Казалось, никто не замечал старого сэра Джона и толстого сэра Джона, занятых здесь столь серьезным, пусть и односторонним разговором. Мимо прошел официант, и Франклин поставил ему на поднос нетронутый бокал шампанского. Росс пытливо смотрел на Франклина прищуренными глазами.

– А сколько угля требуется, чтобы обогреть один из ваших кораблей в течение дня? – требовательно осведомился старый шотландец.

– О, я толком не знаю, сэр Джон, – ответил Франклин с обаятельной улыбкой.

Он действительно не знал. За паровые двигатели и уголь отвечали инженеры. Адмиралтейство наверняка произвело все необходимые расчеты.

– А я знаю, – сказал Росс. – Вы будете тратить сто пятьдесят фунтов угля в день только на то, чтобы горячая вода поступала в трубы, обогревающие жилую палубу. И полтонны драгоценного угля в день, чтобы просто поддерживать кипение в паровом котле. В пути же – не ждите от ваших уродливых линейных кораблей скорости выше четырех узлов – вы

будете сжигать от двух до трех тонн угля в день. И гораздо больше, если попытаетесь пробиться через паковые льды. Сколько всего угля вы берете с собой, Франклин?

Капитан сэра Джон махнул рукой – небрежный, он осознал, если не женственный жест.

– О, где-то около двухсот тонн, милорд.

Росс снова прищурился.

– Если точнее, по девяносто тонн на каждом корабле, – проскрипел он. – От которых останется гораздо меньше к тому времени, когда вы обогнете Гренландию и достигнете Баффинова залива, еще даже не войдя в настоящие льды.

Франклин улыбнулся и ничего не ответил.

– Предположим, вы достигаете места зимовки во льдах с семьюдесятью пятью процентами от ваших девяноста тонн, – продолжал Росс свое наступление с неумолимостью корабля, прокладывающего путь через льды. – Таким образом, что у вас получается... сколько дней работы парового в нормальных условиях, не во льдах? Дюжина дней? Тринадцать? Две недели?

Капитан сэра Джон Франклин не имел ни малейшего представления. Его ум, хотя и являлся умом профессионального мореплавателя, просто не обладал способностью производить такие расчеты. Вероятно, в глазах у него мелькнул внезапный страх – вызванный не мыслью об угле, но сознанием, что он выставляет себя идиотом перед сэром Джоном Россом, – ибо старый моряк сжал плечо Франклина сильными цепкими пальцами, точно клещами. Когда Росс придвинулся ближе, капитан сэра Джон Франклин почувствовал исходящий от него запах виски.

– Каковы планы вашего спасения, предусмотренные Адмиралтейством? – проскрипел Росс.

Он говорил тихим голосом. Повсюду вокруг слышались смех и болтовня, обычные для заключительной части торжественного приема.

– Спасения? – Франклин растерянно похлопал глазами. Мысль, что двум самым современным кораблям в мире – укрепленным для ледового плавания, оборудованным паровыми двигателями, обеспеченным продовольствием на пять или более лет во льдах и укомплектованным людьми, тщательно отобранными сэром Джоном Барроу, – потребуется или сможет потребоваться спасение, просто не укладывалась у Франклина в голове. Абсурдная мысль.

– Вы планируете по пути устраивать склады провианта на островах? – прошептал Росс.

– Склады? – переспросил Франклин. – Оставлять продовольствие по пути? Зачем, собственно говоря, мне это делать?

– Чтобы иметь возможность обеспечить людей кровом и пищей, если вам придется возвращаться пешком по льду! – яростно прошипел Росс, сверкая глазами.

– С какой стати нам возвращаться к Баффинову заливу? – спросил Франклин. – Наша цель – пройти Северо-Западным проходом.

Сэр Джон немного отстранился. Он еще крепче стиснул плечо Франклина:

– Так, значит, у вас нет ни спасательного корабля, ни хотя бы плана спасения?

– Нет.

Росс схватил другую руку Франклина и сжал так сильно, что дородный капитан сэр Джон чуть не поморщился.

– Тогда, парень, – прошипел Росс, – если к сорок восьмому году мы не получим от вас никаких известий, я самолично отправлюсь на ваши поиски, клянусь.

Франклин вздрогнул и очнулся.

Он обливался потом. Он чувствовал головокружение и страшную слабость. У него бешено колотилось сердце, каждый удар которого отдавался подобием тяжелого колокольного звона в гудящей от боли голове.

Он в ужасе уставился вниз. Нижнюю половину тела у него прикрывала шелковая ткань.

– Что это? – в страхе вскричал он. – Что это такое? На мне флаг!

Леди Джейн вскочила с места, ошеломленная:

– Мне показалось, ты замерз, Джон. Ты весь дрожал. Я накрыла тебя им, как одеялом.

– Боже мой! – возопил капитан сэр Джон Франклин. – Боже мой, женщина, да понимаешь ли ты, что ты наделала! Разве ты не знаешь, что флагом накрывают мертвецов?

3

Крозье

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

Октябрь 1847 г.

Капитан Крозье спускается по короткому трапу в жилую палубу, проходит через утепленную двустворчатую дверь и едва не пошатывается от внезапно накатившей волны тепла. Хотя циркулирующую по трубам горячую воду отключили много часов назад, благодаря теплу пятидесяти с лишним мужских тел и остаточному теплу от камбузной плиты здесь, в жилой палубе, температура воздуха почти на восемьдесят градусов выше, чем снаружи. Человек, полчаса пробывший на верхней палубе, испытывает такие ощущения, словно входит в сауну полностью одетым.

Поскольку Крозье собирается спуститься в неотапливаемые среднюю и трюмную палубы и потому не снимает верхнюю одежду, он не задерживается надолго здесь, в тепле. Но все-таки на мгновение останавливается – как сделал бы любой капитан, – чтобы оглядеться по сторонам и убедиться, что все тут не полетело к чертям собачьим за полчаса его отсутствия.

Хотя это единственная спальная, столовая и жилая палуба на корабле, здесь все равно темно, как в уэльском руднике, поскольку днем маленькие световые люки занесены снегом, а ночь сейчас продолжается двадцать два часа. Там и сям масляные лампы, фонари или свечи отбрасывают узкие конусы света, но в большинстве своем люди двигаются во мраке по памяти, помня, где надо огибать бесчисленные, еле различимые груды провианта, одежды и снаряжения, а также других людей, спящих в своих парусиновых койках. Когда подвешиваются все койки – на каждого человека приходится четырнадцать дюймов в ширину, – здесь вообще не остается свободного пространства, кроме двух проходов шириной восемнадцать дюймов вдоль стенки корпуса с одной и другой стороны. Но сейчас подвешены лишь несколько коек – люди спят перед ночной вахтой, – и разговоры, смех, проклятия, кашель, звон кастрюль и вдохновенные ругательства мистера Диггла звучат достаточно громко, чтобы отчасти заглушить треск и стоны льда.

Согласно чертежам корабля, высота межпалубного пространства семь футов, но в действительности расстояние между толстыми бимсами (и

тоннами круглого леса и запасных досок, хранящимися на подвешенных к балкам рамам) над головой и палубным настилом под ногами меньше шести футов, и несколько по-настоящему высоких мужчин на «Терроре», вроде труса Мэнсона внизу, вынуждены постоянно ходить согнувшись. Френсис Крозье не настолько высок. Даже в фуражке и намотанном поверх нее шарфе ему не приходится пригибать голову, когда он поворачивается.

Сейчас справа от Крозье находится подобие темного, низкого и узкого тоннеля, уходящего к корме, но на самом деле это коридор, ведущий к «офицерской части» – шестнадцати крохотным каютам и двум тесным столовым для офицеров и мичманов. Каюта Крозье такого же размера, как все прочие: шесть на пять футов. Ширина коридора всего два фута – зараз здесь может пройти лишь один человек, подныривая под свисающие сверху тюки с припасами, а дородным мужчинам приходится протискиваться боком.

Офицерские каюты теснятся на шестидесяти футах общей девяностошестифутовой длины судна, а поскольку ширина «Террора» на уровне жилой палубы всего двадцать восемь футов, этот узкий коридор является единственным прямым путем в кормовую часть.

Крозье видит свет в расположенной в кормовой части кают-компании, где – даже в таком адском мраке и холоде – несколько из оставшихся в живых офицеров отдыхают за длинным столом, куря трубки или читая книги из библиотеки в тысячу двести томов, хранящихся там на стеллажах. Капитан слышит звуки музыки – один из металлических дисков для музыкальной шкатулки играет мотивчик, который был популярен в лондонских мюзик-холлах пять лет назад. Крозье знает, что диск поставил лейтенант Ходжсон – это его любимая мелодия, – и она приводит в дикое раздражение лейтенанта Эдварда Литтла, старшего помощника Крозье и любителя классической музыки.

Поскольку на офицерской части явно все в порядке, Крозье поворачивается и бросает взгляд вперед. Жилое помещение постоянной судовой команды занимает оставшуюся треть длины корабля – но здесь теснятся сорок один матрос и гардемарин из первоначального состава сорок четвертого года.

Сегодня вечером не проводится никаких занятий, и меньше чем через час они развернут свои койки и улягутся спать, поэтому большинство мужчин сидят на своих сундучках или грудах сложенной парусины, куря или разговаривая в полумраке. В центре помещения стоит гигантская патентованная плита Фрейзера, где мистер Диггл выпекает лепешки. Диггл – лучший кок во всем флоте, по мнению Крозье, и в буквальном смысле

слова трофей, поскольку Крозье похитил шумливого кока прямо с флагмана капитана сэра Джона Франклина перед самым отплытием, – постоянно хлопчет у плиты, обычно выпекая галеты, и беспрерывно осыпает бранью, подгоняет тумаками и пинками своих помощников. Люди суеются возле огромной плиты, часто исчезая в люке, чтобы принести нужные продукты с нижних палуб и избежать гнева мистера Диггла.

Сама фрейзеровская плита, на взгляд Крозье, почти не уступает размерами локомотивному двигателю в трюме. Кроме гигантской духовки и шести огромных горелок, громоздкая железная конструкция оснащена встроенным опреснителем и замечательным ручным насосом для накачивания воды либо из океана, либо из огромных цистерн, стоящих рядами в трюме. Но и в море, и в цистернах вода сейчас обратилась в лед, поэтому на горелках мистера Диггла булькают громадные кастрюли, в которых тают куски льда, отколотые в цистернах внизу и поднятые наверх для данной цели.

За перегородкой, сооруженной из полок и буфетов мистера Диггла, – на ее месте раньше находилась носовая переборка – капитан видит лазарет, устроенный в форпике корабля. Первые два года они обходились без лазарета. Форпик был загроможден от палубного настила до бимсов упаковочными клетями и бочонками, а члены команды, желавшие повидать корабельного врача или фельдшера в так называемый час салаг, в 7.30 утра, являлись на прием к плите мистера Диггла. Но сейчас, когда количество продовольственных припасов сокращалось, а количество больных и раненых увеличивалось, плотники выгородили в форпике постоянное отдельное помещение под лазарет. И все же капитан видит проход между упаковочными клетями, ведущий к спальному месту, которое они отвели леди Безмолвной.

Обсуждение данного вопроса заняло добрую половину дня в июне – Франклин категорически отказался брать эскимосскую женщину на свой корабль. Крозье принял ее на борт, но обсуждение вопроса о спальном месте для нее, происходившее у него с лейтенантом Литтлом, носило почти абсурдный характер. Даже эскимоска, они знали, замерзла бы до смерти на верхней палубе или в двух нижних, таким образом оставалась только главная жилая палуба. Безусловно, она не могла спать в кубрике судовой команды – хотя из-за обитающего во льдах существа у них к этому времени уже имелись свободные койки.

Во времена, когда Крозье еще подростком служил простым матросом, а потом гардемаринном, женщин, тайно проведенных на корабль, размещали в темной, душной и вонючей канатной в самой передней и самой нижней

части судна, в пределах досягаемости от бака и счастливчика или счастливчиков, протащивших ее на борт. Но даже в июне, когда Безмолвная появилась, температура воздуха в канатной «Террора» уже опустилась ниже нуля.

Нет, о том, чтобы разместить женщину в кубрике, не могло идти и речи.

На территории офицеров? Возможно. После страшной гибели мистера Томпсона, разорванного на куски, там пустовала одна каюта. Но и лейтенант Литтл, и капитан быстро пришли к единодушному мнению, что присутствие женщины всего через несколько тонких переборок и раздвижных дверей от спящих мужчин крайне нежелательно и даже вредно.

Что тогда? Не могли же они выделить гостье спальное место, а потом поставить над ней вооруженного часового на всю ночь.

Именно Эдварду Литтлу пришла в голову мысль немного передвинуть упаковочные клетки и бочки, чтобы освободить между ними маленькое пространство для эскимоски в форпике, где размещается лазарет. Единственным человеком, бодрствовавшим всю ночь напролет, являлся мистер Диггл, исполнительно выпекавший свои лепешки и жаривший мясо к завтраку, а если мистер Диггл когда-нибудь и интересовался женщинами, то времена эти определенно давно миновали. Кроме того, рассудили лейтенант Литтл и капитан Крозье, близость фрейзеровской плиты не позволит гостье замерзнуть.

Плита успешно справлялась со своей задачей. Леди Безмолвная изнемогала от жары и потому спала в чем мать родила на своих мехах в пещерке среди упаковочных клеток и бочонков. Капитан обнаружил это случайно, и видение обнаженной женщины запечатлелось у него в памяти.

Теперь Крозье снимает с крючка и зажигает фонарь, поднимает крышку люка и спускается по трапу в среднюю палубу, покуда не начал таять, подобно одному из кусков льда на плите. Сказать, что в средней палубе холодно, – значит выразиться очень и очень мягко, как Крозье выражался до своего первого путешествия в Арктику. При схождении по шестифутовому трапу с жилой палубы температура воздуха понижается самое малое на шестьдесят градусов. Здесь царит почти кромешная тьма.

Как положено капитану, Крозье на минуту останавливается, чтобы оглядеться по сторонам. Фонарь светит тускло и освещает главным образом лишь клубы пара от дыхания, висящие в воздухе. Повсюду вокруг громоздятся упаковочные клетки, огромные бочки, жестяные баки, бочонки, мешки с углем и накрытые парусиной груды провианта высотой от

палубного настила до бимсов. Даже без фонаря Крозье легко нашел бы путь в кишашей попискивающими крысами темноте – он знает каждый дюйм своего корабля. Порой – особенно когда стонет лед – Френсис Родон Мойра Крозье сознает, что военный корабль «Террор» для него жена, мать, невеста и шлюха. Интимная близость с дамой, сделанной из дуба и железа, пакли и парусины, – единственный истинный супружеский союз, который у него может быть и будет когда-либо. Как он мог думать иначе в случае с Софией?

В иные разы – еще позже ночью, когда стоны льда перерастают в пронзительные крики, – Крозье кажется, будто корабль превратился в его тело и разум. Там, за стенками корпуса, смерть. Вечная стужа. Здесь, на корабле, даже затертом льдами, продолжается пульсация тепла, разговоров, движения и здравого смысла – пускай сколь угодно слабая.

Но спуск глубже в недра корабля, ясно понимает Крозье, подобен слишком глубокому проникновению в чье-то тело или сознание. Там можно столкнуться с вещами, весьма неприятными. Средняя палуба представляет собой брюхо. Здесь хранятся продовольствие и необходимые материальные средства, все уложенные в порядке предполагаемой надобности, легкодоступные для людей, которых гонят сюда крики, пинки и тумачи мистера Диггла. Ниже, в трюмной палубе, куда он направляется, находятся кишечник и почки – водяные цистерны, большая часть запасов угля и еще один склад провианта, гниющего в темноте. Но сильнее всего Крозье тревожит аналогия с сознанием. Почти всю жизнь неотступно преследуемый меланхолией, видящий в ней свою тайную слабость, усугубившуюся за двенадцать зим, проведенных во льдах в арктической темноте, чувствующий недавнее ее обострение до жестокой муки, вызванное отказом Софии Крэкрофт, Крозье представляет частично освещенную и изредка отапливаемую, но вполне пригодную для жилья главную палубу как разумную часть своего существа. Средняя палуба сознания является местом, где он проводит слишком много времени в последние дни – прислушиваясь к крикам льда, со страхом ожидая, когда металлические болты и крепежные детали балок полопаются от мороза. Трюмная палуба внизу, со своим ужасным зловонием и ждущей новых поступлений мертвецкой, есть безумие.

Крозье прогоняет эти мысли прочь. Он заглядывает в проход между установленными друг на друга клетями и бочками, ведущий к носовой части. Луч фонаря упирается в переборку мучной кладовой, и проходы по обеим сторонам от нее сужаются до коридорчиков, еще более узких, чем коридор к офицерским каютам в жилой палубе, – здесь людям приходится

протискиваться между стенкой мучной кладовой и уложенными в несколько рядов последними мешками угля на «Терроре». Кладовая плотника находится впереди у правого борта, а кладовая главного боцмана – прямо напротив, у левого.

Крозье поворачивается и светит фонарем в направлении кормы. Крысы разбегаются в стороны, хотя довольно вяло, прячась от света между бочонками солонины и упаковочными клетями с консервированными продуктами.

Даже при тусклом свете капитан видит, что висячий замок на двери винной кладовой на месте. Ежедневно один из офицеров Крозье спускается сюда за порцией рома, необходимой для приготовления грога, скупо выдаваемого людям в полдень: четверть пинты выдержанного рома на три четверти пинты воды. В винной кладовой хранятся также запасы бренди и вина для офицеров, а равно две сотни мушкетов, абордажных сабель и шпаг. По принятому в военно-морском флоте обыкновению к винной кладовой ведут люки прямо из офицерской столовой и кают-компаний, расположенных над ней. Если на корабле вспыхнет мятеж, офицеры первыми доберутся до оружия.

За винной кладовой находится пороховая камера с бочонками пороха и картечи. По обеим сторонам от винной кладовой располагаются разнообразные хранилища, в том числе рундуки для якорных цепей, парусная кладовая с запасами парусины и всеми сопутствующими принадлежностями, а также баталерка, откуда мистер Хелпмен, заведующий вещевым довольствием, выдает людям верхнюю одежду.

За винной кладовой и пороховой камерой находится капитанская кладовая, где содержатся личные, купленные на собственные деньги продукты некоего Френсиса Крозье – копченые окорока, сыры и прочие лакомства. По-прежнему жив обычай, предписывающий капитану корабля время от времени накрывать стол для своих офицеров, и хотя снесь в кладовой Крозье выглядит бледно по сравнению с деликатесами, которыми набита кладовая покойного капитана сэра Джона Франклина на «Эребусе», запасов провизии здесь – теперь почти полностью истощившихся – хватило на два лета и две зимы во льдах. К тому же, с улыбкой думает он, у него в кладовой имеется преимущество в виде приличного винного погреба, все еще служащего службу офицерам. Бедные лейтенанты и гражданские офицеры на борту «Эребуса» обходятся без спиртного вот уже два года. Сэр Джон Франклин капли в рот не брал и потому при жизни был головной болью для своих офицеров.

По ведущему из кормовой части судна узкому проходу к Крозье

приближается покачивающийся фонарь. Повернувшись, капитан видит некое подобие мохнатого черного медведя, протискивающегося между переборкой мучной кладовой и мешками угля.

– Мистер Уилсон, – говорит Крозье, узнав помощника плотника по округлым очертаниям фигуры, а также по перчаткам из тюленьей кожи и кожаным штанам, какие были выданы всем людям перед отплытием, но которым лишь немногие отдавали предпочтение перед фланелевыми и шерстяными.

После одной из отлучек с корабля помощник плотника сшил из волчьих шкур, купленных на датской китобойной базе в заливе Диско, неуклюжего покроя – но теплую, как он утверждал, – шубу. Если бы не внушительные габариты Уилсона, его часто путали бы в темноте с леди Безмолвной.

– Капитан.

Уилсон, один из самых толстых мужчин на борту, держит в левой руке фонарь, а правой рукой обхватывает и прижимает к боку несколько ящиков с плотницкими инструментами.

– Мистер Уилсон, засвидетельствуйте мое почтение мистеру Хани и, пожалуйста, попросите его спуститься ко мне в трюмную палубу.

– Есть, сэр. Куда именно?

– К мертвецкой, мистер Уилсон.

– Есть, сэр.

Свет фонаря отражается в глазах Уилсона, когда он задерживает любопытный взгляд на капитане на секунду дольше, чем позволяют приличия.

– И попросите мистера Хани прихватить лом.

– Есть, сэр.

Крозье отступает в сторону, втискиваясь между двумя бочонками, чтобы пропустить более крупного мужчину к трапу, ведущему в жилую палубу. Капитан понимает, что, возможно, он зря срывает плотника с места – заставляет человека неведь зачем натягивать поддевки и зимнюю шинель перед самым отходом ко сну, – но у него предчувствие, и лучше побеспокоить плотника сейчас, чем позже.

Когда Уилсон протискивается в верхний люк, капитан Крозье поднимает крышку нижнего и спускается в трюмную палубу.

Капитан никогда не читал «Божественную комедию» Данте, даже часть под названием «Ад», но, если бы читал, он мгновенно признал бы в трюме вполне узнаваемое земное подобие девятого круга Ада.

Поскольку все междупалубное пространство здесь находится ниже

уровня льда, в трюме почти так же холодно, как во враждебном мире снаружи. И темнее, поскольку здесь нет ни северного сияния, ни звезд, ни луны, светом своим рассеивающих вездесущую тьму. Здесь душно от угольной пыли и дыма – Крозье смотрит на черные струйки, обвивающиеся вокруг шипящего фонаря, точно костяные пальцы привидений-плакальщиц, – и воняет нечистотами и трюмной водой. Скребущие, шуршащие и снова скребущие звуки доносятся из темноты со стороны кормы, но Крозье знает, что это просто загребают лопатами уголь в котельной. Только остаточное тепло котельной не позволяет трехдюймовому слою зловонной воды, плещущей у подножья трапа, превратиться в лед. Впереди, где носовая часть погружена в лед глубже, палубный настил покрыт почти футовым слоем ледяной воды, хотя люди стоят у насосов по шесть и более часов ежедневно. «Террор», как любое другое живое существо, выдыхает влагу через посредство двух десятков своих жизненно важных органов – включая постоянно работающую плиту мистера Диггла, – и если жилая палуба всегда сырая и по бортам тронута изморозью, а средняя палуба выстужена, то трюм представляет собой подземную темницу со свешивающимися со всех бимсов сосульками и стоящей здесь водой выше щиколотки. Ощущение лютого холода усугубляют плоские черные бока двадцати железных водяных цистерн, выстроившихся вдоль стенок корпуса с одной и другой стороны. Наполненные тридцатью девятью тоннами пресной воды перед отплытием экспедиции, сейчас они представляют собой закованные в броню айсберги, и дотронуться до железа – значит лишиться кожи.

Магнус Мэнсон ждет у подножья трапа, как доложил рядовой Уилкс, но здоровенный матрос не сидит на заднице, а стоит – наклонив голову и сгорбившись под низкими бимсами. Его бледное мясистое лицо со стиснутыми челюстями напоминает Крозье очищенную подгнившую картофелину, засунутую под «уэльский парик». Он не желает встречаться взглядом со своим капитаном при режущем глаза свете фонаря.

– В чем дело, Мэнсон?

В голосе Крозье не слышится раздражения, которому он дал волю в разговоре с вахтенным и лейтенантом. Он говорит бесцветным, спокойным и уверенным тоном человека, в чьей власти выпороть и повесить своего подчиненного.

– Это все привидения, капитан.

Для столь крупного мужчины голос у Магнуса Мэнсона по-детски тонок и слаб. Когда в июле 1845-го «Террор» и «Эребус» останавливались в заливе Диско у западного побережья Гренландии, капитан сэра Джон

Франклин счел нужным уволить из экспедиции четырех человек: рядового морской пехоты и матроса с «Террора» и парусника и оружейника с «Эребуса». Крозье высказался за увольнение матроса Джона Брауна и рядового морской пехоты Эйкина со своего корабля – они были немногим лучше инвалидов и совершенно зря нанялись на судно, идущее в такое тяжелое плавание, – но впоследствии он пожалел, что не отправил домой и Мэнсона тоже. Если этот здоровенный парень еще и не повредился рассудком, то уже настолько близок к помешательству, что разница практически не ощущается.

– Ты знаешь, что на «Терроре» нет привидений, Мэнсон.

– Да, капитан.

– Посмотри на меня.

Мэнсон поднимает голову, но в глаза Крозье не смотрит. Капитана изумляет, что на таком большом мясистом лице – и такие крохотные блеклые глазки.

– Ты отказался выполнять приказ мистера Томпсона носить мешки с углем в котельную, матрос Мэнсон?

– Нет, сэр. Да, сэр.

– Ты знаешь, каковы последствия неподчинения приказам на этом корабле?

У Крозье такое ощущение, будто он разговаривает с малым ребенком, хотя Мэнсону по меньшей мере тридцать лет.

Лицо матроса светлеет, словно он услышал вопрос, на который может дать правильный ответ.

– О да, капитан. Порка, сэр. Двадцать плетей. Сотня плетей, коли я не подчинюсь приказу вторично. И повешение, коли я ослушаюсь настоящего офицера, а не какого-то там мистера Томпсона.

– Совершенно верно, – говорит Крозье. – Но известно ли тебе, что за проступок капитан может также наложить любое наказание, какое сочтет нужным?

Мэнсон смотрит на него сверху вниз, с недоумением в светлых глазах. Он не понял вопроса.

– Я имею в виду, что могу наказать тебя по своему усмотрению, матрос Мэнсон, – говорит капитан.

На мясистом лице отражается облегчение.

– О да, истинная правда, капитан.

– Вместо двадцати плетей, – говорит Френсис Крозье, – я могу приказать запереть тебя в мертвецкой на двенадцать часов, без света.

От лица Мэнсона, и без того бледного, отхлынуло столько крови, что

Крозье приготовился отступить в сторону, если здоровенный парень грохнется в обморок.

– Вы... не можете... – Голос ребенка-мужчины дрожит.

Несколько долгих мгновений в нарушаемой лишь шипением фонаря тишине Крозье молчит, сознательно устрашая матроса выражением своего лица. Наконец он спрашивает:

– Что за звуки, по-твоему, ты слышал, Мэнсон? Тебе кто-нибудь рассказывал истории про призраков?

Мэнсон открывает рот, но, похоже, не может решить, на какой вопрос ответить в первую очередь. На толстой нижней губе у него образуется налет инея.

– Уокер, – наконец говорит он.

– Ты боишься Уокера?

Джеймс Уокер – друг Мэнсона, примерно одного возраста с этим идиотом и немногим умнее, – был последним человеком, погибшим на льду всего неделю назад. Корабельные правила предписывали членам команды держать открытыми лунки, просверленные во льду рядом с кораблем, – даже если толщина льда десять или пятнадцать футов, как сейчас, – дабы иметь доступ к воде в случае пожара, вспыхни таковой на борту. Уокер и два его товарища отправились в темноте вскрывать одну такую старую лунку, которая затянулась бы льдом меньше чем за час, если бы не металлические штыри, вколоченные по окружности. Белое чудовище, внезапно появившееся из-за торосной гряды, в считанные секунды оторвало матросу руку и раздробило грудную клетку – и исчезло прежде, чем вооруженные часовые на палубе успели вскинуть дробовики.

– Уокер рассказывал тебе истории про призраков? – спрашивает Крозье.

– Да, капитан. Нет, капитан. Джимми, он сказал мне за день до того, как существо убило его. «Магнус, – сказал он, – если это дьяволово отродье там во льдах доберется до меня когда-нибудь, я вернусь в белом саване, чтобы шептать тебе на ухо, как холодно в аду». Ей-богу, капитан, так Джимми сказал мне. И теперь я слышу, как он пытается выбраться из...

Словно по сигналу, корпус судна глухо трещит, промерзшая палуба под ногами стонет, металлические скобы на бимсах стонут в ответ, точно сопереживая, и в темноте вокруг раздаются скребущие, царапающие звуки, которые как будто прокатываются от одного конца судна к другому. Лед беспокоен.

– Ты такие звуки слышишь, Мэнсон?

– Да, капитан. Нет, капитан.

Мертвецкая находится в тридцати футах от них в сторону кормы, сразу за последней стонущей водяной цистерной, но, когда лед снаружи стихает, Крозье слышит лишь приглушенный скрежет и стук лопат в котельной, расположенной дальше к корме.

Крозье сыт по горло этим вздором:

– Ты знаешь, что твой друг не вернется, Магнус. Он лежит там, во вспомогательной парусной кладовой, надежно зашитый в свою парусиновую койку, вместе с другими пятью окоченелыми трупами, завернутыми в три слоя самой толстой парусины. Если ты и слышишь какие-то звуки, доносящиеся оттуда, то это чертовы крысы, которые пытаются добраться до них. Ты это знаешь, Магнус Мэнсон.

– Да, капитан.

– Я не потерплю неподчинения приказам на своем корабле, матрос Мэнсон. Ты должен принять решение. Либо ты таскаешь уголь, куда тебе велит мистер Томпсон. Приносишь продукты, когда мистер Диггл посылает тебя за ними вниз. Выполняешь все приказы быстро и без возражений. Либо ты предстанешь перед судом... передо мной... и, вполне вероятно, сам проведешь холодную ночь в мертвецкой, в кромешной тьме, без фонаря.

Не промолвив более ни слова, Мэнсон отдает честь, дотрагиваясь костяшками пальцев до лба, поднимает огромный мешок угля, брошенный на ступеньке трапа, и тащит в темноту, к корме.

Сам инженер разделся до нижней рубашки и вельветовых штанов и загребает лопатой уголь, работая бок о бок с дряхлым сорокасемилетним кочегаром по имени Билл Джонсон. Второй кочегар, Льюк Смит, сейчас спит в жилой палубе между сменами, а старший кочегар «Террора», молодой Джон Торрингтон, умер первым в экспедиции, первого января 1846 года. Но его смерть наступила по естественным причинам, – похоже, лечащий врач Торрингтона убедил девятнадцатилетнего парня отправиться в море, чтобы излечить чахотку, и он скончался через три месяца тяжелой болезни, когда корабли стояли во льдах в заливе у острова Бичи в первую зиму плавания. Доктора Педди и Макдональд сказали Крозье, что легкие у парня были забиты угольной пылью, точно карманы дымохода.

– Благодарю вас, капитан, – говорит молодой инженер между двумя взмахами лопаты.

Матрос Мэнсон только что свалил с плеч на пол второй мешок и пошел за третьим.

– Не за что, мистер Томпсон.

Крозье бросает взгляд на кочегара Джонсона. Он на четыре года моложе капитана, но выглядит тридцатью годами старше. Все складки и морщины на отмеченном печатью времени лице Джонсона черные от глубоко въевшейся сажи и угольной пыли. Даже беззубые десны у него серые от копоти. Крозье не хочет выговаривать своему инженеру – а следовательно, офицеру, хотя и возведенному в офицерское звание только на время экспедиции, – в присутствии кочегара, но все же говорит:

– Полагаю, мы больше не будем использовать морских пехотинцев в качестве посыльных, коли подобная ситуация возникнет в будущем, в чем я сильно сомневаюсь.

Томпсон кивает, толчком лопаты с лязгом захлопывает железную решетку топки, потом опирается на лопату и велит Джонсону сходить наверх к мистеру Дигглу и принести кофе для него. Крозье рад, что кочегар ушел, но еще больше рад, что решетка закрыта: после холода снаружи от жары в котельной он чувствует легкую дурноту.

При мысли о судьбе инженера капитан испытывает невольное изумление. Мичман Джеймс Томпсон, инженер первого класса, выпускник училища при фабрике паровых двигателей в Вулриче – лучшего в мире полигона для обучения нового поколения инженеров, – здесь, в грязной нижней рубашке, точно простой кочегар, бросает лопатой уголь в топку в котельной затертого льдами корабля, который за последний год с лишним не переместился ни на дюйм собственными силами.

– Мистер Томпсон, – говорит Крозье, – к сожалению, у меня не было возможности побеседовать с вами сегодня после вашего возвращения с «Эребуса». Вам удалось переговорить с мистером Грегори?

Джон Грегори – инженер на флагманском корабле.

– Да, капитан. Мистер Грегори убежден, что с наступлением настоящей зимы они никакими силами не сумеют добраться до поврежденного ведущего вала. Даже если им удастся пробить тоннель во льду и заменить последний сломанный гребной винт на другой, изготовленный на скорую руку, со столь сильно погнутом валом «Эребус» все равно не сможет идти под паром.

Крозье кивает. «Эребус» погнул свой второй вал, когда безрассудно пошел на штурм льдов больше года назад. Флагманский корабль – более тяжелый и с более мощным двигателем – тем летом прокладывал путь через паковые льды, открывая проход для второго судна. Но последнее ледяное поле, на которое они натолкнулись перед тем, как застряли во льдах, оказалось тверже, чем железо экспериментального гребного винта. Тогда же ныряльщики – которые все получили обморожение и едва не

умерли – доложили, что не только винт сломался, но и ведущий вал погнулся и треснул.

– Что у них с углем? – спрашивает капитан.

– Угля на «Эребусе» хватит на... вероятно, месяца на четыре обогрева жилой палубы, если подавать горячую воду в трубы всего по часу в день, капитан. И не останется ни крошки, чтобы идти под паром следующим летом.

«Если мы вообще вырвемся из ледового плена», – думает Крозье. После этого лета, когда лед не смягчился ни на день, он смотрит на вещи пессимистично. Франклин расточительно тратил запасы угля на «Эребусе» в последние несколько недель свободы летом 1846-го, уверенный, что, если они сумеют пробиться через последние мили паковых льдов, экспедиция достигнет открытых вод Северо-Западного прохода, пролегающего вдоль северного побережья Канады, и к концу осени они уже будут гонять чай в Китае.

– А что у нас с углем? – спрашивает Крозье.

– Вероятно, хватит на шесть месяцев обогрева жилой палубы, – говорит Томпсон. – Но при условии, если мы сократим время подачи горячей воды в трубы с двух часов в день до одного. И я советую сделать это поскорее – не позднее первого ноября.

До означенной даты оставалось меньше двух недель.

– А как насчет возможности идти под паром? – спрашивает Крозье.

Если следующим летом лед вообще подтает, Крозье планирует взять на борт «Террора» всех оставшихся в живых людей с «Эребуса» и предпринять отчаянную попытку вернуться обратно прежним путем: пройти безымянным проливом между полуостровом Бутия и островом Принца Уэльского, который они лихо миновали два лета назад; потом мимо мыса Уокер и по проливу Барроу; далее проскочить через пролив Ланкастер подобием вылетающей из бутылки пробки; а потом на всех парусах устремиться на юг, в Баффинов залив, сжигая вместо угля запасной рангоут и мебель, коли понадобится выжать из двигателя последнюю толику пара, – лишь бы только выйти в свободные от льда воды в окрестностях Гренландии, где их найдут китобойцы.

Но даже если произойдет чудо и они вырвутся из ледового плена здесь, чтобы пробиться на север к проливу Ланкастер через дрейфующие в южном направлении льды, кораблю нужен пар. Крозье и Джеймс Росс выходили на «Терроре» и «Эребусе» из антарктических льдов, но тогда они плыли по течению, вместе с айсбергами. Здесь же, в проклятой Арктике, кораблям неделями приходится идти навстречу движущемуся от полюса

потоку плавучего льда, чтобы хотя бы достичь проливов, открывающих путь к спасению.

Томпсон пожимает плечами. У него изможденный вид.

– Если в первый день нового года мы прекратим отапливать жилую палубу и умудримся протянуть до лета, у нас может хватить угля, чтобы идти под паром в свободных от льда водах... ну... шесть дней? Пять?

Крозье снова кивает. Это практически смертный приговор его кораблю, но необязательно – экипажам обоих кораблей.

Из темного коридора доносится шум.

– Благодарю вас, мистер Томпсон.

Капитан снимает свой фонарь с железного крюка, выходит из озаренной отблесками огня жаркой котельной и шлепает по воде в темноте.

Томас Хани ждет в коридоре; свеча у него в фонаре еле горит в спертом воздухе. Он держит перед собой лом, словно мушкет, и еще не открыл замкнутую на засовы дверь мертвецкой.

– Спасибо, что пришли, мистер Хани, – говорит Крозье плотнику.

Не вдаваясь в объяснения, капитан отодвигает засовы и входит в выстуженную кладовую.

Крозье невольно поднимает фонарь и светит в сторону кормовой переборки, где сложены шесть мертвых тел, закутанные в парусиновый саван.

Груда шевелится. Крозье ожидал этого – ожидал увидеть движение крыс под парусиной, – но он осознает, что видит также сплошную шевелящуюся массу крыс и поверх парусинового савана. Над палубным настилом на добрых четыре фута поднимается куча из сотен крыс, которые все борются за возможность подобраться к окоченелым трупам. От крысиного писка здесь чуть уши не закладывает. Другие крысы шмыгают под ногами у него и плотника. «Спешат на пиршество», – думает Крозье. И несколько не боятся света фонарей.

Крозье направляет луч света на стенку корпуса, поднимается по чуть наклонному (из-за легкого крена судна на правый борт) палубному настилу и идет вдоль изогнутой, немного завалившейся вперед стенки.

Вот оно.

Он подносит фонарь ближе.

– Гореть мне в аду и болтаться на виселице, – говорит Хани. – Прощу прощения, капитан, но я не думал, что лед так скоро сотворит такое.

Крозье не отвечает. Он приседает на корточки, чтобы получше рассмотреть погнутые доски обшивки.

Они здесь сильно выпирают внутрь, выступая почти на фут из плавно

изогнутой стенки борта. Доски последнего внутреннего слоя обшивки потрескались, и по меньшей мере две из них сорвались с гвоздей с одного конца.

– Господи Иисусе Всемогущий, – говорит плотник, приседая на корточки рядом с капитаном. – Этот чертов лед, твою мать, он просто жуть какая силища, прошу у капитана прощения, сэр.

– Мистер Хани, – говорит Крозье, выдыхая облачко крохотных ледяных кристаллов, которые, искрясь в свете фонаря, оседают на уже обледенелые доски, – что-нибудь, кроме льда, могло причинить такое повреждение?

Плотник разражается смехом, но тут же умолкает, осознав, что капитан не шутит. Глаза у него округляются, потом прищуриваются.

– Еще раз прошу прощения, капитан, но если вы имеете в виду... это невозможно.

Крозье молчит.

– Я имею в виду, капитан, первоначально корабль имел трехдюймовую обшивку из лучшего черешчатого дуба. А для этого путешествия – в смысле, для ледового плавания, сэр, – ее толщина была удвоена двумя слоями тикового дерева, по полтора дюйма каждый. И тиковые доски пущены по диагонали, сэр, что придает обшивке еще большую прочность, чем в случае, если бы они располагались горизонтально.

Крозье разглядывает сорванные с гвоздей доски, стараясь не обращать внимания на море крыс за ними и вокруг них, а равно на царапающие и чавкающие звуки, доносящиеся от кормовой переборки.

– Вдобавок, сэр, – продолжает Хани хриплым от холода голосом, выдыхая облачко пара, отдающее ромом и мгновенно замерзающее на морозе, – поверх трех дюймов черешчатого дуба и трех дюймов тика наложены два двухдюймовых слоя канадского вяза, что увеличивает толщину обшивки еще на четыре дюйма. И вязовые доски пущены по диагонали, в перпендикуляр к тиковым. Таким образом, мы имеем пять слоев крепких досок, сэр... десять дюймов самой прочной древесины отделяют нас от моря.

Плотник замолкает, осознав, что читает капитану лекцию о деталях выполненной на верфи работы, за которой Крозье самолично наблюдал в течение нескольких месяцев перед отплытием.

Капитан поднимается на ноги и кладет руку в рукавице туда, где доски сорвались с гвоздей. Там образовалась щель шириной более дюйма.

– Поставьте свой фонарь на пол, мистер Хани. Выломайте эти доски ломом. Я хочу посмотреть, что лед сделал с наружными дубовыми досками

обшивки.

Хани подчиняется. На несколько минут лязг лома о промерзшее дерево и кряхтение плотника почти заглушают неистовую возню грызунов у них за спиной. Погнутые вязовые доски, поддетые и вывернутые ломом, отрываются и падают под ноги. За ними следуют потрескавшиеся тиковые доски. Теперь остаются только выгнутые внутрь дубовые доски первоначальной обшивки; Крозье подступает ближе и поднимает фонарь, чтобы лучше видеть.

В проломе длиной в фут блестят в фонарном свете осколки и острые зубцы льда, но в самом центре они видят нечто, вызывающее гораздо сильнейшую тревогу: там чернота. Пустота. Дыра во льду. Тоннель.

– Господи Иисусе, Боже Всемогущий, мать твою перемать, – единым духом выдыхает плотник. На сей раз он не извиняется перед капитаном.

У Крозье возникает желание облизать пересохшие губы, но он знает, что здесь, при минус пятидесяти, этого делать не стоит. Однако сердце у него колотится столь бешено, что он также чувствует искушение схватиться рукой за стенку корпуса, чтобы удержаться на ногах, – как уже сделал плотник.

Ледяной воздух снаружи врывается в пролом с такой силой, что едва не гасит фонарь. Крозье загораживает свободной рукой трепещущий язычок пламени, в неверном свете которого тени мужчин мечутся по палубному настилу, бимсам и переборкам.

Две длинные наружные доски обшивки разломаны в щепы и вдавлены внутрь под воздействием некой непостижимой, непреодолимой силы. В свете слегка дрожащего фонаря отчетливо видны следы огромных когтей на растрескавшихся дубовых досках – следы когтей с размазанными пятнами немыслимо красной крови.

*75°12' северной широты, 61°06' западной долготы
Баффинов залив, июль 1845 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

11 апреля 1845 г.

В сегодняшнем письме к брату я написал: «Все офицеры исполнены надежды совершить переход по Северо-Западному пути и к концу лета достичь Тихого океана».

Должен признаться, я лично надеюсь, как это ни эгоистично с моей стороны, что экспедиции потребуется чуть больше времени, чтобы достичь Аляски, России, Китая и теплых вод Тихого океана. Хотя я получил специальность анатома и нанялся в экспедицию сэра Джона Франклина простым фельдшером, на самом деле я не просто фельдшер, но доктор и должен признаться также, что, сколь бы неумелы ни были мои попытки, я надеюсь стать немного натуралистом в данном путешествии. Незнакомый на практике с арктическими флорой и фауной, я планирую лично познакомиться с жизненными формами царства вечных льдов, к которому мы отплыли всего месяц назад. Особенно меня интересует белый медведь, хотя большинство рассказов о нем, какие слышишь от китобоев и старых полярников, слишком неправдоподобны.

Я признаю, что вести личный дневник в плавании не принято – в судовом журнале, который я начну после нашего отплытия в следующем месяце, будут содержаться все заслуживающие упоминания обстоятельства моей профессиональной деятельности и отчеты о моем времяпрепровождении на борту британского военного корабля «Эребус» в должности фельдшера и в качестве участника экспедиции капитана сэра Джона Франклина, имеющей своей целью пройти по Северо-Западному проходу, – но мне представляется, что одного судового журнала недостаточно и требуются еще записи, более личного свойства, и даже если я никогда не дам ни одной живой душе прочитать свой дневник по возвращении из путешествия, мой долг – перед самим собой, если не перед

другими, – сохранить сии путевые заметки.

В данный момент мне известно лишь, что экспедиция под командованием капитана сэра Джона Франклина уже обещает стать величайшим приключением в моей жизни.

Воскресенье, 18 мая 1845 г.

Все люди уже на борту, и, хотя последние приготовления к завтрашнему отплытию все еще продолжаются (в частности, погрузка ящиков, содержащих, как уведомил меня капитан Фицджереймс, восемь тысяч жестянок с консервированными продуктами и доставленных в последнюю минуту), сэр Джон сегодня провел богослужение для судовой команды «Эребуса» и всех людей из экипажа «Террора», пожелавших присоединиться к нам. Я заметил, что капитан «Террора», ирландец по имени Крозье, не присутствовал.

Ни один из бывших сегодня на богослужении и слышавших очень длинную проповедь сэра Джона не мог не расчувствоваться до глубины души. Я задаюсь вопросом, было ли еще когда-нибудь в военно-морском флоте какой-либо страны судно под командованием столь религиозного человека. Несомненно, в предстоящем путешествии мы со спокойным сердцем, истинно и бесповоротно вверяем свою судьбу всемилостивому Господу.

19 мая 1845 г.

Какое отплытие!

Никогда прежде не ходивший в море, тем более в качестве участника столь славной экспедиции, я совершенно не знал, чего ожидать, но ничто не могло подготовить меня к таким торжественным проводам.

По оценке капитана Фицджереймса, свыше десяти тысяч доброжелателей и важных персон собралось на пристанях Гринхайта, дабы проводить нас.

Речи звучали одна за другой, и под конец мне уже стало казаться, что нам не позволят отплыть, пока солнце еще стоит высоко в летнем небе. Играли оркестры. Леди Джейн, находившаяся на борту с сэром Джоном, спустилась по сходням под громкое многократное «ура!», исторгшееся из груди шестидесяти с лишним членов судовой команды «Эребуса». Играли оркестры. Потом, когда мы отдали концы, все разразилось воодушевленными возгласами и криками, и несколько минут стоял такой оглушительный шум, что я не расслышал бы приказа, прокричи мне таковой в ухо сам сэр Джон.

Накануне вечером лейтенант Гор и главный врач Стенли любезно уведомили меня, что обычай предписывает офицерам не выказывать

эмоций во время отплытия, и потому, хотя я являюсь офицером лишь формально, я стоял вместе с офицерами, выстроившимися в ряд в своих великолепных синих мундирах, и старался сдерживать любые проявления чувств, пусть и вполне подходящих мужчине.

Одни только мы хранили внешнюю невозмутимость. Матросы на вантах вопили во всю глотку и махали платками, и я видел множество нарумяненных портовых девок, машущих им в ответ. Даже капитан сэр Джон Франклин махал ярким красно-зеленым платком своей супруге леди Джейн, дочери Элеоноре и племяннице Софии Крэкрофт, покуда следующий за нами «Террор» не заслонил пристани от нашего взора.

На данном отрезке пути нас тащат на буксире паровые суда и сопровождает «Рэттлер», новый фрегат с мощным паровым двигателем, а также наемное грузовое судно, везущее наши продовольственные припасы, «Баретто Джуниор».

Перед самым отходом «Эребуса» от пристани на верхушку грот-мачты опустился голубь. Дочь сэра Джона от первого брака Элеонора – тогда еще хорошо видимая в толпе в своем ярко-зеленом шелковом платье и с изумрудного цвета зонтиком – закричала нам, тщетно сясь перекрыть рев толпы и гром духовых оркестров, а потом показала пальцем, и сэр Джон и многие офицеры посмотрели наверх, заулыбались и обратили внимание всех остальных членов команды на голубя.

В сочетании со словами, прозвучавшими в ходе вчерашнего богослужения, я должен признать появление голубя лучшим предзнаменованием из всех возможных.

4 июля 1845 г.

Какой ужасный переход через Северную Атлантику к Гренландии!

Тридцать штормовых дней, даже ведомый на буксире, наш корабль качался и метался на волнах, кренясь из стороны в сторону так сильно, что плотно закрытые пушечные порты по обоим бортам временами оказывались всего в нескольких футах над водой, и порой едва продвигаясь вперед. Двадцать восемь дней из тридцати я жестоко мучился морской болезнью. По словам лейтенанта Левеконта, мы ни разу не развили скорость выше пяти узлов, на каковой малой скорости, заверяет он, чрезвычайно трудно приходится любому обычному паруснику, не говоря уже о таком чуде техники, как «Эребус» и второе наше судно «Террор», которые оба способны идти под паром, приводимые в движение своими неукротимыми гребными винтами.

Три дня назад мы обогнули мыс Фарвелл на южной оконечности Гренландии, и должен признать, что вид этого огромного континента со

скалистыми утесами и бесконечными ледниками, спускающимися прямо к морю, подействовал на мое душевное состояние так же тягостно, как действовала качка на мой желудок.

Боже милостивый, какой пустынный, холодный край! А ведь сейчас июль.

Наш боевой дух, однако, на высоте, и все полагаются на опыт и здравомыслие сэра Джона. Вчера лейтенант Фейрхольм, самый молодой из наших лейтенантов, доверительно сказал мне: «Я никогда прежде не ходил в плавание с капитаном, в котором видел бы настоящего товарища, какого вижу в нашем».

Сегодня мы стали на якорь у китобойной базы здесь, в заливе Диско. Тонны продовольствия перегружаются с «Баретто Джуниор» на наши корабли, и десять живых быков, находившиеся на борту грузового судна, были забиты днем. Все члены экипажей обоих экспедиционных кораблей нынче вечером полакомятся свежим мясом.

Четыре человека были уволены из экспедиции сегодня – по рекомендации четырех корабельных врачей, включая меня, – и они вернутся в Англию на грузовом и буксирном судах. В числе уволенных один человек с «Эребуса» – некий Томас Берт, оружейник, – и три человека с «Террора»: рядовой морской пехоты по имени Эйкин, матрос по имени Джон Браун и старший парусник Джеймс Эллиот. Таким образом, общая численность двух судовых команд сократилась до ста двадцати девяти.

Повсюду развешана вяленая рыба, купленная у датчан; в воздухе висит облако угольной пыли – сотни мешков с углем были сегодня перенесены с «Баретто Джуниор», – и матросы на «Эребусе» усердно скребут и скоблят палубу гладкими камнями, которые называют молитвенниками, а офицеры подгоняют их криками. Несмотря на дополнительную работу, все матросы находятся в приподнятом настроении ввиду обещанного вечером пиршества и добавочных порций грога.

Помимо четырех человек, уволенных по состоянию здоровья, сэр Джон отправляет с «Баретто Джуниор» июньские отчеты, официальные сообщения и всю личную корреспонденцию. Ближайшие несколько дней все будут строчить письма.

Следующее послание, которое получают наши любимые, будет отправлено из России или Китая!

12 июля 1845 г.

Два китобойных судна – «Принц Уэльский» и «Энтерпрайз» – встали на якорь неподалеку от места, где мы пришвартовались к плавучей ледяной горе. Я провел много часов, разговаривая с капитанами и членами команд о

белых медведях.

Я также испытал явственный ужас, если не удовольствие, поднявшись на этот огромный айсберг сегодня утром. Матросы взобрались на него вчера с утра пораньше, вырубив топорами в отвесной ледяной стене ступеньки, а потом натянув по сторонам от них тросы для менее ловких и проворных. Сэр Джон распорядился устроить обсерваторию на вершине гигантского айсберга, высотой превосходящего самую высокую нашу мачту в два с лишним раза, и, пока лейтенант Гор и несколько офицеров с «Террора» поднимали метеорологические и астрономические приборы наверх – накануне там установили палатку для людей, ночевавших на крутой ледяной горе, – наши ледовые лоцманы, мистер Рейд с «Эребуса» и мистер Блэнки с «Террора», провели всю светлую часть дня, всматриваясь в западный и северный горизонты сквозь медные подзорные трубы в поисках, как мне сказали, наиболее удобного пути через почти сплошное ледяное поле, уже образовавшееся там. Эдвард Кауч, наш весьма сведущий и словоохотливый помощник капитана, говорит, что в данную пору арктического сезона для кораблей уже поздно искать какие-либо проходы во льдах, а тем более легендарный Северо-Западный проход.

При виде пришвартованных к айсбергу «Эребуса» и «Террора» внизу, путаницы веревок (которые теперь мне, как старому морскому волку, надлежит называть тросами), прочно связывающих суда с ледяной горой, и самых высоких на кораблях «вороньих гнезд» под моими ногами, нетвердо стоящими на скользкой ледяной вершине, столь высоко вознесшейся надо всем, я испытал своего рода болезненный, смешанный с ужасом восторг и головокружение.

Восхитительно было стоять там, на высоте трехсот футов над морем, – вершина айсберга представляла собой площадку размером с центральную часть крикетного поля, и палатка с нашей метеорологической обсерваторией казалась неуместной на голубом льду, – но мои надежды предаться в тиши возвышенным грезам были разрушены беспрестанной ружейной пальбой, ибо мужчины, рассыпавшиеся по вершине нашей ледяной горы, стреляли птиц (арктических крачек, как мне сказали) сотнями. Бесчисленные груды этих птиц будут засолены и убраны на хранение, хотя одному Богу ведомо, куда поставят дополнительные бочонки с солониной, ибо оба наших корабля уже трещат по всем швам и сидят в воде низко под тяжестью своего груза.

Доктор Макдональд, фельдшер с «Террора», – мой коллега, собственно говоря, – держится мнения, что засоленная пища не столь полезна и богата витаминами, как свежие или не обработанные солью продукты, а поскольку

члены обеих судовых команд предпочитают соленую свинину всем прочим блюдам, доктор Макдональд беспокоится, что пища сильного соления будет мало способствовать нашей защите от цинги. Однако Стивен Стенли, корабельный врач «Эребуса», считает подобные опасения беспочвенными. Он указывает, что, помимо десяти тысяч банок консервов, на борту одного только «Эребуса» наши запасы консервированных продуктов включают в себя вареную и жареную баранину, говядину, самые разные овощи, в том числе картофель, морковь, пастернак, овощные салаты, а также широкое разнообразие супов и 9450 фунтов шоколада. Почти столько же фунтов – 9300 – лимонного сока взяты на борт в качестве нашего главного противочинготного средства. По словам Стенли, простые матросы терпеть не могут выдаваемый ежедневно лимонный сок, даже изрядно подслащенный сахаром, и одна из основных обязанностей экспедиционных врачей – следить за тем, чтобы они его исправно пили.

Меня удивило, что офицеры и матросы обоих наших кораблей охотятся преимущественно с дробовиками. Лейтенант Гор заверяет меня, что на каждом корабле имеется полный арсенал мушкетов. Конечно, представляется целесообразным использовать дробовики при охоте на птиц, подобных тем, каких убивали сотнями сегодня, но даже в заливе Диско, когда небольшие отряды ходили охотиться на карибу и песцов, мужчины – даже морские пехотинцы, явно обученные обращению с мушкетами, – предпочитали брать с собой дробовики. Разумеется, дело здесь не столько в привычке, сколько в предпочтении: офицеры в большинстве своем английские джентльмены, которые никогда прежде не пользовались мушкетами или винтовками на охоте, и даже морские пехотинцы в прошлом охотились почти исключительно с дробовиками и пользовались однозарядными ружьями разве только в ближнем морском бою.

Но интересно знать, хватит ли мощности дробовика, чтобы убить большого белого медведя? Мы еще не видели ни одного из этих поистине удивительных животных, хотя все бывалые офицеры и матросы заверяют меня, что мы встретимся с ними, как только войдем в паковые льды, а если не тогда, то уж наверняка во время зимовки – коли нам придется зимовать во льдах. Истории о неуловимых белых медведях, поведенные мне здесь китобоями, потрясают воображение и леденят душу.

Пока я пишу сии строки, меня уведомляют, что течение, или ветер, или, возможно, некие требования китобойного промысла вынудили обоих китобойцев, «Принца Уэльского» и «Энтерпрайз», уйти от места нашей швартовки у ледяной горы. Капитан сэр Джон не будет сегодня вечером

обедать с капитаном одного из них (кажется, капитаном Мартином с «Энтерпрайза»), как планировалось.

Что более существенно, помощник капитана Роберт Серджент сию минуту сообщил мне, что наши люди спускают вниз астрономические и метеорологические приборы, сворачивают палатку и сматывают сотни ярдов веревки – то есть троса, – благодаря которым я взбирался на вершину айсберга сегодня.

Очевидно, ледовые лоцманы, капитан сэр Джон, командор Фицджереймс, капитан Крозье и прочие офицеры определились с выбором пути через постоянно перемещающиеся паковые льды.

Мы покинем наше временное ледяное пристанище через считанные минуты и продолжим путь, двигаясь на северо-запад, покуда позволяют арктические сумерки, кажущиеся бесконечными.

Отныне мы будем вне досягаемости даже для самых отважных китобойцев. Что касается мира вне нашей бесстрашной экспедиции, то, как сказал Гамлет, дальнейшее – молчание.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

9 ноября 1847 г.

Крозье видит во сне пикник на берегу Утконосова пруда и Софию, ласкающую его под водой, когда слышит звук выстрела и просыпается, вздрогнув всем телом.

Он рывком садится в койке, не зная, сколько сейчас времени, не зная, день сейчас или ночь – хотя теперь разницы между днем и ночью нет, поскольку как раз сегодня солнце окончательно скрылось, чтобы появиться только в феврале, через три с лишним месяца, – но, еще не успев зажечь маленький фонарь в своей каюте, чтобы посмотреть на часы, он понимает, что уже поздно. На корабле царят обычные тишина и покой – тишина, нарушаемая лишь мучительным скрипом дерева и металла внутри, храпом, бормотанием и попердыванием спящих людей да чертыханиями кока мистера Диггла; и покой, если не считать беспрестанного треска, скрежета, стона и глухого гула льда снаружи. Ко всему этому сегодня ночью добавился жуткий вой крепкого ветра, похожий на вопли призрака, предвещающие смерть.

Но Крозье разбудил не шум льда или ветра, а выстрел. Приглушенный многослойной обшивкой корпуса и покровом из льда и снега – но именно выстрел, без сомнений.

Крозье спал почти полностью одетым и теперь успел натянуть на себя большинство остальных поддевок и уже готов надеть верхнюю одежду, когда Томас Джопсон, его вестовой, стучит в каюту на свой обычный манер: три отчетливых легких удара костяшками пальцев. Капитан открывает задвижную дверь.

– Тревога на палубе, сэр.

Крозье кивает:

– Кто держит вахту сегодня ночью, Томас?

Хронометр показывает без малого три пополуночи. Память, хранящая ноябрьский суточный график дежурств, подсказывает капитану имена за мгновение до того, как Джопсон произносит их вслух:

– Билли Стронг и рядовой Хизер, сэр.

Крозье снова кивает, берет с буфета пистолет, проверяет, заряжен ли

он, сует за ремень и протискивается мимо вестового в офицерскую столовую, примыкающую к крохотной капитанской каюте со стороны правого борта, а потом быстро проходит через следующую дверь к главному трапу. Жилая палуба почти полностью погружена во тьму в столь ранний час – исключение составляет тусклый ореол света вокруг плиты мистера Диггла, – но в нескольких офицерских каютах зажигаются фонари, когда Крозье останавливается у подножья трапа, чтобы снять с крюка толстую зимнюю шинель и влезть в нее.

Задвижные двери начинают открываться. Старший помощник капитана Хорнби подходит к трапу и останавливается рядом с Крозье. Первый лейтенант Литтл торопливо шагает по коридору, неся три мушкета и саблю. За ним следуют лейтенанты Ходжсон и Ирвинг, которые тоже несут оружие.

Дальше за трапом матросы недовольно ворчат в своих койках, но второй помощник капитана Роберт Томас уже собирает рабочую группу, буквально вытряхивая спящих людей из коек и толкая к трапу, за верхней одеждой и оружием.

– Кто-нибудь уже поднимался на палубу посмотреть, в чем там дело? – спрашивает Крозье своего старшего помощника.

– Мистер Мейл, сэр, – отвечает Хорнби. – Он поднялся наверх сразу после того, как послал за вами вашего вестового.

Рубен Мейл – баковый старшина. Человек спокойный и выдержанный. Билли Стронг, несущий вахту у левого борта, раньше ходил в море, как известно Крозье, на военном корабле «Белвидер». Он не стал бы палить по привидениям. Вторым вахтенным был самый старший – и, по мнению Крозье, самый глупый – из оставшихся в живых морских пехотинцев, Уильям Хизер. Все еще рядовой в свои тридцать пять, часто хворый, слишком часто пьяный и ни к чему толком не годный, Хизер едва не отправился домой с острова Диско два года назад за компанию со своим лучшим другом Билли Эйкином, уволенным из экспедиции и отосланным обратно в Англию на «Рэттлере».

Крозье засовывает пистолет в огромный карман своей толстой шерстяной шинели, берет у Джопсона фонарь, заматывает шарфом лицо и первым поднимается по наскренному трапу.

Снаружи темно, как у кита в брюхе: ни звезд, ни северного сияния, ни луны – и холодно: термометр показывал минус шестьдесят три градуса шесть часов назад, когда молодого Ирвинга посылали наверх произвести измерения, а теперь неистовый ветер с воем проносится над обрубками

мачт и покатою обледенелой палубой, замечая все вокруг густым снегом. Выйдя из-под заиндевелого парусинового навеса над главным люком, Крозье прикрывает рукой в рукавице лицо, чтобы защитить глаза от снега, и видит слабый свет фонаря у правого борта.

Рубен Мейл стоит на одном колене над рядовым Хизером, который лежит навзничь, без фуражки и «уэльского парика», а также, видит Крозье, без доброй половины черепа. Крови, похоже, нет, но Крозье видит мозг морского пехотинца, поблескивающий в свете фонаря – поблескивающий, осознает капитан, поскольку кашицеобразное серое вещество уже покрыто ледяными кристаллами.

– Он еще жив, капитан, – говорит баковый старшина.

– Господи Иисусе, твою мать, – бормочет один из матросов, толпящихся позади Крозье.

– Отставить! – рявкает старший помощник. – Никакого сквернословия, мать твою. Держи свою чертову пасть закрытой, пока к тебе не обращаются, Крисп. – Голос Хорнби – нечто среднее между рычанием мастифа и бычьим храпом.

– Мистер Хорнби, – говорит Крозье, – прикажите матросу Криспу бегом спуститься вниз и принести свой гамак, чтобы отнести в лазарет рядового Хизера.

– Есть, сэр, – хором откликаются Хорнби и матрос.

Частый топот тяжелых башмаков тонет в пронзительном вое ветра.

Крозье поднимается на ноги и светит фонарем вокруг.

Там, где рядовой Хизер стоял на посту у основания обледенелых вант, толстый планширь разбит в щепы. За проломом, знает Крозье, снежно-ледяной скат длиной тридцать или более футов уходит вниз подобием горки для катания на санках, но большая часть ската сейчас не видна за плотной снежной пеленой. В маленьком круге света от фонаря никаких следов на снегу не видно.

Рубен Мейл поднимает мушкет Хизера:

– Из него не стреляли, капитан.

– В такую метель рядовой Хизер не мог увидеть зверя, пока тот не набросился на него, – говорит лейтенант Литтл.

– А что Стронг? – спрашивает капитан.

Мейл указывает рукой в сторону противоположного борта:

– Он пропал, капитан.

Крозье обращается к Хорнби:

– Возьмите одного человека и оставайтесь с рядовым Хизером, пока Крисп не вернется с гамаком, а затем отнесите раненого вниз.

Внезапно в круг света входят оба врача – Педди и его помощник Макдональд. Макдональд одет легко.

– Господи Иисусе! – восклицает главный корабельный врач, опускаясь на колени рядом с морским пехотинцем. – Он еще дышит.

– Помогите ему, коли можете, Джон, – говорит Крозье. Он указывает на Мейла и полдюжины остальных матросов, сгрудившихся вокруг. – Все остальные – за мной. Держите оружие наготове, даже если для этого вам придется снять рукавицы. Уилсон, возьмите оба фонаря. Лейтенант Литтл, пожалуйста, спуститесь вниз и отберите еще двадцать надежных парней, выдайте всем полное обмундирование и мушкеты – не дробовики, а мушкеты.

– Слушаюсь, сэр, – отвечает Литтл, пытаясь перекрыть шум ветра, но Крозье уже ведет людей прочь, огибая наметенный сугроб и вибрирующий шатер посреди корабля и поднимаясь по наклонной палубе к посту часового у левого борта.

Уильям Стронг сгинул. Ключья длинного шерстяного шарфа, запутавшиеся здесь в снастях, бешено бьются на ветру. Шинель Стронга, «уэльский парик», дробовик и одна рукавица валяются возле фальшборта с подветренной стороны палубного галюна, где часовые обычно прячутся от ветра, но сам Уильям Стронг исчез. Обледенелый планширь – там, где матрос, вероятно, стоял, когда увидел огромную тень, надвигающуюся на него из снежного морока, – измазан кровью.

Не говоря ни слова, Крозье знаком отправляет двух вооруженных мужчин с фонарями к корме, еще трех – к носу, а одного отсылает заглянуть с фонарем под парусиновый навес посреди палубы.

– Сбросьте трап здесь, Боб, – говорит он Роберту Томасу.

Второй помощник капитана тащит на плечах грудку свежей – в смысле, не промерзшей – веревки, принесенной снизу. В считанные секунды веревочный трап сбрасывается с борта.

Крозье спускается первым.

На куче льда и снега, наваленной вдоль открытого левого борта, они видят еще кровь. Полосы крови – кажущиеся почти черными в фонарном свете – тянутся от пушечных портов к постоянно меняющемуся лабиринту заструг и торосов, не столько видимых взором, сколько ощутимых шестым чувством в темноте.

– Оно заманивает нас туда, сэр, – говорит второй лейтенант Ходжсон, придвигаясь ближе к капитану, чтобы быть услышанным в шуме яростного ветра.

– Разумеется, – говорит Крозье. – Но мы все равно пойдем. Возможно,

Стронг еще жив. Нам не впервой видеть такое.

Крозье оглядывается. Помимо Ходжсона, по трапу за ним спустились всего трое мужчин – остальные либо обыскивали верхнюю палубу, либо относили вниз рядового Хизера. У них всего два фонаря на пятерых.

– Армитедж, – обращается Крозье к вестовому, чья белая борода уже густо запорошена снегом, – отдайте свой фонарь лейтенанту Ходжсону и идите с ним. Гибсон, вы останетесь здесь и скажете лейтенанту Литтлу, куда мы направились, когда он придет с основным поисковым отрядом. Скажите, чтобы он ни в коем случае не позволял своим людям открывать огонь, пока не убедятся, что целются не в одного из нас.

– Есть, капитан.

Крозье обращается к Ходжсону:

– Джордж, вы с Армитеджем пройдите ярдов на двадцать туда, в сторону носа, а затем двигайтесь параллельно нам, в южном направлении. Старайтесь, чтобы ваш фонарь оставался в нашем поле зрения, и не теряйте из виду наш.

– Есть, сэр.

– Том, – обращается Крозье к единственному оставшемуся человеку, молодому Эвансу, которому еще не стукнуло и двадцати, – ты пойдешь со мной. Держи винтовку наготове, но не снимай с предохранителя.

– Есть, сэр. – У парня стучат зубы.

Крозье ждет, когда Ходжсон отойдет на двадцать ярдов вправо – свет его фонаря еле пробивается сквозь летящий густой снег, – а потом ведет Эванса в лабиринт торосных гряд, двигаясь по прерывистым кровавым полосам на льду. Он знает, что даже трехминутного промедления хватило бы, чтобы еле заметный след напрочь замело снегом. Капитан даже не дает себе труда вынуть пистолет из кармана шинели.

Меньше чем через сто ярдов, когда огни фонарей на палубе «Террора» теряются в снежной мгле, Крозье достигает нагромождения ледяных глыб, образовавшегося в месте стыка двух ледяных полей, со страшной силой напирających друг на друга и трущихся краями одно о другое. Экспедиция сэра Джона Франклина видела, как такие торосные гряды появляются словно по волшебству, вздымаются ввысь с оглушительным треском и скрежетом, а потом вытягиваются по поверхности замерзшего моря – зачастую двигаясь быстрее, чем бегущий во весь дух человек.

Эта гряда высотой по меньшей мере тридцать футов – колоссальное нагромождение ледяных глыб, каждая из которых размером с двухколесный экипаж, самое малое.

Крозье идет вдоль гряды, подняв фонарь по возможности выше.

Фонаря Ходжсона к западу от них больше не видно – видимость здесь сильно ограничена, ибо повсюду вокруг вздымаются ледяные башни, загораживающие обзор. В пределах мили, отделяющей «Террор» от останков «Эребуса», возвышается огромная ледяная гора, и еще с полдюжины таких же можно увидеть окрест лунной ночью.

Но сегодня поблизости нет никаких айсбергов – только эта торосная гряда высотой с трехэтажное здание.

– Здесь! – кричит Крозье, перекрывая шум ветра.

Эванс подходит ближе, вскинув свою винтовку.

Полоса черной крови на белой ледяной стене. Существо заволокло Уильяма Стронга на эту ледяную гору, поднявшись по крутому, почти отвесному склону.

Крозье начинает взбираться наверх, держа фонарь в правой руке и шаря по сторонам левой в поисках щелей и трещин для своих замерзших пальцев и уже обледенелых башмаков. В спешке он забыл надеть свои особые башмаки, подметки которых Джопсон пробил длинными гвоздями для надежного сцепления с подобными ледяными поверхностями, и теперь обычные форменные башмаки безбожно скользят по льду. Но двадцатью пятью футами выше, прямо под неровным зубчатым гребнем торосной гряды, он находит еще пятна застывшей крови и потому крепко сжимает фонарь в правой руке, резко отталкивается левой ногой от покатой ледяной полки и с усилием взбирается на вершину, слыша скрип своей задубевшей на морозе шинели. Капитан не чувствует носа, и пальцы у него тоже онемели от холода.

– Капитан, – кричит Эванс из темноты внизу, – мне подниматься за вами?

Крозье слишком сильно запыхался, чтобы говорить, но через несколько секунд переводит дух и кричит вниз:

– Нет... подожди там!

Теперь он видит слабый свет фонаря Ходжсона на северо-западе – они с Армитеджем еще находятся в тридцати с лишним ярдах от торосной гряды.

Размахивая руками, чтобы сохранить равновесие на ветру, сильно наклоняясь вправо, когда слева на него налетает мощный порыв, яростно трепля конец шарфа и грозя сбросить с гребня, Крозье направляет луч фонаря на южный склон гряды.

Здесь склон круто, почти отвесно уходит вниз на тридцать пять футов. Ни следа Уильяма Стронга – никаких темных пятен на льду, никаких признаков, свидетельствующих о том, что какое-либо существо, живое или

мертвое, спускалось здесь. Спуск по этой отвесной ледяной стене представляется Крозье делом абсолютно невыполнимым.

Крозье трясет головой – осознавая, что ресницы и веки у него почти смерзлись, и глаза открываются с трудом, – и начинает спускаться обратно. Дважды он чуть не срывается и не падает на острые зубцы льда вниз, но наконец съезжает по склону последние футов восемь к месту, где ждет Эванс.

Но Эванс исчез.

Винтовка валяется на снегу, по-прежнему поставленная на предохранитель. На вихрящемся под ногами снегу никаких следов – ни человеческих, ни каких-либо других.

– Эванс!!! – За тридцать пять с лишним лет службы во флоте капитан Френсис Родон Крозье выработал зычный командный голос, способный перекрыть шум ураганного юго-западного ветра или рев снежной бури и вспененных валов в Магеллановом проливе. Сейчас он орет в полную силу легких: – Эванс!!!

Никакого ответа – только вой ветра.

Крозье поднимает винтовку, проверяет, заряжена ли она, и стреляет в воздух. Треск выстрела кажется еле слышным даже ему самому, но он видит, как фонарь Ходжсона вдруг поворачивает к нему, и различает в снежной мгле еще три тусклых огонька, приближающиеся со стороны «Террора».

Всего в двадцати футах от него раздается рев. Так мог бы реветь ветер, нашедший новый путь вокруг ледяного тороса, но Крозье знает: это не ветер.

Он ставит фонарь на снег, роется в кармане, достает пистолет, стягивает зубами рукавицу с руки и держит бесполезное оружие перед собой.

– Иди сюда, дьявол тебя подери! – истошно вопит он. – Иди и попробуй взять меня вместо мальчишки, ты, мохнатое, грязное, зловонное отродье сифилитичной хайгейтской шлюхи!

По-прежнему никакого ответа – только вой ветра.

6

Гудсир

*74°43' 28" северной широты, 90°39' 15" западной долготы
Остров Бичи, зима 1845/46 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

1 января 1846 г.

Джон Торрингтон, кочегар с «Террора», умер сегодня рано утром. В первый день нового года. Пошел пятый месяц, как нас затерло льдами здесь, у острова Бичи.

Смерть Торрингтона не стала неожиданностью. Уже несколько месяцев было ясно, что он болел чахоткой в поздней стадии, когда нанялся в экспедицию, и если бы симптомы проявились всего на несколько недель раньше, в конце лета, беднягу отправили бы домой на «Рэттлере» или даже на одном из двух китобойных судов, которые мы встретили перед тем, как двинуться на запад через Баффинов залив и пролив Ланкастер к арктическим пустыням, где сейчас зимуем. По злой иронии судьбы, лечащий врач Торрингтона сказал парню, что плавание благоприятно подействует на его здоровье.

Разумеется, Торрингтона лечили старший судовой врач Педди и доктор Макдональд с «Террора», но я несколько раз присутствовал на консилиумах в период постановки диагноза и был препровожден на их корабль несколькими матросами «Эребуса» сегодня утром, после кончины молодого человека.

Когда в начале ноября болезнь стала явной, капитан Крозье освободил двадцатилетнего кочегара от работы на плохо проветриваемой трюмной палубе – одной угольной пыли, висящей там в воздухе, достаточно, чтобы вызвать удушье у человека даже со здоровыми легкими, – и с тех пор состояние Джона Торрингтона неуклонно ухудшалось. И все же Торрингтон мог бы протянуть еще не один месяц, если бы не дополнительный фактор, ускоривший его смерть. Доктор Александр Макдональд говорит, что Торрингтон – который в последние несколько недель ослаб настолько, что уже даже не мог совершать свои обычные

прогулки по жилой палубе при помощи товарищей, – в Рождество свалился с пневмонией, и с тех пор они несли дежурство у постели умирающего. Увидев тело сегодня утром, я был поражен крайним истощением покойного Джона Торрингтона, но Педди и Макдональд объяснили, что в последние два месяца аппетит у него неуклонно понижался и, хотя корабельные врачи изменили рацион больного, введя в него больше консервированных супов и овощей, он продолжал терять в весе.

Сегодня утром я наблюдал за тем, как Педди и Макдональд готовили покойного к погребению (Торрингтон был в свежей рубашке в полоску, с аккуратно подстриженными волосами и чистыми ногтями): подвязали чистым бинтом челюсть, чтобы она не отвисала, а потом обмотали тело с прижатыми к бокам руками длинными полосами белой бумажной ткани на уровне локтей и кистей и стянули бинтами лодыжки. Они сделали это, чтобы конечности не болтались при взвешивании бедного мальчика – весы показали всего 88 фунтов! – и произвели другие необходимые приготовления к погребению. Вопрос о вскрытии трупа не обсуждался, поскольку представлялось очевидным, что парня убила чахотка, осложненная пневмонией, и опасности заражения других членов команды нет.

Я помог двум своим коллегам с «Террора» положить тело Торрингтона в гроб, со всем тщанием изготовленный искусным корабельным плотником Томасом Хани и его помощником по имени Уилсон. Трупного окоченения не наблюдалось. Дно гроба, столь аккуратно выструганного и сколоченного из красного дерева, плотники устлали стружками, насыпав в изголовье побольше, – и, поскольку запах разложения еще почти не ощущался, воздух был напоен ароматом свежих стружек.

3 января 1846 г.

Я все продолжаю думать о погребении Джона Торрингтона, состоявшемся вчера вечером.

На скорбной церемонии присутствовала лишь немногочисленная группа представителей «Эребуса», но вместе с сэром Джоном, командором Фицджереймсом и несколькими офицерами я тоже прошел пешим ходом от нашего корабля до «Террора», а оттуда еще двести ярдов до берега острова Бичи.

Я не в силах представить более ужасной зимы, чем нынешняя, которую мы проводим во льдах под прикрытием скалистого мыса острова Бичи, в свою очередь защищенного от ветра более крупным островом Девон, но командор Фицджереймс и остальные заверяют меня, что наше положение – даже с учетом коварных торосных гряд, жуткой тьмы,

завывающих штормовых ветров и постоянно грозящих раздавить нас льдов – было бы в тысячу раз хуже в отдалении от места нашей стоянки, в открытом море, где поля льда движутся от полюса, подобно наступающим войнствам некоего грозного арктического божества.

Товарищи Джона Торрингтона осторожно спустили гроб – уже накрытый тонкой шерстяной тканью синего цвета – с борта корабля, косо стоящего на высокой ледяной платформе, а другие матросы «Террора» привязали гроб к широким саням. Сэр Джон собственноручно накрыл гроб государственным флагом, а потом друзья и товарищи Торрингтона встали в упряжь и протащили сани примерно шестьсот футов до покрытого льдом галечного берега острова Бичи.

Погребальная церемония происходила незадолго до наступления кромешной тьмы, поскольку в январе солнце не показывается здесь даже в середине дня и не показывалось вот уже три месяца. Говорят, пройдет еще месяц с лишним, прежде чем южный горизонт вновь поприветствует нашу огненную звезду. Так или иначе, вся процессия – гроб, сани, запряженные в них матросы, офицеры, врачи, сэр Джон, морские пехотинцы в полном обмундировании, сокрытом под грязно-коричневыми зимними шинелями, надетыми на всех нас, – освещалась лишь покачивающимися фонарями, когда мы двигались по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу. Люди с «Террора» прорубили и расчистили проходы через несколько торосных гряд, недавно выросших между нами и отлогим галечным берегом, так что мы практически не отклонялись в сторону от нашего скорбного пути. В начале зимы сэр Джон распорядился установить ряд крепких столбов с натянутыми между ними тросами и подвесными фонарями по кратчайшему пути между нашими кораблями, а также усыпать галькой проход к нескольким построенным нами сооружениям – одно предназначалось для хранения значительной части провианта, перенесенного туда с кораблей на случай, если льды раздавят наши суда; другое служило своего рода аварийной ночлежкой и научной станцией; а в третьем находилась кузница оружейников, перемещенная туда, чтобы наши деревянные дома случайно не возгорелись от искр и вырывающихся из горна языков пламени. Но маршрут, отмеченный столбами и фонарями, пришлось забросить, поскольку лед постоянно движется, вздымается и опрокидывает или ломает все, установленное на его поверхности.

Во время похорон шел снег. Дул сильный ветер, обычный в этой богом забытой арктической пустыне. К северу от места погребения вздымались отвесные черные скалы, столь же неприступные, как горы на Луне. Свет фонарей, горевших на «Эребусе» и «Терроре», еле пробивался сквозь

снежную мглу. Время от времени из-за стремительно несущихся облаков выглядывал краешек холодной луны, но даже тусклый, бледный лунный свет быстро мерк в темноте за плотной завесой снега. Боже мой, сей мрачный, безотрадный край поистине сравним с преисподней.

Сразу после кончины Торрингтона самые сильные матросы с «Террора» работали практически без передышки несколько часов кряду, выкапывая лопатами и кирками могилу – глубиной в положенные пять футов, согласно приказу сэра Джона. Одного взгляда на яму, вырубленную в твердом, как железо, льду и промерзшем каменистом грунте, было достаточно, чтобы понять, какой колоссальный труд в нее вложен. «Юнион Джек» убрали, и гроб осторожно, почти почтительно опустили в узкую могилу. Крышку гроба мгновенно запорошило снегом, искрившимся в свете наших фонарей. Один из офицеров Крозье установил в изголовье могилы надгробную дощечку, вслед за тем вбитую в замерзшую землю несколькими ударами деревянного молота, которым орудовал гигантского роста моряк. Надпись, аккуратно вырезанная на дощечке, гласила:

ПАМЯТИ ДЖОНА ТОРРИНГТОНА,
отошедшего в мир иной
1 января 1846 года от Р. Х.
на борту корабля ее величества
«Террор»
в возрасте 20 лет

Сэр Джон провел заупокойную службу и произнес надгробное слово. Оно продолжалось несколько минут, и тихий монотонный голос звучал в полной тишине, нарушаемой лишь шумом ветра да притопыванием людей, старающихся спасти от обморожения пальцы ног. Должен признаться, я плохо слушал надгробную речь сэра Джона, отвлекаясь на вой ветра и собственные блуждающие мысли, подавленный унылой суровостью местности, печальными думами о мертвом теле, обряженном в полосатую рубашку, со стянутыми бинтами конечностями, только сейчас опущенном в хладную могилу, и более всего подавленный вечной чернотой скал, нависающих над узким каменистым берегом.

Наконец заупокойная служба завершилась. Матросы оттащили сани к лачуге оружейников и оставили там. Толпа разделилась на две группы – более многочисленная двинулась во главе с капитаном Крозье к «Террору», а мы направились к нашему дому на «Эребусе», находящемся чуть дальше от берега. Несколько раз я оглядывался на четыре фонаря, стоявшие на

земле рядом с четырьмя матросами, которые задержались, чтобы засыпать могилу мерзлой землей и камнями. В ближайшие дни, я знал, товарищи молодого Торрингтона собирались выложить вокруг одинокой могилы бордюр из ракушек и белых камешков.

Мы еще не прошли и половины пути до корабля, когда фонари стали невидимы во мгле набирающей силу выюги.

4 января 1846 г.

Еще один человек умер.

На сей раз член нашей судовой команды, двадцатипятилетний матрос Джон Хартнелл. В самом начале седьмого часа вечера, по моей оценке, когда в кубрике спускали на цепях столы для ужина, Хартнелл пошатнулся, навалившись на своего брата Томаса, упал на пол, стал харкать кровью и через пять минут испустил дух. Врач Стенли и я находились рядом с ним, когда он умер, в расчищенной носовой части жилой палубы, отведенной под лазарет.

Его смерть ошеломила нас. У Хартнелла не наблюдалось никаких симптомов цинги или чахотки. Командир корабля Фицджереймс присутствовал там с нами и не мог скрыть своего ужаса – если причиной смерти явилась некая разновидность чумы или цинга, начавшая распространяться среди команды, нам необходимо было выяснить это немедленно. Прямо на месте, пока занавески оставались задернутыми и никто не взялся готовить Джона Хартнелла к погребению, мы приняли решение произвести вскрытие трупа.

Мы расчистили стол на территории лазарета, дополнительно отгородились от толпившихся в кубрике людей стенкой, наспех возведенной из упаковочных клетей, поплотнее задвинули занавески, и я принес свои инструменты. Стенли, хотя и занимающий должность старшего корабельного врача, высказал мнение, что производить вскрытие следует мне, поскольку я анатом по образованию. Я сделал первый разрез и принялся за работу.

Я мгновенно осознал, что впопыхах сделал разрез в виде перевернутой «Y», какой обычно применял на практических занятиях в анатомическом театре, когда сильно спешил; в отличие от общепринятого Y-образного разреза, две косые линии которого тянутся вниз от плеч и сходятся у основания грудины, косые линии моего разреза начинались над бедрами и встречались у пупа Хартнелла. Стенли сделал мне замечание, и я сконфузился.

– Лишь бы поскорее, – тихо сказал я своему коллеге. – Нужно сделать все быстро – люди страшно не любят, когда тела их товарищей вскрывают.

Врач Стенли кивнул, и я продолжил. Словно в подтверждение моих слов, младший брат Хартнелла принялся кричать и вопить по другую сторону занавески. В отличие от медленного угасания Торрингтона с «Террора», давшего команде время смириться с мыслью о скорой смерти товарища и приготовить письма к его матери, неожиданная кончина Джона Хартнелла глубоко потрясла людей. Никому из них не нравилось, что корабельные врачи кромсают труп. Теперь только звание и выдержка командора Фицджереймса стояли между возмущенным братом и смятенными матросами – и нашим лазаретом. Я слышал, что товарищи младшего Хартнелла и присутствие Фицджереймса удерживают парня на месте, но, когда мой скальпель рассек ткани и нож проник в межреберное пространство, я услышал также злобное ворчание всего в нескольких ярдах за занавеской.

В первую очередь я извлек сердце Хартнелла, отрезав с ним часть трахеи, и поднес к свету фонаря. Стенли принял сердце из моих рук, стер с него кровь тряпичей, и мы вдвоем внимательно его осмотрели. Оно выглядело вполне нормально, никаких видимых признаков болезни не наблюдалось. Пока Стенли держал орган близко к свету, я сделал разрез на правом желудочке, потом на левом. Раздвинув плотные мышечные ткани, мы со Стенли осмотрели сердечные клапаны. Они казались вполне здоровыми.

Положив сердце в брюшную полость, я быстрыми движениями скальпеля отсек нижнюю часть легких.

– Вот оно, – сказал Стенли.

Я кивнул. В легких имелись отчетливые рубцы и другие признаки чахотки, а равно свидетельства недавно поразившей моряка пневмонии. Джон Хартнелл, как и Джон Торрингтон, был туберкулезником, но этот матрос – старший годами, более сильный и, по словам Стенли, более грубый и шумный – скрывал симптомы, вероятно даже от себя самого. До сего дня, когда он вдруг упал в приступе и скончался всего за несколько минут перед тем, как получить свою порцию солонины.

Вырезав и вынув из брюшной полости печень, я поднес ее к свету, и мы со Стенли оба обнаружили на ней признаки, сопутствующие чахотке, а равно свидетельства многолетнего злоупотребления спиртным.

Всего в нескольких ярдах от нас, за занавеской, брат Хартнелла Томас шумно изъяснял свое негодование, удерживаемый на месте лишь суровыми окриками командора Фицджереймса. По доносившимся до меня голосам я понял, что другие офицеры – лейтенант Гор, лейтенанты Левеконт и Фейрхольм и даже помощник капитана Дево – присоединились к попыткам

успокоить толпу матросов.

– Пожалуй, мы увидели достаточно? – прошептал Стенли.

Я снова кивнул. Симптомов цинги на теле, на лице, в ротовой полости и на внутренних органах не имелось. Хотя оставалось загадкой, каким образом чахотка, или пневмония, или обе вместе столь быстро убили матроса, по крайней мере представлялось очевидным, что опасаться какой-либо инфекционной болезни нет причин.

Шум голосов за занавеской усиливался, поэтому я торопливо засунул легкие, печень и прочие органы обратно в брюшную полость, вместе с сердцем – не трудясь разложить их по надлежащим местам, но запихав все вперемешку, – а потом вернул на место грудную клетку, то есть те части ребер и грудины, которые вырезал. (Позже я осознал, что впопыхах поставил ее вверх ногами.) Затем главный врач Стенли зашил вилообразный разрез, орудия большой иглой с толстой суровой нитью с проворством и ловкостью, какие сделали бы честь любому портному.

Еще через минуту мы облачили покойника в одежду – трупное окоченение уже начинало создавать известные трудности – и отдернули занавеску. Стенли, чей голос ниже и звучнее моего, заверил брата Хартнелла, Томаса, и остальных людей, что теперь нам остается лишь обмыть тело их товарища, чтобы они могли подготовить его к погребению.

6 января 1846 г.

Почему-то эта похоронная церемония подействовала на меня тяжелее, чем первая. Мы снова прошли скорбной процессией от корабля к острову – на сей раз в ней участвовали только люди с «Эребуса», хотя доктор Макдональд, главный врач Педди и капитан Крозье с «Террора» присоединились к нам.

Снова накрытый флагом гроб – матросы надели на Хартнелла три рубахи, в том числе лучшую рубаху его брата Томаса, но нижнюю часть тела лишь завернули в саван и на несколько часов оставили гроб в убранном траурными лентами лазарете открытым в верхней половине, заколов крышку гвоздями только перед самой церемонией. Снова медленное шествие за водруженным на сани гробом по скованному льдом морю к покрытому льдом берегу, с покачивающимися в крошечном мраке фонарями, хотя звезды нынче в полдень светили и снег не шел. Для морских пехотинцев нашлось дело, ибо три огромных белых медведя, шумно сопя носом, подошли довольно близко, похожие на белых призраков среди ледяных глыб, и людям пришлось стрелять из мушкетов, чтобы отогнать зверей, одного из которых ранили в бок.

Снова надгробное слово сэра Джона – хотя на сей раз покороче, поскольку Хартнелл пользовался не такой любовью, как молодой Торрингтон, – и снова мы двинулись назад по трещащему, скрипящему, стонущему льду, под пляшущими в холодном небе звездами, слыша позади лишь постепенно затихающий скрежет лопат, бросающих мерзлую землю в новую яму рядом с красиво убранной могилой Торрингтона.

Возможно, именно черная скала, нависающая над берегом, произвела на меня столь тягостное впечатление во время вторых похорон. Хотя на сей раз я намеренно встал к ней спиной и поближе к сэру Джону, дабы слышать слова надежды и утешения, я каждую секунду сознавал присутствие этой холодной, черной, отвесной, безжизненной и бездушной каменной стены позади – подобной вратам в страну, откуда не возвращался ни один смертный. В сравнении с холодной реальностью этого черного тусклого камня даже прочувствованная и вдохновенная речь сэра Джона не оказала значительного действия.

Моральный дух на обоих кораблях низок. Еще не прошла и неделя нового года, а уже двое в нашей экспедиции умерли. Мы, четверо медиков, условились встретиться завтра в уединенном месте – в кладовой плотника в средней палубе «Террора», – дабы обсудить меры, кои необходимо принять во избежание новых смертей в нашей – похоже, прókлятой – экспедиции.

Надпись, начертанная на надгробии на второй могиле, гласит:

ПАМЯТИ ДЖОНА ХАРТНЕЛЛА,
матроса корабля ее величества «Эребус»,
скончавшегося 4 января 1846 г.
в возрасте 25 лет.
«Так говорит Господь:
обратите сердце ваше на пути ваши».
Аггей, 1–7

За последний час ветер заметно усилился; близится полночь, и почти все фонари здесь, в жилой палубе «Эребуса», погашены; и я прислушиваюсь к вою ветра и думаю о двух холодных каменных насыпях там, на открытом ветрам черном каменистом берегу, и думаю о двух мертвецах, лежащих в холодных могилах, и думаю о черной отвесной скале, вздымающейся над ними, и словно воочию вижу, как секущие крупинки снега уже начинают свою работу по стиранию надписей на деревянных надгробиях.

70°03' 29" северной широты, 98°20' западной долготы

Примерно 28 миль к северо-северо-западу

от Кинг-Уильяма, 3 сентября 1846 г.

Капитан сэр Джон Франклин редко бывал так собой доволен.

Прошлая зима, проведенная во льдах у острова Бичи, в сотнях миль к северо-востоку от нынешнего местоположения кораблей, была во многих отношениях тяжелой – он первый готов признать это перед самим собой или перед равным по положению, хотя у него нет равных по положению в этой экспедиции, – и смерть трех участников экспедиции (Торрингтона и Хартнелла в самом начале января, а затем рядового морской пехоты Уильяма Брейна третьего апреля, которые все умерли от пневмонии) стала для всех потрясением. Франклин не знал ни одной другой морской экспедиции, в которой бы три человека умерли по естественным причинам так скоро.

Именно Франклин выбрал слова, начертанные на надгробье тридцатидвухлетнего рядового Брейна: «Изберите себе ныне, кому служить» (Иисус Навин, 24:15), – и недолгое время они казались столько же увещанием для несчастных команд «Эребуса» и «Террора», еще не поднявших мятеж, но уже близких к этому, сколько посланием для несуществующего путника, который пройдет мимо одиноких могил Брейна, Хартнелла и Торрингтона на том ужасном, покрытом льдом каменистом берегу.

Тем не менее четыре врача посоветовались после смерти Хартнелла и решили, что, возможно, начинающаяся цинга ослабляет организм людей, позволяя пневмонии и таким болезням, как чахотка, принимать смертельные формы, и именно врачи Стенли, Гудсир, Педди и Макдональд порекомендовали сэру Джону изменить рацион команд: по возможности питаться свежими продуктами. Во тьме полярной зимы представлялось практически невозможным охотиться на каких-либо животных помимо белых медведей (а участники прежних полярных экспедиций обнаружили, что употребление в пищу печени этого огромного грузного зверя порой по неизвестной причине ведет к смертельному исходу). За неимением свежего мяса и овощей врачи советовали урезать порции засоленной свинины и

говядины или птичьего мяса и больше налегать на консервированные продукты – овощные супы и тому подобное.

Сэр Джон выполнил рекомендации, распорядившись изменить стол на обоих кораблях таким образом, чтобы половину рациона составляли блюда, приготовленные из консервированных продуктов. Казалось, это дало желаемый результат. Больше ни один человек не умер и даже не заболел серьезно за период времени между началом апреля, когда скончался рядовой Брейн, и концом мая, когда оба корабля освободились из ледового плена в бухте у острова Бичи.

Затем в считанные дни лед вскрылся, и Франклин – следуя по разводьям и каналам, выбираемым двумя его опытными ледовыми лоцманами, – под паром и парусами понесся на юго-запад быстрее дыма из папки, как выражались капитаны поколения сэра Джона.

Вместе с солнцем и открытой водой вернулись звери, птицы и представители морской фауны в великом множестве. В течение томительно длинных дней арктического лета, когда солнце оставалось над горизонтом почти до полуночи и температура воздуха иногда поднималась выше точки замерзания, в небе пролетали бесчисленные стаи мигрирующих птиц. Франклин мог отличить буревестников от чирков, гаг от гагарок и маленьких вертких тупиков от всех прочих. Неуклонно расширяющиеся каналы вокруг «Эребуса» и «Террора» буквально кишели гренландскими китами, которые стали бы предметом зависти для любого американского китобойца, и воды изобиловали треской, сельдью и мириадами других разновидностей мелкой рыбы, а также белухой и горбачами. Люди спускали на воду шлюпки и ловили рыбу, зачастую подстреливая маленьких китов забавы ради.

Каждый охотничий отряд возвращался с добычей к ужину – с битой птицей, само собой, но также с теми проклятыми кольчатыми нерпами и гренландскими тюленями, которых совершенно невозможно подстрелить или поймать в их подледных укрытиях зимой, но которые теперь безбоязненно выходили на открытый лед, представляя собой удобные мишени. Вкус тюленины людям не нравился – слишком масляный и терпкий, – но что-то в сале этих скользких жирных животных восполняло нехватку полезных веществ, образовавшуюся в организмах за зиму. Охотники также стреляли огромных ревущих моржей, видных в подзорные трубы на берегах отдаленных островов, где они рыли клыками землю в поисках устриц, а иные охотничьи отряды возвращались со шкурками и тушками песцов. По-прежнему в изобилии встречались грузные и неповоротливые белые медведи, но люди не обращали на них внимания,

если только эти развалисто ступающие звери не обнаруживали признаков агрессии или не пытались завладеть добычей охотников. Мясо белых медведей никому особо не нравилось – уж во всяком случае теперь, когда имелась возможность найти пищу гораздо вкуснее.

Последний приказ, добавленный ко всем прочим в последнюю минуту перед отплытием, обязывал Франклина, в случае «если южные подступы к Северо-Западному проходу окажутся перекрытыми льдом или иными препятствиями», взять курс на север и выйти через пролив Веллингтон в «Открытое Полярное море» – по сути, направиться к Северному полюсу, – и Франклин делал то, что без всяких вопросов делал всю жизнь: выполнял приказы. Этим летом ведомые Франклином «Эребус» и «Террор» прошли южнее острова Девон, мимо мыса Уокер в неизведанные воды покрытого льдами архипелага.

Предыдущим летом казалось, что он скорее будет вынужден двинуться к Северному полюсу, нежели найдет Северо-Западный проход. Капитан сэр Джон Франклин пока имел причины гордиться своими успехами. В ходе укороченного летнего плавания в прошлом, 1845 году (из Англии они отбыли с опозданием, а из Гренландии даже еще позже, чем планировали) он все же в рекордные сроки пересек Баффинов залив, прошел через пролив Ланкастер южнее острова Девон, потом через пролив Барроу – и обнаружил, что путь на юг мимо мыса Уокер в конце августа уже прегражден льдом. Но ледовые лоцманы доложили о чистых водах вдоль западного берега острова Девон и севернее, вплоть до пролива Веллингтон, и потому Франклин выполнил второй приказ: повернул на север, где мог оказаться свободный для навигации проход в Открытое Полярное море и к Северному полюсу.

Выхода в легендарное Открытое Полярное море они там не нашли. Массив суши – полуостров Гриннелл, который, насколько понимали участники экспедиции Франклина, мог являться частью неизвестного Арктического континента, – преградил кораблям путь, вынудив их проследовать открытыми водами на северо-запад, потом взять курс почти строго на запад, а затем, по достижении западной оконечности полуострова, снова повернуть на север, где они наткнулись на сплошной ледяной массив, простиравшийся к северу от пролива Веллингтон и казавшийся бесконечным. Пять дней плавания вдоль той высокой ледяной стены убедили Франклина, Фицджереймса, Крозье и ледовых лоцманов, что к северу от пролива Веллингтон никакого Открытого Полярного моря нет. По крайней мере, этим летом.

Ухудшающиеся ледовые условия вынудили их повернуть на юг и

обогнуть массив суши, прежде известный как Земля Корнуоллис, но на поверку оказавшийся островом Корнуоллис. На худой конец, знал капитан сэр Джон Франклин, его экспедиция хотя бы разгадала эту загадку.

Поскольку тогда, в конце лета 1845 года, быстро становился паковый лед, Франклин закончил плавание вокруг огромного пустынного острова Корнуоллис, снова вошел в пролив Барроу к северу от мыса Уокер, убедился, что путь на юг по-прежнему прегражден льдами – теперь сплошными, – и нашел место стоянки у маленького острова Бичи, войдя в бухточку, которую они обследовали двумя неделями раньше. Они прибыли как раз вовремя, знал Франклин, ибо через день после того, как они стали на якорь в той мелководной бухте, последние свободные для навигации каналы в проливе Ланкастер замерзли и движущиеся паковые льды сделали дальнейшее плавание невозможным. Представлялось сомнительным, что даже такие шедевры современного кораблестроения, как укрепленные дубом и железом «Эребус» и «Террор», смогли бы пережить зиму во льдах пролива.

Но теперь было лето, и они уже много недель подряд шли на юго-запад, при случае пополняя запасы провианта, следуя по каждому каналу во льдах, высматривая любые проблески чистой воды, какие только можно увидеть из «вороньего гнезда» высоко на грот-мачте, и пробиваясь через льды при необходимости.

«Эребус» по-прежнему шел впереди, прокладывая путь, по праву флагмана и по обязанности более тяжелого судна, с более мощным (на пять лошадиных сил мощнее) паровым двигателем. Но – вот проклятье! – при столкновении с подводной льдиной длинный ведущий вал при гребном винте погнулся и вышел из строя, после чего место головного корабля занял «Террор».

Когда Кинг-Уильям виднелся всего милях в пятидесяти впереди в южном направлении, корабли вышли из-под укрытия огромного острова к северу от них – того самого, что преградил им путь прямо на юго-запад мимо мыса Уокер, каковым курсом Франклину предписывалось следовать, и вынудил направиться на юг через пролив Пил и доселе неисследованные проливы, – и теперь льды к югу и западу от них стали подвижными и снова почти сплошными. Корабли потеряли скорость и еле ползли. Лед стал толще, айсберги встречались чаще, каналы сузились и отстояли друг от друга дальше.

Утром 3 сентября сэр Джон собрал на совещание своих капитанов, старших офицеров, инженеров и ледовых лоцманов. Все свободно поместились в личной каюте сэра Джона. В кормовой части «Эребуса», где

на «Терроре» находилась офицерская кают-компания с библиотекой и музыкальной шкатулкой, располагались апартаменты сэра Джона Франклина: двенадцать футов в ширину и аж целых двадцать футов в длину, с отдельным галюном в спальне, размещавшейся по правому борту. Приватный галюн Франклина почти не уступал размерами каюте капитана Крозье и всех прочих офицеров.

Эдмунд Хор, вестовой сэра Джона, раздвинул обеденный стол, чтобы за ним поместились все присутствующие офицеры – командор Фицджереймс, лейтенанты Гор, Левеконт и Фейрхольм с «Эребуса», капитан Крозье и лейтенанты Литтл, Ходжсон и Ирвинг с «Террора». Помимо перечисленных восьми офицеров, сидевших по обе стороны стола – сэр Джон занял место во главе одного, рядом с правой переборкой и входом в личную спальню, – на совещании присутствовали также два ледовых лоцмана, мистер Блэнки с «Террора» и мистер Рейд с «Эребуса», а равно два инженера, мистер Томпсон с корабля Крозье и мистер Грегори с флагмана, которые все стояли в нижнем конце стола. Сэр Джон попросил также явиться одного из судовых врачей, Стенли с «Эребуса». Вестовой подал вино, сыры и галеты, и какое-то время за столом велась непринужденная беседа, прежде чем сэр Джон призвал собрание к порядку.

– Джентльмены, – сказал сэр Джон, – уверен, все вы знаете, зачем мы собрались здесь. В последние два месяца продвижение нашей экспедиции, по милости Божьей, происходило самым успешным образом. Мы удалились от острова Бичи почти на триста пятьдесят миль. Наши впередсмотрящие и санные разведчики по-прежнему докладывают о разводьях к югу и западу от нас. Возможно, нам еще удастся – с Божьей помощью – достичь открытой воды и пройти по Северо-Западному проходу этой осенью. Но лед к западу от нас, насколько я понимаю, становится толще и сплоченнее. Мистер Грегори докладывает, что главный ведущий вал «Эребуса» получил повреждение при столкновении со льдиной и что, хотя мы по-прежнему можем идти под паром, мощность флагманского судна снизилась. Наши запасы угля иссякают. Скоро наступит зима. Другими словами, джентльмены, мы должны решить – здесь и сейчас, – как нам действовать дальше и какого курса держаться. Думаю, справедливо будет сказать, что решение, принятое нами здесь, обусловит успех или неудачу нашей экспедиции.

Последовало продолжительное молчание.

Сэр Джон подал знак рыжебородому ледовому лоцману «Эребуса»:

– Вероятно, прежде чем высказать мнения и начать дискуссию, нам

будет полезно выслушать наших ледовых лоцманов, инженеров и врача. Мистер Рейд, будьте любезны, сообщите присутствующим все, что вы доложили мне вчера насчет течений и прогнозируемых ледовых условий.

Рейд, стоявший в нижнем конце стола со стороны, где сидели пять офицеров с «Эребуса», прочистил горло. Будучи по природе своей человеком замкнутым и необщительным, он густо покраснел, смущенный необходимостью держать речь перед столь высоким обществом.

– Сэр Джон... джентльмены... ни для кого не секрет, что мы... что нам чертовски везло с ледовой обстановкой с тех пор, как корабли освободились из ледового плена в мае и в самом начале июня покинули бухту у острова Бичи. В проливах мы шли в основном через ледяное сало. Оно не проблема. Ночами – если говорить о тех нескольких часах темноты, которые мы здесь называем ночами, – мы резали носом ледяную шугу вроде той, какую наблюдаем в последнюю неделю, ибо море постоянно находится на грани замерзания, но она тоже особой проблемы не представляет. Нам удавалось обходить стороной молодой лед вдоль берегов – а это штука посерьезнее. За ним находится припай, способный пробить обшивку судна, даже такого укрепленного, как наше и «Террор», идущий впереди. Но, как я сказал, мы обходили припай стороной... до сих пор.

Рейд обливался потом и явно был бы рад закончить свое выступление, но он также понимал, что еще не полностью ответил на вопрос сэра Джона. Он кашлянул и продолжил:

– Таким образом, сэр Джон и ваши благородия, что касается плавучего льда, то у нас не было особых проблем с шугой, более толстыми дрейфующими льдинами и флобергами – то бишь ледяными глыбами, отколовшимися от настоящих айсбергов; нам удавалось избегать столкновения с ними, поскольку мы находили широкие проходы между льдинами и большие разводья. Но такое положение дел подходит к концу. Сейчас, когда ночи становятся длиннее, блинчатый лед держится постоянно, и мы все чаще встречаем потоки кочковатого льда. Именно потоки кочковатого льда вызывают тревогу у нас с мистером Блэнки.

– Почему же, мистер Рейд? – спросил сэр Джон.

На лице у него отражалась скука, обычно владевшая им во время обсуждения различных ледовых условий. Для сэра Джона лед был просто льдом: чем-то, через что нужно пробиться, чтобы оставить позади.

– Из-за снега, – сказал Рейд. – Там толстый слой снега на льдинах, сэр, и отметки уровня полной воды на боковых гранях. Такие льдины всегда свидетельствуют о старых паковых льдах впереди, сэр, о настоящем чертовом паке, и именно там нас затрет льдами. И на юге и западе,

насколько хватает глаз у впередсмотрящих или санных разведчиков, повсюду паковый лед, если не считать возможного разводья к югу от Кинг-Уильяма.

– Северо-Западный проход, – негромко заметил командор Фицджереймс.

– Вероятно, – сказал сэр Джон. – В высшей степени вероятно. Но чтобы добраться туда, нам придется преодолеть более ста миль паковых льдов – а возможно, и все двести. Мне доложили, что у ледового лоцмана «Террора» есть соображения, касающиеся причин ухудшения ледовой обстановки к западу от нас. Мистер Блэнки?

Томас Блэнки не покраснел. Речь старшего годами ледового лоцмана представляла собой частое стаккато слогов, четких и резких, как мушкетные выстрелы.

– Входить в паковые льды – верная смерть. Мы и так уже зашли слишком далеко. Дело в том, что с тех пор, как мы вышли из пролива Пил, мы наблюдаем сплошной поток дрейфующих льдов, хуже которого к северу от Баффинова залива быть не может, и обстановка с каждым днем усугубляется.

– Почему так, мистер Блэнки? – спросил командор Фицджереймс. – Сейчас, в конце сезона, насколько я понимаю, еще должны оставаться проходы между льдинами, покуда море не замерзнет окончательно, а ближе к материку – скажем, к юго-западу от полуострова Кинг-Уильям – свободные для навигации воды должны держаться еще месяц или больше.

Ледовый лоцман Блэнки потряс головой:

– Нет. Мы наблюдаем не блинчатый лед и не сало, джентльмены, а паковый лед. Он движется с северо-запада. И представляет собой подобие вереницы гигантских глетчеров, от которых откалываются айсберги, сплошь покрывающие море на сотни миль в своем движении на юг. Раньше мы были защищены от него, но теперь – нет.

– Защищены чем? – спросил лейтенант Гор, поразительно привлекательный и представительный офицер.

На вопрос ответил капитан Крозье, кивком головы велевший Блэнки отступить назад.

– Всеми островами, которые находились к западу от нас, когда мы двигались на юг, Грэм, – сказал ирландец. – Как год назад мы установили, что Земля Корнуоллис является островом, так теперь мы знаем, что Земля Принца Уэльского на самом деле является островом Принца Уэльского, каковой массив суши отчасти преграждал путь дрейфующим льдам, пока мы не вышли из пролива Пил. Теперь мы видим, что это самый что ни на есть настоящий паковый лед, вынужденный двигаться на юг между

островами к северо-западу от нас – возможно, до самого материка. Любые разводя, оставшиеся там вдоль побережья, долго не протянут. Как не протянем и мы, коли продолжим пробиваться вперед и попытаемся перезимовать среди паковых льдов в открытом море.

– Это одно мнение, – сказал сэр Джон. – И мы благодарим вас за него, Френсис. Но теперь нам нужно определиться с планом наших дальнейших действий. Да... Джеймс?

Командор Фицджереймс держался по обыкновению непринужденно и уверенно, как человек, облеченный властью. За время плавания он, подумать только, располнел, так что мундир на нем, казалось, трещал по всем швам. Щеки у него цвели здоровым румянцем, и белокурые вьющиеся волосы ниспадали более длинными локонами, чем он носил в Англии. Он улыбнулся всем сидящим за столом:

– Сэр Джон, я согласен с капитаном Крозье в том, что оказаться затертыми паковыми льдами было бы весьма прискорбно, но я не думаю, что нас ждет такая участь, коли мы продолжим путь вперед. По моему мнению, нам необходимо продвинуться на юг возможно дальше, чтобы либо достичь свободной для навигации воды и осуществить нашу цель, состоящую в отыскании Северо-Западного прохода, либо же просто найти более безопасные воды близ побережья – возможно, какую-нибудь бухту, – где мы сможем перезимовать в сравнительно благоприятных условиях, как сделали у острова Бичи. В самом крайнем случае, из опыта предыдущих сухопутных экспедиций сэра Джона и предыдущих морских экспедиций мы знаем, что у берегов море обычно замерзает значительно позже – из-за стекающей в него более теплой воды рек.

– А если мы не достигнем открытой воды или берега, коли возьмем курс на юго-запад? – тихо спросил Крозье.

Фицджереймс вскинул ладони протестующим жестом:

– По крайней мере, мы будем ближе к нашей цели к началу таяния льдов следующей весной. Какой у нас выбор, Френсис? Вы же не можете всерьез предлагать вернуться по проливу к острову Бичи или попытаться отступить к Баффинову заливу?

Крозье потряс головой:

– В данный момент мы можем так же легко обойти Кинг-Уильям с востока, как и с запада, – тем более легко, что из сообщений впередсмотрящих и разведчиков мы знаем, что к востоку от него еще остаются значительные пространства открытой воды.

– Обойти Кинг-Уильям с востока? – недоверчиво переспросил сэр Джон. – Френсис, это тупиковый путь. Да, мы будем находиться под

прикрытием полуострова, но нас затрет льдами несколькими сотнями миль дальше к востоку, в каком-нибудь длинном узком заливе, где лед может не растаять следующей весной.

– Если только... – промолвил Крозье, обводя взглядом присутствующих, – если только Кинг-Уильям тоже не является островом. В каком-то случае мы получим такую же защиту от потока пакового льда, какую обеспечивал нам остров Принца Уэльского на протяжении последнего месяца плавания. Вполне вероятно, пространство свободной для навигации воды к востоку от Кинг-Уильяма простирается почти до берега, и мы сможем идти западным курсом в более теплых водах еще несколько недель и, возможно, найти какую-нибудь отличную гавань, если нам придется провести вторую зиму во льдах.

В каюте наступило продолжительное молчание.

Лейтенант Левеконт с «Эребуса» прочистил горло и негромко заметил:

– Вы верите в гипотезы эксцентричного доктора Кинга.

Крозье нахмурился. Он знал, что гипотезы доктора Ричарда Кинга – даже не моряка, а простого гражданского лица – не пользовались популярностью и решительно отвергались, главным образом потому, что Кинг считал – и во всеуслышание заявлял, – что такие крупные морские экспедиции, как экспедиция сэра Джона, являются предприятиями глупыми, опасными и бессмысленно дорогими. Кинг держался мнения (основываясь на своем опыте работы картографом в сухопутной экспедиции Бака много лет назад), что Кинг-Уильям – это остров, тогда как Бутия – мнимый остров, расположенный еще дальше к востоку от них, – на самом деле является длинным полуостровом. Кинг утверждал, что самый простой и безопасный способ найти Северо-Западный проход – это послать небольшие исследовательские отряды в Северную Канаду и проследовать по теплым прибрежным водам на запад; что сотни тысяч квадратных миль северного моря представляют собой опасный лабиринт островов и ледяных потоков, способных поглотить тысячу «Эребусов» и «Терроров». Крозье знал, что в библиотеке «Эребуса» имеется экземпляр спорной книги Кинга – он взял и прочитал ее, и она по-прежнему лежала у него в каюте на «Терроре», – но знал также, что, кроме него, никто в экспедиции данную книгу не читал и читать не собирается.

– Нет, – сказал Крозье, – я не ссылаюсь на гипотезы Кинга, я просто выдвигаю вполне резонное предположение. Послушайте... мы считали, что Земля Корнуоллис огромна и, возможно, является частью Арктического континента, но мы обошли вокруг нее за несколько дней. Многие из нас полагали, что остров Девон простирается на север и на запад вплоть до

Северного Полярного моря, но два наших корабля нашли его западную оконечность, и мы увидели свободные для навигации проливы, ведущие к северу. Приказы предписывали нам двигаться прямо на северо-запад от мыса Уокер, но мы обнаружили на пути препятствие в виде Земли Принца Уэльского – и, что более существенно, она почти наверняка тоже является островом. А полоса невысокого льда, которую мы заметили к востоку от нас, когда шли на юг, вполне могла быть замерзшим проливом, отделяющим остров Сомерсет от Бутии и доказывающим, что Кинг ошибался в своем утверждении, будто Бутия является длинным сплошным полуостровом, тянущимся на север до самого пролива Ланкастер.

– Ничто не доказывает, что полоса низкого льда, виденная нами, была проливом, – сказал лейтенант Гор. – Разумнее предположить в ней низкий, покрытый льдом перешеек вроде того, что мы видели на острове Бичи.

Крозье пожал плечами:

– Возможно, но в ходе этой экспедиции мы убедились, что массивы суши, прежде считавшиеся огромными или соединенными между собой, на самом деле являются островами. Я предлагаю изменить курс на противоположный, избежать встречи с паковыми льдами на юго-западе и двинуться вдоль восточного берега Кинг-Уильяма, который вполне может оказаться островом. По меньшей мере мы получим защиту от этого... порожденного морем глетчера, о котором говорит мистер Блэнки. А в худшем случае – если мы убедимся, что действительно зашли просто в длинный узкий залив, – нам, скорее всего, удастся снова повернуть на север, обогнуть оконечность Кинг-Уильяма и вернуться прямо сюда, ничего не потеряв.

– Если не считать сожженного угля и времени, – заметил командор Фицджереймс.

Крозье кивнул.

Сэр Джон потер ладонью свои округлые, тщательно выбритые щеки.

В наступившей тишине заговорил инженер «Террора» Джеймс Томпсон:

– Сэр Джон, джентльмены, раз уж был затронут вопрос о запасах угля на кораблях, я бы хотел заметить, что близок, очень близок момент – и прошу понимать меня буквально, – когда ситуация станет безнадежной в том, что касается нашего топлива. За последнюю неделю, используя паровые двигатели при движении по окраинам пакового льда, мы израсходовали свыше четверти остававшихся запасов угля. Теперь у нас осталось чуть больше пятидесяти процентов от первоначального запаса... это меньше двух недель работы парового двигателя в нормальных

условиях, но всего несколько дней работы при попытках пробиться через сплоченные льды, предпринимаемых нами в последнее время. Если нам снова придется зимовать во льдах, мы сожжем большую часть оставшегося угля, чтобы просто обогреть жилые палубы.

– Мы всегда можем послать отряд на берег, чтобы нарубить деревьев на дрова, – сказал лейтенант Эдвард Литтл, сидевший слева от Крозье.

С минуту все присутствующие, за исключением сэра Джона, смеялись от души. Шутка разрядила напряженную атмосферу. Вероятно, сэр Джон вспоминал свои первые сухопутные экспедиции в прибрежные северные районы, теперь находящиеся к югу от них: материковая тундра простиралась на девятьсот миль к югу от побережья, прежде чем взору являлось первое дерево или достаточно солидный куст.

– Есть один способ максимально увеличить протяженность нашего пути под паром, – негромко сказал Крозье в более благодушной тишине, наступившей за взрывом смеха.

Все головы разом повернулись к капитану «Террора».

– Мы переместим всю команду и весь уголь с «Эребуса» на «Террор» и пойдем полным ходом, – продолжал Крозье. – Либо через льды на юго-запад, либо на разведку вдоль восточного берега Кинг-Уильяма.

– Отчаянный рывок, – сказал ледовый лоцман Блэнки, нарушив молчание, теперь оторопелое. – Да, в этом есть смысл.

Сэр Джон мог только хлопать глазами. Когда он наконец обрел дар речи, его голос звучал недоверчиво, словно Крозье тоже отпустил шутку, которая до него не доходит.

– Бросить флагманский корабль? – наконец проговорил он. – Бросить «Эребус»? – Он обвел помещение глазами, словно не сомневаясь, что данный вопрос решится раз и навсегда, если офицеры просто посмотрят хорошенько на его каюту: тянущиеся вдоль переборок стеллажи с книгами, хрусталь и китайский фарфор на столе, три патентованных престонских иллюминатора над головой, в которые лился золотой солнечный свет позднего лета. – Бросить «Эребус», Френсис? – повторил он, теперь погромче, но тоном человека, желающего понять маловразумительную шутку.

Крозье кивнул:

– Главный ведущий вал погнут, сэр. Ваш собственный инженер мистер Грегори сказал нам, что его невозможно ни починить, ни снять – вне сухого дока. И уж во всяком случае, пока мы находимся в паковых льдах. Дальше будет только хуже. С двумя кораблями угля у нас хватит лишь на несколько дней или на неделю работы двигателей на полной мощности, необходимой

для штурма пака. В случае неудачи нас затрет льдами – оба корабля. Если мы застрянем в открытом море к западу от Кинг-Уильяма, мы понятия не имеем, в каком направлении течение переместит лед, в который мы вмерзнем. Велика вероятность, что нас вынесет на отмели, тянущиеся здесь вдоль подветренного берега. А это означает верную гибель даже для таких замечательных кораблей, как эти. – Крозье окинул взглядом каюту, кивком показал на световые люки в подволоке. – Но если мы объединим наши запасы угля на менее поврежденном судне, – продолжил он, – и особенно если нам повезет найти свободную для навигации воду с восточной стороны Кинг-Уильяма, у нас хватит топлива, чтобы гораздо больше месяца идти под паром вдоль берега на предельно возможной скорости. «Эребусом» придется пожертвовать, но мы сможем достичь – и достигнем – мыса Тернэген и знакомых мысов вдоль побережья за неделю. И завершим переход по Северо-Западному пути к Тихому океану в этом году, а не в следующем.

– Покинуть «Эребус»? – в который раз повторил сэр Джон.

Он не казался ни раздраженным, ни сердитым – только озадаченным абсурдностью предложения, здесь обсуждавшегося.

– На борту «Террора» будет очень тесно, – заметил командор Фицджереймс.

Похоже, он всерьез обдумывал предложение.

Капитан сэр Джон повернулся направо и уставился на своего любимого офицера. На лице его медленно появилась просительная улыбка человека, которому намеренно не растолковали смысл шутки, но который очень хочет получить объяснения.

– Тесно, но не настолько, чтобы не потерпеть месяц или около того, – сказал Крозье. – Мой мистер Хани и ваш плотник мистер Уикс организуют работы по сносу внутренних переборок – все офицерские каюты будут ликвидированы, за исключением кают-компаний, которую можно отвести под апартаменты сэра Джона на борту «Террора», и, возможно, офицерской столовой. Таким образом, мы получим достаточно места, даже для того, чтобы провести во льдах еще один год или больше. На худой конец, на этих старых военных кораблях полно свободного пространства в нижних палубах.

– Но на перегрузку угля и провианта потребуется время, – сказал лейтенант Левеконт.

Крозье снова кивнул:

– Я попросил моего начальника хозяйственной части мистера Хелпмена сделать предварительные расчеты. Вы, наверное, помните, что

мистер Голднер, поставщик консервированных продуктов для экспедиции, не уложился в сроки и подвез большую часть продовольствия всего за двое суток до отплытия, и нам пришлось производить погрузку практически заново. Однако мы успели управиться с делом ко дню отплытия. Мистер Хелпмен считает, что, если обе команды будут работать все светлое время суток и спать по расписанию полувахт, запасы угля и провианта можно будет перегрузить с «Эребуса» на «Террор» меньше чем за три дня. Несколько недель нам придется жить в тесноте, но наша экспедиция словно начнется заново: у нас будет с избытком угля, годовой запас провианта и корабль в совершенно исправном состоянии.

– Отчаянный рывок, – повторил ледовый лоцман Блэнки.

Сэр Джон потряс головой и хихикнул, словно наконец поняв шутку:

– Что ж, Френсис, это очень... интересная... фантазия, но, разумеется, мы не бросим «Эребус». Как не бросим «Террор», приключись с вашим кораблем какая-нибудь незначительная неприятность. Итак, единственное, чего я не слышал сегодня за этим столом, так это предложения вернуться назад. Я прав в своем умозаключении, что никто такого не предлагает?

В каюте царило молчание. Сверху доносился стук и скрип брусков пемзы, которыми матросы драили палубу второй раз за день.

– Отлично. Значит, решено, – сказал сэр Джон. – Мы пойдем вперед. Не только потому, что наши приказы предписывают нам поступить так, но еще и потому, что, как указали несколько из присутствующих здесь джентльменов, наша безопасность возрастает с приближением к земле, даже если земля эта столь же негостеприимна, как ужасные острова, мимо которых мы проходили. Френсис, Джеймс, вы можете сообщить командам о принятом решении.

Сэр Джон поднялся на ноги.

Несколько секунд остальные капитаны, офицеры, ледовые лоцманы, инженеры и врач могли лишь ошеломленно таращиться, но затем морские офицеры быстро встали, кивнули и начали один за другим выходить из огромной каюты сэра Джона. Не в первый раз Крозье огляделся по сторонам и улыбнулся про себя при мысли, что вся его каюта на «Терроре» могла бы поместиться в гальюне сэра Джона.

Корабельный врач Стенли подергал за рукав командора Фицджереймса, когда все двинулись по узкому коридору и затопали по трапу, ведущему на палубу.

– Капитан, капитан, – сказал Стенли, – сэр Джон не предоставил мне слова, но я хотел поставить всех в известность о возрастающем количестве консервных банок с испорченным содержимым.

Фицджереймс улыбнулся, но высвободил свою руку:

– Мы найдем время, чтобы вы доложили об этом капитану сэру Джону наедине, мистер Стенли.

– Но ему лично я докладывал, – упорствовал врач. – Я хотел сообщить именно всем остальным офицерам на случай, если...

– Позже, мистер Стенли, – сказал командор Фицджереймс.

Врач продолжал говорить еще что-то, но Крозье уже вышел за пределы слышимости и махал рукой Джону Лейну, своему боцману, веля подогнать командирскую шлюпку к борту, чтобы по солнышку проплыть узким каналом обратно к «Террору», уткнувшемуся носом в постепенно нарастающий паковый лед. Из трубы головного корабля все еще валил черный дым.

Взяв курс на юго-запад, в паковые льды, два корабля медленно продвигались вперед еще четыре дня; «Террор» жег уголь в огромных количествах, вынужденный использовать паровой двигатель на полную мощность, чтобы пробиваться через неуклонно утолщающийся лед. Проблески возможного разводья далеко на юге исчезли, недоступные взору даже в солнечные дни.

Девятого сентября температура воздуха резко упала. Длинная узкая полоса открытой воды за кормой «Эребуса», следующего за головным кораблем, сначала покрывалась блинчатым льдом, а потом замерзала полностью. Море вокруг них уже превратилось в колеблющуюся сплошную белую массу гроулеров, полноценных айсбергов и внезапно возникающих торосных гряд.

В течение шести дней Франклин перепробовал все до единого приемы из своего арктического опыта: посыпал черной угольной пылью лед впереди с целью ускорить таяние, днем и ночью посылал измученные отряды с гигантскими пилами, чтобы блок за блоком резать и убирать лед перед кораблями, перемещал балласт, отправлял по сотне человек зараз колоть лед кирками и ломami, устанавливал стоп-якоря в утолщающемся льду далеко впереди и медленно, ярд за ярдом, лебедками продвигал вперед «Эребус», который занял позицию головного судна в последний день перед неожиданным похолоданием. Наконец Франклин приказал всем трудоспособным людям выйти на лед, взяв тросы для всех и санные упряжи для самых сильных, и попробовал тащить корабли по льду волоком, дюйм за дюймом, каждый из которых давался колоссальным напряжением сил, кровавым потом, криками, проклятиями и нарастающим в душе отчаянием. Свободные для навигации прибрежные воды, по

заверениям сэра Джона, находились всего в тридцати или пятидесяти милях впереди.

Они с таким же успехом могли находиться на луне.

Удлинившейся ночью с 15 на 16 сентября 1845 года температура воздуха резко упала ниже нуля, и лед начал стонать и тереться о корпус обоих кораблей. Утром все поднявшиеся на палубу увидели, что море превратилось в сплошную белую пустыню, простирающуюся до самого горизонта, куда ни кинь взгляд. Между внезапно налетавшими снежными шквалами и Крозье, и Фицджереймс сумели определить положение солнца в небе, чтобы вычислить свои координаты. Оба капитана установили, что застряли примерно на $70^{\circ}05'$ северной широты и $98^{\circ}23'$ западной долготы, примерно в двадцати пяти милях от северо-западного берега острова (или полуострова – вопрос оставался спорным) Кинг-Уильям.

Они находились в открытом замерзшем море, среди движущихся паковых льдов, беззащитные перед мощным натиском «гигантских глетчеров» ледового лоцмана Блэнки, надвигавшихся на них из полярных областей на северо-западе, от невообразимого Северного полюса. Насколько они знали, в радиусе сотни миль здесь не было ни одной гавани, способной послужить укрытием, а если бы таковая и была, у них не имелось никакой возможности до нее добраться.

В два часа пополудни 16 сентября капитан сэр Джон приказал прекратить интенсивную топку паровых котлов. Давление в обоих котлах упало. Теперь в них будет поддерживаться лишь давление, необходимое для циркуляции теплой воды в трубах, обогревающих жилую палубу каждого судна.

Сэр Джон не сделал никакого объявления команде. В этом не было необходимости. Той ночью, когда люди устраивались в своих койках на «Эребусе» и Хартнелл шептал свою обычную молитву о покойном брате, тридцатипятилетний матрос Абрахам Сили, лежавший в соседней койке, прошепел:

– Теперь мы в полном дерьме, Томми, и ни твои молитвы, ни молитвы сэра Джона не вытащат нас из дерьма... по меньшей мере в ближайшие десять месяцев.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

11 ноября 1847 г.

Прошел год, два месяца и восемь дней со дня знаменательного совещания, проведенного сэром Джоном на борту «Эребуса», и два затертых льдами корабля находятся примерно там же, где находились тем сентябрьским днем в 1846 году. Хотя вся масса льда постоянно движется под действием северо-западного течения, последний год оно медленно перемещало ледяные поля, айсберги, торосные гряды и оба попавшие в западню корабля британского военно-морского флота по кругу, раз за разом – так что их местоположение осталось приблизительно прежним: они намертво вмерзли в лед примерно в двадцати пяти милях к северо-северо-западу от Кинг-Уильяма и совершают медленное вращательное движение, точно пятнышко ржавчины на одном из металлических музыкальных дисков в кают-компании.

Этот ноябрьский день – вернее, те часы темноты, которые прежде включали в себя дневной свет в качестве компонента, – капитан Крозье провел за поисками пропавших членов своего экипажа, Уильяма Стронга и Томаса Эванса. Разумеется, надежды найти живым хоть одного из них нет, и существует большой риск, что обитающее во льдах чудовище утащит еще кого-нибудь, но они все равно ищут. Ни капитан, ни команда не могут поступить иначе.

Четыре отряда по пять человек каждый – один несет два фонаря, а четверо держат наготове дробовики или мушкеты – ведут поиски четырехчасовыми сменами. Когда одна группа возвращается, продрогшая до костей и дрожащая, следующая уже ждет на верхней палубе, тепло одетая, с прочищенным, заряженным и приведенным в боевую готовность оружием, с заправленными маслом фонарями, – и возобновляет поиски в секторе, только что покинутом предыдущим отрядом. Люди уходят от корабля дальше и дальше, двигаясь все расширяющимися кругами через нагромождения ледяных глыб, и их фонари то видны часовым на палубе, то скрываются за обломками айсбергов, застругами, торосными грядами или теряются во мраке в отдалении. Капитан Крозье и матрос с красным фонарем переходят от сектора к сектору, проверяя каждый отряд, коли

находят, а потом возвращаются на «Террор», чтобы проследить за людьми и обстановкой там.

Это продолжается уже двенадцать часов.

Когда бьют две склянки — в шесть часов вечера, — последние поисковые отряды возвращаются, так и не найдя пропавших, но несколько матросов сконфужены тем, что стреляли в ветер, пронзительно воющий среди зубчатых ледяных гор, или в сами ледяные глыбы, приняв какой-нибудь серак за неясно вырисовывающегося в темноте белого медведя. Крозье поднимается на борт последним и спускается вслед за людьми в жилую палубу.

Почти все матросы убрали на место мокрые шинели и сапоги и прошли в свою столовую — столы уже спущены на цепях, — а офицеры отправились ужинать в кормовой отсек к тому времени, когда Крозье сходит вниз по трапу. Его вестовой Джопсон и первый лейтенант Литтл спешат к нему, чтобы помочь снять заиндевелую верхнюю одежду.

— Вы здорово замерзли, капитан, — говорит Джопсон. — У вас лицо обморожено, вон какая кожа белая. Ступайте в офицерскую столовую ужинать, сэр.

Крозье мотает головой:

— Мне нужно поговорить с командором Фицджереймсом. Эдвард, приходил ли посыльный с «Эребуса», пока я отсутствовал?

— Нет, сэр, — отвечает лейтенант Литтл.

— Пожалуйста, поешьте, капитан, — настаивает Джопсон.

Для вестового он имеет весьма внушительные габариты, и его низкий голос напоминает скорее грозное рычание, нежели жалобный скулеж, когда он упрашивает своего капитана.

Крозье снова трясет головой:

— Будьте любезны, заверните мне пару галет, Томас. Я погрызу их по пути к «Эребусу».

Джопсон хмурится, выказывая свое недовольство столь глупым решением, но спешит в носовую часть, где мистер Диггл хлопочет подле своей огромной плиты. Сейчас, в обеденное время, в жилой палубе отнюдь не жарко, и такая температура воздуха — около сорока пяти градусов^[2] — будет держаться здесь в любое время суток. В последние дни на отопление тратится очень мало угля.

— Сколько человек вы возьмете с собой, капитан? — спрашивает Литтл.

— Нисколько, Эдвард. Когда люди поедят, отправьте на лед по меньшей мере восемь поисковых отрядов, на последние четыре часа.

— Но, сэр, следует ли вам... — начинает Литтл, но осекается.

Крозье знает, что он собирался сказать. «Террор» от «Эребуса» отделяет всего лишь миля с малым, но это пустынная, опасная миля, и порой требуется несколько часов, чтобы ее преодолеть. Если налетает снежная буря или просто начинается метель, люди сбиваются с пути или не могут продолжать движение при встречном ветре. Крозье сам запретил людям ходить к другому кораблю поодиночке, и, когда нужно передать сообщение, он отправляет по меньшей мере двух человек, с приказом возвращаться назад при первых же признаках ненастья. Мало того что теперь между кораблями вздымается айсберг высотой в двести футов, зачастую загораживающий даже вспышки сигнальных огней на «Эребусе», так еще и проложенная между ними тропа – хотя ее расчищают и разравнивают лопатами почти каждый день – в действительности представляет собой извилистый лабиринт среди постоянно перемещающихся сераков, ступенчатых торосных гряд, перевернутых гроулеров и беспорядочных нагромождений ледяных глыб.

– Все в порядке, Эдвард, – говорит Крозье. – Я возьму компас.

Лейтенант Литтл улыбается, хотя шутка несколько приелась за три года пребывания здесь. Если верить приборам, корабли находятся почти прямо над северным магнитным полюсом. От компаса здесь столько же пользы, как от «волшебной лозы» для отыскания руды.

К ним подходит лейтенант Ирвинг. Щеки молодого человека блестят от мази, наложенной на места, где обмороженная кожа побелела, омертвела и слезла.

– Капитан, – выпаливает он, – вы не видели там, на льду, Безмолвную?

Крозье уже снял фуражку и шарф и вытряхивает сосульки из своих влажных от пота и тумана волос.

– Вы хотите сказать, что эскимоски нет в ее маленьком укрытии за лазаретом?

– Да, сэр.

– Вы хорошо обыскали жилую палубу?

Главным образом Крозье беспокоит предположение, что, пока большинство людей несли вахту или занимались поисками пропавших, эскимосская ведьма попала в какой-нибудь переплет.

– Так точно, сэр. Ни следа Безмолвной. Я спрашивал людей, но никто не помнит, чтобы видел ее со вчерашнего вечера. В смысле, после... нападения.

– Она была на палубе, когда зверь напал на рядового Хизера и матроса Стронга?

– Никто не знает, капитан. Может, и была. Тогда на палубе находились

только Хизер и Стронг.

Крозье шумно выдыхает. Вот уж поистине нелепо, думает он, если их таинственную гостью – впервые появившуюся в тот самый день, когда этот кошмар начался шесть месяцев назад, – в конце концов утатило жуткое существо, появившееся здесь одновременно с ней.

– Обыщите весь корабль, лейтенант Ирвинг, – говорит он. – Загляните во все потайные уголки, щели, кладовые и канатные ящики. Следуя логике, если не найдем женщины на борту, будем считать, что она... покинула нас.

– Хорошо, сэр. Я отберу трех-четырех человек, чтобы помогли мне в поисках?

Крозье мотает головой:

– Только вы один, Джон. Я хочу, чтобы все продолжили поиски на льду в течение нескольких часов, пока в фонарях не выгорело масло, и, если вы не найдете Безмолвную, присоединитесь к любому из поисковых отрядов.

– Есть, сэр.

Вспомнив о тяжелораненом, Крозье направляется через матросскую столовую в лазарет. Обычно во время ужина, даже в столь темные дни, за столами слышались разговоры и смех, несколько поднимающие настроение, но сегодня здесь царит тишина, нарушаемая лишь стуком и скрежетом ложек о металлические миски да изредка звуками отрывки. Измученные люди сгорбившись сидят на своих матросских сундучках, служащих стульями, и капитан видит лишь усталые лица, пока протискивается к носовому отсеку.

Крозье стучит о деревянный столбик справа от занавески, отделяющей лазарет от кубрика, и заходит.

Судовой врач Педди, сидящий за столом посреди помещения и накладывающий шов на левое предплечье матроса Джорджа Канна, поднимает глаза от иголки с ниткой.

– Что случилось, Канн?

Молодой матрос кричит:

– Да ствол черногого дробовика скользнул мне под рукав и прикоснулся, твою мать, прямо к голой руке, когда я забирался на чертову торосную гряду, капитан, прошу прощения за бранные выражения. Я вытащил дробовик и вместе с ним – шесть дюймов чертова мяса.

Крозье кивает и осматривается вокруг. Помещение лазарета мало, но сюда уже втиснуты шесть коек. Одна пустая. Три человека – по предположению Педди и Макдональда, тяжело больные цингой – спят. Четвертый, Дейви Лейс, неподвижным взглядом смотрит в подволок – он находится в сознании, но уже почти неделю ни на что не реагирует. На

пятой койке лежит рядовой морской пехоты Уильям Хизер.

Крозье снимает второй фонарь с крюка на переборке по правому борту и направляет свет на Хизера. Глаза мужчины блестят, но он не моргает, когда Крозье подносит фонарь ближе. Зрачки у него, похоже, постоянно расширены. Голова у него перевязана, но кровь и серое вещество уже проступают сквозь бинты.

– Он жив? – тихо спрашивает Крозье.

Педди подходит, вытирая тряпкой окровавленные руки:

– Как ни странно, да.

– Но мы видели его мозги на палубе. Они там до сих пор остались.

Педди устало кивает:

– Такое бывает. В других обстоятельствах он, возможно, даже выжил бы. Остался бы идиотом, конечно, но я бы вставил металлическую пластину взамен отсутствующей части черепа, и его семья, коли у него таковая есть, заботилась бы о нем. Как о своего рода домашнем животном. Но здесь... – Педди пожимает плечами. – Он умрет от пневмонии, или цинги, или истощения.

– Когда? – спрашивает Крозье.

Матрос Канн уже вышел за занавеску.

– Одному Богу ведомо, – говорит Педди. – Поиски Эванса и Стронга продолжатся, капитан?

– Да. – Крозье вешает фонарь обратно на переборку возле входа. Тени снова наплывают на рядового морской пехоты Хизера.

– Уверен, вы понимаете, – говорит измученный врач, – что надежды на спасение молодого Эванса или Стронга нет, но можно с уверенностью утверждать, что с каждым следующим выходом поисковых отрядов на лед у нас будет увеличиваться число ран и обморожений, повышаться риск ампутации – каждый пятый человек уже лишился одного или нескольких пальцев ног – и возрастет вероятность, что кто-нибудь в панике подстрелит одного из своих товарищей.

Крозье пристально смотрит на врача. Если бы один из офицеров посмел говорить с ним в таком тоне, он бы приказал выпороть наглеца. Капитан принимает во внимание штатский статус и измученное состояние Педди. Доктор Макдональд уже трое суток лежит в своей койке с инфлюэнцей, и Педди приходится работать за двоих.

– Пожалуйста, предоставьте мне беспокоиться об опасностях, сопряженных с дальнейшими поисками, мистер Педди. Вы же занимаетесь наложением швов людям, у которых хватает ума прижимать голый металл к коже при минус шестидесяти. Кроме того, если бы это существо утатило

во тьму вас, разве вы не хотели бы, чтобы мы попытались вас найти?

Педди невесело смеется:

– Если именно этот представитель вида полярных медведей утащит меня, капитан, мне останется лишь надеяться, что мой скальпель будет при мне. Чтобы я мог вонзить его в свой собственный глаз.

– В таком случае держите скальпель под рукой, мистер Педди, – говорит Крозье и, отодвинув занавеску, выходит в непривычно тихую матросскую столовую.

В тусклом свете камбуза Джопсон ждет его с узелком горячих лепешек.

Крозье получает удовольствие от ходьбы, хотя от всепроникающего холода лицо, руки и ноги у него горят, словно в огне. Он знает, что это лучше, чем онемение. Прислушиваясь к протяжным стонам и внезапным взвизгам льда, движущегося под ним и вокруг него в темноте, и к непрерывному вою ветра, он исполняется уверенности, что кто-то следует за ним по пятам.

На двадцать минут из двух часов ходьбы (сегодня почти на всем пути не столько ходьбы как таковой, сколько карабканья вверх и съезжания на заднице вниз по склонам торосных гряд) облака расступаются, и луна в последней четверти озаряет фантастический пейзаж. Луна достаточно яркая, чтобы вокруг нее образовалось сверкающее ледяными кристалликами гало – на самом деле, замечает Крозье, два концентрических гало, причем большее покрывает чуть не треть ночного неба на востоке. Звезд нет. Крозье уворачивает фитиль фонаря с целью экономии масла и продолжает шагать вперед, ощупывая взятым с корабля багром каждую складку черноты перед собой, чтобы убедиться, что это тень, а не трещина или расселина. Он уже достиг восточного склона айсберга, который теперь загораживает от него луну и отбрасывает черную, изломанных очертаний тень на добрую четверть мили. Джопсон и Литтл настойчиво советовали взять с собой дробовик, но Крозье сказал, что не хочет тащить лишний груз. Он не верит, что от дробовика будет какой-нибудь толк при встрече с врагом, о котором они думали.

В настоящий момент Френсис Родон Мойра Крозье наслаждается своим двухчасовым одиночеством во льдах. Изредка останавливается, чтобы перевести дух после преодоления особо высокой, вновь образовавшейся торосной гряды, – люди с «Террора» и «Эребуса» стараются поддерживать в проходимом состоянии свои участки тропы между кораблями (причем команда «Террора» в последние месяцы

работает усерднее, чем команда «Эребуса»), но старательно выдолбленные кирками ступени и пробитые лопатами проходы сквозь торосные гряды и сераки постоянно заносит снегом и заваливает вследствие движения льда и обрушения сераков. Отсюда все эти неуклюжие восхождения и скользящие спуски, не говоря уже о частых отклонениях в сторону от пути.

Сейчас, в минуту редкого затишья, когда странное безмолвие ледяной пустыни нарушает лишь его тяжелое дыхание, Крозье вдруг вспоминает похожий момент в далеком прошлом, когда он еще мальчишкой однажды зимой возвращался вечером домой после прогулки среди оснеженных холмов с друзьями – сначала бежал опрометью через покрытую инеем вересковую пустошь, чтобы добраться до дома засветло, но потом, примерно в полумиле от дома, остановился. Он помнит, как стоял там, глядя на огни деревни, в то время как последний скудный свет зимних сумерек погас в небе и окрестные холмы обратились расплывчатыми, черными, безликими громадами, незнакомыми маленькому мальчику, и наконец даже родной дом, видневшийся на окраине селения, утратил четкость очертаний в сгущающемся мраке. Крозье помнит, как пошел снег, а он все стоял там один в темноте за каменными овечьими загонами, зная, что получит взбучку за опоздание, зная, что чем позже он вернется, тем сильнее будет взбучка, но все еще не находя в себе сил двинуться на свет окон, наслаждаясь тихим шумом ночного ветра и мыслью, что он единственный мальчик – возможно даже, единственный человек, – который сегодня ночью здесь, среди открытых ветрам, посеребренных инеем лугов, вдыхает свежий запах падающего снега, отчужденный от горящих окон и жарких очагов, ясно сознающий себя жителем деревни, но не частью оной в данный момент. Это было глубоко волнующее, почти эротическое чувство – тайное осознание отъединенности своего «я» от всех и вся в холоде и темноте, – и он испытывает его сейчас, как не раз испытывал за годы службы на разных полюсах Земли.

Кто-то спускается с высокой торосной гряды позади него.

Крозье выкручивает фитиль до упора и ставит масляный фонарь на лед. Круг золотистого света имеет не более пятнадцати футов в диаметре, и по контрасту с ним темнота за его пределами кажется еще непрогляднее. Стянув зубами и бросив под ноги толстую рукавицу с правой руки, теперь оставшейся лишь в тонкой перчатке, Крозье перекладывает багор в левую руку и вынимает из кармана шинели пистолет. Он взводит курок, когда хруст льда и скрип снега на склоне торосной гряды становятся громче. Он стоит в густой тени айсберга, загораживающего лунный свет, и может различить лишь смутные очертания громадных ледяных глыб, которые

словно шевелятся и подрагивают при мерцающем свете фонаря.

Потом какая-то мохнатая расплывчатая фигура движется вдоль ледяного выступа, с которого он только что спустился, всего в десяти футах над ним и менее пятнадцати футов к западу от него – на расстоянии прыжка.

– Стой! – говорит Крозье, выставя вперед тяжелый пистолет. – Кто идет?

Фигура не издает ни звука. Она снова трогается с места.

Крозье не стреляет. Бросив длинный багор на лед, он хватается фонарь и резко поднимает перед собой.

Он видит пятнистый мех и чуть не спускает курок, но в последний момент сдерживается. Фигура спускается ниже, двигаясь по льду быстро и уверенно. Крозье возвращает ударник затвора в прежнее положение, кладет пистолет обратно в карман и, все еще продолжая держать фонарь в вытянутой вперед руке, приседает на корточки, чтобы поднять рукавицу.

В круг света входит леди Безмолвная, похожая на округлых очертаний медведя в своей меховой парке и штанах из тюленьей шкуры. Капюшон у нее надвинут низко на лоб для защиты от ветра, и черты затененного лица неразличимы.

– Черт побери, женщина, – тихо говорит он. – Еще секунда – и я пустил бы в тебя пулю. Где ты, собственно говоря, пропадала?

Она подступает ближе – почти на расстояние вытянутой руки, – но ее лицо по-прежнему скрыто в густой тени капюшона.

Внезапно по спине Крозье пробегают ледяные мурашки – ему вспоминается бабушкино описание прозрачного черепообразного лица привидения-плакальщицы под складками черного капюшона, – и он резко поднимает фонарь.

Лицо молодой женщины вполне телесно, в широко раскрытых темных глазах отражается свет фонаря. Вид у нее бесстрастный. Крозье сознает, что ни разу не видел на лице эскимоски никакого выражения – разве только слегка вопросительное. Даже в тот день, когда они смертельно ранили ее мужа, или брата, или отца и она смотрела, как мужчина умирает, захлебываясь собственной кровью.

– Неудивительно, что люди считают тебя ведьмой и библейским Ионой в женском обличье, – говорит Крозье.

На корабле он всегда держится с эскимосской девкой подчеркнуто вежливо и церемонно, но сейчас он не на корабле и не в присутствии своих подчиненных. Капитан впервые оказался один на один с чертовой бабой за пределами корабля. И он страшно замерз и очень устал.

Леди Безмолвная пристально смотрит на него. Потом она вытягивает вперед руку в рукавице. Крозье немного опускает фонарь и видит у нее в руке некий бесформенный серый предмет, похожий на рыбу, из которой вынули все внутренности и кости, оставив одну кожу.

Он понимает, что это матросский шерстяной чулок.

Крозье берет его, нащупывает плотный комок в носке чулка и на мгновение исполняется уверенности, что комок окажется куском ступни, возможно передней частью с пальцами, все еще розовой и теплой.

Крозье доводилось бывать во Франции и водить знакомство с людьми, служившими в Индии. Он слышал истории о людях-волках и людях-тиграх. На Земле Ван-Димена, где он встретился с Софией Крэкрофт, она рассказывала ему местные предания о туземцах, умеющих превращаться в чудовище, которое там называют тасманийским дьяволом.

Вытряхивая комок из чулка, Крозье смотрит в глаза леди Безмолвной. Они черны и бездонны, как проруби, в которые люди с «Террора» опускали своих мертвецов, пока даже эти проруби не замерзли.

В чулке оказался кусок льда, а не часть ступни. Но сам чулок еще не заледенел. Он находился на шестидесятиградусном морозе недолго. Логично предположить, что женщина принесла его с корабля, но почему-то Крозье так не думает.

– Стронг? – спрашивает капитан. – Эванс?

Безмолвная никак не реагирует на имена.

Крозье вздыхает, запихивает чулок в карман шинели и поднимает со льда багор.

– Мы ближе к «Эребусу», чем к «Террору», – говорит он. – Тебе придется пойти со мной.

Крозье поворачивается к эскимоске спиной – при этом вдоль позвоночника у него снова пробегают мурашки – и шагает против крепчающего ветра по скрипящему снегу, направляясь к теперь различимым во мраке очертаниям второго корабля. Минутой позже он слышит легкие шаги Безмолвной позади.

Они преодолевают последнюю торосную гряду, и Крозье видит, что «Эребус» освещен ярче, чем когда-либо прежде. Дюжина, если не больше, фонарей висит на гике с обращенного к ним правого борта затертого льдами, нелепо приподнятого и круто накренившегося судна. Бессмысленная трата масла.

«Эребус», знает Крозье, за последние два года пострадал сильнее «Террора». Помимо погнутого прошлым летом ведущего вала гребного винта (по замыслу конструкторов вал должен был убираться, но не успел

вовремя сделать этого, чтобы избежать повреждения при столкновении с подводной льдиной во время июльского штурма льдов) и утраты самого гребного винта флагманский корабль за минувшие две зимы получил больше повреждений, чем второе судно. Под натиском льдов в сравнительно безопасной гавани у берега острова Бичи доски обшивки у «Эребуса» покособились, растрескались и расселись сильнее, чем у «Террора»; руль флагмана сломался в ходе отчаянной попытки прорваться к Северо-Западному проходу, предпринятой прошлым летом; от мороза на корабле сэра Джона полопалось больше болтов, заклепок и металлических скоб; у «Эребуса» оторвалось или искривилось гораздо больше железных листов ледорезной обшивки; и хотя «Террор» тоже крепко сдавило льдами и малость приподняло, последние два месяца третьей зимы арктической экспедиции «Эребус» стоит в буквальном смысле слова на высоком ледяном пьедестале, причем под давлением пака в корпусе судна – в носовой части правого борта, в кормовой части левого и в срединной части днища – образовались длинные проломы.

Флагманский корабль сэра Джона Франклина, знает Крозье – как знает нынешний капитан «Эребуса» Джеймс Фицджереймс, а равно вся судовая команда, – никогда больше не поплывет.

Прежде чем выйти на освещенное фонарями «Эребуса» пространство, Крозье отступает за серак высотой футов десять и затаскивает Безмолвную себе за спину.

– Эй, на корабле! – гаркает он самым зычным своим властным голосом, каким обычно пользуется на верфях.

Грохает выстрел дробовика, и серак в пяти футах от Крозье взрывается фонтанчиком ледяных брызг, блестящих в тусклом свете фонаря.

– Отставить, черт бы побрал твои слепые зенки, ты, тупоумный хренов придурок, твою мать! – в бешенстве ревет Крозье.

На палубе «Эребуса» возникает лихорадочная возня: какие-то офицеры вырывают дробовик из рук тупоумного придурка-часового.

– Все в порядке, – говорит Крозье эскимоске, съездившейся у него за спиной. – Теперь можно идти.

Он останавливается – и не только потому, что леди Безмолвная не выходит вслед за ним на свет. Он видит лицо девушки в тусклых отблесках фонарей, и она улыбается. Эти полные губы, всегда неподвижные, чуть изгибаются в еле заметной улыбке. Словно она поняла его вспышку ярости и позабавилась.

Но прежде чем Крозье успевает убедиться, что видит действительно улыбку, Безмолвная отступает в тень ледяных глыб и исчезает.

Крозье трясет головой. Если эта сумасшедшая хочет замерзнуть там, черт с ней. Ему предстоит серьезный разговор с командором Фицджереймсом, а потом долгий путь домой в темноте, прежде чем он сможет отправиться на боковую.

Только сейчас осознав, что последние полчаса не чувствовал своих ног, Крозье устало топает вверх по грязному снежно-ледяному скату к палубе разбитого флагмана покойного сэра Джона.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

Май 1847 г.

Капитан сэр Джон Франклин был, наверное, единственным человеком на борту обоих кораблей, который сохранял наружное спокойствие, когда весна и лето просто не пришли в апреле, мае и июне 1847 года.

Сэр Джон не стал официально объявлять, что они застряли во льдах по меньшей мере еще на год: в этом не было необходимости. Прошлой весной, у острова Бичи, матросы и офицеры с великим нетерпением наблюдали не только за возвращением солнца, но и за тем, как сплоченный пак распадается на отдельные ледяные потоки и превращается в рыхлую шугу, как появляются разводья и лед разжимает свою хватку. В конце мая 1846 года они снова плыли. В этом году – нет.

Прошлой весной матросы и офицеры видели возвращение многочисленных птиц, китов, рыбы, песцов, тюленей, моржей и прочих животных, не говоря уже о прозеленях лишайника и низкого вереска на островах, к которым они двигались в начале июня. В этом году – нет. Отсутствие открытой воды означало, что не будет ни китов, ни моржей, почти никаких тюленей (поймать или подстрелить нескольких кольчатых нерп, замеченных ими, сейчас оказалось не легче, чем было ранней зимой) и вообще ничего, кроме грязного снега и серого льда вокруг, насколько хватает глаз.

Температура воздуха оставалась низкой, несмотря на то что солнце стояло в небе все дольше с каждым днем. Хотя в середине апреля Франклин приказал установить на обоих кораблях стеньги на мачты, рангоут, такелаж и новые паруса, в них не было толка. Если паровые котлы и топились, то единственно для нагрева воды в трубах отопительной системы. Дозорные докладывали о сплошной белой пустыне, простирающейся во всех направлениях до самого горизонта. Айсберги оставались на местах, где они вмерзли в лед в прошлом сентябре. Фицджереймс и лейтенант Гор совместно с капитаном Крозье с «Террора» по положению звезд удостоверились, что течение перемещает ледяной поток на юг со скоростью всего-навсего полторы мили в месяц, но ледяное поле, в котором они намертво застряли, всю зиму совершало круговое движение против часовой стрелки, и они

постоянно возвращались к исходной точке. Торосные гряды продолжали неожиданно вырастать вокруг, похожие на белые отвалы гигантских сусликов. Лед становился тоньше – команды, бурившие пожарные лунки, теперь видели воду под ним, – но толщина его все еще составляла более десяти футов.

Сохранять при всем этом спокойствие капитану сэру Джону Франклину помогали две вещи: сила веры и мысль о жене. Искренняя христианская вера служила для него своего рода спасательным бумом, даже когда тяжкое бремя ответственности и разочарования пыталось увлечь его в пучину уныния. Он знал и всем сердцем верил, что все в мире происходит по воле Божьей. То, что другим кажется неизбежным, необязательно является таковым во вселенной, где правит сострадательный и милосердный Бог. Лед может внезапно вскрыться в середине лета, до которой теперь оставалось меньше шести недель, и даже всего за несколько недель плавания под парусами и под паром они успеют с триумфом достичь Северо-Западного прохода. Они будут идти на запад вдоль побережья, пока не иссякнут запасы угля, а остальной путь до Тихого океана проделают под парусами, уйдя подальше от опасных северных широт к середине сентября, когда на море снова встанет паковый лед. Одно его назначение на должность начальника этой экспедиции – в возрасте шестидесяти лет, после унижения, пережитого на Земле Ван-Димена, – было величайшим чудом.

Как бы глубоко и искренне сэр Джон ни верил в Бога, его вера в жену была еще глубже и порой исполнена еще большего трепета. Леди Джейн Франклин была неукротимой женщиной – именно неукротимой, другого слова не найти. Ее воля не знала границ, и почти во всех обстоятельствах леди Джейн Франклин подчиняла произвольные и случайные извивы судьбы своей железной воле. Сэр Джон с уверенностью предполагал, что после двух полных лет неизвестности о судьбе экспедиции жена уже пустила в ход свои внушительные деньги, связи и силу воли, чтобы заставить Адмиралтейство, парламент и одному Богу ведомо, кого еще, организовать его поиски.

Данное предположение несколько тревожило сэра Джона. Больше всего на свете он не хотел, чтобы его «спасали» – чтобы либо по суше, либо морем во время короткого периода летнего таяния льдов к нему на помощь подошла поспешно снаряженная экспедиция под командованием пропавшего виски сэра Джона Росса или молодого сэра Джеймса Росса (которого, сэр Джон не сомневался, непременно привлекут к делу по требованию леди Джейн, хотя он и отошел от арктических путешествий).

Это означало бы для него позор и бесчестье.

Но сэр Джон хранил спокойствие, поскольку знал, что Адмиралтейство ни в каких ситуациях не действует быстро, даже под напором такой мощной силы, как его жена Джейн. Сэр Джон Барроу и прочие члены мифического Арктического совета, не говоря уже о высших чинах военно-морского флота, прекрасно знают, что «Эребус» и «Террор» обеспечены провиантом на три года – и на больший срок, если урезать рацион, – и вдобавок имеют возможность заниматься рыболовством и охотой везде и всюду, где водится рыба и дичь. Сэр Джон знал, что его жена – неукротимая жена – непременно добьется организации спасательной экспедиции, коли дело дойдет до этого, но инертность Военно-морского флота Великобритании служит верным залогом того, что подобная попытка спасения будет осуществлена в лучшем случае лишь весной и летом 1848 года, если не позже.

Посему в конце мая 1846 года сэр Джон снарядил пять санных отрядов, призванные обследовать местность во всех направлениях в поисках чистой воды, причем один из них получил распоряжение отправиться назад по пути, уже пройденному кораблями. Они отбыли 21, 23 и 24 мая, и отряд лейтенанта Гора – самый главный из всех – отбыл последним и направился на юго-восток, в сторону Кинг-Уильяма.

Помимо приказа произвести разведку, первый лейтенант Грэм Гор получил еще одно важное задание: оставить в укрытии на берегу первое с начала экспедиции письменное сообщение сэра Джона.

Капитан сэр Джон Франклин, впервые за все время службы в военно-морском флоте, вплотную приблизился к неповиновению приказам. Согласно предписаниям Адмиралтейства, на всем пути своего следования он должен был возводить пирамиды из камней и оставлять в сих укрытиях письменные сообщения – в случае, если корабли не появятся за Беринговым проливом в назначенный срок. Только из них спасательные суда британского военно-морского флота могли узнать, каким курсом Франклин проследовал и что явилось причиной задержки, – но сэр Джон не оставил подобного сообщения на острове Бичи, хотя у него было почти девять месяцев, чтобы подготовить отчет. По правде говоря, сэр Джон настолько возненавидел ту первую свою зимнюю стоянку, настолько стыдился смерти трех своих матросов от чахотки, что втайне от всех решил оставить в качестве требуемых посланий лишь могилы. Если повезет, никто не найдет этих могил еще многие годы после того, как весть о его триумфальном прохождении по Северо-Западному морскому пути прогремит по всему миру.

Но теперь прошло уже почти два года со времени последнего его письменного доклада, адресованного начальству, и потому Франклин продиктовал Гору отчет и положил его в воздушнонепроницаемый медный цилиндр – один из двухсот, полученных перед отплытием.

Он самолично объяснил лейтенанту Гору и второму помощнику Чарльзу Дево, где надлежит оставить послание, – в шестифутовой каменной пирамиде, возведенной на Кинг-Уильяме сэром Джоном около семнадцати лет назад, в самой западной точке маршрута его собственного плавания. В первую очередь именно там, знал Франклин, военно-морской флот станет искать сообщение от его экспедиции, поскольку это был последний объект местности, нанесенный на все географические карты.

Сидя в одиночестве в своей каюте утром перед отбытием Гора и Дево с шестью матросами и глядя на одинокую загогулину, обозначающую сей последний объект местности на его собственной карте, сэр Джон невольно улыбнулся. Семнадцать лет назад Росс дал самому западному мысу на обследованном побережье название Виктори-Пойнт, а потом в знак уважения (в котором, впрочем, ныне чудилась легкая ирония) назвал близлежащие нагорья мысом Джейн Франклин и мысом Франклина. «Такое впечатление, – думал сэр Джон, глядя на потрепанную карту с черными линиями контуров и обширными пустыми пространствами к западу от аккуратно прорисованного мыса Виктори-Пойнт, – будто сама Судьба или воля Божья привела сюда меня и всех этих людей».

Продиктованное сообщение – написанное рукой Гора, – по мнению сэра Джона, получилось кратким и деловым:

«...мая 1847 г. (Гор должен был вписать число по прибытии к каменной пирамиде.) Корабли ее величества „Эребус“ и „Террор“ зимовали во льдах на 70°05' с. ш. и 98°23' з. д. Зиму 1846–47 г. провели у острова Бичи на 74°43' 28" с. ш. и 90°39' 15" з. д., предварительно поднявшись по проливу Веллингтон до 77° с. ш. и возвратившись обратно вдоль западного побережья острова Корнуоллис. Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке. Отряд, состоящий из двух офицеров и шести матросов, покинул корабли в понедельник 24 мая 1847 г. Лейт. Гор., пом. кап. Ч. Ф. Дево».

Франклин наказал Гору и Дево обоим подписаться под посланием и проставить дату, прежде чем запечатать цилиндр и спрятать глубоко в каменной пирамиде Джеймса Росса.

Чего Франклин – да и лейтенант Гор тоже – не заметил в ходе диктовки, так это того, что он назвал неверные даты зимовки у острова Бичи. В замерзшей бухте у Бичи они провели первую зиму 1845/46 г.;

нынешняя же ужасная зимовка в открытых паковых льдах происходила зимой 1846/47 г.

Не важно. Сэр Джон был убежден, что в данном случае он оставляет совершенно несущественное послание потомству – возможно, какому-нибудь историку военно-морского флота, желающему присовокупить сие письменное свидетельство к будущему отчету сэра Джона об экспедиции (сэр Джон планировал написать книгу, за счет доходов от которой его личное состояние вырастет почти до размеров капитала супруги), – а не диктует серьезный документ, который кто-нибудь прочитает в ближайшем будущем.

Утром, когда отбывал санный отряд Гора, сэр Джон тепло оделся и спустился на лед, чтобы пожелать счастливого пути.

– Вы взяли все необходимое, джентльмены? – спросил сэр Джон.

Первый лейтенант Гор – четвертый по старшинству положения после сэра Джона, капитана Крозье и командора Фицджереймса – кивнул, как и его подчиненный, помощник капитана Дево, мимолетно улыбнувшийся. Солнце светило ярко, и мужчины уже надели сетчатые очки, выданные мистером Осмером, старшим интендантом «Эребуса», для защиты глаз от ослепительных солнечных лучей.

– Да, сэр Джон. Благодарю вас, сэр, – сказал Гор.

– Небось, «вязанок» немерено? – шутливо спросил сэр Джон.

– Так точно, сэр, – ответил Гор. – Восемь поддевок из шерсти лучших нортумберлендских овец, сэр Джон. Девять, если считать подштанники.

Пятеро матросов рассмеялись, позабавленные шутливой беседой своих офицеров. Люди, сэр Джон знал, любили его.

– Ну как, готовы к ночевкам на льду? – спросил сэр Джон одного из матросов, Чарльза Беста.

– Так точно, сэр Джон, – живо откликнулся невысокий, но крепко сбитый молодой матрос. – У нас с собой голландская палатка, сэр, и восемь больших одеял из волчьих шкур, чтобы в них заворачиваться. И еще двадцать четыре спальных мешка, сэр Джон, которые интендант пошил для нас из отличных шерстяных одеял. На льду нам будет теплее, чем на борту корабля, милорд.

– Прекрасно, прекрасно, – рассеянно проговорил сэр Джон.

Он смотрел на юго-восток, где полуостров Кинг-Уильям – или остров, если верить безумной гипотезе Френсиса Крозье, – выдавал свое местонахождение лишь едва заметным потемнением неба над самым горизонтом. Сэр Джон молил Бога (молил в буквальном смысле слова) о том, чтобы Гор со своими людьми – либо до, либо после того, как оставит в

пирамиде послание от экспедиции, – нашел свободную для навигации воду близ побережья. Сэр Джон был исполнен решимости сделать все возможное и невозможное, чтобы провести два корабля, как бы сильно ни пострадал «Эребус», через подтаявшие льды, если только они подтают, в относительно безопасные прибрежные воды и к спасительной суше. Может статься, там они найдут тихую бухту или песчаную намывную косу, где плотники и инженеры сумеют произвести ремонт «Эребуса» – выпрямить ведущий вал, заменить гребной винт, укрепить погнутую железную арматуру внутри и, возможно, восстановить утраченную часть железной обшивки, – который позволит им продолжить путь. В противном же случае, думал сэр Джон (хотя он еще не поделился сей мыслью ни с одним из своих офицеров), они осуществят удручающий план Крозье, предложенный в прошлом году: поставят «Эребус» на якорь, перегрузят иссякающие запасы угля и команду на «Террор» и пойдут западным курсом вдоль побережья на переполненном (но ликующем, не сомневался сэр Джон, ликующем) втором корабле.

В последний момент фельдшер с «Эребуса» Гудсир попросил у сэра Джона позволения присоединиться к отряду Гора, и, хотя ни лейтенант Гор, ни помощник капитана Дево не пришли в восторг от этой идеи (Гудсир не пользовался популярностью ни у офицеров, ни у матросов), сэр Джон дал такое разрешение. В качестве своего мотива фельдшер указал на необходимость собрать больше информации о пригодных в пищу формах животной и растительной жизни, которые можно использовать в борьбе с цингой – главным бичом всех арктических экспедиций. И его особенно интересует, сказал Гудсир, поведение единственного животного, имеющегося в наличии этим странным арктическим летом, совсем не похожим на лето, – белого медведя.

Сейчас, когда сэр Джон наблюдал за людьми, заканчивающими закреплять на тяжелых санях свое снаряжение, тщедушный фельдшер – маленький бледный человечек, хилый на вид, со скошенным подбородком, нелепыми бакенбардами и странно-томным немигающим взглядом, который раздражал даже неизменно учтивого сэра Джона, – бочком подобрался к нему, чтобы завести разговор.

– Еще раз благодарю вас за разрешение присоединиться к отряду лейтенанта Гора, сэр Джон, – промолвил тщедушный медик. – Возможно, сей поход окажется чрезвычайно важным для медицинских исследований противцинготных свойств широкого разнообразия флоры и фауны, включая лишайники, постоянно произрастающие на камнях Кинг-Уильяма.

Сэр Джон невольно поморщился. Однажды в молодости он несколько

месяцев питался жидким супом из такого лишайника, чтобы не умереть с голоду.

– Не стоит благодарности, мистер Гудсир, – сухо ответил он.

Сэр Джон знал, что этот сутулый молодой хлыщ предпочитает слышать в свой адрес обращение «доктор», а не «мистер» – хотя едва ли заслуживает такой чести, ибо Гудсир, несмотря на свое благородное происхождение, получил образование простого анатома. По мнению сэра Джона, которое одно имело значение в этой экспедиции, гражданский фельдшер, пусть формально и равный по положению мичманам на борту обоих кораблей, достоин зваться лишь мистером Гудсиром.

Молодой врач залился краской, обескураженный сухостью своего начальника, только сейчас шутливо беседовавшего с матросами, дернул за козырек своей фуражки и неловко отступил назад на три шага.

– О мистер Гудсир, – добавил Франклин.

– Да, сэр Джон?

Молодой выскочка и впрямь густо покраснел и почти заикался от смущения.

– Примите мои извинения за то, что в нашем официальном сообщении, которое будет оставлено в пирамиде сэра Росса на Кинг-Уильяме, речь идет только о двух офицерах и шести матросах, входящих в отряд лейтенанта Гора, – сказал сэр Джон. – Я продиктовал послание до того, как вы обратились ко мне с просьбой присоединиться к отряду. Если бы я знал, что вы войдете в него, я бы написал «офицер, мичман, фельдшер и пять матросов».

Гудсир на мгновение смешался, не вполне понимая, что хочет сказать сэр Джон, но потом поклонился, снова дернул за козырек фуражки, пробормотал: «Хорошо, ничего страшного, я все понимаю, благодарю вас, сэр Джон» – и снова отступил назад.

Через несколько минут, все с той же безмятежной улыбкой и по-прежнему невозмутимым видом глядя вслед восьми мужчинам – лейтенанту Гору, Дево, Гудсиру, Морфину, Терьеру, Бесту, Хартнеллу и рядовому Пилкингтону, – уходившим по льду все дальше на юго-восток, сэр Джон на самом деле размышлял о возможной неудаче.

Еще одна зимовка, еще один полный год во льдах станут для них роковыми. В экспедиции кончатся запасы продовольствия, угля, осветительного масла и рома. Истощение запасов последнего вполне может означать мятеж.

Более того, еще одна зимовка или еще один полный год во льдах – если лето 1848-го будет таким же холодным и неуступчивым, каким

обещает быть лето 1847-го, – погубит один из кораблей или оба сразу. Как в случае со многими предшествующими неудачными экспедициями, сэру Джону и его людям придется спасаться бегством, волоча по рыхлому льду шлюпки и наспех связанные вместе сани, молясь о разводьях – а потом проклиная оные, когда сани начнут проваливаться под лед и крепкие встречные ветра станут относить тяжелые лодки назад к паку, – о разводьях, означающих круглосуточную греблю для измученных голодом людей. Затем, знал сэр Джон, предстоит сухопутный этап попытки спасения – восемьсот и более миль пути среди безликих скал и льдов, по порожистым рекам, усыпанным по дну валунами, каждый из которых способен разбить в щепы их небольшие лодки (на более крупных судах по рекам Северной Канады не пройти, он знал по опыту), да еще встречи с эскимосами, чаще всего враждебно настроенными, вороватыми и лживыми, несмотря на свое показное дружелюбие.

Сэр Джон продолжал смотреть, пока Гор, Дево, Гудсир и пять матросов с единственными санями не скрылись на юго-востоке в ослепительно сверкающих льдах, и задавался праздным вопросом, не следовало ли взять в плавание собак.

Сэр Джон всегда выступал против собак в арктической экспедиции. Животные порой благотворно влияли на моральный дух людей – по крайней мере до момента, когда вставала необходимость пристрелить их и съесть, – но в конечном счете они были грязными, шумными и агрессивными зверями. На палубе корабля, везущего достаточное количество собак, чтобы оказаться полезными – то есть тащить сани в упряжке, как принято у гренландских эскимосов, – всегда стоял оглушительный лай, теснились конуры и постоянно воняло дерьмом.

Он потряс головой и улыбнулся. Они взяли в экспедицию одного пса – дворнягу по имени Нептун, – не говоря уже о маленькой обезьянке по кличке Джоко, и такого бродячего зверинца, по твердому убеждению сэра Джона, было вполне достаточно для данного ковчега.

Неделя после отбытия Гора тянулась мучительно долго для сэра Джона. Один за другим возвращались другие санные отряды, с изможденными продрогшими людьми, чьи шерстяные фуфайки были насквозь пропитаны потом от напряжения сил, которое требовалось, чтобы тащить сани через бесчисленные торосные гряды или вокруг них. Все докладывали одно и то же.

На востоке, в направлении полуострова Бутия, чистой воды нет. Нет даже самого узкого канала.

На северо-востоке, в направлении острова Принца Уэльского, откуда

они прибыли в эту ледяную пустыню, чистой воды нет. Нет даже едва заметного потемнения неба над горизонтом, порой свидетельствовавшего о разводе. За восемь дней трудного пути люди так и не достигли острова Принца Уэльского, даже не заметили его вдали – там повсюду громоздилось такое количество айсбергов и торосных гряд, какого они не видели никогда прежде.

На северо-западе, в направлении безымянного пролива, по которому ледяной поток двигался на юг, в их сторону, вдоль западного побережья и вокруг южной оконечности острова Принца Уэльского, нет ничего, кроме белых медведей и замерзшего моря.

На юго-западе, в направлении предположительно находящегося там массива Земли Виктории и гипотетического пролива между островами и материком, чистой воды нет и нет никаких животных, кроме проклятых белых медведей, но имеются многие сотни торосных гряд и такое количество вмерзших в лед айсбергов, что лейтенант Литтл – офицер с «Террора», поставленный Франклином во главе данного отряда, состоящего из людей с «Террора», – доложил, что в своем движении на запад они словно пробирались через ледяной горный кряж, выросший на месте, где должен быть океан. В последние дни похода погодные условия ухудшились настолько, что трое из восьми человек серьезно обморозили пальцы ног и всех восьмерых в той или иной степени поразила снежная слепота, а сам лейтенант Литтл в последние пять дней ослеп полностью и страдал жестокими головными болями. Литтла – бывалого полярника, насколько знал сэр Джон, человека, шестью годами ранее ходившего к Южному полюсу с Крозье и Джеймсом Россом, – на обратном пути пришлось уложить в сани, которые тащили несколько матросов, еще способных хоть что-то видеть.

Нигде в пределах примерно двадцати пяти миль, обследованных ими, – двадцати пяти миль по прямой, для прохождения которых пришлось прошагать, наверное, добрую сотню миль, огибая и преодолевая всевозможные препятствия, – никакой чистой воды. Никаких песцов, зайцев, северных оленей, моржей и тюленей. Понятное дело, никаких китов. Люди были готовы тащить сани вокруг трещин и узких расселин во льду в поисках настоящих широких разводий, но поверхность моря до самого горизонта представляла собой сплошной белый панцирь, докладывал Литтл, у которого от солнечного ожога лупилась кожа на носу и щеках под белой повязкой, наложенной на глаза. В самой удаленной точке, достигнутой в ходе западной одиссеи, Литтл приказал человеку, меньше других пострадавшему по части зрения, – боцманмату по имени Джонсон –

забраться на самый высокий из находившихся поблизости айсбергов. Джонсон трудился не один час, вырубая киркой в ледяной стене узкие ступени для ног, обутых в кожаные башмаки с гвоздями в подошвах, а поднявшись на вершину, моряк посмотрел в подзорную трубу лейтенанта Литтла на северо-запад, на запад, на юго-восток и на юг.

Доклад был неутешительным. Никаких разводий. Никакой земли. Джунгли сераков, торосных гряд и айсбергов, простирающиеся до далекого белого горизонта. Несколько белых медведей, двух из которых они позже подстрелили, но медвежьи печень и сердце, как они уже выяснили, не годились в пищу человеку, а у людей, тащивших тяжелые сани через бесчисленные торосные гряды, уже иссякали силы, и потому в конце концов они вырезали из туш меньше сотни фунтов жилистого мяса, завернули в просмоленную парусину, чтобы отвезти на корабль, а потом содрали со зверя покрупнее теплую белую шкуру, бросив останки медведей на льду.

Наконец десять дней спустя четыре отряда из пяти вернулись с плохими новостями и обмороженными ногами, и сэр Джон с еще большей тревогой стал ждать возвращения Грэма Гора. С наибольшей надеждой они всегда смотрели на юго-восток, в сторону Кинг-Уильяма.

И вот третьего июня, через десять дней после отбытия Гора, дозорные высоко на мачтах прокричали, что с юго-востока приближается санный отряд. Сэр Джон оделся подобающим образом, допил чай, а затем присоединился к толпе людей, выбежавших на палубу, чтобы увидеть все, что только возможно.

Теперь отряд могли разглядеть даже люди на палубе, а когда сэр Джон поднес к глазу свою прекрасную медную подзорную трубу – подарок от офицеров и матросов двадцатипушечного фрегата, которым Франклин командовал в Средиземном море пятнадцать лет назад, – смятение, явственно слышавшееся в голосах дозорных, сразу же получило объяснение.

На первый взгляд казалось, что все в порядке. Пятеро человек тащили сани, как и во время отбытия Гора. Три фигуры бежали рядом с санями или позади, как в день, когда Гор выступил в поход. Значит, все восемь на месте.

И все же...

Одна из бегущих фигур не походила на человеческую. На расстоянии свыше мили, мелькая между сераками и нагромождениями ледяных валунов, на месте которых некогда здесь простиралось спокойное море, она походила на маленького мохнатого зверя, трясущего за санями.

Что хуже, сэр Джон не видел впереди ни характерной высокой фигуры Грэма Гора, ни броского красного шарфа, которым он щеголял. Все остальные фигуры, тянущие сани или бегущие (а лейтенант, безусловно, не стал бы тянуть сани, пока подчиненные в состоянии идти в упряжи), казались слишком низкими, слишком сутулыми, слишком невнушительными.

И что хуже всего, сани казались слишком тяжело нагруженными для обратного пути – они взяли в поход консервов с запасом, в расчете на неделю задержки, но предполагаемый крайний срок возвращения уже истек три дня назад. Сэр Джон исполнился было надежды, предположив, что люди убили карибу или другого крупного животного и везут свежее мясо, но потом отряд вышел из-за последней высокой торосной гряды, все еще на расстоянии свыше полумили от корабля, и сэр Джон увидел в подзорную трубу нечто ужасное.

На санях лежала не оленья туша, но два человеческих тела, привязанные поверх снаряжения и уложенные одно на другое таким бесчувственным образом, каким могли уложить только мертвецов. Сэр Джон ясно различил две обнаженные головы, обращенные к одному и другому концу саней, причем на голове мужчины, лежащего сверху, виднелись длинные белые волосы, подобных которым не было ни у кого из участников экспедиции.

Матросы уже сбрасывали веревочный трап с борта накренившегося «Эребуса», чтобы облегчить командиру спуск на крутой ледяной откос. Сэр Джон буквально на минуту сошел в каюту, чтобы добавить к своей форме парадную шпагу. Затем, надев поверх формы, медалей и шпаги теплую шинель, он поднялся на палубу, перелез через фальшборт и стал спускаться по склону – тяжело пыхтя и отдуваясь, опираясь на руку своего вестового, – чтобы встретить тех, кто приближался к кораблю.

69°37' северной широты, 98°41' западной долготы

Кинг-Уильям, 24 мая – 3 июня 1847 г.

Одной из причин, почему доктор Гарри Д. С. Гудсир рвался присоединиться к разведывательному отряду, являлось желание доказать, что он так же силен и вынослив, как почти все остальные товарищи по команде. Он очень скоро понял, что это не так.

В первый день он настоял (невзирая на сдержанные возражения лейтенанта Гора и мистера Дево) на том, чтобы сменить одного из пяти матросов, поставленных тащить сани, позволив тому передохнуть и идти рядом.

У Гудсира практически ничего не получалось. Сконструированная парусным мастером и интендантом кожаная упряжь, крепившаяся к тяговым тросам хитрым узлом, который матросы завязывали и развязывали в считанные секунды, но с которым Гудсир не мог справиться, хоть убей, оказалась слишком широкой для его узких плеч и впалой груди. Сколь бы туго он ни затягивал переднюю подпругу упряжи, она все равно соскальзывала с него. А он в свою очередь поскальзывался на льду и постоянно падал, заставляя остальных четырех мужчин сбиваться с ритма «рывок-пауза-вдох-рывок». Доктор Гудсир никогда прежде не носил таких башмаков-ледоступов и из-за набитых в подошвы гвоздей чуть не на каждом шагу цеплялся ногой за ногу.

Он плохо видел сквозь тяжелые проволочные сетчатые очки, но, когда поднял их на лоб, в считанные минуты чуть не ослеп от яркого блеска арктического солнца. Он надел слишком много фуфаек на рассвете, и теперь несколько нижних настолько пропитались потом, что он дрожал, даже будучи распаренным от чрезмерного напряжения сил. Упряжь давила на нервные сплетения и пережимала артерии, препятствуя циркуляции крови в худых руках и холодных кистях. Он то и дело ронял рукавицы. Его тяжелое прерывистое дыхание вскоре стало таким громким, что он застыдился.

Через час таких нелепых потуг – когда он постоянно падал, а Бобби Терьер, Томми Хартнелл, Джон Морфин и рядовой Билл Пилкингтон (пятый матрос Чарльз Бест теперь шел рядом с санями) останавливались,

чтобы стряхнуть снег с его анорака, переглядываясь, но не говоря ни слова, – он принял предложение Беста сменить его и во время одного из коротких привалов выскользнул из упряжи и предоставил настоящим мужчинам тащить тяжелые, нагруженные с верхом сани с деревянными полозьями, так и норовившими примерзнуть ко льду.

Гудсир валился с ног от усталости. Было еще утро первого дня похода, а он уже настолько утомился после часа мучений в санной упряжи, что с радостью расстелил бы свой спальный мешок на одеяле из волчьих шкур и проспал бы в нем до следующего дня.

А ведь они тогда еще не достигли первой настоящей торосной гряды.

Торосные гряды к юго-востоку от корабля были самыми низкими из всех доступных взору на протяжении первых двух миль или около того, словно сам «Террор» каким-то образом препятствовал образованию гряд со своей подветренной стороны, вынуждая оные отступать дальше. Но ближе к вечеру первого дня на пути у них встали настоящие торосные гряды. Они были выше тех, что вырастали между двумя кораблями во время зимовки, словно чудовищное давление ледяных плит друг на друга увеличивалось по мере приближения к Кинг-Уильяму.

В случае с первыми тремя грядами Гор каждый раз вел отряд на юго-запад в поисках низких седловин, наиболее удобных и доступных для перевала, таким образом прибавляя к походу мили и часы пути, но зато избавляя людей от тяжелой необходимости разгружать сани, однако обходного пути вокруг четвертой гряды не оказалось.

Каждая задержка, длившаяся свыше нескольких минут, приводила к тому, что одному из мужчин – чаще всего молодому Хартнеллу – приходилось доставать одну из многочисленных бутылок жидкого топлива из тщательно закрепленной на санях груды снаряжения, разжигать спиртовку и растапливать снег в котелке – не для того, чтобы напиться, ибо жажду они утоляли из фляжек, которые держали под шинелями, чтобы вода не замерзала, но для того, чтобы полить кипятком по всей длине деревянные полозья, утопленные в снегу и намертво в него вмерзшие.

И сани двигались по льду совсем не так, как санки и салазки, знакомые Гудсиру по поре довольно благополучного детства. Во время первых своих вылазок на паковый лед, без малого два года назад, он обнаружил, что бегать и скользить по нему, как он делал дома на замерзшей реке или озере, невозможно – даже в обычных башмаках. Какое-то качество морского льда – почти наверняка высокое содержание соли – увеличивало силу трения, сводя скольжение практически на нет. Легкое разочарование для человека, желающего прокатиться по льду, как в детстве, но колоссальное

напряжение сил для команды мужчин, пытающихся тащить, толкать и тянуть по такому льду сотни фунтов снаряжения, нагроможденного на сани, сами по себе весящие не одну сотню фунтов.

Это было все равно что волочить громоздкий тысяchefунтовый груз досок и барахла по неровной каменистой земле. А торосные гряды ничем не отличались от высоких – высотой с четырехэтажное здание – нагромождений каменных глыб и щебня, несмотря на сравнительную легкость перехода через них.

Эта солидная гряда – первая из многих, преграждающих путь на юго-восток, насколько они видели, – имела в высоту футов шестьдесят, наверное.

Они отвязали тщательно закрепленные сверху короба́ с продовольствием, ящики с бутылками горючего, спальные мешки и тяжелую палатку, а под конец выгрузили тюки и ящики весом от пятидесяти до ста фунтов, которые предстояло затащить по крутому склону на зубчатый гребень, прежде чем хотя бы попытаться тянуть наверх сани.

Гудсир быстро осознал, что, если бы торосные гряды обладали спокойным характером – то есть просто мирно вырастали из сравнительно гладкой поверхности замерзшего моря, – переход через них не требовал бы таких нечеловеческих усилий, какие приходилось прикладывать. Но на подступах к каждой гряде, на расстоянии пятидесяти – ста ярдов от нее, поверхность замерзшего моря превращалась в поистине безумный лабиринт спрессованных снежных заструг, рухнувших сераков и гигантских ледяных глыб – миниатюрных айсбергов, – и, прежде чем начать непосредственно восхождение, необходимо было пробраться через этот лабиринт.

Само восхождение всегда происходило не по прямой, но по извилистой траектории, ибо приходилось искать опоры для ног на предательски скользком льду или выступы, чтобы цепляться руками, на шатких ледяных валунах, которые могли обвалиться в любой момент. В процессе восхождения восемь мужчин выстраивались на склоне по неровной диагонали, передавая тяжелые тюки и короба друг другу, вырубали кирками ступени в ледяных глыбах и старались не сорваться вниз или не оказаться на пути падающего сверху предмета. Ящики выскальзывали из обледенелых рукавиц и с грохотом разбивались вниз, что всякий раз исторгало из уст пятерых матросов короткий, но впечатляющий взрыв проклятий, который Гор или Дево пресекали строгим окриком. Все приходилось по десять раз распаковывать и перепаковать.

Наконец, и сами тяжелые сани, с по-прежнему закрепленной на них

доброй половиной груза, приходилось тащить, пихать, волочить вверх по склону, выталкивая и вытягивая из расщелин между валунами, накрывая набок, подпирая снизу, и снова тянуть, тянуть изо всех сил к неровному гребню гряды. Даже на вершине люди не могли передохнуть немного, ибо уже через минуту покоя насквозь пропитанные потом рубахи и свитера начинали заледеневать.

Привязав тросы к стойкам и поперечинам задней стенки саней, несколько мужчин становились впереди, чтобы подпирать сани по ходу движения вниз (обычно эта обязанность ложилась на плечи Морфина, Терьера и рослого морского пехотинца Пилкингтона), в то время как остальные, крепко упираясь в лед усеянными гвоздями подошвами, спускали их на тросах под синкопированный хор натужных хрипов, предостерегающих криков и очередных проклятий.

Потом они снова аккуратно укладывали груз в сани, тщательно проверяли, надежно ли он закреплен, растапливали снег в котелке, чтобы полить кипятком вмерзшие в снег полозья, и продолжали путь, пробираясь через запутанный лабиринт по другую сторону торосной гряды.

Спустя полчаса они приближались к следующей гряде.

Первая ночь во льдах до боли ясно запечатлелась в памяти Гарри Д. С. Гудсира.

Врач никогда в жизни не ночевал на открытом воздухе, но он знал, что Грэм Гор говорил правду, когда со смехом сказал, что на льду на все уходит в пять раз больше времени: на то, чтобы распаковать вещи; разжечь спиртовые фонари и печи; вкрутить в лед металлические стержни с резьбой, служащие палаточными кольшками, и установить коричневую голландскую палатку; раскатать многочисленные одеяла и спальные мешки; а особенно на то, чтобы подогреть консервированные суп и свинину.

И все это время человеку приходится двигаться – постоянно шевелить руками и ногами, прихлопывать и притопывать, – иначе он зачленеет.

Нормальным арктическим летом, напомнил Гудсиру мистер Дево, приведя в пример прошлое лето, когда они двигались через рыхлые льды на юг от острова Бичи, температура воздуха на этой широте солнечным и безветренным июльским днем может подниматься до тридцати градусов по Фаренгейту^[3]. Но только не нынешним летом. Лейтенант Гор измерил температуру воздуха в десять часов вечера, когда они остановились на привал и солнце еще стояло над южным горизонтом в светлом небе, и она оказалась минус два градуса^[4] и быстро опускалась. В середине дня, когда

они останавливались выпить чаю с галетами, термометр показывал плюс шесть ^[5].

Голландская палатка была маленькой. В снежную бурю она спасла бы им жизнь, но первая ночь во льдах была ясной и почти безветренной, поэтому Дево и пятеро матросов решили спать снаружи на волчьих шкурах и просмоленной парусине, укрывшись в одних лишь спальных мешках, сшитых из плотных шерстяных одеял, – они переберутся в тесную палатку, коли разыграется ненастье, – и после минутного колебания Гудсир решил тоже улечься снаружи со всеми, а не внутри с лейтенантом Гором, сколь бы толковым и учтивым малым он ни был.

Солнечный свет страшно раздражал. К полуночи он немного потускнел, но небо по-прежнему оставалось светлым, как в восемь часов вечера в Лондоне, и Гудсир не мог заснуть, хоть убей. Он чувствовал смертельную усталость, какой не знал никогда в жизни, и никак не мог заснуть. Боль в натруженных за день мышцах тоже мешала уснуть, понял он. Он жалел, что не взял с собой настойку опия. Маленький глоток этого снадобья принес бы ему облегчение и позволил бы забыться сном. В отличие от иных врачей, имеющих официальное разрешение прописывать наркотические препараты, Гудсир не был наркоманом – он принимал различные опиаты только с целью заснуть или сосредоточиться, когда необходимо. Не чаще двух раз в неделю.

И было холодно. Поужинав разогретыми супом и говядиной из консервных банок и побродив по ледяным джунглям в поисках уединенного местечка, чтобы облегчиться, – тоже новый для него опыт походной жизни и отправление, осознал он, которое надлежит совершать быстро, коли не хочешь отморозить очень важные органы, – Гудсир устроился на большом, размером шесть на пять футов, одеяле из волчьих шкур, раскатал свой личный спальный мешок и забрался в него поглубже.

Но недостаточно глубоко, чтобы согреться. Дево объяснил ему, что он должен снять башмаки и положить с собой в мешок, чтобы кожа не задубела на морозе, – в какой-то момент Гудсир напоролся ступней на гвозди, торчащие из подошвы одного из башмаков, – но все мужчины легли спать в верхней одежде. Шерстяные свитеры – все до единого, не в первый раз осознал Гудсир, – были насквозь мокрыми от пота после трудного длинного дня. Бесконечного дня.

Около полуночи небо ненадолго померкло настолько, что стали видны несколько звезд – планет, теперь известных Гудсиру из лекции, прочитанной ему лично в импровизированной обсерватории на вершине айсберга два года назад. Но темнее так и не стало.

Как не стало теплее. Сейчас, без движения и физических нагрузок, худое тело Гудсира было беззащитно против холода, который проникал в спальный мешок через слишком большое отверстие и поднимался от льда, проползая сквозь уложенные мехом вверх волчьи шкуры и толстые шерстяные одеяла, словно некая хищная тварь с ледяными щупальцами. Гудсир начал дрожать. Зубы у него стучали.

Вокруг него четверо спящих мужчин (двое несли дозор) храпели так громко, что врач задался вопросом, не слышат ли люди на обоих кораблях, находящихся в нескольких милях к северо-западу отсюда, за бесчисленными торосными грядами – господи, нам ведь придется снова переходить через них на обратном пути! – этот оглушительный храп, подобный скрежету и визгу пил.

Гудсира била крупная дрожь. Так он не дотянет до рассвета, не сомневался он. Они попытаются разбудить его утром и обнаружат в спальном мешке лишь холодный скрюченный труп.

Он заполз возможно глубже в спальный мешок и плотно стянул обледенелые края отверстия над головой, предпочитая вдыхать собственный кислый запах пота, чем снова высунуть нос на студеной воздух.

Помимо коварного света и еще более коварного всепроникающего холода – холода смерти, осознал Гудсир, холода могилы и черных скал над надгробиями на острове Бичи, – не давал уснуть еще и шум. Врач полагал, что за две темных полярных зимы привык к скрипу деревянной обшивки корабля, резкому треску лопающихся от переохлаждения металлических деталей и неумолчному стону, визгу и гулу льда, сжимающего корабль в своих тисках, но здесь, где его тело отделяли от льда лишь несколько слоев шерстяной ткани и волчья шкура, треск и движение льда под ним наводили ужас. Все равно что пытаться заснуть на брюхе живого зверя. Колебание льда, пусть в значительной степени воображаемое, казалось все же достаточно реальным, чтобы у Гудсира, поплотнее свернувшегося калачиком, закружилась голова.

Около двух часов ночи – он посмотрел на хронометр при слабом свете, сочившемся в стянутое отверстие спального мешка, – Гарри Д. С. Гудсир наконец начал впадать в полубессознательное состояние, отдаленно напоминающее сон, когда два оглушительных выстрела вернули его к действительности, напугав до полусмерти.

Судорожно извиваясь в своем заледенелом спальном мешке, точно новорожденный младенец, пытающийся выбраться из утробы, Гудсир умудрился высунуть голову наружу. Студеный ночной воздух – поднялся

легкий ветер – обжег лицо достаточно сильно, чтобы у него зашло сердце. Небо уже стало светлее, озаренное солнцем.

– Что? – выкрикнул он. – Что случилось?

Помощник капитана Дево и три матроса стояли на своих спальных мешках, сжимая в руках в перчатках длинные ножи, – видимо, они спали с ними. Лейтенант Гор выскочил из палатки, полностью одетый, с пистолетом в голый – голый! – руке.

– Доложить, в чем дело! – рявкнул Гор одному из двух часовых, Чарли Бесту.

– Это были медведи, лейтенант, – сказал Бест. – Два зверя. Громадные такие, паразиты. Они всю ночь шастали поблизости – мы видели их, прежде чем стали лагерем, примерно в полумиле отсюда, – но они подходили все ближе и ближе, двигаясь кругами, пока наконец нам с Джоном не пришлось пальнуть в них, чтобы отогнать прочь.

Джоном, знал Гудсир, был двадцатисемилетний Джон Морфин, второй часовой.

– Вы оба стреляли? – спросил Гор.

Лейтенант забрался на самую вершину высившейся поблизости груды льда и снега и осматривал окрестности, глядя в медную подзорную трубу. Гудсир не понимал, почему его голые руки еще не примерзли к металлу.

– Так точно, сэр, – сказал Морфин. Он перезаряжал свой дробовик, неловко возясь с патронами руками в шерстяных перчатках.

– Вы в них попали? – спросил Дево.

– Так точно, – ответил Бест.

– Только толку никакого, – сказал Морфин. – Простые дробовики, да с расстояния тридцать с лишним шагов. У этих чертовых медведей толстые шкуры, а кости черепа еще толще. Однако мы всадили им достаточно крепко, чтобы они убрались.

– Я их не вижу, – сказал лейтенант Гор со своего десятифутового ледяного холма над палаткой.

– Мы думаем, они выйдут вон из тех небольших проломов во льду, – сказал Бест. – Медведь, что покрупнее, бежал в ту сторону, когда Джон выстрелил. Мы думали, он убит, но прошли в том направлении достаточно далеко, чтобы убедиться, что никакой туши там нет. Он исчез.

Люди из разведывательного отряда уже прежде обратили внимание на такие отверстия во льду – имеющие форму неправильного круга, около четырех футов в поперечнике, слишком большие для крохотных отдушин, какие проделывают кольчатые нерпы, и явно слишком маленькие и слишком далеко отстоящие друг от друга для белых медведей, – всегда

затянутые рыхлой ледяной коркой толщиной в несколько дюймов. Поначалу при виде их они исполнились надежды на близость разводий, но в конечном счете подобные проломы встречались так редко и находились на столь значительном расстоянии друг от друга, что представляли только опасность; матрос Терьер, шагавший перед санями вчера вечером, чуть не провалился в такую дыру – ступил в нее левой ногой, разом ушедшей в воду по середину бедра, – и им всем пришлось останавливаться и ждать, когда дрожащий от холода мужчина сменит башмаки, носки, шерстяные подштанники и штаны.

– В любом случае Терьеру и Пилкингтону пора заступать на дежурство, – сказал лейтенант Гор. – Бобби, возьми мушкет из палатки.

– Мне сподручнее с дробовиком, сэр, – сказал Терьер.

– А я предпочитаю мушкет, лейтенант, – сказал рослый морской пехотинец.

– Тогда ты возьми мушкет, Пилкингтон. Стрелять по этим зверям дробью – значит только разозлить их.

– Так точно, сэр.

Бест и Морфин, явно дрожавшие скорее от холода после двухчасового дежурства, нежели от нервного напряжения, сонно разулись и заползли в свои спальные мешки. Рядовой Пилкингтон и Бобби Терьер с трудом натянули на опухшие ноги башмаки, извлеченные из спальных мешков, и поковыляли к ближайшей торосной гряде, чтобы заступить на пост.

Трясаясь еще сильнее прежнего, с онемевшими теперь – вдобавок к пальцам на руках и ногах – щеками и носом, Гудсир свернулся клубочком глубоко в спальном мешке и стал молить небо о сне.

Но так и не сомкнул глаз. Через два с небольшим часа второй помощник Дево отдал приказ вставать и сворачивать спальные мешки.

– У нас впереди трудный день, парни! – прокричал Дево жизнерадостным голосом.

Они все еще находились в двадцати двух с лишним милях от берега Кинг-Уильяма.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

9 ноября 1847 г.

– Вы продрогли до костей, Френсис, – говорит командор Фицджереймс. – Пойдемте в кают-компанию, глотнем бренди.

Крозье предпочел бы виски, но придется удовольствоваться бренди. Он идет впереди капитана «Эребуса» по длинному узкому коридору к помещению, прежде служившему личным кабинетом капитана сэра Джона Франклина, а ныне превращенному в аналог кают-компании «Террора» – библиотеку, место отдыха офицеров и, при необходимости, зал для совещаний. По мнению Крозье, то обстоятельство, что после смерти сэра Джона командор оставил за собой свою прежнюю крохотную каюту и переоборудовал просторное помещение в кормовой части под кают-компанию, временами использовавшуюся также под лазарет, делает Фицджереймсу честь.

Кромешную тьму в коридоре рассеивает лишь свет из кают-компаний, и палуба накрена круче, чем у «Террора», и в другую сторону: на левый борт, а не на правый и к корме, а не к носу. Хотя корабли имеют практически одинаковую конструкцию, Крозье всегда замечает также и другие отличия. Запах на «Эребусе» сейчас не совсем такой, как на «Терроре», – помимо знакомого смрада осветительного масла, нечистых тел, грязной одежды, стряпни, угольной пыли, ведер с мочой и кислого дыхания людей, в холодном сыром воздухе чувствуется еще что-то. Почему-то на «Эребусе» острее ощущается тяжелый запах страха и безнадежности.

В кают-компании два офицера курят трубки, лейтенант Левеконт и лейтенант Фейрхольм, но оба встают, кивают двум капитанам и удаляются, закрыв за собой задвижную дверь.

Фицджереймс отпирает громоздкий застекленный шкафчик, достает бутылку бренди и наливает в один из хрустальных стаканов сэра Джона изрядную дозу для Крозье, а в другой – поменьше, для себя. Несмотря на обилие столового фарфора и хрусталя, взятого на борт покойным начальником экспедиции для себя и своих офицеров, графинов для бренди здесь нет. Франклин был убежденным трезвенником.

Крозье не смакует бренди. Он осушает стакан в три глотка и позволяет Фицджереймсу налить еще.

– Спасибо, что откликнулись так скоро, – говорит Фицджереймс. – Я ожидал письменного ответа, а никак не вашего прихода.

Крозье хмурится:

– Письменного ответа? Я уже неделю не получал от вас никаких сообщений, Джеймс.

Фицджереймс несколько мгновений непонимающе смотрит на него.

– Вы ничего не получали сегодня вечером? Около пяти часов назад я отправил к вам на корабль рядового Рида с запиской. Я решил, что он остался там на ночь.

Крозье медленно качает головой.

– О... черт, – говорит Фицджереймс.

Крозье вынимает из кармана шерстяной чулок и кладет на стол. Даже при ярком свете висящего на переборке фонаря на нем не видно никаких следов насилия.

– Я нашел это по дороге сюда. Ближе к вашему кораблю.

Фицджереймс берет чулок и печально рассматривает.

– Я покажу людям для опознания, – говорит он.

– Возможно, он принадлежал одному из моих людей, – тихо говорит Крозье.

Он вкратце рассказывает Фицджереймсу о нападении, произошедшем накануне вечером, о смертельном ранении рядового Хизера и об исчезновении Уильяма Стронга и молодого Тома Эванса.

– Трое за один день, – говорит Фицджереймс. Он наливает еще бренди в оба стакана.

– Да. Какого содержания сообщение вы мне посылали?

Фицджереймс объясняет, что весь день среди нагромождений ледяных валунов, сразу за границей света от фонарей, бродил какой-то крупный зверь. Люди то и дело стреляли, но вышедшие на лед отряды не нашли ни пятен крови, ни каких-либо других следов.

– Так что, Френсис, приношу свои извинения за стрельбу, открытую по вам этим идиотом Бобби Джонсом. Нервы у людей напряжены до предела.

– Но не настолько же, надеюсь, чтобы воображать, будто таинственный зверь во льдах научился обращаться к ним по-английски, – сардонически замечает Крозье. Он отпивает еще глоток бренди.

– Нет-нет. Разумеется, не настолько. Это был идиотизм чистой воды. Джонс будет лишен рома на две недели. Я еще раз прошу прощения.

Крозье вздыхает:

– А вот этого не надо. Спустите с малого шкуру, коли хотите, но не лишайте его рома. Атмосфера на вашем корабле и без того достаточно мрачная. Со мной была леди Безмолвная, в своей чертовой мохнатой парке. Вероятно, ее-то Джонс и заметил. Я получил бы поделом, если бы он отстрелил мне башку.

– Безмолвная была с вами? – Фицджереймс вопросительно вскидывает брови.

– Я не знаю, какого черта она делала на льду, – хрипло говорит Крозье. У него страшно саднит горло, за день застуженное на морозе и надорванное криками. – Я сам чуть не выстрелил в нее в четверти мили от вашего корабля, когда она подкралась ко мне сзади. Молодой Ирвинг сейчас, наверное, переворачивает все на «Терроре» вверх дном. Я допустил огромную ошибку, когда поручил парню приглядывать за этой эскимосской сукой.

– Люди считают, что она приносит несчастье.

Голос Фицджереймса звучит очень, очень тихо. В битком набитой жилой палубе звуки легко проникают через переборки.

– Почему бы им, собственно, не считать так? – Теперь Крозье чувствует действие бренди. Вчера вечером он не выпил ни капли. Алкоголь благотворно действует на желудок и утомленный мозг. – Женщина появляется в день, когда начинается этот кошмар, со своим отцом или братом-колдуном. Язык у нее вырван по самый корень. Почему бы людям не считать, что она и является причиной всех бед, черт возьми?

– Но вы более пяти месяцев держите ее на борту «Террора», – говорит Фицджереймс.

В голосе молодого капитана не слышится упрека, только любопытство.

Крозье пожимает плечами:

– Я не верю в ведьм. Да и во всяких ион тоже, коли на то пошло. Но я действительно верю, что, если мы выставим женщину на лед, зверь сожрет ее, как пожирает сейчас Эванса и Стронга. А возможно, и вашего рядового Рида. Кстати, не тот ли это Билли Рид, рыжий морской пехотинец, который очень любил поговорить о том писателе... Диккенсе?

– Он самый, Уильям Рид, – говорит Фицджереймс. – Он показывал отличные результаты, когда люди устраивали состязание по бегу на острове Диско два года назад. Я подумал, что один человек, да такой проворный... – Он осекается и закусывает губу. – Мне следовало подождать до утра.

– Зачем? – спрашивает Крозье. – Утром стоит такая же темень. Да и в полдень не многим светлее, собственно говоря. Отныне никакой разницы

между днем и ночью нет – и не будет в ближайшие четыре месяца. И непохоже, чтобы чертов зверь охотился только по ночам... или только в темноте, коли на то пошло. Может, ваш Рид еще объявится. Наши посыльные и прежде не раз терялись во льдах и приходили через пять-шесть часов, дрожа от холода и ругаясь последними словами.

– Возможно. – В голосе Фицджереймса слышится сомнение. – Утром я вышлю поисковые отряды.

– Именно этого и ждет от нас зверь. – Голос Крозье звучит очень устало.

– Возможно, – снова говорит Фицджереймс, – но вы только что сказали, что ваши люди вчера вечером и весь день сегодня искали во льдах Стронга и Эванса.

– Если бы я не взял Эванса с собой, когда искал Стронга, мальчик был бы сейчас жив.

– Томас Эванс, – говорит Фицджереймс. – Я его помню. Такой рослый парень. И в общем-то, уже не мальчик, верно, Френсис? На вид ему... сколько? Двадцать два – двадцать три года?

– В мае Томми стукнуло двадцать, – говорит Крозье. – Первый свой день рождения на борту он отметил на следующий день после нашего отплытия. У людей было отличное настроение, и они обрили малому голову по случаю его восемнадцатилетия. Похоже, он ничего не имел против. Все давние знакомые Томми говорят, что он всегда был рослым не по годам. Он служил на военном корабле «Линкс», а до этого на купце Ост-Индской компании.

– Как и вы, кажется.

Крозье невесело смеется:

– Как и я. Не знаю, пошло ли мне это на пользу.

Фицджереймс забирает бутылку бренди в шкафчик и возвращается к длинному столу.

– Скажите, Френсис, вы действительно наряжались чернокожим лакеем, а Хоппнер изображал старую знатную леди, когда вы зимовали во льдах в... дай бог памяти... двадцать четвертом году?

Крозье снова смеется, на сей раз повеселее:

– Да, было дело. Я служил гардемаринком на «Хекле» под командованием Парри, когда они с Хоппнером, командовавшим «Фьюри», в двадцать четвертом отправились на север с целью отыскать этот самый чертов проход. Парри планировал провести корабли через пролив Ланкастер, а затем спуститься по проливу Принс-Риджент – мы тогда еще не знали, что Бутия является полуостровом, это стало известно только в

тридцать третьем, после плавания Россов. Парри думал, что сможет пойти на юг, обогнув Бутию, и нестись на всех парусах, пока не достигнет побережья, которое Франклин исследовал в ходе сухопутной экспедиции шестью-семью годами ранее. Но Парри припозднился с отплытием – почему эти чертовы начальники экспедиций всегда задерживаются с отправлением? – и нам повезло добраться до пролива Ланкастер только десятого сентября, месяцем позже намеченного срока. Но к тринадцатому сентября на море встал лед, и пройти через пролив не представлялось возможным, поэтому Парри на нашей «Хекле» и лейтенанту Хоппнеру на «Фьюри» пришлось удирать на юг, поджав хвост. Шторм отнес нас обратно в Баффинов залив, и нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принс-Риджент. Мы торчали там десять месяцев. Отморозили себе все, что только можно.

– Но вы – и в роли чернокожего мальчишки-лакея? – Фицджереймс чуть заметно улыбается.

Крозье кивает и отпивает маленький глоток бренди.

– И Парри, и Хоппнер, оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимовок во льду. Именно Хоппнер организовал этот маскарад, который назвал Большим Венецианским карнавалом и назначил на первое ноября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Парри явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал, даже когда собрались все приглашенные, по большей части в маскарадных костюмах – у нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами, – а когда он наконец все-таки разоблачился, мы увидели Парри в облике того старого моряка – помните, инвалида на деревянной ноге, что за гроши пиликал на скрипке близ Чатэма? Впрочем, нет, не помните, вы слишком молоды. Но Парри – я думаю, старый шельмец всегда больше хотел быть актером, чем капитаном корабля, – он все сделал правильно: принялся пиликать за скрипке, прыгая на деревяшке и выкрикивая: «Подайте грошик бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля!» Ну, люди чуть не полопались со смеха. Но Хоппнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше Парри, явился на бал в обличье знатной леди, нарядившись по последней парижской моде – платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела. А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весел сверх меры да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, – иными словами, был сопляком двадцати с лишним лет, – я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хоппнер купил в какой-то лондонской

лавке и взял в плавание специально для меня.

– И люди смеялись? – спрашивает Фицджереймс.

– О, они снова так и покатались со смеху – Парри со своей деревяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шелковый шлейф. Почему бы им не посмеяться? Всем этим трубочистам, галантерейщикам, старьевщикам, носатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками? Эй! Это же молодой Крозье, еще даже не лейтенант, а гардемарин-переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего-навсего очередной черномазый ирландец.

С минуту Фицджереймс молчит. Крозье слышит храп и попердывания, доносящиеся из скрипучих подвесных коек в темной носовой части корабля. Где-то на палубе над ними часовой топает ногами, чтобы согреться. Крозье жалеет, что закончил свою историю таким образом, – он ни с кем так не разговаривает, когда трезв, – но он хочет также, чтобы Фицджереймс снова достал из шкафчика бутылку бренди. Или виски.

– Когда «Фьюри» и «Хекла» вырвались из ледового плена? – спрашивает Фицджереймс.

– Двадцатого июля следующего года, – говорит Крозье. – Но все остальное вам, вероятно, известно.

– Я знаю, что вы потеряли «Фьюри».

– Так точно, – говорит Крозье. – Через пять дней после того, как лед вскрылся, – все пять дней мы еле ползли вдоль берега острова Сомерсет, стараясь держаться подальше от пака, стараясь не попадать под чертовы глыбы известняка, вечно срывающиеся со скал, – очередной шторм выбрасывает «Фьюри» на каменистую отмель. Нам пришлось здорово попотеть и загнать в лед уйму якорей, пока мы стаскивали его оттуда, но потом оба корабля затирает льдами, и один проклятый айсберг, размером почти с этого стервеца, что стоит между «Эребусом» и «Террором», притирает «Фьюри» к берегу, выламывает у него руль, пробивает корпус, корежит металлическую обшивку, и команда день и ночь посменно работала на четырех насосах, пытаясь хотя бы удержать корабль на плаву.

– И какое-то время вам это удавалось, – подсказывает Фицджереймс.

– Две недели. Мы даже пытались пришвартовать «Фьюри» к айсбергу, но чертов конец лопнул. Потом Хоппнер пытался приподнять корабль, чтобы добраться до кия, – то же самое хотел сделать сэр Джон с вашим «Эребусом», – но снежная буря положила конец этим попыткам, и возникла опасность, что под напором льдов оба корабля вынесет на подветренный

берег мыса. Наконец матросы стали просто падать прямо у помп – обезумевшие от усталости, они уже не понимали наших приказов, – и двадцать первого августа Парри приказал всем перейти на борт «Хеклы» и отвести корабль прочь, чтобы он не сел на мель, а бедный «Фьюри» вытолкнуло на берег несколькими айсбергами, которые крепко зажали его там, преграждая путь назад. У нас не было шансов вытащить «Фьюри» на буксире. Мы видели, как корабль раздавило льдами, точно скорлупку. Мы с великим трудом вывели оттуда «Хеклу» – только благодаря тому, что все до единого люди день и ночь стояли у насосов и плотник работал круглые сутки, укрепляя и латая обшивку... Таким образом, мы и близко не подошли к проходу – даже не открыли никакой новой земли, собственно говоря, – и потеряли корабль. Хоппнера судили морским судом, а Парри считал подсудимым и себя тоже, поскольку Хоппнер все время находился у него в подчинении.

– Всех оправдали, – говорит Фицджереймс. – Даже похвалили, насколько я помню.

– Похвалили, но не повысили в звании, – говорит Крозье.

– Но вы все выжили.

– Да.

– Я хочу выжить в этой экспедиции, Френсис, – говорит Фицджереймс тихим, но твердым голосом.

Крозье кивает.

– Нам следовало поступить так, как в свое время поступил Парри: перебраться с «Эребуса» на борт «Террора» год назад и двинуться на восток в обход Кинг-Уильяма, – говорит Фицджереймс.

Теперь настает очередь Крозье удивленно вскинуть брови. Не потому, что Фицджереймс признает Кинг-Уильям островом, – санные отряды, ходившие на разведку позже летом, внесли окончательную ясность в данный вопрос, – а потому, что он признает: им следовало двинуться туда в прошлом мае, бросив корабль сэра Джона. Крозье знает, что для капитана любого флота – но особенно Военно-морского флота Великобритании – нет ничего страшнее, чем покинуть свой корабль. И хотя «Эребус» находился под общим командованием сэра Джона Франклина, настоящим капитаном всегда оставался командор Джеймс Фицджереймс.

– Теперь уже слишком поздно.

Крозье чувствует боль. Несколько переборок здесь наружные, а в подволоке имеются три патентованных престонских иллюминатора, так что в кают-компании холодно – ясно виден пар от дыхания, – но все же на шестьдесят или семьдесят градусов^[6] теплее, чем было на льду, и

постепенно отогревающиеся ноги Крозье, особенно пальцы ног, болезненно покалывает, словно сотнями зазубренных булавок и докрасна раскаленных иголок.

– Да, – соглашается Фицджереймс, – но вы поступили умно, отправив снаряжение и провиант на Кинг-Уильям в августе.

– Это немалая часть того, что еще потребуется перевезти туда, коли нам придется расположиться там лагерем, – резко говорит Крозье.

Он распорядился перевезти с кораблей и схоронить на берегу около двух тонн одежды, палаток, средств жизнеобеспечения и консервированных продуктов на случай, если вдруг возникнет необходимость спешно покинуть корабли зимой, но транспортировка грузов происходила до смешного медленно и в чрезвычайно опасных условиях. За несколько недель утомительных санных переходов на берег было доставлено всего лишь около тонны запасов – палатки, верхняя одежда, инструменты и консервированные продукты на несколько недель. И больше ничего.

– Это существо не позволило бы нам остаться там, – тихо добавляет он. – Мы все могли бы перебраться в палатки в сентябре – как вы помните, я распорядился расчистить площадку для двух дюжин больших палаток, – но на кораблях будет безопаснее, чем в лагере.

– Да, – говорит Фицджереймс.

– Если корабли выстоят до конца зимы.

– Да, – говорит Фицджереймс. – Вы слышали, Френсис, что некоторые матросы – на обоих кораблях – называют этого зверя Террором?

– Нет!

Крозье оскорблен. Он не желает, чтобы название его корабля использовали в таких гнусных целях, даже если люди шутят. Но он смотрит в зеленовато-карие глаза командора Джеймса Фицджереймса и понимает, что капитан совершенно серьезен, а значит, по всей видимости, и люди тоже.

– Террор, – медленно произносит Крозье и чувствует вкус желчи во рту.

– Они думают, что это не животное, – говорит Фицджереймс. – Они считают, что хитрость и коварство этого существа противоестественны... сверхъестественны... что там на льду, в темноте – демон.

Крозье чуть не сплевывает от отвращения.

– Демон, – презрительно повторяет он. – Это те самые моряки, которые верят в призраков, эльфов, ион, русалок и морских чудовищ.

– Я видел однажды, как вы скребли ногтями по мачте, чтобы вызвать ветер, – с улыбкой замечает Фицджереймс.

Крозье не отвечает.

– Вы прожили на свете достаточно долго и достаточно много путешествовали, чтобы не раз видеть вещи, о существовании которых никто прежде не знал, – добавляет Фицджереймс, явно пытаясь разрядить обстановку.

– Так точно. – Крозье испускает резкий лающий смешок. – Пингвины! Хотелось бы, чтобы они были здесь самыми крупными животными, какими, похоже, являются на Южном полюсе.

– В южной Арктике нет белых медведей?

– Во всяком случае, мы ни одного не видели. Как не видел ни один китобой или исследователь за семьдесят лет плаваний вдоль берегов того белого, изобилующего вулканами, одетого льдом материка.

– И вы с Джеймсом Россом были первыми, кто увидел этот континент. И вулканы.

– Да, верно. И сэру Джеймсу это принесло большую пользу. Он женат, произведен в рыцари, счастлив, вышел в отставку. А я... я... здесь.

Фицджереймс прочищает горло, словно желая переменить тему разговора.

– Знаете, Френсис... до этого путешествия я искренне верил в существование Открытого Полярного моря. Я нисколько не сомневался, что парламент поступил правильно, прислушавшись к мнению так называемых полярных экспертов, – последней зимой перед нашим отплытием, помните? В «Таймс» много всего писалось о термобарическом барьере, о Гольфстриме, проходящем под льдами и нагревающим Открытое Полярное море, и неизвестном материке, находящемся там, – в парламенте даже предлагались к рассмотрению и принимались законы об отправке сюда заключенных Саутгейта и других тюрем с целью добывать уголь, которого на северном полярном континенте, всего в нескольких сотнях миль отсюда, должно быть полным-полно.

На сей раз Крозье смеется от души.

– Ну да, добывать уголь для обогрева гостиниц и обеспечения топливом паровых судов, которые будут регулярно курсировать через Северное Полярное море к шестидесятым годам, самое позднее. О боже, хотелось бы мне быть одним из заключенных Саутгейтской тюрьмы. У них камеры, согласно требованиям закона и элементарной гуманности, в два раза больше наших кают, Джеймс, и будущее сулило бы нам жизнь в тепле и безопасности, доведись нам сидеть спокойно в таких роскошных условиях и ждать известий об открытии и колонизации этого северного полярного континента.

Теперь смеются оба мужчины.

С верхней палубы доносится глухой стук – скорее частые шаги, нежели простое притопывание, – а потом слышатся громкие голоса, и по полу тянет холодным сквозняком, когда главный люк, расположенный в дальнем конце коридора, открывается и несколько пар ног грохочут вниз по трапу.

Оба капитана молчат и ждут, пока не раздастся тихий стук в дверь кают-компаний.

– Войдите, – говорит командор Фицджереймс.

Часовой вводит двух людей с «Террора» – третьего лейтенанта Джона Ирвинга и матроса по имени Шанкс.

– Прошу прощения, что побеспокоил вас, командор Фицджереймс, капитан Крозье, – говорит Ирвинг, слегка стуча зубами. Его длинный нос побелел от мороза, Шанкс все еще держит в руках мушкет. – Лейтенант Литтл послал меня со срочным донесением к капитану Крозье.

– Продолжайте, Джон, – говорит Крозье. – Вы ведь не ищете до сих пор леди Безмолвную, надеюсь?

Несколько мгновений Ирвинг тупо смотрит на него. Потом говорит:

– О нет, сэр. Она вернулась на корабль, капитан. Правда, осталась на верхней палубе. Она объявилась, когда возвращались последние поисковые отряды. Нет, сэр. Лейтенант Литтл просил меня срочно привести вас обратно, потому что... – Молодой лейтенант умолкает, словно забыв, почему Литтл послал его за капитаном.

– Мистер Кауч, – обращается Фицджереймс к вахтенному, приведшему двух людей с «Террора» в кают-компанию, – будьте любезны выйти в коридор и затворить дверь, благодарю вас.

Крозье тоже заметил странную тишину, когда храп и поскрипывание коек в носовой части палубы прекратились. Слишком много матросов в кубрике проснулись и наострили уши.

Когда дверь закрывается, Ирвинг говорит:

– Это Уильям Стронг и Томми Эванс, сэр. Они нашлись.

Крозье моргает:

– Что значит «нашлись», черт возьми? Живые? – Впервые за много месяцев он испытывает прилив надежды.

– О нет, сэр, – говорит Ирвинг. – Только... одно тело... на самом деле. Но оно было прислонено к кормовому фальшборту, когда его заметил кто-то из участников поисковых отрядов, возвращавшихся на корабль... около часа назад. Вахтенные ничего не видели. Но оно находилось там, сэр. По приказу лейтенанта Литтла мы с Шанксом поспешили сюда, чтобы

поставить вас в известность, капитан.

– Одно? – отрывисто спрашивает он. – Одно тело? Нашлось на корабле? – Капитан «Террора» ничего не понимает. – Мне показалось, вы сказали, что нашлись оба, Стронг и Эванс.

Теперь все лицо лейтенанта Ирвинга белеет, точно обмороженное.

– Так и есть, капитан, оба. По крайней мере половина каждого. Когда мы подошли взглянуть на тело, прислоненное там к фальшборту, оно упало и... в общем... Насколько мы можем судить, верхняя половина принадлежит Билли Стронгу, а нижняя – Томми Эвансу.

Крозье и Фицджереймс ошеломленно переглядываются.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

Кинг-Уильям, 24 мая – 3 июня 1847 г.

Отряд лейтенанта Гора прибыл к каменной пирамиде сэра Джеймса Росса на берегу Кинг-Уильяма поздно вечером 28 мая, после пятидневного тяжелого похода по замерзшему морю.

Хорошая новость – обнаруженная лишь на самом подходе к острову – заключалась в том, что неподалеку от берега на льду разливались широкие озера пресной, пригодной для питья воды. Плохая новость заключалась в том, что образовались они преимущественно в результате слабого таяния почти сплошной цепи айсбергов – высотой до сотни футов и более, – вынесенных течением на отмели и берег и теперь стоявших подобием белой зубчатой крепостной стены, тянувшейся в одну и другую сторону, насколько хватало глаз. Другая плохая новость заключалась в том, что людям потребовался почти целый день, чтобы преодолеть эту преграду, – причем пришлось оставить часть меховых одеял, топлива и провианта на морском льду, чтобы облегчить сани. Вдобавок к упомянутым неприятностям несколько банок консервированных супов и свинины, открытых на привале на льду, оказались испорченными, и их пришлось выбросить, вследствие чего на обратный путь у них осталось провианта меньше чем на пять дней – если исходить из предположения, что все остальные банки не испорчены. И в довершение ко всем прочим плохим новостям выяснилось, что даже здесь, у самой суши, толщина льда по-прежнему составляет семь футов.

Самая плохая новость – по крайней мере для Гудсира – заключалась в том, что полуостров (или остров, как они узнали впоследствии) Кинг-Уильям стал для него самым жестоким разочарованием в жизни.

Расположенные севернее острова Девон и Бичи были открыты всем ветрам, неблагоприятны для обитания животных даже в лучшее время года и лишены растительности, если не считать лишайников и низкорослых кустарников, но они представлялись истинным райским садом в сравнении с Кинг-Уильямом. Бичи мог похвастаться своими пустошами, наносами песка и земли, впечатляющими скалами и подобием отлогого каменистого берега. Ничего подобного на Кинг-Уильяме не было.

Спустя полчаса после перехода через гряду айсбергов Гудсир все еще не понимал, находится он на суше или нет. Он приготовился отметить столь важное событие вместе с остальными, ибо впервые за год с лишним они должны были ступить ногой на землю, но морской лед за айсбергами сменился нагромождениями припайного, и определить, где кончается припай и начинается берег, представлялось невозможным. Повсюду вокруг был лед, снег, и снова лед, и снова снег.

Наконец они достигли открытого всем ветрам, свободного от снега участка берега, и Гудсир и несколько матросов упали на гальку на четвереньки, словно вознося благодарение небу, но даже здесь округлые, насквозь промерзшие камешки казались тверже булыжника лондонских мостовых и в десять раз холоднее, и холод этот проникал сквозь штаны и шерстяные подштанники, прикрывавшие колени, в самые кости и проникал сквозь толстые рукавицы в ладони и пальцы, словно безмолвное приглашение в скованные льдом круги ада далеко внизу.

Еще четыре часа у них ушло на поиски пирамиды Росса. Раньше лейтенант Гор сказал всем, что груду камней высотой предположительно шесть футов на Виктори-Пойнт или поблизости от него будет легко найти, но на этом не защищенном от ветра мысе груды льда часто имели высоту шесть футов и более, а крепкие ветра давно сдули с пирамиды верхние камни, что помельче. Небо в конце мая никогда не темнело полностью, но в тусклом сумеречном свете все вокруг казалось лишенным объема и полагаться на глазомер не приходилось. В полумраке выделялись одни лишь медведи – и то единственно благодаря движению. С полдюжины голодных любопытных зверей следовали за ними целый день, то приближаясь, то отставая. Помимо этих неуклюжих, развалисто ступающих животных, изредка попадавших в поле зрения, все вокруг терялось в тусклом серо-белом свечении. Серак, на глаз маячивший в полумиле впереди и возвышавшийся на пятьдесят футов, на деле находился всего в двадцати ярдах и имел высоту два фута. Клочок голой каменистой земли в сотне футов от них в действительности оказался в целой миле, далеко на открытом ветрам мысе.

Но в конце концов они нашли пирамиду, в десять без малого вечера по все еще тикающему хронометру Гудсира. Все мужчины настолько утомились, что руки у них бессильно болтались, как у любимых приматов Дарвина, по причине крайней усталости никто не разговаривал, сани они оставили в полумиле к северу, где впервые ступили на берег.

Гор достал первое из двух посланий – он снял с оригинала копию, чтобы спрятать на берегу южнее, согласно распоряжениям сэра Джона, –

проставил в нем дату и нацарапал свою подпись. То же самое сделал второй помощник капитана Чарльз Дево. Они свернули лист бумаги в трубку, положили в один из двух медных герметичных цилиндров, взятых в поход, и опустили цилиндр в середину полой пирамиды, после чего установили на место камни, которые предварительно вынули, чтобы получить доступ к тайнику.

– Ну что ж, – сказал Гор, – дело сделано.

Вскоре после того, как они дотащились до саней, чтобы приготовить полночный ужин, разразилась буря.

Дабы облегчить сани при переходе через гряды айсбергов, они оставили тяжелые одеяла из волчьих шкур, парусиновые подстилки и бóльшую часть консервированных продуктов в укрытии на морском льду. Они рассудили, что, поскольку пища находится в запаянных жестяных банках, она не привлечет белых медведей, вечно вынюхивающих поживу, а даже если и привлечет, звери не смогут вскрыть банки. Они рассчитывали продержаться на острове два дня на урезанном пайке (плюс любая дичь, которую они сумеют подстрелить, разумеется, но при столкновении с суровой реальностью острова надежда эта начала угасать) и спать всем скопом в палатке.

Дево, руководивший приготовлением ужина, достал патентованный набор продуктов из специальной тары, представлявшей собой несколько хитроумно вставленных одна в другую плетеных корзин. Но три из четырех банок, выбранных для первого ужина на суше, оказались испорченными. Таким образом, у них осталось лишь по полпорции вчерашней соленой свинины на каждого – свинину мужчины любили, поскольку она очень жирная, но такого количества явно не хватало, чтобы утолить голод после столь трудного дня, – и последняя неиспорченная банка с этикеткой «Превосходный наваристый черепаховый бульон», который они терпеть не могли, по опыту зная, что бульон не превосходный, не наваристый, да и вряд ли черепаховый.

Доктор Макдональд с «Террора» последние полтора года – со времени смерти Торрингтона у острова Бичи – буквально помешался на качестве консервированных продуктов и при участии других врачей постоянно экспериментировал, пытаясь найти наилучшую диету, предотвращающую развитие цинги, и от старшего годами врача Гудсир узнал, что некий Стивен Голднер, поставщик из Хаундитча, добившийся заключения контракта с экспедицией благодаря чрезвычайно низким запрошенным ценам, почти наверняка обманул британское правительство и Службу географических исследований при Военно-морском флоте Британии,

поставив некачественные – а возможно, и опасные для жизни – пищевые продукты.

Мужчины разразились проклятиями, узнав, что содержимое банок протухло.

– Успокойтесь, ребята, – сказал лейтенант Гор, пару минут не пресекавший поток матросских ругательств, чтобы дать людям выпустить пар. – Что вы скажете, если сейчас мы начнем открывать одну за другой банки из завтрашнего рациона, пока не найдем достаточно неиспорченной пищи, чтобы насытиться, и просто примем решение вернуться к нашему складу на льду завтра к ужину, даже если таковой состоится в полночь?

Все дружным хором выразили согласие с поступившим предложением.

Две из следующих четырех банок оказались нормальными: в одной содержалось странное постное «ирландское рагу», которое в лучших обстоятельствах едва ли сочли бы съедобным, а в другой некая смесь с аппетитным названием «бычьи щечки с овощами», относительно которой мужчины сошлись во мнении, что мясные ингредиенты взяты из дубильной мастерской, а овощи из заброшенного овощехранилища. Однако это было лучше, чем ничего.

Но когда они поставили палатку, раскатали в ней спальные мешки, разогрели пищу на спиртовке и разобрали горячие металлические миски с едой, засверкали молнии.

Первая ударила в землю меньше чем в пятидесяти футах от них, заставив всех разом подпрыгнуть и просыпать из мисок свои бычьи щечки с овощами и рагу. Второй удар пришелся еще ближе.

Они бросились к палатке. Молнии одна за другой с оглушительным треском ударили в землю вокруг подобию артиллерийских снарядов. Едва они успели забиться в коричневую брезентовую палатку – восемь мужчин в укрытии, рассчитанном на четырех человек с легким снаряжением, – как матрос Бобби Терьер взглянул на металлические шесты палаточного каркаса и со словами «ох, твою мать» рванул к выходу.

Снаружи шел град величиной с крикетный мяч, высекая из льда осколки, взлетающие на добрых тридцать футов. Полночные арктические сумерки озарялись молниями столь часто, что они накладывались друг на друга и небо сверкало ослепительными вспышками, оставлявшими черные пятна остаточных изображений на сетчатке глаза.

– Нет, нет! – проорал Гор, перекрывая грохот грома. Он рывком оттащил Терьера от выхода обратно в переполненную палатку. – Куда ни сунься, мы здесь самые высокие существа. Отбросьте шесты по возможности дальше, но оставайтесь под брезентом. Заберитесь в

спальные мешки и лежите пластом.

Мужчины бросились выполнять приказ; пряди длинных волос, выбивавшиеся из-под «уэльских париков» или вязаных шапок, трепыхались и извивались подобием змей над шерстяными шарфами, обмотанными вокруг шеи. Гроза неистовствовала все сильнее, и от грохота грома закладывало уши. Град яростно молотил по спинам, прикрытым брезентом и одеялами, точно тысяча огромных кулаков, избивающих до синяков. На самом деле Гудсир стонал скорее от страха, нежели от боли, хотя непрерывно сыпавшиеся на голову и спину удары являлись самым жестоким избиением из всех, какие он претерпел со времени своего обучения в привилегированной частной школе.

– Господи Иисусе, твою мать! – выкрикнул Томас Хартнелл, когда град усилился и молнии засверкали чаще.

Все мало-мальски здравомыслящие мужчины уже лежали под своими спальными мешками, а не в них, прикрываясь от града двумя слоями плотного шерстяного одеяла вместо одного. Брезент палатки грозил всем смертью от удушья. Тонкая просмоленная парусина под ними несколько не спасала от холода, поднимавшегося снизу, пробиравшего до костей, безжалостно остужавшего нагретый дыханием воздух.

– Разве грозы бывают, когда так холодно? – прокричал Гудсир Гору, который лежал рядом с ним в куче перепуганных мужчин.

– Такое случается! – проорал в ответ лейтенант. – Если мы решим перебраться с кораблей в лагерь на суше, нам придется взять с собой чертову уйму громоотводов!

Именно тогда Гудсир услышал первый намек на вероятность, что они покинут корабли.

Молния ударила в ледяной валун футов в десяти от палатки, возле которого они сидели во время своего прерванного ужина, и отрикошетила к валуну высотой не более трех футов, сверкнув у них прямо над головами, прикрытыми брезентом, – и все до единого мужчины прижались к земле плотнее, словно пытаясь продрасться сквозь парусиновую подстилку и зарыться поглубже в мерзлую гальку.

– О господи, лейтенант Гор, – выкрикнул Джон Морфин, чья голова находилась ближе прочих к входному отверстию рухнувшей палатки, – кто-то ходит там, в этом аду крошечном!

Все восемь членов отряда находились в палатке.

– Неужели медведь? – проорал Гор. – Бродит вокруг в такую грозу?

– Слишком крупен для медведя, лейтенант! – прокричал Морфин. – Это...

Тут молния опять ударила в ледяной валун неподалеку от палатки, а удар следующей молнии пришелся так близко, что наэлектризованный брезент над ними резко всколыхнулся, и все припали к земле еще плотнее, прижались лицом к холодной парусине и оставили всякие разговоры, чтобы вознести к небу мольбы о спасении.

Яростная атака – а Гудсиру все происходящее представлялось некой атакой древних богов, разъяренных их самонадеянным решением зимовать в царстве Борея, – продолжалась почти час, пока наконец последние раскаты грома не стихли в отдалении и вспышки молний не стали реже и не переместились на юго-восток.

Гор выбрался из-под брезента первым, но даже этот бравый лейтенант – практически не ведавший страха, насколько знал Гудсир, – не поднимался на ноги целую минуту, если не дольше. За ним все остальные на четвереньках выползли наружу и замерли на месте, ошеломленно озираясь вокруг и словно вознося мольбы или хвалы Всевышнему. В небе на востоке сверкали узоры разветвленных молний, гром все еще грохотал над плоским островом достаточно громко, чтобы они кожей ощущали звуковые волны и зажимали уши ладонями, но град прекратился – двухфутовый слой разбитых белых шариков устилал берег, насколько хватало глаз, – и минуту спустя Гор встал и начал оглядываться по сторонам. Потом все остальные поднялись на ноги, медленно, неуклюже, ощупывая конечности – сплошь покрытые синяками, полагал Гудсир на основании своих собственных болевых ощущений. Черные тучи затягивали сумеречное небо на юге достаточно плотно, чтобы казалось, будто на землю опускается настоящая ночная тьма.

– Вы только посмотрите! – крикнул Чарльз Бест.

Гудсир и все остальные столпились возле саней. Перед своим прерванным ужином они сложили в кучу консервные банки и прочие предметы на месте, где готовили, и молния каким-то образом ухитрилась ударить в низкую пирамиду банок, промахнувшись мимо самих саней. Все голднеровские консервированные продукты разметало вокруг, как если бы в пирамиду попало пушечное ядро – точный бросок шара в космическом кегельбане. Куски обугленного металла, все еще дымящиеся несъедобные овощи и тухлое мясо были разбросаны в радиусе двадцати ярдов. У левой ноги врача валялся черный от копоти искореженный котелок, на боку которого виднелась надпись «варочное устройство». Он входил в походный комплект столовых принадлежностей и стоял на одной из спиртовок, когда они бросились в укрытие. Металлическая бутылка, содержащая пинту древесного спирта, взорвалась, и разлетевшаяся во все стороны шрапнель

лишь чудом не задела никого из них, когда они прятались под брезентом. Если бы молния ударила в деревянный ящик с бутылками горючего, стоявший на санях рядом с двумя дробовиками и коробкой патронов, они все погибли бы при взрыве.

Гудсир почувствовал острое желание рассмеяться, но сдержался из опасения, что одновременно разрыдается. С минуту все молчали.

Наконец Джон Морфин, взобравшийся на невысокую, изрешеченную градом ледяную гряду поблизости, крикнул:

– Лейтенант, вы должны взглянуть на это!

Они поднялись наверх, чтобы посмотреть, на что он там таращится.

Вдоль низкой ледяной гряды, начинавшейся среди нагромождений льда к югу от них и терявшейся из виду на северо-западе, тянулась цепочка совершенно невероятных следов. Невероятных, поскольку они превосходили размерами следы любого из ныне существующих животных на этой старой доброй планете. За пять дней похода мужчины видели на снегу следы белых медведей, и некоторые из них были на удивление большими – до двенадцати дюймов длиной, – но эти отпечатки были в полтора-два раза больше. Иные казались длиной с руку мужчины. И они были свежими – в этом не приходилось сомневаться, – ибо вмятины остались не на старом снегу, а на толстом слое градин.

Какое бы существо ни проходило мимо лагеря, оно появилось здесь в самый разгар грозы с градом, как и докладывал Морфин.

– Что это? – сказал лейтенант Гор. – Быть такого не может. Мистер Дево, будьте добры, принесите мне дробовик и патроны из саней.

– Есть, сэр.

Еще прежде, чем помощник капитана вернулся с дробовиком, Морфин, рядовой морской пехоты Пилкингтон, Бест, Терьер и Гудсир двинулись вслед за Гором, который пошел по невероятным следам в северо-западном направлении.

– Они слишком большие, сэр, – отметил морской пехотинец.

Он был включен в состав отряда, знал Гудсир, поскольку являлся одним из немногих мужчин на обоих кораблях, имевших опыт охоты на дичь крупнее тетерева.

– Я знаю, рядовой, – сказал Гор.

Он взял дробовик у второго помощника Дево и спокойно загнал в ствол патрон. Увязая в ледяном крошечье, семеро мужчин шагали в направлении темных облаков за цепью айсбергов, тянувшейся вдоль береговой линии.

– Может, это не следы, а что-то другое... скажем, арктический заяц

или еще какой зверь прыгал по ледяному месиву, делая вмятины всем телом, – предположил Дево.

– Да, – рассеянно отозвался Гор. – Вероятно, так и есть, Чарльз.

Но это были отпечатки лап. Доктор Гарри Д. С. Гудсир знал это. И все мужчины, шедшие рядом, знали это. Гудсир, никогда в жизни не охотившийся на зверя крупнее кролика или куропатки, точно знал, что это не вмятины от тела какого-то мелкого животного, прыгавшего влево-вправо, но скорее отпечатки лап некоего существа, которое шло сначала на четырех ногах, а потом – если верить следам – прошагало почти сотню ярдов на двух. Здесь они походили на следы человека, имеющего ступни длиной с предплечье Гудсира и покрывающего почти пять футов за один шаг, причем вместо отпечатков пальцев оставляющего бороздки от когтей.

Они достигли незащищенного от ветра участка каменистого берега, где Гудсир упал на колени много часов назад. Поскольку градины здесь разбивались на мельчайшие осколки, под ногами у них лежал практически голый камень – и на нем следы обрывались.

– Рассредоточимся, – сказал Гор, который по-прежнему небрежно держал дробовик под мышкой, словно прогуливаясь по своему родовому поместью в Эссексе.

Он поочередно ткнул пальцем в каждого из мужчин и указал, в какую сторону тому надлежит направиться, чтобы поискать следы на границе каменистого участка, немногим превосходившего размерами центральную часть крикетного поля.

Следов, ведущих прочь с гальки, не обнаружилось. Мужчины несколько минут бродили взад-вперед, внимательно глядя под ноги, стараясь не ступать на нетронутый снег, а потом все застыли на месте, растерянно переглядываясь. Каменистый участок имел форму почти правильного круга. Никаких следов, уводящих за пределы онога, не было.

– Лейтенант... – начал Бест.

– Помолчите минутку, – сказал Гор резко, но не раздраженно. – Я думаю.

Сейчас он единственный двигался: широким шагом проходил мимо мужчин и напряженно вглядывался в снег и лед за пределами круга, словно пытаясь понять шутку, с ним сыгранную. Теперь, когда гроза ушла на восток, стало светлее (было почти два часа пополудни по хронометру Гудсира), и снег с ледяной крошкой за границей усыпанного галькой пятачка оставался нетронутым.

– Лейтенант, – настойчиво повторил Бест, – я насчет Тома Хартнелла.

– Да, что с ним? – отрывисто спросил лейтенант. Он начинал обходить

участок по третьему разу.

– Его здесь нет. Я только сейчас понял – я не видел Тома с момента, когда мы вышли из палатки.

Гудсир резко вскинул и повернул голову одновременно со всеми остальными. В трехстах ярдах за ними находилась низкая ледяная гряда, загораживавшая рухнувшую палатку и сани. Никакого движения на всем обозримом серо-белом пространстве не наблюдалось.

Все разом сорвались с места и побежали.

Хартнелл был жив, но без сознания и по-прежнему лежал под брезентом палатки. На голове сбоку у него вздулась огромная шишка – толстый брезент прорвался от удара градины величиной с кулак, – и из левого уха сочилась кровь, но Гудсир скоро нащупал слабый пульс. Они вытащили Хартнелла из-под палатки, достали два спальных мешка и устроили пострадавшего по возможности удобнее. По небу опять плыли темные облака.

– Насколько серьезна травма? – спросил лейтенант Гор.

Гудсир потряс головой:

– Пока неизвестно – узнаем, когда он очнется... если он очнется. Удивительно, что больше никто из нас не пострадал столь же тяжело. Это было поистине смертоносное низвержение твердых тел с небес.

Гор кивнул:

– Мне бы очень не хотелось потерять Томми после того, как его брат Джонни умер в прошлом году. Семья не перенесет такого удара.

Гудсир вспомнил, как готовил к погребению Джона Хартнелла, одетого в лучшую фланелевую рубашу брата Томми. Он подумал об этой рубаше, находящейся под мерзлой землей и занесенными снегом камнями во многих милях к северу отсюда, о ледяном ветре под черными скалами, проносащемся между деревянными надгробиями, – и содрогнулся.

– Мы все начинаем замерзать, – сказал Гор. – Необходимо поспать. Рядовой Пилкингтон, найдите опорные шесты и помогите Бесту и Терьеру снова установить палатку.

– Есть, сэр.

Пока двое мужчин искали опорные шесты, Морфин поднял брезент. Изрешенная градом палатка походила на выдавшее виды боевое знамя.

– Боже мой, – сказал Дево.

– Все спальные мешки промокли насквозь, – доложил Морфин. – Палатка внутри тоже промокла.

Гор вздохнул.

Пилкингтон и Бест вернулись с двумя почерневшими, погнутыми обломками шестов из металла и дерева.

– В них попала молния, лейтенант, – доложил рядовой морской пехоты. – Похоже, ее притянул металлический стержень, сэр. От них теперь мало прока.

Гор просто кивнул:

– У нас в санях есть ледоруб. Принесите его и запасной дробовик, чтобы использовать в качестве опорных шестов. Растопите немного льда, чтобы залить их у основания.

– Спиртовка испорчена, – напомнил Терьер. – Растопить лед не получится.

– У нас в санях есть еще две спиртовки, – сказал Гор. – А во флягах осталась питьевая вода. Сейчас она обратилась в лед, но засуньте фляги за пазуху, чтобы он растаял. Залейте воду в ямку, которую прорубите во льду. Она мигом замерзнет. Мистер Бест?

– Да, сэр? – откликнулся плотный молодой моряк, пытаясь подавить зевок.

– Вычистите палатку изнутри возможно тщательнее, возьмите нож и распорите два спальных мешка. Получится два широких одеяла: одно мы используем в качестве подстилки, а другим накроемся, тесно прижавшись друг к другу, чтобы не заоченеть. Нам нужно поспать.

Гудсир внимательно наблюдал за находившимся в беспамятстве Хартнеллом, но молодой человек по-прежнему не подавал никаких признаков жизни. Врачу пришлось проверить, дышит ли он, чтобы удостовериться, что он еще не умер.

– Мы двинемся обратно утром, сэр? – спросил Джон Морфин. – В смысле, чтобы забрать наши припасы из склада на льду, а потом направиться назад к кораблям? Теперь у нас провианта осталось всего ничего, не хватит на обратный путь, даже если урезать рацион до маломальски приемлемого минимума.

Гор улыбнулся и помотал головой:

– Двухдневный пост не повредит нам, дружище. Но поскольку Хартнелл ранен, я отправлю четверых к нашему складу, с ним на санях. Вы станете там лагерем, обустроившись со всем тщанием, а я тем временем возьму одного человека и направлюсь на юг, во исполнение приказа сэра Джона. Я должен спрятать в тайнике второе письмо Адмиралтейству, но самое главное – нам необходимо продвинуться на юг как можно дальше, чтобы проверить, нет ли там каких признаков чистой воды. Весь наш поход окажется напрасным, коли мы не сделаем этого.

– Я готов пойти с вами, лейтенант Гор, – сказал Гудсир и поразился звуку собственного голоса. Почему-то для него было чрезвычайно важно продолжить путь с офицером.

Гор тоже казался удивленным.

– Благодарю вас, доктор, – мягко сказал он. – Но не разумнее ли будет, если вы останетесь с нашим раненым товарищем?

Гудсир густо покраснел.

– Со мной пойдет Бест, – сказал лейтенант. – До моего возвращения командовать отрядом будет второй помощник Дево.

– Есть, сэр, – хором сказали оба мужчины.

– Мы с Бестом выступим часа через три и постараемся пройти на юг возможно дальше, взяв с собой лишь немного соленой свинины, цилиндр для письма, по одной фляге воды на каждого, несколько одеял на случай, если придется стать биваком, и один из дробовиков. Мы повернем назад около полуночи и постараемся встретиться с вами на льду к восьми склянкам завтрашнего утра. На обратном пути к кораблям санный груз у нас будет легче – если не считать Хартнелла, я имею в виду, – так что бьюсь об заклад, мы доберемся до дома не за пять дней, а за три, если не меньше. Если мы с Бестом не вернемся к лагерю на море послезавтра к полуночи, мистер Дево, берите Хартнелла и возвращайтесь к кораблям.

– Есть, сэр.

– Рядовой Пилкингтон, вы очень устали?

– Да, сэр, – ответил тридцатилетний морской пехотинец. – То есть нет, сэр. Я готов выполнить любой ваш приказ, лейтенант.

Гор улыбнулся:

– Хорошо. Вы заступаете на дежурство на следующие три часа. Единственное, что я могу вам обещать, так это то, что вам первому позволят лечь спать, когда ваш отряд достигнет сегодня места стоянки у склада. Возьмите мушкет, не задействованный в качестве палаточного опорного шеста, но оставайтесь в палатке – просто выглядывайте наружу время от времени.

– Слушаюсь, сэр.

– Доктор Гудсир?

Врач вскинул голову.

– Будьте добры, перенесите мистера Хартнелла в палатку с помощью мистера Морфина и устройте там поудобнее. Мы положим Томми в середину нашей кучи-малы, чтобы согреть своими телами.

Гудсир кивнул и двинулся с места, чтобы поднять своего пациента за плечи вместе со спальным мешком. Шишка на голове Хартнелла теперь

выросла до размеров маленького бледного кулака.

– Хорошо, – стуча зубами, проговорил Гор, когда потрепанную палатку установили. – Теперь давайте расстелим одеяла, ляжем, прижмемся покрепче друг к другу, точно бедные сироты, каковыми, собственно, мы и являемся, и попытаемся поспать час-другой.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

3 июня 1847 г.

Сэр Джон не верил своим глазам. Он видел восемь фигур, все верно, но наблюдал при этом некий... непорядок.

Четверо из пятерых тянувших сани изможденных, бородатых мужчин в очках не вызывали недоумения – матросы Морфин, Терьер и Бест, с рослым рядовым Пилкингтоном впереди, – но пятым в упряжи шел второй помощник Дево, чье выражение лица наводило на мысль, что он побывал в аду. Матрос Хартнелл шел рядом с санями. Голова исхудалого матроса была перевязана, и он еле волочил ноги, словно французский солдат во время отступления Наполеона от Москвы. Врач Гудсир тоже шел рядом с санями, на ходу наклоняясь к кому-то – или чему-то, – лежащему в санях. Франклин высматривал красный шерстяной шарф лейтенанта Гора – длиной почти шесть футов, такой невозможно не заметить, – но странное дело: казалось, почти все темные, с трудом плетущиеся фигуры были в красных шарфах, только покороче.

И наконец, за санями шагала низенькая, закутанная в парку фигура, лицо которой скрывалось под капюшоном, но которая могла быть только эскимосом.

Но именно при виде самих саней капитан сэр Джон Франклин невольно воскликнул: «О господи!»

Сани были слишком узкие, чтобы на них поместились два человека, лежащие бок о бок, и подзорная труба не обманула сэра Джона: одно тело покоилось на другом. Наверху находился еще один эскимос – спящий или погруженный в беспамятство старик с коричневым морщинистым лицом и белыми волосами, разметавшимися по меховому капюшону, стянутому назад и подоткнутому под голову подобием подушки. Именно над ним склонялся Гудсир, пока сани приближались к «Эребусу». Под лежащим навзничь эскимосом виднелись тело и почерневшее, искаженное и явно мертвое лицо лейтенанта Грэма Гора.

Франклин, командор Фицджереймс, лейтенант Левеконт, первый помощник Роберт Серджент, ледовый лоцман Рейд, старший судовой врач Стенли, несколько младших офицеров, боцманмат Браун, грот-марсовый

старшина Джон Салливан и вестовой сэра Джона мистер Хор – все разом бросились навстречу саням, как и сорок с лишним матросов, которые поднялись на палубу, услышав крик дозорного.

В дюжине шагов от санного отряда Франклин и все остальные стали как вкопанные. То, что через подзорную трубу показалось Франклину серовато-красными шерстяными шарфами, на деле оказалось огромными красными пятнами на темных шинелях. Мужчины были измазаны кровью.

Потом раздался взрыв голосов. Матросы в упряжи обнимались с товарищами, подбежавшими к ним. Томас Хартнелл рухнул на лед, и вокруг него столпились мужчины, пытавшиеся поднять его на ноги. Все говорили и кричали одновременно.

Сэр Джон видел только труп лейтенанта Грэма Гора. Тело было накрыто спальным мешком, но он немного сполз вниз, являя взору сэра Джона красивое лицо, местами абсолютно белое, обескровленное, а местами – нос, щеки, виски, подбородок – дочерна обожженное арктическим солнцем, с искаженными чертами, с блестящими от инея белками закатившихся глаз под приоткрытыми веками, с отвисшей челюстью и вывалившимся изо рта языком, с губами, растянутыми точно в злобном оскале или в гримасе совершенного ужаса.

– Снимите этого... дикаря... с лейтенанта Гора! – приказал сэр Джон. – Немедленно!

Несколько человек бросились выполнять приказ: схватили эскимоса за плечи и за ноги, рывком подняли. Старик застонал, и доктор Гудсир воскликнул:

– Осторожнее! Полегче с ним! У него мушкетная пуля рядом с сердцем. Отнесите его в лазарет, пожалуйста.

Второй эскимос подошел к раненому старику – теперь, когда капюшон парки был откинут назад, сэр Джон ошеломленно обнаружил, что это молодая женщина.

– Пойдите! – вскричал сэр Джон, махнув рукой своему корабельному фельдшеру. – Лазарет? Неужто вы всерьез полагаете, что мы позволим поместить этого... аборигена... в наш лазарет?!

– Этот человек – мой пациент, – заявил Гудсир с непочтительным упрямством, какого сэр Джон Франклин никогда бы не предположил в малорослом, щуплом враче. – Мне необходимо перенести раненого в место, где я смогу его прооперировать – извлечь пулю из тела, коли такое возможно. Остановить кровотечение, на худой конец. Отнесите его в лазарет, пожалуйста.

Матросы, державшие эскимоса, вопросительно посмотрели на

начальника экспедиции. Сэр Джон впал в такое замешательство, что лишился дара речи.

– Пошевеливайтесь же, – приказал Гудсир уверенным тоном.

Очевидно приняв молчание сэра Джона за знак согласия, мужчины потащили седовласого эскимоса вверх по снежному откосу на корабль. Гудсир, эскимосская девушка и несколько матросов последовали за ними; двое поддерживали под руки молодого Хартнелла.

Франклин, едва скрывавший свое потрясение и ужас, остался стоять на месте, по-прежнему глядя на труп лейтенанта Гора. Рядовой Пилкингтон и матрос Морфин развязывали тросы, крепившие тело к саням.

– Бога ради, – промолвил Франклин, – прикройте ему лицо.

– Слушаюсь, сэр, – откликнулся Морфин.

Матрос натянул на лицо лейтенанту плотное шерстяное одеяло, сползшее вниз за время трудного полуторасуточного перехода по замерзшему морю, искрещенному торосными грядками.

Сэр Джон по-прежнему видел провал рта под провисшим красным одеялом.

– Мистер Дево! – рявкнул он.

– Да, сэр.

Второй помощник Дево, который наблюдал за матросами, отвязывавшими тело лейтенанта от саней, подошел шаркающей походкой и козырнул. Франклин видел, что заросший щетиной мужчина с обветренным и докрасна обожженным солнцем лицом настолько изможден, что едва сумел поднять руку, чтобы отдать честь.

– Пусть лейтенанта Гора отнесут в его каюту, где вы с мистером Серджендом, под руководством присутствующего здесь лейтенанта Фейрхольма, проследите за тем, чтобы тело подготовили к погребению.

– Есть, сэр, – хором сказали Дево и Фейрхольм.

Терьер и Пилкингтон, несмотря на смертельную усталость, решительно отказались от посторонней помощи и сами подняли с саней тело своего лейтенанта. Одна рука у Гора была согнута в локте, и скрюченные окоченелые пальцы (рукавица и перчатка отсутствовали, и голая кисть почернела, то ли сожженная солнцем, то ли вследствие разложения тканей) словно пытались вцепиться в воздух.

– Пойдите, – сказал Франклин.

Он сообразил, что, если поручит мистеру Дево такое задание, пройдет не один час, прежде чем он сможет получить официальный доклад от человека, бывшего заместителем командира в данном отряде. Даже чертов фельдшер теперь скрылся, забрав с собой двух эскимосов.

– Мистер Дево, – сказал Франклин, – после того как вы проследите за начальными приготовлениями лейтенанта Гора к погребению, зайдите ко мне в каюту.

– Есть, сэр, – устало откликнулся помощник капитана.

– Кстати, кто присутствовал при смерти лейтенанта Гора?

– Мы все, сэр, – сказал Дево. – Но матрос Бест находился с ним последние двое суток нашего пребывания на Кинг-Уильяме и около. Чарли видел все, что случилось с лейтенантом Гором.

– Хорошо, – сказал сэр Джон. – Продолжайте выполнять свои обязанности, мистер Дево. Вскоре я выслушаю ваш доклад. А вы, Бест, сейчас проследуйте за мной и командором Фицджеймсом.

– Есть, сэр, – сказал матрос, перерезая ножом последний ремень своей упряжи, поскольку он был слишком утомлен, чтобы возиться с узлами. У него даже не хватило сил козырнуть.

Три престонских иллюминатора матово белели над головой от света никогда не заходящего солнца, когда матрос Чарльз Бест делал доклад сидящим за столом сэру Джону, командору Фицджеймсу и капитану Крозье, – капитан «Террора» весьма кстати прибыл с визитом всего через несколько минут после того, как разведывательный отряд поднялся на борт. Эдмунд Хор – вестовой сэра Джона, временами выполнявший обязанности секретаря, – сидел с офицерами, делая записи. Бест стоял, разумеется, но несколькими минутами ранее Крозье предложил дать изможденному мужчине немного бренди в медицинских целях, и, хотя на лице сэра Джона явственно отразилось недовольство, он соизволил попросить капитана Фицджеймса достать бутылку из своих личных запасов. Похоже, глоток спиртного несколько взбодрил Беста.

Трое офицеров время от времени прерывали вопросами докладывавшего Беста, который стоял перед ними, пошатываясь от усталости. Когда описание трудного похода к острову Кинг-Уильям стало несколько затягиваться, сэр Джон попросил мужчину перейти к описанию событий последних двух дней.

– Слушаюсь, сэр. В общем, после того, как мы стали лагерем в первую нашу ночь на берегу, когда прошла страшная гроза с градом, а потом нашли эти... следы, отпечатки лап... на снегу, мы попытались поспать пару часов, но безуспешно, а затем мы с лейтенантом направились на юг с малым запасом провианта, а мистер Дево взял сани и то, что осталось от палатки и бедного Хартнелла, который тогда по-прежнему не подавал признаков жизни, и мы попрощались до завтра, и, значит, мы с лейтенантом

двинулись на юг, а мистер Дево с остальными людьми двинулся обратно на морской лед.

– Вы были вооружены, – сказал сэр Джон.

– Так точно, сэр Джон, – подтвердил Бест. – У лейтенанта Гора был пистолет, а у меня один из двух наших дробовиков. Второй дробовик остался в отряде мистера Дево, а у рядового Пилкингтона был мушкет.

– Объясните, почему лейтенант Гор разделил отряд, – потребовал сэр Джон.

Казалось, Бест на мгновение смешался, но потом просветлел:

– О, он сказал нам, что выполняет ваш приказ, сэр. Поскольку молния уничтожила запасы провизии и град повредил палатку, большей части отряда необходимо было вернуться к нашему складу на морском льду. Мы с лейтенантом Гором продолжили путь, чтобы спрятать второй цилиндр с донесением где-нибудь южнее на берегу и посмотреть, нет ли где дальше разводий. Там ничего не было. В смысле, разводий. Ни следа. Ни хре... ни единого потемнения в небе над горизонтом, свидетельствующего об открытой воде.

– Как далеко вы продвинулись на юг, Бест? – спросил Фицджереймс.

– Лейтенант Гор полагал, что мы прошли около четырех миль по этому снегу и обледенелым камням, когда достигли длинного узкого залива, сэр... похожего на бухту у Бичи, где мы зимовали год назад. Но вы знаете, сэр, что значит пройти четыре мили в тумане, да против ветра, да по льду. Вероятно, мы протопали миль десять, самое малое, чтобы покрыть четыре. Залив намертво скован льдом. Плотным, как пак здесь, вокруг кораблей. Там нет даже узкой полоски воды между берегом и льдом, какие бывают в любом заливе летом. В общем, мы пересекли его, сэр, а затем прошли еще с четверть мили по мысу, близ оконечности которого мы с лейтенантом Гором сложили из камней еще одну пирамиду – не такую высокую и красивую, как пирамида капитана Росса, я уверен, но прочную и достаточно высокую, чтобы сразу броситься в глаза любому. Местность там такая плоская, что выше человека там ничего нет. Поэтому мы сложили из камней пирамиду высотой примерно в уровень наших глаз и схоронили в ней второе послание, точно такое же, как первое, сказал лейтенант, в медном цилиндре.

– Затем вы повернули назад? – спросил капитан Крозье.

– Нет, сэр, – сказал Бест. – Не стану скрывать, я устал смертельно. Лейтенант Гор тоже. Нам весь день приходилось тяжело, даже заструги там такие твердые, что мы с трудом через них пробивались, но, поскольку было туманно, мы лишь изредка мельком видели берег перед собой, когда туман

рассеивался, и потому, хотя мы закончили сооружать пирамиду и положили в нее послание лишь во второй половине дня, лейтенант Гор продолжил путь, и мы прошли еще шесть или семь миль по берегу на юг. Иногда видимость улучшалась, но бо́льшую часть времени мы почти ничего не видели. Но мы слышали.

– Что вы слышали, дружище? – спросил Франклин.

– Нас преследовало какое-то существо, сэр Джон. Крупное. Оно шумно дышало. И иногда точно погавкивало... на манер белых медведей, когда они издают такие кашляющие звуки, знаете, сэр?

– Вы опознали в нем белого медведя? – спросил Фицджереймс. – Вы же сказали, что местность там плоская. Если за вами шел медведь, вы наверняка могли его видеть, когда туман рассеивался.

– Да, сэр. – Бест так сильно нахмурился, что показалось, он сейчас заплачет. – То есть нет, сэр. Мы не опознали в нем ни медведя, ни какого другого зверя, сэр. В нормальных условиях мы смогли бы. Мы должны были бы, но мы не опознали и не имели такой возможности. Иногда кашель раздавался прямо у нас за спиной – футах в пятнадцати в тумане, – и я вскидывал дробовик, а лейтенант Гор взводил курок пистолета, и мы стояли и ждали, затаив дыхание, но, когда туман рассеивался, мы видели на добрую сотню футов назад, и там никого не было.

– По-видимому, какой-то акустический феномен, – предположил сэр Джон.

– Так точно, сэр, – согласился Бест, судя по тону не понявший замечания сэра Джона.

– Возможно, звуки издавал припайный лед, – пояснил сэр Джон. – Или ветер.

– О, так точно, так точно, сэр Джон, – сказал Бест. – Только ветра тогда не было. Но вот лед... может статься, звуки действительно издавал он, милорд. Такое всегда может быть. – Своим тоном он дал понять, что такого быть не могло.

Сопя, словно от раздражения, сэр Джон сказал:

– В самом начале вы сказали, что лейтенант Гор погиб... был убит... когда вы присоединились к шестерым людям на льду. Пожалуйста, перейдите этой части вашего повествования.

– Слушаюсь, сэр. В общем, было, наверное, около полуночи, когда мы достигли самой южной точки нашего маршрута. Солнце скрылось, но небо светилось золотистым светом... ну, вы знаете, как здесь обычно бывает около полуночи, сэр Джон. Туман ненадолго рассеялся настолько, что, когда мы взобрались на небольшой каменистый холмик – то есть не

холмик, а намывную косу, возвышавшуюся футов, наверное, на пятнадцать над плоским берегом, усыпанным мерзлой галькой, – мы увидели, что дальше к югу береговая линия изгибается и уходит к подернутому туманом горизонту, где смутно виднеются скопления айсбергов, прибитых к берегу. Никаких разводий. Сплошной лед, насколько хватает глаз. В общем, мы повернули и двинулись назад. У нас не было с собой ни палатки, ни спальных мешков – только замерзшая свинина, чтоб пожевать. Я сломал о нее здоровый зуб. Мы оба страшно хотели пить, сэр Джон. У нас не было спиртовки, чтоб растопить снег или лед, и мы взяли в дорогу лишь самую малость воды во фляге, которую лейтенант Гор держал за пазухой, поближе к телу... В общем, мы шли всю ночь – час или два сумерек, которые здесь считаются ночью, а потом еще не один час, – и я с полдюжины раз засыпал прямо на ходу и ходил бы кругами, пока не упал, но лейтенант Гор то и дело хватал меня за руку, встряхивал и вел в верном направлении. Мы прошли мимо новой каменной пирамиды, пересекли залив и примерно к шести склянкам, когда солнце опять стояло высоко в небе, достигли места неподалеку от первой пирамиды, где стояли лагерем прошлой ночью. В смысле, пирамиды сэра Джеймса Росса – и на самом деле не прошлой ночью, а позапрошлой, во время первой грозы, – и мы потащились дальше, по санному следу, к прибрежным айсбергам, а потом на морской лед.

– Вы сказали «во время первой грозы», – перебил Беста Крозье. – Что, были еще? У нас здесь прошло несколько, но самые страшные, похоже, бушевали на юге.

– О да, сэр, – сказал Бест. – Каждые несколько часов, несмотря на густой туман, снова начинал греметь гром, а потом волосы у нас вставали дыбом, и все металлическое – пряжки ремней, дробовик, пистолет лейтенанта Гора – начинало светиться голубым светом, и тогда мы находили место, где распластаться на гальке, и лежали там, пытаясь слиться с землей, пока мир вокруг нас сверкал и грохотал, точно пушечная канонада при Трафальгаре, сэр.

– Вы участвовали в Трафальгарском сражении, матрос Бест? – холодно осведомился сэр Джон.

Бест растерянно моргнул:

– Нет, сэр. Конечно нет, сэр. Мне только двадцать пять лет, милорд.

– А я участвовал, матрос Бест, – сухо сказал сэр Джон. – В качестве офицера войск связи на британском военном корабле «Беллерофон», где тридцать три из сорока офицеров были убиты во время одного только этого боя. Пожалуйста, в дальнейшем воздержитесь от употребления метафор или аналогий, неизвестных вам по личному опыту.

– Слушаюсь, сэр, – пролепетал Бест, теперь пошатываясь не только от усталости и горя, но еще и от ужаса, что допустил такую бестактность. – Я прошу прощения, сэр Джон. Я не хотел... я имею в виду... мне не следовало... то есть...

– Продолжайте ваш рассказ, матрос, – сказал сэр Джон. – Но поведайте нам о последних часах жизни лейтенанта Гора.

– Слушаюсь, сэр. Ну... я бы не смог перебраться через гряды айсбергов, если бы лейтенант Гор не помогал мне – благослови его, Господь, – но в конце концов мы перебрались и вышли на лед, откуда оставалась миля или две до лагеря, где мистер Дево и остальные ждали нас, но потом мы заблудились.

– Как вы могли заблудиться, – спросил командор Фицджереймс, – если вы шли по санному следу?

– Я не знаю, сэр, – сказал Бест бесцветным от горя и усталости голосом. – Был туман. Очень густой туман. Большую часть времени видимость не превышала десяти футов в любом направлении. От солнца все вокруг словно светило и казалось плоским. Мне кажется, мы перебирались через одну и ту же торосную гряду три или четыре раза и после каждого раза все больше теряли ориентацию. А дальше на море были широкие участки голого льда, где снег смело ветром и сани не оставили следа. Но на самом деле, сэр, я думаю, мы с лейтенантом Гором спали на ходу и просто потеряли след, сами того не заметив.

– Хорошо, – сказал сэр Джон. – Продолжайте.

– Ну, потом мы слышали выстрелы... – начал Бест.

– Выстрелы? – переспросил командор Фицджереймс.

– Так точно, сэр. И мушкета, и дробовика. В таком тумане, да когда звук отражался от айсбергов и ледяных гряд вокруг, казалось, будто выстрелы доносятся сразу со всех сторон одновременно, но они раздались близко. Мы принялись кричать в туман и довольно скоро слышали ответные крики мистера Дево, а через полчаса – когда туман немного рассеялся – мы наткнулись на стоянку. Ребята залатали палатку за тридцать шесть часов нашего отсутствия – более или менее залатали, – и она стояла подле саней.

– Они стреляли, чтобы подать вам сигнал? – спросил Крозье.

– Нет, сэр, – ответил Бест. – Они стреляли в медведей. И в старого эскимоса.

– Объясните, – велел сэр Джон.

Чарльз Бест облизал обветренные растрескавшиеся губы.

– Мистер Дево сможет объяснить лучше меня, сэр, но суть дела

такова: когда днем раньше они вернулись обратно к складу на море, они обнаружили, что все банки с продуктами измяты, продырявлены, разбросаны и испорчены – медведями, по всей видимости, – поэтому мистер Дево и доктор Гудсир решили завалить нескольких белых медведей, которые продолжали бродить вокруг лагеря. Они подстрелили самку и двух медвежат перед самым нашим появлением и принялись свежевать туши. Но затем они слышали звуки движения поблизости – то самое покашливание и шумное дыхание в тумане, которое я описывал, сэр, – а в следующую минуту два эскимоса – старик и женщина – вышли из-за торосной гряды в тумане, в своих белых мехах, и рядовой Пилкингтон пальнул из мушкета, а Бобби Терьер пальнул из дробовика. Терьер промахнулся, но Пилкингтон всадил пулю в грудь мужчине. Когда мы с лейтенантом добрались до них, они уже притащили раненого эскимоса и куски медвежатины обратно в лагерь, оставив на льду кровавые полосы, сэр, по которым мы и шли последние ярдов сто, и доктор Гудсир пытался спасти жизнь старому эскимосу.

– Зачем? – осведомился сэр Джон.

На этот вопрос Бест не знал ответа. Все остальные хранили молчание.

– Хорошо, – наконец сказал сэр Джон. – Через сколько времени после вашего воссоединения со вторым помощником Дево и прочими в лагере произошло нападение на лейтенанта Гора?

– Не более чем через тридцать минут, сэр Джон. Может, раньше.

– И что спровоцировало нападение?

– Спровоцировало? – повторил Бест. Взгляд у него казался рассеянным. – Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям?

– Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, матрос Бест? – сказал сэр Джон.

Бест потер лоб, открыл рот, но прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил:

– Да ничего не спровоцировало. Я разговаривал с Томми Хартнеллом – он лежал в палатке, с перевязанной головой, но снова в сознании, и ничего не помнил с момента начала первой грозы; мистер Дево присматривал за Морфином и Терьером, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину; доктор Гудсир снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика; женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим, но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился; а рядовой Пилкингтон стоял на часах с мушкетом, когда лейтенант Гор вдруг закричал: «Тише все! Тише!» – и мы все разом

умолкли и застыли на месте. В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках – мы собирались сострять подобие рагу с медвежатиной, полагаю, – а потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки, и...

Бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение, рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, вставшую у него перед мысленным взором.

– Дальше, – велел сэр Джон.

Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука.

– Продолжайте, матрос, – сказал капитан Крозье более мягким голосом.

Бест повернул голову в сторону Крозье, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль.

– Потом... – начал Бест. – Потом... лед вдруг поднялся, капитан. Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора.

– О чем вы говорите? – раздраженно спросил сэр Джон после следующей минутной паузы. – Лед не может просто взять и подняться. Что вы видели?

Бест не повернул головы в сторону сэра Джона:

– Лед просто поднялся. Наподобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считанные секунды. Только это была не гряда... не лед... что-то просто поднялось и приняло... форму. Белая призрачная фигура. Помню, я увидел... когти. Лап не видел – во всяком случае, поначалу, – но вот когти видел. Огромные. И зубы. Я помню зубы.

– Медведь, – сказал сэр Джон. – Арктический белый медведь.

Бест лишь помотал головой:

– Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором... вокруг лейтенанта Гора. Оно было... страшно высокое. В два с лишним раза выше лейтенанта Гора, а вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере двенадцать футов ростом... думаю, даже выше... и огромное. Невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо... окружило его... и мы видели только голову и плечи лейтенанта да башмаки, а потом пистолет выстрелил – он не целился, думаю, пуля ушла в лед, – а в следующий миг мы все заорали дурными голосами, и Морфин бросился к дробовику, а рядовой Пилкингтон сорвался с места и побежал, на ходу целясь из мушкета, но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое

целое, а потом... мы услышали хруст и треск.

– Медведь рвал зубами лейтенанта? – спросил командор Фицджереймс.

Бест моргнул и посмотрел на румяного молодого человека:

– Рвал зубами? Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы... как таковой. Просто два черных пятна, парящие на высоте двенадцати-тринадцати футов в воздухе... черные, но с красным отблеском, как глаза бегущего на вас волка, в которых отражается солнце. Хрустели и трескали кости грудной клетки, рук и ног лейтенанта Гора.

– Лейтенант Гор кричал? – спросил сэр Джон.

– Нет, сэр. Он не издал ни звука.

– Морфин и Пилкингтон выстрелили? – спросил Крозье.

– Нет, сэр.

– Почему?

Бест, странное дело, улыбнулся:

– Да стрелять было не во что, капитан. Секунду назад существо появилось – выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке, – а в следующий миг оно исчезло.

– Что значит «исчезло»? – осведомился сэр Джон. – Неужели Морфин и рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман?

– Отступило? – повторил Бест, еще шире улыбаясь своей неуместной, жуткой улыбкой. – Существо никуда не отступало. Оно просто ушло обратно в лед – как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками, – а когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мертв. Рот широко раскрыт. Даже крикнуть не успел. Тут туман рассеялся. Во льду не было никаких провалов. Никаких трещин. Ни даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Гор лежал там с переломанными костями – грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны, из ушей, глаз и рта сочится кровь. Доктор Гудсир растолкал нас в стороны, но он ничего не мог сделать – Гор был мертв и уже начинал остывать, становясь холодным, как лед под ним.

Растрескавшиеся кровоточающие губы мужчины затряслись, но все еще оставались растянутыми в безумном, раздражающем оскале, а глаза приобрели еще более бессмысленное выражение.

– А что... – начал сэр Джон, но осекся, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.

*70°05' северной широты, 98°23' западной долготы
Июнь 1847 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

4 июня 1847 г.

Когда мы со Стенли раздели раненого эскимоса донага, я вспомнил, что на груди он носит амулет из плоского гладкого камня размером меньше моего кулака, в форме белого медведя, – похоже, камень не подвергался обработке, но в природном своем состоянии имел очертания, в точности повторяющие линии длинной шеи, маленькой головы и сильных ног зверя, словно устремленного вперед. Я видел амулет, когда обследовал рану старика на льду, но тогда не обратил на него внимания.

Пуля, выпущенная из мушкета рядового Пилкингтона, вошла аборигену в грудь дюймом ниже амулета, пробила мышечную ткань между третьим и четвертым ребром, слегка изменила траекторию движения, зацепившись за верхнее из двух ребер, пробила левое легкое и застряла в позвоночнике, повредив многочисленные нервные волокна там.

Я никак не мог спасти раненого – еще в ходе первого обследования я понял, что любая попытка извлечь мушкетную пулю вызовет мгновенную смерть, а остановить внутреннее кровотечение из легкого невозможно, – но я сделал все от меня зависящее, приказав отнести эскимоса в ту часть лазарета, где мы с врачом Стенли устроили операционную. Вчера, после моего возвращения на корабль, мы со Стенли с полчаса ковырялись в ране самыми жестокими нашими инструментами и энергично резали, пока не установили местоположение пули в позвоночнике и не подтвердили наш прогноз о неминуемой смерти.

Но необычайно высокий, крепко сложенный седоволосый дикарь еще не согласился с нашим прогнозом. Он продолжал жить. Он продолжал с трудом дышать разорванным, кровоточащим легким, то и дело харкая кровью. Он продолжал пристально смотреть на нас своими неестественно светлыми – для эскимоса – глазами, следя за каждым нашим движением.

Прибыл доктор Макдональд с «Террора» и по предложению Стенли отвел для обследования второго эскимоса – девушку – в заднюю часть лазарета, отгороженную от нас одеялом, служащим занавеской. Полагаю, врач Стенли хотел не столько подвергнуть девушку осмотру, сколько убрать ее из лазарета на время, пока мы копаемся в ране ее отца или мужа... хотя как самого пациента, так и девушку, похоже, нисколько не пугали ни кровь, ни рана, при виде которой любая лондонская леди, да и немало начинающих врачей упали бы в обморок.

И к слову об обмороках. Мы со Стенли только-только закончили обследовать умирающего эскимоса, когда в лазарет вошел капитан сэр Джон Франклин с двумя матросами, волочившими под руки Чарльза Беста, который, сообщили они, лишился чувств в каюте сэра Джона. Мы велели матросам положить Беста на ближайшую койку, и мне хватило минутного поверхностного осмотра, чтобы перечислить причины наступившего обморока: крайнее изнеможение, в котором находились все участники разведывательного отряда лейтенанта Гора после восьми с лишним дней непрерывного напряжения сил; голод (последние двое суток на льду мы практически ничего не ели помимо сырой медвежатины); обезвоживание организма (мы не могли себе позволить тратить время, чтобы останавливаться и растапливать снег на спиртовках, и потому приняли неудачное решение жевать снег и лед, что ведет скорее к понижению, нежели к повышению содержания воды в организме); и причина, в высшей степени очевидная для меня, но, как ни странно, не принятая во внимание офицерами, допрашивавшими Беста, – бедняга стоял и докладывал капитанам, по-прежнему находясь в семи или восьми шерстяных фуфайках и свитерах, и лишь спустя какое-то время получил разрешение снять окровавленную шинель. После восьми дней на льду при средней температуре воздуха около ноля тепло на жилой палубе показалось мне чрезмерным, и я стащил с себя все свитера, кроме двух, едва только добрался до лазарета. Для Беста оно оказалось невыносимым.

Выслушав мои заверения в том, что Бест оправится – доза нюхательной соли уже почти привела беднягу в чувство, – сэр Джон с видимым отвращением взглянул на нашего пациента-эскимоса, теперь лежавшего ничком, поскольку мы со Стенли обследовали спину раненого в поисках пули, и осведомился:

– Он будет жить?

– Недолго, сэр Джон, – ответил Стивен Сэмюел Стенли.

Я опешил от таких слов, произнесенных в присутствии пациента, – при умирающих мы, доктора, обычно сообщаем друг другу наши прогнозы

на латыни и бесстрастным голосом, – но сразу же сообразил, что эскимос едва ли понимает по-английски.

– Переверните его на спину, – приказал сэр Джон.

Мы осторожно сделали это, и, хотя наш седоволосый пациент, остававшийся в сознании все время, пока мы обследовали рану, наверняка по-прежнему испытывал мучительную, нестерпимую боль, он не издал ни звука. Его взгляд был прикован к лицу начальника экспедиции.

Сэр Джон склонился над ним и, с расстановкой произнося слова – словно он обращался к глухому ребенку или идиоту, – прокричал:

– Кто... ты... такой?

Эскимос пристально смотрел на сэра Джона.

– Как... твоё... имя? – проорал сэр Джон. – Из какого... ты... племени?

Умиравший не ответил.

Сэр Джон потряс головой и поморщился от отвращения – хотя было ли оно вызвано зияющей раной на груди эскимоса или упрямым молчанием аборигена, я не знаю.

– Где другой абориген? – спросил сэр Джон у Стенли.

Старший врач, обеими руками зажимавший рану и накладывавший на нее окровавленные повязки в надежде хотя бы замедлить, если не остановить, пульсирующее истечение крови из легкого простым давлением на грудную клетку, кивнул в сторону занавески, отгораживавшей закуток в задней части лазарета:

– С ней доктор Макдональд, сэр Джон.

Сэр Джон бесцеремонно зашел за занавеску, я услышал оторопелый возглас, несколько бессвязных слов, а потом наш начальник экспедиции, пятясь, вышел обратно с таким ярко-красным лицом, что я испугался, как бы нашего шестидесятидвухлетнего командира не хватил удар.

Потом красное лицо сэра Джона побелело от потрясения.

Я запоздало сообразил, что молодая женщина, вероятно, обнажена. Несколько минутами ранее я заглянул за чуть отодвинутую занавеску и заметил, что, когда Макдональд знаком велел ей снять верхнюю одежду – парку из медвежьей шкуры, – девушка кивнула, скинула тяжелую шубу и под ней оказалась голая по пояс. Я занимался раненым на операционном столе, но машинально отметил про себя, что такой способ сохранять телесное тепло под широким меховым одеянием весьма разумен и гораздо эффективнее, чем многочисленные шерстяные поддевки, которые носили все участники разведывательного отряда бедного лейтенанта Гора. Нагое тело под звериной шкурой само согревается, когда холодно, и само

охлаждается до нормы в случае необходимости – например, при напряжении сил, – поскольку пот быстро испаряется с кожи, поглощаясь волосками волчьей шкуры или медвежьего меха. Шерстяные свитера, которые носили мы, англичане, почти мгновенно промокали от пота насквозь, никогда толком не высыхали, быстро остывали, когда мы прекращали шагать или тянуть сани, и в значительной мере утрачивали свои теплоизоляционные качества – ко времени нашего возвращения на корабль мы, несомненно, тащили на своих плечах вес, почти вдвое превосходящий исходный.

– Я вернусь в более удобное время, – заикаясь пробормотал сэр Джон и прошел мимо нас, по-прежнему пятась.

Увидел ли он в закутке за занавеской первозданную наготу молодой женщины или что другое, но выглядел капитан сэр Джон Франклин ошеломленным. Он покинул операционную, не промолвив более ни слова.

В следующий миг Макдональд попросил меня подойти. Девушка – то есть молодая женщина (я уже заметил, что особи женского пола в дикарских племенах достигают половой зрелости гораздо раньше, чем юные леди в цивилизованных обществах) – успела надеть свою широкую парку и штаны из тюленьей шкуры. Сам доктор Макдональд казался возбужденным, почти расстроенным, и, когда я осведомился, в чем дело, он знаком велел эскимоске открыть рот. Потом он поднял фонарь и выпуклое зеркальце, чтобы сфокусировать лучи света, и я увидел все своими глазами.

Язык у нее был ампутирован у корня. Оставшийся обрубок, как я увидел (и Макдональд согласился со мной), более или менее позволял девушке глотать и жевать почти всякую пищу, но, безусловно, внятное произнесение сложных звуков, если можно назвать эскимосский язык сложным в том или ином отношении, здесь абсолютно исключалось. Шрамы были старыми. Это случилось давно.

Признаюсь, я отшатнулся в ужасе. Кто мог сотворить такое с малым ребенком – и зачем? Однако, когда я употребил слово «ампутация», доктор Макдональд тихо поправил меня.

– Взгляните еще раз, доктор Гудсир, – прошептал он. – Это не аккуратная хирургическая ампутация, даже произведенная столь примитивным инструментом, как каменный нож. Язык у бедной девочки был откушен в раннем детстве – причем так близко к корню, что она никак не могла сделать это сама.

Я отступил на шаг от женщины.

– У нее есть еще какие-нибудь увечья? – спросил я, по старой привычке переходя на латынь.

Я читал о варварских обычаях, принятых на Черном континенте и у магометан, где женщины подвергаются жестокому обрезанию, пародирующему иудейский обряд.

– Нет, больше никаких, – ответил Макдональд.

По крайней мере теперь я понял причину внезапной бледности и явно шокового состояния сэра Джона, но, когда я спросил Макдональда, поделился ли он с нашим командиром данной информацией, врач ответил отрицательно. Сэр Джон просто вошел в закуток, увидел эскимосскую девушку без одежды и моментально удалился в некотором возбуждении. Затем Макдональд принялся сообщать мне о результатах своего беглого осмотра нашей пленницы, или гостьи, но нас прервал врач Стенли.

В первый момент я решил, что эскимос умер, но оказалось, дело в другом. Явился матрос, вызывающий меня явиться к сэру Джону и другим капитанам для доклада.

Я понял, что сэр Джон, командор Фицджереймс и капитан Крозье остались разочарованными моим докладом об известных мне обстоятельствах смерти лейтенанта Гора, но, хотя в любое другое время это расстроило бы меня, сегодня – вероятно, в силу моей смертельной усталости и психологических перемен, произошедших со мной за время похода отряда лейтенанта Гора, – разочарование моих начальников никак на меня не подействовало.

Сначала я снова доложил о состоянии умирающего эскимоса и сообщил о загадочном факте отсутствия языка у девушки. Трое капитанов обменялись между собой приглушенными репликами по данному поводу, но вопросы последовали от одного только капитана Крозье:

– Вы знаете, зачем такое могли сделать с ней, доктор Гудсир?

– Не имею понятия, сэр.

– Возможно ли, что это сделал какой-то зверь? – упорствовал он.

Я немного помолчал. Такая мысль не приходила мне в голову.

– Возможно, – наконец ответил я, хотя с трудом мог представить некое арктическое плотоядное животное, которое откусывает ребенку язык, однако оставляет его в живых. С другой стороны, хорошо известно, что эскимосы имеют обыкновение жить совместно с дикими псами. Я сам видел это в заливе Диско.

Больше никаких вопросов касательно эскимосов не последовало.

Затем они попросили со всеми подробностями рассказать о смерти лейтенанта Гора и описать существо, его убившее, и я сказал правду: что я пытался спасти жизнь эскимосу, раненному рядовым Пилкингтоном, и

поднял глаза лишь в последнюю секунду, непосредственно в момент смерти Грэма Гора. Я объяснил, что, поскольку в воздухе колыхалась туманная пелена с разрывами, поскольку меня повергли в смятение крики, грохот мушкета, выстрел из пистолета лейтенанта, быстрое беспорядочное движение людей и пятен света, а также поскольку мое поле зрения ограничивали сани, возле которых я стоял на коленях, я ничего не разглядел толком: видел только огромную белую фигуру, обхватывающую злополучного лейтенанта, пламя из пистолета, вспышки других выстрелов – а потом все вокруг снова застило туманом.

– Но вы уверены, что это был белый медведь? – спросил командор Фицджереймс.

После минутного колебания я сказал:

– Если это был медведь, то необычайно крупный представитель вида *ursus maritimus*. У меня осталось впечатление медведеподобного плотоядного – громадное туловище, гигантские передние лапы, маленькая голова и обсидиановые глаза, – но на самом деле я видел все не так отчетливо, как можно предположить по моему описанию. Главным образом я помню, что существо возникло словно из пустоты – просто поднялось из льда, обхватывая человека, – и что ростом оно вдвое превосходило лейтенанта Гора. От этого зрелища сердце уходило в пятки.

– Нисколько не сомневаюсь, – сухо, почти саркастично промолвил сэр Джон. – Но что еще это могло быть, мистер Гудсир, если не медведь?

Я не в первый раз заметил, что сэр Джон никогда не удостаивает меня моим законным званием доктора. В разговоре со мной он неизменно использовал обращение «мистер», какое мог бы употреблять по отношению к любому старшине или неопытному младшему офицеру. Мне понадобилось два года, чтобы понять: стареющий начальник экспедиции, которого я глубоко уважаю, не питает ни малой толики ответного уважения к простым корабельным фельдшерам.

– Я не знаю, сэр Джон, – сказал я.

Я хотел вернуться обратно к своему пациенту.

– Насколько я понимаю, вы проявляли интерес к белым медведям, мистер Гудсир, – продолжал сэр Джон. – Почему?

– Я выучился на анатома, сэр Джон. И до отплытия экспедиции я мечтал стать натуралистом.

– Больше не мечтаете? – спросил капитан Крозье со своим легким ирландским акцентом.

Я пожал плечами:

– Я понял, что сбор фактического материала на местах – не мое

призвание, капитан.

– Однако вы проводили вскрытие белых медведей, которых мы убивали здесь и у острова Бичи, – упорствовал сэр Джон. – Изучали строение скелета и мускулатуры животных. Наблюдали за их поведением на льду, как и все мы.

– Да, сэр Джон.

– Как по-вашему, травмы лейтенанта Гора соответствуют телесным повреждениям, какие мог бы причинить подобный зверь?

Я колебался лишь долю секунды. Я обследовал тело несчастного лейтенанта Гора, прежде чем мы погрузили его в сани перед кошмарным походом обратно через паковый лед.

– Да, сэр Джон, – сказал я. – Белый полярный медведь, обитающий в данном регионе, насколько нам известно, является самым крупным хищником из всех на планете. Он может весить в полтора раза больше и в стойке на задних лапах быть на три фута выше, чем гризли – самый крупный и свирепый медведь Северной Америки. Сей хищный зверь обладает великой силой и вполне способен раздробить грудную клетку и сломать позвоночник человека, как в случае с бедным лейтенантом Гором. Вдобавок ко всему прочему, арктический белый медведь является единственным хищником, имеющим обыкновение охотиться на человека.

Командор Фицджереймс прочистил горло.

– Послушайте, доктор Гудсир, – негромко промолвил он, – однажды в Индии я видел довольно свирепого тигра, который – согласно показаниям деревенских жителей – сожрал двенадцать человек.

Я кивнул, в ту же секунду осознав, сколь страшная усталость владеет мной. Изнеможение действовало на меня как изрядная доза крепкого спиртного.

– Сэр... командор... джентльмены... в своих путешествиях по миру все вы повидали гораздо больше, чем я. Однако, насколько я понял из массы проштудированных мной материалов по данной теме, все прочие сухопутные плотоядные животные – волки, львы, тигры, другие виды медведей – убивают человеческих существ только в самом крайнем случае, когда доведены до бешенства, а некоторые из них – такие как ваш тигр, командор Фицджереймс, – становятся людоедами вынужденно, в силу болезни или увечья, не позволяющего им охотиться на обычную свою добычу, но один только арктический белый медведь – *ursus maritimus* – имеет обыкновение целенаправленно выслеживать и убивать людей.

Крозье кивал:

– Откуда вы узнали все это, доктор Гудсир? Из ваших книг?

– В известной мере – да, сэр. Но почти все время нашей стоянки в заливе Диско я посвятил разговорам с местными жителями на предмет поведения белых медведей, а также подробно расспрашивал капитана Мартина с «Энтерпрайза» и капитана Дэннерта с «Принца Уэльского», когда мы стояли на якоре рядом с ними в Баффиновом заливе. Два вышеназванных джентльмена ответили на все мои вопросы, касающиеся белых медведей, и свели меня с несколькими своими матросами, включая двух пожилых китобоев-американцев, каждый из которых провел во льдах дюжину с лишним лет. Они рассказали множество занимательных историй про белых медведей, которые охотились на местных эскимосов и даже утаскивали людей с кораблей, затертых льдами. Один старик – кажется, его звали Коннорс – сказал, что их судовая команда в двадцать восьмом году не потеряла никого, кроме двух коков, ставших жертвами медведя, – причем одного из них зверь утащил прямо с жилой палубы, где тот хлопотал у плиты, пока все остальные спали.

Здесь капитан Крозье улыбнулся:

– Вероятно, нам не стоит принимать на веру каждую историю, поведенную старым моряком, доктор Гудсир.

– Да, сэр. Разумеется, не стоит, сэр.

– Ладно, на этом закончим, мистер Гудсир, – сказал сэр Джон. – Мы вызовем вас снова, коли у нас возникнут еще какие-либо вопросы.

– Да, сэр, – сказал я и устало повернулся, чтобы направиться обратно в лазарет.

– О доктор Гудсир, – окликнул меня командор Фицджереймс, едва я успел переступить порог каюты сэра Джона. – У меня есть один вопрос, хотя мне чертовски стыдно, что я не знаю ответа на него. Почему белого медведя называют *ursus maritimus*? Надеюсь, не потому, что он так любит пожирать моряков?

– Нет, сэр, – сказал я. – Полагаю, такое имя даровано арктическому медведю, поскольку он является скорее морским млекопитающим, нежели сухопутным животным. Я читал сообщения об арктических белых медведях, замеченных в сотнях миль от побережья, в открытом море; а капитан Мартин с «Энтерпрайза» говорил мне, что белый медведь на суше или на льду нападает на жертву стремительно, развивая скорость до двадцати пяти миль в час и выше, что на море он является одним из сильнейших пловцов, способным проплыть шестьдесят-семьдесят миль без передышки. Капитан Дэннерт рассказывал, что однажды его корабль шел по ветру со скоростью восемь узлов, далеко от суши, и два белых медведя плыли рядом с кораблем около десяти морских миль, а потом просто

перегнали его и поплыли к отдаленному ледяному полю со скоростью и легкостью белухи. Отсюда и название – *ursus maritimus*... млекопитающее, да, но обитающее в основном на море.

– Благодарю вас, мистер Гудсир, – сказал сэр Джон.

– Не стоит благодарности, сэр, – сказал я и удалился.

4 июня 1847 г. (продолжение)

Эскимос умер через несколько минут после полуночи. Однако перед смертью он заговорил.

Я тогда спал, прислонившись спиной к переборке лазарета, но Стенли разбудил меня.

Седоволосый старик, лежавший на операционном столе, подергивался всем телом, судорожно водил руками перед собой, словно пытаюсь всплыть в воздух. Кровотечение из пробитого легкого усилилось, и кровь текла изо рта по подбородку и на перевязанную грудь.

Когда я прибавил света в фонаре, эскимосская девушка вышла из угла, где она спала, и мы трое склонились над умирающим.

Старый эскимос согнул крючком палец и ткнул себя в грудь, рядом с пулевым отверстием. После каждого судорожного вдоха он отхаркивал ярко-красной артериальной кровью, но с трудом прохрипел какие-то слова. Я взял кусок мела и записал их на дощечке, которой мы со Стенли пользуемся для общения, когда пациенты спят.

«Ангкут тукурук! Куарубвитчук... ангаткут туркук... панига... туунбак! Таник... налуабмиу тукутауксирук... умиакпак тукутайясирук... нанук тукуткаа! Панига... тунбак нанук... ангаткут кукурук!»

Затем кровотечение усилилось до такой степени, что он больше не мог говорить. Кровь забила у него изо рта фонтаном, он стал захлебываться – хотя мы со Стенли приподняли и посадили его, пытаюсь поспособствовать очищению дыхательных путей, – и под конец вбирал в легкие одну только кровь. Через несколько секунд ужасных мучений грудь у него перестала вздыматься, он повалился назад к нам на руки, и глаза его остекленели. Мы со Стенли опустили старика на стол.

– Осторожнее! – выкрикнул Стенли.

В первый момент я не понял предостережения коллеги – старик был мертв и недвижим, я не находил ни пульса, ни дыхания, склонившись над ним, – но потом обернулся и увидел эскимоску.

Она схватила один из окровавленных скальпелей с нашего стола для инструментов и приближалась к нам, поднимая оружие. Я сразу понял, что она не обращает на меня внимания, – ее пристальный взгляд был прикован к мертвому лицу и груди мужчины, вероятно приходившегося ей отцом или

братом. За те несколько секунд перед умственным взором у меня, ничего не знающего об обычаях ее языческого племени, пронеслись тысячи самых диких образов: девушка вырезает сердце старика и, возможно, съедает оное во исполнение некоего ужасного ритуала; или извлекает глазные яблоки из глазниц мертвеца; или просто отсекает один из пальцев; или, возможно, добавляет новые шрамы к старым, сплошь покрывавшим тело мужчины подобием распространенных у моряков татуировок.

Она не сделала ничего подобного. Прежде чем Стенли успел схватить ее за руку и пока я, не придумав ничего лучшего, наклонялся над столом в попытке загородить мертвеца своим телом, эскимосская девушка с ловкостью хирурга взмахнула скальпелем (очевидно, она всю жизнь пользовалась острыми как бритва ножами) и перерезала сыромятный ремешок, на котором висел амулет старика.

Подхватив плоский белый, испачканный кровью камень в форме медведя, она спрятала его к себе под парку и положила скальпель обратно на место.

Мы со Стенли ошеломленно переглянулись. Затем старший судовой врач «Эребуса» разбудил молодого матроса, состоявшего подручным при лазарете, и отправил его доложить вахтенному офицеру, а стало быть, и капитану, что старый эскимос умер.

4 июня (продолжение)

Мы похоронили эскимоса около половины второго пополудни – когда пробили три склянки, – затолкав завернутое в парусину тело в узкую пожарную прорубь всего в двадцати ярдах от корабля. Эта пожарная прорубь, дававшая доступ к воде в пятнадцати футах под поверхностью льда, являлась единственной, которую удавалось предохранять от замерзания этим холодным летом, – больше всего на свете моряки боятся пожара, – и сэр Джон распорядился отправить тело туда. Пока мы со Стенли с помощью багров проталкивали тело вниз по узкому воронкообразному ледяному тоннелю, мы слышали стук ледорубов и редкие проклятия, раздававшиеся в нескольких сотнях ярдов к востоку от нас, где команда из двадцати матросов трудилась всю ночь, вырубая более пристойное отверстие во льду для погребения лейтенанта Гора, которое должно состояться завтра – вернее, уже сегодня.

Среди ночи здесь было достаточно светло, чтобы прочитать стих из Библии (если бы кто-нибудь принес Библию, чтобы прочитать из нее стих, чего никто не сделал), и тусклый свет облегчал задачу нам – двум врачам и двум матросам, отряженным пособить нам, – пока мы проталкивали, пропихивали и под конец заколачивали тело эскимоса все глубже и глубже

в голубой лед, под которым текла черная вода.

Эскимоска безмолвно наблюдала за происходящим, с по-прежнему бесстрастным выражением лица. Дул северо-западный ветер, и ее черные волосы развевались над испачканным капюшоном парки и метались по лицу, точно взъерошенные перья ворона.

На похоронах присутствовали одни мы – судовой врач Стенли, два запыхавшихся, тихо чертыхающихся матроса, аборигенка и я, – пока из-за пелены снегопада не выступили капитан Крозье и высокий долговязый лейтенант, которые последнюю минуту-две наблюдали за нашими усилиями. Наконец тело эскимоса с нашей помощью преодолело последние пять футов ледяного тоннеля и исчезло в черном потоке в пятнадцати футах под поверхностью льда.

– Сэр Джон запретил пускать женщину на борт «Эребуса» на ночь, – негромко сказал капитан Крозье. – Мы пришли, чтобы забрать ее на «Террор». – Затем Крозье обратился к молодому лейтенанту, которого, теперь припоминаю, звали Ирвинг: – Джон, она переходит на ваше попечение. Найдите для нее спальное место подальше от мужчин – возможно, в форпике за лазаретом, среди ящиков, – и позаботьтесь о ее безопасности.

– Слушаюсь, сэр.

– Прошу прощения, капитан, – сказал я, – но почему бы не отпустить женщину к соплеменникам?

Крозье улыбнулся:

– В обычных обстоятельствах я бы согласился с таким образом действий, доктор. Но здесь в радиусе ста пятидесяти миль нет эскимосских поселений, ни одной самой крохотной деревушки. Эскимосы – кочевой народ, особенно так называемые северные горцы, – но что привело старика и молодую девушку так далеко на север летом, в паковые льды, где нет ни китов, ни моржей, ни тюленей, ни карибу, вообще никаких животных помимо белых медведей, вселяющих страх?

У меня не было ответа, но слова капитана едва ли имели отношение к моему вопросу.

– Вполне возможно, настанет такое время, – продолжал Крозье, – когда наша жизнь будет зависеть от того, удастся ли нам подружиться с местными эскимосами. Стоит ли нам отпускать женщину, не подружившись с ней?

– Мы убили ее мужа или отца, – заметил судовой врач Стенли, бросая взгляд на немую молодую женщину, которая по-прежнему смотрела в пустую теперь пожарную прорубь. – Наша леди Безмолвная едва ли питает

к нам самые теплые чувства.

– Вот именно, – сказал капитан Крозье. – И нам совершенно не нужно, чтобы вдобавок ко всем прочим нашим проблемам эта девушка вернулась к нашим кораблям с отрядом разъяренных эскимосов, исполненных решимости перебить нас во сне. Нет, я думаю, капитан сэр Джон прав... она должна оставаться с нами, пока мы не решим, что делать... не только с ней, но и с самими собой. – Крозье улыбнулся Стенли. За два года экспедиции, сколько я помню, я еще ни разу не видел, чтобы капитан Крозье улыбался. – Леди Безмолвная. Недурно, Стенли. Весьма недурно. Пойдемте, Джон. Пойдемте, миледи.

Они двинулись сквозь метель на запад, к первой торосной гряде. Я поднялся по откосу обратно на «Эребус», вернулся в свою крохотную каюту, теперь казавшуюся мне истинным раем, и заснул крепким сном – впервые с того времени, когда лейтенант Гор повел нас на юго-юго-восток десять с лишним дней назад.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

11 июня 1847 г.

Ко дню, когда ему суждено было умереть, сэр Джон почти оправился от потрясения, испытанного при виде голой эскимосской девки.

Это была та же самая женщина – та же молоденькая индейская шлюха, которую дьявол послал искушать его во время первой злополучной экспедиции в 1819 году, распутная пятнадцатилетняя сожительница Роберта Худа по имени Зеленый Чулок, – сэр Джон не сомневался в этом. У искусительницы были та же самая кофейного цвета кожа, даже в темноте будто светившаяся, те же высокие, округлые девичьи груди, те же коричневые кружки вокруг сосков и та же темная, похожая на воронье перо полоска на лобке.

Это был тот же самый суккуб.

Увидев голую женщину на столе доктора Макдональда в лазарете – на своем корабле, – капитан сэр Джон Франклин испытал страшное потрясение, но он был уверен, что успешно скрывал свою реакцию от врачей и других капитанов до конца того бесконечно долгого, тревожного и тягостного дня.

Похороны лейтенанта Гора состоялись в пятницу вечером, четвертого июня. Многочисленной команде матросов потребовалось более суток, чтобы пробиться сквозь лед к воде для проведения морского погребального обряда, и им пришлось использовать черный порох, чтобы взорвать верхние десять футов твердого, как камень, льда, а затем взяться за кирки и лопаты, чтобы расчистить широкую воронку от взрыва и прорубить последние пять футов. Когда они закончили работу около полудня, мистер Уикс, плотник с «Эребуса», и мистер Хани, плотник с «Террора», соорудили изящный помост над отверстием размером пять на десять футов, открывающим доступ в темные морские глубины. Рабочие бригады с длинными кирками, поставленные у воронки, следили за тем, чтобы прорубь не затягивалась льдом.

В сравнительно теплой жилой палубе тело лейтенанта Гора начало быстро разлагаться, поэтому плотники изготовили массивный гроб из красного дерева, в который вставили ящик из ароматного кедра.

Межстенное пространство заполнили свинцом, вместо традиционных двух пушечных ядер, какие кладутся в обычный парусиновый мешок для погребения, чтобы тело наверняка пошло ко дну. Кузнец мистер Смит выковал и покрыл гравировкой красивую мемориальную медную табличку, которую привинтили к крышке гроба красного дерева. Поскольку погребальный обряд представлял собой сплав сухопутного и более привычного морского похоронных ритуалов, сэр Джон особо оговорил, что гроб должен быть достаточно тяжелым, чтобы сразу пойти ко дну.

Когда пробили восемь склянок в начале первой собачьей вахты – в четыре часа пополудни, – две судовые команды собрались на месте погребения в четверти мили от «Эребуса». Сэр Джон приказал присутствовать на похоронах всем, оставив на кораблях лишь наименьшее допустимое количество вахтенных, и вдобавок запретил надевать что-либо поверх форменной одежды, таким образом к назначенному часу на льду собралось свыше сотни дрожащих, но одетых по всей форме офицеров и матросов.

Гроб лейтенанта Гора спустили с борта «Эребуса» и привязали к огромным саням, дополнительно укрепленным для сей печальной цели. Гроб был накрыт собственным флагом сэра Джона. Затем тридцать два матроса – двадцать с «Эребуса» и дюжина с «Террора» – медленно протащили сани с гробом четверть мили до места погребения, в то время как четверо самых молодых матросов, все еще числившиеся в списках личного состава юнгами, – Джордж Чемберс и Дэвид Янг с «Эребуса», Роберт Голдинг и Томас Эванс с «Террора» – размеренно били в барабаны, обернутые черной тканью. Торжественную процессию сопровождали двадцать человек, включая капитана сэра Джона Франклина, командора Фицджереймса, капитана Крозье и большинство остальных офицеров и старшин в полном обмундировании, помимо тех, кто остался командовать на обоих почти пустых кораблях.

На месте погребения салютная команда морских пехотинцев в красных мундирах стояла в ожидании по строевой стойке. Возглавляемая тридцатитрехлетним сержантом Дэвидом Брайантом с «Эребуса», она состояла из капрала Пирсона, рядового Хопкрафта, рядового Пилкингтона, рядового Хили и рядового Рида с «Эребуса» (из контингента морских пехотинцев с флагманского судна здесь отсутствовал лишь рядовой Брейн, умерший почти пятнадцать месяцев назад и похороненный на острове Бичи), а также сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли с «Террора». Рядовой Хизер формально по-прежнему оставался жив, но потерял часть мозга и уже не мог возвратиться

к исполнению своих обязанностей.

Треуголку и шпагу лейтенанта Гора нес шагавший за погребальными саниями лейтенант Левеконт, принявший на себя должностные обязанности покойного. Рядом с Левеконтом шел лейтенант Уолтер Фейрхольм, несший голубую бархатную подушечку, на которой лежали шесть медалей, заслуженные молодым Гором за годы службы в Военно-морском флоте Великобритании.

Когда похоронная процессия приблизилась к отверстию во льду, строй из двенадцати морских пехотинцев разомкнулся, морские пехотинцы встали в две шеренги, одна против другой, и застыли на месте, взяв оружие в положение прикладом вверх, пока процессия из тянущих сани матросов, погребальных саней, почетного караула и прочих скорбящих проходила между ними.

Пока сто десять человек шагали к своим местам среди скопления офицеров, собравшихся у воронки (некоторые поднялись на торосные гряды, чтобы лучше видеть), капитаны во главе с сэром Джоном взойшли на временный помост в восточной стороне воронки. Тридцать два матроса соединенными усилиями осторожно отвязали тяжелый гроб от саней и опустили на покатые доски настила, прямо над прямоугольником черной воды. Теперь гроб покоился не только на крайних досках помоста, но и на трех пропущенных под ним толстых тросах, которые держали с одной и другой стороны те же люди, что тянули сани.

Когда глухой барабанный бой прекратился, все обнажили голову. Студеный ветер трепал длинные волосы мужчин, по сему скорбному случаю вымытые, аккуратно зачесанные назад и перевязанные ленточками. День был прохладный – термометр показал около пяти градусов во время последнего измерения температуры воздуха, проводившегося в шесть склянок, – но арктическое небо, сверкающее мириадами ледяных кристаллов, казалось твердым куполом золотистого света. Словно в честь лейтенанта Гора к солнечному диску над южным горизонтом, затянутому прозрачной искристой пеленой, присоединились еще три светила – ложные солнца, плавающие сверху и по обеим сторонам от настоящего, – связанные между собой кольцом радужного света. Многие мужчины склонили голову, потрясенные уместностью такого зрелища.

Сэр Джон провел заупокойную службу, звучным голосом, явственно слышным всем ста десяти мужчинам, собравшимся вокруг. Ритуал был хорошо всем известен. Слова звучали утешительно и обнадеживающе. И пробуждали в душе знакомые чувства. К концу панихиды уже почти никто не обращал внимания на холодный ветер, разносивший над ледяным полем

знакомые фразы:

– И посему мы предаем тело его пучине, дабы оно обратилось в прах, и уповаем на воскресение тела в день, когда море отдаст своих мертвецов и новая жизнь мира приидет через Господа нашего Иисуса Христа, Который по пришествии Своем преобразит наше греховное тело, дабы оно уподобилось Его светоносному телу, могучей силой Своей, посредством коей Он подчиняет Своей воле все и вся.

– Аминь, – хором сказали все собравшиеся.

Одиннадцать морских пехотинцев салютной команды подняли мушкеты и дали три залпа, последний из которых состоял из трех выстрелов, а не из четырех, как два предыдущие.

Когда грохнул первый залп, лейтенант Левеконт кивнул, и Сэмюел Браун, Джон Уикс и Джеймс Ригден вытащили доски из-под тяжелого гроба, который теперь висел в воздухе на трех тросах. При втором залпе гроб опустили к самой черной воде. А при последнем залпе мужчины принялись медленно выпускать тросы, пока тяжелый гроб с медной табличкой – медали и шпага лейтенанта Гора теперь лежали на крышке красного дерева – не исчез под водой.

Ледяная вода слегка взбурлила, мужчины вытянули и отбросили в сторону тросы – и прямоугольник черной воды опустел. Ложные солнца и гало на юге исчезли, и теперь лишь сумрачное красное солнце пламенело под куполом небес.

Люди молча разошлись к своим кораблям. Прошло всего две склянки первой собачьей вахты. Для большинства настало время ужина и второй порции грога.

Утром следующего дня, субботы пятого июня, обе судовые команды забились в жилые палубы своих кораблей, когда разразилась очередная летняя гроза. Дозорные в «вороньих гнездах» получили приказ спускаться вниз, а немногочисленные вахтенные, дежурившие на палубе, старались держаться подальше от металлических деталей и мачт, в то время как молнии с треском вспарывали туман, оглушительно грохотал гром, мощные электрические заряды снова и снова били в громоотводы на мачтах и крышах палубных надстроек, и голубые пальцы огня святого Эльма ползли вдоль рангоутного дерева и проскальзывали сквозь такелажную сеть. Изможденные вахтенные, спускаясь в жилую палубу после смены, рассказывали своим ошеломленным товарищам о шаровых молниях, катающихся и прыгающих по льду. Позже днем – когда молнии и разряды атмосферного электричества засверкали еще чаще и неистовее – дозорные

собачьей вахты доложили о некоем крупном, слишком крупном для обычного белого медведя существе, которое бродило в тумане вдоль торосных гряд, то сокрытое от взора, то озаряемое на секунду-другую вспышками молний. Иногда, сказали они, фигура передвигается на четырех ногах, как медведь. Но порой, клялись они, она свободно ходит на двух ногах, как человек. Это существо, по словам вахтенных, кружило вокруг корабля.

Хотя барометр падал, к утру воскресенья прояснело, и температура воздуха упала на тридцать градусов – в полдень термометр показывал минус девять, – и сэр Джон оповестил обе команды, что сегодня присутствие на воскресном богослужении на «Эребусе» для всех обязательно.

Еженедельные воскресные богослужения проводились в обязательном порядке для матросов и офицеров флагманского корабля – в течение темных зимних месяцев сэр Джон собирал людей в жилой палубе, – но лишь самые набожные члены судовой команды «Террора» совершали переход по льду, чтобы на них присутствовать. Поскольку они предписывались как традицией, так и Уставом Военно-морского флота, капитан Крозье тоже проводил воскресные богослужения, но за отсутствием на борту капеллана довольствовался сокращенным вариантом – порой сводящимся единственно к чтению корабельного устава – и тратил на все про все двадцать минут против воодушевленных девяноста минут, а то и двух часов сэра Джона.

В это воскресенье выбора не было.

Во второй раз за последние три дня капитан Крозье повел по льду своих офицеров и матросов, на сей раз в зимних плащах и шерстяных шарфах поверх любой форменной одежды, и по прибытии на «Эребус» они с удивлением обнаружили, что сэр Джон собирается проводить богослужение на палубе и читать проповедь с капитанского мостика. Несмотря на бледно-голубое небо над головой – никакого золотистого купола из ледяных кристаллов или символических ложных солнц сегодня не наблюдалось, – ветер был очень холодный, и собравшиеся под шканцами матросы жались друг к другу в поисках хотя бы иллюзии тепла, в то время как офицеры с обеих кораблей стояли позади сэра Джона с наветренной стороны палубы, точно толпа облаченных в шинели псаломщиков.

Сэр Джон стоял у нактоуза, который был накрыт тем же самым флагом, что недавно накрывал гроб Гора, – дабы «служить кафедрой», согласно требованиям устава.

Проповедь продолжалась всего лишь около часа, и потому дело обошлось без отмороженных пальцев на руках и ногах.

Будучи по природе своей ветхозаветным человеком, сэр Джон вспомнил нескольких пророков и ненадолго остановился на суждении Исаии о земле: «Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодной; изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней», – и постепенно из потока слов даже самому недалекому матросу в толпе тепло закутанных людей на главной палубе стало ясно, что на самом деле командир говорит об их экспедиции, преследующей цель найти Северо-Западный морской проход, и о нынешнем их положении здесь, в ледяных пустынях, на 70°05' северной широты и 98°23' западной долготы.

– Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо ГОСПОДЬ изрек слово сие, – продолжал сэр Джон. – Ужас, яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, как пьяный...

И словно в подтверждение сего страшного пророчества, лед вокруг «Эребуса» громко затрещал и палуба сотряслась под ногами людей. Обледенелые мачты и реи над ними, казалось, задрожали, а потом покачнулись взад-вперед на фоне бледно-голубого неба. Никто не тронулся с места и не издал ни звука.

Сэр Джон перешел от Исаии к Апокалипсису и нарисовал еще более ужасные картины будущего, ожидающего тех, кто отпал от своего Господа.

– Но что станет с ним... с нами... кто не нарушил завета с нашим Господом? – спросил сэр Джон. – Я призываю вас вспомнить Иону.

Некоторые матросы вздохнули с облегчением. Иону они знали.

– Господь повелел Ионе идти в Ниневию и обличить злодеяния сего города! – вскричал сэр Джон, и его зачастую слабый голос теперь набрал силу и зазвучал не хуже, чем голос любого вдохновенного англиканского проповедника. – Но Иона – как все вы знаете, друзья, – Иона бежал от этого поручения и от лица Господня, и пришел в Иоппию, и сел на первый попавшийся отплывающий корабль, который, как оказалось, направлялся в Фарсис – город, тогда находившийся за пределами известного мира. По глупости своей Иона полагал, что сможет бежать за пределы Царства Божия. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Остальное вы знаете – вы знаете, как моряки возвысили голос, спрашивая, за кого постигла их такая беда, и бросили жребий, и пал жребий на Иону. И они спросили его: «Что

сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море – и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но поначалу моряки не бросили Иону за борт, верно, друзья мои? Нет, они были отважные люди и хорошие моряки, и они усиленно гребли, чтобы привести свой тонущий корабль к суше. Но в конце концов они выбились из сил и воззвали к Господу, а затем принесли Иону в жертву, бросив за борт. И в Библии говорится: «И подготовил Господь огромную рыбу, чтобы она проглотила Иону; и был Иона во чреве этой рыбы три дня и три ночи». Заметьте, друзья мои, в Библии не говорится, что Иону проглотил кит! Нет! То был не горбач, не черный кит, не кашалот и не финвал, каких мы можем видеть в полярных водах нормальным арктическим летом. Нет, Иону проглотила «огромная рыба», которую Господь подготовил для него, – то есть чудовище морской пучины, созданное Всемогущим Богом Иеговой при Сотворении мира специально для этой цели: чтобы однажды она проглотила Иону; и в Библии это чудовище в облике огромной рыбы порой называется левиафаном. Так и мы были посланы с поручением за дальний предел известного мира, друзья мои, дальше, чем находился упомянутый Фарсис – который, в конечном счете, находился всего-навсего в Испании, – мы были посланы туда, где сами стихии, похоже, восстают против человека, где молнии с треском падают со студеных небес, где холод никогда не отступает, где белые медведи бродят по замерзшей поверхности моря и где ни один человек, ни цивилизованный, ни дикий, никогда не назовет подобный край своим домом. Но мы не покинули пределов Царства Божия, друзья мои! Как Иона не проклинал свою судьбу и не сетовал на постигшую его кару, но молился Господу своему из чрева рыбы, так и мы должны не протестовать, но смириться с волей Божьей, обрекшей нас на три долгие полярные ночи во чреве льдов; и, подобно Ионе, мы должны молиться Господу, говоря: «Отринут я от очей Твоих, однако опять я увижу святы́й храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была моя голова. До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили Милосердного своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню. У Господа спасение!» И сказал Господь рыбе, и она извергла Иону на сушу. И вы, возлюбленные друзья мои, знайте в сердце своем, что мы должны по-прежнему гласом хвалы приносить Господу жертву. Мы должны исполнить, что обещали. Наш друг

и брат во Христе Грэм Гор, да упокоится он с миром в лоне Господнем, увидел, что не будет нам спасения из левиафанова чрева зимы этим летом. Не будет нам спасения из холодного чрева льдов в этом году. Именно с таким сообщением вернулся бы он, когда бы остался жив. Но наши корабли целы, друзья мои. Провианта у нас хватит еще на год – и на дольший срок при необходимости... на много дольший. У нас есть уголь, чтобы согреть нас, но еще сильнее будет согревать нас наша дружба, а превыше всего – сознание, что Бог не оставил нас. Еще одно лето и еще одна зима во чреве этого левиафана, друзья мои, а потом, я клянусь вам, милость Господня выведет нас из этого ужасного места. Северо-Западный проход существует, он находится всего в нескольких милях за юго-западным горизонтом. Лейтенант Гор почти увидел его собственными глазами всего неделю назад, и мы доплывем до него, пройдем по нему и достигнем Тихого океана за считанные месяцы, когда эта необычайно затянувшаяся зима закончится, ибо мы воззовем к Господу, спрашивая о причине постигшей нас беды, и Он услышит нас, вопиющих из чрева самого ада, ибо Он слышит мой голос и ваши голоса. Пока же, друзья мои, нас преследует темный дух этого левиафана, явленный в образе злобного белого медведя – но всего лишь медведя, всего лишь бессловесной твари, пусть она и старается служить Сатане, – однако, подобно Ионе, мы станем молиться Богу о том, чтобы сей ужас миновал нас, в уверенности, что Господь услышит наши голоса. Убейте этого зверя, друзья мои, и в день, когда он падет от руки любого из вас, я торжественно обещаю заплатить всем вам до единого по десять золотых соверенов из собственного кармана.

В толпе, собравшейся на шкафуте, прокатился приглушенный гул голосов.

– По десять золотых каждому, – повторил сэр Джон. – Не просто награда человеку, который убьет зверя, как Давид убил Голиафа, но поощрение каждому из вас, всем поровну. Вдобавок ко всему вы по-прежнему будете получать свое жалованье, назначенное вам Службой географических исследований, и плюс к нему, я даю вам слово, получите сумму, равную вашему авансу, в качестве вознаграждения – в обмен всего лишь еще на одну зиму во льдах, проведенную в сытости, в тепле и в ожидании таяния льдов!

Если бы во время богослужения допускался смех, люди не сдержали бы радостного смеха. Вместо этого они просто принялись ошеломленно переглядываться, с уже побелевшими от мороза лицами. По десять золотых соверенов каждому! И сэр Джон пообещал вознаграждение в сумме, равной авансу, размер которого главным образом и побудил многих из матросов

наняться в экспедицию: тридцать три фунта почти для всех! Когда можно снять комнату за шестьдесят пенсов в неделю... то есть за двенадцать фунтов в год. И это сверх жалованья, выплачиваемого Службой географических исследований, которое для простых матросов составляет шестьдесят фунтов в год – в три с лишним раза больше, чем может заработать любой чернорабочий на берегу! Семьдесят пять фунтов – для плотников, семьдесят – для боцманов и целых восемьдесят четыре фунта – для инженеров.

Люди улыбались, продолжая незаметно притопывать ногами, чтобы не лишиться пальцев.

– Я приказал мистеру Дигглу на «Терроре» и мистеру Уоллу здесь, на «Эребусе», приготовить нам праздничный обед в ознаменование нашей грядущей победы над временными трудностями и безусловно ожидающего нас успеха в деле открытия Северо-Западного морского прохода, – возгласил сэр Джон со своего места за накрытым флагом нактоузом. – На обоих кораблях я разрешил сегодня выдать добавочные порции рома.

Люди с «Эребуса» могли лишь уставиться друг на друга, разинувши рот. Чтобы сэр Джон Франклин разрешил выдать гог в воскресенье – да к тому же с добавкой?!

– Присоединитесь же ко мне в следующей молитве, друзья мои, – сказал сэр Джон. – Всеблагий Боже, обрати к нам снова лицо Твое и будь милосерден к слугам Твоим. Яви нам милость Твою, и поскорее, дабы мы возрадовались и ликовали до скончания своих дней. Утешь нас снова после того, как подвергал нас суровым испытаниям, во искупление тяжких лет, когда мы терпели бедствия. Яви слугам Твоим благую волю Твою и детям Твоим – славу Твою. Да пребудет на нас блистательное могущество Господа Бога нашего; благослови всякое дело рук наших, о Господи, благослови всякое наше начинание. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

– Аминь, – откликнулись хором сто пятнадцать голосов.

В течение четырех суток после проповеди сэра Джона, несмотря на налетевшую с северо-запада снежную бурю, ограничивавшую видимость и отравлявшую жизнь, по замерзшему морю день и ночь раскатывалось эхо от грохота дробовиков и треска мушкетов. Все мужчины, которые могли найти причину выйти на лед, – охотничьи отряды, команды, следящие за состоянием пожарной проруби, посыльные, доставляющие сообщения с одного корабля на другой, плотники, испытывающие свои новые сани, матросы, получающие разрешение выгулять пса по имени Нептун, – брали

с собой оружие и палили во все, что движется или производит в тумане впечатление объекта, способного двигаться. Никто из людей не погиб, но троим пришлось обратиться к доктору Макдональду или доктору Гудсиру с просьбой извлечь пули у них из бедер.

В среду охотничий отряд, не сумевший найти тюленей, вернулся с тушей белого медведя, уложенной поперек на двое связанных вместе саней, и живым медвежонком размером с маленького теленка.

Люди немного пошумели насчет десяти золотых соверенов, причитающихся каждому, но даже сами охотники, убившие зверя в миле к северу от корабля (чтобы завалить медведя, потребовалось произвести дюжину выстрелов из двух мушкетов и три из дробовика), вынуждены были признать, что он слишком малых размеров – меньше десяти футов в длину, когда разложен на окровавленном льду, – слишком худой и слишком похож на самку. Они убили медведицу, но оставили в живых скулящего медвежонка, которого притащили с собой, привязав к саням сзади.

Сэр Джон спустился с корабля, чтобы осмотреть мертвого зверя, похвалил людей за добычу свежего мяса – хотя все терпеть не могли вареную медвежатину, а этот тощий медведь казался еще более жилистым и жестким, чем большинство остальных, – но указал, что он никак не может являться тем чудовищем – левиафаном, – которое убило лейтенанта Гора. Медведица была изрешечена пулями, но в груди у нее не нашли ни старой раны от пистолетного выстрела, ни пистолетной пули. По ним, объяснил сэр Джон, они опознают настоящего чудовищного медведя.

Одни мужчины хотели приручить медвежонка, поскольку он был уже отлучен от матери и мог питаться размороженной говядиной, а другие хотели зарезать его прямо здесь и сейчас, но по совету сержанта морской пехоты Брайанта сэр Джон приказал оставить детеныша в живых и посадить на цепь у вбитого в лед столба. Вечером той самой среды, девятого июня, сержанты Брайант и Тозер вместе с помощником капитана Каучем и старым Джоном Мюрреем, единственным оставшимся в экспедиции парусным мастером, попросили разрешения поговорить с сэром Джоном в его каюте.

– Мы неправильно подходим к делу, сэр Джон, – начал сержант Брайант, выступавший от лица небольшой группы. – Я имею в виду, к охоте на зверя.

– Почему? – спросил сэр Джон.

Брайант махнул рукой, словно указывая на мертвую медведицу, которую в данный момент свеживали на окровавленном льду.

– Наши люди не сведущи в охоте, сэр Джон. На борту обоих кораблей

нет настоящих охотников. Самые опытные из нас хорошо стреляют птицу на суше, но не крупную дичь. О, мы сумеем завалить оленя или арктического карибу, коли нам еще доведется встретить таковых, но наш белый медведь – поистине грозный враг, сэр Джон. Раньше мы убивали медведей скорее по счастливой случайности, нежели благодаря своему мастерству. У этого зверя столь толстые кости черепа, что мушкетной пулей не пробить. На теле у него так много жира и мышц, что он подобен средневековому рыцарю, закованному в латы. Он настолько могуч – даже не самые крупные особи, каких вы видели, сэр Джон, – что даже выстрел из дробовика в брюхо или винтовочный выстрел в легкие для него не смертелен. Попасть медведю в сердце очень трудно. В эту тощую самку пришлось выстрелить дюжину раз из мушкета и дробовика с близкого расстояния, и даже тогда она сумела бы убежать, когда бы не осталась, чтобы защитить своего детеныша.

– Что вы предлагаете, сержант?

– Маскировочная палатка, сэр Джон.

– Маскировочная палатка?

– Как на утиной охоте, сэр Джон, – сказал сержант Тозер, морской пехотинец с фиолетовым родимым пятном на бледном лице. – У мистера Мюррея есть мысль, как это сделать.

Сэр Джон повернулся к старому паруснику с «Эребуса».

– Мы возьмем запасные железные прутья, предназначенные для замены шпинделей, сэр Джон, и изогнем их, придав нужную им форму, – сказал Мюррей. – Таким образом, мы получим легкий каркас для маскировочной палатки, похожей на обычную. Только она будет не пирамидальной формы, как наши палатки, – продолжал Джон Мюррей, – а вытянутая и низкая, вроде ярмарочной парусиновой палатки, милорд.

Сэр Джон улыбнулся:

– Но разве медведь не заметит ярмарочную парусиновую палатку на льду, джентльмены?

– Нет, сэр, – сказал парусник. – Я скрою, сошью и покрашу маскировочную палатку в белый цвет до наступления ночи или сумерек, которые мы здесь называем ночью. Мы установим ее возле низкой торосной гряды, с которой она будет сливаться. Видна будет только длинная узкая горизонтальная прорезь наподобие амбразуры. Из досок, пошедших на погребальный помост, мистер Уикс соорудит скамьи, чтобы стрелкам не пришлось морозить задницы на льду.

– И сколько стрелков вы предполагаете разместить в этой... гм... маскировочной палатке? – спросил сэр Джон.

– Шесть, сэр, – ответил сержант Брайант. – Беглый огонь такой мощи убьет медведя. Как тысячами убивал приспешников Наполеона в битве при Ватерлоо.

– Но что, если у медведя чутье лучше, чем у Наполеона при Ватерлоо? – спросил сэр Джон.

Мужчины хихикнули, но сержант Тозер сказал:

– Об этом мы подумали, сэр Джон. В последние дни преобладает ветер с северо-северо-запада. Если мы поставим маскировочную палатку у низкой торосной гряды неподалеку от места, где упокоился бедный лейтенант Гор, сэр, все широкое пространство ровного льда к северо-западу будет отлично простреливаться. Почти сотня ярдов открытого пространства. Велика вероятность, что зверь спустится с более высоких торосных гряд со стороны, откуда дует ветер, сэр Джон. А когда он достигнет нужного нам места, получит разом десяток пуль в сердце и легкие, сэр.

Сэр Джон задумался.

– Но нам придется отозвать всех людей обратно на корабль, сэр, – сказал Эдвард Кауч, помощник капитана. – Пока столько народа бежит по льду, паля по каждому сераку и при каждом порыве ветра, ни один уважающий себя медведь не подойдет к кораблю ближе чем на пять миль, сэр.

Сэр Джон кивнул:

– Но что привлечет нашего медведя на это отлично простреливаемое открытое пространство, джентльмены? Вы подумали о приманке?

– Так точно, сэр, – ответил сержант Брайант, теперь улыбаясь. – Этих убийц всегда привлекает свежее мясо.

– У нас нет свежего мяса, – сказал сэр Джон. – Даже кольчатой нерпы.

– Верно, сэр, – согласился сержант морской пехоты. – Но у нас есть медвежонок. Как только мы соорудим и установим маскировочную палатку, мы зарежем звереныша, выпустив из него побольше крови, сэр, и оставим тушку на льду ярдах в двадцати пяти от нашей огневой позиции.

– Так вы полагаете, этот зверь пожирает себе подобных? – спросил сэр Джон.

– О да, сэр, – сказал сержант Тозер, чье лицо слегка покраснело под фиолетовым родимым пятном. – Мы думаем, этот зверь сожрет все, что истекает кровью или пахнет мясом. А когда он примется за дело, мы откроем по нему бешеную пальбу, сэр, а потом получим по десять соверенов на каждого, потом перезимуем, потом пройдем по Северо-Западному проходу и с триумфом вернемся домой.

Сэр Джон рассудительно кивнул.
– Так и сделайте, – сказал он.

В пятницу одиннадцатого июня, во второй половине дня, сэр Джон с лейтенантом Левеконтом вышел на лед взглянуть на маскировочную палатку.

Двоим офицерам пришлось признать, что даже с расстояния тридцати футов палатка практически невидима, встроенная в низкую ледяную грядку поблизости от места, где сэр Джон произносил надгробное слово. Белая парусина почти полностью сливалась со снегом, а в прорези амбразуры через неравные промежутки висели лоскуты, разбивающие сплошную горизонтальную линию. Парусник и оружейник натянули парусину на железные прутья каркаса так ловко, что даже на крепчающем ветру, сейчас гнавшем поземку по открытому льду, материя нисколько не хлопала.

Левеконт провел сэра Джона по обледенелой узкой тропе за торосной грядой, держась вне сектора обстрела, а потом через низкий ледяной вал, к входному отверстию в задней стенке палатки. Там находился сержант Брайант с морскими пехотинцами с «Эребуса» – капралом Пирсоном и рядовыми Хили, Ридом, Хопкрафтом и Пилкингтоном; при появлении начальника экспедиции мужчины начали вставать.

– О нет, нет, джентльмены, сидите, – прошептал сэр Джон.

Скамья из длинных досок, положенных на железные скобы, вделанные в железные стойки в одном и другом конце длинной узкой палатки, имела значительную высоту, позволявшую морским пехотинцам вести прицельный огонь сидя, когда они не стояли у амбразуры. Под ногами у них был дощатый настил. Заряженные мушкеты стояли перед ними. В тесной палатке пахло свежим деревом, мокрой шерстью и ружейным маслом.

– Давно вы ждете? – прошептал сэр Джон.

– Пять часов без малого, – шепотом ответил сержант Брайант.

– Вы, наверное, замерзли.

– Нисколько, сэр, – приглушенным голосом сказал Брайант. – Ширина палатки позволяет нам прохаживаться взад-вперед время от времени. Морские пехотинцы с «Террора» под командованием сержанта Тозера сменят нас, когда пробьют две склянки.

– Вы видели что-нибудь?

– Пока нет, сэр, – ответил Брайант. Сержант и двое офицеров подались к амбразуре, и лица им обдало холодным воздухом.

Сэр Джон видел тушку медвежонка, кричаще-красную на фоне льда. С

него содрали шкуру, не тронув только маленькую белую голову, спустили кровь в ведра и разлили повсюду вокруг тушки. Ветер гнал поземку по открытому ледяному полю, и вид красной крови на фоне белого, серого и бледно-голубого действовал на нервы.

– Нам еще предстоит проверить, пожирает ли наш враг себе подобных, – прошептал сэр Джон.

– Так точно, сэр, – сказал сержант Брайант. – Не желает ли сэр Джон присесть к нам на скамью, сэр? Здесь вполне достаточно места.

Места было не вполне достаточно, особенно когда широкий зад сэра Джона добавился к крепким мускулистым седалищам, уже размещенным одно к другому на досках. Но когда морские пехотинцы поспешно потеснились, скамьи как раз хватило на семерых мужчин, сидящих вплотную друг к другу (лейтенант Левеконт остался стоять). Сэр Джон обнаружил, что лед отсюда просматривается довольно хорошо.

В этот момент капитан сэр Джон Франклин был счастлив настолько, насколько вообще мог быть в мужской компании. Сэру Джону потребовались многие годы, чтобы осознать, что он чувствует себя гораздо свободнее и непринужденнее в обществе женщин – в том числе утонченных и легковозбудимых, как его первая жена Элеонора, и сильных и неукротимых, как его нынешняя жена Джейн, – чем в обществе мужчин. Но в течение нескольких дней, прошедших с последнего воскресного богослужения, офицеры и матросы улыбались ему, приветливо кивали и бросали на него одобрительные взгляды чаще, чем когда-либо за пятнадцать лет его службы во флоте.

Да, действительно, обещание заплатить по десять золотых соверенов каждому – не говоря уже об удвоении аванса, равного пятимесячному жалованью матроса, – было дано в неожиданном приливе добрых чувств, под влиянием момента. Но сэр Джон располагал значительными финансовыми средствами, а если с ними что случится за три с лишним года его отсутствия, он не сомневался, что сможет воспользоваться личным состоянием леди Джейн для покрытия этого нового долга чести.

В общем и целом, рассудил сэр Джон, предложение денежного вознаграждения – и даже неожиданное разрешение употреблять грог на борту его корабля, где спиртное всегда находилось под строгим запретом, – было поистине блистательным ходом. Как и все остальные, сэр Джон был глубоко удручен внезапной смертью Грэма Гора, одного из самых многообещающих молодых офицеров во флоте. Скверные новости об отсутствии пригодных для навигации проходов во льдах и ужасная неизбежность еще одной зимовки здесь повергли всех в тяжелое уныние,

но, пообещав по десять золотых соверенов каждому и устроив единственный праздничный день на двух кораблях, он временно решил эту проблему.

Разумеется, имелась и другая проблема, о которой ему сообщили четыре медика только на прошлой неделе: среди консервированных продуктов все чаще и чаще находили испорченные (вероятно, дело было в плохо запаянных банках), – но сэр Джон решил пока не думать об этом.

Ветер гнал по широкому ледяному полю поземку, временами скрывавшую от взора крохотную тушку в луже свертывающейся, замерзающей крови на голубом льду. Никакого движения среди окрестных торосных гряд и ледяных башен не наблюдалось. Мужчины справа от сэра Джона хранили полное спокойствие, один жевал табак, остальные сидели, положив руки в рукавицах на стволы своих мушкетов. Сэр Джон знал, что они сбросят рукавицы в мгновение ока, стоит только их левиафану появиться на льду.

Сэр Джон улыбнулся, осознав, что запоминает эту сцену, этот момент как интересный эпизод, который впоследствии расскажет Джейн, дочери Элеоноре и любимой племяннице Софии. В последние дни он часто поступал таким образом: рассматривал тяготы зимовки во льдах как ряд занимательных эпизодов и даже облачал оные в слова – не в избыточное количество слов, а ровно в такое, какое необходимо, чтобы завладеть восторженным вниманием слушателей, – для будущего использования в кругу своих милых дам и во время обедов в гостях. Этот день – дурацкая маскировочная палатка с амбразурой, набившиеся в нее мужчины, хорошее настроение, запах ружейного масла, шерсти и табака, даже низкие серые облака, снежная поземка и легкое напряжение в ожидании добычи – сослужит ему добрую службу в грядущие годы.

Внезапно сэр Джон перевел взгляд влево и посмотрел через плечо лейтенанта Левеконта на погребальную воронку, находившуюся менее чем в двадцати футах от южного конца палатки. Прорубь давно замерзла, и сама воронка почти доверху наполнилась снегом со дня похорон, но от одного вида небольшого углубления во льду ныне сентиментальное сердце сэра Джона болезненно сжалось при воспоминании о молодом Горе. Но это была прекрасная заупокойная служба. И он – капитан сэр Джон Франклин – провел ее с достоинством и честью, подобающими военному человеку.

Сэр Джон заметил два черных предмета, лежащие рядом на самом дне неглубокой ямы, – темные камешки, вероятно пуговицы или монеты, оставленные здесь в память о лейтенанте Горе одним из матросов, проходившим мимо места погребения ровно неделю назад? – и в тусклом

зыбком свете снежных вихрей крохотные черные кружочки, почти невидимые, если не знаешь точно, где искать, казалось, пристально смотрели на сэра Джона с печальным укором. Он задался вопросом, не остались ли там, в силу неких причудливых погодных условий, два крохотных отверстия в ледяной толще, которые не замерзли во время холодов и снегопадов и теперь являют взору два крохотных кружочка черной воды на фоне серого льда.

Черные точки мигнули.

– Э-э-э... сержант... – начал сэр Джон.

Все дно погребальной ямы вдруг резко вздыбилось. Что-то огромное, бело-серое, могучее стремительно выпрыгнуло из воронки, бросилось к маскировочной палатке, вихрем пронеслось мимо и скрылось за пределами поля зрения, ограниченного амбразурой.

Морские пехотинцы, явно ничего толком не разглядевшие и не понявшие, не успели отреагировать.

Мощный удар обрушился на южную сторону палатки в трех футах от Левеконта и сэра Джона, сокрушая железный каркас и разрывая парусину.

Морские пехотинцы и сэр Джон повскакали на ноги; толстая парусина над ними, позади них и сбоку от них с треском рвалась, раздираемая черными когтями длиной с охотничьи ножи. Все заорали хором. В нос ударил тошнотворный смрад падали.

Сержант Брайант вскинул мушкет – существо находилось внутри, с ними, среди них, смыкая вокруг них кольцо лап, – но, прежде чем он успел выстрелить, на них накатила зловонная волна дыхания жуткого хищника. Голова сержанта отскочила от плеч, вылетела в амбразуру и покатилась по льду.

Левеконт завопил, кто-то выстрелил из мушкета, попав лишь в морского пехотинца рядом, а в следующий миг парусиновый потолок с треском разошелся в стороны и что-то громадное нависло над ними, заслоняя небо; и в тот момент, когда сэр Джон повернулся, чтобы броситься прочь из разодранной палатки, страшная боль пронзила ему ноги под самыми коленями.

Потом все поплыло у него перед глазами и стало похоже на дурной сон. Казалось, он висел головой вниз, глядя на людей, которые кубарем катились по льду в разные стороны, точно кегли, на людей, выброшенных из растерзанной палатки. Выстрелил еще один мушкет, но оттого лишь, что морской пехотинец швырнул оружие на лед и попытался убежать на четвереньках. Сэр Джон видел все это, болтаясь вверх тормашками, самым немыслимым, самым нелепым образом. Боль в ногах стала невыносимой,

потом раздался треск, подобный треску ломаемых молодых деревьев, а в следующий миг он полетел в погребальную воронку, к черному пролому во льду, словно приготовленному для него. Он пробил головой тонкую ледяную корку, точно новорожденный младенец, прорывающий околоплодный пузырь.

В обжигающе холодной воде бешено колотящееся сердце сэра Джона на несколько мгновений остановилось. Он попытался завопить, но захлебнулся соленой водой.

«Я в море. Впервые в жизни я в самом море. Как странно».

Потом он отчаянно молотил руками, переворачиваясь снова и снова, чувствуя, как разодранная в клочья зимняя шинель разваливается на нем, не ощущая больше боли в ногах и не находя никакой опоры в ледяной воде. Сэр Джон делал широкие гребки руками, не понимая в жуткой, непроглядной тьме, поднимается ли он наверх или погружается все глубже в черную бездну.

«Я тону. Джейн, я тону. За долгие годы службы во флоте я рисовал в своем воображении самые разные картины своей смерти, но ни разу, дорогая моя, ни разу не думал, что утону».

Сэр Джон ударился головой обо что-то твердое, едва не лишившись чувств, снова перевернувшись лицом вниз и снова захлебнувшись соленой водой.

«А потом, мои дорогие, Провидение указало мне путь к поверхности или, во всяком случае, к дюймовой прослойке пригодного для дыхания воздуха между морем и пятнадцатифутовой толщей льда».

Бешено работая руками (ноги у него по-прежнему не двигались), сэр Джон перевернулся на спину и стал судорожно царапать пальцами лед над собой. Он заставил себя успокоиться душой и телом, чтобы получить возможность высунуть нос в тончайшую воздушную прослойку между льдом и ледяной водой. Он дышал. Подняв подбородок, он откашлялся соленой водой и стал дышать ртом.

«Благодарю Тебя, Господи Иисусе...»

подавив искушение закричать, сэр Джон забил по воде руками и принялся перемещаться по нижней поверхности льда, словно карабкаясь по стене. Снизу паковый лед был неровным: порой выступал вниз, в воду, не оставляя ни тончайшей воздушной прослойки, а порой отступал на пять-шесть дюймов вверх, позволяя поднять над водой почти все лицо.

Несмотря на пятнадцатифутовую толщу льда над ним, сэр Джон видел тусклый свет — голубой свет, свет Господень, — преломленный шероховатыми гранями ледяных выступов всего в нескольких дюймах от

глаз. Слабый дневной свет проникал сюда через прорубь – погребальную прорубь Гора, – в которую его только что швырнули.

«И теперь, мои милые леди, моя дорогая Джейн, мне оставалось лишь найти путь к этой маленькой проруби – сориентироваться на местности, так сказать, – но я знал, что счет времени идет на минуты...»

Не на минуты, а на секунды. Сэр Джон чувствовал, как ледяная вода неумолимо вымораживает из него жизнь. И с ногами творилось что-то ужасное. Он не просто не чувствовал ног – он чувствовал полное их отсутствие. И морская вода имела привкус крови.

«А затем, леди, Всемогущий Господь указал мне свет...»

Слева. Отверстие находилось ярдах в десяти слева от него. Лед здесь отстоял от черной воды достаточно высоко, чтобы сэр Джон сумел поднять голову, упереться лысой макушкой в шероховатый лед, глотнуть ртом воздух, сморгнуть воду и кровь с глаз и действительно увидеть свет Спасителя меньше чем в десяти ярдах от него...

Что-то огромное и мокрое всплыло из глубины и заслонило свет. Стало темно как в могиле. Волна чудовищного смрада ударила в лицо, вытесняя пригодный для дыхания воздух.

– Пожалуйста... – начал сэр Джон, захлебываясь и кашляя.

Потом влажное зловоние обволокло несчастного, и огромные зубы сомкнулись у него на лице, с хрустом прокусывая череп.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

10 ноября 1847 г.

Пробило пять склянок (два тридцать пополуночи), и капитан Крозье, вернувшийся с «Эребуса», уже осмотрел трупы – вернее, половины трупов – Уильяма Стронга и Томаса Эванса на месте, где чудовище оставило их прислоненными к фальшборту на корме, распорядился отнести останки в мертвецкую и теперь сидел в своей каюте, пристально рассматривая два предмета на своем столе: новую бутылку виски и пистолет.

Каюта Крозье имела такие же размеры, как каюты всех остальных офицеров и мичманов «Террора»: пять футов в ширину и пять футов одиннадцать дюймов в длину. Почти половину помещения занимала кровать, пристроенная к правому борту. Она походила на детскую колыбель с резными бортиками, выдвижными ящиками внизу и бугристым волосяным тюфяком, лежащим почти на уровне груди. Крозье всегда спал плохо на обычных кроватях и часто с тоской вспоминал подвесные койки, в которых провел так много лет, когда был гардемарин, потом молодым офицером, а прежде служил юнгой. Пристроенная к стенке корпуса, эта кровать была самым холодным спальным местом на корабле – холоднее, чем койки мичманов, чьи каюты находились посередине жилой палубы, и гораздо холоднее, чем подвесные койки счастливых-матросов, расположенные в непосредственной близости от фрейзеровской плиты, на которой мистер Диггл готовил двадцать часов в сутки.

Заставленные книгами стеллажи, пристроенные к чуть наклоненной внутрь стенке корпуса, обеспечивали известную теплоизоляцию, но не особо спасали от холода. Под подволоком, поперек каюты висел еще один заставленный книгами стеллаж, нижний край которого находился в трех футах над раскладным столом, отделяющим спальную зону от приемной. Прямо над ним чернел круг престонского патентованного иллюминатора, выпуклое матовое стекло которого немного выступало над палубой, сейчас темной под парусиновым тентом и трехфутовым слоем снега. От иллюминатора постоянно катили волны студеного воздуха, похожие на холодное дыхание некоего существа, давно умершего, но все еще пытающегося дышать.

Напротив стола находилась узкая полка с рукомойником. Воду в нем не держали, поскольку она там быстро замерзала. Вестовой Крозье, Джопсон, каждое утро приносил своему капитану горячую воду с плиты. Между столом и рукомойником в тесной каюте оставалось только-только места, чтобы Крозье мог стоять или – как сейчас – сидеть за своим столом на табурете, который задвигался под полку с рукомойником, когда не использовался.

Крозье продолжал смотреть неподвижным взглядом на пистолет и бутылку виски.

Капитан «Террора» часто думал о том, что не знает о будущем ничего – кроме того, что его корабль и «Эребус» уже никогда не пойдут ни под паром, ни под парусами, – но потом напоминал себе, что одно он все-таки знает наверняка: когда у него кончатся запасы виски, Френсис Родон Мойра Крозье пустит себе пулю в висок.

Покойный сэр Джон Франклин заполнил свою кладовую дорогой фарфоровой посудой – с инициалами сэра Джона и фамильным гербом, разумеется, – хрусталем, серебряными столовыми приборами, весьма изысканными и тоже украшенными гербом, копчеными говяжьими языками в количестве сорока восьми штук, бочонками копченой вестфальской ветчины, бесчисленными кругами глостерского сыра, мешками чая дарджилинг, специально доставленного с плантации какого-то родственника, и горшками своего любимого малинового варенья.

Хотя Крозье тоже запасался известным количеством деликатесных продуктов, предназначенных для офицерских обедов, которые придется время от времени устраивать, большую часть своих денег и места в своей кладовой он выделил на триста двадцать четыре бутылки виски. Это был нелучший шотландский виски, но и такой сойдет. Крозье знал, что уже давно стал такого рода пьяницей, для которого количество всегда важнее качества. Иногда – как, например, прошлым летом, когда он был очень занят, – бутылки ему хватало на две недели и даже на дольший срок. А порой – как, например, в течение прошлой недели – он выпивал бутылку за ночь. По правде говоря, он перестал считать пустые бутылки, когда перевалил за двести штук прошлой зимой, но знал, что запасы виски подходят к концу. В ночь, когда он выпьет самую последнюю бутылку и вестовой доложит, что больше ни одной не осталось (Крозье знал, что это случится ночью), он твердо решил приставить пистолет к виску и спустить курок.

Более рассудительный капитан, конечно, напомнил бы себе, что в винной кладовой внизу хранятся весьма значительные запасы живительной

влаги, оставшиеся от первоначальных четырех тысяч пятисот галлонов – галлонов! – концентрированного рома, крепостью в 65–70 градусов. Ром выдавался людям ежедневно, по четверти пинты на три четверти пинты воды, и там еще оставалось достаточно галлонов, чтобы в нем плавать. Менее разборчивый и более бессовестный капитан-пьяница заявил бы о своих правах на ром, предназначенный для матросов. Но Френсис Крозье не любил ром. Никогда не любил. Он пил виски, и когда виски закончится, – закончится и его жизнь.

При виде тела Томми Эванса – нижней половины, с почти комично раздвинутыми ногами в штанах и башмаках, по-прежнему крепко зашнурованных, – Крозье вспомнил день, когда его вызвали к останкам маскировочной палатки в четверти мили от «Эребуса». Меньше чем через сутки, осознал он, будет ровно пять месяцев со дня катастрофы, произошедшей одиннадцатого июня. Поначалу Крозье и остальные офицеры, прибежавшие на место, впали в тяжелое недоумение при виде произведенных разрушений: парусина разорвана в клочья, железные прутья палаточного каркаса погнуты и сломаны, скамья разбита в щепки, а среди щепок лежит обезглавленное тело сержанта морской пехоты Брайанта, командира морских пехотинцев экспедиции. Его голова – еще не найденная ко времени прибытия Крозье – прокатилась по льду почти тридцать ярдов, прежде чем остановилась рядом с освежеванной тушкой медвежонка.

Лейтенант Левеконт получил перелом руки – пострадав, как выяснилось, не от чудовищного медведя, а при падении на лед; рядовой Уильям Пилкингтон был ранен навывлет в левое плечо выстрелом морского пехотинца, находившегося рядом с ним, рядового Роберта Хопкрафта. У самого Хопкрафта были сломаны восемь ребер, раздроблена ключица и вывихнута левая рука – от скользящего удара громадной лапы чудовища, как он сказал позже. Рядовые Хили и Рид не получили серьезных повреждений, но покрыли себя позором, обратившись в паническое бегство, с истошными воплями и визгом, на четвереньках. Рид сломал три пальца на руке, пока полз.

Но внимание Френсиса Крозье всецело поглотили две ноги сэра Джона Франклина, в штанинах и башмаках с пряжками, целые ниже колена, но находившиеся далеко одна от другой: одна валялась в разрушенной палатке, другая неподалеку от пролома во льду, в погребальной воронке.

Какого рода злобным разумом должно обладать животное, размышлял он за стаканом виски, чтобы оторвать человеку ноги по колено, а потом бросить еще живую жертву в прорубь и секундой позже последовать за ней? Крозье старался не думать о том, что произошло подо льдом в

следующую минуту, хотя иногда по ночам, когда он пытался заснуть после нескольких стаканов виски, воображение рисовало ему кошмарную сцену, там разыгравшуюся. Он также не сомневался, что погребение лейтенанта Гора, состоявшееся ровно за неделю до страшного события, явилось не чем иным, как изысканным пиршеством, невольно устроенным для существа, уже сторожившего добычу и наблюдавшего за ними из-под льда.

Смерть лейтенанта Грэма Гора не повергла Крозье в глубокое горе. Гор относился к тому типу хорошо воспитанных, хорошо образованных, в прошлом закончивших привилегированную частную школу, исправно посещавших англиканскую церковь, стяжавших славу на войне офицеров военно-морского флота, рожденных для того, чтобы командовать, непринужденных в общении с начальством и с подчиненными, скромных во всех отношениях, призванных вершить великие дела – чертовых британских джентльменов с изысканными манерами, любезных даже с ирландцами, – которых постоянно продвигали по службе в обход Крозье на протяжении сорока с лишним лет.

Он налил в стакан еще виски.

Какого рода злобным разумом должно обладать животное, которое убивает, но не пожирает целиком свою добычу такой голодной зимой, а возвращает верхнюю половину трупа матроса Уильяма Стронга и нижнюю половину трупа молодого Тома Эванса? Эванс был одним из юнг, которые били в обернутые тканью барабаны на похоронах Гора пять месяцев назад. Какого рода существо станет утаскивать в темноте молодого парня, не тронув капитана, находящегося от него всего в трех ярдах, а потом возвращать половину трупа?

Люди знали. Крозье знал, что они знают. Они знали, что там на льду Дьявол, а не какой-то арктический медведь небывало крупных размеров.

Капитан Френсис Крозье не считал такое мнение ошибочным – несмотря на все свои презрительные высказывания, сделанные сегодня вечером за стаканом бренди в обществе капитана Фицджереймса, – но он знал еще одно, чего люди не знали, а именно: что Дьявол, пытающийся уничтожить их здесь, в Царстве Дьявола, – это не только белое мохнатое чудовище, убивающее и пожирающее людей одного за другим, но всё, абсолютно всё здесь: неослабевающие холода, сдавливающие корабли льды, электрические бури, странное отсутствие тюленей, китов, птиц, моржей и сухопутных животных, неумолимое наступление пака, айсберги, передвигающиеся по белому замерзшему морю, но не оставляющие ни единой узкой полосы открытой воды за собой, внезапные мощные содрогания ледяного поля, сопровождающиеся появлением торосных гряд,

пляшущие звезды, халтурно запаянные банки с продуктами, теперь превратившимися в отраву, так и не наступившее лето, так и не открывшиеся проходы – решительно всё. Чудовище во льдах являлось просто-напросто еще одним воплощением Дьявола, который хотел их смерти. И хотел, чтобы они страдали.

Крозье снова наполнил стакан.

Он понимал Арктику лучше, чем себя самого. Древние греки были правы, думал Крозье, когда утверждали, что на диске Земли существует пять климатических поясов, четыре из которых равны, противоположны и симметричны друг другу, каковое соотношение свойственно многим понятиям и категориям, привнесенным греками в наш мир. Два из них – пояса умеренные, созданные для человека. Центральный пояс, экваториальный, не предназначен для разумных форм жизни – хотя греки ошибались в своем предположении, что человеческие существа не могут обитать там. Могут, только нецивилизованные, подумал Крозье, который мимоходом видел Африку и другие экваториальные страны и был уверен, что ничего ценного ни в одной из них никогда не появится. Две полярные зоны, предугаданные греками задолго до того, как исследователи достигли Арктики и Антарктики, враждебны человеку во всех отношениях – непригодны даже для того, чтобы по ним путешествовать, не говоря уже о том, чтобы жить там, пусть сколь угодно малое время.

Так почему же, спрашивал себя Крозье, такая страна, как Англия, Божьей милостью помещенная в благодатнейшем и плодороднейшем из двух умеренных поясов, предназначенных для обитания рода человеческого, продолжает отправлять свои корабли и своих людей во льды северной и южной полярных областей, куда не отваживаются заходить даже дикари в меховых одеждах?

И что самое главное, почему некий Френсис Крозье снова и снова возвращается в эти ужасные края, служа стране и правительству, никогда не отдававшим должного его способностям и заслугам? Возвращается, хотя в глубине души он уверен, что однажды умрет в морозной арктической тьме?

Капитан вспомнил, что даже в детстве – до того, как он ушел в первое плавание в возрасте тринадцати лет, – он носил в сердце своем глубокую меланхолию, точно некую холодную тайну. Меланхолическая эта природа проявлялась в наслаждении, какое он испытывал, стоя поодаль от деревни зимними вечерами и глядя на постепенно меркнущий свет окон; в постоянном поиске укромных уголков, чтобы спрятаться (клаустрофобией Френсис Крозье никогда не страдал), и в таком страхе

темноты – в детстве представлявшейся ему воплощением смерти, коварно похитившей мать и бабушку, – который заставлял его вопреки здравому смыслу искать с ней встречи, прячась в погребе, когда все остальные мальчики играли на солнце. Крозье хорошо помнил тот погреб: могильный холод, запах сырости и плесени, темноту и внутреннее напряжение, оставляющее человека наедине с его мрачными мыслями.

Он наполнил стакан и отпил из него еще глоток. Внезапно лед затрещал громче, и корабль заскрипел в ответ – пытаясь поменять свое место в замерзшем море, но не в силах сдвинуться с места. Лед лишь сильнее сдавил корпус со всех сторон, и он протяжно застонал. Металлические крепежные скобы в трюмной палубе сжались под давлением, внезапный резкий треск напоминал пистолетные выстрелы. Матросы в носовом отсеке и офицеры в кормовом продолжали спать, давно привыкшие к ночным крикам льда, пытающегося раздавить корабль. На верхней палубе офицер, несший ночную вахту при минус семидесяти^[7], потопал ногами, чтобы восстановить кровообращение, и четыре глухих удара представились капитану голосом усталого родителя, велящего кораблю прекратить свои возмущенные жалобы.

Сейчас Крозье с трудом верилось, что София Крэкрофт посещала этот корабль, стояла вот в этой самой каюте, вслух восхищалась тем, какая она опрятная, какая чистая, какая уютная, как походит на кабинет ученого со всеми своими книжными полками и как чуден свет австралийского солнца, льющийся в иллюминатор.

Это было семь лет назад, с точностью почти до недели, в Южном полушарии, в весеннем месяце ноябре 1840 года, когда Крозье прибыл к Земле Ван-Димена, расположенной к югу от Австралии, на этих самых кораблях – «Эребусе» и «Терроре», – сделав там остановку по пути к Антарктике. Возглавлял экспедицию друг Крозье (хотя и всегда стоявший выше по общественному положению), капитан Джеймс Росс. Они зашли в порт города Хобарт, чтобы пополнить запасы провианта, прежде чем направиться в антарктические воды, и губернатор острова, служившего штрафной колонией, сэр Джон Франклин настоял на том, чтобы два молодых офицера – капитан Росс и командор Крозье – жили в правительственной резиденции все время своего пребывания там.

Это было чудесное время и – для Крозье – романтически роковое.

Инспекция кораблей производилась на второй день после прибытия – корабли были тщательно вычищены, отремонтированы, почти полностью загружены провиантом, и молодые члены экипажей еще не заросли бородой и не отощали, как после двух предстоящих зимовок в

антарктических льдах, – и Крозье вдруг оказался сопровождающим губернаторской племянницы, темноволосой и ясноглазой юной Софии Крэкрофт, в то время как капитан Росс лично принимал губернатора сэра Джона и леди Джейн Франклин. В тот день Крозье влюбился и унес нежный росток любви с собой во тьму следующих двух южных зим, где она расцвела пышным цветом, обратившись в наваждение.

Долгие обеды под колеблемыми слугами опахалами в губернаторском доме, живые беседы – губернатор Франклин был усталым мужчиной пятидесяти с лишним лет, глубоко удрученным полным отсутствием признания своих заслуг, а также противостоянием местной прессы, богатых землевладельцев и чиновников на третьем году своего пребывания на Земле Ван-Димена, но и он, и его жена леди Джейн воспрянули духом во время визита своих соотечественников из Службы географических исследований и, как любил называть своих гостей сэр Джон, «соратников».

София Крэкрофт, напротив, не обнаруживала никаких признаков уныния. Она была остроумна, жизнерадостна, весела, порой вызывая смелая в своих высказываниях и дерзких замечаниях (в еще большей степени, чем ее строптивая и несговорчивая тетушка, леди Джейн), молода, красива и проявляла видимый интерес к суждениям и различным мыслям сорокашестилетнего холостого командора Френсиса Крозье. Она смеялась всем неуверенным шуткам Крозье – он не привык вращаться в столь высоких кругах и изо всех сил старался не ударить в грязь лицом, выпивая меньше своей давно установившейся нормы, причем ограничиваясь исключительно вином, – и неизменно отвечала на все его робкие остроты еще более остроумно. Для Крозье это было все равно что учиться играть в теннис в паре с гораздо лучшим игроком. К восьмому, и последнему, дню их затянувшегося визита Крозье ощущал себя равным во всех отношениях любому приличному англичанину – пусть джентльменом ирландского происхождения, но человеком, прожившим интересную и насыщенную событиями жизнь, ни в чем не уступающим любому другому, – и мужчиной, превосходящим почти всех прочих в изумительных голубых глазах мисс Крэкрофт.

Когда «Эребус» и «Террор» покинули порт города Хобарт, Крозье по-прежнему мысленно называл Софию «мисс Крэкрофт», но никак нельзя было отрицать тайную близкую связь, возникшую между ними: незаметный обмен быстрыми взглядами, понимающее молчание, общие шутки, проведенные наедине друг с другом минуты. Крозье знал, что влюбился впервые в своей жизни, в которой вся «любовь» прежде сводилась к грязным постелям портовых девок, к торопливым случаям в

темных переулках, к соитиям с туземками, оказывающими услуги за побрякушки, и к нескольким непомерно дорогим ночам в лондонских публичных домах для джентльменов. Все это теперь осталось позади.

Теперь Френсис Крозье понял, что самые соблазнительные и возбуждающие одеяния из всех мыслимых женских нарядов – это скромные закрытые платья, в каких София Крэкрофт выходила к обедам в губернаторском доме, скрывавшие линии ее тела, но тем самым позволявшие мужчине в полной мере насладиться блеском ее очаровательного ума.

Затем последовали почти два года в паковых льдах, поверхностное знакомство с Антарктикой, вонь пингвиньих гнездовий, два дымящихся вулкана, названные в честь их усталых кораблей, зимняя тьма, весна, угроза оказаться затертыми льдами, поиски пути изо льдов, увенчавшиеся успехом, трудный переход под одними только парусами через море, ныне носившее имя Джеймса Росса, и наконец переход по бурному Южному морю и остановка в городе Хобарт на острове, где жили восемнадцать тысяч заключенных и один глубоко несчастный губернатор. На сей раз смотра «Эребуса» и «Террора» не проводилось: слишком уж тяжелый дух топленого сала, стряпни, пота и смертельной усталости стоял на кораблях. Мальчишки, два года назад уходившие в южное плавание, теперь превратились в бородатых, с ввалившимися глазами мужчин, которые никогда впредь не наймутся ни в одну экспедицию Службы географических исследований. Все, кроме командира «Террора», страстно хотели вернуться в Англию.

Френсис Крозье страстно хотел одного: снова увидеть Софию Крэкрофт.

Он отхлебнул еще глоток виски. Над ним, еле слышные сквозь покрытый толстым слоем снега палубный настил, прозвучали шесть ударов судового колокола. Три часа пополночи.

Люди искренне опечалились, когда сэр Джон погиб пять месяцев назад, – главным образом потому, что знали: перспектива получить по десять золотых соверенов на каждого и аванс исчезла со смертью пузатого лысого старика, – но в действительности после гибели Франклина почти ничего не изменилось. Командор Фицджереймс теперь был официально признан капитаном «Эребуса», каковым фактически всегда являлся. Лейтенант Левеконт, со сверкавшим при улыбке золотым зубом, с висевшей на перевязи рукой, занял место Грэма Гора в служебной иерархии, не обнаружившей при такой перестановке видимых признаков распада. Капитан Френсис Крозье вступил в должность начальника экспедиции, но

сейчас, когда они торчали здесь во льдах, он не мог сделать почти ничего такого, чего не сделал бы Франклин.

Сразу по вступлении в новую должность он сделал одно: распорядился перевезти по льду свыше пяти тонн продовольственных припасов и снаряжения на Кинг-Уильям и устроить склад неподалеку от каменной пирамиды Росса. Теперь они не исключали возможности, что Кинг-Уильям является островом, поскольку Крозье – послав к черту чудовищного медведя – неоднократно отправлял санные отряды обследовать местность. Он сам с полдюжины раз ходил на разведку с санными отрядами, помогая искать наиболее доступные – или, по крайней мере, наименее труднопроходимые – пути через торосные гряды и барьер айсбергов вдоль берега. Они переправили на берег запасные комплекты зимней одежды, палатки, строительные материалы для будущих лачуг, бочонки с сухими продуктами и сотни консервных банок, а также громоотводы – даже медные прутья кроватных спинок из принадлежавших сэру Джону кают, чтобы использовать оные в качестве грозовых разрядников, – и предметы первой необходимости, которые понадобятся обеим судовым командам, коли придется внезапно покинуть корабли посреди зимы.

Четверых человек утащило обитающее во льдах существо – двух прямо из палатки во время одного из походов с участием Крозье, – но конец походам с груженными санями положили возобновившиеся сильные грозы и густой туман. Более трех недель оба корабля стояли в густом тумане, под ударами молний, и на лед люди выходили лишь в случае крайней необходимости и на предельно короткое время – в основном охотничьи отряды и команды, прикрепленные к пожарной проруби. К тому времени, когда аномальные грозы прекратились и туман рассеялся, было начало сентября, и опять наступили холода и пошел снег.

Тогда Крозье, несмотря на ужасную погоду, снова стал отправлять санные отряды с грузом на Кинг-Уильям, но после того, как второй лоцман Джайлс Макбин и один матрос были убиты всего в нескольких ярдах перед тремя санями – из-за сильной метели остальные матросы и офицер, второй лейтенант Ходжсон, ничего не увидели, но предсмертные крики слышали до жути отчетливо, – Крозье «временно» приостановил переправку припасов на берег. К настоящему моменту эта вынужденная пауза продолжалась уже два месяца, и к первому ноября ни один мало-мальски здравомыслящий член экипажа не подписывался на десятидневный поход в темноте.

Капитан знал, что на берегу следовало схоронить по меньшей мере десять тонн припасов, а не пять, доставленные туда. Проблема заключалась

в том (как он и прочие участники санного отряда убедились той ночью, когда чудовищный зверь разодрал палатку, стоявшую рядом с капитанской, и утащил бы матросов Джорджа Киннарда и Джона Бейтса, не пустись они наутек), что любой лагерь на плоском каменистом, открытом всем ветрам пятачке суши защитить от нападения не представлялось возможным. На кораблях, покуда они не развалились, обшивка корпуса и приподнятая верхняя палуба служили своего рода стенами, превращавшими оба судна в подобие крепости. На каменистом берегу и в палатках, сколь угодно тесно поставленных, потребуется по меньшей мере двадцать вооруженных человек, несущих дозор днём и ночью, чтобы охранять периметр лагеря, и даже тогда этот зверь может напасть на них прежде, чем часовые успеют среагировать. Все, кто ходил на Кинг-Уильям и ночевал там и на льду, знали это. И по мере того, как ночи становились длиннее, страх перед ночными часами в палатках укоренялся в душах людей все глубже.

Крозье отпил еще виски.

Был апрель 1843 года – ранняя осень в Южном полушарии, хотя дни еще стояли длинные и теплые, – когда «Эребус» и «Террор» возвратились на Землю Ван-Димена.

Росс и Крозье снова гостили в губернаторском доме – который старожилы Хобарта официально называли правительственной резиденцией, – но на сей раз пасмурная тень уныния лежала на челе супругов Франклин. Крозье, счастливый возможностью находиться рядом с Софией, не хотел замечать этого, но даже веселая и жизнерадостная София была подавлена тягостной атмосферой – событиями, заговорами, предательствами, разоблачениями, кризисами, – царившей в Хобарте в течение двух лет, проведенных «Эребусом» и «Террором» во льдах, и за первые два дня своего пребывания в правительственной резиденции он узнал достаточно, чтобы понять причину уныния, владевшего Франклинами.

Похоже, местные мелкие землевладельцы, от имени которых выступал один подлый иуда в лице управляющего колонией капитана Джона Монтегю, на шестом году пребывания сэра Джона в должности губернатора решили, что он просто-напросто их не устраивает, как не устраивает его жена, прямодушная и неординарная леди Джейн. От самого сэра Джона Крозье слышал (на самом деле случайно подслушал, когда удрученный сэр Джон разговаривал с капитаном Россом в своем полном книг кабинете с горящим, несмотря на восьмидесятиградусную жару^[8], камином, где трое мужчин пили бренди и курили сигары) лишь одно пояснительное замечание: что местные жители «обнаруживают известную

недоброжелательность и прискорбное непонимание общественных интересов».

От Софии Крозье узнал, что сэр Джон – по крайней мере, в глазах общественности – из «человека, который съел свои башмаки» превратился сначала в «человека, который мухи не обидит» (каковое определение он сам к себе постоянно применял), а затем получил широко распространенное на острове прозвище «размазни и бабы». Последнее, по заверениям Софии, объяснялось неприязнью местных жителей к леди Джейн, а равно попытками сэра Джона и его супруги улучшить положение туземцев и заключенных, которые работали там в нечеловеческих условиях.

– Понимаете, предыдущие губернаторы просто отдавали заключенных внаем для осуществления безумных проектов местных плантаторов и городских предпринимателей, получали свою долю прибыли и держали язык за зубами, – объяснила София Крэкрофт, когда они прогуливались в тенистых садах правительственной резиденции. – Дядя Джон никогда не играл в такие игры.

– Безумные проекты? – переспросил Крозье.

Он остро сознавал, что ладонь Софии лежит у него на руке, пока они идут и разговаривают приглушенными голосами, одни в теплых сумерках.

– Если владелец плантации хочет проложить новую дорогу на своей земле, – сказала София, – предполагается, что губернатор должен дать ему внаем шестьсот изнуренных голодом заключенных – или тысячу, – которые будут работать с рассвета до глубокой ночи, в ножных и ручных кандалах, под палящим тропическим солнцем, без воды и пищи, подвергаясь жестокой порке, коли они упадут или споткнутся.

– Боже мой, – сказал Крозье.

София кивнула. Она продолжала смотреть себе под ноги, на белый булыжник садовой дорожки.

– Управляющий колонии Монтегю решил, что заключенные должны вырыть карьер – хотя никакого золота на острове никогда не находили, – и несчастных поставили на эту работу. К тому времени, когда проект закрыли, глубина карьера превышала четыреста футов – он постоянно затапливался, уровень грунтовых вод здесь очень высокий, разумеется, – и говорят, каждый вырытый фут этого мерзкого карьера стоил жизни двум или трем заключенным.

Крозье удержался от того, чтобы снова не воскликнуть «боже мой», но, по правде говоря, только эти слова и пришли ему на ум.

– Через год после вашего отплытия, – продолжала София, – Монтегю –

этот скользкий тип, эта гадина – убедил дядю Джона уволить местного врача – человека очень популярного среди приличных людей здесь – по сфабрикованному обвинению в нарушении служебного долга. Это разделило колонию. Все общественное негодование обрушилось на голову дяди Джона и тети Джейн, хотя тетя Джейн с самого начала возражала против увольнения врача. Дядя Джон – вы знаете, Френсис, как он не любит конфликтовать, а тем более прибегать к каким-либо карательным мерам, вот почему он часто говорил, что мухи не обидит...

– Да, – сказал Крозье, – я однажды видел, как он осторожно выносит муху из гостиной и отпускает на волю.

– Дядя Джон, прислушавшись к совету тети Джейн, восстановил врача в прежней должности, но тем самым заимел заклятого врага в лице Монтегю. Перебранки и обвинения стали публичными, и Монтегю, в сущности, назвал дядю Джона лжецом.

– Боже мой, – сказал Крозье.

А подумал он следующее: «На месте Франклина я бы вызвал этого негодяя Монтегю на поле чести и там отстрелил ему яйца, прежде чем вышибить мозги».

– Надеюсь, сэр Джон уволил мерзавца.

– О да, – сказала София, печально усмехнувшись, – но от этого положение только усугубилось. Монтегю вернулся в прошлом году в Англию на том же корабле, с которым туда отправилось письмо дяди Джона с уведомлением об увольнении, и, на нашу беду, оказалось, что Монтегю является близким другом лорда Стенли, министра по делам колоний.

«Да уж, губернатор действительно попал в хороший переплет», – подумал Крозье, в то время как они приблизились к каменной скамье в дальнем конце сада.

– Плохо дело, – сказал он.

– Хуже, чем дядя Джон и тетя Джейн могли себе представить, – сказала София. – Корнуэльская «Кроникл» опубликовала длинную статью под названием «Бездарное царствование героя-полярника». Местная «Таймс» ополчилась на тетю Джейн.

– Да в чем же леди Джейн-то виновата?

София невесело улыбнулась:

– Тетя Джейн, она вроде меня... ну, не такая, как все. Полагаю, вы видели ее комнату здесь, в резиденции губернатора, когда дядя Джон показывал вам поместье во время прошлого вашего визита?

– О да, – сказал Крозье. – Коллекция у нее замечательная.

Будуар леди Джейн – в той своей части, куда они получили доступ, – был заполнен от покрытого коврами пола до потолка скелетами животных, осколками метеоритов, окаменелостями, дубинками и барабанами аборигенов, резными деревянными масками, десятифутовыми веслами, при посредстве которых британский военный корабль «Террор», наверное, мог бы идти со скоростью пятнадцать узлов, многочисленными чучелами птиц и по меньшей мере одним искусно выполненным чучелом обезьяны. Крозье никогда прежде не видел ничего подобного ни в одном музее или зоосаде, а уж тем более в дамской опочивальне. Разумеется, Френсис Крозье видел очень и очень мало дамских опочивален на своем веку.

– Один человек, гостивший здесь, написал в хобартскую газету, что – я цитирую дословно, Френсис, – «личные апартаменты супруги нашего губернатора больше похожи на музей или бродячий зверинец, нежели на будуар леди».

Крозье поцокал языком и устыдился своих мыслей аналогичного свойства.

– Так этот Монтегю по-прежнему причиняет вам неприятности? – спросил он.

– Больше, чем когда-либо. Лорд Стенли – эта гадина из гадин – вернул сюда Монтегю, восстановил в прежней должности и прислал дяде Джону письменный выговор столь ужасный, что тетя Джейн в разговоре со мной сравнила его с поркой кнутом.

«Я бы отстрелил мерзавцу Монтегю яйца, а потом отрезал бы яйца лорду Стенли и подал бы их ему на завтрак сваренными в мешочек», – подумал Крозье.

– Это ужасно, – сказал он.

– Но дальше было хуже, – сказала София.

В полумраке Крозье посмотрел, не плачет ли она, но никаких слез не увидел. София не относилась к числу плаксивых женщин.

– Стенли обнародовал свой выговор? – предположил Крозье.

– Этот... гнусный человек... отдал копию официального выговора своему другу Монтегю, прежде чем отослал письмо дяде Джону, а он, подлеший из подлецов, поспешил отправить ее сюда с самым скорым почтовым судном. Копии разошлись по городу, по рукам всех недоброжелателей дяди Джона за несколько месяцев до того, как дядя Джон получил письмо в официальном порядке. Вся колония хихикала каждый раз, когда дядя Джон или тетя Джейн посещали какой-нибудь концерт или присутствовали в силу необходимости на каких-нибудь официальных мероприятиях. Я извиняюсь за свои выражения, не

подобающие леди.

«Я бы скормил лорду Стенли его поганые яйца, запеченные в куче его собственного дерьма», – подумал Крозье. Вслух он не сказал ничего, но кивнул, давая понять, что прощает Софии выражения, не подобающие леди.

– И когда дядя Джон и тетя Джейн думали, что хуже уже быть не может, – продолжала София слегка дрожащим голосом (но дрожащим от гнева, не сомневался Крозье, а не от слабости), – Монтегю послал своим здешним друзьям-плантаторам пакет, содержащий триста страниц частных писем, документов из архива губернаторской резиденции и официальных донесений, которые он использовал, чтобы скомпрометировать губернатора в глазах лорда Стенли. Означенный пакет хранится в Центральном банке колонии здесь, в столице, и дядя Джон знает, что две трети местных знатных семейств и крупных предпринимателей совершили паломничество в банк и ознакомились с содержанием бумаг. В них капитан Монтегю называет губернатора «круглым дураком»... и, насколько нам известно, это самое вежливое высказывание из всех, употребленных в этих отвратительных документах.

– Похоже, положение сэра Джона здесь крайне неблагоприятно, – сказал Крозье.

– Иногда я опасюсь за его рассудок, если не за жизнь, – согласилась София. – Губернатор сэр Джон Франклин человек ранимый.

«Он мухи не обидит», – подумал Крозье.

– Он подаст в отставку?

– Его отзовут в Англию, – сказала София. – Вся колония знает это. Вот почему тетя Джейн находится на грани нервного срыва... я никогда еще не видела ее в таком состоянии. Дядя Джон ожидает официального уведомления о своем отзыве к концу августа, если не раньше.

Крозье вздохнул, выбрасывая вперед трость. Он мечтал о встрече с Софией два года в антарктических льдах, но теперь понимал, что их визит останется незаметным событием на фоне обычных политических дрызг и оскорбительных нападок на губернатора. Он подавил следующий вздох. Ему было сорок девять лет, а он вел себя как дурак.

– Вы не хотели бы прогуляться к Утконосову пруду завтра? – спросила София.

Крозье налил еще виски в стакан. Сверху донесся леденящий душу вопль, но то просто завывал арктический ветер в остатках такелажа. Капитан искренне сочувствовал вахтенным.

Бутылка была почти пустой.

Тогда и там Крозье решил, что они возобновят переправку провианта и снаряжения на Кинг-Уильям этой зимой, несмотря на темноту и снежные бури, несмотря на постоянную угрозу со стороны существа во льдах. У него не оставалось выбора. Если им придется покинуть корабли в ближайшие месяцы – а сдавленный льдами «Эребус» уже обнаруживал признаки неминуемого разрушения, – они не смогут просто стать лагерем здесь, на льду, рядом с местом гибели кораблей. В обычных обстоятельствах такое решение имело бы смысл – далеко не одна злополучная полярная экспедиция в аналогичной ситуации располагалась лагерем на льду и ждала, когда течение Баффинова залива отнесет их на сотни миль к югу, в открытое море, – но этот лед никуда не двигался, а здесь, на замерзшем море, защитить лагерь от чудовищного зверя будет еще труднее, чем на каменистом берегу полуострова или острова в двадцати пяти милях отсюда, в темноте. И он уже схоронил там свыше десяти тонн провианта и снаряжения. Остальное надлежит переправить туда до возвращения солнца.

Крозье отхлебнул немного виски и решил, что сам возглавит следующий санный поход. Горячая пища являлась единственным средством, способным укрепить моральное состояние замерзших людей, лишенных надежды на скорое спасение и дополнительных порций рома, посему в ближайшее время он распорядится снять камбузные печи с вельботов – надежных шлюпок, оснащенных для продолжительного плавания на случай, если настоящие корабли придется бросить в море. Фрейзеровские патентованные плиты, установленные на «Терроре» и «Эребусе», слишком громоздки и неподъемны для транспортировки – и мистер Диггл будет выпекать на своей плите лепешки вплоть до момента, когда Крозье отдаст приказ покинуть корабль, – так что лучше воспользоваться печами с вельботов. Четыре железные печи – тяжеленные, что дьяволы копыта, – тащить будет трудно, особенно вместе с дополнительным грузом снаряжения, продовольствия и одежды, но на берегу они будут в безопасности и их можно будет быстро растопить в любой момент, хотя сам уголь тоже придется перевезти по искрещенному торосными грядками замерзшему морю, преодолев двадцать пять миль выстуженного ада. На Кинг-Уильяме не росли ни деревья, ни кустарник, как не росли они нигде в пределах многих сотен миль к югу отсюда. Печи отправятся на берег в следующую очередь, решил Крозье, и он отправится с ними. Они поволокут груженные сани в кромешной тьме и лютном холоде – и пусть дьявол заберет оставших.

Следующим апрельским утром 1843 года Крозье и София выехали к

Утконосову пруду.

Крозье ожидал, что они поедут в легкой двухместной коляске, на какой выезжали в Хобарт, но София распорядилась оседлать двух лошадей и погрузить на мула корзинку со съестными припасами и различные принадлежности для пикника. Она сидела в седле по-мужски. Предмет одежды, поначалу принятый Крозье за темную «юбку», на деле оказался гаучосами. Белая холщовая блузка, надетая с мешковатыми брюками, казалась одновременно по-женски изящной и по-мужски непритязательной. София была в широкополой шляпе, защищавшей лицо от солнца, и в высоких, до блеска начищенных сапожках из мягкой кожи, стоимость которых, вероятно, равнялась годовому капитанскому жалованью Крозье.

Они двинулись на север от правительственной резиденции и столицы по узкой дороге, которая пролежала между плантациями, мимо огороженных барачных штрафной колонии, тянулась через участок тропического леса, а затем снова выводила на открытую возвышенную местность.

– Я думал, утконосы водятся только в Австралии, – сказал Крозье, тщетно пытаясь устроиться в седле поудобнее.

Он никогда прежде не имел ни возможности, ни повода освоить искусство верховой езды. Голос у него по-дурацки вибрировал и пресекался от сильной тряски. София же сидела в седле абсолютно непринужденно; она и лошадь двигались слаженно, словно слившись в единое целое.

– О нет, дорогой мой, – сказала София. – Эти странные маленькие животные водятся лишь в отдельных прибрежных районах континента к северу от нас, но на Земле Ван-Димена обитают повсюду. Однако они очень пугливы. В окрестностях Хобарта утконосы больше не встречаются.

При словах «дорогой мой» у Крозье запылали щеки.

– Они очень опасны? – спросил он.

София весело рассмеялась:

– Самцы действительно опасны в период брачного сезона. У них есть скрытые ядовитые шпоры на задних лапах, и в период спаривания яд становится довольно сильным.

– Достаточно сильным, чтобы убить человека? – спросил Крозье.

Предположение, что маленькие забавные зверьки, которых он видел лишь на картинках, могут быть опасны, он высказал в шутку.

– Не всякого человека, – сказала София. – Впрочем, выжившие после укула утконосовой шпорой говорят, мол, боль такая дикая, что они предпочли бы умереть.

Крозье бросил взгляд на молодую женщину, ехавшую справа от него. Иногда было непонятно, когда София шутит, а когда говорит серьезно. В данном случае, казалось, она говорила правду.

– А сейчас у них, часом, не брачный сезон? – спросил он.

София снова улыбнулась:

– Нет, дорогой Френсис. Сезон у утконосов продолжается с августа по октябрь. Мы будем в полной безопасности. Если только не встретим дьявола.

– С рогами и копытами?

– Нет, дорогой мой. Так называемого тасманийского дьявола.

– Я о них слышал, – сказал Крозье. – Говорят, это ужасные звери с пастью размером с трюмный люк. Они считаются свирепыми, ненасытными хищниками, способными проглотить коня или тасманского тигра целиком.

София кивнула с серьезным выражением лица:

– Истинная правда. Тасманийский дьявол – косматое чудовище с могучей грудью, прожорливое и яростное. И он издает такие жуткие звуки – не лай, не рычание, не рев, но скорее хриплые нечленораздельные вопли и леденящий душу вой, какие могут доноситься из горящего сумасшедшего дома, – что, ручаюсь вам, ни один человек, однажды их слышавший, – даже столь отважный путешественник, как вы, Френсис Крозье, – никогда не осмелится отправиться один в здешние леса или луга ночью.

– А вы слышали? – спросил Крозье, снова взглядываясь в серьезное лицо девушки в попытке понять, не морочит ли она ему голову.

– О да. Неописуемые звуки, нагоняющие смертельный ужас. Они повергают жертву в оцепенение на несколько секунд, которых дьяволу достаточно, чтобы разинуть свою громадную пасть и проглотить добычу целиком. Сравниться с ними могут только душераздирающие предсмертные крики самой жертвы. Однажды я слышала, как стадо овец истошно блеяло и визжало, пока один-единственный дьявол пожирал всех по очереди, не оставляя даже копыт.

– Вы шутите.

Крозье по-прежнему пристально всматривался в лицо Софии, пытаясь понять, так ли это.

– Я никогда не шучу, когда речь идет о дьяволе, Френсис, – сказала она.

Они снова въехали под сень тропического леса.

– А утконосов ваши дьяволы едят? – спросил Крозье.

Он задал вопрос совершенно серьезно, но был рад, что ни Джеймс

Росс, ни любой из членов его судовой команды при этом не присутствуют. Вопрос звучал глупо.

– Тасманийский дьявол ест все, – сказала София. – Но опять-таки, вам повезло, Френсис. Дьявол охотится по ночам, и мы – если только не заблудимся очень уж сильно – увидим Утконосов пруд и самого утконоса, перекусим и вернемся домой до наступления темноты. Но избави бог нам оказаться здесь в лесу ночью одним.

– Вы боитесь дьявола? – спросил Крозье.

Он хотел задать вопрос беспечным, поддразнивающим тоном, но сам услышал напряженные нотки в своем голосе.

– Нет, дорогой мой, – с придыханием прошептала молодая женщина. – Я боюсь не дьявола. Я боюсь за свою репутацию.

Прежде чем Крозье успел сообразить, что ответить, София весело рассмеялась, пришпорила лошадь и галопом ускакала вперед по дороге.

Виски в бутылке осталось меньше чем на два полных стаканчика. Крозье вылил бо́льшую часть, поднес стаканчик к глазам и посмотрел сквозь золотистую жидкость на свет мерцающего масляного фонаря, висящего на внутренней перегородке. Потом медленно выпил.

Они так и не увидели утконоса. София уверяла, что зверька практически в любое время можно увидеть здесь, в крохотном круглом пруду, меньше пятидесяти ярдов в диаметре, расположенном в четверти мили от дороги, в густом лесу, и что входы в его нору находятся под корявыми корнями огромного дерева, спускающимися по крутому склону к воде, но утконоса они так и не увидели.

Зато он увидел Софию Крэкрофт обнаженной.

Они устроили замечательный пикник на тенистом берегу пруда, расстелив на траве дорожную скатерть, на которой разместились корзинка с едой, стаканы, судки и они сами. София приказала слугам уложить завернутые в водоотталкивающую ткань ростбифы в то, что здесь ценилось на вес золота и ничего не стоило там, откуда прибыл Крозье, – в лед, – чтобы они не испортились за время утренней поездки. В судках оказались печеный картофель и вкуснейший овощной салат. София также прихватила бутылку очень хорошего бургундского с хрустальными, украшенными гербом бокалами из сервиза сэра Джона и выпила больше, чем Крозье.

После ланча они полулежали, опершись на локоть, всего в нескольких футах друг от друга и с час болтали о том о сем, постоянно поглядывая на темную гладь пруда.

– Мы ждем утконоса, мисс Крэкрофт? – спросил Крозье во время короткой паузы, возникшей в разговоре об опасностях и прелестях

арктического путешествия.

– Нет, я думаю, он бы уже давно объявился, если бы хотел показаться нам, – сказала София. – Я жду, когда мы пойдем купаться.

Крозье недоуменно уставился на нее. Она явно не взяла с собой купального костюма. У него вообще не имелось купального костюма. Ясное дело, София снова шутила, но она неизменно сохраняла такой серьезный вид, что он никогда не чувствовал стопроцентной уверенности. От этого ее проказливое чувство юмора еще сильнее восхищало Крозье.

Продолжая свою щекочущую нервы шутку, она поднялась на ноги, стряхнула сухие листья с темных гаучосов и огляделась по сторонам:

– Пожалуй, я разденусь вон за теми кустами и войду в воду там, с травянистого мыска. Разумеется, Френсис, вы вольны присоединиться ко мне или нет – согласно вашим представлениям о правилах приличия.

Он улыбнулся, стараясь принять вид искушенного джентльмена, но улыбка получилась неуверенной.

София направилась к густым кустам, не оборачиваясь. Крозье остался лежать у скатерти в прежней позе, с понимающей шутливой улыбкой на чисто выбритом лице, но, когда он увидел, как белая блузка внезапно взмывает вверх, стянутая через голову тонкими бледными руками, и повисает на ветках высокого куста, лицо у него застыло. В отличие от члена. Под бриджами и слишком коротким жилетом мужское естество Крозье в две секунды перешло из положения «вольно» в положение «вытянуться по струнке».

Темные гаучосы, трусики и прочие белые, оборчатые, безымянные предметы туалета присоединились к висящей на кусте блузке несколькими секундами позже.

Крозье мог только пялиться. Его непринужденная улыбка превратилась в застывшую гримасу покойника. Он чувствовал, что глаза у него вылезают из орбит, но никакими усилиями не мог отвести взгляд в сторону.

София Крэкрофт вышла на солнечный свет.

Абсолютно голая. Со свободно опущенными вдоль тела руками, с чуть подвернутыми ладонями. Груды у нее были небольшие, но очень высокие и очень белые, с крупными сосками, розовыми, а не коричневыми, как у всех других женщин – портовых девок, редкозубых проституток, туземок, – которых Крозье доводилось видеть голыми прежде.

Да видел ли он когда-нибудь прежде по-настоящему голую женщину? Белую женщину? Тогда он подумал: нет. А если и видел, знал он, это не имело ровным счетом никакого значения.

Солнечный свет отражался от ослепительно-белой кожи молодой Софии. Она не пыталась прикрыться. Оцепеневший Крозье – он по-прежнему полулежал в томной позе, с бессмысленной улыбкой на лице, не в силах пошевелиться, и только член у него набух еще сильнее и болезненно ныл – осознал, что поражен тем, какие у этой богини, этого идеала английской женщины, этой прекрасной девушки, которую он умом и сердцем уже выбрал себе в жены и в матери своих детей, густые, буйно растущие лобковые волосы, местами словно стремящиеся вырваться за пределы отведенного им черного треугольника. «Непокорные» – было единственным словом, пришедшим Крозье в голову, во всех прочих отношениях пустую. София также вынула шпильки из прически, распустив по плечам свои длинные волосы.

– Вы идете, Френсис? – негромко спросила она, останавливаясь на травянистом мыске, таким нейтральным тоном, словно интересовалась, не желает ли он съесть еще немного салата. – Или собираетесь просто таращиться?

Не сказав более ни слова, она нырнула, описав в воздухе идеальную дугу; бледные руки рассекли зеркальную гладь пруда за долю секунды до того, как вся она ушла под воду.

К этому моменту Крозье уже открыл рот, словно собираясь заговорить, но способность членораздельной речи явно еще не вернулась к нему. Мгновение спустя он закрыл рот.

София легко плавала взад-вперед. Он видел ее выпуклые белые ягодички под белой сильной спиной, на которой тремя отдельными прядями лежали мокрые волосы, похожие на три длинных мазка кистью, обмакнутой в чернейшие индийские чернила.

Она остановилась в дальнем конце пруда, подле огромного дерева, на которое указала сразу по прибытии сюда, и приняла вертикальное положение, свободно перебирая ногами в воде.

– Нора утконоса находится под этими корнями! – крикнула она. – Похоже, он не хочет выйти поиграть сегодня. Он пугливый. Не будьте таким же, Френсис. Пожалуйста.

Словно в сомнамбулическом сне, Крозье встал и пошел к самым густым кустам, какие сумел найти рядом с водой на стороне пруда, противоположной той, где находилась София. Пальцы у него дико тряслись, пока он возился с пуговицами. Он вдруг осознал, что складывает свою одежду аккуратными плотными квадратиками, каковые квадратик укладывает на траве под ногами. Он был уверен, что на раздевание у него ушел не один час. Бешено пульсирующий член оставался в напряженном

состоянии. Как бы Крозье ни хотел, как бы ни старался усилием воли снять эрекцию, тот упорно продолжал стоять торчком, поднимаясь к самому пупку и упруго покачиваясь, с красной, как сигнальный фонарь, тугой головкой, вылезшей из крайней плоти.

Крозье в нерешительности стоял за кустами, слыша плеск воды: София продолжала плавать. Если он промедлит еще минуту, знал он, она вылезет из пруда и скроется за своим кустом, чтобы обсохнуть, а он будет до конца своих дней проклинать себя за трусость и глупость.

Глядя сквозь ветки куста, Крозье дождался момента, когда леди повернулась к нему спиной и поплыла к дальнему берегу, а потом стремительно и неловко бросился в воду – скорее упав, нежели нырнув, наплевав на всякое изящество движений, лишь бы только укрыть свой предательски торчащий член под водой, пока мисс Крэкрофт не смотрит.

Когда он вынырнул, отфыркиваясь и отдуваясь, она перебирала в воде ногами в двадцати футах от него и улыбалась.

– Я очень рада, что вы решили присоединиться ко мне, Френсис. Теперь, если утконос со своими ядовитыми шпорами выйдет к нам, вы сможете защитить меня. Не осмотреть ли нам вход в нору? – Она грациозно развернулась и устремилась к огромному дереву, нависавшему над прудом.

Поклявшись себе держаться по меньшей мере в десяти – нет, в пятнадцати футах от нее, как сильно осевший корабль держится поодаль от подветренного берега, Крозье поплыл за ней по-собачьи.

Пруд оказался на удивление глубоким. Остановившись в двенадцати футах от Софии и принявшись неуклюже перебирать ногами в воде, чтобы удержать голову над поверхностью, Крозье осознал, что даже здесь, у самого берега, где корни огромного дерева спускались по крутому откосу в воду и высокая трава нависала над ней, отбрасывая послеполуденные тени, он не может нашарить ногами дно.

Внезапно София поплыла к нему.

Должно быть, девушка увидела панику в глазах Крозье, который не знал, рвануться ли ему прочь от нее или же просто каким-то образом предупредить о своем непристойно возбужденном состоянии, ибо она остановилась на полугребке – и он увидел белые груди, колышущиеся под водой, – кивком указала налево и легко поплыла к узловатым корням, сползающим с откоса.

Крозье последовал за ней.

Они ухватились за корни – всего футах в четырех друг от друга, но вода здесь, по счастью, была темной ниже уровня груди, – и София указала на черный провал под путаницей корявых корней, который мог быть

входом в нору или просто впадиной на крутом заиленном склоне.

– Это «становье», или логово холостяка, не гнездовье, – сказала София.

У нее были восхитительные плечи и ключицы.

– Что? – спросил Крозье.

Он страшно обрадовался – и слегка изумился, – что дар речи вернулся к нему, но остался весьма недоволен странным, сдавленным звучанием своего голоса и тем фактом, что зубы у него стучали. Вода была отнюдь не холодной.

София улыбнулась. Прядь темных волос прилипла у нее к впалой щеке.

– Утконосы роют норы двух видов, – негромко сказала она. – Такие вот – так называемые «становья», по определению отдельных натуралистов, – которыми и самец и самка пользуются все время, кроме периода случного сезона. Здесь живут холостяки. «Гнездовье» же вырывает самка специально для размножения, а когда спаривание происходит, она вырывает еще одну маленькую норку, служащую своего рода «детской».

– О, – сказал Крозье, цепляясь за корень так крепко, как, бывало, цеплялся за какой-нибудь такелажный трос, находясь на высоте двухсот футов на мачте во время урагана.

– Утконосы, вы знаете, откладывают яйца, – продолжала София, – как рептилии. Но самки выделяют молоко, как млекопитающие.

Сквозь воду он видел темные кружки в центре белых полушарий ее груди.

– Неужели? – сказал он.

– Тетя Джейн, которая, вы знаете, сама немного натуралист, считает, что свои ядовитые шипы на задних лапах самец использует не только для того, чтобы драться с другими утконосами-самцами и незванными гостями, но и для того, чтобы прицепляться к самке, когда они плавают и спариваются одновременно. Вероятно, он не выделяет яд, когда случается с самкой.

– Да? – сказал Крозье и задался вопросом, не следовало ли ему сказать: «Нет?» Он понятия не имел, о чем они разговаривают.

Перехватываясь руками за корни, София приблизилась к нему вплотную и положила прохладную ладонь – на удивление крупную – ему на грудь.

– Мисс Крэкфорт... – начал он.

– Тш-ш, – сказала София. – Молчите.

Она перенесла левую руку на плечо Крозье и теперь повисла на нем,

как недавно висела на корне. Ее правая ладонь скользнула по груди вниз, провела по животу, по правому бедру, потом снова поднялась к животу и снова спустилась ниже.

– О боже, – прошептала она Крозье в ухо. Теперь она прижималась щекой к его щеке, ее мокрые волосы лезли ему в глаза. – Не ядовитый ли шип я обнаружила здесь?

– Мисс Крэ... – снова начал он.

Она сжала ладонь. Она грациозно приподнялась в воде, внезапно зажав между своими сильными ногами его левое бедро, а затем опустилась на него всей своей теплой тяжестью и начала об него тереться. Крозье немного приподнял левую ногу, чтобы лицо Софии оставалось над водой. Глаза у нее были закрыты. Ее ягодицы плотно прижимались к его бедру, а груди – к его груди; правой рукой она принялась ласкать напряженный член.

Крозье застонал, но то был лишь предупреждающий стон, не стон сладостного облегчения. София протяжно, шумно выдохнула, уткнувшись лицом ему в шею. Он чувствовал жар и влагу ее промежности на своем бедре. «Как может быть что-нибудь мокрее воды?» – подумал он.

Потом она застонала в голос; Крозье тоже закрыл глаза – жалея, что не может видеть Софию, но не имея выбора, – а она еще крепче прижалась к нему, двигаясь вверх-вниз частыми резкими толчками, и заработала рукой быстрее – настойчиво, умело и требовательно.

Крозье зарылся лицом в ее мокрые волосы, когда выбрасывал семя в воду, содрогаясь всем телом. Он думал, пульсирующее семяизвержение никогда не кончится, и он немедленно извинился бы перед Софией, если бы мог говорить. Вместо этого он снова застонал и едва не отпустил корень, за который держался. Они оба на несколько мгновений погрузились в воду выше подбородка, пуская пузыри.

Что больше всего поразило Френсиса Крозье тогда (а тогда все на свете изумляло его и ничто на свете не волновало), так это тот факт, что леди столь энергично двигала тазом, столь сильно сдавливала бедрами его ногу, столь плотно прижималась щекой к его лицу, столь крепко зажимала глаза и столь громко стонала. Ведь женщины не могут испытывать такое же острое наслаждение, как мужчины? Да, некоторые портовые девки стонали, но, несомненно, потому лишь, что знали, что мужчинам это нравится, – они, ясное дело, ничего не чувствовали.

И все же...

София немного отстранилась, заглянула Крозье в глаза, непринужденно улыбнулась, поцеловала в губы долгим влажным поцелуем,

а потом подтянула колени к груди, резко оттолкнулась ногами от корней и поплыла к берегу, где ее одежда покоилась на чуть колеблемом легким ветерком кусте.

Невероятно, но они оделись, собрали и упаковали вещи, навьючили на мула корзины, сели на лошадей и доехали до резиденции губернатора, не проронив по дороге ни слова.

Невероятно, но вечером во время обеда София Крэкрофт весело смеялась и болтала со своей тетушкой, сэром Джоном и даже с капитаном Джеймсом Кларком Россом, против обыкновения словоохотливым, тогда как Крозье почти весь обед просидел молча, уставившись в стол. Он мог только восхищаться ее... как там выражаются «лягушатники»?.. ее *sang-froid*^[9], ибо ум и душа самого Крозье, казалось, находились в точно таком состоянии, в каком пребывало его тело в момент бесконечно долгого оргазма в Утконосовом пруду: словно распались на атомы и рассеялись по всем уголкам вселенной.

И все же мисс Крэкрофт держалась с ним без малейшего намека на холодность или укоризну. Она приветливо улыбалась Крозье, обращалась к нему с разными замечаниями и пыталась вовлечь в разговор, как делала каждый вечер в губернаторском доме. И безусловно, ее улыбка была чуть теплее обычного? Чуть нежнее? Даже чувственнее? Должно быть, так.

Когда Крозье после обеда предложил Софии прогуляться по саду, она с извинениями отказалась, сославшись на уже данное обещание составить партию в карты капитану Джеймсу Россу в главной гостиной, – и не желает ли командор Крозье присоединиться к ним?

Нет, командор Крозье в свою очередь с извинениями отказался от такого предложения, поняв по теплым и непринужденным ноткам, подспудно звучавшим в неизменно теплом и непринужденном голосе Софии, что сегодня вечером – и вплоть до момента, когда они встретятся наедине, чтобы обсудить свое совместное будущее, – в резиденции губернатора все должно идти обычным порядком. Командор Крозье громко объявил, что у него слегка побаливает голова и что он прощается с ними до завтрашнего утра.

Он проснулся, оделся в свою лучшую форму и принялся мерить шагами залы особняка еще до рассвета следующего дня, в полной уверенности, что Софии точно так же не терпится встретиться с ним пораньше.

Он ошибался. Первым к завтраку вышел сэр Джон, который завязал бесконечную, невыносимо скучную беседу о разных пустяках с Крозье, никогда не владевшим пресным искусством пустой болтовни и уж тем

более не способным поддерживать разговор о расценках, какие надлежит установить за сдачу заключенных внаем для рытья каналов.

Следующей спустилась вниз леди Джейн, и даже Росс вышел к завтраку прежде, чем наконец соизволила появиться София. К этому моменту Крозье пил уже шестую чашку кофе (он научился отдавать предпочтение кофе перед чаем во время зимовок с Парри в северных льдах много лет назад), но он оставался за столом, покуда молодая леди управлялась со своими традиционными яйцами, колбасой, бобами, тостами и чаем.

Сэр Джон куда-то исчез. Леди Джейн испарилась за ним следом. Капитан Росс удалился неспешной походкой. София наконец закончила свой завтрак.

– Не желаете ли прогуляться по саду? – спросил Крозье.

– Так рано? – сказала она. – Сейчас уже солнце припекает вовсю. Нынче очень жаркая осень.

– Но... – начал Крозье, пытаясь выразить взглядом всю настойчивость своего приглашения.

София улыбнулась:

– Я с великим удовольствием прогуляюсь с вами по саду, Френсис.

Они медленно прохаживались взад-вперед по мощеной дорожке томительно долгое время, ожидая, когда единственный садовник из заключенных закончит сгружать с подводы тяжелые мешки с удобрением.

Когда наконец садовник ушел, Крозье повел Софию против ветра, к каменной скамье в дальнем и самом тенистом углу английского сада. Он помог ей усесться поудобнее и подождал, когда она раскроет свой зонтик. София подняла на него взгляд – Крозье был слишком взволнован, чтобы сидеть, и стоял над ней, нервно переминаясь с ноги на ногу, – и ему показалось, что она смотрит на него выжидательно.

Наконец он совладал с собой настолько, чтобы опуститься на одно колено:

– Мисс Крэкрофт, я прекрасно сознаю, что я простой командор военно-морского флота и что вы достойны внимания адмирала... нет, принца крови, повелевающего адмиралу... но вы должны знать – и я знаю, что вы знаете, – сколь сильные чувства я питаю к вам, и коли вы находите в душе своей ответные чувства...

– О господи, Френсис, – прервала его София, – надеюсь, вы не собираетесь сделать мне предложение?

Крозье не знал, что ответить. Стоя на одном колене, со стиснутыми, словно в молитве, руками, он ждал.

София похлопала его по плечу:

– Командор Крозье, вы замечательный человек. Истинный джентльмен, несмотря на все шероховатости, сгладить которые вряд ли когда-нибудь удастся. И вы человек умный – и, как таковой, прекрасно понимаете, что я никогда не стану женой командора. Такой брак меня не устраивает. Такой брак решительно... неприемлем.

Крозье попытался заговорить. Никакие слова не шли на ум. Часть его мозга, все еще работавшая, силилась закончить бесконечную фразу, содержащую предложение о браке, которую он сочинял всю бессонную ночь. Он уже преодолел почти треть фразы, худо-бедно.

София тихо рассмеялась и покачала головой. Она стрельнула глазами по сторонам, чтобы убедиться, что в пределах видимости и слышимости нет никого, даже какого-нибудь заключенного.

– Пожалуйста, не беспокойтесь по поводу вчерашнего, командор Крозье. Мы провели чудесный день. Интерлюдия в пруду доставила удовольствие нам обоим. Это было естественное проявление моей... природы, а равно следствие взаимного чувства близости, которое мы испытывали те несколько минут. Но пожалуйста, дорогой Френсис, не впадайте в заблуждение, будто из-за нашей легкомысленной шалости вы обязаны или вынуждены предпринять какие-то шаги в моих интересах.

Он смотрел на нее.

София улыбнулась, но не так тепло, как прежде.

– Не воображайте, – сказала она так тихо, что слова прозвучали в горячем воздухе лишь немногим громче настойчивого шепота, – будто вы скомпрометировали мою девичью честь, командор.

– Мисс Крэкрофт... – снова начал Крозье и осекся.

Если бы его корабль несло к подветренному берегу, с вышедшими из строя помпами и четырьмя футами воды в трюме, со спутанными снастями и изодранными в клочья парусами, он бы знал, какие приказы отдать. Знал бы, что сказать. В данный момент никакие слова не шли на ум. Он чувствовал лишь нарастающие в душе боль и удивление, которые язвили тем сильнее, что казались давно знакомыми и понятными.

– Если бы я решила выйти замуж, – продолжала София, снова раскрывая зонтик и крутя его над головой, – я бы выбрала нашего удалого капитана Росса. Хотя быть женой простого капитана – тоже не мой удел. Сначала он должен получить звание рыцаря, впрочем, я уверена, это скоро случится.

Крозье напряженно смотрел Софии в глаза, силясь уловить в них хоть слабейший намек на шутливость.

– Капитан Росс помолвлен, – наконец проговорил он. Голос у него звучал хрипло, как у человека, прошедшего много дней без воды на необитаемом берегу. – Они собираются пожениться сразу по возвращении Джеймса в Англию.

– О, ерунда, – сказала София, вставая и снова крутя зонтик над головой. – Я тоже вернусь в Англию быстроходным пакетботом в ближайшем времени, еще до отъезда дяди Джона. Капитан Джеймс Кларк Росс видится со мной не в последний раз.

Она посмотрела сверху вниз на Крозье, по-прежнему стоявшего перед ней в нелепой позе: преклонив колено на белом гравии.

– Кроме того, – весело сказала она, – даже если капитан Росс женится на молодой претендентке, ждущей его на родине, – а мы с ним часто разговаривали о ней, и могу вас заверить, она глупа, – брак не есть нечто необратимое и непоправимое. Это не гамлетовский «безвестный край, откуда нет возврата». Многие мужчины благополучно возвращались из брака и находили женщину, созданную для них. Помяните мое слово, Френсис.

Тогда он наконец встал. Он встал и отряхнул белый песок со своих лучших парадных форменных брюк.

– Мне пора идти, – сказала София. – Тетя Джейн, капитан Росс и я сегодня утром едем в Хобарт, чтобы посмотреть новых племенных жеребцов, на днях ввезенных компанией «Ван-Димен». Вы вольны поехать с нами, коли желаете, Френсис, только, бога ради, прежде перемените платье и выражение лица.

Она легко дотронулась до руки Крозье и направилась обратно в дом, на ходу крутя зонтик над головой.

Крозье услышал приглушенные удары судового колокола наверху, пробившего восемь склянок. Четыре часа утра. В обычных обстоятельствах, то есть во время плавания, матросы сейчас поднялись бы с постелей и уже через полчаса принялись бы драить палубы и начищать все, что только можно. Но здесь, в царстве льда и темноты, а также ветра (Крозье слышал, как он продолжает завывать в снастях, предвещая очередную пургу, а ведь сейчас только десятое ноября их третьей зимы во льдах), людям позволялось спать допоздна, бездельничать, покуда не пробьют четыре склянки утренней вахты. То есть до шести утра. Потом холодный корабль оживет: по нему разнесутся громкие крики старшин и послышится глухой стук ног в мокалинах о палубу, когда матросы начнут поспешно выпрыгивать из подвесных коек, пока старшины не выполнили свои угрозы срезать с крюков все койки, в которых еще находятся люди.

По сравнению с напряженным графиком работы во время плавания это был праздный рай. Людям разрешалось не только спать допоздна, но и завтракать здесь, на жилой палубе, прежде чем приступить к выполнению своих утренних обязанностей.

Крозье посмотрел на бутылку и стакан. Оба были пустыми. Он взял со стола тяжелый пистолет – дополнительно отягощенный полным зарядом пороха и пуль. Рука чувствовала разницу в весе.

Потом он засунул пистолет в карман своего капитанского кителя, снял китель и повесил на крюк в переборке. Крозье тщательно протер стакан изнутри чистой тряпичей, которую Джопсон оставлял каждый вечер для этой цели, и убрал в выдвижной ящик стола. Затем он аккуратно поставил пустую бутылку в корзинку с крышкой, которую Джопсон оставлял у задвижной двери именно для этой цели. К тому времени, когда Крозье, выполнив свои служебные обязанности, вернется сюда на исходе темного дня, в корзинке будет стоять полная бутылка.

На мгновение он задумался, не стоит ли одеться потеплее и подняться на палубу – сменить мокасины из оленьей кожи на настоящие башмаки, надеть шерстяной шарф, шапку, свитера и всю верхнюю одежду, чтобы выйти в ветреную ночь и подождать, когда люди встанут, а потом спуститься к завтраку с офицерами и провести целый день без сна.

Он часто делал так по утрам.

Но только не сегодня. Сегодня он валился с ног от усталости. И было слишком холодно, чтобы оставаться здесь хотя бы еще минуту всего в четырех шерстяных и хлопчатобумажных фуфайках. Четыре утра, знал Крозье, это самый холодный час ночи – и час, когда почти все тяжелобольные и тяжелораненые выпускают дух и уносятся в тот самый поистине «безвестный край».

Крозье забрался под одеяла и уткнулся лицом в ледяной волосной тюфяк. Пройдет пятнадцать или более минут, прежде чем тепло его тела начнет нагревать постель. Если повезет, он уснет раньше. Если повезет, он урвет почти два часа пьяного сна, прежде чем начнется следующий день в царстве тьмы и холода. Если повезет, подумал Крозье, уже погружаясь в забытие, он вообще не проснется.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

13 ноября 1847 г.

Безмолвная пропала, и именно третьему лейтенанту Джону Ирвингу вменялось в обязанность отыскать ее.

Капитан не отдавал такого приказа... строго говоря. Но капитан Крозье действительно велел Ирвингу присматривать за эскимоской, когда капитаны решили оставить ее на борту «Террора» шесть месяцев назад, в июне, и капитан Крозье никогда не отменял того своего приказа, а потому Ирвинг чувствовал ответственность за нее. Помимо всего прочего, молодой человек был в нее влюблен. Он понимал, что глупо – и даже ненормально – влюбляться в аборигенку, причем некрещеную, и к тому же в аборигенку необразованную, неспособную произнести ни слова на английском языке, да на любом другом, коли на то пошло, по причине отсутствия у нее языка как такового, но Ирвинг все равно влюбился в эскимоску. При виде девушки у высокого, сильного Джона Ирвинга почему-то подкашивались ноги.

А теперь она пропала.

Они впервые заметили, что женщины нет в отведенном ей спальном месте – маленьком закутке между ящиками и бочками в загроможденной носовой части жилой палубы, прямо перед лазаретом, – в четверг, двумя днями ранее, но люди привыкли к странным исчезновениям и появлениям леди Безмолвной. Она отсутствовала на корабле столько же времени, сколько присутствовала, даже по ночам. В четверг одиннадцатого ноября, во второй половине дня, Ирвинг доложил капитану Крозье, что Безмолвная пропала, но капитан сказал, что видел ее на льду позапрошлой ночью, когда ходил на «Эребус». Капитан сказал не беспокоиться: она объявится.

Но она не объявилась.

Утром в четверг разыгралась снежная буря. Рабочие бригады, при свете фонарей восстанавливавшие ориентиры на тропе между «Эребусом» и «Террором» – четырехфутовые пирамиды из ледяных блоков, расположенные через каждые тридцать футов, – были вынуждены вернуться на корабли после полудня и с тех пор так и не выходили на лед. Последний посыльный с «Эребуса», прибывший в четверг вечером и

вынужденный остаться на «Терроре» из-за сильной метели, заявил, что на борту корабля командора Фицджереймса Безмолвной нет. К утру субботы тринадцатого ноября вахтенные на палубе сменялись каждый час, и все равно люди спускались вниз в обледенелой одежде, трясаясь от холода. Каждые три часа приходилось посылать рабочие бригады наверх, скалывать топорами лед с оставшихся реев и такелажных тросов, чтобы корабль не перевернулся под тяжестью ледяных наростов. Кроме того, падающий с мачт лед представлял опасность для вахтенных и повреждал палубный настил. Другие бригады расчищали лопатами обледенелую палубу накренившегося на нос «Террора» от снега, пока на ней не выросли такие сугробы, что будет невозможно открыть люки.

Когда в субботу вечером, после ужина, лейтенант Ирвинг снова доложил капитану Крозье, что Безмолвная так и не нашлась, капитан сказал:

– Если снежная буря застигла ее во льдах, она не вернется, Джон. Но вы получаете разрешение обыскать весь корабль сегодня ночью, когда большинство людей лягут спать, – пусть для того лишь, чтобы убедиться, что она действительно пропала.

Хотя дежурство Ирвинга закончилось много часов назад, лейтенант опять оделся потеплее, зажег масляный фонарь и снова поднялся по трапу на верхнюю палубу.

Погодные условия не улучшились. Коли на то пошло, они даже ухудшились с момента, когда Ирвинг спустился к ужину пятью часами ранее. Яростно завывал северо-западный вьюжный ветер, ограничивавший видимость до десяти футов и меньше. Все вокруг обросло ледяным панцирем, хотя где-то перед установленным над люком парусиновым шатром, сильно провисшим под тяжестью снега, трудилась команда из пяти человек, скалывающая топорами лед. Ирвинг пробрался через наметенный под парусину свежий сугроб в фут высотой и поднял пляшущий на ветру фонарь, высматривая человека, который не размахивал бы топором в темноте.

Сейчас обязанности вахтенного офицера выполнял Рубен Мейл, баковый старшина, и Ирвинг отыскал его, направившись на слабый свет фонаря у левого борта.

Мейл представлял собой занесенную снегом бесформенную грудку шерсти. Даже его лицо скрывалось под самодельным капюшоном, обмотанным несколькими толстыми шерстяными шарфами. Дробовик, зажатый у него под мышкой, покрылся ледяной коркой. Обоим мужчинам приходилось кричать, чтобы перекрыть шум ветра.

– Видели что-нибудь, мистер Мейл? – прокричал лейтенант Ирвинг, наклоняясь к огромному шерстяному тюрбану, намотанному на голову бакового старшины.

Мужчина пониже ростом немного оттянул вниз шарф с лица. Нос у него был белый, как сосулька.

– Вы насчет ребят, что скалывают лед, сэр? Они скрылись с глаз, как только поднялись выше нижних реев. Я просто слушаю, сэр, пока заменяю на посту у левого борта молодого Киннарда. Он работал на уборке снега во время третьей вахты, сэр, и до сих пор еще не оттаял.

– Нет, я имею в виду – на льду! – прокричал Ирвинг.

Мейл рассмеялся. Смех прозвучал глухо.

– Никто из нас вот уже двое суток не видел ничего дальше чем на пять шагов, лейтенант. Вы сами знаете, сэр. Вы же дежурили на палубе сегодня вечером.

Ирвинг кивнул и затянул потуже свой шарф, прикрывавший лоб и нижнюю часть лица.

– Никто не видел Безмолвную... леди Безмолвную?

– Что, сэр? – Мистер Мейл подался ближе к нему.

– Леди Безмолвную? – проорал Ирвинг.

– Нет, сэр. Насколько я понимаю, никто уже несколько дней не видел эскимоску. По всей видимости, она отдала концы, лейтенант. Замерзла где-нибудь там на льду – и слава богу, скажу я вам.

Ирвинг кивнул, похлопал Мейла по объемистому плечу рукой в объемистой рукавице и направился к корме – обходя стороной грот-мачту, где сверху из снежной мглы падали один за другим здоровенные куски льда и с оглушительным грохотом рушились на палубу, точно артиллерийские снаряды, – чтобы поговорить с Джоном Бейтсом, стоявшим на посту у правого борта.

Бейтс ничего не видел. Со своего места он даже не мог рассмотреть пятерых матросов с топорами, когда они только приступали к работе.

– Прошу прощения, сэр, но у меня нет часов, и, боюсь, я не услышу колокола за всем этим стуком топоров, треском льда и воем ветра, сэр. Долго еще до конца вахты?

– Вы услышите колокол, когда мистер Мейл пробьет в него! – прокричал Ирвинг, наклоняясь поближе к обледенелому шерстяному шару, бывшему головой двадцатилетнего мужчины. – И он придет проверить вас, прежде чем спуститься вниз. Продолжайте нести вахту, Бейтс.

– Есть, сэр.

Ветер пытался сбить Ирвинга с ног, пока он двигался вокруг парусинового навеса и дожидался минутного перерыва в низвержении льда сверху – слыша брань и крики мужчин на мачте среди глухо гудящих на ветру снастей. Затем лейтенант по возможности быстрее пробрался через вновь наметенный двухфутовый сугроб на палубе, нырнул под обледенелую парусину и спустился по трапу вниз.

Разумеется, он уже множество раз обыскивал нижние палубы – особенно носовую часть перед лазаретом, загроможденную ящиками и бочонками, среди которых раньше находилось крохотное логово женщины, – но теперь Ирвинг направился к корме. В столь поздний час на корабле царила тишина, нарушаемая лишь тяжелыми ударами сколотого льда о палубу, храпом измученных матросов в подвесных койках, обычным звоном противней и проклятиями мистера Диггла у плиты, воем ветра да зловещим треском льда снаружи.

Ирвинг ощупью пробирался по узкому темному коридору. Ни одна офицерская спальная каюта здесь, за исключением каюты мистера Мейла, сейчас не пустовала. В этом отношении «Террору» повезло. В то время как «Эребус» потерял нескольких офицеров, убитых чудовищным зверем, в том числе сэра Джона и лейтенанта Гора, ни один из старших офицеров и мичманов на «Терроре» еще не умер, если не считать молодого Джона Торрингтона, старшего кочегара, скончавшегося от естественных причин почти два года назад у острова Бичи.

В кают-компании никого не было. В последнее время она редко прогревалась настолько, чтобы надолго задерживаться здесь, и даже книги в кожаных переплетах казались холодными на своих полках; деревянная музыкальная шкатулка, проигрывавшая металлические диски, давно молчала. Ирвинг заметил, что в каюте капитана Крозье все еще горит фонарь, когда проходил мимо, направляясь в пустые офицерские и старшинские столовые, а потом возвращался обратно к трапу.

В средней палубе было, как всегда, очень холодно и очень темно. Поскольку люди все реже спускались сюда за продуктами, так как дневной рацион сильно урезали, когда врачи обнаружили множество испорченных консервных банок, и поскольку за углем тоже спускались все реже, так как запасы одного подходили к концу и корабль отапливался все реже, Ирвинг оказался один-одинешенек в выстуженном, погруженном во мрак пространстве. Черные деревянные шпангоуты и бимсы, покрытые инеем, металлические крепежные скобы скрипели и стонали вокруг него, пока он пробирался сначала к носовой части, потом к корме. Густая тьма, казалось, поглощала свет фонаря, и Ирвинг с трудом различал слабое мерцание огня.

сквозь пелену ледяных кристаллов, в которые обращался пар от дыхания.

Нигде в носовом отсеке леди Безмолвной не оказалось: ни в кладовой плотника, ни в кладовой старшего боцмана, ни в почти пустой мучной кладовой. В средней своей части нижняя палуба, в начале плавания «Террора» загроможденная до самого подволока ящиками, бочонками, тюками и прочими коробами с провиантом, теперь опустела. Леди Безмолвной не было и здесь.

Лейтенант Ирвинг зашел в винную кладовую, отомкнув замок ключом, взятым на время у капитана Крозье. Там еще оставались бутылки с бренди и вином, как он увидел при слабом свете гаснущего фонаря, но он знал, что уровень рома в огромной главной бочке уже низок. Когда ром кончается, когда люди перестают получать свою обычную дневную порцию грога, тогда – знал лейтенант Ирвинг, как знали все офицеры Военно-морского флота Британии, – вероятность мятежа значительно возрастает. Мистер Хелпмен, секретарь капитана, и мистер Годдард, трюмный старшина, недавно доложили, что, по их расчетам, запасов рома хватит еще примерно на шесть недель, но только при условии, если порцию в четверть пинты рома на три четверти воды урезать вдвое. Даже в таком случае люди возропщут.

Ирвинг не думал, что леди Безмолвная могла проникнуть в винную кладовую, несмотря на все слухи о колдовских способностях эскимоски, но все же тщательно обследовал помещение, заглядывая под столы и стойки. Ряды абордажных сабель, клинковых штыков и мушкетов в козлах над головой тускло блестели в свете фонаря.

Он зашел в пороховую камеру, где хранились оставшиеся запасы пороха, заглянул в личную кладовую капитана – здесь на полках оставались лишь последние бутылки виски, а все продукты за несколько минувших недель были распределены между офицерами, – а потом обыскал парусную кладовую, баталерку, кормовые канатные ящики и кладовую помощника капитана. Будь лейтенант Ирвинг на месте эскимоски, пытающейся спрятаться на борту корабля, он бы, наверное, выбрал парусную кладовую с почти нетронутыми грудями и рулонами запасной парусины, парусов и давно не использовавшихся снастей.

Но женщины там не было. Ирвинг вздрогнул в баталерке, когда его фонарь высветил высокую неподвижную фигуру в дальнем конце помещения, смутно вырисовывавшуюся на фоне темной перегородки, но это оказались лишь несколько висящих на крючке шерстяных шинелей и «уэльский парик».

Заперев за собой дверь, лейтенант спустился по трапу в трюм.

Третий лейтенант Джон Ирвинг, хотя и выглядевший моложе своих лет со своим мальчишеским, легко краснеющим лицом и белокурыми волосами, влюбился в эскимоску отнюдь не потому, что был жаждущим любви девственником. На самом деле Ирвинг имел больше опыта общения с прекрасным полом, чем многие хвастуны на корабле, рассказывавшие истории о своих бесчисленных любовных победах. Родной дядя привез Ирвинга в Бристольский порт, когда тому стукнуло четырнадцать, познакомил с опрятной и симпатичной портовой проституткой по имени Мол и заплатил за первый сексуальный опыт племянника – не торопливое совокупление в темном переулке, а целые вечер, ночь и утро в чистой комнате под крышей старой гостиницы с выходившими на набережную окнами.

Не меньше везло Ирвингу и с дамами в приличном обществе. Он ухаживал за младшей дочерью влиятельнейшего бристольского семейства Дануитт-Харрисонс, и эта девушка, Эмили, позволяла – и даже поощряла – такие интимные вольности, за право допускать которые почти любой молодой мужчина продал бы свое левое яйцо. Вернувшись в Лондон, чтобы закончить свое образование морского офицера-артиллериста на учебном судне «Экселлент», Ирвинг проводил выходные, наслаждаясь обществом нескольких привлекательных молодых леди из высшего света, включая любезную мисс Сару, застенчивую, но совершенно удивительную мисс Линду и ошеломляюще страстную и необузданную – наедине с ним – мисс Абигейл Элизабет Линдстром Хайд-Берри, с которой румяный третий лейтенант, неожиданно для себя, вскоре оказался помолвленным.

Джон Ирвинг не имел намерения жениться. По крайней мере до тридцати лет – отец и дядя внушили ему, что в молодости он должен повидать мир и перебеситься, – а по всей вероятности, до сорока. Он не видел особой причины жениться и после сорока. Посему, хотя Ирвинг никогда не помышлял о Службе географических исследований (он с детства не любил холодную погоду, и мысль о зимовке во льдах на любом из полюсов казалась ему одновременно нелепой и ужасной), через неделю после того, как он осознал факт своей помолвки, третий лейтенант последовал совету своих старших товарищей, Джорджа Ходжсона и Фреда Хорнби, и условился о встрече с капитаном «Террора» с намерением просить о переводе на означенный корабль.

Капитан Крозье, явно пребывавший в дурном расположении духа и мучившийся похмельем в то прекрасное весеннее субботнее утро, сердито хмурился, скептически хмыкал, подробно допрашивал молодых людей – презрительно посмеялся над военной подготовкой, которую они проходили

на паровом судне, и осведомился, какой от них будет толк на экспедиционном парусном судне, имеющем на борту весьма незначительное количество оружия, – а затем язвительно спросил, готовы ли они «выполнять свой долг перед родиной, как подобает англичанам» (о каком таком долге может идти речь, подумал тогда Ирвинг, если упомянутые англичане сидят на затертом льдами корабле в тысяче миль от родины?), и тут же предоставил всем должность.

Мисс Абигейл Элизабет Линдстром Хайд-Берри, разумеется, страшно огорчило и потрясло известие, что их помолвка затянется на многие месяцы или даже годы, но лейтенант Ирвинг сначала утешил девушку заверениями, что дополнительные деньги, полученные от Службы географических исследований, будут им совершенно необходимы, а затем объяснил свой поступок стремлением снискать почет и славу, а равно пережить приключения, которые, вполне возможно, побудят его написать по возвращении из путешествия книгу. Семья невесты поняла Ирвинга, даже если мисс Абигейл – нет. Потом, когда они остались наедине, он унял слезы и гнев девушки объятиями, поцелуями и искусными ласками. В процессе утешения он зашел весьма и весьма далеко (лейтенант Ирвинг знал, что сейчас, два с половиной года спустя, он вполне может являться отцом) и через несколько недель без сожаления помахал на прощание рукой мисс Абигейл, которая стояла на причале в Гринхайте, в своем розово-зеленом шелковом платье под розовым зонтиком, и махала такого же цвета шелковым платочком, пока «Террор» отдавал швартовы и выходил из гавани, влекомый двумя паровыми буксирами, а для того, чтобы вытирать обильные слезы, расстроенная молодая леди использовала другой, не такой дорогой хлопчатобумажный платок.

Ирвинг знал, что сэр Джон намерен сделать остановку и в России, и в Китае по завершении плавания через Северо-Западный морской проход, и молодой лейтенант уже принял решение после экспедиции перевестись на какой-нибудь британский корабль, приписанный к тамошним водам, – а возможно, даже уйти в отставку, написать книгу о своих приключениях и занять должность управляющего в дядиной шанхайской компании, торгующей шелком и галантереей.

В трюме было еще темнее и холоднее, чем в средней палубе.

Ирвинг ненавидел трюм, ибо тот еще сильнее, чем ледяная постель или тускло освещенная, выстуженная нижняя палуба, напоминал ему могилу. Он спускался сюда только в случае необходимости – главным образом, чтобы проследить за переноской завернутых в парусину трупов – или частей трупов – в запертую мертвецкую. И каждый раз он задавался

вопросом, не придется ли в скором времени кому-нибудь следить за переноской его собственного трупа сюда. Он поднял фонарь и направился к корме сквозь сырой спертый воздух.

На первый взгляд котельная казалась пустой, но потом лейтенант Ирвинг увидел тело на койке возле переборки у правого борта. Помещение освещалось еле-еле – не фонарем, а лишь слабым красным мерцанием углей за решеткой одной из четырех закрытых заслонок топки, – и в тусклом, красном, неверном свете длинное тело, вытянувшееся на койке, казалось мертвым. Открытые глаза мужчины смотрели в низкий подволок не мигая. И он не повернул головы, когда Ирвинг вошел и повесил фонарь на крюк над ящиком с углем.

– Что привело вас сюда, лейтенант? – спросил Джеймс Томпсон, по-прежнему не поворачивая головы и не мигая.

В прошлом месяце инженер перестал бриться, и его худое бледное лицо заросло неряшливой щетиной. Глаза у него глубоко ввалились. Спутанные волосы слиплись от сажи и пота. Когда пламя в топке заглошало, даже здесь, в котельной, температура воздуха опускалась почти до нуля, но Томпсон лежал в одних штанах с подтяжками и нижней рубашке.

– Я ищу Безмолвную, – сказал Ирвинг.

Мужчина продолжал смотреть немигающим взглядом в подволок.

– Леди Безмолвную, – пояснил молодой лейтенант.

– Эскимосскую ведьму, – уточнил инженер.

Ирвинг откашлялся. В воздухе здесь висела столь густая угольная пыль, что дышать было трудно.

– Вы видели ее, мистер Томпсон? Или, может, слышали какие-нибудь необычные звуки?

Томпсон, который по-прежнему ни разу не моргнул и не повернул головы, тихо рассмеялся. Смех звучал жутковато – дребезжание мелких камешков в кувшине – и закончился кашлем.

– Прислушайтесь, – сказал инженер.

Ирвинг повернул голову. Он слышал лишь привычные звуки, хотя и раздававшиеся громче здесь, в темном трюме: протяжные стоны сдавливающего корабль льда; громкий треск железных цистерн и металлических конструкций с одной и другой стороны от котельной; отдаленный вой ветра высоко над головой; тяжелые удары падающих кусков льда, порождающие вибрацию в шпангоутах; глухой скрип мачт, сотрясаемых в своих гнездах, и резкий скрип обшивки корпуса; неумолчное шипение, свист и гудение парового котла и труб отопительной

системы.

– Кто-то или что-то еще дышит здесь, в трюме, – продолжал Томпсон. – Вы слышите?

Ирвинг напряг слух, но не услышал никакого дыхания, хотя котел издавал звуки, похожие на тяжелое частое дыхание некоего огромного существа.

– Где Смит и Джонсон? – спросил лейтенант.

Это были два кочегара, круглосуточно работавшие здесь с Томпсоном.

Инженер равнодушно пожал плечами:

– Поскольку в последнее время в топку идет очень мало угля, они нужны мне лишь на несколько часов в день. Большую часть времени я провожу здесь один, ползая среди труб и клапанов, лейтенант. Регулируя. Заменяя детали. Пытаясь поддерживать эту... штуковину... в рабочем состоянии, позволяющем прогонять горячую воду через трубы жилой палубы по несколько часов в день. Через два – самое большее три – месяца необходимость в этом отпадет. У нас уже нет угля, чтобы идти под паром. Скоро у нас не останется угля на обогрев корабля.

Ирвинг слышал такие разговоры в офицерской столовой, но сейчас не испытывал интереса к теме. Три месяца казались целой вечностью. В данный момент он хотел убедиться, что Безмолвной на борту нет, и доложить о результатах своих поисков капитану. Потом он попытается отыскать женщину за пределами «Террора». Потом он постарается прожить – остаться в живых – еще три месяца. И только потом обеспокоится по поводу нехватки угля.

– До вас доходили слухи, лейтенант? – спросил инженер. Он по-прежнему лежал на койке совершенно неподвижно: ни разу не моргнул глазами и не повернул головы, чтобы посмотреть на Ирвинга.

– Нет, мистер Томпсон. Какие слухи?

– Что это... существо, этот призрак, этот дьявол... приходит на корабль когда пожелает и бродит по трюмной палубе поздно ночью, – сказал Томпсон.

– Нет, – сказал лейтенант Ирвинг. – Я ничего подобного не слышал.

– Оставайтесь здесь один на достаточно долгое время, – сказал мужчина на койке, – и вы все услышите и увидите.

– Спокойной ночи, мистер Томпсон. – Ирвинг снял с крюка свой шипящий, потрескивающий фонарь, вышел в коридор и двинулся в сторону носа.

В трюме оставалось обыскать еще несколько мест, и Ирвинг твердо намеревался управиться с делом поскорее. Мертвецкая была заперта;

лейтенант не попросил у капитана ключ и потому, проверив тяжелый висячий замок, прошел дальше. Он не испытывал желания увидеть источник царапающих и чавкающих звуков, доносившихся из-за толстой дубовой двери.

Двадцать огромных железных цистерн, выстроенные вдоль стенки корпуса, исключали всякую возможность спрятаться здесь, и потому Ирвинг зашел в угольные бункеры, где его фонарь еле светил в спертom, насыщенном черной угольной пылью воздухе. Оставшиеся мешки с углем, некогда заполнявшие все бункеры от палубного настила до бимсов над головой, теперь просто лежали в несколько рядов по периметру каждого помещения. Лейтенант не верил, что леди Безмолвная устроила себе новое укрытие в одной из этих темных, зловонных, чумных дыр – трюмную палубу заливало нечистотами, и здесь повсюду шмыгали крысы, – но он должен был проверить.

Закончив осматривать угольные бункеры и кладовые в средней части судна, лейтенант Ирвинг направился в заставленный оставшимися упаковочными клетями и бочонками форпик, расположенный прямо под спальней матросов и огромной плитой мистера Диггла двумя палубами выше. Трап поуже спускался через среднюю палубу к носовому отсеку трюма, и тонны строительного леса свисали здесь с толстых бимсов, превращая пространство в подобие затейливого лабиринта и вынуждая лейтенанта передвигаться на полусогнутых ногах, но теперь тут осталось гораздо меньше упаковочных клеток, бочонков и ящиков, чем было два с половиной года назад.

Но вот крыс стало больше. Значительно больше.

Поискав между упаковочными клетями, заглянув в несколько самых поместительных ларей и убедившись, что стоящие в грязной вонючей воде бочки либо пусты, либо плотно закрыты, Ирвинг едва успел обогнуть вертикальный передний трап, когда увидел расплывчатое белое пятно, мелькнувшее сразу за пределами тусклого круга фонарного света, и услышал шорох лихорадочного движения. Там находилось некое крупное живое существо, причем явно не женщина.

У Ирвинга не было с собой оружия. В первый момент у него мелькнула мысль бросить фонарь и опрометью пуститься обратно к главному трапу. Разумеется, он этого не сделал, и мысль о бегстве испарилась, еще не успев толком сформироваться. Он шагнул вперед и крикнул более громко и повелительно, чем сам мог ожидать:

– Кто там? Назовитесь!

Потом он увидел их в свете фонаря. Здоровенный идиот Магнус

Мэнсон, самый рослый мужчина на судне, торопливо натягивал штаны, неловко возясь с пуговицами толстыми грязными пальцами. В нескольких футах от него Корнелиус Хикки, помощник конопатчика, мозглявый парень пяти футов ростом, с крысиным личиком и глазками-бусинками, накидывал обратно на плечи спущенные подтяжки.

У Джона Ирвинга отвалилась челюсть. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять смысл явившейся взору картины: содомиты. Он слышал о подобных вещах, шутил со своими товарищами по поводу подобных вещей, однажды являлся свидетелем порки с прогонкой сквозь строй, когда один младший лейтенант на «Экселленте» признался в таких делах, но Ирвинг никогда не думал, что окажется на корабле, где... будет служить с мужчинами, которые...

Верзила Мэнсон угрожающе шагнул к нему. Он был столь высокого роста, что везде в нижних палубах ходил на полусогнутых, пригибая голову, чтобы не удариться о бимсы, и в результате настолько привык горбиться и шаркать ногами, что даже на открытом воздухе не менял осанки и походки. Сейчас, с чуть выставленными вперед, освещенными фонарем огромными руками, он походил на палача, подступающего к осужденному на казнь.

– Магнус, – сказал Хикки, – не надо.

Челюсть у Ирвинга отпала еще сильнее. Никак, эти... содомиты... угрожают ему? В британском военно-морском флоте содомия каралась смертной казнью через повешение, и двести ударов кошкой с прогонкой сквозь строй эскадры (когда осужденного секут поочередно на всех кораблях в гавани) считались в высшей степени мягким наказанием.

– Да как вы смеете? – осведомился Ирвинг, сам толком не понимая, говорит ли он об угрожающей позе Магнуса или о противоестественном половом акте.

– Лейтенант, – затараторил Хикки писклявым голосом с ливерпульским акцентом, – прошу прощения, сэр, мистер Диггл послал нас в трюм за мукой, сэр. Одна из этих чертовых крыс забралась матросу Мэнсону в штанину, сэр, и мы пытались вытряхнуть ее оттуда. Мерзкие, наглые твари, эти крысы.

Ирвинг знал, что мистер Диггл еще не приступил к ночному выпеканию лепешек и что в кладовых кока наверху полно муки. Хикки даже не пытался лгать убедительно. Круглые блестящие глазки тщедушного человека напомнили Ирвингу о крысах, шныряющих в темноте вокруг.

– Мы будем премного вам благодарны, коли вы никому не скажете,

сэр, – торопливо продолжал помощник конопатчика. – Магнусу очень бы не хотелось, чтобы над ним смеялись из-за того, что он испугался какой-то паршивой крысы, взобравшейся по ноге.

Молчание затянулось. Стонал лед, трущийся о корпус корабля. Скрипели шпангоуты. Крысы шмыгали взад-вперед поблизости.

– Убирайтесь отсюда, – наконец сказал Ирвинг. – Сию же минуту.

– Есть, сэр. Спасибо, сэр. – Хикки отодвинул заслонку маленького фонаря, стоявшего на палубном настиле рядом с ним. – Пойдем, Магнус.

Двое мужчин поспешно вскарабкались по узкому носовому трапу и скрылись в темноте средней палубы.

Несколько долгих минут лейтенант Ирвинг неподвижно стоял на месте, прислушиваясь, но не слыша скрипа и треска корабля. Вой ветра звучал подобием отдаленной погребальной песни.

Если он доложит об этом капитану Крозье, будет трибунал. Мэнсон, игравший в экспедиции роль деревенского дурачка, пользовался расположением товарищей по команде, как бы они ни насмеялись над ним из-за его боязни привидений и гоблинов. Он выполнял тяжелую работу за троих. Хикки никому из офицерского состава не нравился, но матросы уважали пронырливого малого за способность добывать для друзей дополнительные порции табака и рома или нужные предметы одежды.

Крозье не повесит ни одного, ни другого, подумал Джон Ирвинг, но в последнее время капитан находится в прескверном настроении и может применить весьма суровые меры. Все на судне знали, что всего несколько недель назад он пригрозил запереть Мэнсона в мертвецкой вместе с полуобглоданным крысами трупом его друга Уокера, если здоровенный идиот еще когда-нибудь откажется таскать мешки с углем в трюм. Никто не удивится, коли теперь он выполнит свою угрозу.

С другой стороны, подумал лейтенант, что он сейчас видел, собственно говоря? Какие показания он мог бы дать, положив руку на Библию, перед следственной комиссией, соберись таковая на самом деле? Он не видел никакого противоестественного акта. Он не застал двух содомитов непосредственно в момент совокупления или... в любой другой противоестественной позе. Ирвинг слышал тяжелое пыхтение, судорожные вздохи и испуганный шепот, раздавшийся при его приближении, а потом увидел двух мужчин, торопливо подтягивающих штаны и заправляющих рубахи.

В обычных обстоятельствах этого было бы достаточно, чтобы одного из них или обоих вздернули. Но здесь, во льдах, когда впереди у них еще месяцы или годы без малейшей надежды на спасение?

Впервые за много лет Джон Ирвинг почувствовал желание сесть и расплакаться. Его жизнь только что усложнилась сверх всякой мыслимой меры. Если он доложит о двух содомитах, никто из товарищей по команде – офицеров, друзей, подчиненных – никогда больше не будет относиться к нему в точности как прежде.

А если не доложит, он станет жертвой бесконечной наглости Хикки – малодушное умолчание о случившемся даст последнему повод для своего рода шантажа в ближайшие недели и месяцы. И отныне лейтенант никогда не будет спать спокойно или чувствовать себя в безопасности во время вахты в темноте снаружи или в собственной каюте (насколько такое вообще возможно, когда белое чудовище убивает людей одного за другим), каждую минуту ожидая, что руки Мэнсона сомкнутся у него на горле.

– Ох, так меня растак, – вслух сказал Ирвинг в холодную потрескивающую темноту трюма.

Осознав буквальный смысл произнесенных слов, он рассмеялся – и смех прозвучал более странно, более безжизненно, но при этом более зловеще, чем слова.

Лейтенант был готов отказаться от дальнейших поисков – он посмотрел повсюду, если не считать нескольких огромных бочек и канатного ящика в форпике, – но не хотел подниматься в жилую палубу, пока Хикки и Мэнсон не скроются с глаз.

Ирвинг пробрался мимо плавающих в грязной воде пустых упаковочных клеток – здесь, ближе к опущенному вниз носу судна, вода поднималась выше щиколоток, и насквозь промокшие башмаки проламывали тонкую корку льда. Еще несколько минут – и он отморозит пальцы на ногах, как пить дать.

Канатный ящик находился в самой передней части форпика, где корпус корабля сужался к носу, и представлял собой не помещение в полном смысле слова – две двери имели всего три фута в высоту, а от палубного настила до подволока там было немногим более четырех футов, – но скорее каморку для хранения якорных концов. В канатном ящике всегда нестерпимо воняло речным илом – даже спустя месяцы после того, как корабль снимался с якоря в устье реки. Смердный запах никогда не выветривался, и бухты толстых тросов, уложенные одна на другую, занимали почти все низкое, темное, зловонное помещение.

Лейтенант Ирвинг с трудом открыл неподатливые двери канатного ящика и поднес фонарь к проему. Треск льда раздавался особенно громко здесь, где нос и бушприт вдавливались в движущийся пак.

Леди Безмолвная резко вскинула голову, и глаза ее вспыхнули при

свете фонаря, как у кота.

Она сидела на расстеленной на полу бело-коричневой шкуре, совершенно голая, если не считать другой шкуры – вероятно, парки, – наброшенной на плечи.

Пол канатного ящика был приподнят на фут с лишним над затопленным палубным настилом снаружи. Эскимоска раздвинула в стороны тяжелые бухты тросов и устлала мехом образовавшуюся низкую нору, сверху прикрытую грудой спутанных пеньковых веревок. Открытый огонь в жестянке, наполненной маслом или ворванью, давал слабый свет и тепло. Он застал женщину за едой, с поднесенным к измазанному жиром губам шматом красного сырого кровавого мяса. Она отсекала от него куски – которые тут же подхватывала зубами – быстрыми движениями короткого, но явно очень острого ножа с костяной рукояткой, украшенной каким-то резным узором. Леди Безмолвная стояла на коленях, наклонившись над огнем и шматом мяса, и при виде свисающих маленьких грудей образованному лейтенанту Ирвингу пришли на ум иллюстрации, представляющие скульптурное изображение волчицы, вскармливающей младенцев Ромула и Рема.

– Прошу прощения, мадам, – сказал Ирвинг и захлопнул дверь.

Он пошатываясь отступил на несколько шагов назад, распугивая крыс громким плеском воды, и попытался собраться с мыслями после второго за ночь потрясения.

Капитан должен знать о новом убежище Безмолвной. Одна опасность пожара от открытого пламени требует принятия срочных мер.

Но где она достала нож? Он скорее походил на оружие, изготовленное эскимосами, нежели на кухонный, плотницкий или охотничий нож с корабля. Разумеется, они обыскали женщину шесть месяцев назад, в июне. Неужели она прятала его все это время?

Что еще она могла прятать?

И свежее мясо.

На борту не было свежего мяса, Ирвинг точно знал.

Неужели она охотилась? Зимой, в такую метель, в такой темноте? И если да, то на кого?

Единственными животными там, на льду, были белые медведи и чудовищный зверь, преследующий людей с «Эребуса» и «Террора».

Ужасная мысль пришла Джону Ирвингу в голову. На секунду он почувствовал искушение вернуться в кормовую часть трюма и еще раз проверить замок на двери мертвецкой.

Потом ему в голову пришла еще более ужасная мысль.

Они нашли лишь половины трупов Уильяма Стронга и Томаса Эванса.

Неверной поступью, поскользываясь на льду и грязной жиже, лейтенант Джон Ирвинг ощупью двинулся в сторону кормы, к центральному трапу, чтобы совершить трудное восхождение к свету жилой палубы.

*70°05' северной широты, 98°23' западной долготы
20 ноября 1847 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

Суббота, 20 ноября 1847 г.

У нас не хватит продовольствия, чтобы пережить еще одну зиму и лето здесь, во льдах.

Предполагалось, что хватит. Сэр Джон обеспечил два корабля провиантом на три года при условии полного рациона для всей команды; на пять лет при условии вполне достаточной нормы пищевого довольствия для людей, ежедневно выполняющих тяжелую работу, но сокращенной для остальных; и на семь лет при условии значительно урезанного, но все же приемлемого дневного пайка для всех без исключения. По расчетам сэра Джона – и капитанов Крозье и Фицджеймса, – продовольствия на «Эребусе» и «Терроре» должно было хватить до 1852 года.

Но вопреки расчетам последние съедобные припасы у нас кончатся где-то следующей весной.

Доктор Макдональд на «Терроре» уже давно сомневался в доброкачественности консервированных продуктов, и он поделился своими подозрениями со мной после смерти сэра Джона. Затем, во время первого нашего похода на Кинг-Уильям, история с испорченными и вредными для здоровья консервами (банки были взяты из самых нижних упаковочных клеток, хранящихся под жилой палубой) подтвердила наличие проблемы. В октябре мы, четверо врачей, обратились к капитану Крозье и командору Фицджеймсу с просьбой разрешить нам произвести полную инвентаризацию. Затем мы четверо – при содействии матросов, получивших задание помогать нам передвигать многие сотни упаковочных клеток, бочонков и тяжелых баков в обеих нижних палубах, средней и трюмной, а равно проверять выбранные образцы продуктов, – провели инвентаризацию дважды, во избежание ошибки.

Свыше половины консервов непригодно в пищу.

Три недели назад мы доложили об этом обоим капитанам в просторной, но холодной бывшей каюте сэра Джона – (Фицджереймса, номинально по-прежнему остающегося простым командором, Крозье, новый начальник экспедиции, называет «капитан», и все прочие следуют примеру). На тайном совещании присутствовали мы – четверо судовых врачей, – Фицджереймс и Крозье.

Капитан Крозье (мне надо помнить, что он все-таки ирландец) впал в ярость, подобной которой я никогда прежде не видел. Он потребовал от нас исчерпывающих объяснений, словно мы, врачи, несли ответственность за запасы имущества и провианта в экспедиции Франклина. Фицджереймс же, с другой стороны, с самого начала сомневался в качестве консервированных продуктов и честности поставщика оных (единственный член экспедиции или Адмиралтейства, похоже, выражавший вслух подобные сомнения), но Крозье отказывался верить, что столь преступное мошенничество могло быть совершено на кораблях Военно-морского флота Британии.

Джон Педди, главный судовой врач «Террора», прослужил во флоте дольше всех из нас, четверых офицеров медицинской службы, но большую часть времени исполнял свои обязанности на военном корабле «Мери» – вместе с боцманом Крозье, Джоном Лейном, – в Средиземном море, где консервы составляли лишь самую малую часть продовольственных запасов. Мой номинальный начальник на «Эребусе», главный судовой врач Стивен Стенли, также никогда прежде не имел дела со столь огромными количествами консервированных продуктов на борту корабля. Придающий огромное значение разнообразным диетам, необходимым, дабы предупредить цингу, доктор Стенли потерял дар речи от потрясения, когда наша инвентаризация показала, что половина оставшихся банок с консервированными овощами, мясом и супами либо протухла, либо испорчена еще каким-нибудь образом.

Один лишь доктор Макдональд, занимавшийся вопросами поставки продовольствия с мистером Хелпменом – секретарем капитана Крозье, – имел объяснения такому положению вещей.

Как я записал в своем дневнике несколько месяцев назад, помимо 10 000 банок консервированной говядины, на борту «Эребуса» мы располагаем запасами консервированных баранины, телятины, разнообразных овощей, в том числе картофеля, моркови и пастернака, различных супов, а также 9450 фунтами шоколада.

Алекс Макдональд, представлявший нашу экспедицию в качестве медика, взаимодействовал с главным управляющим дептфордского продовольственного склада и с неким мистером Стивеном Голднером,

поставщиком продовольствия, заключившим контракт с нашей экспедицией. В октябре Макдональд доложил капитану Крозье, что четыре поставщика назначили цену за снабжение экспедиции сэра Джона консервированными продуктами – компании Хогарта, Гэмбла, компания Купера и Эйвса, а также фирма вышеупомянутого мистера Голднера. Доктор Макдональд сообщил капитану – и премного удивил всех нас своими словами, – что цена, предложенная Голднером, составляет лишь половину от цены, запрошенной остальными тремя (гораздо более известными) поставщиками. Вдобавок, если другие компании планировали поставить продовольствие в течение месяца или трех недель, то Голднер пообещал произвести поставку немедленно (взяв на себя упаковку и перевозку). Разумеется, о немедленной поставке не зашло бы речи, и при столь низкой цене за свои услуги Голднер потерял бы целое состояние, если бы продукты были хорошего качества, причем приготовлены и законсервированы должным образом, но, похоже, никто, кроме капитана Фицджереймса, не обратил на это внимания.

Адмиралтейство и три полномочных представителя Службы географических исследований – в отборе продуктов участвовали все, кроме опытного инспектора дептфордского продовольственного склада, – немедленно порекомендовали принять предложение Голднера и полностью выплатить запрошенную сумму, то есть более 3800 фунтов. (Целое состояние для любого человека, но особенно для иностранца, каковым, пояснил Макдональд, и являлся Голднер. Его единственная консервная фабрика, по словам Алекса, находилась в Галисии, в Молдавии.) Голднер получил один из крупнейших заказов на поставку продовольствия в истории Адмиралтейства: 9500 банок мясных и овощных консервов весом от одного до девяти фунтов и 20 000 банок консервированных супов.

Макдональд принес на совещание одну из рекламных листовок Голднера с перечнем подлежащих поставке продуктов (Фицджереймс сразу ее узнал), и при виде ее у меня потекли слюнки: семь сортов баранины, приготовленная четырнадцатью разными способами телятина, тринадцать сортов говядины, четыре разновидности мяса молодого барашка. В списке значились зайчатина, куропатка, крольчатина (в луковом соусе или приправленная карри), фазан и с полдюжины других разновидностей дичи. Если Служба географических исследований желала запастись морепродуктами, Голднер брался поставить консервированных лобстеров, треску, мясо вест-индской черепахи, лососину и копченую селедку. Для праздничного обеда рекламная листовка Голднера предлагала – всего за пятнадцать пенни – фаршированного трюфелями фазана, телячий язык под

соусом-пикант и говядину по-фламандски.

– На самом деле, – сказал доктор Макдональд, – обычно мы получали соленую конину в лошадиных бочках.

Я уже достаточно много времени провел в море, чтобы понять смысл выражения: матросы, которым постоянно давали конину под видом говядины, в конце концов стали называть бочки для провизии «лошадиными». Впрочем, они довольно охотно ели соленую конину.

– Голднер обманул нас гораздо сильнее, – продолжал Макдональд, обращаясь к трясущемуся от ярости капитану Крозье и сердито кивающему командору Фицджереймсу. – Он подсунил нам дешевые продукты в банках с этикетками от значительно более дорогих – обычную тушеную говядину под видом тушеных ромштексов, например. Первая стоит по прейскуранту девять пенни банка, но он запросил четырнадцать, поменяв этикетку.

– О господи, – взорвался Крозье, – да каждый поставщик выкидывает такие номера с Адмиралтейством. Обманывать флот заведено еще со времен Адама. Это не объясняет, почему у нас вдруг подошли к концу запасы провианта.

– Да, капитан, – продолжал Макдональд. – Дело в обработке продуктов и в запайке банок.

– В чем? – переспросил ирландец, явно стараясь держать себя в руках.

Лицо Крозье под потрепанной фуражкой пошло красными и белыми пятнами.

– В обработке и в запайке, – повторил Алекс. – Что касается обработки, то мистер Голднер похвалялся патентованным процессом, при котором он добавляет большое количество нитрата соды – хлористого кальция – в громадные чаны кипящей воды, чтобы повысить температуру обработки... главным образом для увеличения скорости процесса.

– И что здесь такого? – осведомился Крозье. – Банки были просрочены. Требовалось что-нибудь сделать, чтобы у Голднера в заднице загорелся факел. Его патентованный процесс ускорил события.

– Да, капитан, – сказал доктор Макдональд, – но огонь факела, горевшего в заднице Голднера, явно был горячее, чем огонь, на котором торопливо обрабатывали мясо, овощи и прочие продукты перед консервированием. Многие медики полагают, что при правильной обработке продуктов уничтожается вредная флора, способная вызвать болезнь, но я самолично наблюдал за голднеровским процессом обработки, и он просто не обрабатывал мясо, овощи и супы достаточно долгое время.

– Так почему же вы не доложили об этом полномочным представителям Службы географических исследований? – раздраженно

спросил Крозье.

– Он докладывал, – устало сказал капитан Фицджереймс. – И я тоже. Но единственным человеком, прислушавшимся к нам, был инспектор дептфордского продовольственного склада, а он не имел права голоса при принятии окончательного решения.

– То есть вы говорите, что половина наших продуктов испортилась за три года по причине некачественной обработки? – Лицо Крозье по-прежнему расцветивали красные и белые пятна.

– Да, – сказал Алекс Макдональд, – но равным образом следует винить, нам кажется, некачественную запайку.

– Запайку банок? – спросил Фицджереймс.

В своих сомнениях относительно Голднера он явно не доходил до сей технической детали.

– Да, командор, – сказал фельдшер с «Террора». – Консервирование продуктов в жестяных банках является новшеством – поразительным изобретением нашего века, – но за последние несколько лет употребления в пищу консервов мы узнали достаточно, чтобы прийти к заключению: правильная запайка швов на цилиндрических банках решительно необходима для предотвращения порчи содержимого.

– И люди Голднера некачественно запаяли эти швы? – спросил Крозье голосом, напоминающим тихое угрожающее рычание.

– Да, примерно на шестидесяти процентах банок, обследованных нами, – сказал Макдональд. – Вследствие небрежной запайки швы получились негерметичными. А негерметичность швов, похоже, стала причиной ускоренного гниения наших консервированных овощей, говядины, телятины, супов и прочих продуктов.

– Но как такое возможно? – спросил капитан Крозье. Он тряс своей крупной головой, словно человек, оглушенный ударом. – Мы вышли в полярные воды вскоре после отплытия кораблей из Англии. Я думал, здесь достаточно холодно, чтобы любые продукты сохранились до самого Судного дня.

– Судя по всему, вы ошибались, – сказал Макдональд. – Многие банки, оставшиеся от поставленных Голднером двадцати девяти тысяч, полопались. Другие уже раздулись от газов, образовавшихся в результате гнилостного процесса внутри. Вероятно, некие вредоносные пары просочились в банки еще в Англии. Возможно, некие микроскопические организмы, пока неизвестные медицине и науке, проникли в банки во время транспортировки или даже на консервной фабрике Голднера.

Крозье нахмурился еще сильнее:

– Микроскопические организмы? Давайте обойдемся здесь без фантастических домыслов, мистер Макдональд.

Ассистент судебного врача лишь пожал плечами:

– Возможно, это звучит фантастически, капитан. Но вы, в отличие от меня, не провели сотни часов, напряженно глядя в окуляр микроскопа. Мы еще плохо понимаем, что представляют собой означенные организмы, но уверяю вас, если бы вы увидели, сколь великое множество оных присутствует в простой капле питьевой воды, вы бы сразу посмотрели на вещи трезво.

Лицо Крозье, к этому моменту принявшее более или менее нормальную окраску, вновь побагровело при замечании, возможно содержащем намек на далеко не трезвое состояние, в каком капитан частенько находился.

– Ладно. Часть продуктов испортилась, – отрывисто сказал он. – Как мы можем убедиться, что все остальные продукты пригодны в пищу?

Я прочистил горло:

– Как вы знаете, капитан, летний рацион людей состоял из фунта с четвертью соленого мяса в день, порции овощей в виде всего одной пинты бобов плюс трех четвертей фунта ячменя в неделю. Но они получали дневную норму лепешек и галет. С наступлением зимы, в целях экономии угля, ежедневный расход муки был сокращен на двадцать пять процентов за счет отказа от выпечки хлеба. Если бы мы просто начали подвергать оставшиеся консервированные продукты более длительной термической обработке и возобновили выпечку хлеба, мы бы не только предотвратили опасность отравления испорченными продуктами, но также предупредили бы распространение цинги.

– Это невозможно! – раздраженно сказал Крозье. – Оставшегося у нас угля едва хватит, чтобы обогревать корабли до апреля. Если вы мне не верите, спросите инженера Грегори или инженера Томпсона здесь, на «Терроре».

– Я вам верю, капитан, – печально промолвил я. – Я разговаривал с обоими инженерами. Но без длительной тепловой обработки консервированных продуктов опасность отравления чрезвычайно велика. Нам остается лишь выбросить за борт все лопнувшие банки и по возможности не трогать банки с плохо запаянными швами. Таким образом, количество съестных припасов у нас резко сокращается.

– А как насчет спиртовок? – спросил Фицджереймс, слегка просветлев лицом. – Мы можем использовать походные спиртовки для кипячения супов и тепловой обработки прочих сомнительных продуктов.

На сей раз Макдональд печально покачал головой:

– Мы пробовали, командор. Мы с доктором Гудсиром экспериментировали, нагревая банки с так называемой тушенкой на патентованных спиртовках, предназначенных для приготовления пищи. Бутылки эфира емкостью в пинту не хватает даже на время, необходимое для полного нагревания пищи, и температура огня невысокая. К тому же нашим санным отрядам – и всем нам, коли придется покинуть корабль, – понадобятся спиртовки, чтобы растапливать снег и лед для получения питьевой воды. Нам следует экономить спирт.

– Я был с лейтенантом Гором во время первого санного похода на Кинг-Уильям – возможно, остров, но вероятнее всего, полуостров, – негромко добавил я. – Огня при нагревании консервированных супов хватало лишь до появления первых пузырей. Еда получалась чуть теплой.

Последовало продолжительное молчание.

– Вы говорите, что более половины консервированных продуктов, на которых мы рассчитывали продержаться еще год, а при необходимости и два, испорчено, – наконец сказал Крозье. – У нас нет угля, чтобы подвергать испорченную пищу тщательной тепловой обработке на больших фрейзеровских плитах или на маленьких железных печах с вельботов, и вы говорите, что у нас недостаточно жидкого топлива, чтобы использовать спиртовки. Что нам делать?

Мы пятеро – четыре врача и капитан Фицджереймс – хранили молчание. Единственным ответом было покинуть корабль и отыскать местность погостеприимнее, предпочтительно на суше где-нибудь южнее, где можно охотиться на дичь.

Словно прочитав наши мысли, Крозье улыбнулся (странно-безумной, типично ирландской улыбкой, подумалось мне тогда) и сказал:

– Проблема, джентльмены, заключается в том, что на борту обоих кораблей нет ни одного опытного охотника, даже среди наших уважаемых морских пехотинцев, способного поймать или убить тюленя или моржа – коли означенные животные еще когда-нибудь почтят нас своим присутствием – либо подстрелить крупную дичь типа карибу, которых, впрочем, мы здесь ни разу не видели.

Мы по-прежнему молчали.

– Благодарю вас за усердие, проявленное при проведении инвентаризации, и за исчерпывающий доклад, мистер Педди, мистер Гудсир, мистер Макдональд и мистер Стенли. Мы продолжим отделять банки, которые вы считаете надежно запаянными и безопасными для здоровья людей, от банок, некачественно запаянных, лопнувших, раздутых

или обнаруживающих иные признаки порчи. Мы сохраним нынешний, на треть урезанный, рацион до конца декабря, а затем я введу более суровую норму пищевого довольствия.

Мы с доктором Стенли тепло укутались и поднялись на палубу, чтобы проводить доктора Педди, доктора Макдональда и почетный караул из четырех вооруженных дробовиками моряков, отправлявшихся в долгий путь обратно на «Террор» в темноте. Когда их фонари и факелы исчезли в снежной мгле, Стенли наклонился ко мне и прокричал, перекрывая вой ветра в снастях и неумолчный скрежет и треск льда, трущегося о корпус «Эребуса»:

– Для них будет счастьем, если они сойдут с пути и безнадежно заблудятся! Или если существо во льдах настигнет их сегодня.

Я повернулся и в ужасе уставился на главного судового врача.

– Голодная смерть – страшная вещь, Гудсир, – продолжал Стенли. – Поверьте мне. Я видел случаи голодной смерти в Лондоне и видел после кораблекрушения. Смерть от цинги еще ужаснее. Право, было бы лучше, если бы это существо расправилось со всеми нами сегодня же.

Затем мы спустились в мерцающий слабыми отсветами огня мрак жилой палубы и в холод, почти не уступающий лютному холоду дантовского девятого круга арктической ночи.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

5 декабря 1847 г.

Во вторник третьей недели ноября, во время собачьей вахты, существо поднялось на борт «Эребуса» и утащило с поста у кормы главного боцмана, всеми любимого мистера Томаса Терри, оставив лишь голову мужчины на планшире. На месте, где Терри стоял вахту, не осталось ни капли крови: ни на обледенелой палубе, ни на обшивке корпуса. Все пришли к заключению, что существо схватило Терри, утащило на сотни ярдов в темноту, где сераки вздымались подобием ледяных деревьев в густом белом лесу, и там убило и разорвало на части несчастного – возможно, сожрало, хотя люди все сильнее сомневались, что белое чудовище убивает матросов и офицеров пропитания ради, – а потом вернуло голову мистера Терри, прежде чем вахтенные правого или левого борта заметили исчезновение боцмана.

Матросы, в конце вахты нашедшие голову боцмана, целую неделю без усталости рассказывали товарищам о жуткой гримасе, искажавшей лицо бедного мистера Терри: широко раскрытый рот, словно разодранный в диком вопле, оскаленные зубы, вылезавшие из орбит глаза. На голове не было ни единого следа ногтей или зубов – только кровавые лохмотья по неровной линии разрыва на шее, из которой торчала тонкая трубка гортани, точно серый крысиный хвост, и кусок белого спинного мозга.

Внезапно более ста двадцати оставшихся в живых моряков обрели веру. Большинство людей на борту «Эребуса» два года недовольно ворчали по поводу утомительных богослужений сэра Джона Франклина, но теперь даже такие из них, которые в упор не узнали бы Библию, очнувшись рядом с ней после трехдневного запоя, испытывали острейшую потребность в какого-либо рода духовном утешении. Когда слухи об оторванной голове Томаса Терри распространились (капитан Фицджереймс приказал отнести парусиновый сверток в мертвецкую «Эребуса» в трюме), люди начали настаивать на проведении воскресного богослужения для обеих команд. Именно похожий на хорька Корнелиус Хикки, тщедушный помощник конопатчика, которого лейтенант Ирвинг двумя неделями раньше застал с Магнусом Мэнсоном в трюме (о чем молодой лейтенант так никому и не

сказал), явился к Крозье поздно вечером в пятницу с данной просьбой. Немногим раньше Хикки работал в команде, восстанавливавшей ледяные пирамиды с факелами между кораблями, и переговорил с людьми с «Эребуса».

– Все без исключения «за», сэр, – сказал помощник конопатчика, стоя в дверях крохотной каюты капитана Крозье. – Все люди хотели бы провести общее воскресное богослужение. Обе команды, капитан.

– Вы выражаете желание всех до единого членов обеих экипажей? – саркастически осведомился Крозье.

– Так точно, сэр.

Хикки улыбнулся своей некогда обаятельной улыбкой, показывая по меньшей мере четыре из шести оставшихся к настоящему моменту зубов. Щуплый, похожий на грызуна, помощник конопатчика держался в высшей степени самоуверенно.

– Сомневаюсь, – сказал Крозье. – Но я поговорю с капитаном Фицджереймсом и дам вам знать насчет богослужения. Независимо от нашего решения, вы уполномочены оповестить о нем всех людей.

Крозье пил, когда Хикки постучал в дверь. И он никогда не любил назойливого тщедушного человечка. На каждом корабле есть свои критиканы, вечно всем недовольные, – они являются неотъемлемым элементом военно-морской жизни, как крысы, – и Хикки, несмотря на свою неправильную речь и полное отсутствие образования, показался Крозье именно таким критиканом, который в ходе тяжелого плавания вскоре начинает подстрекать команду к мятежу.

– Одна из причин, почему всем нам хотелось бы собраться на таком богослужении, какие проводил для нас сэр Джон – да упокоит Господь его душу, капитан...

– Я вас больше не задерживаю, мистер Хикки.

Крозье сильно пил на той неделе. Меланхолия, всегда окутывавшая душу туманом, теперь ощущалась подобием тяжелого душевного одеяла. Он хорошо знал Терри и считал его в высшей степени толковым боцманом, и, конечно, бедняга погиб ужасной смертью, но Арктика – на обоих полюсах – предполагала тысячи разных вариантов достаточно ужасной смерти. Как и военно-морской флот, в мирное ли время, в военное ли. За долгие годы службы Крозье довелось видеть далеко не одну такую ужасную смерть, и потому, хотя гибель мистера Терри стояла в ряду самых жутких и хотя последняя эпидемия насильственных смертей произвела в их рядах большее опустошение, нежели любая настоящая эпидемия, какую он видел

когда-либо на борту корабля, истинной причиной глубокого уныния, овладевшего Крозье, являлась главным образом реакция оставшихся в живых участников экспедиции на ситуацию.

Джеймс Фицджереймс, похоже, падал духом. Герой Евфратской экспедиции в Месопотамию – провозглашенный героем в прессе еще до отплытия судна из Ливерпуля, когда молодой Фицджереймс прыгнул за борт, чтобы спасти тонущего таможенного инспектора, хотя привлекательный молодой офицер, как писала «Таймс», «был обременен пальто, шляпой и весьма ценными часами». Ливерпульские торговцы, знавшие цену (как прекрасно понимал Крозье) таможенному чиновнику, уже купленному и получившему плату за свои услуги, наградили молодого Фицджереймса серебряной тарелкой с гравировкой. Адмиралтейство сначала обратило внимание на серебряную тарелку, потом на героизм Фицджереймса – хотя во флоте, где служил Крозье, офицеры спасали утопающих чуть не каждую неделю, поскольку лишь очень немногие матросы умели плавать, – и наконец на тот факт, что Фицджереймс является «самым красивым мужчиной в военно-морском флоте», а равно учтивейшим молодым джентльменом.

Не повредил репутации многообещающего молодого офицера и тот факт, что он дважды вызывался возглавлять отряды, совершавшие набеги на разбойников-бедуинов. Крозье прочитал в официальных донесениях, что во время одного из таких налетов Фицджереймс сломал ногу, а в ходе другого попал в плен к разбойникам, но самый красивый мужчина в военно-морском флоте сумел бежать, тем самым покрыв себя еще большей славой в глазах прессы и Адмиралтейства.

Потом начались Опиумные войны, и в 1841 году Фицджереймс показал себя настоящим героем, удостоившись официальной благодарности от своего капитана и от Адмиралтейства не менее пяти раз. Лихой парень – двадцати девяти лет в ту пору – использовал ракеты, чтобы оттеснить китайцев с холмов у Цыци, снова использовал ракеты, чтобы вытеснить противника из Чжапу, принял участие в сухопутном сражении при Усуне и вернулся к своим в ходе захвата Чжэньцзяна. Seriously раненный, лейтенант Фицджереймс умудрился присутствовать – на костылях и в бинтах – при капитуляции Китая в ходе подписания Нанкинского договора. Получив звание командора в нежном возрасте тридцати лет, самый красивый мужчина в военно-морском флоте стал капитаном малого корвета «Клио», и его блестящее будущее казалось делом решенным.

Но в 1844-м Опиумные войны закончились, и – как обычно случается со всеми многообещающими проектами в военно-морском флоте, когда внезапно разражается коварный мир, – Фицджереймс неожиданно для себя

оказался без команды, на берегу и на половине жалованья. Френсис Крозье знал: если предложение возглавить экспедицию, поступившее сэру Джону Франклину от Службы географических исследований, стало неожиданным подарком судьбы для дискредитированного (после фиаско на Земле Ван-Димена) пожилого человека, то предложение принять на себя фактическое командование «Эребусом» было для Фицджереймса вторым блестящим шансом.

Но теперь «самый красивый мужчина в военно-морском флоте» утратил свой румянец и искрометную веселость нрава. В то время как большинство офицеров сохраняли прежний вес даже при урезанном на треть рационе (ибо норма пищевого довольствия, полагавшаяся сотрудникам Службы географических исследований, по питательности превосходила обычный рацион девяносто девяти процентов англичан на суше), командор, а ныне капитан Джеймс Фицджереймс похудел по меньшей мере на двадцать фунтов. Форма болталась на нем как на вешалке. Некогда крутые мальчишеские кудри теперь безжизненно свисали из-под фуражки или «уэльского парика». Лицо Фицджереймса – всегда слишком круглое и розовощекое на вкус старого морского волка Крозье – теперь казалось исхудалым и бледным в свете масляных ламп или керосиновых фонарей.

На людях поведение командора – естественное сочетание добродушной шутливости и суровой властности – оставалось прежним, но наедине с Крозье Фицджереймс говорил меньше, улыбался реже и слишком часто имел смятенный и несчастный вид. Для человека вроде Крозье, с детства страдавшего жестокими приступами меланхолии, симптомы представлялись очевидными. Порой у него возникало впечатление, будто он смотрит в зеркало, – разве только отмеченное печатью меланхолии лицо, которое он видел перед собой, принадлежало благородному, парикратически пришепетывающему английскому джентльмену, а не какому-то ирландскому ничтожеству.

В пятницу третьего декабря Крозье зарядил дробовик и в одиночестве совершил долгий переход в холодной тьме от «Террора» к «Эребусу». Если обитающее во льдах существо возымеет желание убить его, подумал Крозье, еще несколько вооруженных мужчин никак не повлияют на ход событий. Как произошло в случае с сэром Джоном.

Крозье добрался благополучно. Они с Фицджереймсом обсудили положение дел – низкий моральный дух людей, просьбу о богослужении, ситуацию с консервами и необходимость сократить рацион после Рождества – и сошлись во мнении, что мысль провести общее богослужение в следующее воскресенье, возможно, очень даже неплоха.

Поскольку капелланов или самозванных священников на борту кораблей не имелось – до прошлого июня обе эти роли исполнял сэр Джон, – проповедь предстояло произнести обоим капитанам. Крозье думал о предстоящей миссии с еще большим содроганием, чем о посещении портового зубного врача, но понимал, что это надо сделать.

Настроение людей вызывало серьезные опасения. Лейтенант Эдвард Литтл, старший помощник Крозье, доложил, что матросы на «Терроре» стали изготавливать ожерелья и прочие амулеты из зубов и когтей белых медведей, убитых летом. Лейтенант Ирвинг несколько недель назад доложил, что леди Безмолвная укрылась в носовом канатном ящике и что люди начали оставлять в трюме свои порции рома и пищи, словно принося ведьме жертвы в надежде на заступничество.

– Я думал о вашем маскарадном наряде, – прошепелявил Фицджереймс, когда Крозье уже начал одеваться, собираясь откланяться.

– Маскарадном наряде?

– Большой Венецианский карнавал, который устраивал Хоппнер, когда вы зимовали с Парри, – продолжал Фицджереймс. – Когда вы оделись чернокожим лакеем.

– И что? – спросил Крозье, наматывая шарф на шею и голову.

– Сэр Джон взял с собой три огромных сундука таких костюмов, – сказал Фицджереймс. – Я обнаружил их в его личной кладовой.

– Неужели?

Крозье удивился. Старый болтун, который, дай ему волю, проводил бы богослужения по шесть раз в неделю и который, несмотря на свой частый смех, никогда не понимал ничьих шуток, кроме своих, казался совершенно не того рода начальником экспедиции, который стал бы брать в плавание сундуки с фривольными нарядами, как это делал помешанный на театре Парри.

– Они старые, – сказал Фицджереймс. – Возможно, иные из них принадлежали Парри и Хоппнеру – возможно, именно в них вы наряжались двадцать четыре года назад, когда зимовали в Баффиновом заливе, – но в сундуках свыше сотни потрепанных костюмов.

Крозье, уже полностью одетый, стоял в дверях бывшей каюты сэра Джона, где два капитана вполголоса проводили свое совещание. Он не понимал, к чему Фицджереймс клонит.

– Я подумал, мы можем устроить для людей маскарад, – прошепелявил Фицджереймс. – Разумеется, не такой роскошный, как ваш Большой Венецианский карнавал, и не такой веселый по причине этой... неприятности... на льду, но все же какое-никакое развлечение.

– Возможно, – сказал Крозье, даже не пытаясь изобразить воодушевление. – Мы обсудим этот вопрос после чертового воскресного богослужения.

– Да, конечно, – торопливо согласился Фицджереймс, пришепетывая сильнее обычного. – Мне послать кого-нибудь проводить вас до «Террора», капитан Крозье?

– Не надо. И лягте спать пораньше сегодня, Джеймс. У вас усталый вид. Нам обоим нужно взбодриться и собраться с силами, если мы хотим достойно выступить с проповедью перед обеими командами в воскресенье.

Фицджереймс послушно улыбнулся. Бледной странной улыбкой, вызывающей тревогу.

В воскресенье пятого декабря 1847 года Крозье оставил на корабле группу из шести человек под командованием первого лейтенанта Эдварда Литтла – который, как и Крозье, скорее согласился бы удалить себе почечные камни ложкой, чем присутствовать на богослужениях, – а также фельдшера Макдональда и инженера Джеймса Томпсона. Остальные пятьдесят с лишним оставшихся в живых матросов и офицеров двинулись по льду за своим капитаном, вторым лейтенантом Ходжсоном, третьим лейтенантом Ирвингом, старшим помощником капитана Хорнби и прочим начальством. Было почти десять утра, но под мерцающими звездами царила бы крошечная тьма, если бы не полярное сияние, которое пульсировало, играло, переливалось над ними, освещая длинную вереницу фигур, отбрасывающих пляшущие тени на трещиноватый лед. Сержант Соломон Тозер – огромное родимое пятно у него на лице особенно резко выделялось в разноцветном сверкании сполохов – возглавлял отряд вооруженных мушкетами морских пехотинцев, шагавших впереди, по сторонам и позади колонны. Белый зверь не стал трогать людей в это воскресное утро.

В последний раз обе команды в почти полном составе собирались на богослужение – проведенное сэром Джоном незадолго до того, как жуткое существо унесло набожного руководителя экспедиции в черноту подо льдом, – на верхней палубе под холодным июньским солнцем, но, поскольку сейчас температура воздуха была по меньшей мере минус пятьдесят, когда не дул ветер, Фицджереймс распорядился освободить место для богослужения в жилой палубе. Передвинуть огромную плиту не представлялось возможным, но люди подняли матросские обеденные столы на максимальную высоту, сняли передвижные переборки, отделявшие лазарет от кубрика, и убрали другие переборки, отгораживавшие спальную

зону мичманов, крохотную каморку вестового, а равно каюты старшего и второго помощников капитана и второго лоцмана. Кроме того, они сняли переборки офицерской столовой и каюты фельдшера. Образовавшегося свободного пространства хватит на всех, хотя и придется потесниться.

Вдобавок ко всему плотник Фицджеймса Томас Хани соорудил низкий помост с кафедрой – приподнятый лишь на шесть дюймов за недостатком места под бимсами, с подвешенными к ним столами и запасами строительного леса, но достаточно высокий, чтобы Крозье и Фицджеймс были видны людям в задних рядах сплоченной толпы.

– По крайней мере, мы не замерзнем, – шепнул Крозье Фицджеймсу, когда по знаку Чарльза Гамильтона Осмера, лысого старшего интенданта «Эребуса», собравшиеся затянули вступительный гимн.

И действительно, от тепла сгрудившихся тел воздух в жилой палубе прогрелся сильнее, чем когда-либо с тех пор, как шесть месяцев назад на «Эребусе» перестали сжигать огромные груды угля и прогонять горячую воду по трубам отопительной системы. Фицджеймс также потратил бешеное количество масла на десять, если не больше, подвесных ламп, которые освещали обычно темное и задымленное помещение ярче, чем когда-либо с тех пор, как два с лишним года назад солнечный свет перестал литься в престонские патентованные иллюминаторы.

Темные дубовые бимсы сотрясались от мощного хора звучных голосов. Матросы, по своему долгому опыту знал Крозье, любили петь практически в любых обстоятельствах. Даже во время богослужения, коли нет другого повода. Крозье видел в толпе макушку помощника конопатчика Корнелиуса Хикки, рядом с которым, сильно сгорбившись, чтобы не задевать головой бимсы, придурковатый великан Магнус Мэнсон басом ревел гимн столь фальшиво, что резкий скрежет льда снаружи казался почти благозвучным в сравнении. Эти двое совместно пользовались одним из потрепанных сборников церковных гимнов, выданных интендантом Осмером.

Наконец закончился последний гимн, и наступила тишина, нарушаемая лишь шарканьем ног, покашливаниями и пошмыгиваниями носом. В воздухе разносился запах свежее испеченного хлеба, поскольку на рассвете мистер Диггл явился сюда, чтобы помочь коку «Эребуса» Ричарду Уоллу управиться с выпечкой. Крозье и Фицджеймс решили, что в такой особый день стоит потратить дополнительное количество угля, муки и масла, если это послужит укреплению морального состояния людей. Впереди еще оставались два самых темных зимних месяца.

Теперь настало время для двух проповедей. Фицджеймс побрился,

тщательно напудрился и позволил своему личному вестовому мистеру Хору ушить свой мешковатый жилет, брюки и мундир, так что сейчас он выглядел спокойным, собранным и привлекательным, с блестящими эполетами. Один только Крозье, стоявший позади него, видел, как Фицджереймс нервно сжимает и разжимает бледные пальцы, положив свою личную Библию на кафедру и раскрыв на Псалтире.

– Сегодня мы обратимся к сорок пятому псалму, – провозгласил капитан Фицджереймс.

Крозье слегка поморщился от аристократического пришепетывания, заметно усилившегося от волнения.

Бог нам прибежище и сила,
 скорый помощник в бедах.
Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля
 и горы двигнулись в сердце морей.
Пусть шумят, воздымаются воды их,
 трясутся горы от волнения их.
Речные потоки веселят град Божий,
 святое жилище Всевышнего.
Бог посреди его; он не поколеблется:
 Бог поможет ему с раннего утра.
Восшумели народы; двигнулись царства:
 Всевышний дал глас свой, и растаяла земля.
Господь сил с нами,
 Бог Иакова заступник наш.
Приидите и видите дела Господа —
 какие произвел Он опустошения на земле:
Прекращая брани до края земли,
 сокрушил лук и преломил копье,
 колесницы сожег огнем.
Остановитесь и познайте, что Я Бог:
 буду превознесен в народах,
 превознесен на земле.
Господь сил с нами,
 заступник наш Бог Иакова.

Люди хором проревели «аминь» и в знак одобрения потопали ногами. Теперь настала очередь Френсиса Крозье.

Все притихли, столько же от любопытства, сколько из уважения. Люди с «Террора» знали, что проповедь в исполнении капитана неизменно сводится к торжественному чтению корабельного устава: «Если человек отказывается подчиняться приказам вышестоящего офицера, он должен быть подвергнут порке или предан смертной казни, по усмотрению командира корабля. Если человек совершает содомитский акт с другим членом экипажа или с животным из поголовья скота, находящегося на борту, он должен быть предан смертной казни...» – и так далее. По увесистости и размерам устав не уступал Библии и вполне отвечал требованиям Крозье.

Но не сегодня. Крозье нагнулся и с полки под кафедрой достал тяжелую книгу в кожаном переплете. Он положил ее перед собой с обнадеживающим глухим стуком.

– Сегодня, – нараспев произнес он, – я буду читать из Книги Левиафана, часть первая, глава двенадцатая...

По толпе пробежал приглушенный гул. Крозье услышал, как беззубый матрос в третьем ряду проворчал: «Я знаю чертову Библию, и там нет никакой чертовой Книги Левиафана».

Крозье подождал, когда наступит тишина, и начал:

– Что же касается до веры, которая состоит в суждениях о природе Незримых Сил...

Интонации Крозье и ветхозаветный ритм фраз не оставляли сомнений в том, какие именно слова выделены заглавными буквами.

– ...то из всех творений, наделенных именем, нет таких, какие не почитались бы среди языческих племен, в том или ином краю, за порождения Бога или Дьявола; или не представлялись бы воображению языческого Поэта одушевленными, населенными или одержимыми тем или иным Духом. Бесформенная материя Мира являлась Богом по имени Хаос. Небо, Океан, Планеты, Огонь, Земля и Ветры были Богами. Мужина, Женщина, Птица, Крокодил, Телец, Пес, Змея, Лук репчатый и Лук-порей обожествлялись. Кроме того, древние народы населили почти все места духами под общим названием «демоны»: поля и луга – панами, или сатирами; леса – фавнами и нимфами; море – тритонами и другими нимфами; каждую реку или источник – одноименным духом и нимфами; каждый дом – ларами, или пенатами; каждого человека – собственным гением; ад – призраками и бесплотными служителями, как Харон, Цербер и фурии; а все места в ночное время – ларвами, лемурами, призраками мертвых и великим множеством эльфов и гоблинов. Они также приписывали божественную природу и возводили храмы простым

случайностям, явлениям и качествам, как то: Время, Ночь, День, Мир и Согласие, Любовь, Раздор, Добродетель, Честь, Здоровье, Лихорадка и тому подобное, призывая или прогоняя которые молитвой, они молились так, словно призраки поименованных сущностей витали над ними, и отторгали или удерживали то Добро или то Зло, которое призывали или прогоняли своей молитвой. Они также сопрягли свой собственный разум с именем Муз; свое собственное невежество – с именем Фортуны; свою похоть – с именем Купидона; свою ярость – с именем Фурий; свои интимные части – с именем Приапа; и приписали свои ночные семяизвержения инкубам и суккубам – поскольку решительно все, что Поэт мог ввести в свою поэму в качестве персонажа, они относили либо к Богу, либо к Дьяволу.

Крозье помолчал и обвел взглядом напряженные бледные лица слушателей.

– Так кончается глава двенадцатая части первой Книги Левиафана, – сказал он и закрыл толстый том.

На обед в тот день люди получили горячие галеты и полные порции своей любимой соленой свинины. Сорок с лишним матросов с «Террора» теснились за опущенными обеденными столами или использовали в качестве столов бочки, а сидели на матросских сундуках. Гул оживленных голосов радовал слух. Все офицеры с обеих кораблей ели за длинным столом в бывшей каюте сэра Джона. Помимо обязательного противощинготного лимонного сока (доктор Макдональд теперь волновался, что сок в пятигаллонных бочонках теряет свои целебные свойства), все матросы получили по дополнительной порции грога перед обедом. Капитан Фицджереймс достал из своих личных запасов (сэр Джон не взял на борт спиртного для своих нужд) три бутылки отличной мадеры и две бутылки бренди для офицеров и мичманского состава.

Около трех часов пополудни по гражданскому времени люди с «Террора» оделись, попрощались со своими товарищами с «Эребуса», поднялись по главному трапу, выбрались из-под заиндевелоного парусинового навеса и спустились по утрямбованному снежному откосу на темный лед, чтобы двинуться в долгий путь домой под все еще играющими в небе сполохами. Люди перешептывались и тихо переговаривались по поводу проповеди Крозье – большинство были уверены, что Книга Левиафана есть где-то в Библии. Но откуда бы она ни взялась, никто не понимал толком, что хотел сказать капитан своим выступлением, хотя после двойной порции рома мнений и догадок на сей счет появилось

великое множество. Многие мужчины по-прежнему украдкой нащупывали свои амулеты из зубов и когтей белого медведя.

Крозье, возглавлявший шествие, был почти уверен, что по возвращении они найдут Эдварда Литтла и вахтенных убитыми, доктора Макдональда растерзанным на части, а инженера мистера Томпсона разорванным на куски, разбросанные среди труб и клапанов бесполезного парового двигателя.

Все оказалось в порядке. Лейтенанты Ходжсон и Ирвинг раздали свертки с лепешками и мясом, которые были еще теплыми, когда они покидали «Эребус» без малого час назад. Люди, несшие вахту на морозе, получили разрешение сначала выпить дополнительную порцию грога.

Хотя Крозье продрог до костей – после относительного тепла битком набитой жилой палубы «Эребуса» холод снаружи казался еще более лютым, – он оставался на верхней палубе, пока вахтенные не сменились; теперь на пост дежурного офицера заступил Томас Блэнки, ледовый лоцман. Крозье знал, что матросы внизу сейчас примутся за воскресную починку обмундирования, уже с нетерпением ожидая чаепития, а затем ужина, состоящего из жалкой порции «бедного Джона» – соленой трески с галетой, – и надеясь получить унцию сыра в придачу к своей половине пинты бертонского пива.

Крепчающий ветер гнал снег через усеянные сераками ледяные поля по эту сторону громадного айсберга, заслонявшего собой «Эребус» на северо-востоке. Плотные облака заволакивали полярное сияние и звезды. Полдневный мрак заметно сгустился. Наконец, с мыслью о виски, Крозье спустился в свою каюту.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

5 декабря 1847 г.

Через полчаса после того, как капитан и все остальные, вернувшиеся с богослужения на «Эребусе», спустились вниз, Том Блэнки уже не видел из-за снега ни фонарей вахтенных, ни грот-мачты. Ледовый лоцман был рад, что метель разыгралась именно сейчас: начнись она часом раньше – и их обратный путь с «Эребуса» превратился бы в суший кошмар.

В этот черный вечер вахту под командованием мистера Блэнки несли тридцатипятилетний Александр Берри – парень не шибко умный, знал Блэнки, но надежный и расторопный, – а также Джон Хэндфорд и Дэвид Лейс. Последнему, Лейсу, в конце ноября стукнуло сорок, и матросы устроили в честь именинника знатную вечеринку. Но Лейс был уже совсем не тем человеком, который нанялся в экспедицию Службы географических исследований два с половиной года назад. В начале ноября – всего за несколько дней до того, как чудовищный зверь вышиб мозги рядовому морской пехоты Хизеру, дежурившему у правого борта, и утащил с поста у левого борта молодого Билли Стронга, а позже ночью уволок молодого Тома Эванса, светившего фонарем капитану, когда все искали Стронга, – Дейви Лейс просто улегся в койку и перестал разговаривать. Почти на три недели Лейс просто покинул свое тело – глаза у него оставались открытыми и смотрели в пустоту, но он не реагировал на голоса, свет, крики, тычки или щипки. Большую часть времени он провел в лазарете и несколько дней лежал рядом с бедным рядовым Хизером, который лишился части черепа и мозга, но еще каким-то образом умудрялся дышать, – и, пока Хизер продолжал хрипеть и задыхаться, Дейви лежал там сам по себе, уставившись немигающим взглядом в подволоку, словно уже мертвый.

Потом приступ закончился – так же неожиданно, как начался, – и Дейви снова стал таким, как прежде. Или почти таким, как прежде. Аппетит к нему вернулся – он потерял почти сорок фунтов за время своего пребывания вне тела, – но чувство юмора, присущее прежнему Дейви Лейсу, бесследно исчезло. Как исчезла непринужденная мальчишеская улыбка и готовность поддержать любой разговор за починкой одежды или за ужином. И волосы Дейви, которые в первую неделю ноября были

рыжевато-каштановыми, стали совершенно белыми к тому времени, когда он вышел из своего оцепенения через неделю после того, как половины трупов Стронга и Эванса были найдены у фальшборта на корме. Поговаривали, что леди Безмолвная напустила на Лейса порчу.

Томас Блэнки, свыше тридцати лет прослуживший ледовым лоцманом, не верил в злые чары. Он стыдился за мужчин, которые носили амулеты из когтей, зубов и хвостов полярного медведя, якобы защищающие от сглаза и порчи. Он знал, что несколько из самых необразованных матросов – собравшихся вокруг помощника конопатчика Корнелиуса Хикки, которого он никогда не любил и не уважал, – распускают слухи, будто существо на льду является каким-то демоном или дьяволом, и знал также, что люди из окружения Хикки уже приносят жертвы чудовищу, оставляя свои дары перед носовым канатным ящиком, где пряталась леди Безмолвная, эскимосская ведьма. Хикки и его придурковатый друг Мэнсон, похоже, являлись верховными жрецами данного культа – точнее, Хикки являлся жрецом, а Мэнсон прислужником, выполнявшим все приказания Хикки, – и единственными, кому разрешалось относить разнообразные приношения в трюм. Блэнки недавно спускался туда, в крошечную тьму, холод и вонь, и преисполнился отвращением при виде оловянных тарелок с едой, свечных огарков, крохотных порций рома и прочих языческих жертв, положенных на ступеньку перед дверью канатного ящика, над подернутой льдом грязной жижей.

Томас Блэнки не был натуралистом, но он чуть не всю жизнь провел в Арктике, служа матросом или ледовым лоцманом на американских китобойцах, когда Военно-морской флот Великобритании не имел в нем надобности, и знал полярный регион лучше любого другого участника экспедиции. Хотя место, где они находились сейчас, было ему незнакомо – насколько Блэнки знал, доныне еще ни один корабль не заходил так далеко на юг от пролива Ланкастер и так далеко на запад от полуострова Бичи, – ужасные погодные условия Арктики были ему знакомы не хуже, чем лето в Кенте, где он родился.

На самом деле даже лучше, осознал Блэнки. Он не видел кентского лета почти двадцать восемь лет.

Снежная буря, бушевавшая сегодня ночью, была ему хорошо знакома, как и сплошные ледяные поля, сераки, скрежещущие торосные гряды, выталкивавшие бедный «Террор» все выше на постаменте из льда, который напирал на корабль со всех сторон, по капле выдавливая из него жизнь. Ледовый лоцман «Эребуса» Джеймс Рейд – человек, пользовавшийся глубоким уважением Блэнки, – сегодня после богослужения сообщил ему,

что старому флагману, несчастному «Эребусу», уже недолго осталось. Кроме того, что дневной расход угля на нем сократили еще сильнее, чем на слабеющем «Терроре», лед взял корабль сэра Джона в еще более тесные и неумолимые тиски, чем год назад, когда они впервые намертво застряли здесь.

Рейд шепотом сообщил, что, поскольку «Эребус» наклонен к корме – в отличие от «Террора», имеющего крен на нос, – неослабное давление льда на флагман сэра Джона значительно сильнее и возрастает гораздо быстрее, выталкивая скрипящий, стонущий корабль все выше над поверхностью замерзшего моря. Расколотый в щепки руль и поврежденный киль уже не подлежат восстановлению вне сухого дока. Листы кормовой обшивки уже сорвало – в кормовом отсеке трюма уже три фута замерзшей воды, и только мешки с песком и водонепроницаемые перемышки не позволяют ледяному месиву хлынуть в котельную, – и толстые дубовые бимсы, прослужившие не одно десятилетие в военное и мирное время, раскалываются. Что еще хуже, паутины железных конструкций, установленных в 1845-м для придания «Эребусу» прочности, теперь постоянно трещат под ужасным давлением льда. Время от времени металлические стойки малого сечения лопаются в местах соединений со звуком пушечного выстрела. Такое часто случается среди ночи, и люди рывком садятся в койках, определяют природу оглушительного треска и возвращаются ко сну с тихими проклятиями. Капитан Фицджереймс обычно спускается в трюм в сопровождении нескольких офицеров, чтобы обследовать очередное повреждение. Подкосы потолще выдержат, сказал Рейд, но при этом проломают деформированную дубовую и железную обшивку корпуса. Когда это произойдет, корабль затонет в любом случае.

Ледовый лоцман «Эребуса» сказал, что корабельный плотник Джон Уикс проводит в трюме и в средней палубе все дни, а нередко и половину ночи, с командой из десяти человек, самое малое, устанавливая повсюду пиллерсы и подкосы из толстых досок – на каковое дело пошли все запасы строительного леса, имевшиеся на борту «Эребуса», и значительная часть материалов, потихоньку позаимствованных на «Терроре», – но возведенные деревянные конструкции укрепят корабль, в лучшем случае, лишь на время. Если они не вырвутся из ледового плена к апрелю или маю, сказал Рейд со слов Уикса, «Эребус» раздавит как скорлупку.

Томас Блэнки хорошо знал лед. В начале лета 1846-го, когда он вел сэра Джона и его капитана на юг по длинному каналу и вновь открытому проливу к югу от пролива Барроу (в судовых журналах новый пролив оставался безымянным, но некоторые уже называли его именем

Франклина, словно от того, что пролив, ставший ловушкой для покойного старого болвана, получил такое название, призраку последнего станет легче смириться с тем фактом, что жуткий зверь утащил его под лед), Блэнки постоянно находился на своем посту на верхушке грот-мачты, выкрикивая указания рулевому, пока «Террор» и «Эребус» медленно преодолевали более двухсот пятидесяти миль пути между перемещающимися ледяными полями, по неуклонно сужающимся разводьям и тупиковым протокам.

Томас Блэнки был мастером своего дела. Он знал, что является одним из лучших ледовых лоцманов в мире. Со своего опасного поста на верхушке грот-мачты (на старых военных кораблях не было «вороньих гнезд», как на простом китобойце) Блэнки видел разницу между дрейфующим льдом и шугой на расстоянии восьми миль. Ночью во сне он всегда сразу слышал, когда корабль выходил из хлюпающего «сала» в скрежещущий блинчатый лед. Он с первого взгляда мог сказать, какие флорберги следует обойти стороной, а какие можно таранить. Каким-то образом его немолодые глаза различали скрытые под водой бело-голубые обломки айсбергов в бело-голубом море, ослепительно сверкающем в солнечных лучах, и даже видели, какие из них просто со скрежетом и грохотом проскользят вдоль корпуса корабля, а какие – как настоящие айсберги – представляют опасность для судна.

Блэнки гордился работой, которую проделали они с Рейдом, проведя оба корабля на двести пятьдесят с лишним миль к югу, а потом к западу от места первого зимовья у островов Бичи и Девон. Но Томас Блэнки также ругал себя последними словами за то, что помог провести два корабля со ста двадцатью шестью душами на борту на двести пятьдесят миль к югу, а потом к западу от места зимовья у Бичи и Девона.

Корабли могли вернуться от острова Девон к проливу Ланкастер и по нему пройти в Баффинов залив, даже если бы им пришлось переждать два – пусть три – холодных лета, чтобы вырваться из ледового плена. Маленькая бухта у Бичи защитила бы корабли от бесчинств, какие лед творит в открытом море. И рано или поздно лед в проливе Ланкастера начал бы таять. Томас Блэнки знал тот лед. Он был таким, каким и полагается быть арктическому льду, – коварным, смертоносным, готовым уничтожить вас после одного-единственного неверного решения или самой ничтожной оплошности, но предсказуемым.

Но с таким льдом, подумал Блэнки, с притопом расхаживая взад-вперед по темной корме, чтобы ноги не замерзали, и видя тусклый свет фонарей у левого и правого борта, где расхаживали Берри и Хэндфорд со своими дробовиками, с таким льдом он еще не сталкивался никогда

прежде.

Они с Рейдом предупреждали сэра Джона и двух капитанов в позапрошлом сентябре, незадолго перед тем, как корабли вмерзли в лед. Блэнки посоветовал «сделать рывок», сойдясь с капитаном Крозье во мнении, что им следует обратиться в бегство, пока еще остаются хоть самые узкие каналы, и отыскать свободную от льда воду по возможности ближе к полуострову Бутия и по возможности быстрее. Там, рядом со знакомым берегом – по крайней мере, восточный берег полуострова был знаком ветеранам Службы географических исследований и старым китобоям вроде Блэнки, – море наверняка не замерзло бы еще неделю, а то и две в том памятном сентябре, когда они упустили возможность спастись. Даже если бы они не смогли пройти под паром на север вдоль побережья из-за потоков кочковатого льда и из-за многолетнего пака – мертвого пака, по выражению Рейда, – они были бы в гораздо большей безопасности под прикрытием массива суши, который, как они знали теперь, после предпринятой прошлым летом санной экспедиции покойного лейтенанта Гора, является островом – или полуостровом – Кинг-Уильям, открытым Джеймсом Россом. Этот массив суши – пусть плоский, покрытый льдом, продуваемый ветрами и притягивающий молнии, как они теперь знали, – все же защитил бы корабли от посланного дьяволом постоянного северо-западного арктического ветра, метелей, мороза и бескрайнего глетчерного морского льда.

Блэнки никогда прежде не видел такого льда. Одним из немногих преимуществ пакового льда – даже если ваш корабль вмерз в него, точно мушкетная пуля, выпущенная в айсберг, – является то обстоятельство, что пак дрейфует. Корабли, с виду неподвижные, на самом деле движутся. Когда в тридцать шестом году Блэнки служил ледовым лоцманом на американском китобойце «Плурибус», зима с ревущими снежными бурями наступила двадцать шестого августа, застав врасплох всех, включая бывшего одноглазого капитана, затерев корабль льдами в Баффиновом заливе в сотнях миль от залива Диско.

Следующее арктическое лето выдалось скверное – почти такое же холодное, как нынешнее лето 1847 года, когда лед так и не растаял, воздух не прогрелся и ни птицы, ни другие представители местной фауны не вернулись, – но китобоец «Плурибус» вмерз в предсказуемый паковый лед и более семисот миль дрейфовал с ним на юг, пока наконец в последних числах августа они не достигли полосы ледяных потоков и не умудрились пройти через моря «сала», узкие каналы и так называемые полыньи (таким словом один русский капитан, знакомый Блэнки, обозначал трещины во

льду, открывающиеся прямо у вас на глазах) в чистые воды, откуда двинулись на юго-восток, в гренландский порт, чтобы встать на ремонт.

Но здесь на такое рассчитывать не приходилось, знал Блэнки. Здесь, в этом поистине богом забытом белом аду. Этот паковый лед, как он говорил капитанам год и три месяца назад, больше походил на бескрайний глетчер, принесенный течением с Северного полюса. И здесь – где к юго-западу от них простирались по большей части неисследованные территории канадской Арктики, а полуостров Бутия находился вне досягаемости к востоку и северо-востоку – не наблюдалось никакого настоящего дрейфа льда, о чем постоянно говорили показания солнечных и звездных секстантов, – только тошнотворное вращение по кругу с длиной окружности в пятнадцать миль. Словно мухи, наколотые на штырьки одного из металлических музыкальных дисков, которыми никто в кают-компании уже давно не пользовался, они совершали бесконечное круговое движение, снова и снова возвращаясь к исходной точке.

И этот паковый лед больше походил на сплоченный прибрежный лед, или припай, – только здесь, в открытом море, он имел толщину от двадцати до двадцати пяти футов вместо трех, обычных для припая, и при такой толщине льда капитаны не могли поддерживать в открытом состоянии пожарные проруби, которые все затертые льдами корабли держали открытыми всю зиму.

Этот лед – этот порожденный дьяволом глетчерный лед с полюса – даже не позволял им похоронить своих мертвецов.

Томас Блэнки задался вопросом, не являлся ли он орудием зла – или, возможно, просто глупости, – когда использовал весь свой тридцатилетний опыт ледового лоцмана, чтобы провести корабли по пути в двести пятьдесят миль, через непроходимые льды, и доставить сто двадцать шесть человек к этому ужасному месту, где им оставалось лишь умереть.

Внезапно раздался крик. Потом грохот выстрела. Потом снова крик.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

5 декабря 1847 г.

Блэнки сдернул зубами рукавицу с правой руки, бросил ее на палубу и вскинул свой дробовик. Традиция предписывала дежурным офицерам нести вахту безоружными, но капитан Крозье приказом положил конец этой традиции. Все люди на верхней палубе в любой час дня и ночи должны были иметь при себе оружие. Тонкая шерстяная перчатка, надетая под рукавицей, позволяла Блэнки просунуть палец в спусковую скобу дробовика, но рука мгновенно застыла на ледяном ветру.

Фонарь матроса Берри, стоявшего на посту у левого борта, исчез из виду. Казалось, выстрел раздался слева от зимнего парусинового навеса посреди палубы, но ледовый лоцман знал, что ветер и снег искажают звуки. Блэнки по-прежнему видел тусклый свет фонаря у правого борта, но он прыгал и двигался.

– Берри? – крикнул Блэнки в сторону погруженного во тьму левого борта. Он почти физически почувствовал, как воющий ветер подхватил два слога и швырнул обратно к корме. – Хэндфорд?

Теперь исчез и слабый свет фонаря у левого борта. Фонарь Дейви Лейса на носу был бы виден с кормы в ясную ночь, но эта ночь была отнюдь не ясной.

– Хэндфорд?

Мистер Блэнки двинулся вперед с намерением обойти парусиновый шатер со стороны левого борта, держа дробовик в правой руке, а фонарь в левой. В кармане у него лежали еще три патрона, но он по опыту знал, сколько времени потребуется, чтобы вытащить их и зарядить ружье на таком морозе.

– Берри! – проорал он. – Хэндфорд! Лейс!

Теперь, вдобавок ко всему прочему, существовала опасность, что трое мужчин перестреляют друг друга во вьюжной мгле на наклонной обледенелой палубе, хотя, судя по всему, Алекс Берри уже разрядил свой дробовик. Второго выстрела не последовало. Но Блэнки знал, что, если он начнет обходить заиндевевший парусиновый навес со стороны левого борта, а Хэндфорд и Лейс внезапно выйдут навстречу, напуганные мужчины

могут пальнуть во что угодно – даже в движущийся фонарь.

И все же он продолжал идти вперед.

– Берри? – крикнул он, когда до поста у левого борта оставалось ярдов десять.

Краем глаза он заметил какое-то движение во вьюжном мраке – неясная тень, много превосходящая размерами человеческую фигуру, – а потом раздался грохот громче любого ружейного выстрела. В следующий миг прогремел второй выстрел. Блэнки, шатаясь, отступил к корме шагов на десять; бочки, бочонки, ящики и прочие предметы корабельного имущества взлетели в воздух. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло: обледенелый парусиновый шатер посреди палубы, растянутый к носу и корме, внезапно рухнул, разбросав во все стороны сотни фунтов скопившегося на нем льда и снега и разметав по палубе хранившиеся под ним припасы – в основном бочонки с легковоспламеняемой смолой, материалы для конопачения и ящики с песком, которым посыпали снег, намеренно оставленный на палубе для лучшей теплоизоляции; нижние рей грот-мачты, более года назад развернутые вдоль продольной оси судна и служившие своего рода коньковым брусом для навеса, с грохотом обрушились на главный люк.

Теперь, когда тяжесть парусины, снега и рея придавливала крышку люка, Блэнки и остальные трое вахтенных не могли спуститься в жилую палубу, и оттуда никто не мог подняться наверх, чтобы выяснить причину грохота. Ледовый лоцман знал, что люди внизу вскоре бросятся к заколоченному на зиму носовому люку и начнут открывать его, но на это уйдет время.

«Интересно, будем ли мы еще живы, когда они поднимутся на палубу?» – подумал Блэнки.

Двигаясь со всей возможной осторожностью по усыпанному песком утрамбованному снегу, покрывавшему покатую палубу, Блэнки обошел груды обломков позади рухнувшего навеса и двинулся по узкому проходу, остававшемуся вдоль правого борта.

Перед ним выросла расплывчатая фигура.

Продолжая держать фонарь в левой руке, Блэнки вскинул дробовик, готовясь спустить курок.

– Хэндфорд! – воскликнул он, увидев бледное пятно лица посреди темной массы накрученных на голову шарфов. «Уэльский парик» мужчины находился в беспорядке. – Где ваш фонарь?

– Я уронил его. – Матрос был без рукавиц и перчаток и сильно дрожал. Он придвинулся ближе к Томасу Блэнки, словно ледовый лоцман являлся

источником тепла. – Уронил, когда это существо сломало рей. Фонарь упал и погас.

– Что значит «когда существо сломало рей»? – раздраженно осведомился Блэнки. – Ни один зверь на свете не в состоянии сломать рей.

– А оно сломало! – сказал Хэндфорд. – Я услышал выстрел дробовика. Потом Берри прокричал что-то. Потом его фонарь погас. Потом я увидел, как что-то... громадное, страшно громадное... запрыгнуло на рей, и именно тогда все рухнуло. Я попытался выстрелить в существо, но ружье дало осечку. Я оставил его у планширя.

«Запрыгнуло на рей?» – подумал Блэнки. Рей грот-мачты находился на высоте двенадцати футов над палубой. Ни один зверь не мог запрыгнуть на него. И сейчас, когда мачта обросла ледяным панцирем, ни один зверь не мог и залезть на нее. Вслух он сказал:

– Нам нужно найти Берри.

– Ничто на свете не заставит меня пойти к левому борту, мистер Блэнки. Делайте со мной что угодно, прикажите боцманмату Джонсону всыпать мне пятьдесят плетей, но я ни за какие блага в мире не пойду туда, мистер Блэнки. – Зубы у Хэндфорда стучали так сильно, что Блэнки с трудом разбирал слова.

– Успокойтесь! – резко сказал Блэнки. – Никто никого не собирается наказывать. Где Лейс?

Отсюда Блэнки должен был бы видеть фонарь Дэвида Лейса, горящий на носу. Но носовую часть палубы окутывала тьма.

– Его фонарь погас одновременно с моим, – проговорил Хэндфорд, стуча зубами.

– Подите возьмите свой дробовик.

– Я не могу вернуться туда... – начал Хэндфорд.

– Черт тебя побери! – проревел Томас Блэнки. – Если ты, твою мать, не возьмешь ружье сию же минуту, пятьдесят плетей покажутся тебе сущим пустяком по сравнению с тем, что тебя ожидает, Джон Хэндфорд. А ну, живо!

Хэндфорд тронулся с места. Блэнки последовал за ним, ни на миг не поворачиваясь спиной к груде парусины посреди палубы. Свет фонаря еле рассеивал метельную тьму, образуя сферу диаметром всего лишь футов десять, если не меньше. Ледовый лоцман по-прежнему держал дробовик наготове. Обе руки у него ныли от усталости.

Хэндфорд безуспешно пытался поднять дробовик явно онемевшими от холода руками.

– Где, черт возьми, твои перчатки и рукавицы, приятель? –

раздраженно спросил Блэнки.

Он оттолкнул матроса в сторону и сам поднял дробовик. Убедившись, что ствол не забит снегом, он протянул оружие Хэндфорду. В конце концов Блэнки пришлось запихнуть ружье матросу под мышку, чтобы тот поддерживал его обеими окоченевшими руками. Зажав под мышкой свой собственный дробовик, Блэнки выудил из кармана патрон, зарядил ружье Хэндфорда и взвел курок.

– Если из-за этой груды появится кто-нибудь крупнее меня или Лейса, – прокричал он в ухо Хэндфорду, перекрывая вой ветра, – целься и спускай курок, хоть своими чертовыми зубами.

Хэндфорд сумел кивнуть.

– Я пойду вперед, чтобы найти Лейса и помочь ему открыть передний люк, – сказал Блэнки.

В носовой части палубы, среди темной груды обледенелой парусины, обломков рея и перевернутых ящиков, не наблюдалось никакого движения.

– Я не могу... – начал Хэндфорд.

– Просто стой, где стоишь! – резко сказал Блэнки. Он поставил фонарь на палубу рядом с напуганным до смерти мужчиной. – Не вздумай пальнуть в меня, когда я вернусь с Лейсом, – или, Богом клянусь, мой призрак будет преследовать тебя до самой твоей смерти, Джон Хэндфорд.

Хэндфорд снова кивнул: бледное пятно лица качнулось вперед.

Блэнки двинулся к носу. Через дюжину шагов он оказался за пределами круга света от фонаря, но ночное зрение все не возвращалось. Твердые крупинки снега болезненно секли лицо. Крепчающий ветер над головой завывал в остатках растрепанных, изорванных снастей. Здесь было так темно, что Блэнки пришлось взять дробовик в левую руку – руку в рукавице, – чтобы правой нащупывать обледенелый планширь. Насколько он мог судить, и здесь, ближе к носу, рей грот-мачты тоже сломался и обрушился на палубу.

– Лейс! – крикнул он.

Громадная фигура, мутно-белая в метельном мраке, выросла над грудой парусины и преградила Блэнки путь. В такой темноте ледовый лоцман не видел, является ли существо белым медведем или демоном и находится ли оно в десяти футах от него или в тридцати, но он ясно видел, что оно полностью преградило путь к носу.

Потом оно встало на задние лапы.

Блэнки видел только расплывчатый серый силуэт существа, о размерах которого мог судить лишь по тому, что оно заслонило его от вьюжного ветра, но зверь был поистине огромным. Крохотная треугольная голова –

если там, в темноте, он видел действительно голову – поднималась выше уровня рея, недавно служившего коньковым брусом для парусиновой крыши. В белесом треугольнике головы он разглядел две черных дыры – глаза? – но они находились на высоте по меньшей мере четырнадцати футов над палубой.

«Этого не может быть», – подумал Томас Блэнки.

Существо двинулось к нему.

Блэнки перекинул дробовик в правую руку, упер приклад в плечо, подхватил ложе рукой в рукавице и спустил курок.

Когда полыхнуло пламя, ледовый лоцман на долю секунды увидел черные мертвые акульи глаза, вперенные в него, – нет, вовсе не акульи, осознал он в следующий миг, ослепленный вспышкой выстрела, а два черных круглых глаза, гораздо более злобных и осмысленных, чем даже у акулы, – и безжалостный, неподвижный взгляд хищника, видящего в вас лишь добычу. И эти бездонные черные глаза находились высоко над ним – над широченными, шире размаха рук Блэнки, плечами – и стали приближаться к нему, когда громадная фигура подалась вперед.

Блэнки швырнул в существо дробовик – времени перезаряжать его не было – и прыгнул к вантам.

Только благодаря сорокалетнему опыту плаваний ледовый лоцман, даже не попытавшись ничего рассмотреть в метельной тьме, не промахнулся мимо обледенелых вант. Он вцепился в них правой рукой без рукавицы, рывком подтянул ноги, судорожно нашарил башмаками выбленки, стянул зубами левую рукавицу и начал карабкаться вверх, висая чуть не вниз головой на внутренней стороне косо натянутых над палубой тросов.

В шести дюймах под ним что-то рассекло воздух с силой двухтонного тарана, раскачанного в полный размах. Блэнки услышал, как три толстых продольных троса трещат, рвутся... не может быть!.. и лопаются, со свистом взлетая вверх и едва не сбрасывая Блэнки на палубу.

Он с трудом удержался. Перебросив левую ногу на внешнюю сторону уцелевших вант, он нашел опору на обледенелой выбленке и начал карабкаться выше, ни на секунду не останавливаясь. Томас Блэнки двигался с проворством мартышки, точным подобием которой он являлся в возрасте двенадцати лет, когда считал, что мачты, паруса, ванты и верхний такелаж трехмачтового военного корабля, где он служил юнгой, – все придумано и изготовлено служащими британского военно-морского флота единственно для его удовольствия и развлечения.

Он находился уже на высоте двадцати футов над палубой и

приближался к марса-рею – развернутому, как положено, под прямым углом к продольной оси корабля, – когда жуткий зверь внизу снова ударил по вантам у основания, сбивая ледяной панцирь с планширя, с мясом вырывая болты, кофель-нагели и железные блоки из гнезд.

Оборванные снасти взвились вверх, устремляясь к мачте. Блэнки знал, что от тяжелого удара обледенелых тросов он сорвется и кувырком полетит вниз, в лапы и зубы чудовища. По-прежнему ничего не видя в темноте дальше чем на пять футов, ледовый лоцман прыгнул к грот-марса-рею.

Окоченевшими руками он ухватился за рей и леер над ним, одновременно найдя одной ногой футроп. Перемещаться по футропам удобнее было бы босиком, знал Блэнки, но только не сегодня.

Подтянувшись, он забрался на грота-марс-рей, находящийся на высоте более двадцати пяти футов над палубой, и обхватил обледенелый дубовый брус руками, припав к нему всем телом, точно перепуганный всадник на понесшем коне, и лихорадочно шаря ногами в поисках футропа, чтобы в него упереться.

При обычных обстоятельствах, даже в темноте, на сильном ветру со снегом, любой приличный матрос без особого труда забрался бы еще на шестьдесят футов выше, к верхним реям и такелажу, и достиг бы салинга, откуда мог бы выкрикивать оскорбления своему обескураженному преследователю, словно шимпанзе, швыряющий вниз кокосы с абсолютно недостижимой высоты. Но в эту декабрьскую ночь на «Терроре» не было верхних реев и такелажа. Здесь, наверху, не было места, где мог бы чувствовать себя в полной безопасности человек, удирающий от существа невероятной силы, способного сломать грота-рей.

Год назад, в сентябре, Блэнки помогал Крозье и Гарри Пеглару, формарсовому старшине, когда они готовили «Террор» к зимовке во второй раз за время экспедиции. Работа была непростая и небезопасная. Они сняли и уложили на хранение под палубой рей и снасти бегучего такелажа. Потом с великой осторожностью сняли брам-стенги и стенги – с великой осторожностью, поскольку при малейшей ошибке в обращении с лебедкой и шкивом или при внезапном запутывании снастей тяжелые мачты могли рухнуть вниз, пробив все палубы и днище корабля, как массивное копье пробивает доспехи. Но если бы верхний рангоут остался на месте, за бесконечную зиму на нем выросли бы многие тонны льда. Тогда ледяные обломки постоянно сыпались бы вниз подобием снарядов, угрожая жизни вахтенных и прочих людей на палубе, а кроме того, от тяжести выросшего льда корабль мог перевернуться.

Когда на палубе остались лишь три жалких обрубка мачт (для моряка

зрелище столь же безобразное, как безногий инвалид для художника), Блэнки помог проследить за тем, чтобы все оставшиеся снасти стоячего такелажа были ослаблены: излишне сильно натянутая парусина и тросы просто не выдержали бы веса снега и льда. Даже шлюпки «Террора» – два больших вельбота и два тендера поменьше – были сняты со своих мест, перевернуты вверх днищем и уложены на лед.

Сейчас Томас Блэнки находился на грот-марса-рее, на высоте двадцати пяти футов над палубой, и выше оставался всего один рей, причем все тросы, ведущие к третьему, и последнему, рею, обросли толстой и скользкой ледяной коркой. Сама грот-мачта представляла собой ледяной столб, облепленный спереди снегом. Ледовый лоцман покрепче обхватил рей ногами и напряженно всмотрелся в метельный мрак внизу. Там царила крошечная тьма. Хэндфорд либо погасил фонарь, либо кто-то сделал это за него. Блэнки решил, что матрос либо трусливо прячется в темноте, либо уже погиб; в любом случае помощи от него ждать не приходилось. Распластанный над футропами Блэнки посмотрел налево и увидел, что на носу, где стоял вахту Дэвид Лейс, фонарь тоже не светит.

Блэнки прищурился, сию минуту разглядеть получше существо внизу, но там все находилось в движении – разорванная парусина хлопала на ветру, по наклонной палубе катились бочонки и скользили упаковочные клетки, – и он сумел различить в густом мраке лишь расплывчатую темную фигуру, которая пробиралась к грот-мачте, раскидывая в стороны трехсотфунтовые бочонки с песком, точно полые кегли.

«Оно не сможет взобраться по мачте», – подумал Блэнки. Он чувствовал пронизывающий холод рея ногами, грудью и пахом. Пальцы рук в тонких перчатках начинали неметь. Он где-то потерял свой «уэльский парик» и шерстяной шарф. Он напряг слух и зрение, надеясь услышать стук откинутой крышки переднего люка и крики мужчин, надеясь увидеть горящие фонари многочисленной спасательной команды, но носовая часть палубы оставалась погруженной во тьму. «Неужели оно чем-то завалило и передний люк тоже? Ладно, по крайней мере оно не сможет залезть на мачту. Ни одно существо таких размеров не способно на это. Ни один белый медведь – если это белый медведь – не имеет подобного опыта».

Существо начало карабкаться вверх по ослабленной грот-мачте.

Блэнки чувствовал, как она сотрясается всякий раз, когда чудовище вонзает когти в дерево. Он слышал глухие шлепки, царапающие звуки и ворчание... густое, утробное ворчание...

Существо карабкалось вверх.

По всей вероятности, оно уже достигло уровня грота-рея. Блэнки

напряженно всмотрелся в темноту и различил, как ему показалось, мохнатое мускулистое тело, голову и гигантские передние лапы – или руки – длиной в человеческий рост, которые уже вцепились когтями в мачту выше уровня грота-рея, в то время как мощные задние лапы, с такими же когтями, оперлись на расщепленные обломки, оставшиеся от грота-рея.

Блэнки медленно пополз вперед по обледенелому грот-марса-рею, крепко обхватывая руками и ногами сотрясаемый ветром десятидюймовый круглый брус, словно неистовый любовник – предмет своей страсти. На обращенной к носу стороне неуклонно сужающегося рея, поверх ледяного панциря, налип двухдюймовый слой свежего снега. Блэнки упирался ногами в футропы.

Громадное существо на грот-мачте достигло уровня грот-марса-рея, на котором находился Блэнки. Ледовый лоцман мог видеть гигантского зверя, только сильно выворачивая голову и глядя через плечо, да и тогда различал чудовище лишь как огромную бледную пустоту, поглощающую часть мачты.

Внезапно рей сотряс толчок столь мощный, что Блэнки буквально взлетел в воздух, а потом рухнул обратно, больно ушибив яйца и живот и задохнувшись от удара о брус. Он точно сорвался бы вниз, если бы обе руки и одна нога у него не были крепко опутаны футропами, находящимися прямо под обледенелым реем. По ощущениям казалось, будто железная лошадь, взбрыкнув, подбросила Блэнки на два фута в воздух.

Последовал второй удар, от которого Блэнки подкинуло бы на пять футов в темноту в тридцати футах над палубой, но он успел подготовиться, вцепившись в брус изо всей мочи. Однако сотрясение было настолько сильным, что Блэнки соскользнул с обледенелого рея и беспомощно повис под ним, с по-прежнему запутанными в футропах онемевшими руками и ногами. Он с трудом подтянулся и заполз обратно на рей, когда последовал третий, и самый сильный, удар. Ледовый лоцман услышал треск, почувствовал, как толстый брус подается вниз, и осознал, что всего через несколько секунд – или время, через которое передняя лапа невероятного размера и невообразимой силы нанесет заключительный удар, – он сам, рей, леера, футропы, шкоты и бешено раскачивающиеся снасти стоячего такелажа рухнут с двадцатипятифутовой высоты на палубу, заваленную парусиной, обломками рея, бочонками и ящиками.

Блэнки сделал невозможное. На наклонном, трещащем, обледенелом рее он поднялся сначала на колени, потом на ноги, разъезжавшиеся на покрытой снегом скользкой поверхности бруса, несколько секунд постоял, комично и нелепо размахивая руками, чтобы удержать равновесие на

воющем ветру, а затем прыгнул в темноту, выставив вперед руки с намерением ухватиться за один из невидимых фалов, который должен был находиться, мог находиться где-то там, если принять в расчет наклон корабля на нос и напор метельного ветра на тонкие тросы, а также сделать поправку на сильную вибрацию грот-марса-рея, сотрясаемого непрерывными ударами жуткого существа.

Блэнки промахнулся руками мимо единственного троса, болтающегося в темноте. Он ударился об него замерзшим лицом, но в падении все же успел ухватиться за него, проскользил по нему всего футов на шесть вниз, а потом начал лихорадочно карабкаться вверх, к третьему, и последнему, рею на укороченной грот-мачте, находившемся на высоте менее пятидесяти футов над палубой.

Под ним раздался рев. Потом грохот рухнувшего на палубу грот-марса-рея со снастями бегучего и стоячего такелажа. Потом еще громче прозвучал рев чудовища, сидевшего на мачте.

Этот фал представлял собой тонкий пеньковый канат, болтающийся на расстоянии ярдов восьми от мачты. Он предназначался для того, чтобы быстро спускаться по нему с салинга или верхних реев, но не для того, чтобы по нему подниматься. Но Блэнки стал подниматься. Хотя трос был покрыт ледяной коркой и раскачивался на ветру, хотя Томас Блэнки больше не чувствовал пальцев на правой руке, он карабкался по тросу с проворством четырнадцатилетнего гардемарина, резвящегося на верхних вантах вместе с другими мальчишками после ужина тропическим вечером.

Он не смог забраться на верхний рей, обросший слишком толстым ледяным панцирем, но нашел подвернутые обледенелые футропы под ним и перелез на них с троса. Куски льда, отколовшиеся с распущенных футропов, полетели вниз. Блэнки показалось, что он слышит стук и треск в носовой части палубы, словно Крозье и матросы взламывали наглухо задраенный передний люк топорами.

Распластавшись на обледенелых футропах, как паук, Блэнки посмотрел вниз и влево. Либо метель несколько утихла, либо ночное зрение у него отчасти восстановилось, либо и первое и второе. Он видел чудовище. Оно продолжало упорно карабкаться вверх, к третьему, и последнему, рею. Оно казалось таким огромным на грот-мачте, что походило на крупного кота, взбирающегося по слишком тонкому стволу молодого деревца. Только, разумеется, подумал Блэнки, у него нет решительно ничего общего с котом, если не считать того единственного факта, что оно передвигается, глубоко вонзая когти в обросшую ледяным панцирем дубовую мачту, укрепленную железными ободьями, от которой

пушечные снаряды среднего калибра отскакивают, как мячики.

Блэнки медленно перемещался по футропам к концу рея; подвернутый замерзший парус трещал, точно перекрахмаленный миткаль, и куски льда дождем сыпались с него вниз.

Гигантский зверь достиг уровня третьего рея. Блэнки почувствовал, как рей сотрясается, а потом проседает, когда громадное существо переносит на него часть своего веса. Представив, как оно забрасывает огромные передние лапы на рей по обе стороны от мачты, представив, как одна мощная лапа шириной с его грудь поднимается, чтобы нанести удар по брусу, более тонкому, чем два предыдущих, Блэнки пополз быстрее. Он уже находился почти в сорока футах от мачты, уже за пределами палубы, темневшей в пятидесяти футах внизу. Матрос, сорвавшийся с рея или с футропов здесь, упал бы в море. Если Блэнки сорвется, он упадет на лед с высоты шестидесяти футов.

Голова и плечи Блэнки внезапно запутались в каких-то тросах – все кончено, он попал в ловушку, – и в первый момент он едва не завопил от ужаса. Но в следующий миг понял, что это такое: снасти стоячего такелажа, ванты с выбленками, изначально натянутые между бортом и вторым салингом, но на зиму перекинутые на верхушку укороченной грот-мачты, чтобы рабочие команды могли скалывать здесь лед. Снасти такелажа правого борта, вырванные из многочисленных креплений на палубе двумя ударами гигантской лапы. Сейчас достаточно сильно обросшие льдом, чтобы сеть из продольных и поперечных тросов приобрела свойства паруса и, подхваченная ветром, отлетела далеко за правый борт судна.

И снова Блэнки действовал без раздумий. Раздумывать над такого рода следующим шагом, на высоте шестидесяти с лишним футов над льдом, значило принять решение отказаться от него.

Он перепрыгнул со скрипящих футропов на раскачивающиеся ванты.

Как он и ожидал, под тяжестью его тела ванты полетели обратно к грот-мачте. Он пронесся в футах от громадного мохнатого чудовища. В темноте было трудно рассмотреть что-либо помимо общих очертаний ужасной фигуры, но треугольная голова, размером с туловище Блэнки, резко повернулась на шее, слишком длинной и гибкой, чтобы принадлежать существу посюстороннему, и зубы длиннее окоченевших пальцев Блэнки громко лязгнули, сомкнувшись в воздухе прямо у него за спиной. Ледовый лоцман почувствовал зловонное дыхание чудовища – жаркое дыхание хищного зверя, с запахом гнилого мяса, а не с тяжелым рыбным духом, исходившим из открытых пасть поллярных медведей, которых они убивали и свеживали на льду. Смердный запах разложившейся человеческой плоти,

смешанной с серой, накатил на него горячей волной, точно струя воздуха, вырывающаяся из открытой топки парового котла.

В тот момент Томас Блэнки понял, что матросы, которых он мысленно обзывал суеверными дураками, на самом деле правы: это существо являлось столько же демоном, сколько животным из плоти, крови и белого меха. Оно являлось воплощением некой силы, которую надлежало улагодворять, которой следовало поклоняться – или же просто спастись от нее бегством.

Пролетая над серединой палубы, он на мгновение испугался, что тросы под ним зацепятся за обломки реев или наткнутся на снасти стоячего такелажа левого борта, и тогда существу останется лишь подтянуть наверх оборванные ванты вместе с ним, точно рыболовную сеть с большой рыбой, но инерция движения, приданная тросам весом Блэнки, унесла его на пятнадцать или больше футов за продольную ось судна, к левому борту.

Теперь снасти собирались качнуться в обратном направлении и отнести Блэнки прямо к левой передней лапе чудовища, которую оно уже вытягивало в метельном мраке, чтобы схватить добычу.

Блэнки извернулся всем телом, бросая свой вес в сторону носа, почувствовал, как неповоротливые обледенелые ванты меняют направление движения, а потом повис на руках, болтая ногами в попытке нашарить третий рей со стороны левого борта.

Он зацепился за него башмаком, пролетая над ним. Подошва проехала по обледенелому брусу и соскользнула, но, когда ванты качнулись в обратном направлении, Блэнки нашел рей обеими ногами и оттолкнулся от него со всей силы.

Ванты снова пролетели мимо грот-мачты, но на сей раз уклоняясь в сторону кормы. Блэнки по-прежнему висел на руках, дрыгая ногами в воздухе на высоте пятидесяти футов над рухнувшим парусиновым тентом и разбросанными по палубе запасами корабельного имущества, и он подтянулся к тросам по возможности ближе, когда проносился мимо грот-мачты и существа, подстерегавшего его там.

Когтистая лапа рассекла воздух меньше чем в пяти дюймах от его спины. Несмотря на весь свой ужас, Блэнки почувствовал удивление, смешанное с восхищением: он знал, что после толчка ногами его отнесло почти на десять футов от грот-мачты. Должно быть, существо – или дьявол – глубоко вонзило когти правой лапы – или руки – в мачту, а само повисло в воздухе, выбрасывая к нему левую когтистую лапу.

Но оно промахнулось.

Оно не промахнется, когда Блэнки качнется обратно, ближе к грот-

мачте.

Блэнки схватился за крайнюю ванту и заскользил вниз по ней с такой скоростью, с какой скользил бы по обычному канату, обдирая онемевшие пальцы о поперечные тросы, передвигаясь рывками и каждую секунду рискуя сорваться вниз, в темноту.

Концы вант достигли крайней точки своей дуги – где-то за планширем правого борта – и начинали движение в обратном направлении.

«Все еще слишком высоко», – подумал Блэнки, когда снасти качнулись назад к грот-мачте.

Существо легко могло схватить тросы, пролетающие над средней линией судна, но теперь Блэнки находился двадцатью футами ниже уровня третьего рея и спускался все ниже, лихорадочно перебирая руками выбленки.

Существо начало подтягивать вверх всю массу снастей.

«Просто уму непостижимо, какая жуткая сила», – успел подумать Томас Блэнки, когда целая тонна – или полторы – обледенелых снастей с висящим на них человеческим существом стала рывками подниматься вверх, выбираемая с такой легкостью и уверенностью, с какой рыбак вытаскивает из воды сеть с рыбой.

Ледовый лоцман сделал то, что решил сделать в последние десять секунд своего полета обратно к грот-мачте: продолжая скользить вниз по вантам, он одновременно принялся раскачиваться всем телом взад-вперед – представляя себя мальчишкой, раскачивающимся на канате, – увеличивая амплитуду своего движения по поперечной дуге, в то время как существо продолжало подтягивать снасти вверх. Как бы быстро он ни спускался, снасти поднимались с равной скоростью. Он достигнет нижнего конца вант к тому времени, когда существо подтащит его к себе, и опять окажется на высоте пятидесяти футов.

Но пока длины вант хватало, чтобы он мог раскачиваться с амплитудой двадцать футов, держась обеими руками за продольные тросы и встав обеими ногами на поперечные. Он закрыл глаза и снова представил себя мальчишкой, раскачивающимся на канате.

Меньше чем в двадцати футах над ним раздалось предупреждающее покашливание. Затем последовал сильный рывок, и снасти вместе с Блэнки взлетели еще на пять или восемь футов вверх.

Не зная, находится ли он сейчас в двадцати футах над палубой или в сорока пяти, думая лишь о том, чтобы поймать момент, когда он окажется в максимальной близости от правого борта, Блэнки, дождавшись означенного момента, рывком развернулся вместе со снастями, оттолкнулся ногами от

выбленки и взлетел в воздух над погруженным во тьму правым бортом.

Падение казалось бесконечным.

Первым делом Блэнки перевернулся в воздухе, чтобы не приземлиться на голову, или на спину, или на живот. Лед под ним не спружинит – разумеется, палуба или планширь тем более, – но теперь он уже ничего не мог поделать. Ледовый лоцман понимал, что сейчас его жизнь зависит от элементарных расчетов из области ньютоновской физики: он стал живой иллюстрацией к простейшей задачке из учебника баллистики.

Блэнки почувствовал, что планширь правого борта проносится в нескольких футах под ним, и едва успел подтянуть ноги и выставить вперед руки, прежде чем приземлился на снежный откос, который спускался от приподнятого под давлением льда «Террора». За секунды своего слепого полета к правому борту ледовый лоцман произвел счисление пути с максимальной возможной точностью, постаравшись вылететь за твердую, как цемент, ледяную тропинку, по которой члены команды сходили с корабля и поднимались на борт, но также избежать приземления на место, где под трехфутовым слоем снега лежали перевернутые вверх днищем вельботы, накрытые парусиной.

Он приземлился на снежный скат сразу за ледяной тропинкой и чуть ниже засыпанных снегом вельботов. От страшного удара у него перехватило дыхание. Что-то треснуло или хрустнуло в левой ноге – Блэнки успел вознести всем божествам, бодрствовавшим в эту страшную ночь, отчаянную мольбу о том, чтобы это оказалось порванное сухожилие, а не сломанная кость, – а потом он кубарем покатился по длинному крутому откосу, чертыхаясь и вскрикивая от боли, вздымая тучи снега посреди великой метели, бушевавшей вокруг корабля.

Примерно через тридцать футов, на заснеженном морском льду, Блэнки остановился, перекатившись на спину.

Он поспешно оценил свое состояние. Руки не были сломаны, хотя он повредил правую кисть. Голова, похоже, осталась целой. Ребра мучительно ныли, и он не мог дышать полной грудью, но, вполне возможно, подумал он, здесь дело скорее в страхе и нервном напряжении, нежели в сломанных ребрах. Но вот левая нога болела жутко.

Блэнки знал, что должен вскочить на ноги и бежать – сейчас же! – но не мог выполнить свой собственный приказ. Он чувствовал себя весьма недурно, лежа на спине с раскинутыми в стороны конечностями, отдавая тепло своего тела льду под собой и воздуху над собой, пытаясь отдышаться и собраться с мыслями.

Теперь он явственно слышал крики людей на носу корабля. Появились

круги света, не более десяти футов в диаметре, исчерченные горизонтальными линиями несомого ветром снега. Потом Блэнки услышал глухой грохот и треск, с которыми существо соскользнуло с грот-мачты на палубу. Снова раздались крики – теперь тревожные, хотя мужчины вряд ли могли отчетливо разглядеть существо, находившееся в отдалении от носа, среди груды сломанных реев, оборванных снастей такелажа и опрокинутых бочек посреди палубы. Грохнул выстрел дробовика.

Преодолевая боль, Томас Блэнки встал на четвереньки. От тонких шерстяных перчаток ничего не осталось, обе руки у него были голые. И головной убор он потерял; длинные седые волосы, прежде заплетенные в косичку, расплелись во время его акробатических упражнений и теперь развевались на ветру. Он не чувствовал пальцев, лица, ступней, но все остальное так или иначе болело.

Существо в контражурном свете фонарей перемахнуло через низкий планширь правого борта, поджав все четыре огромные лапы.

Блэнки в мгновение ока вскочил на ноги и секунду спустя уже бежал в темноту, окутывавшую замерзшее море.

Только удалившись ярдов на пятьдесят от корабля – поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова пускаясь бежать, – он ясно осознал, что с таким же успехом мог подписать свой собственный смертный приговор. «И это после всех усилий», – подумал он.

Ему следовало оставаться поблизости от корабля. Следовало обежать заваленные снегом вельботы, уложенные вдоль носовой части правого борта, перелезть через бушприт, сейчас норовивший уйти поглубже в лед, и броситься к левому борту, взывая о помощи к людям на палубе.

Нет, осознал Блэнки, тогда бы он погиб еще прежде, чем успел продрасться сквозь путаницу снастей носового такелажа. Чудовищное существо настигло бы его через десять секунд.

«Почему я побежал в этом направлении?»

До намеренного падения со снастей у него был план. В чем, черт побери, он заключался?

Блэнки слышал глухой топот и скрип снега позади.

Кто-то (кажется, фельдшер с «Эребуса» Гудсир) говорил ему и другим матросам, какую скорость развивает белый медведь в погоне за жертвой, – двадцать пять миль в час? Да, по меньшей мере. А Блэнки никогда не умел бегать быстро. И сейчас ему приходилось огибать сераки, торосные гряды и расселины во льду, которых он не видел в темноте, пока не оказывался в нескольких дюймах от них.

«Вот почему я побежал в этом направлении. Вот в чем заключался мой

план».

Существо рысцой бежало за ним, огибая те же сераки и торосные гряды, между которыми неуклюже петлял в темноте Блэнки. Но ледовый лоцман задыхался и хрипел, точно порванные кузнечные мехи, в то время как громадный зверь позади него лишь слегка прихрюкивал – забавляясь? предвкушая? – глухо топая по льду лапами, каждый шаг которых имел длину в пять шагов Блэнки.

Сейчас Блэнки находился ярдах в двухстах от корабля. Врезавшись правым плечом в ледяную глыбу, замеченную слишком поздно, чтобы успеть уклониться от нее в сторону, и почувствовав, как оно немеет, присоединяясь к прочим онемевшим частям тела, ледовый лоцман вдруг осознал, что был слеп, как летучая мышь, все время, пока мчался во весь дух по замерзшему морю. Огни фонарей на «Терроре» теперь остались далеко, далеко позади – страшно далеко, – и у него не было ни времени, ни причины оглядываться на них. Сейчас, когда он удалился на такое расстояние от корабля, они едва брезжили в темноте и могли только отвлечь Блэнки от дела, которое заключалось в том, осознал Блэнки, что он бежал, петляя и лавируя между препятствиями, по запечатленной в памяти карте изрезанных расселинами и утыканных малыми айсбергами ледяных полей, простиравшихся вокруг «Террора» до самого горизонта. За последний год с лишним Блэнки досконально изучил замерзшее море со всеми участками льда, торосными грядами, айсбергами, ледяными взбросами и на протяжении нескольких месяцев имел возможность заниматься своими наблюдениями при слабом свете арктического дня. Даже зимой выпадали такие часы вахты, когда при свете луны и звезд он обследовал ледяные поля вокруг корабля профессиональным взглядом.

Здесь, примерно в двухстах ярдах от «Террора», за последней торосной грядой, через которую он только что перебрался (он слышал глухой топот существа меньше чем в десяти ярдах позади), находилось скопление наваленных друг на друга флобергов размером с крестьянский дом – маленьких айсбергов, отколовшихся от своих крупных собратьев и образовавших подобие крохотного горного массива.

Словно поняв, куда направляется жертва, незримый преследователь позади злобно заворчал и прибавил скорость.

Слишком поздно. Обогнув последний высокий серак, Блэнки оказался на участке, заваленном ледяными глыбами. Здесь мысленная карта местности подвела его – нагромождения миниатюрных айсбергов он видел только издали или через подзорную трубу, – и он с разбегу врезался в ледяную стену, шлепнулся на задницу, а потом стремительно пополз по

снегу на четвереньках, в то время как существо сократило дистанцию между ними до нескольких ярдов, прежде чем он успел перевести дыхание и собраться с мыслями.

Щель между двумя ледяными валунами была меньше трех футов шириной. Блэнки юркнул в нее – по-прежнему на четвереньках, не чувствуя голых рук, казавшихся чужими и далекими, как черный лед под ними, – за долю секунды до того, как существо достигло расселины и запустило в нее гигантскую переднюю лапу.

Усилием воли ледовый лоцман выбросил из головы все образы котов и мышей, когда огромные когти царапнули по льду, высекая фонтанчик ледяной крошки, в десяти дюймах от подошв его башмаков. Он с трудом встал на ноги в узкой расселине, упал, снова встал и, спотыкаясь, пошел вперед в кромешном мраке.

Все без толку. Ледяной тоннель оказался слишком коротким – менее пяти футов – и вывел Блэнки на открытое пространство между обломками айсбергов. Он уже слышал, как существо, передвигаясь прыжками и утробно прихрюкивая, огибает ледяную глыбу справа от него. Он с таким же успехом мог стоять посреди крикетного поля – и даже узкая расселина, со стенами скорее из снега, чем из льда, представляла собой лишь временное убежище. Там можно прятаться в темноте лишь минуту-другую, пока существо не расширит вход в тоннель и не протиснется в него. Там можно только умереть.

Отшлифованные ветром маленькие айсберги, которые он видел с корабля в подзорную трубу, находились... где же? Слева от него, подумал Блэнки.

Он бросился налево, миновал ледяные башни и сераки, неспособные служить укрытием, перебрался через трещину во льду глубиной всего пару футов, вскарабкался на невысокую торосную гряду, сорвался, соскользнул обратно вниз, снова вскарабкался и услышал, как существо стремительно выскакивает из-за ледяной глыбы и останавливается в десяти футах позади него.

Айсберги начинались сразу за этим ледяным валуном. За валуном с отверстием в нем, который он видел в подзорную трубу...

...эти ледяные горы находятся в движении день и ночь...

...они разрушаются, снова вырастают и меняют форму под давлением окрестных льдов...

...существо карабкается по склону позади него, взбираясь на плоское, но ледяное плато, где сейчас стоит Блэнки...

Расселины. Трещины. Ледяные тоннели. Ни одного достаточно

широкого, чтобы он мог проскользнуть в него. Спрятаться, переждать.

В маленьком перевернутом айсберге справа от Блэнки темнело единственное отверстие фута четыре высотой. В облаках образовался крохотный разрыв, через пять секунд затянувшийся, и при слабом свете звезд Блэнки успел рассмотреть черный провал овальной формы в серой ледяной стене.

Он рванулся к нему и принялся протискиваться внутрь, не зная, уходит ли ледяной тоннель в глубину на десять ярдов или на десять дюймов. Он не пролезал в отверстие.

Объемистое зимнее обмундирование – свитера, поддевки, толстая шинель – не давало пролезть.

Блэнки принялся лихорадочно срывать с себя одежду. Существо преодолело последний участок склона и встало на задние лапы позади него. Ледовый лоцман не видел этого – он даже не обернулся, боясь потерять лишнюю секунду, – но почувствовал, что оно встает на задние лапы.

Не оборачиваясь, он швырнул шинель и поддевки назад, в сторону чудовища, подкинув тяжелые одежды по возможности выше.

Существо удивленно фыркнуло – волна смрадного серного запаха прокатилась в воздухе, – а потом раздался треск раздираемых когтями одежд, в следующий миг отброшенных далеко в сторону. Но своим отвлекающим маневром Блэнки выиграл секунд пять или больше.

Он нырнул в отверстие в ледяной стене.

Плечи проходили в него только-только. Блэнки отчаянно задергал ногами, скользя башмаками по льду, и наконец нашел точку опоры. Он бил коленями, судорожно царапал ногтями лед в попытке за него зацепиться.

Блэнки успел углубиться в тоннель всего на четыре фута, когда существо предприняло попытку вытащить его оттуда. Для начала оно сорвало с него правый башмак и оторвало часть ступни. Ледовый лоцман почувствовал страшный удар когтистой лапы и подумал – понадеялся, – что она оттяпала ему только пятку, но у него не было возможности проверить, так ли это. Задышавшись, преодолевая внезапную острую боль, пронзившую ногу, даже несмотря на онемение, он протискивался все дальше, извиваясь всем телом, вцепляясь скрюченными пальцами в лед.

Тоннель становился все уже, все ниже.

Огромные когти царапнули по льду и вонзились в левую ногу, разрывая мышцы и сухожилия как раз в том месте, которое Блэнки уже повредил при падении с вант. Он почувствовал запах собственной крови, и существо, похоже, тоже его почувствовало, поскольку на мгновение остановилось и взревело.

В ледяном тоннеле рев прозвучал оглушительно. Плечи Блэнки плотно упирались в стены тоннеля, дальше он не мог продвинуться, и он знал, что нижняя половина его тела по-прежнему остается в пределах досягаемости для чудовища. Оно снова взревело.

Сердце Блэнки сжалось от жуткого звука, но он не оцепенел от ужаса. Используя несколько секунд отсрочки, ледовый лоцман отполз немного назад, где тоннель был пошире, вытянул руки вперед, коленями оттолкнулся ото льда изо всех оставшихся сил и, сдирая с плеч ткань рубахи вместе с кожей, протиснулся в отверстие, явно не рассчитанное на человека даже средних размеров.

Ледяной тоннель расширился и пошел под уклон. Блэнки расслабился и покатился вниз на животе по скользкому льду, дополнительно смазанному собственной кровью.

Существо взревело в третий раз, но теперь ужасный рев прозвучал на несколько футов дальше.

В последний момент, прежде чем выпасть из тоннеля на открытое пространство, Блэнки решил, что все усилия потрачены даром. Тоннель – вероятно, образовавшийся в процессе таяния много месяцев назад – проходил сквозь маленький айсберг и теперь снова выбросил Блэнки наружу. Он лежал на спине под звездами. Он чувствовал запах своей крови, впитывающейся в свежевыпавший снег. Он также слышал, как существо прыжками огибает айсберг, сначала слева, потом справа, охваченное безудержным желанием поскорее добраться до него, но уверенное, абсолютно уверенное теперь, что дразнящий, возбуждающий запах человеческой крови приведет его к добыче. Ледовый лоцман получил слишком много телесных повреждений и потерял слишком много сил, чтобы ползти дальше. Пусть то, что должно случиться с ним, случится сейчас, и пусть по воле бога, покровительствующего морякам, провалится в тартарары проклятое существо, которое собирается сожрать его. Блэнки оставалось лишь надеяться, что какая-нибудь из его костей застрянет в глотке у гнусной твари.

Прошло несколько минут, и зверь взревел еще с дюжину раз – каждый следующий рев звучал все громче и разочарованнее и доносился с нового румба черного компаса ночи, – прежде чем Блэнки осознал, что преследователю никак до него не добраться.

Он лежал под звездным небом, но в своего рода ледяном ящике размером примерно четыре на шесть футов, образованном по меньшей мере тремя массивными айсбергами, сдвинутыми и притертыми друг к другу давлением морского льда. Один из накренившихся айсбергов нависал

над ним подобием падающей стены, но Блэнки все равно видел звезды над головой. Он также видел свет звезд, пробивающийся сквозь две вертикальные щели в противоположных углах своего ледяного гроба, – и он видел громадную тень, заслонившую свет в одной из щелей, всего в пятнадцати футах от него, но щели между айсбергами имели ширину не более шести дюймов. Протаявший тоннель, через который Блэнки прополз, являлся единственным путем доступа сюда.

Чудовище ревели и ходило кругами еще минут десять.

Томас Блэнки с трудом сел, прислонился ободранной в кровь спиной к ледяной стене – от верхней одежды он избавился, а штаны, два свитера, шерстяные и хлопчатобумажные рубахи и шерстяная фуфайка превратились в окровавленные лохмотья – и приготовился умереть от холода.

Существо не уходило. Оно продолжало кружить вокруг трех айсбергов, служивших Блэнки укрытием, словно какой-нибудь беспокойный хищник в одном из новомодных лондонских зоосадов. Только сейчас в клетке сидел Блэнки.

Он знал, что, даже если случится чудо и зверь уйдет, у него не осталось ни сил, ни воли к жизни, чтобы выбраться отсюда по узкому ледяному тоннелю. И даже если бы ему удалось проползти по тоннелю, он все равно с таким же успехом мог бы находиться на луне – на луне, которая сейчас выглядывала из-за стремительно несущихся облаков и заливала айсберги мягким голубым светом. И даже если бы он чудом сумел выбраться за пределы скопления айсбергов, триста ярдов до корабля ему не преодолеть никакими усилиями. Он больше не чувствовал тела и не мог пошевелить ногами.

Со стороны щелей снова донесся шум, но Блэнки не обратил на него внимания. «Будь ты проклято, дьяволово семя», – пробормотал ледовый лоцман, с трудом шевеля онемевшими от холода губами. Возможно, он вообще не произнес ни слова. Он осознал, что умирать от холода – даже истекая кровью, хотя кровь, похоже, уже застывала на морозе и почти не лилась из рваных ран и глубоких царапин, – совсем не больно. По правде говоря, даже приятно... удивительно легко и приятно. Лучшей смерти не представить...

Блэнки осознал, что в щели между ледяными стенами пробивается яркий свет. Существо использовало факелы, чтобы хитростью выманить его из убежища. Но он не попадется на эту старую удочку. Он будет сидеть тихо, пока свет не померкнет у него перед глазами, пока он не погрузится в блаженный вечный сон. Он не доставит зверю удовольствия услышать свой

голос теперь, после долгой безмолвной дуэли.

– Черт вас побери, мистер Блэнки! – гулко прогремел бас капитана Крозье в ледяном тоннеле. – Если вы там, откликнитесь, черт возьми, или мы оставим вас там.

Блэнки моргнул. Вернее, попытался моргнуть. Ресницы и веки у него смерзлись. Что это, очередная коварная уловка демонического существа?

– Здесь, – прохрипел он. Потом повторил погромче: – Я здесь!

Минутой позже голова и плечи помощника конопатчика Корнелиуса Хикки, одного из самых тщедушных мужчин на «Терроре», легко высунулись из отверстия в ледяной стене. В руке он держал фонарь. Блэнки вяло подумал, что помощник конопатчика сейчас похож на новорожденного гнома с крысиным личиком, вылезающего из материнской утробы.

В конечном счете за него взялись все четверо врачей.

Время от времени Блэнки выплывал из блаженного забытья, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Иногда над ним трудились врачи с его собственного корабля – Педди и Макдональд, – а иногда костоправы с «Эребуса». Блэнки испытывал желание сказать Гудсиру, что полярные белые медведи способны развивать скорость значительно больше двадцати пяти миль в час, когда очень захотят. Но, с другой стороны, был ли то полярный белый медведь? Блэнки так не думал. Полярные белые медведи – существа земные, а это чудовище определенно явилось из каких-то иных миров. Блэнки в этом не сомневался.

В конечном счете потери оказались не такими уж и большими. В действительности, минимальными.

Джон Хэндфорд, как выяснилось, не пострадал. После того как Блэнки оставил его с фонарем, вахтенный правого борта погасил огонь и дал деру с корабля, бросившись в обход к левому борту, чтобы спрятаться, пока жуткая тварь карабкалась по мачте вслед за ледовым лоцманом.

Александра Берри, которого Блэнки считал погибшим, нашли под грудой рухнувшей парусины среди опрокинутых бочек прямо там, где он стоял на посту у правого борта, когда существо появилось на палубе и сломало развернутый вдоль судна грота-рей, служивший коньковым брусом. Берри достаточно сильно ушиб голову, чтобы не помнить ничего из случившегося той ночью, но Крозье сказал Блэнки, что они нашли дробовик матроса и из него стреляли. Разумеется, ледовый лоцман тоже стрелял из своего дробовика, почти в упор, в громадную фигуру, нависавшую над ним подобием стены, но нигде на палубе не обнаружили ни капли крови чудовищного существа.

Крозье спросил Блэнки, как такое возможно – чтобы два человека стреляли в зверя с близкого расстояния и не пустили ему кровь? – но ледовый лоцман не решился высказать свое мнение. В душе, разумеется, он знал.

Дейви Лейс тоже оказался целым и невредимым. Тридцатидевятилетний матрос, несший вахту на носу, вероятно, слышал и видел многое – в том числе, предположительно, и первое появление существа на палубе, – но ничего не говорил. Дэвид Лейс снова впал в оцепенение и молчал, уставившись остекленелым взглядом в пустоту. Сначала его положили в лазарет «Террора», но, поскольку всем врачам требовалось это забрызганное кровью помещение для возни с Блэнки, Лейса перенесли на носилках в более просторный лазарет «Эребуса». Там Лейс снова лежал неподвижно, по рассказам словоохотливых посетителей ледового лоцмана, и смотрел немигающим взглядом в подволок.

Сам Блэнки отделался не так легко. Чудовище оторвало ему правую пятку с доброй половиной ступни, но Макдональд и Гудсир, отрезав кровавые лохмотья и прижегши рану, заверили ледового лоцмана, что они, при содействии корабельного плотника, изготовят кожаный или деревянный протез на ремешках и он снова сможет ходить.

С левой ногой дела обстояли хуже: в нескольких местах на голени мясо сорвано до кости и сама кость серьезно повреждена когтями, – и впоследствии доктор Педди признался, что все четыре врача не сомневались, что ногу придется ампутировать по колену. Но одним из немногих плюсов арктического холода являлось замедленное течение воспалительных и гангренозных процессов в ране, и после вправления самой кости и наложения четырехсот с лишним швов нога Блэнки – хотя и искривленная, покрытая жуткими шрамами и местами лишенная целых волокон мышечной ткани – медленно заживала. «Твои внуки будут в восторге от этих шрамов», – сказал Джеймс Рейд, второй ледовый лоцман, пришедший навестить товарища.

Холод тоже сделал свое дело. Блэнки умудрился сохранить все пальцы на ногах – они ему понадобятся, чтобы удерживать равновесие на покалеченной ноге, сказали врачи, – но потерял три пальца на левой руке и два на правой. Гудсир, явно знавший толк в подобных вещах, заверил ледового лоцмана, что с течением времени он научится писать и принимать пищу вполне изящно при помощи мизинца и безымянного пальца, оставшихся на левой руке, и сможет застегивать штаны и рубахи при помощи большого пальца, мизинца и безымянного на правой.

Томасу Блэнки было по хрену, научится он застегивать штаны и рубахи

или нет. Пока. Он был жив. Гнусная тварь сделала все возможное, чтобы отправить его на тот свет, но он все же выжил. Он мог понемногу есть, болтать с товарищами, выпивать свою ежедневную четверть пинты рома – он уже приноровился держать забинтованными руками оловянную кружку – и читать, если кто-нибудь устанавливал перед ним книжку. Он твердо решил прочесть «Векфилдского священника», прежде чем покинет сей бренный мир.

Блэнки был жив и собирался оставаться в живых по возможности дольше. Тем временем он испытывал странное счастье. Ему не терпелось поскорее вернуться в свою крохотную каюту – расположенную между равно крохотными каютами третьего лейтенанта Ирвинга и капитанского вестового, – а это могло произойти в любой день теперь, когда врачи были абсолютно уверены, что закончили кромсать, зашивать и обнюхивать его раны.

Тем временем Томас Блэнки испытывал счастье. Лежа на своей койке ночью, слыша ворчание, шепот, пердеж и приглушенный смех матросов в темном кубрике всего в нескольких футах за переборкой и грозное рычание мистера Диггла, отдающего приказы своим подчиненным за выпечкой лепешек в поздний час, Томас Блэнки прислушивался к скрежету и треску морского льда, пытающегося раздавить «Террор», и засыпал под эти звуки так крепко, как заснул бы под колыбельную, слетающую с безгрешных уст родной матери.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

13 декабря 1847 г.

Третьему лейтенанту Ирвингу требовалось узнать, каким образом Безмолвная покидает корабль и возвращается обратно, оставаясь незамеченной. Сегодня, спустя ровно месяц со дня, когда он впервые обнаружил новое логово эскимоски, он собирался разгадать эту загадку, даже если это будет стоить ему пальцев на руках и ногах.

Установив местонахождение женщины, Ирвинг на следующий же день доложил своему капитану, что эскимоска перебралась в канатный ящик на трюмной палубе. Он не сообщил, что она, похоже, ела там свежее мясо, – главным образом, поскольку сам не знал толком, что именно он успел увидеть за несколько ужасных секунд, когда ошеломленно таращился в крохотное, тускло освещенное помещение. Он также не сообщил о гомосексуальном половом сношении, явно происходившем между помощником конопатчика Хикки и матросом Мэнсоном в трюме. Ирвинг понимал, что нарушает свои обязанности офицера Службы географических исследований Военно-морского флота Британии, не докладывая капитану об этом возмутительном и важном факте, но...

Но – что? Единственным объяснением, которое мог придумать Джон Ирвинг в оправдание столь серьезного нарушения своего служебного долга, было то, что на «Терроре» и так достаточно крыс.

Но поистине загадочные исчезновения и появления леди Безмолвной – хотя и принятые суеверной командой за окончательное доказательство ее магической силы и игнорируемые капитаном Крозье и прочими офицерами как плод воображения – интересовали молодого Ирвинга гораздо сильнее, чем постыдные наслаждения, которым помощник конопатчика и корабельный идиот предавались в вонючей темноте трюма.

«А вонь здесь действительно страшная», – на третьем часу дежурства подумал Ирвинг, сидевший на упаковочной клети над грязной жижей, за пиллерсом близ канатного ящика. Зловоние в холодном темном трюме заметно усиливалось днем.

По крайней мере, на широкой ступени перед дверцей канатного ящика больше не стояли тарелки с недоеденной пищей, кружки с остатками рома

на дне и не лежали разные языческие амулеты. Один из офицеров поставил Крозье в известность о данной практике вскоре после чудесного спасения мистера Блэнки от обитающего во льдах зверя, и капитан пришел в бешенство и пригрозил лишить ежедневной порции рома – навсегда – следующего матроса, достаточного глупого, достаточно суеверного и достаточно некрепкого в христианской вере, чтобы совершить жертвоприношение из остатков пищи или прекрасного, разбавленного водой индийского рома в попытке задобрить аборигенку, язычницу, темное дитя природы. (Хотя матросы, которым случилось украдкой подглядеть леди Безмолвную обнаженной или подслушать разговор врачей о ней, знали, что она вовсе не дитя, о чем и перешептывались друг с другом.)

Капитан Крозье также совершенно недвусмысленно дал понять, что не потерпит никаких медвежьих амулетов. Он объявил накануне на богослужении – которое снова заключалось в чтении корабельного устава, хотя многие жаждали услышать очередной отрывок из Книги Левиафана, – что даст по одному дополнительному наряду на ночную вахту или по два наряда на уборку галюна каждому человеку за каждый медвежий зуб, медвежий клык, медвежий хвост, новую татуировку или любой другой языческий фетиш, какой увидит на злополучном матросе. Внезапно увлечение амулетами перестало наблюдаться на «Терроре», хотя от своих товарищей с «Эребуса» лейтенант Ирвинг слышал, что там оно процветает всюду.

Несколько раз Ирвинг пытался проследить за скрытными передвижениями эскимоски по кораблю поздним вечером, но в своих стараниях оставаться незамеченным неизменно упускал ее. Сегодня он точно знал, что леди Безмолвная находится в своем канатном ящике. Он крадучись сошел следом за ней по главному трапу более трех часов назад, когда матросы уже поужинали и она тихо, почти незаметно получила от мистера Диггла свою порцию «бедного Джона» с галетой, стакан воды и спустилась с ними в трюм. Ирвинг поставил человека у носового люка, сразу за огромной плитой, а другому любопытному матросу велел наблюдать за главным трапом. Если эскимоска сегодня ночью поднимется по любому из двух трапов – а сейчас уже начало одиннадцатого, – Ирвинг будет знать, куда она направилась и когда.

Но вот уже три часа дверцы канатного ящика оставались закрытыми. Темноту в носовом отсеке трюмной палубы рассеивал лишь слабый свет, сочившийся сквозь щели по периметру этих низких широких дверец. Женщина по-прежнему пользовалась каким-то источником света – либо свечой, либо другого рода открытым огнем. Узнай капитан Крозье об одном

этом факте, он бы в два счета выдворил ее из канатного ящика и вернул обратно в маленькое логово среди бочек, хранящихся за лазаретом в жилой палубе... или просто вышвырнул бы на лед. Как любой бывалый моряк, капитан боялся пожара на корабле и вдобавок, похоже, не питал никаких нежных чувств к эскимосской гостье.

Внезапно тусклые полосы света по периметру плохо подогнанных дверец канатного ящика погасли.

«Она легла спать», – подумал Ирвинг. Он живо представил, как она, голая, заворачивается там в кокон своих мехов. Он также представил, как один из офицеров утром отправляется на его поиски и находит бездыханное тело, скрючившееся здесь, на упаковочной клети, над подернутой ледяной коркой грязной жижей, – труп человека, явно замерзшего при попытке подсмотреть за единственной женщиной на борту. Не самое лучшее извещение о смерти, какое могут получить бедные родители лейтенанта Ирвинга.

И тут волна ледяного воздуха прокатилась по выстуженному трюму. Такое ощущение, будто злой дух пронесся мимо в темноте. На секунду Джон Ирвинг почувствовал, как волосы у него на загривке встают дыбом, но в следующий миг его осенила простая мысль: «Это всего лишь сквозняк. Словно кто-то открыл дверь или окно».

Теперь он знал, каким таким чудесным образом леди Безмолвная покидает корабль и возвращается обратно.

Ирвинг зажег свой фонарь, прыгнул с упаковочной клети, прошлепал по подернутой тонким льдом жидкой грязи к канатному ящику и подергал дверцы. Они были замкнуты изнутри. Ирвинг знал, что внутри носового канатного ящика нет замка, – замка не было даже снаружи, поскольку никто не имел нужды красть якорные концы, – а значит, эскимоска сама нашла способ надежно закрыть дверцы.

Ирвинг предусмотрел такой поворот событий. В правой руке он держал тридцатидюймовый ломик. Понимая, что ему придется объяснять любой причиненный материальный ущерб лейтенанту Литтлу, а возможно, и капитану Крозье, он просунул узкий конец лома в щель между низкими дверными створками и навалился на него. Раздался скрип, треск, но дверцы приоткрылись лишь самую малость. Продолжая придерживать ломик одной рукой, другой рукой Ирвинг залез под шинель, куртку, поддевки, жилет и вытащил из-за ремня нож.

Леди Безмолвная умудрилась вбить в дверцы с внутренней стороны по несколько гвоздей и намотала на них петлями какие-то эластичные волокна – кишки? жилы? – таким образом прочно связав створки подобием белой

паутины. Теперь Ирвинг никак не мог проникнуть в канатный ящик, не оставив явственных следов своего присутствия там, – лом уже сделал свое дело, – а посему принялся перерезать ножом тесно переплетенные жилы. Дело оказалось не таким легким, как он думал. Острое лезвие брало жилы с еще большим трудом, чем сыромятную кожу или корабельный трос.

Перепилив наконец последнюю жилу, Ирвинг распахнул дверцы и просунул шипящий фонарь в маленькое помещение с низким подволоком.

За исключением той разницы, что сейчас тесную каморку освещал фонарь, а не язычок открытого пламени, здесь ничего не изменилось с тех пор, как лейтенант заглядывал сюда четыре недели назад – бухты тросов раздвинуты и уложены одна на другую таким манером, что между ними образуется крохотная пещерка, и по-прежнему налицо свидетельства, что женщина принимала здесь пищу: оловянная тарелка с жалкими остатками «бедного Джона», оловянная кружка из-под грога и какой-то мешок для хранения припасов, по всей видимости сшитый Безмолвной из кусков пришедшей в негодность парусины. Также в канатном ящике находился маленький масляный фонарь – такой, в каком масла хватает ровно настолько, чтобы человек успел сходить с ним в отхожее место ночью. Он был еще горячим, как убедился Ирвинг, сняв рукавицу и перчатку.

Но ни следа леди Безмолвной.

Ирвинг мог бы подвигать туда-сюда тяжелые бухты и посмотреть за ними, но он по опыту знал, что вся остальная часть треугольного канатного ящика битком набита якорными тросами. Они отплыли два с половиной года назад, а тросы все еще хранили мерзкий запах Темзы.

Но леди Безмолвная словно в воду канула. Ни в подволоке между бимсами, ни в стенках корпуса здесь не имелось никаких выходов. Значит, суеверные матросы не ошибались: она эскимосская ведьма. Шаманка. Языческая колдунья.

Третий лейтенант Джон Ирвинг ни на секунду не поверил в это. Он заметил, что сильный сквозняк – поток ледяного воздуха, накативший на него в пятнадцати футах от канатного ящика в темноте трюма, – сейчас уже не ощущается. Однако язычок пламени в фонаре все еще плясал на каком-то слабом сквознячке.

Вытянув руку, Ирвинг плавно повел фонарем в одну и другую сторону (свободного пространства в загроможденном канатном ящике хватало только для такой манипуляции) и остановился, когда пламя затрепетало сильнее всего: тянуло от правого борта в углу, где стенки корпуса сходились к носу.

Он поставил фонарь на пол и принялся оттаскивать одну из бухт в

сторону. Ирвинг моментально увидел, как ловко женщина уложила здесь толстый якорный трос: то, что он принял за очередную огромную бухту каната, на самом деле оказалось просто свернутым кольцами концом троса из другой бухты, который занимал пустое пространство и легко задвигался в логово эскимоски – теперь единственное свободное место в канатном ящике. За фальшивой бухтой находились широкие изогнутые тимберсы.

И здесь тоже она сделала правильный выбор. Над и под канатным ящиком тянулись сложные конструкции из деревянных и железных балок, установленные в процессе подготовки «Террора» к эксплуатации во льдах за несколько месяцев до отплытия экспедиции. Здесь, в носовой части, вертикальные металлические стойки, дубовые поперечные балки, подкосы тройной толщины, железные треугольные опоры и массивные диагональные дубовые брусья – многие толщиной с ребра шпангоута – образовывали частую решетку, являвшуюся составной частью защиты корабля, укрепленного для плавания в полярных льдах. Один лондонский репортер, знакомый лейтенанта Ирвинга, написал, что со всеми этими многотонными железными и деревянными конструкциями, вместе с дополнительными слоями обшивки из тикового дерева, канадского вяза и снова тикового дерева, добавленными к первоначальной дубовой обшивке, «толщина корпуса теперь составляет добрых восемь футов».

Применительно к самому носу судна и стенкам корпуса данное высказывание почти соответствовало истине, знал Ирвинг, но здесь, где в канатном ящике и над ним борта сходились к носу, оставалось около пяти футов обшивки из крепких дубовых досок толщиной в первоначальные шесть дюймов вместо десяти, составлявших толщину многослойной обшивки во всех прочих местах. Конструкторы посчитали, что несколько футов правого и левого борта в непосредственной близости от хорошо укрепленного форштевня должны быть тоньше, чтобы гнуться и пружинить под страшным давлением льда.

Так они и делали. Пять поясов прочных гибких досок по сторонам от усиленного форштевня в сочетании с укрепленным изнутри деревянно-металлическими конструкциями носом послужили к появлению чуда современной ледакольной техники, подобным которому не располагала ни одна в мире экспедиционная служба военно-морского или гражданского флота. «Террор» и «Эребус» могли пройти – и прошли – через такие льды, где ни одно другое судно на свете не имело бы шансов уцелеть.

Этот носовой отсек являл собой истинное чудо. Но теперь он определенно утратил целостность.

Ирвингу понадобилось несколько минут, чтобы найти повреждение в

трехфутовой секции из толстых досок в полтора фута шириной, вода туда-сюда фонарем в поисках сквознячков, ощупывая окоченевшими голыми пальцами и пробуя лезвием ножа доски. Вот оно. Задний конец одной изогнутой доски был закреплен двумя длинными нагелями, теперь служившими подобием дверной петли. Передний же конец – находившийся всего в нескольких футах от здоровенного носового бруса, который тянулся по всей длине судна, – ни на чем не держался и был просто вдавлен на место.

Отжав доску ломом (просто уму непостижимо, каким образом молодая женщина могла сделать это голыми руками), Ирвинг почувствовал дуновение холодного воздуха и обнаружил, что смотрит в темноту сквозь отверстие в корпусе размером восемнадцать дюймов на три фута.

Быть такого не может! Молодой лейтенант знал, что в носовой части корпус «Террора» обшит снаружи дюймовыми листами особо прочного закаленного прокатного железа, плотно пригнанными друг к другу. Даже если во внутренней деревянной обшивке вдруг появятся бреши, вся носовая часть корпуса – почти треть длины судна – одета броней.

Но только не здесь. Из черного провала за отжатой доской тянуло холодом. Здесь нос «Террора» ушел в лед из-за наклона корабля вперед, неуклонно увеличивавшегося по мере нарастания льда под кормой.

Сердце лейтенанта Ирвинга бешено колотилось. Если завтра «Террор» каким-то чудом окажется в свободных от льда водах, он неминуемо затонет.

Неужели леди Безмолвная сотворила такое с кораблем? Эта мысль ужаснула Ирвинга сильнее, чем любые предположения о магической способности эскимоски исчезать и появляться по желанию. Могла ли молодая женщина, которой не стукнуло еще и двадцати, отодрать железные листы наружной обшивки корпуса, вырвать толстые доски внутренней носовой обшивки, изогнутые и прибитые на место усилиями мастеров целой судостроительной верфи, – и при этом точно знать, в каком именно месте это нужно сделать, чтобы ни один из шестидесяти мужчин на борту, знавших корабль как свои пять пальцев, ничего не заметил?

Уже стоя на коленях под низким подволоком, Ирвинг осознал, что часто дышит ртом, по-прежнему не в силах справиться с сердцебиением.

Оставалось только предположить, что за два летних сезона ожесточенной борьбы со льдами – сначала при переходе через Баффинов залив, по проливу Ланкастер и на всем пути вокруг острова Корнуоллис, а через год при трудном продвижении по узкому каналу, а затем по проливу, ныне носящему имя Франклина, – некоторые железные листы носовой брони ниже ватерлинии разболтались и ближе к концу плавания

оторвались, а толстая доска обшивки сместилась внутрь только после того, как корабль затерло льдами.

«Но под давлением ли льда сорвалась дубовая доска с креплений? Или под действием некой иной силы – под напором некоего существа, пытавшегося проникнуть внутрь?»

Сейчас это не имело значения. Леди Безмолвная покинула канатный ящик не более нескольких минут назад, и Джон Ирвинг был исполнен решимости последовать за ней – не только для того, чтобы узнать, где она вышла на поверхность и куда направилась там в темноте, но и для того, чтобы выяснить, не добывает ли она – самым чудесным, самым невероятным образом, если учесть толщину льда и лютый холод, – свежую рыбу или дичь для своего пропитания.

Если добывает, знал Ирвинг, это может спасти их всех. Лейтенант, как и все остальные, слышал о порче консервированных продуктов. По обоим кораблям давно шел шепот, что к следующему лету запасы провианта кончатся.

Он не мог протиснуться в отверстие.

Ирвинг попытался подцепить и отжать ломом соседние доски, но все они, кроме одной, уже отжатой, сидели на месте как влитые. Отверстие размером восемнадцать дюймов на три фута являлось единственным выходом наружу. А он в него не помещался.

Лейтенант снял непромокаемый плащ, толстую шинель, шарф, шапку и «уэльский парик» и пропихнул ворох одежды в дыру перед собой... плечи и верхняя половина туловища у него по-прежнему не пролезали в отверстие, хотя он был одним из самых худых офицеров на корабле. Дрожа от холода, Ирвинг стащил с себя жилет и шерстяной свитер, которые также затолкал в черный пролом.

Если он и сейчас не пролезет, ему придется пережить несколько чертовски неприятных минут, объясняя, почему он вернулся из трюма без всей своей верхней одежды.

Он пролезал. Еле-еле. Кряхтя и чертыхаясь, Ирвинг протискивался сквозь узкое отверстие, обрывая пуговицы с шерстяной рубахи.

«Я за пределами корабля, подо льдом», – подумал он. Мысль плохо укладывалась в голове.

Он находился в узкой полости во льду, наросшем вокруг носа и бушприта. За отсутствием здесь свободного пространства он не мог снова надеть шинель и прочие вещи и потому толкал ворох одежды перед собой. Он подумал, не вернуться ли обратно в канатный ящик за фонарем, но в небе стояла полная луна, когда несколькими часами ранее он исполнял

обязанности вахтенного офицера. В конечном счете Ирвинг взял с собой лом.

Ледяная пещера была длиной по меньшей мере с бушприт – свыше восемнадцати футов – и образовалась, по всей вероятности, под давлением тяжелого бушпритного бруса на лед во время коротких периодов таяния с последующим замерзанием, имевших место прошлым летом. Когда Ирвинг наконец выбрался из тоннеля, он полз на четвереньках еще несколько секунд, прежде чем осознал, что уже находится на поверхности льда, – тонкий бушприт, масса подвязанных снастей и обледенелые концы кливера все еще нависали над ним, не только заслоняя от него небо, но и полностью загораживая его самого от вахтенного, дежурившего на носу. И здесь, где черная громада «Террора» неясно вырисовывалась в темноте, освещенная лишь несколькими тусклыми огнями фонарей, за бушпритом открывался путь к скоплению ледяных глыб и сераков.

Трясаясь всем телом, Ирвинг принялся натягивать на себя одежду. Руки у него дрожали так сильно, что он не сумел застегнуть жилет, но это не имело значения. Застегнуть толстую шинель на крючки тоже оказалось нелегко, но по крайней мере пуговицы на ней были гораздо больше. Молодой лейтенант продрог до костей к тому времени, когда наконец надел непромокаемый штормовой плащ.

«Куда теперь?»

В пятидесяти футах от носа судна начинался лес ледяных глыб и отшлифованных ветром сераков – Безмолвная могла пойти в любом направлении, – но от ледяного тоннеля, ведущего в трюм корабля, тянулась едва заметная, почти прямая тропинка. По крайней мере, она представляла собой путь наименьшего сопротивления – и обеспечивала наилучшую возможность остаться не замеченным с корабля. Поднявшись на ноги, взяв ломик в правую руку, Ирвинг двинулся по скользкому льду на запад.

Он никогда не нашел бы женщину, если бы не потусторонний звук.

Ирвинг уже удалился на сотню ярдов от корабля, заплутал в ледяном лабиринте – ледяной голубой желобок под ногами давно исчез или, вернее, затерялся среди двух десятков таких же, – и, хотя при свете полной луны и звезд видимость была не хуже, чем днем, он так и не замечал ни движения поодаль, ни следов на снегу.

Потом раздался потусторонний протяжный стон.

Нет, осознал Ирвинг, резко остановившись и дрожа всем телом (он трясся от холода уже не одну минуту, но теперь дрожь стала глубокой, нутряной), это не стон. Во всяком случае, не такой, какой способен издать

человек. Звук напоминал пение некоего бесконечно странного музыкального инструмента... отчасти приглушенная волынка, отчасти рожок, отчасти гобой, отчасти флейта, а отчасти человеческий голос, тянущий заунывную песнь. Он был достаточно громким, чтобы доноситься до Ирвинга с расстояния нескольких десятков ярдов, но почти наверняка оставался не слышным людям на палубе корабля – тем более что ветер сегодня ночью, против всякого обыкновения, дул с юго-востока. Однако все тона сливались в звук одного инструмента. Ирвинг в жизни не слышал ничего подобного.

Странная мелодия – которая начала набирать темп, а потом вдруг резко оборвалась, наводя на мысль скорее об оргастической кульминации, но уж никак не о чтении нот с листа, – доносилась с серакового поля за высокой торосной грядой, находившейся в тридцати ярдах к северу от отмеченной ледяными пирамидами с факелами тропинки между «Террором» и «Эребусом», по распоряжению Крозье постоянно содержавшейся в порядке. Сегодня ночью никто не восстанавливал там осыпавшиеся ледяные пирамиды; весь замерзший океан был в распоряжении Ирвинга – и того, кто извлекал звуки из диковинного музыкального инструмента.

Лейтенант крадучись двинулся по залитому голубым светом лабиринту ледяных валунов и высоких сераков. Теряя ориентацию, он всякий раз смотрел на полную луну. Сегодня желтый шар больше походил на некую полноценную планету, внезапно появившуюся в звездном небе, нежели на любую из лун, какие Ирвингу доводилось видеть прежде за годы, проведенные на суше, или во время коротких морских плаваний. Воздух вокруг нее, казалось, дрожал от холода, словно собираясь сам обратиться в лед на морозе. Ледяные кристаллы в верхних слоях атмосферы служили к образованию двойного гало вокруг луны; нижняя часть обоих светлых кругов скрывалась за торосной грядой и окрестными айсбергами. На внешнем гало, точно бриллианты на серебряном кольце, ярко сверкали три креста.

Лейтенант уже несколько раз наблюдал такое явление в течение двух долгих темных зим, проведенных здесь, вблизи от Северного полюса. Ледовый лоцман Блэнки объяснил, что это просто лунный свет преломляется ледяными кристаллами, как происходит при прохождении света сквозь алмаз, но сейчас зрелище небесных крестов усугубило чувство религиозного трепета и изумления, владевшее Ирвингом здесь, посреди блистающих голубых льдов, когда странный музыкальный инструмент снова завыл и застонал – теперь всего в нескольких ярдах от него, за ледяной грядой, – снова учащая свой темп почти до оргазмического,

прежде чем внезапно умолкнуть.

Ирвинг попытался представить леди Безмолвную, играющую на некоем невиданном эскимосском инструменте – скажем, подобии баварского корнета, изготовленном из оленьего рога, – но сразу же отверг это предположение как глупое. Во-первых, у эскимоски и ее спутника, впоследствии скончавшегося от ранения, не имелось при себе никакого такого инструмента. А во-вторых, у Ирвинга было странное чувство, что на этом незримом инструменте играет вовсе не леди Безмолвная.

Перебравшись через последнюю низкую торосную гряду, отделявшую его от сераков, откуда доносились звуки, Ирвинг пополз дальше на четвереньках, чтобы снег не скрипел под толстыми рифлеными подошвами башмаков.

Завывания и стоны – по всей видимости, раздававшиеся из-за ближайшего, отблескивающего голубым серака, обточенного ветром в подобие толстого, собранного в складки флага, – возобновились, быстро учабив ритм и превратившись в самый громкий, самый глубокий, самый исступленный и неистовый звук из всех, какие Ирвинг слышал доселе. К великому своему удивлению (холод проникал сквозь толстую ткань штанов и рукавиц, пронизывая колени и ладони), молодой лейтенант обнаружил, что у него эрекция. Низкий, гулкий, вибрирующий голос инструмента дышал такой... животной страстью... что в буквальном смысле слова разжег огонь в чреслах Ирвинга, дрожавшего всем телом.

Он осторожно заглянул за последний серак.

Леди Безмолвная находилась в двадцати футах от него, на гладком голубом льду. Ровную площадку окружали ледяные валуны и сераки, и у Ирвинга возникло такое впечатление, будто он вдруг оказался посреди Стонхенджа, залитого сиянием луны с двойным гало и сверкающими крестами. Даже тени здесь были синими.

Голая, она стояла на коленях на толстой меховой подстилке (надо полагать, на своей парке). Спина Безмолвной была в три четверти повернута к Ирвингу, и он видел очертания ее правой груди, а также озаренные ярким лунным светом длинные черные прямые волосы и крепкие выпуклые ягодицы с серебряными бликами на них. Сердце у Ирвинга заколотилось так сильно, что он испугался, как бы женщина не услышала.

Безмолвная была здесь не одна. Кто-то еще стоял в темном проеме между ледяными валунами размером со священные друидические камни, возвышавшимися на противоположной стороне площадки, сразу за эскимоской.

Ирвинг знал: это оно, обитающее во льдах существо. Белый медведь или белый демон находился здесь вместе с ними – в непосредственной близости от молодой женщины, нависая над ней. Как бы лейтенант ни напрягал зрение, разглядеть толком неясную фигуру никак не получалось: бело-голубой мех на фоне бело-голубого льда; рельефные мускулы на фоне рельефной, складчатой поверхности оснеженных ледяных глыб; черные глаза, казавшиеся частицами крошечной тьмы, сгущавшейся позади существа.

Треугольная голова на необычайно длинной и гибкой шее, теперь он видел, плавала и покачивалась в воздухе на змеиный манер в шести футах над коленопреклоненной женщиной. Ирвинг попытался оценить размеры головы – чтобы знать, с чем придется иметь дело в случае, если возникнет необходимость сразиться с чудовищем, – но установить точные очертания или размеры треугольного пятна с угольно-черными точками глаз представлялось невозможным из-за странного и непрерывного движения, которое оно совершало.

Но существо подалось ближе к девушке. Его голова теперь находилась прямо над ней.

Ирвинг знал, что должен закричать – броситься вперед с зажатым в руке ломом, поскольку он не взял с собой никакого другого оружия помимо ножа, в настоящий момент вложенного в ножны, – и попытаться спасти женщину, но тело решительно отказывалось повиноваться подобному приказу. Он мог лишь наблюдать за происходящим, объятый ужасом, смешанным с сексуальным возбуждением.

Леди Безмолвная вытянула вперед и в стороны руки ладонями вверх, точно католический священник, служащий мессу и призывающий чудо евхаристии. У Ирвинга был кузен-католик, проживавший в Ирландии, и во время одного из своих визитов к нему он ходил с ним на католическую службу. Те же самые чары странного магического обряда владели сейчас женщиной, облитой голубым лунным светом. За неимением языка Безмолвная не издавала ни звука, разумеется, но руки у нее были широко раскинуты в стороны, глаза закрыты, голова запрокинута назад – Ирвинг уже подполз достаточно близко, чтобы видеть ее лицо, – и рот разинут. Как у новорожденного птенца в ожидании кормежки. Или как у молящегося в ожидании причастия.

С молниеносной быстротой атакующей кобры существо выбросило вперед и вниз голову на длинной шее, широко раскрыло пасть и сомкнуло челюсти на нижней половине лица леди Безмолвной, заглотив половину головы.

Тут Ирвинг едва не испустил вопль. Только ритуальная... торжественность... момента и цепенящий страх воспрепятствовали этому.

Существо не пожрало эскимоску. Ирвинг осознал, что смотрит на макушку бело-голубой головы чудовища (по меньшей мере втрое превосходящей размерами голову женщины), сомкнувшего, но не стиснувшего плотно гигантские челюсти над ее раскрытым ртом и вскинутым подбородком. Безмолвная по-прежнему простирала руки в стороны, словно собираясь заключить в объятия гору мускулов и шерсти, нависавшую над ней.

Затем вновь зазвучала странная мелодия.

Ирвинг увидел, как обе головы – чудовища и эскимоски – плавно качаются, но прошло с полминуты, прежде чем он понял, что оргиастические трубные звуки и эротические волынко-флейтовые стоны исходят из... женщины.

Чудовищное существо размером с ледяные валуны рядом – белый медведь или демон – дуло в открытый рот и горло эскимоски, играя на ее голосовых связках, как если бы человеческое тело являлось неким духовым инструментом. Переливчатые рулады, низкие стоны и басовые подвывания звучали все громче, все чаще, все настойчивее – он увидел, как леди Безмолвная немного приподнимает голову и изгибает шею в одну сторону, в то время как жуткий зверь опускает треугольную голову ниже и изгибает змееподобную шею в другую сторону: ни дать ни взять страстные любовники, желающие найти наилучшую позицию для максимально глубокого поцелуя с языком.

Дикая мелодия звучала все громче, все неистовее (Ирвинг не сомневался, что она уже слышна на корабле и наверняка вызывает у всех мужчин такую же сильную и длительную эрекцию, как у него сейчас), а потом вдруг, без всякого предупреждения, оборвалась с внезапностью исступленного соития, разрешившегося оргазмом.

Существо подняло голову, отстраняясь от женщины. Длинная шея свернулась кольцами.

Леди Безмолвная бессильно уронила руки вдоль нагого тела, словно была слишком измучена или возбуждена, чтобы держать их раскинутыми в стороны, и свесила голову к посеребренным луною грудям.

«Теперь оно сожрет ее, – подумал Ирвинг, все еще не в силах стряхнуть с себя оцепенение и поверить в реальность разыгравшейся сейчас сцены. – Разорвет на куски и съест».

Но он ошибался. На несколько секунд громадный белый зверь скрылся за пределами ледяного Стонхенджа, передвигаясь на четырех лапах, а

потом вернулся, низко наклонил голову к леди Безмолвной и уронил что-то на лед перед ней. Ирвинг услышал глухой шлепок упавшего предмета, и звук этот показался смутно знакомым, но в данную минуту никакие логические связи в голове у него не выстраивались – он не понимал ровным счетом ничего из того, что видел и слышал.

Белое существо неторопливо удалилось – Ирвинг ощущал вибрацию твердого морского льда, сотрясаемого гигантскими лапами, – а через минуту вернулось и снова положило что-то перед эскимоской. Затем то же самое повторилось в третий раз.

А потом оно просто ушло... растворилось во мраке. Коленопреклоненная женщина осталась одна на ровной ледяной площадке, лишь груда неясных предметов темнела перед ней.

Она сохраняла неподвижность еще с минуту – Ирвинг снова вспомнил католическую церковь своего ирландского родственника и старых прихожан, продолжавших истово молиться на скамьях после окончания службы, – а потом встала, проворно засунула босые ноги в меховые сапоги и надела парку.

Лейтенант Ирвинг осознал, что его бьет крупная дрожь, по крайней мере отчасти вызванная холодом. Ему здорово повезет, если в теле у него осталось достаточно тепла, а в ногах – силы, чтобы вернуться на корабль живым.

Безмолвная подхватила со льда принесенные существом предметы и бережно взяла в охапку почти так, как мать держала бы младенца, сосущего грудь. Похоже, она возвращалась обратно к кораблю, пересекая ледяную площадку в направлении проема между сераками, находившегося градусов на десять левее Ирвинга.

Внезапно она остановилась, резко повернув покрытую капюшоном голову в сторону лейтенанта, и, хотя он не видел черных глаз женщины, он почувствовал, как пронзительный взгляд вперяется в него. Он стоял, по-прежнему на четвереньках, посреди открытого, залитого ярким лунным светом пространства – в трех футах от своего укрытия за сераком. Такое впечатление, будто в какой-то момент он забыл, что тоже обладает телесной оболочкой и материальной природой.

Несколько долгих мгновений оба не двигались. У Ирвинга перехватило дыхание. Он со страхом ждал, когда она пошевелится, возможно, затопает по льду ногами (закричать-то она не могла), призывая на помощь жуткого зверя. Своего защитника. Жестокого мстителя.

Женщина отвела взгляд и пошла дальше, в считанные секунды скрывшись между ледяными глыбами на юго-восточной стороне круглой

площадки.

Ирвинг подождал еще несколько минут, по-прежнему трясаясь, словно в лихорадочном ознобе, а потом с трудом поднялся на ноги – он почти не чувствовал своего окоченевшего тела, которое сейчас давало о себе знать лишь жаром эрекции, уже спадающей, да безудержной крупной дрожью, – но вместо того, чтобы потащиться следом за девушкой к кораблю, двинулся к месту, где она стояла на коленях в лунном свете.

Там на льду остались пятна крови, казавшиеся черными в ярком голубом свете луны. Лейтенант Ирвинг опустился на колени, стянул с руки перчатку и перчатку, макнул палец в расползающуюся лужицу темной жидкости и осторожно попробовал на вкус. Да, это была кровь, но не человеческая.

Жуткое существо принесло эскимоске сырое, теплое, свежее мясо. Кровь имела медный привкус, какой имела кровь самого Ирвинга или любого другого человека, но он допускал, что кровь недавно убитых животных тоже отдает медью, пока не замерзнет.

А замерзнет она в считанные минуты. Чудовище убило животного, предназначенного в дар леди Безмолвной, совсем недавно, когда Ирвинг плутал в ледяном лабиринте, пытаясь найти женщину.

Попятившись прочь от черного пятна на голубом льду, как он попятился бы от языческого алтаря, на котором только что принесли в жертву невинное создание, Ирвинг всецело сосредоточился на попытках выровнять дыхание – морозный воздух обжигал легкие при каждом судорожном вздохе – и заставить свои окоченевшие ноги и оцепенелый ум работать, чтобы добраться до корабля.

Он не полезет обратно через ледяной тоннель и дыру в корпусе. Он привлечет внимание вахтенного у правого борта криками, оставаясь за пределами дальности ружейного выстрела, и поднимется на корабль по ледяному откосу, всем своим видом показывая, что не намерен отвечать ни на какие вопросы, покуда не поговорит с капитаном.

Но расскажет ли он капитану о случившемся?

Ирвинг понятия не имел. Он даже не знал, позволит ли ему обитающее во льдах существо – а оно наверняка оставалось где-то поблизости – вернуться к кораблю. Он не знал, хватит ли у него сил на долгий обратный путь.

Он знал одно: никогда уже он не будет таким, как прежде.

Ирвинг повернулся на юго-восток и снова углубился в ледяной лабиринт.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

18 декабря 1847 г.

Хикки решил, что высокий тощий лейтенант – Ирвинг – должен умереть и что это должно произойти именно сегодня.

Щуплый помощник конопатчика ничего не имел против наивного молодого джентльмена, но своим несвоевременным появлением в трюме месяц с лишним назад Ирвинг подписал себе смертный приговор.

Проблема заключалась в расписании работ и вахт. Хикки уже дважды выпадало нести вахту, когда Ирвинг исполнял обязанности дежурного офицера, но оба раза Магнуса Мэнсона не было с ним на палубе. Хикки все спланирует и выберет нужный момент, но для осуществления плана ему нужен Магнус. Не то чтобы Корнелиус Хикки боялся убить человека: он перерезал глотку одному парню еще прежде, чем достиг возраста, когда сам стал оплачивать свои походы в бордель. Нет, дело было просто в средствах и способе убийства, которые требовали участия его придурковатого приспешника и сексуального партнера в этой экспедиции, Магнуса Мэнсона.

Сейчас условия представлялись идеальными. Сегодня, в пятницу утром (хотя слово «утро» ничего не значит, когда стоит такая темень, как в полночь), рабочая команда из тридцати с лишним человек вышла на лед, чтобы привести в порядок увенчанные факелами ледяные пирамиды между «Террором» и «Эребусом». Дюжина вооруженных мушкетами морских пехотинцев – по шесть с каждого корабля – теоретически обеспечивала безопасность рабочих бригад, но в действительности цепь людей растянулась почти на милю, и под командованием каждого офицера трудилось всего по пять или меньше человек. Здесь, на восточной половине темной тропы, за работой следили три офицера с «Террора» – лейтенанты Литтл, Ходжсон и Ирвинг, – и Хикки помог сформировать бригады таким образом, что они с Магнусом занимались самыми дальними пирамидами под надзором Ирвинга.

Морские пехотинцы большую часть времени находились вне поля зрения, теоретически готовые прибежать на помощь в случае тревоги, но на практике делавшие все возможное, чтобы оставаться в тепле близ огня,

режевшего в медной жаровне, установленной рядом с самой высокой торосной грядой меньше чем в четверти мили от корабля. Под надзором лейтенанта Ирвинга сегодня утром трудились также Джон Бейтс и Билл Синклер, но эти двое были приятелями – причем ленивыми – и старались держаться подальше от молодого офицера, без особого рвения работая над соседней ледяной пирамидой.

День (хотя и темный, как ночь) нынче выдался не самый холодный – всего минус сорок пять, наверное, – и почти безветренный. Ни луны, не полярного сияния не было, но мерцавшие в утреннем небе звезды давали достаточно света, чтобы человек, далеко удалившийся от фонаря или факела, сумел найти дорогу обратно. Поскольку где-то там, в темноте, по-прежнему бродило чудовищное существо, не многие отваживались отходить на значительное расстояние. И все же необходимость отыскивать нужного размера куски льда для восстановления пятифутовых пирамид (похоже на работу по строительству каменной стены в каком-нибудь графстве, подумал Хикки, хотя сам он никогда не занимался ничем подобным) вынуждала людей постоянно выходить за пределы освещенного фонарями пространства.

Ирвинг следил за ходом работ на обеих пирамидах, часто оказывая мужчинам помощь физическим трудом. Хикки только оставалось дождаться момента, когда Бейтс и Синклер скроются из виду за поворотом тропы, а лейтенант Ирвинг потеряет бдительность.

Помощник конопатчика мог бы воспользоваться сотней разных железных или стальных инструментов с корабля – на любом судне Военно-морского флота Британии имелся широчайший выбор орудий убийства, порой весьма оригинальных, – но он предпочитал, чтобы Магнус просто оглушил белобрысого хлыща неожиданным ударом, оттащил ярдов на двадцать в сторону от тропы, свернул парню шею, а потом – когда он уже окочурится – сорвал с него часть франтовских одежек, раздробил грудную клетку, хорошенько потоптал довольное румяное лицо, выбил зубы, сломал руку и обе ноги (или ногу и обе руки) и оставил труп валяться на льду, пока не найдут. Хикки уже выбрал место убийства – среди высоких сераков, где гладкий лед не покрыт снегом, на котором Мэнсон наследил бы своими башмаками. Он строго-настрого наказал Магнусу не пачкаться в крови лейтенанта, не оставлять никаких следов своего присутствия там и, самое главное, не тратить времени на ограбление.

Обитающее во льдах существо убивало людей самыми разными зверскими способами, и, если бедный лейтенант Ирвинг получит достаточно сильные телесные повреждения, ни у кого не возникнет ни

малейших сомнений по поводу случившегося. Просто еще один завернутый в парусину труп для мертвецкой «Террора».

Магнус отнюдь не прирожденный убийца – просто идиот от рождения, – но он уже убивал людей по приказу помощника конопатчика, своего господина и повелителя. Ему не составит труда сделать это еще раз. Корнелиус Хикки сомневался, что Магнус хотя бы задастся вопросом, почему лейтенант должен умереть, – просто такова воля хозяина, которую он должен выполнить. Поэтому Хикки удивился, когда во время очередной отлучки лейтенанта верзила оттащил его в сторонку и прошептал довольно возбужденно:

– Ведь его призрак не станет преследовать меня, правда, Корнелиус?

Хикки похлопал по спине своего громадного дружка:

– Конечно не станет, Магнус. Неужто я велел бы тебе совершить что-нибудь такое, после чего тебе станет докучать привидение, любимый?

– Нет-нет, – пророкотал Мэнсон, трясая головой.

Его растрепанные непокорные волосы и борода, казалось, так и рвались из-под шерстяного шарфа и «уэльского парика». Он нахмурил огромный лоб:

– Но почему его призрак не станет преследовать меня, Корнелиус? Ежели я прикончу лейтенанта, хотя он не сделал мне ничего плохого?

Хикки напряженно соображал, что ответить. Бейтс и Синклер сейчас направлялись дальше, к месту, где рабочая бригада с «Эребуса» возводила стену из снежных глыб вдоль участка тропы протяженностью в двадцать ярдов, где всегда дул ветер. Уже не один человек сбился там с пути и заблудился в белой мгле, а потому капитаны решили, что при наличии снежной стены у посыльных возрастут шансы отыскать следующие пирамиды. Ирвинг проследит за тем, чтобы Бейтс и Синклер приступили к работе там, а потом вернется сюда, где они с Магнусом одни возились с последней перед открытым участком местности пирамидой.

– Вот почему призрак лейтенанта не станет преследовать тебя, Магнус, – прошептал он склонившемуся над ним великану. – Обычно ты убиваешь человека в пылу гнева, и именно поэтому призрак убитого возвращается и пытается свести с тобой счеты. Он возмущен и разозлен твоим поступком. Но призрак мистера Ирвинга, он будет знать, что ты поступил так не из личной неприязни, не со зла, Магнус. У него не будет причин возвращаться и докучать тебе.

Мэнсон кивнул, но с видом человека, не вполне убежденного представленными доводами.

– Кроме того, – продолжал Хикки, – призрак не сумеет найти дорогу

обратно к кораблю, верно? Всем известно, что, если человек умирает так далеко от корабля, призрак просто бредет куда глаза глядят – у него не хватает ума правильно сориентироваться и отыскать путь через все эти ледяные гряды, айсберги и тому подобное. Призраки, они вообще не самые смекалистые ребята, Магнус. Поверь мне на слово, любимый.

Великан просветлел. Хикки видел, что Ирвинг возвращается по тускло освещенной факелами тропе. Ветер крепчал, и пламя факелов бешено плясало. «Ветер нам на руку, – подумал Хикки. – Если Магнус или Ирвинг поднимет шум, никто ничего не услышит».

– Корнелиус, – прошептал Мэнсон, чье лицо снова приняло встревоженное выражение, – а коли я умру здесь, значит ли это, что мой призрак не сумеет найти дорогу обратно к кораблю? Мне бы страшно не хотелось остаться здесь, на холоде, так далеко от тебя.

Помощник конопатчика снова похлопал великана по могучей спине, подобной каменной стене:

– Ты не умрешь здесь, любимый. Даю тебе слово. Теперь умолкни и приготовься. Когда я сниму шапку и почешу голову, ты набросишься на Ирвинга сзади и оттащишь его к месту, которое я тебе показывал. Помни: ты не оставляешь за собой следов и не пачкаешься в крови.

– Я не буду, Корнелиус.

– Вот и славно.

Лейтенант выступил из мрака и вошел в круг света от фонаря, стоявшего на льду возле пирамиды.

– Почти закончили здесь, Хикки?

– Так точно, сэр. Сейчас уложим пару последних ледышек на самый верх – и пирамида готова, лейтенант. Прочная, как фонарный столб на ярмарке.

Ирвинг кивнул. Казалось, ему было неприятно находиться наедине с двумя матросами, хотя Хикки говорил самым любезным и сладким тоном. «Ладно, твою мать, – думал помощник конопатчика, продолжая улыбаться широкой редкозубой улыбкой. – Тебе недолго осталось расхаживать тут с напыщенным видом, ты, белобрысый, розовощекий ублюдок. Еще пять минут – и ты превратишься в очередной кусок мороженого мяса, которому место в трюме. Прискорбно, что крысы нынче такие голодные, но здесь я ничего не могу поделать».

– Отлично, – сказал Ирвинг. – Когда вы с Мэнсоном закончите здесь, пожалуйста, присоединитесь к мистеру Синклеру и мистеру Бейтсу, занятым на строительстве стены. А я сейчас схожу назад и приведу сюда капрала Хеджеса с его мушкетом.

– Есть, сэр, – сказал Хикки.

Он поймал взгляд Мэнсона. Они должны остановить Ирвинга, пока он не двинулся обратно к кораблю по тропе, отмеченной тусклым пунктиром факелов и фонарей. Хеджес или любой другой морской пехотинец им здесь совершенно не нужен.

Ирвинг двинулся в восточном направлении, но остановился на самой границе освещенного фонарем пространства, явно ожидая, когда Хикки уложит два последних куска льда на самый верх восстановленной пирамиды. Нагнувшись за предпоследним ледяным блоком, помощник конопатчика кивнул Магнусу, зашедшему лейтенанту за спину.

Внезапно темнота на западе взорвалась криками. Истошный мужской вопль. Потом еще один.

Огромные руки Магнуса зависли в воздухе прямо за шеей лейтенанта – великан снял рукавицы, чтобы хватка была крепче, и черные перчатки смутно вырисовывались сразу за бледным лицом Ирвинга, озаренным светом фонаря.

Снова крики. Выстрел мушкета.

– Магнус, нет! – выкрикнул Корнелиус Хикки.

Его приятель собирался свернуть Ирвингу шею, несмотря на поднявшийся шум.

Мэнсон отступил назад в темноту. Ирвинг, сделавший три шага в направлении, откуда доносились крики, резко повернулся кругом, охваченный тревогой. Три человека бежали по ледяной тропинке со стороны «Террора». Одним из них был Хеджес. Низенький тучный капрал держал мушкет перед толстым брюхом и шумно пыхтел.

– За мной! – выпалил Ирвинг и первым бросился на запад, где раздавались крики.

У лейтенанта не было оружия, но он схватил фонарь. Все шестеро пронеслись между сераками и выбежали на открытое, тускло освещенное звездами пространство, где беспорядочно толклись несколько человек. Хикки разглядел знакомые «уэльские парики» Синклера и Бейтса и узнал в одном из трех людей с «Эребуса», уже находившихся там, Френсиса Данна, помощника конопатчика с другого корабля. Выстреливший мушкет принадлежал рядовому Биллу Пилкингтону, который сидел в засаде в прошлом июне, когда погиб сэр Джон, и был ранен в плечо одним из морских пехотинцев во время возникшей неразберихи и паники. Пилкингтон уже перезарядил мушкет и целился в темноту за обвалившейся секцией стены.

– Что случилось? – резко спросил Ирвинг, обращаясь ко всем сразу.

Ответил Бейтс. Он, Синклер и Данн, а также Абрахам Сили и Джозефус Грейтер с «Эребуса» работали здесь на строительстве стены под надзором старшего помощника капитана «Эребуса» Роберта Орма Серджента, когда один из ледяных валунов, лежавших сразу за границей света от фонарей и факелов, вдруг ожил и обратился жутким существом.

– Оно схватило мистера Серджента за голову и подняло в воздух на добрых десять футов, – проговорил Бейтс дрожащим голосом.

– Истинная правда, – подтвердил помощник конопатчика Френсис Данн. – Секунду назад он стоял спокойно среди нас, а в следующую секунду взлетает в воздух, и мы видим лишь подошвы его башмаков. И этот ужасный звук... хруст костей...

Данн осекся и снова тяжело задышал; клубы пара, на морозе мгновенно превращавшиеся в гало ледяных кристаллов, почти полностью заволокли его бледное лицо.

– Я подходил к факелам, когда увидел, как мистер Серджент вдруг... просто исчез, – сказал рядовой Пилкингтон, опуская мушкет, зажатый в трясущихся руках. – Я успел выстрелить, когда громадное существо уходило обратно к серакам. Кажется, я попал в него.

– Ты с таким же успехом мог попасть в Роберта Серджента, – сказал Корнелиус Хикки. – Возможно, он был еще жив, когда ты выстрелил.

Пилкингтон посмотрел на помощника конопатчика с «Террора» с неприкрытой ненавистью.

– Мистер Серджент не был жив, – сказал Данн, даже не заметив, как морской пехотинец и Хикки обменялись злобными взглядами. – Он испустил вопль, а чудовище разгрызло бедняге череп, точно грецкий орех. Я видел. Я слышал.

Тут подбежали все остальные, включая капитана Крозье и капитана Фицджереймса, который казался изнуренным и бесплотным даже во всех своих многочисленных поддевках и толстой шинели, и Данн, Бейтс и прочие рассказали вновь прибывшим о случившемся.

Капрал Хеджес и два других морских пехотинца, прибежавшие с ним на шум, вернулись из темноты и доложили, что мистера Серджента нигде нет – только клочья одежды и кровавый след, уходящий в запутанный ледяной лабиринт в направлении айсбергов.

– Оно хочет, чтобы мы последовали за ним, – пробормотал Бейтс. – Оно будет ждать нас там.

Крозье растянул рот то ли в безумной ухмылке, то ли в злобном оскале.

– В таком случае не станем его разочаровывать, – проговорил он. –

Сейчас самое время снова устроить охоту на гнусную тварь. Люди уже на льду, света у нас достаточно, а морские пехотинцы могут принести мушкетов и дробовиков на всех. И след свежий.

– Слишком свежий, – пробормотал капрал Хеджес.

Крозье лающим голосом отдал приказы. Несколько человек отправились обратно к кораблям за оружием. Остальные разделились на охотничьи отряды под командованием морских пехотинцев, уже вооруженных. С рабочих площадок принесли факелы и фонари, которые распределили между отрядами. Крозье послал за докторами Стенли и Макдональдом, на случай если Роберт Орм Серджент еще жив или если еще кто-нибудь пострадает.

Получив в свое распоряжение мушкет, Хикки сразу замыслил «случайно» застрелить лейтенанта Ирвинга в темноте, но, похоже, молодой офицер остерегался и Мэнсона, и помощника конопатчика. Хикки заметил, как белобрысый хлыщ бросил несколько встревоженных взглядов в сторону Магнуса, прежде чем Крозье зачислил их в разные отряды, и понял, что Ирвинг либо мельком увидел у себя за спиной Магнуса с поднятыми руками за секунду до того, как раздались первые крики и выстрелы, либо же просто почуял что-то неладное, а значит, застать его врасплох в следующий раз будет уже сложнее.

Но они сумеют. Хикки опасался, что возникшие подозрения заставят Джона Ирвинга доложить капитану о том, что он видел в трюме, а этого помощник конопатчика никак не мог допустить. Он боялся не столько наказания за мужеложство – теперь моряков редко вешали, да и пороли нечасто, коли на то пошло, – сколько позора. Помощник конопатчика Корнелиус Хикки не какой-нибудь там жалкий педераст.

Он подождет, когда Ирвинг снова потеряет бдительность, а потом сделает все сам, коли придется. Даже если корабельные врачи установят факт убийства, никто не станет особо дергаться. В этой экспедиции дела и так обстоят хуже некуда. Просто появится еще один труп, о котором придется позаботиться с наступлением оттепели.

В конечном счете тело мистера Серджента так и не нашли – кровавый след, усеянный клочьями одежды, оборвался на полпути к высоченному айсбергу, – но больше никто не пропал. Несколько человек напрочь отморозили пальцы на ногах, и все получили разного рода обморожения и тряслись от холода, когда наконец, через час после обычного времени ужина, поступил приказ прекратить поиски. Лейтенанта Ирвинга в тот день Хикки больше не видел.

А вот Магнус Мэнсон премного удивил его, когда они устало

тащились обратно к «Террору». Ветер начал завывать позади них, и морские пехотинцы плелись, держа оружие наготове.

Хикки вдруг понял, что идущий рядом великан плачет. Слезы моментально замерзали на бороде Магнуса.

– В чем дело, дружище? – спросил Хикки.

– Мне тошно, Корнелиус, вот и все.

– Отчего же?

– Бедный мистер Серджент.

Хикки бросил взгляд на своего приятеля:

– Я и не знал, что ты питаешь столь нежные чувства к этим чертовым офицерам, Магнус.

– Я не питаю, Корнелиус. Коли они все помрут и попадут в ад, мне наплевать. Но мистер Серджент умер здесь, на льду.

– И что с того?

– Его призрак не найдет дорогу обратно к кораблю. А капитан Крозье сказал, что все мы получим сегодня вечером по дополнительному глотку рома. Мне грустно, что призрака мистера Серджента не будет с нами, вот и все.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

31 декабря 1847 г.

Сочельник и Рождество на «Терроре» прошли тихо, почти незаметно, но второй Большой Венецианский карнавал в канун Нового года восполнит упущенное.

На протяжении четырех суток бушевали снежные бури – столь сильные, что несколько предшествовавших Рождеству дней никто не покидал пределы корабля и время вахт пришлось сократить до часа, – и сочельник, и сам священный день отмечали в полумраке жилой палубы. Мистер Диггл приготовил праздничные обеды, состряпав с полдюжины разных блюд из последних остатков неконсервированной соленой свинины и рубленой зайчатины, замаринованной в бочках. Вдобавок кок – по рекомендации интендантов мистера Кенли, мистера Родса и мистера Дэвида Макдональда, а равно под строгим контролем судовых врачей Педди и Александра Макдональда – отобрал несколько банок голднеровских консервов, сохранившихся лучше других, в том числе черепаховый суп, говядину по-фламандски, фаршированного трюфелями фазана и телячий язык. Помощники мистера Диггла очистили от плесени и нарезали последние головки сыра, оба дня подававшегося на десерт, а капитан Крозье пожертвовал последние пять бутылок бренди из тайных запасов винной кладовой, предназначенных для особых случаев.

Настроение оставалось похоронным. И офицеры в холодной кают-компании, и матросы в своем чуть более теплом кубрике (оставшегося в трюме угля уже не хватало на дополнительный обогрев жилой палубы, даже в Рождество) несколько раз пытались запеть, но все песни замирали после нескольких куплетов. Светильное масло надлежало беречь, и потому жилая палуба выглядела не веселее уэльского рудника, освещенного несколькими мерцающими свечами. Брусья шпангоута и бимсы покрывала ледяная корка, одеяла и шерстяные вещи мужчин оставались влажными. Повсюду шмыгали крысы.

Бренди немного поднял настроение, но не настолько, чтобы рассеять мрак, царивший на корабле и в душах людей. Крозье вышел в кубрик, чтобы поболтать с матросами, и несколько человек вручили ему подарки –

крохотный кисет сэкономленного табака; резную фигурку бегущего белого медведя; большую картонную маску, изображающую человеческое лицо с выражением страха (преподнесенную, несомненно, в шутку и наверняка не без опасения, как бы грозный капитан не наказал дарителя за фетишизм); залатанную красную шерстяную фуфайку, принадлежавшую недавно умершему другу одного матроса, и полный комплект вырезанных из кости шахматных фигур от рядового морской пехоты Роберта Хопкрафта (одного из самых спокойных и скромных мужчин в экспедиции и того самого, который получил перелом восьми ребер, перелом ключицы и вывих руки во время нападения существа на маскировочную палатку сэра Джона в июне). Крозье поблагодарил всех, пожал каждому руку, похлопал по плечу и вернулся обратно в офицерскую столовую, где настроение было чуть повеселее благодаря неожиданному пожертвованию первого лейтенанта Литтла в виде двух бутылок виски, которые он тайно хранил почти три года.

Пурга прекратилась утром 26 декабря – снега намело на двенадцать футов выше носа и на шесть футов выше планширя правого борта в передней четверти судна, – и, откопав «Террор» из-под снежных завалов и расчистив отмеченную ледяными пирамидами тропу между кораблями, люди занялись подготовкой к мероприятию, которое они называли Вторым Большим Венецианским карнавалом, – первым, заключил Крозье, считался карнавал, в котором он принимал участие в бытность свою гардемаринком во время неудачной полярной экспедиции Парри в 1824 году.

Непроглядным темным утром 26 декабря Крозье и первый лейтенант Эдвард Литтл поручили наблюдение за рабочими бригадами, занятыми на расчистке корабля и прилегающей к нему территории от снега, Ходжсону, Хорнби и Ирвингу, а сами совершили трудный и долгий переход через снежные заносы к «Эребусу». Крозье испытал легкое потрясение, увидев, что Фицджереймс продолжает терять в весе – мундир и брюки теперь были ему велики на несколько размеров, хотя вестовой явно предпринимал попытки ушивать их, – и испытал изрядное потрясение во время разговора с ним, когда осознал, что командир «Эребуса» его почти не слушает. Фицджереймс производил впечатление человека, который только делает вид, будто поддерживает беседу, но на самом деле прислушивается к музыке, играющей в соседнем помещении.

– Ваши люди красят парусину там на льду, – сказал Крозье. – Я видел, как они готовят баки с зеленой, синей и даже черной краской. Для запасного паруса, находящегося в отличном состоянии. По-вашему, такое допустимо, Джеймс?

Фицджереймс рассеянно улыбнулся:

– Вы действительно полагаете, что парус нам еще понадобится, Френсис?

– Очень на это надеюсь, – проскрежетал Крозье.

Фицджереймс продолжал улыбаться слабой безмятежной улыбкой, приводившей Крозье в бешенство.

– Вам следует заглянуть в наш трюм, Френсис. Разрушительный процесс ускорился со времени, когда мы обследовали повреждения в последний раз, за неделю до Рождества. «Эребус» не продержится на плаву и часа. Руль расколот в щепки, а он был запасным.

– Можно поставить аварийный, – сказал Крозье, подавляя желание заскрипеть зубами и сжать кулаки. – Плотники могут укрепить треснувшие брусья шпангоута. Я планирую до наступления весенней оттепели вырубить во льду яму вокруг обоих кораблей, подобие сухого дока глубиной футов восемь. Таким образом, мы получим доступ к наружной обшивке корпуса.

– Весенней оттепели? – Фицджереймс улыбнулся почти снисходительно.

Крозье решил переменить тему:

– Вас не беспокоит намерение людей устроить этот Венецианский карнавал?

С полным безразличием к правилам хорошего тона Фицджереймс небрежно пожал плечами:

– С какой стати мне беспокоиться? Не знаю, как на вашем корабле, Френсис, но на «Эребусе» Рождество прошло в самой тягостной атмосфере. Людям необходимо какое-то развлечение для поднятия духа.

Относительно тягостной атмосферы Рождества Крозье ничего не мог возразить.

– Но бал-маскарад на льду, в кромешной тьме зимнего дня? – сказал он. – Сколько матросов погибнет, став жертвой зверя, подстерегающего там добычу?

– А скольких мы потеряем, коли спрячемся на кораблях? – спросил Фицджереймс, все с той же слабой улыбкой и рассеянным выражением лица. – И у вас же все прошло нормально, когда вы устраивали первый Венецианский карнавал с Хоппнером и Парри в двадцать четвертом году.

Крозье потряс головой.

– Он состоялся всего через два месяца после того, как нас затерло льдами, – мягко сказал он. – Вдобавок и Парри, и Хоппнер были просто помешаны на дисциплине. При всей легкомысленности подобных забав и при всей любви обоих капитанов к театрализованным представлениям,

Эдвард Парри всегда повторял: «маскарады без бесчинства» и «карнавалы без излишеств». У нас с дисциплиной дела обстоят хуже, Джеймс.

Фицджереймс наконец утратил рассеянный вид.

– Капитан, – холодно произнес он, – вы обвиняете меня в ослаблении дисциплины на моем корабле?

– Нет-нет-нет, – сказал Крозье, сам не зная, обвиняет он молодого человека или еще нет. – Я просто говорю, что мы торчим во льдах третий год, а не третий месяц, как было в случае с Парри и Хоппнером. Ослабление дисциплины, сопутствующее болезням и упадку морального духа, в подобных обстоятельствах неизбежно.

– Так не значит ли это, что тем более следует позволить людям развлечься? – спросил Фицджереймс, по-прежнему холодным тоном.

Его бледные щеки слегка порозовели при замечании начальника, истолкованном как критическое.

Крозье вздохнул. Теперь уже слишком поздно отменять чертов маскарад, осознал он. Люди закусили удила, и с особым воодушевлением подготовкой к карнавалу на «Эребусе» занимались именно те матросы, которые – как помощник конопатчика Хикки на «Терроре» – первыми поднимут мятеж, когда наступит момент. Искусство капитана, знал Крозье, заключается в том, чтобы не допустить наступления такого момента. Он действительно не знал, поможет карнавал делу или, наоборот, повредит.

– Хорошо, – после долгой паузы сказал он. – Но люди должны понять, что не вправе потратить ни куска угля, ни капли светильного масла, древесного спирта или эфира для спиртовок.

– Обещаю, будут только факелы, – сказал Фицджереймс.

– И никакой дополнительной выпивки или еды в день карнавала, – добавил Крозье. – С сегодняшнего дня мы перешли на урезанный рацион и не станем менять норму довольствия на пятый день по случаю карнавала, который никто из нас не одобряет в полной мере.

Фицджереймс кивнул:

– Лейтенант Левеконт, лейтенант Фейрхольм и несколько человек, стреляющих лучше среднего, будут ходить на охоту в оставшиеся до карнавала дни в надежде добыть какую-нибудь дичь, но люди понимают, что придется довольствоваться обычным рационом – вернее, новым, урезанным, – коли охотники вернутся с пустыми руками.

– Как они возвращались каждый раз в течение последних трех месяцев, – проворчал Крозье. Более дружелюбным голосом он сказал: – Хорошо, Джеймс. Мне пора. – Он остановился в дверях крохотной каюты Фицджереймса. – Кстати, зачем они красят паруса?

Фицджеральд рассеянно улыбнулся:
– Понятия не имею, Френсис.

Рассвет пятницы 31 декабря 1847 года (хотя в действительности никакого рассвета не было) выдался холодным, но тихим. Утренняя вахта, возглавляемая мистером Ирвингом, зафиксировала температуру минус семьдесят три градуса^[10]. Ветра не ощущалось. За ночь все небо от одного горизонта до другого затянуло облаками. Было очень темно.

Большинству людей, похоже, не терпелось отправиться на карнавал сразу после завтрака – после введения нового рациона, занимавшего меньше времени против прежнего и состоявшего из одной галеты с джемом и неполной поварешки ячневой каши, основательно одобренной сахаром, – но повседневные дела и обязанности требовали внимания, и Крозье согласился отпустить команду на празднество только по завершении всех дневных работ. Все же он дал согласие на то, чтобы матросы, сегодня свободные от служебных обязанностей – как то: драйка палубы, несение вахты, скалывание льда с мачт и такелажа, уборка снега, ремонтные работы, восстановление ледяных пирамид, учебные занятия, – приняли участие в последних приготовлениях к маскараду, и после завтрака около дюжины человек отправились на «Эребус» в сопровождении двух вооруженных мушкетами морских пехотинцев.

К полудню, когда матросам выдали по порции сильно разбавленного рома, владевшее командой возбуждение стало явным. Крозье отпустил еще шестерых человек, закончивших свою работу на сегодня, и послал с ними второго лейтенанта Ходжсона.

Во второй половине дня, расхаживая в темноте по палубе, Крозье уже видел яркий свет факелов сразу за огромным айсбергом, возвышавшимся между двумя кораблями. Ветер так и не поднялся, и звезды в небе не появились.

К часу ужина оставшиеся на корабле мужчины изнемогали от нетерпения, не в силах усидеть на месте, словно малые дети в канун Рождества. Они расправились с ужином в рекордно короткое время – поскольку пятница была не «мучным днем», он состоял из скромной порции трески «бедный Джон» с голднеровскими консервированными овощами и бертонского пива, налитого в кружку на два пальца, – и у Крозье не хватило духа задерживать людей в кубрике, пока офицеры заканчивали свой более неспешный ужин. К тому же оставшиеся на борту офицеры не меньше матросов рвались отправиться на карнавал. Даже инженер Джеймс Томпсон – который редко выказывал интерес к чему-нибудь за пределами

машинного отделения и за последнее время так исхудал, что стал похож на ходячий скелет, – уже находился на жилой палубе, полностью одетый и готовый тронуться в путь.

Поэтому к семи часам вечера капитан Крозье, одетый по возможности теплее, в последний раз проверил восьмерых человек, остававшихся дежурить на корабле, – за вахтенного офицера оставался старший помощник Хорнби, но до полуночи его сменит молодой Ирвинг, чтобы Хорнби со своей вахтой мог поприсутствовать на празднике, – а потом все спустились по ледяному скату на замерзшее море и резвым шагом двинулись по восьмидесятиградусному морозу^[11] к «Эребусу». Вскоре толпа из тридцати с лишним человек растянулась в темноте длинной вереницей – на верхушке каждой пятой ледяной пирамиды горел просмоленный факел, освещавший путь, – и Крозье оказался рядом с лейтенантом Ирвингом, ледовым лоцманом Блэнки и несколькими унтер-офицерами.

Блэнки шел медленно, опираясь на зажатый под правой рукой костыль, поскольку потерял правую пятку и еще не вполне приноровился ходить на протезе, но пребывал в отличном расположении духа.

– Добрый вам вечер, капитан, – сказал ледовый лоцман. – Пожалуйста, не сбавляйте из-за меня шага, сэр. Мои товарищи – Толстяк Уилсон, Кенли и Билли Гибсон – позаботятся обо мне здесь.

– Мне кажется, вы идете ничуть не медленнее нас, мистер Блэнки, – сказал Крозье.

Проходя мимо пирамид с факелами, он всякий раз отмечал, что по-прежнему полное безветрие: языки пламени поднимались вертикально вверх. Тропа была хорошо утоптана, пробитые в торосных грядах проходы тщательно расчищены от снега. Громадный айсберг, все еще находившийся в полумиле впереди, казалось, источал сияние из своих недр, освещенный многочисленными факелами, горевшими с другой его стороны, и сейчас походил на некую фантасмагоричную крепостную башню, сверкающую в ночи. Крозье вспомнил, как в детстве ходил на местные ирландские ярмарки. В воздухе сегодня (хотя и чуть более холодном, чем летней ирландской ночью) чувствовалось такое же радостное возбуждение. Он оглянулся, чтобы удостовериться, что рядовой Хэммонд, рядовой Дейли и сержант Тозер замыкают шествие, держа оружие наготове.

– Просто диву даешься, насколько люди рады карнавалу, верно, капитан? – сказал мистер Блэнки.

Крозье лишь раздраженно фыркнул. Ближе к вечеру он допил свою последнюю бутылку виски и теперь с ужасом думал о предстоящих днях и

ночах.

Костыль не костыль, но Блэнки и его товарищи шагали так быстро, что Крозье пропустил их вперед. Он дотронулся до руки Ирвинга, и долговязый лейтенант отстал от лейтенанта Литтла, врачей Педди и Макдональда, плотника Хани и прочих.

– Джон, – сказал Крозье, когда они оказались вне пределов слышимости для офицеров, но по-прежнему оставались достаточно далеко от замыкающих шествие морских пехотинцев, чтобы не быть услышанными, – есть какие-нибудь новости о леди Безмолвной?

– Нет, капитан. Я самолично проверял канатный ящик меньше часа назад, но она уже вышла через свою маленькую заднюю дверь.

Когда десятого декабря Ирвинг доложил Крозье о тайных вылазках эскимосской гостьи с корабля, а также о том, что видел женщину рядом с чудовищным существом (хотя Ирвинг не стал рассказывать обо всех невероятных подробностях разыгравшейся сцены, упомянув лишь о странной «музыке»), первым побуждением капитана было завалить узкий ледяной тоннель, надежно заделать отверстие в корпусе и вышвырнуть девку на лед раз и навсегда.

Однако он не сделал ничего подобного. Вместо этого Крозье приказал лейтенанту Ирвингу поручить трем матросам по возможности держать леди Безмолвную под наблюдением, а самому попытаться еще раз проследить за ней, когда она предпримет очередную вылазку. До сих пор они еще ни разу не видели, чтобы она снова покидала корабль через свою заднюю дверь, хотя Ирвинг часами сидел в укрытии среди нагромождений ледяных глыб за бушпритом, подстерегая женщину. Складывалось такое впечатление, будто она видела лейтенанта во время своего колдовского свидания с чудовищем – хотела, чтобы он видел и слышал ее там, – и сочла, что этого достаточно. Похоже, в последние дни она довольствовалась матросским пайком и использовала канатный ящик только для сна.

Крозье не изгнал аборигенку по самой простой причине: люди начинали медленно умирать голодной смертью. Из-за порчи значительной части консервированных продуктов, поставленных мошенником Голднером, у них не хватит продовольствия, чтобы продержаться до лета, а тем более до следующего года. Если леди Безмолвная действительно добывает свежее мясо на льду среди зимы – ловит петлей тюленей, а возможно, даже моржей, – члены обеих команд обязательно должны научиться у нее этому, чтобы получить хоть самые ничтожные шансы выжить. Среди сотни с лишним оставшихся в живых людей не было ни одного опытного охотника или специалиста по подледному лову рыбы.

Крозье скептически отнесся к смущенному и весьма неуверенному рассказу лейтенанта Ирвинга, якобы видевшего, как зверь приносит в дар женщине мясо. Капитан в жизни не поверил бы, что Безмолвная обучила громадного белого медведя – если существо таковым являлось – охотиться и приносить ей рыбу или тюленей, как благопристойный английский пойнтер приносит своему хозяину фазана.

Но она выбрала именно сегодняшний день, чтобы снова исчезнуть с корабля.

– Ладно, – сказал Крозье, чувствуя, как морозный воздух, даже просачиваясь сквозь толстый шарф, болезненно обжигает легкие, – когда вы вернетесь обратно со сменной вахтой, проверьте канатный ящик еще раз, и если ее там не окажется... Что это, Господи Иисусе?

Миновав последнюю торосную гряду, они вышли на открытый ровный участок замерзшего моря в четверти мили от «Эребуса». При виде представшей взору картины у Крозье отвалилась челюсть под шерстяным шарфом и высоко поднятыми воротниками.

Капитан предполагал, что Второй Большой Венецианский карнавал будет проводиться на ровном морском льду в непосредственной близости от корабля, как происходило в 1824-м, когда Хоппнер и Парри устраивали маскарад на узкой полосе льда между «Хеклой» и «Фьюри». Но в то время как «Эребус», темный и с виду пустынный, стоял с задранным вверх носом на своем грязном ледяном пьедестале, великое оживление царило в четверти мили от него, рядом с громадным айсбергом.

– Силы небесные, – проговорил лейтенант Ирвинг.

В то время как «Эребус» казался темным остовом покинутого корабля, новая масса такелажа и парусов – настоящий город из разноцветной парусины, озаренный ярко горящими факелами, – выросла на широком ровном участке замерзшего моря, среди леса сераков и прямо под громадным сверкающим айсбергом. Крозье мог лишь стоять и ошеломленно хлопать глазами.

Люди потрудились на славу. Некоторым пришлось подняться на сам айсберг, чтобы глубоко вбить огромные ледовые якоря в ледяную стену на высоте шестидесяти футов, закрепить тали и натянуть такое количество снастей бегучего такелажа из кладовых, какого хватило бы для того, чтобы полностью вооружить трехмачтовый военный корабль.

Паутина из сотен обледенелых тросов спускалась с айсберга и тянулась к «Эребусу», поддерживая залитые светом разноцветные парусиновые стены (порой представлявшие собой полотнища парусов

высотой в тридцать и более футов), которые снизу крепились с помощью колышков к морскому льду, серакам и ледяным глыбам, по сторонам – к вертикальным стойкам, а сверху держались на косо натянутых канатах.

Крозье подошел ближе, по-прежнему часто моргая. Из-за выросшего на ресницах льда веки у него в любой момент могли смерзнуться, но он все равно продолжал моргать.

Казалось, будто на льду установлено множество гигантских разноцветных шатров, только крыши у этих шатров отсутствовали. Вертикальные стены, освещенные изнутри и снаружи десятками факелов, тянулись зигзагом от открытого участка морского льда в лес сераков и вплоть до отвесной стены самого айсберга. Казалось, будто анфилады гигантских залов или разноцветных чертогов за ночь выросли на льду. Каждое следующее «помещение» располагалось под углом к предыдущему – натянутые полотнища парусов делали заметный поворот через каждые двадцать ярдов или около того.

Первый зал выходил на восток. Здесь парусина была покрашена в ярко-синий цвет – цвет ясного неба, которого они не видели уже так давно, что сейчас при виде его у капитана Крозье к горлу подкатил ком, – и в свете установленных снаружи факелов синие стены сверкали и пульсировали.

Крозье прошел мимо мистера Блэнки и его товарищей, остолбеневших от изумления с разинутым ртом. Он услышал, как ледовый лоцман пробормотал: «Мать честная».

Крозье подошел ближе – собственно говоря, вступил в пространство, огороженное сияющими синими стенами.

Фигуры в диковинных ярких нарядах скакали и прыгали вокруг него – тряпичники с хвостами из разноцветных лохмотьев, волочащихся за ними; долговязые трубочисты в траурно-черных фраках и запачканных сажей цилиндрах, откалывающие коленца; легко пританцовывающие экзотические птицы с длинными золотыми клювами; арабские шейхи в красных тюрбанах, скользящие по темному льду; пираты в голубых масках мертвецов, занятые погоней за резво скачущим единорогом; генералы наполеоновской армии в белых масках театра кабуки, шествующие мимо торжественной процессией. Объемистая фигура, облаченная во все зеленое – лесной дух? – подбежала к Крозье и пропела фальцетом: «Для вас остался целый сундук костюмов, капитан. Присоединяйтесь к нам, коли желаете», – а потом видение исчезло, снова смешавшись с шумной толпой причудливо наряженных людей.

Крозье двинулся дальше, углубляясь в лабиринт разноцветных чертогов.

За синим залом находился пурпурный, длинный и резко поворачивающий направо. Крозье заметил, что устроители карнавала украсили каждое помещение коврами и гобеленами, поставили там и сям столы или бочки и покрасили все предметы обстановки в цвет сияющих парусиновых стен.

За пурпурным залом оказался зеленый – теперь поворачивающий налево, но под таким странным углом, что Крозье пришлось бы посмотреть на звезды, будь таковые видны в небе, чтобы сориентироваться по сторонам света. В этом длинном помещении веселилось больше ряженных, чем в любом из двух предыдущих: еще экзотические птицы, принцесса в лошадиной маске, существа с сегментарными телами и суставчатыми конечностями, похожие на гигантских насекомых.

Френсис Крозье не помнил, чтобы такие костюмы хранились в сундуках Парри на «Фьюри» и «Хекле», но Фицджеральд утверждал, что Франклин взял в плавание именно те тронутые тленом артефакты.

Стены, предметы обстановки и освещение в четвертом зале были оранжевыми. Свет факелов, проникавший сквозь тонкую оранжевую парусину, казался таким густым, что хоть пей. Полотнища оранжевой парусины, разрисованные наподобие гобеленов, устилали морской лед, а в центре покрытого оранжевой простыней стола стояла огромная чаша для пунша. По меньшей мере тридцать гротескных фигур толпились вокруг чаши, некоторые приподнимали свои клювастые или клыкастые личины, чтобы им не мешали пить.

Крозье вдруг с великим изумлением осознал, что из пятого сегмента лабиринта доносится громкая музыка. Снова повернув направо, он вступил в белый зал. Покрытые простынями матросские сундуки и стулья из офицерской столовой стояли вдоль белых парусиновых стен, и фантастическая маска в дальнем конце помещения крутила ручку почти забытой музыкальной шкатулки из кают-компании «Террора», с чьих металлических дисков лились популярные танцевальные мелодии. Почему-то звуки музыки казались гораздо громче здесь, на льду.

Группа ряженных выходила из шестого зала, и Крозье, прошагав мимо музыкальной шкатулки, круто повернул направо и вошел в фиолетовый покой.

Взглядом опытного моряка капитан по достоинству оценил конструкцию из тросов, поднимавшихся от вертикальных стоек к подвешенному в воздухе брусу (к нему сходились многочисленные тросы из всех шести помещений), и толстых канатов, тянувшихся от центрального бруса к анкерам, вбитым высоко в стену айсберга. Мачтовые матросы с

«Эребуса» и «Террора», придумавшие и возведшие этот парусиновый лабиринт, явно также отчасти утолили здесь свою тоску по привычному делу, которым не имели возможности заниматься в продолжение многих месяцев, пока томились бездействием на затертых льдами кораблях со снятыми стенгами, реями и такелажем. Но в фиолетовом зале было мало ряженных – освещение в нем производило удивительно тягостное впечатление. Вся обстановка здесь состояла из десятка пустых упаковочных клеток посреди помещения, задрапированных фиолетовыми простынями. Несколько птиц, пиратов и тряпичников ненадолго задержались тут, чтобы осушить свои хрустальные бокалы, принесенные из белого зала, огляделись по сторонам, а потом быстро вернулись в предыдущие покои.

В последнем зале, казалось, вообще не было света.

Крозье вышел из фиолетового зала и, резко повернув направо, очутился в помещении, где царила кромешная тьма.

Нет, не совсем так, осознал он. За черными парусиновыми стенами здесь тоже горели факелы, но свет едва пробивался сквозь них, почти не рассеивая мрака. Крозье пришлось остановиться, чтобы глаза привыкли к темноте, а когда это произошло, он испуганно попятился.

Лед под ногами исчез. Казалось, он ступает прямо по черной воде арктического моря.

Капитану понадобилось лишь несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Матросы густо посыпали лед сажей, взятой из котельной и угольных бункеров, – старый прием, которым пользуются моряки, чтобы ускорить таяние морского льда поздней весной или капризным летом, – но сейчас, посреди полярной зимы с морозами до минус ста градусов^[12], таяния льда не происходило. От сажки и угля лед под ногами просто стал невидимым во мраке последнего, ужасного зала.

Когда глаза Крозье окончательно привыкли к темноте, он увидел, что в длинном черном помещении находится лишь один предмет обстановки, но стиснул зубы от гнева, когда рассмотрел, что это за предмет такой.

Эбеновые напольные часы капитана сэра Джона Франклина стояли в дальнем конце черного зала, вплотную придвинутые к ледяной стене айсберга, в которую упирался парусиновый лабиринт. Крозье слышал размеренное тяжелое тиканье.

А над тикающими часами из льда выступала, словно в попытке вырваться на свободу, мохнатая белая голова чудовища с желтыми клыками.

Нет, снова поправил он себя, не чудовища. К ледяной стене каким-то

образом прикрепили голову крупного белого медведя. Пасть зверя была широко раскрыта. В черных глазах отражался скудный свет факелов, пробивавшийся сквозь черные парусиновые стены. Одни только зубы и шерсть медведя смутно белели во мраке черного зала. Из разверстой пасти вываливался ярко-красный язык. Под мохнатой головой мерно тикали эбеновые часы.

Охваченный безотчетной яростью, Крозье стремительно вышел из черного помещения, прошагал через фиолетовое, остановился в белом зале и грозным голосом крикнул офицера – любого офицера.

Сатир в длинной маске из папье-маше и с приапическим конусом, торчащим из-под красного ремня, подбежал к нему на черных копытах, подвязанных к грубым башмакам:

– Да, сэр?

– Снимите эту чертову маску!

– Есть, капитан, – откликнулся сатир, поднимая на лоб маску и оборачиваясь Томасом Р. Фарром, грот-марсовым старшиной «Террора».

Стоявшая поблизости китаянка с огромными грудями стянула маску вниз, явив взорам круглую толстую физиономию кока мистера Диггла. Рядом с Дигглом стояла гигантская крыса, которая приспустила свою мерзкую личину достаточно низко, чтобы показать лицо лейтенанта Джеймса Уолтера Фейрхольма с «Эребуса».

– Что, черт побери, все это значит? – проревел Крозье.

При звуках его голоса разнообразные фантастические существа сжежились и попятились к белым стенам.

– Что именно, капитан? – спросил лейтенант Фейрхольм.

– Вот это! – рявкнул Крозье, широким взмахом обеих рук указывая на белые стены, снасти такелажа над головой, факелы... на все сразу.

– Ничего не значит, капитан, – ответил мистер Фарр. – Это просто... карнавал.

Крозье всегда считал Фарра надежным, здравомыслящим человеком и прекрасным грот-марсовым старшиной.

– Мистер Фарр, вы участвовали в такелажных работах здесь? – резко осведомился он.

– Да, капитан.

– А вы, лейтенант Фейрхольм, вы знали о... о медвежьей голове... выставленной столь диким и несуразным образом в последнем помещении?

– Да, капитан, – ответил Фейрхольм. На длинном обветренном лице лейтенанта не отразилось ни малейшего страха перед гневом начальника экспедиции. – Я самолично застрелил медведя. Вчера вечером. Если точнее,

двух медведей. Самку и почти взрослого детеныша. Мы собираемся пожарить мясо между одиннадцатью и полуночью – устроить своего рода пиршество, сэр.

Крозье буравил мужчин взглядом. Сердце у него бешено колотилось, в душе klokотал гнев, который – сейчас подогретый недавно выпитым виски и сознанием, что в грядущие дни придется обходиться без спиртного, – на суше частенько доводил его до рукоприкладства.

Но здесь он должен соблюдать осторожность.

– Мистер Диггл, – наконец обратился он к жирной китаянке с огромными грудями, – вы знаете, что печень белого медведя опасна для здоровья?

Двойной подбородок Диггла запрыгал, как и подушечные груди под ним.

– О да, капитан. В печени этого полярного зверя содержится какая-то гадость, которую оттуда не вытравить, сколько ни жарь. К сегодняшнему пиршеству я не собираюсь готовить ни печень, ни легкие, капитан, уверяю вас. Только свежее мясо – сотни фунтов свежего мяса, запеченного, прокопченного и прожаренного наилучшим образом, сэр.

Голос подал лейтенант Фейрхольм:

– Люди сочли за доброе предзнаменование тот факт, что мы натолкнулись на двух медведей на льду и сумели убить их, капитан. Все с нетерпением ждут полночного пиршества.

– Почему мне не доложили о медведях? – осведомился Крозье.

Офицер, грот-марсовый старшина и кок переглянулись. Стоявшие поблизости птицы и феи – тоже.

– Мы убили самку и детеныша вчера поздно вечером, капитан, – наконец сказал Фейрхольм. – Полагаю, сообщение между кораблями сегодня осуществлялось в одностороннем порядке: люди с «Террора» приходили, чтобы принять участие в подготовке к карнавалу, но посыльные с «Эребуса» не отправлялись. Прощу прощения, что не поставил вас в известность, сэр.

Крозье знал, что повинен в данном упущении Фицджереймс. И знал, что все мужчины вокруг знают это.

– Хорошо, – после долгой паузы промолвил он. – Продолжайте развлекаться. – Но когда люди начали снова надевать маски, он добавил: – И молитесь Богу, чтобы часы сэра Джона остались в целости и сохранности.

– Есть, капитан, – хором откликнулись все маски вокруг.

Бросив последний, почти опасливый взгляд назад, в сторону ужасного черного зала (повергшего Френсиса Крозье в такой тяжелый приступ

депрессии, какой он редко испытывал за пятьдесят семь лет своей хронической меланхолии), он вышел из белого покоя в оранжевый, из оранжевого в зеленый, из зеленого в пурпурный, из пурпурного в синий, а из синего на открытый темный лед.

Только выйдя из разноцветного парусинового лабиринта, Крозье почувствовал, что в состоянии дышать ровно.

Фигуры в причудливых нарядах боязливо сторонились сердито надуленного капитана, когда он шагал к «Эребусу» и темной, тепло укутанной фигуре, стоявшей наверху ледяного откоса.

Капитан Фицджереймс стоял в одиночестве у фальшборта, на самом верху ската. Он курил трубку.

– Добрый вечер, капитан Крозье.

– Добрый вечер, капитан Фицджереймс. Вы заглядывали внутрь этого... этого...

Не найдя подходящего слова, Крозье махнул рукой в сторону шумного, озаренного светом факелов города из парусиновых стен и хитроумно натянутых снастей такелажа.

– Да, разумеется, – ответил Фицджереймс. – Я бы сказал, люди проявили поразительную изобретательность.

На это Крозье было нечего сказать.

– Теперь вопрос в том, – продолжал Фицджереймс, – пойдет ли весь этот многочасовой труд и вся эта изобретательность на пользу экспедиции... или же сослужит службу дьяволу.

Крозье попытался заглянуть в глаза молодому офицеру, спрятанные под козырьком фуражки, поверх обмотанной шерстяным шарфом. Он не понимал, шутит Фицджереймс или говорит серьезно.

– Кому принадлежала идея соорудить этот... лабиринт? – спросил Крозье. – Разноцветные отсеки? Черный зал?

Фицджереймс затаился, отнял трубку от рта и хихикнул:

– Все это придумал молодой Ричард Эйлмор.

– Эйлмор? – повторил Крозье. Имя он помнил, но человека едва ли. – Ваш кают-компанейский вестовой?

– Точно.

Крозье вспомнил щуплого мужчину с запавшими задумчивыми глазами, педантичными нотками в голосе и жидкими черными усами.

– Откуда, черт возьми, он взял все это?

– Эйлмор несколько лет жил в Соединенных Штатах, прежде чем вернулся домой в сорок четвертом году и нанялся на работу в Службу географических исследований, – сказал Фицджереймс. Его зубы легко

постукивали по черенку трубки. – Он утверждает, что в сорок втором году, когда жил в Бостоне у своего кузена, читал один дурацкий рассказ с описанием точно такого маскарада, с такими вот разноцветными залами. В дешевом журнальчике под названием «Грэмз мэгэзин», если мне не изменяет память. Эйлмор не помнит толком сюжета рассказа, но помнит, что речь там шла о странном бале-маскараде, который устраивал некий принц Просперо... и он абсолютно уверен, что залы там располагались именно в такой последовательности, с ужасной черной комнатой в конце анфилады.

Крозье мог лишь потрясти головой.

– Френсис, – продолжал Фицджереймс, – в течение двух лет и одного месяца при сэре Джоне спиртное на нашем корабле находилось под строгим запретом. Тем не менее мне удалось тайно пронести на борт три бутылки прекрасного виски, подаренные мне отцом. У меня осталась одна бутылка. Вы окажете мне честь, коли выпьете со мной сегодня. Люди начнут жарить мясо медведей, подстреленных вчера, только через три часа... я разрешил нашему мистеру Уоллу и вашему мистеру Дигглу установить на льду две печи с вельботов, чтобы разогревать блюда типа консервированных овощей, и соорудить огромную жаровню в так называемом белом зале для приготовления собственно мяса. На худой конец, мы хотя бы поедем свежего мяса впервые за три с лишним месяца. Вы согласны посидеть со мной за бутылкой виски в бывшей каюте сэра Джона, пока не настанет время праздничного ужина?

Крозье кивнул и проследовал за Фицджереймсом на корабль.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

31 декабря 1847 г. – 1 января 1848 г.

Крозье и Фицджеймс спустились с «Эребуса» на лед незадолго до полуночи. В кают-компании – бывшей каюте сэра Джона – было жутко холодно, но здесь, в ночи, холод набросился на них с лютой яростью неумолимого агрессора. За последние два часа поднялся легкий ветер, и повсюду вокруг факелы и трехногие жаровни (Фицджеймс предложил, а Крозье к концу первого часа посиделок за бутылкой виски согласился отослать участникам карнавала несколько мешков с углем и бочонок сырой нефти для открытых жаровен, во избежание серьезных обморожений) шипели и трещали на стоградусном морозе.

Два капитана разговаривали очень мало, погруженные каждый в свои печальные мысли. Дюжину раз их уединение нарушали: лейтенант Ирвинг явился доложить, что возвращается со сменной вахтой на «Террор»; лейтенант Ходжсон явился сказать, что его вахта прибыла на карнавал; другие офицеры в нелепых маскарадных костюмах несколько раз являлись доложить, что на самом карнавале все в порядке; разные вахты и вахтенные офицеры «Эребуса» сменялись с дежурства и заступали на дежурство; инженер мистер Грегори пришел сообщить, что они вполне могут потратить часть угля на жаровни, поскольку оставшегося топлива все равно хватит лишь на два-три часа движения корабля под паром, коли наступит мифическая оттепель, а потом удалился, чтобы распорядиться о доставке нескольких мешков угля к разноцветному парусиновому городу на льду, где буйное веселье продолжало набирать силу; старый парусник мистер Мюррей – наряженный гробовщиком, в маске-черепе под высокой бобровой шапкой, каковая маска не особо отличалась от его собственного исхудалого костистого лица, – извинился и спросил, можно ли взять два запасных кливера, чтобы соорудить ветровой щит подле новых жаровен.

Капитаны выслушивали доклады, давали свои разрешения, передавали приказы и рекомендации, не отвлекаясь от безрадостных мыслей, навеванных виски.

Где-то между одиннадцатью и полуночью они снова тепло укутались и спустились с корабля на лед, когда Томас Джопсон и Эдмунд Хор, вестовые

Крозье и Фицджереймса соответственно, вместе с лейтенантами Левеконтом и Литтлом (все четверо мужчин были в причудливых маскарадных нарядах, натянутых поверх толстых шинелей и многочисленных поддевок под ними) явились в кают-компанию сообщить, что медвежати́на уже жарится вовсю и самые лучшие куски мяса оставлены для капитанов – и не соблаговолят ли джентльмены присоединиться к праздничному ужину?

Крозье осознал, что очень пьян. Обычно он пил, не обнаруживая видимых признаков опьянения, и люди привыкли к тому, что от капитана, всегда полностью контролирующего ситуацию, частенько пахнет спиртным, но он не спал последние несколько ночей, и сейчас, выйдя на жгучий стоградусный мороз и шагая к освещенному факелами парусиновому лабиринту, сверкающему айсбергу и толпам причудливых фигур, Крозье чувствовал, как виски горит у него в желудке и мозгу.

Главная жаровня находилась в белом зале. Два капитана прошли через ряд разноцветных покоев, не перемолвившись ни словом ни друг с другом, ни с какой-либо из многих десятков гротескных масок, мельтешивших вокруг. Миновав синий, пурпурный, зеленый и оранжевый залы, они вошли в белый.

Крозье ясно видел, что почти все мужчины тоже сильно навеселе. Как же они умудрились напиться? Они что, приберегали для праздника свои порции грога? Припрятавали бертонское пиво, обычно подававшееся к ужину? Он знал, что они не взломали винную кладовую «Террора», поскольку поручил лейтенанту Литтлу проверить, целы ли там замки, сегодня утром и ближе к вечеру. А винная кладовая «Эребуса» благодаря сэру Джону пустовала с самого начала плавания.

Но мужчины каким-то образом крепко напились. Как моряк с сорокалетним стажем, начинавший службу простым юнгой, Крозье знал, что изобретательность британского матроса – по крайней мере, в части изготовления, тайного хранения или добывания спиртного – не знает границ.

Огромные куски медвежати́ны, уложенные на металлическую решетку, жарились на открытом огне под наблюдением мистера Диггла и мистера Уолла; весело сверкающий золотым зубом лейтенант Левеконт и другие офицеры и вестовые с обоих кораблей раздавали оловянные тарелки с дымящимся яством выстроившимся в очередь мужчинам. Запах жарящегося мяса кружил голову, и Крозье обнаружил, что у него текут слюнки, несмотря на все данные себе клятвы не принимать участия в карнавальном пиршестве.

Очередь расступилась перед двумя капитанами. Старьевщики,

католические священники, французские придворные, эльфы, феи, нищие в пестрых лохмотьях, мертвец в саване, два римских legionера в красных плащах, черных масках и золотых нагрудных доспехах жестами пригласили Фицджереймса и Крозье проследовать в голову очереди и приветствовали проходивших мимо офицеров почтительными поклонами.

Мистер Диггл – накладные груди наряженного китайкой кока сейчас были спущены к поясу и колыхались там при каждом его движении – самолично отрезал самый лучший кусок мяса для Крозье, а потом еще один для капитана Фицджереймса. Шипящее жаркое подавалось на повседневных оловянных тарелках, а не на лучшем фарфоре сэра Джона, но Левеконт выдал вновь прибывшим столовые приборы из офицерской столовой и белые льняные салфетки. Лейтенант Фейрхольм налил пива в две кружки.

– На таком холоде, джентльмены, – сказал Фейрхольм, – нужно приноровиться пить раздельными быстрыми глотками, точно птица, чтобы губы не примерзли к кружке.

Фицджереймс и Крозье нашли место во главе задрапированного белым стола и уселись на стулья, услужливо отодвинутые для них по взвизгнувшему льду мистером Фарром, грот-марсовым старшиной, которому Крозье устроил строгий допрос несколько часов назад. Рядом с ними сидел мистер Блэнки со своим коллегой, ледовым лоцманом мистером Рейдом, а также Эдвард Литтл с полудюжиной офицеров с «Эребуса». Все четверо корабельных врачей расположились группой на другом конце белого стола.

Крозье снял рукавицы, несколько раз согнул и разогнул замерзшие пальцы в шерстяных перчатках и осторожно попробовал мясо, стараясь не прикасаться губами к металлической вилке. Жаркое из медвежатины обожгло язык. Тут он едва не рассмеялся в голос: стоит стоградусный мороз, пар от дыхания висит перед ним облаком ледяных кристаллов, лицо спрятано глубоко в тоннеле из шерстяных шарфов, шапок и «уэльского парика» – а он только что обжег язык. Он повторил попытку, на сей раз прожевав и проглотив кусок.

Стейка вкуснее он в жизни не пробовал. Это удивило капитана. Много месяцев назад, когда они в последний раз ели свежую медвежатину, жареное мясо показалось прогорклым на вкус и запах. Люди тогда сильно отравились печенью и, возможно, еще какими-то внутренними органами животного. Тогда они решили, что мясо белого медведя они станут есть только в самом крайнем случае: если над ними нависнет угроза голодной смерти.

А теперь это пиршество... это роскошное пиршество. Все вокруг него

в белом зале – и, очевидно, за покрытыми парусиной бочками, сундуками и столами в соседних, оранжевом и фиолетовом залах – с жадностью уплетали мясо. Смех и болтовня счастливых людей с легкостью перекрывали и рев огня в жаровне, и хлопанье парусины на вновь поднявшемся ветру. Здесь, в белом зале, мало кто пользовался ножом и вилкой должным образом – иные просто натыкали кусок мяса на вилку и рвали зубами, но большинство ели прямо руками в рукавицах. Со стороны казалось, будто сто пятьдесят изголодавшихся хищников с упоением пожирают свою добычу.

Чем дольше Крозье ел, тем с большей жадностью. Фицджереймс, Рейд, Блэнки, Фарр, Ходжсон и остальные – даже Джопсон, вестовой капитана, сидевший за соседним столом с прочими вестовыми, – похоже, поглощали мясо с таким же вкусом. Один из помощников мистера Диггла, наряженный китайским младенцем, обходил столы, раскладывая на тарелки дымящиеся овощи со сковороды – Крозье видел железную печь с вельбота с булькающими кастрюлями на ревущих горелках, когда вошел, – но консервированные овощи, пусть замечательно горячие, казались просто безвкусными по сравнению с восхитительной свежей медвежатиной. Только положение начальника экспедиции не позволило Крозье протолкаться в начало очереди и потребовать добавки, когда он доел свой огромный стейк. Лицо Фицджереймса полностью утратило прежнее рассеянное, отстраненное выражение, – казалось, молодой командор готов разрыдаться от счастья.

Внезапно – в тот момент, когда большинство мужчин уже управились со своим мясом и принялись пить хмельное пиво, пока оно не превратилось в лед на морозе, – персидский король, стоявший у входа в фиолетовый зал, начал крутить ручку музыкальной шкатулки.

Бурные аплодисменты – оглушительное хлопанье толстых рукавиц – раздались при первых же дребезжащих, бренчащих звуках, исторгнутых примитивным аппаратом. Многие ценители музыки на обоих кораблях жаловались на музыкальную шкатулку – мол, звучание вращающихся металлических дисков почти ничем не отличается от фальшивого голоса старой шарманки, – но эту мелодию все узнали мгновенно. Десятки человек поднялись на ноги. Другие запели хором, выдыхая клубы пара, которые всплывали над головами в ярком свете факелов, проникающем сквозь белые парусиновые стены. Даже Крозье расплылся в идиотской ухмылке, когда слова первой строфы отразились эхом от громадного айсберга, нависающего над ними в морозной ночи.

Когда Господь нас сотворил,
Откликнулись мы на призыв
Тех ангельских хоров, что мы
Поныне слышим. Вторя им...

Капитаны Крозье и Фицджереймс встали и присоединились к хору голосов, ревущих первый припев:

Правь, Британия, морями.
Нам вовек не быть рабами!

Чистый тенор молодого Ходжсона взмыл ввысь, когда мужчины в шести из семи разноцветных парусиновых залов затянули вторую строфу:

Нет народов на земле,
Что не никнут в кабале.
Ты един в своей свободе,
Побеждаешь поневоле.

Смутно сознавая, что через два зала от белого, при входе в пурпурный, возникло какое-то оживление, Крозье запрокинул голову и – разгоряченный виски и жарким из медвежатины – заревел вместе со своими людьми:

Правь, Британия, морями.
Нам вовек не быть рабами!

Мужчины в первых отсеках лабиринта продолжали петь, но теперь они еще и смеялись. Оживление там возрастало. Музыкальная шкатулка заиграла громче. И люди запели еще громче. Продолжая выводить слова третьей строфы, Крозье ошеломленно вытаращил глаза при виде процессии, вступающей в белый зал.

Ты возвысишься над всеми,
Невзирая на потери.
Крепкий, как британский дуб,
Ты даешь нам всем приют.

Возглавлял процессию низенький человечек в гротескной адмиральской форме. Несуразно широкие эполеты выступали на восемь дюймов за плечи коротышки. Он был очень толстым. И он был без головы. Свою голову из папье-маше он нес под левой подмышкой, а ветхую адмиральскую шляпу с плюмажем под правой.

Крозье перестал петь. Остальные продолжали:

Правь, Британия, морями.
Нам вовек не быть рабами!

За обезглавленным адмиралом, явно представлявшим покойного сэра Джона Франклина (кто-то жестоко поплатится за столь дикую выходку, подумал Крозье), семенило чудовище ростом десять или двенадцать футов.

У него было туловище, шерсть, клыки, треугольная голова и черные глаза арктического белого медведя, но шло оно на задних лапах и вдвое превосходило медведя ростом и длиной передних конечностей. Оно шло деревянной походкой, точно заводная игрушка, сильно раскачивая верхней половиной туловища, вперяя взгляд черных глаз в каждого, к кому приближалось. Болтающиеся ступни передних лап, вяло свисающих вдоль тела, были больше головы любого из ряженных.

– Это ваш великан Мэнсон внизу, – со смехом сказал второй помощник капитана «Эребуса» Чарльз Фредерик Дево, возвышая голос, чтобы перекрыть рев хора, поющего следующий куплет. – А на плечах у него сидит ваш маленький помощник конопатчика – Хикки, кажется? Парням потребовалась целая ночь, чтобы сшить из двух медвежьих шкур одну.

Тирану будет не под силу
Тебя срубить. Удар бессилён.
Так зеленей, гори свободой
Под ярко-синим небосводом.

Десятки мужчин прошли процессией следом за гигантским медведем через белый зал в фиолетовый. Крозье стоял неподвижно, словно в буквальном смысле слова застыл на месте у праздничного белого стола. Наконец он повернул голову, чтобы посмотреть на Фицджереймса.

– Клянусь, я ничего не знал, Френсис. – Губы капитана «Эребуса» были белыми и очень тонкими.

Белый зал начал пустеть, когда десятки ряженных потянулись следом за обезглавленным адмиралом и гигантским, медленно и неуклюже ступающим двуногим медведем в относительно темный фиолетовый зал, направляясь к черному. Пьяные голоса ревели вокруг Крозье:

Правь, Британия, морями.
Нам вовек не быть рабами!

Фицджереймс двинулся вслед за процессией в фиолетовый покой, и Крозье двинулся за Фицджереймсом. За все годы пребывания в должности капитан «Террора» еще ни разу не оказывался в столь сложной ситуации; он знал, что должен положить конец издевательскому пародийному представлению – никакая флотская дисциплина не могла допустить фарса, в котором смерть начальника экспедиции становилась предметом глумления, – но одновременно понимал, что все зашло уже слишком далеко и сейчас просто пресечь пение громким криком, приказать Мэнсону и Хикки вылезти из шкуры непотребного чудовища, приказать всем снять костюмы и вернуться на корабли значило бы совершить поступок почти такой же нелепый и бессмысленный, как языческий ритуал, за которым Крозье наблюдал с возрастающим гневом.

Ты отныне правишь миром,
Где торговля процветает.
Паруса твои тугие
Землю радугой скрепляют.

Обезглавленный адмирал, неуклюже семенящее чудовище и сотня с лишним ряженных не задержались надолго в фиолетовом зале. Когда Крозье вступил в ограниченное фиолетовыми стенами пространство – пламя факелов и треногих жаровен бешено плясало с северной стороны парусинового лабиринта, и сами паруса ходили волнами и хлопали на крепчающем ветру, – он увидел, как Мэнсон с Хикки и поющая толпа на мгновение остановились у входа в черный зал.

Крозье с трудом подавил желание выкрикнуть: «Нет!» Устраивать представление с карикатурной фигурой, изображающей сэра Джона, и

громадным существом в том зловещем черном зале с головой белого медведя и тикающими часами было настоящим кошунством, но, какую бы идиотскую финальную сцену ни собирались разыграть там мужчины, по крайней мере она станет последней. На том и закончится Второй Большой Венецианский карнавал, необдуманно согласившись на проведение которого он совершил ошибку. Он дождется момента, когда пение закончится само собой и зрители приготовятся наградить аплодисментами и пьяными одобрительными возгласами языческого мима, а потом прикажет всем снять маскарадные костюмы и отправит замерзших и пьяных матросов обратно на корабли, но прикажет организаторам праздника снять парусиновые стены и такелажные снасти немедленно – сегодня же ночью, – пусть даже ценой серьезных обморожений.

Поощряемый громкими возгласами обезглавленный адмирал и раскачивающийся чудовищный медведь вошли в черный зал.

Часы сэра Джона начали бить полночь.

Толпа причудливо наряженных моряков в хвосте процессии устремилась вперед, движимая желанием поскорее проникнуть в зал и увидеть забавное представление, а старьевщики, крысы, единороги, мусорщики, пираты, арабские принцы и египетские принцессы, гладиаторы, феи и прочие фантастические существа в первых рядах толпы начали упираться и пятиться назад, уже не уверенные, что хотят оказаться во мраке зловещего помещения с черными стенами и покрытым сажей полом.

Крозье принялся проталкиваться через толпу – которая то подавалась вперед, то откатывала назад, когда люди в первых рядах задерживались на пороге черного зала, не решаясь войти, – теперь исполненный решимости если не положить конец фарсу, не дожидаясь финальной сцены, то хотя бы ускорить развязку.

Едва вступив в темное помещение вместе с двадцатью или тридцатью мужчинами, которые тоже на несколько мгновений задержались на пороге (глаза привыкали к темноте не сразу, а покрытый сажей лед производил жуткое впечатление разверстой под ногами бездны), Крозье почувствовал, как волна холодного воздуха ударила в лицо, – словно кто-то открыл дверь в ледяной стене айсберга, возвышавшегося над парусиновым лабиринтом. Даже здесь ряженные продолжали петь, но по-настоящему мощный рев доносился из фиолетового зала, где волновалась и напирала вперед охваченная нетерпением толпа.

Правь, Британия, морями.

Нам вовек не быть рабами!

Крозье едва различал белое пятно медвежьей головы, выступающей из ледяной стены над эбеновыми часами – они уже пробили шестой удар, прозвучавший до жути громко в зловещей тьме, – и высокую белую фигуру чудовищного медведя, сильно раскачивавшуюся из стороны в сторону: Мэнсон и Хикки явно с трудом удерживали равновесие в морозном мраке, где парусиновая стена ходила ходуном и яростно хлопала на ветру.

Потом Крозье увидел, что в помещении находится вторая огромная белая фигура. Она тоже стояла на задних лапах. Но в самой глубине зала, дальше, чем смутно белеющее во мгле чудовище Мэнсона и Хикки. И она была гораздо крупнее. И гораздо выше.

Когда часы отбивали последние четыре удара, в помещении раздался протяжный рев.

Свободу увенчает муза,
Ступив ногой в зеленый дол.
Благословение союза
Мы укрепим своим трудом.

Мужчины в черном зале уже перестали петь и теперь в панике проталкивались назад, встречая сопротивление напиральной толпы.

– Что происходит? – спросил доктор Макдональд.

В тусклом фиолетовом свете, падавшем из-за поворота парусинового лабиринта, Крозье узнал четырех врачей – одинаково наряженных арлекинами, но сейчас со спущенными масками.

Люди в черном зале завопили. Снова раздался жуткий рев, подобного которому Френсис Родон Мойра Крозье не слышал никогда в жизни и который казался бы более уместным в непроходимых доисторических джунглях, нежели в Арктике девятнадцатого века. Рев был таким низким, таким раскатистым и таким яростным, что капитану «Террора» захотелось напустить в штаны прямо здесь, на стоградусном морозе.

Более крупная из двух белых фигур бросилась вперед.

Ряженные истошно заорали, безуспешно попытались пробиться сквозь наседающую толпу любопытных, а потом стали разбегаться в темноте направо и налево, наталкиваясь на черные парусиновые стены.

Крозье, безоружный, стоял на месте. Он почувствовал, как громадное

существо проносится мимо в темноте. В нос ударил тяжелый запах несвежей крови... гнилой смрад мертвечины.

Принцессы и феи лихорадочно сбрасывали в темноте маскарадные костюмы и зимние шинели, кидались на парусиновые стены, пытались достать ножи, спрятанные под многочисленными куртками и свитерами.

Крозье услышал тошнотворный смачный шлепок, когда огромные руки, или когтистые лапы, обрушились на одного из ряженных. Раздался хруст, когда зубы длиннее человеческого пальца разгрызли череп или перекусили кость.

Правь, Британия, морями.
Нам вовек не быть рабами!

Эбеновые часы пробили в последний, двенадцатый раз. Наступил новый, 1848 год.

Мужчины наконец пропороли ножами черные стены, и взметенную ветром парусину мгновенно отнесло к пылающим факелам и жаровням на льду. Языки пламени взвились высоко вверх, и снасти такелажа почти сразу занялись огнем.

Белое чудовище уже находилось в фиолетовом зале – люди орали дурными голосами, разбегались в разные стороны, истерически выкрикивали проклятия, толкались, налетали друг на друга, некоторые уже распарывали ножами парусиновые стены, чтобы не бежать по длинному лабиринту к выходу, – и Крозье расталкивал всех на своем пути, спеша поскорее унести отсюда ноги. Теперь уже полыхали обе стены черного зала. Раздался дикий вопль, и мимо Крозье пронесся арлекин, чьи одежды, «уэльский парик» и волосы горели сзади.

К тому времени, когда Крозье выбрался из обезумевшей толпы ряженных, стены фиолетового зала уже тоже занялись огнем, а существо перешло в белый отсек. Капитан слышал пронзительные крики десятков мужчин; пестрая волна людей, частично сбросивших маскарадные костюмы, катилась по лабиринту впереди жуткого призрака. Паутина искусно натянутых тросов, посредством которой полотнища парусины и вертикальные брусья каркаса крепились к громадному айсбергу, теперь тоже горела; языки пламени чертили рунические письмена на фоне ревающего черного неба. Стофутовая ледяная гора отражала сцену пожара и кровавой бойни мириадами своих граней.

Сами брусья, торчащие подобием ребер вдоль пылающих стен

черного, фиолетового, а теперь и белого зала, тоже горели. За годы хранения на сухом воздухе арктической пустыни древесина потеряла всю влагу. Брусья вспыхивали, как лучина.

Крозье оставил всякую надежду взять ситуацию под контроль и бросился бежать, движимый единственным желанием выбраться из горящего лабиринта.

Белый зал был полностью охвачен огнем. Языки пламени взвивались над белыми стенами, расстеленными на льду парусиновыми коврами, задрапированными банкетными столами, бочками, стульями и металлической жаровней мистера Диггла. Кто-то в своем паническом бегстве опрокинул музыкальную шкатулку, и отблески огня плясали на каждом завитке искусно вырезанного узора, украшавшего сей инструмент из дуба и бронзы.

Крозье увидел стоявшего там Фицджереймса – единственного человека, не наряженного в маскарадный костюм и никуда не бегущего. Он схватил его за рукав:

– Давайте, Джеймс! Надо убираться отсюда!

Командир «Эребуса» медленно повернул голову и посмотрел на старшего по званию офицера так, словно видел его впервые. Он снова улыбался слабой рассеянной улыбкой, страшно действовавшей на нервы.

Крозье влепил ему пощечину:

– Пошевеливайтесь же!

Волоча за собой пребывающего в сомнамбулическом трансе Фицджереймса, Крозье пробежал через горящий белый зал, потом через следующий, стены которого теперь пламенели оранжевым скорее благодаря огню, нежели краске, а потом влетел в зеленый. Лабиринт казался бесконечным. Там и сям на льду лежали стонущие участники маскарада – некоторые в разодранных, растерзанных одеждах, один мужчина голый и обгорелый, – но другие моряки останавливались, чтобы помочь им встать, увлекали за собой к выходу. Лед под ногами – там, где не горели парусиновые ковры, – был усыпан клочьями маскарадных костюмов и зимних шинелей, в большинстве своем горящими или готовыми загореться.

– Пошевеливайтесь! – повторил Крозье, волоча за собой спотыкающегося Фицджереймса.

На льду лежал без чувств парень – молодой Джордж Чемберс с «Эребуса», служивший юнгой, несмотря на свой возраст, двадцать один год, и бывший в барабан во время первых похорон на льду, – и, похоже, никто не обращал на него внимания. Крозье отпустил Фицджереймса буквально на несколько секунд, чтобы поднять и взвалить на плечо

Чемберса, а потом снова схватил второго капитана за рукав и бросился бежать как раз в тот момент, когда языки пламени по обеим сторонам от них взметнулись к такелажу над головой.

Крозье услышал оглушительное шипение позади.

Решив, что чудовищное существо во всей этой суматохе оказалось у него за спиной, возможно, проламывается снизу сквозь толщу льда, Крозье резко повернулся кругом, готовый отбиваться от него единственным свободным кулаком.

Громадный айсберг шипел и потрескивал от жара. Тяжелые куски льда откалывались от него, с грохотом падали вниз и тоже громко шипели в гигантском огненном котле, который совсем недавно был парусиновым лабиринтом. При виде этого зрелища Крозье на миг застыл на месте, обмерев от восторга: бесчисленные грани ледяной горы, сверкающие отблесками пожара, порождали в воображении образ стоэтажного волшебного замка, залитого ослепительным светом. В тот момент он понимал, что никогда больше не увидит ничего подобного.

– Френсис, – пробормотал капитан Джеймс Фицджеральд, – надо убираться отсюда.

Стены зеленого зала уже рушились, но огонь лишь быстрее распространялся по льду. Стремительные языки пламени уже добежали до последних двух отсеков лабиринта.

Прикрыв лицо свободной рукой, Крозье бросился сквозь огонь, криками подгоняя последних участников маскарада, бегущих впереди.

Он промчался через горящий пурпурный зал. Ворвался в синий, тоже полыхающий вовсю. Северо-западный ветер теперь завывал на все лады, присоединяясь к истошным воплям мужчин, реву огня и шипению льда, и длинные языки пламени метались, бесновались на выходе из лабиринта, вставая на пути сплошной огненной стеной.

Группа из дюжины мужчин – некоторые все еще оставались в изодранных маскарадных костюмах – остановилась перед ней.

– ВПЕРЕД! – проревел Крозье самым своим грозным и повелительным голосом, подобным реву тайфуна.

Впередсмотрящий на салинге грот-мачты на высоте двухсот футов над палубой ясно услышал бы такую команду при ураганном ветре и сорокафутовых волнах, грохочущих вокруг. Мужчины вздрогнули, разом козырнули и бросились сквозь огонь; Крозье последовал за ними, по-прежнему таща Чемберса на правом плече, а левой рукой волоча за собой Фицджеральда, теперь бежавшего порезвее.

Оказавшись снаружи, в дымящемся, обжигающе горячем плаще,

Крозье продолжал бежать, встречая на пути некоторых из дюжин мужчин, разбегавшихся в ночи в разные стороны. Капитан не видел среди людей чудовищного существа, но толком разглядеть что-либо в такой неразберихе не представлялось возможным – даже при свете бушующего огня, озарявшего все в радиусе пятисот футов, – и он был главным образом занят тем, что кричал на своих офицеров и пытался найти место, куда положить по-прежнему находившегося в беспамятстве Джорджа Чемберса, когда наконец остановился.

Внезапно раздался частый треск мушкетных выстрелов.

Невероятно, уму непостижимо, возмутительно, но четыре морских пехотинца, растянувшиеся цепочкой сразу за границей освещенного пространства, встали на одно колено и открыли стрельбу по бегущим толпам охваченных паникой людей.

Отпустив Фицджереймса, Крозье бросился вперед, встал на линии огня и замахал руками. Мушкетные пули, выпущенные с последним залпом, просвистели у него над головой.

– ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ! ЧЕРТ ВАС ПОБЕРИ, СЕРЖАНТ ТОЗЕР, Я РАЗЖАЛЮЮ ВАС В РЯДОВЫЕ ЗА ЭТО – И ПОВЕШУ, КОЛИ ВЫ НЕ ПРЕКРАТИТЕ ЧЕРТОВУ ПАЛЬБУ НЕМЕДЛЕННО!!!

Стрельба прекратилась.

Морские пехотинцы подбежали к Крозье, Тозер или еще кто-то прокричал, что белое чудовище находилось там, среди людей. Они видели силуэт на фоне огня. Оно держало в зубах человека.

Крозье пропустил слова мимо ушей. Продолжая кричать и собирать матросов с обоих кораблей в группы вокруг себя, отсылая покалеченных или получивших сильные ожоги мужчин на «Эребус», капитан искал своих офицеров, офицеров Фицджереймса – кого-нибудь, кому он мог бы отдать приказ, который надлежало передать группам людей, в панике убегających через скопления сераков и торосные гряды в завывающую арктическую тьму.

Если они не вернутся, они там замерзнут до смерти. Или станут добычей жуткого зверя. Ни о каком возвращении на «Террор» не может идти и речи, покада они не отогреются в жилой палубе «Эребуса».

Но сначала Крозье должен успокоить своих людей, организовать и отправить вытаскивать раненых и тела погибших из горящих руин карнавального лабиринта.

Он нашел только помощника капитана с «Эребуса» и своего второго лейтенанта Ходжсона, но потом из клубов дыма и пара выступил лейтенант Литтл – лед вокруг бушующего огня растаял на несколько дюймов, и

теперь над замерзшим морем и лесом сераков висел густой туман, – неловко отдал честь обожженной рукой и доложил о своей готовности выполнять служебные обязанности.

С появлением Литтла Крозье стало легче призвать матросов к порядку, отправить всех к «Эребусу» и начать подсчитывать потери. Он приказал морским пехотинцам перезарядить мушкеты и встать заградительной цепью между толпой еле живых от усталости, боли и страха людей, собиравшихся у «Эребуса», и по-прежнему ревущим огненным адом.

– Боже мой, – проговорил доктор Гарри Д. С. Гудсир, который стоял рядом, стаскивая с себя зимний плащ и шинель. – Да здесь просто жарко от огня.

– Что верно, то верно, – сказал Крозье, чувствуя выступившую на лице и теле испарину. Температура воздуха вокруг горящего лабиринта поднялась градусов на сто пятьдесят^[13], если не больше. Он пролаял, обращаясь к Гудсиру: – Ступайте к лейтенанту Ходжсону и скажите, чтобы он выяснил, каков «счет от мясника», и сообщил вам цифры. Отыщите остальных врачей и устройте в кают-компании сэра Джона лазарет – такой, какой вас, врачей, учили устраивать в случае боевых действий на море. Я не хочу, чтобы мертвые оставались на льду, – эта тварь по-прежнему шатается где-то поблизости, – поэтому прикажите матросам отнести тела в форпик. Я проверю вас через сорок минут – приготовьте мне полный список погибших.

– Есть, капитан, – откликнулся Гудсир.

Схватив свою верхнюю одежду, врач бросился к «Эребусу» искать лейтенанта Ходжсона.

Парусина, такелаж, стойки каркаса, маскарадные костюмы, столы, бочонки и прочие предметы обстановки в пылающем аду, который совсем недавно был семицветным лабиринтом, продолжали гореть всю ночь и все следующее утро, до самого полудня.

*70°05' северной широты, 98°23' западной долготы
4 января 1848 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

Вторник, 4 января 1848 г.

В живых остался я один.

Я имею в виду, из врачей экспедиции. Все сходятся во мнении, что экспедиции невероятно повезло потерять всего только пять человек в ходе кошмарных событий и грандиозного пожара, случившихся при проведении Второго Большого Венецианского карнавала, но тот факт, что трое из пяти погибших являлись моими коллегами-медиками, представляется по меньшей мере экстраординарным.

Двое главных корабельных врачей, доктора Педди и Стенли, умерли от ожогов. Фельдшер с «Террора», доктор Макдональд, спасся из огня и избежал встречи с разъяренным чудовищем, но пал от мушкетной пули, едва успев выбежать из горящих палаток.

Двое других погибших тоже офицеры. Первый лейтенант Джеймс Фейрхольм с «Эребуса» скончался в черном зале, от раздробившего грудную клетку удара, предположительно нанесенного зверем. Хотя тело лейтенанта Фейрхольма, найденное в руинах парусинового лабиринта, сильно обгорело, вскрытие трупа показало, что он умер мгновенно, когда осколки сломанных ребер проткнули сердце.

Последней жертвой новогоднего пожара и хаоса стал старший помощник капитана Фредерик Джон Хорнби, растерзанный зверем в так называемом белом зале. Смерть мистера Хорнби видится мне в известной мере иронией судьбы, поскольку именно сей джентльмен почти весь вечер стоял вахту на борту «Террора» и был смнен на посту лейтенантом Ирвингом меньше чем за час до нападения кровожадного хищника.

Капитан Крозье и капитан Фицджереймс теперь остались без трех из своих четырех врачей, а равно без ценных советов и услуг двух самых своих верных офицеров.

Еще восемнадцать человек получили различные телесные повреждения – шестеро серьезные – во время кошмара карнавальной ночи. В число упомянутых шести входят: ледовый лоцман «Террора» мистер Блэнки; помощник плотника Уилсон, с того же корабля (люди ласково называют его Толстяк Уилсон); матрос Джон Морфин, с которым я ходил на Кинг-Уильям несколько месяцев назад; вестовой старшего интенданта «Эребуса» мистер Уильям Фаулер; матрос Томас Уорк, тоже с «Эребуса», и боцман «Террора» мистер Джон Лейн. Я имею удовольствие доложить, что все они будут жить. (Хотя еще одна насмешка судьбы видится в том, что мистер Блэнки, всего только месяц без малого назад получивший менее тяжелые травмы при встрече с тем же самым существом – травмы, к заживлению которых приложили свои усилия и профессиональные знания все четверо судовых врачей, – не пострадал от огня в ходе пожара, но снова получил серьезное увечье правой ноги – от когтей или зубов обитающего во льдах зверя, полагает он, хотя и признает, что в момент нападения выбирался из горящих палаток и ничего толком не видел, – и на сей раз мне пришлось ампутировать ему правую ногу по колено. Мистер Блэнки сохраняет на удивление бодрое расположение духа для человека, столь сильно пострадавшего за столь краткий срок.)

Вчера, в понедельник, все оставшиеся в живых участники экспедиции явились свидетелями порки. Я впервые присутствовал при данном телесном наказании, принятом во флоте, и молю Бога, чтобы мне никогда впредь не довелось увидеть ничего подобного.

Капитан Крозье – который кипел неопишуемым гневом со времени пожара, случившегося в пятницу ночью, – собрал всех оставшихся в живых членов экипажей обоих кораблей в жилой палубе «Эребуса» вчера в десять часов утра. Морские пехотинцы выстроились в шеренгу. Били барабаны.

Кают-компанейский вестовой «Эребуса» мистер Ричард Эйлмор и помощник конопатчика с «Террора» Корнелиус Хикки, а равно поистине огромный матрос по имени Магнус Мэнсон были выведены – в одних штанах и нижних рубашках, с непокрытыми головами – к месту перед главной плитой, где была вертикально установлена деревянная крышка люка, представляющая собой квадратную раму из перекрещивающихся брусьев. Одного за другим, начиная с мистера Эйлмора, всех троих привязывали к ней.

Но предварительно, когда мужчины стояли там – Эйлмор и Мэнсон с опущенной головой, а Хикки с вызывающе вскинутой, – капитан Крозье зачитал обвинения.

Эйлмор приговаривался к пятидесяти плетям за нарушение

субординации и безответственное поведение, подвергшее опасности команду своего корабля. Если бы тихий вестовой просто подал идею насчет разноцветных палаток – идею, по его признанию, почерпнутую из какого-то фантастического рассказа, напечатанного в американском журнале, – наказание было бы неизбежным, но не столь суровым. Но, выступив в роли главного идейного вдохновителя Большого Венецианского карнавала, Эйлмор вдобавок совершил непростительную ошибку, нарядившись обезглавленным адмиралом, – в высшей степени возмутительная выходка, если учесть обстоятельства гибели сэра Джона; за такое, как мы все понимали, Эйлмора вполне могли и повесить. Все мы слышали рассказы о свидетельских показаниях Эйлмора, данных двум капитанам в ходе закрытого допроса, в которых он описывал, как закричал, а потом лишился чувств в черном зале, когда понял, что обитающее во льдах существо находится там в темноте вместе с участниками рождественской пантомимы. Что подумало существо (если, конечно, оно обладает мыслительной способностью, как человек), снова увидев голову адмирала, на сей раз картонную, катящуюся по льду?

Мэнсон и Хикки приговаривались к пятидесяти плетям за то, что сшили костюм из медвежьих шкур и нарядились в него – в нарушение всех запретов, ранее наложенных капитаном Крозье на подобные языческие фетиши.

Все понимали, что в составлении плана мероприятия, покраске парусины и возведении декораций Большого карнавала участвовали еще пятьдесят с лишним человек и что Крозье мог бы приговорить каждого из них к равному количеству плетей. В известном смысле сия скорбная троица – Эйлмор, Мэнсон и Хикки – принимала наказание за неблагоразумие всей команды.

Когда барабанный бой прекратился и означенные трое мужчин выстроились в ряд перед собравшимися членами обеих команд, капитан Крозье заговорил. Надеюсь, я точно воспроизведу его слова ниже.

– Эти люди подвергнутся порке за нарушение корабельного устава и безрассудство, в котором принимали участие все до единого присутствующие здесь, – сказал он. – Включая меня самого... Пусть все собравшиеся здесь знают и помнят, – продолжал капитан Крозье, – что в конечном счете ответственность за безрассудство, в результате которого пятеро наших товарищей погибли, один лишился ноги, а почти двадцать навсегда останутся обезображенными шрамами и рубцами, лежит на мне. Капитан несет ответственность за все, что происходит на корабле. Начальник экспедиции несет двойную ответственность. Допустив

осуществление данных планов, без должного к ним внимания и без вмешательства в происходящее, я стал повинен в преступной халатности и готов признать свою вину перед судом, который неизбежно состоится, – я имею в виду, в случае, если мы останемся в живых и вырвемся из ледового плена. Эти пятьдесят плетей – и больше – должны были бы достаться мне, и достанутся, когда мне придется принять неизбежное наказание, определенное моим начальством.

Тут я посмотрел на капитана Фицджереймса. Безусловно, любое самообвинение капитана Крозье относилось также и к командиру «Эребуса», поскольку именно он, а не Крозье наблюдал за основными работами по подготовке к карнавалу. Лицо Фицджереймса было бесстрастным и бледным. Взгляд казался рассеянным. Он имел отсутствующий вид человека, занятого своими мыслями.

– Пока же не наступил мой час расплаты, – в заключение сказал Крозье, – мы подвергнем наказанию этих людей, должным образом допрошенных офицерами «Эребуса» и «Террора» и признанных виновными в нарушении корабельного устава, а также в безответственном поведении, подвергшем опасности жизни их товарищей. Боцманмат Джонсон...

Здесь дородный Томас Джонсон, толковый боцманмат «Террора» и старый товарищ капитана Крозье, пять лет служивший вместе с ним на «Терроре» в южных полярных льдах, выступил вперед и кивком головы велел привязать к решетке первого мужчину, Эйлмора.

Затем Джонсон поставил на бочку обтянутый кожей ящичек и расстегнул фигурные медные замочки на нем. Внутри оказалась обивка из красного бархата. В должного размера углублении в красном бархате покоились кожаная, потемневшая от долгого пользования рукоятка и сложенные в несколько раз хвосты кошки.

Пока два матроса крепко привязывали Эйлмора, боцманмат извлек орудие наказания и предварительно опробовал. То был не показной жест устрашения, но действительно подготовка к предстоящей отвратительной экзекуции. Девять кожаных хвостов кошки – о которых я слышал великое множество матросских шуток – мелькнули в воздухе с сухим, отчетливым и ужасным щелчком. На конце каждого хвоста был завязан маленький узелок.

Часть моего существа отказывалась верить в происходящее. Казалось невероятным, что здесь, в переполненной, провонявшей потом, полутемной жилой палубе с низким подволоком, под которым вдобавок хранились пиломатериалы и различное снаряжение, Джонсон сумеет нанести хоть

один сильный удар плеткой. Выражение «так тесно, что кошка не поместится» я знал с малых лет, но только сейчас понял его смысл.

– Приведите в исполнение приговор, вынесенный мистеру Эйлмору, – сказал капитан Крозье.

Барабаны пробили короткую дробь и умолкли.

Боцманмат Джонсон развернулся к Эйлмору боком и широко расставил ноги, как боксер на ринге, отвел кошку назад в опущенной вытянутой руке, а затем выбросил вперед резким, сильным, но плавным движением; кожаные хвосты с узелками на концах просвистели меньше чем в футе от передних рядов толпы.

Звук удара девяти хвостов кошки о тело я не смогу забыть до окончания своих дней.

Эйлмор испустил вопль – еще более нечеловеческий, чем жуткий рев, который я слышал в черном зале всего четыре дня назад.

На худой бледной спине мужчины мгновенно появились багровые полосы, и капельки крови забрызгали лица людей, стоявших в непосредственной близости от решетки, в том числе и мое.

– Один, – отсчитал Чарльз Фредерик Дево, который после гибели Роберта Орма Серджента в прошлом месяце вступил в должность старшего помощника капитана «Эребуса». Наблюдение за проведением данной экзекуции входило в обязанности обоих первых помощников.

Когда боцманмат отвел кошку назад для следующего удара, Эйлмор снова завопил – несомненно, от дикого ужаса при мысли об оставшихся сорока девяти плетях. Признаюсь, я пошатнулся... от давки в толпе давно не мытых тел, от запаха крови, от гнетущего ощущения замкнутого пространства в смрадном полумраке жилой палубы у меня закружилась голова. Это был сущий ад. И я находился в нем.

После девятого удара кают-компанейский вестовой потерял сознание. Капитан Крозье знаком велел мне проверить, дышит ли он. Он дышал. В обычных обстоятельствах, как я узнал позже, второй помощник вылил бы на осужденного ведро воды с целью привести в чувство, чтобы он претерпел всю меру физической муки. Но тем утром на нижней палубе «Эребуса» не было жидкой воды – вся вода замерзла. Даже капли крови на спине Эйлмора, казалось, застывали подобием ярко-красных дробин.

Эйлмор оставался в беспомощности, но экзекуция продолжалась.

После пятидесяти ударов Эйлмора отвязали от решетки и отнесли в бывшую каюту сэра Джона, которая по-прежнему использовалась под лазарет для пострадавших во время карнавала. На койках там лежали восемь человек, включая Дэвида Лейса, все еще не подававшего видимых

признаков жизни с момента нападения зверя на мистера Блэнки в начале декабря.

Я двинулся было к лазарету, чтобы позаботиться об Эйлморе, но капитан Крозье знаком велел мне оставаться на месте. Очевидно, правила требовали, чтобы все до единого члены команд присутствовали при порке всех осужденных, пусть даже Эйлмору суждено умереть от потери крови по причине моего отсутствия.

Следующим был Магнус Мэнсон. Вторые помощники, привязывавшие его к решетке, казались пигмеями рядом с этим великаном. Если бы он решил оказать сопротивление, я уверен, на жилой палубе началось бы столпотворение, подобное творившемуся в семицветном лабиринте в новогоднюю ночь.

Он не сопротивлялся. Насколько я мог судить, боцманмат Джонсон наносил Мэнсону бесконечные удары плеткой с точно такой же силой, как Эйлмору, – не большей и не меньшей. Кровь брызнула при первом же ударе. Мэнсон не закричал. Он сделал нечто гораздо худшее. Он заплакал, как малый ребенок. Заплакал навзрыд. Но по завершении экзекуции ушел в лазарет сам, в сопровождении двух матросов, хотя по обыкновению сильно горбился, чтобы не задевать головой бимсы. Когда он проходил мимо меня, я заметил кровавые лоскуты кожи и клочья мяса, свисающие с перекрестных рваных ран, оставленных кошкой у него на спине.

Хикки, самый тощий и малорослый из трех осужденных, не издал практически ни звука в ходе долгой порки. Девятихвостая плетвь рвала кожу и мясо на его узкой спине с большей легкостью, чем в случае с двумя предыдущими мужчинами, но он ни разу не вскрикнул. И не лишился чувств. Тщедушный помощник конопатчика, казалось, вперил яростный взгляд в некий незримый объект, находящийся над верхней палубой, и ни на миг не отвел от него горящих неприкрытой злобой глаз, выдавая свою боль лишь судорожным всхлипом после каждого из пятидесяти ударов.

Он ушел во временный лазарет в кормовом отсеке сам, не приняв помощи от двух своих сопровождающих.

Капитан Крозье объявил, что экзекуция была проведена в полном согласии с корабельным уставом, и распустил собравшихся. Даже не надев шинели, я ненадолго поднялся на верхнюю палубу, чтобы пронаблюдать за отбытием людей с «Террора». Они спустились по ледяному скату и двинулись в долгий путь к своему кораблю в темноте – мимо страшного черного пожарища на подтаявшем льду. Крозье и его старший офицер, лейтенант Литтл, замыкали шествие. Ни один из сорока с лишним мужчин не произнес ни слова к тому времени, когда все они скрылись во мраке за

пределами узкого пространства, освещенного фонарями «Эребуса». Восемь матросов остались в качестве своего рода дружеского конвоя, чтобы сопровождать Мэнсона и Хикки к «Террору», когда они оправятся после порки.

Я поспешно сошел вниз и направился в кормовой отсек, чтобы позаботиться о своих новых пациентах. Я ничего не мог сделать для них, кроме как промыть и перевязать раны, – кошка оставила ужасные глубокие рваные ссадины на спине каждого мужчины, но, думаю, шрамов после них не будет. Мэнсон перестал рыдать, и, когда Хикки резко приказал ему прекратить шмыгать носом, придурковатый верзила мгновенно подчинился. Хикки молча вытерпел болезненную процедуру обработки и перевязки ран и грубо велел Мэнсону одеться и следовать за ним.

Телесное наказание совершенно лишило мужества кают-компанейского вестового Эйлмора. По словам молодого Генри Ллойда, нынешнего моего помощника, тот безостановочно стонал и кричал в голос с той минуты, когда пришел в чувство. Он продолжал вопить все время, пока я промывал и перевязывал ему раны. Он по-прежнему громко стонал и не держался на ногах, когда несколько других мичманов – пожилой Джон Бридженс, офицерский вестовой, мистер Хор, капитанский вестовой, интендант мистер Белт и боцманмат Сэмюел Браун – явились, чтобы отвести его в каюту.

Я слышал стоны и вопли Эйлмора все время, пока его вели, то есть практически несли на руках, по коридору в крохотную каюту, расположенную по правому борту за главным трапом, между ныне пустующей каютой Уильяма Фаулера и моей собственной. Я понимал, что вопли Эйлмора, доносящиеся из-за тонкой переборки, вероятно, не дадут мне уснуть всю ночь.

– Мистер Эйлмор много читает, – сказал Уильям Фаулер со своей койки в лазарете.

Вестовой старшего интенданта получил сильные ожоги и серьезно пострадал от когтей зверя в карнавальную ночь, но за все четыре дня ни разу не вскрикнул от боли, когда я накладывал швы на раны или удалял лоскуты кожи. С ожогами и рваными ранами, равно на спине и животе, Фаулер пытался спать на боку, но ни разу не пожаловался Ллойд или мне.

– Читающие люди очень впечатлительны и чувствительны, – добавил Фаулер. – Если бы бедняга не прочитал тот дурацкий рассказ в американском журнале, он не предложил бы соорудить разноцветный лабиринт для карнавала – идея, приведшая всех нас в восторг поначалу, – и ничего этого не случилось бы.

Я не знал, что сказать на это.

– Может, начитанность – своего рода проклятие, вот и все, – заключил Фаулер. – Может, человеку лучше жить своим умом.

Мне захотелось сказать «аминь», непонятно почему.

Все описанные выше события произошли два дня назад. В данный момент я нахожусь в бывшей каюте доктора Педди, судового врача «Террора», поскольку капитан Крозье приказал мне три дня в неделю, со вторника по четверг включительно, проводить на его корабле, а остальные четыре дня на борту «Эребуса». За моими шестью идущими на поправку пациентами в лазарете «Эребуса» сейчас присматривает Ллойд, а я, к великому своему прискорбию, обнаружил почти такое же количество тяжелобольных людей здесь, на борту «Террора».

Многие из них поражены болезнью, которую мы, арктические врачи, поначалу называем ностальгией, а потом анемией. Первые серьезные стадии данного заболевания – помимо кровоточащих десен, путаницы мыслей, слабости в членах, появления синяков по всему телу, кровотечения из толстой кишки – зачастую характеризуются также безумной, жгучей тоской по дому. От ностальгии общая слабость, замедленность мыслительных процессов, болезненная рассеянность внимания, кровотечение из ануса, открытые язвы и прочие симптомы усугубляются, покуда пациент не утрачивает всякую способность ходить или работать.

Другое название ностальгии и анемии, которое все врачи не решаются произнести вслух и которое я пока еще не озвучил, – это цинга.

Между тем капитан Крозье вчера уединился в своей каюте и претерпевает ужасные муки. Я слышу его приглушенные стоны, поскольку каюты доктора Педди и капитана расположены рядом, в кормовой части судна по правому борту. Думаю, капитан Крозье грызет что-то твердое – вероятно, кожаный ремень, – чтобы сдержать стоны. Но Бог меня наградил (или наказал) отменным слухом.

Вчера капитан передал командование кораблем и управление всеми делами экспедиции лейтенанту Литтлу – таким образом тихо, но решительно назначив начальником Литтла, а не Фицджереймса – и объяснил мне, что он, капитан Крозье, борется с рецидивом малярии.

Это ложь.

Сдавленные стоны, которые сейчас доносятся до меня из-за переборки – и, вероятно, будут доноситься все время, пока я не отправлюсь обратно на «Эребус» завтра утром, – свидетельствуют не только о страданиях малярийного больного.

Благодаря своим дядьям и отцу я хорошо знаю демонов, с которыми

капитан борется сегодня ночью.

Капитан Крозье – человек, приверженный крепким спиртным напиткам, и сейчас либо запас означенных напитков иссяк, либо он решил своею волей избавиться от пагубной привычки во время своей болезни. Так или иначе, он претерпевает адовы муки и будет жестоко страдать еще много дней. Возможно, он повредится рассудком. Тем временем этот корабль и эта экспедиция остались без своего истинного командира и руководителя. Его приглушенные стоны – на корабле, пораженном тяжелым недугом и охваченном отчаянием, – просто разрывают сердце.

Мне бы очень хотелось помочь капитану. Мне бы очень хотелось помочь дюжинам других страдальцев – израненных, обожженных, больных, истощенных, погруженных в меланхолическое отчаяние – на борту этого умирающего корабля. Мне бы очень хотелось помочь самому себе, ибо у меня уже появились первые симптомы ностальгии и анемии.

Да поможет всем нам Бог.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

11 января 1848 г.

Этому не будет конца.

Боли не будет конца. Тошноте не будет конца. Ознобу не будет конца. Ужасу не будет конца.

Крозье корчится на своей койке под заледенелыми одеялами и хочет умереть.

В редкие периоды ясного сознания Крозье страшно жалеет о самом разумном поступке, который он совершил перед тем, как уединиться со своими демонами; он отдал свой пистолет лейтенанту Литтлу, без каких-либо объяснений, единственно лишь наказав Эдварду не возвращать оружия, покуда он, капитан, не потребует его обратно, находясь на верхней палубе и снова одетый по всей форме.

Сейчас Крозье заплатил бы любые деньги за свой заряженный пистолет. Эта боль невыносима. Эти мысли невыносимы.

Его бабушка со стороны рано умершего отца, Мойра, была парией, отверженной и неприкасаемой в семействе Крозье. В свои восемьдесят с лишним лет Мемо жила через две деревни от них – огромное, уму непостижимое непреодолимое расстояние, – и семья его матери никогда не приглашала ее на семейные праздники и никогда не упоминала вслух о ее существовании.

Она была католичкой. Она была ведьмой.

Крозье начал тайком от своей родни навещать ее в деревню – подъезжая на попутных телегах, запряженных малорослыми лошадами, – в возрасте десяти лет. Через год он уже ходил со старухой в католическую церковь. Его мать, тетя и бабушка по материнской линии умерли бы, когда бы узнали. Благопристойная ирландско-английская пресвитерианская ветвь семейства Крозье отреклась бы от него, изгнала бы из дома и стала бы презирать так, как военно-морское министерство и Арктический совет презирали Крозье все эти годы за то лишь, что он ирландец. И простолюдин.

Мойра считала внука не таким, как все. Она говорила, что он обладает даром ясновидения.

Эта мысль не пугала юного Френсиса Родона Мойру Крозье. Он любил таинственную атмосферу католического богослужения – когда высокий священник важно расхаживает, точно ворон, и произносит магические заклинания на мертвом языке; когда свершается мгновенное чудо евхаристии, возвращающее мертвых к жизни, и верующий, вкусив от плоти и крови Христовой, соединяется с Ним; когда сладко пахнет ладаном и звучат мистические песнопения. Однажды, в возрасте двенадцати лет, незадолго до своего побега из дома, он сказал Мойре, что хочет стать священником, и старуха рассмеялась обычным своим громким хриплым смехом и велела выбросить из головы эту чушь. «Быть священником – дело такое же заурядное и бесполезное, как быть ирландским пьяницей. Лучше используй свой дар, юный Френсис, – сказала она. – Используй дар ясновидения, который существовал в моем роду на протяжении многих десятков поколений. Я помогу тебе посетить места и увидеть вещи, каких еще никогда прежде не видел ни один человек на нашей скорбной земле».

Юный Френсис не верил в ясновидение. Примерно в то же время он понял, что не верит и в Бога тоже. Он ушел в море. Он верил во все, что узнал и увидел там, а порой он узнавал и видел вещи поистине странные.

Крозье качается на волнах тошноты, раз за разом низвергаясь в пучину боли. Он просыпается для того лишь, чтобы наблевать в ведро, которое Джопсон, его вестовой, оставил здесь и меняет каждый час. У него болит все, вплоть до поллой полости в самом центре его существа, где прежде, он уверен, обитала его душа, пока не уплыла прочь по морю виски, выпитого за десятки лет. Все эти кошмарные дни и ночи, обливаясь холодным потом на ледяных простынях, он знает, что отказался бы от своей матери, своих сестер, от отцовского имени и даже от самой Мойры за один-единственный стакан виски.

Корабль стонет под натиском льда, перед лицом неминуемой смерти. Крозье стонет под натиском демонов, перед лицом неминуемой смерти от дикой боли, лихорадочного озноба, тошноты и бесконечного сожаления. Он отрезал шестидюймовый кусок от старого ремня и грызет его в темноте, чтобы не стонать вслух. Но он все равно стонет.

Он живо все представляет себе. Он видит все.

Леди Джейн Франклин сейчас в своей стихии. Сейчас, когда уже три с лишним года от ее мужа нет никаких вестей, она в своей стихии. Неукротимая леди Франклин. Вдова леди Франклин, Не Желающая Быть Вдовой. Леди Франклин, Покровительница и Добрый Ангел Арктики, которая убила ее мужа... Леди Франклин, Которая Никогда Не Признает Подобного Факта.

Крозье видит ее так ясно, словно действительно обладает даром ясновидения. Леди Франклин никогда не выглядела прекраснее, чем сейчас, в своей решимости, в своем нежелании горевать, в своей уверенности, что муж жив и что экспедицию сэра Джона непременно найдут и спасут.

Прошло более трех с половиной лет. Командование флота знает, что сэр Джон взял на борт «Эребуса» и «Террора» продовольствия на три года и должен был объявиться в районе Аляски летом 1846-го и, уж конечно, не позднее августа 1847-го.

Леди Джейн наверняка уже заставила действовать инертное командование флота и сонный парламент. Крозье словно воочию видит, как она пишет письма в Адмиралтейство, письма в Арктический совет, письма своим друзьям и бывшим поклонникам, заседающим в парламенте, письма королеве и, разумеется, каждый день пишет письма своему покойному мужу, пишет своим безупречным твердым почерком и говорит покойному сэру Джону, что знает: ее любимый жив, и с нетерпением ожидает неизбежной встречи с ним; и Крозье словно воочию видит, как она рассказывает об этом всему свету. Она отправляет сэру Джону толстые пачки писем с первыми спасательными кораблями сейчас... с военными кораблями, конечно же, но также, вполне вероятно, и с частными судами, нанятыми либо на деньги из тающего состояния леди Джейн, либо на средства, пожертвованные по подписке обеспокоенными и богатыми друзьями.

Отвлекаясь от своих видений, Крозье пытается сесть на своей койке и улыбнуться. От озноба он трясется, точно брам-стенга во время бури. Он блюет в почти полное ведро. Потом падает обратно на мокрую от пота, провонявшую желчью подушку и закрывает глаза, чтобы снова погрузиться в мир своих видений.

Кого они пошлют на спасение «Эребуса» и «Террора»? Кого уже послали?

Крозье знает, что сэр Джон Росс будет рваться возглавить любую спасательную экспедицию, но леди Джейн проигнорирует старика – грубого и развязного, по ее мнению, – и выберет его племянника Джеймса Кларка Росса, с которым Крозье исследовал антарктические моря пять лет назад.

Младший Росс обещал своей молодой невесте навсегда покончить с морскими исследовательскими экспедициями, но Крозье знает, что он не сможет отказать в такой просьбе леди Джейн. Росс решит отправиться с двумя кораблями. Крозье видит, как они идут под парусом летом 1848 года. Крозье видит, как два корабля идут на север от Баффиновой Земли, на запад

через пролив Ланкастер, где «Террор» и «Эребус» под командованием сэра Джона проходили три года назад, – он почти различает названия на носу кораблей Росса, – но за проливом Принс-Риджент и, возможно, за островом Девон сэр Джеймс натолкнется на тот самый беспощадный паковый лед, что сейчас держит в плену корабль Крозье. Следующим летом проливы, по которым их провели ледовые лоцманы Рейд и Блэнки, не освободятся от льда полностью. Сэр Джеймс Кларк Росс так и не подойдет к «Террору» и «Эребусу» ближе чем на триста миль.

Крозье видит, как холодной ранней осенью 1848 года они поворачивают и возвращаются в Англию.

Он плачет, стонет и яростно грызет кусок кожаного ремня. Кости у него обращаются в лед. Плоть горит как в огне. Ледяные мурашки бегают по коже.

В этом, 1848 году от Рождества Христова на поиски отправятся и другие корабли, другие спасательные экспедиции – некоторые, скорее всего, одновременно с экспедицией Росса или раньше. Военно-морское министерство инертно и медлительно – эдакий морской ленивец, – но, однажды взявшись за дело, знает Крозье, оно имеет обыкновение усердствовать сверх всякой меры. Излишняя ретивость после бесконечной канители – обычная схема действий военно-морского министерства, знакомая Крозье уже четыре десятка лет.

Горячным мысленным взором Крозье видит по крайней мере еще одну спасательную экспедицию, отплывающую к Баффинову заливу нынешним летом 1848 года, и, скорее всего, даже третью эскадру, которая направляется к мысу Горн, чтобы, обогнув оный, предположительно встретиться с другими поисковыми экспедициями в районе Берингова пролива и продолжить поиски в восточной Арктике, на расстоянии тысячи миль от «Эребуса» и «Террора». Подобные масштабные операции продолжатся до 1849 года и дальше.

А сейчас только начало второй недели 1848 года, и Крозье сомневается, что его люди дотянут до лета.

Будет ли послана сухопутная экспедиция из Канады, чтобы пройти по реке Маккензи к арктическому побережью, а потом двинуться на восток к Земле Виктории в поисках пропавших кораблей, возможно севших на мель где-то на гипотетической линии Северо-Западного прохода? Крозье уверен, что будет. У такой сухопутной экспедиции нет ни единого шанса найти их здесь, в двадцати пяти милях к северо-западу от острова Кинг-Уильям. Такая экспедиция даже не будет знать, что остров Кинг-Уильям является островом.

Объявит ли первый лорд Адмиралтейства в палате общин награду за спасение сэра Джона и его людей? Вероятно, да. Но какую? Тысяча фунтов? Пять тысяч? Десять? Крозье зажмуривается и ясно видит – словно написанную на листе пергаментной бумаги у него перед глазами – сумму в двадцать тысяч фунтов, обещанную любому, кто «окажет действенную помощь в спасении жизни сэра Джона и его экспедиции».

Крозье снова смеется, и смех вызывает очередной приступ рвоты. Он трясется от холода, боли и сознания явной абсурдности своих видений. Корабль вокруг него скрипит и стонет под неумолимым натиском льда. Капитан уже не отличает стонов корабля от своих собственных.

Он видит восемь кораблей – шесть британских и два американских, – стоящих на расстоянии нескольких миль друг от друга в почти полностью замерзших естественных гаванях, похожих на бухты у острова Девон или, возможно, у острова Корнуоллис. По всем признакам дело происходит в конце арктического лета, вероятно в последних числах августа, за считанные дни до того, как ударят морозы и все они окажутся в ледовом плену. У Крозье такое чувство, будто данное видение относится к будущему, отделенному двумя или тремя годами от сиюминутной ужасной реальности 1848 года. Крозье хоть убей не понимает, зачем восемь спасательных кораблей собрались здесь в одном месте, вместо того чтобы рассыпаться по тысячам квадратных миль арктического моря в поисках следов пропавшей экспедиции Франклина. Это галлюцинация, порожденная токсическим психозом.

Суда самых разных размеров: от маленькой шхуны и суденышка величиной с яхту, слишком хрупкого для ледового плавания, до стосорокачетырехтонного и восьмидесятитонного американских кораблей незнакомого вида и равно незнакомого девяностотонного британского лоцманского судна, наспех оснащенного для плавания в арктических морях. Там находятся также несколько должным образом вооруженных британских военных кораблей, парусных и паровых. В своем воспаленном воображении Крозье видит названия судов: «Адванс» и «Рескью» – они под американским флагом, «Принц Альберт» – бывшее лоцманское судно, и «Леди Франклин» – корабль во главе стоящей на якоре британской эскадры. Еще два судна в сознании Крозье связываются со старым Джоном Россом: маленькая шхуна «Феликс» и абсолютно неуместная здесь крохотная яхта «Мери». И наконец, в эскадру входят два настоящих корабля британского военно-морского флота: «Ассистанс» и «Интрепид».

Словно с высоты полета арктической крачки, Крозье видит, что все восемь судов находятся в пределах сорока миль друг от друга: два

маломерных британских судна стоят у острова Гриффин, над проливом Барроу; оставшиеся четыре английских корабля – в заливе Ассистанс на южной оконечности острова Корнуоллис, а два американских корабля – дальше к северу, сразу за изгибом восточного побережья острова Корнуоллис, через пролив Веллингтон от места первой зимней стоянки сэра Джона у острова Бичи. Ни один из них не находится ближе чем в двухстах пятидесяти милях от затертых льдами «Эребуса» и «Террора» далеко на юго-западе.

Минутой позже туман или облако рассеивается, и Крозье видит шесть судов из восьми – американских и британских, – стоящих на якоре в четверти мили один от другого, сразу за изгибом береговой линии маленького острова.

Крозье видит людей, бегущих по покрытому льдом каменистому берегу под отвесной черной скалой. Люди возбуждены. Он почти слышит крики, разносящиеся в морозном воздухе.

Это остров Бичи, он уверен. Они нашли деревянные надгробья и могилы кочегара Джона Торрингтона, матроса Джона Хартнелла и рядового морской пехоты Уильяма Брейна.

К сколь бы близкому будущему ни относилось данное событие, пригрезившееся в бредовом забытии, знает Крозье, оно решительно ничем не поможет экипажам «Эребуса» и «Террора». Сэр Джон покинул остров Бичи в безрассудной спешке, пустившись в плавание под парусами в первый же день, когда лед ослабил свою хватку настолько, чтобы позволить кораблям покинуть место стоянки. После девяти месяцев зимовки экспедиция Франклина не удосужилась оставить хотя бы записки с сообщением, в каком направлении она движется.

Тогда Крозье понимал, что сэр Джон не считает нужным извещать Адмиралтейство о том, что берет курс на юг согласно полученному приказу. Сэр Джон всегда подчинялся приказам. Но факт оставался фактом: после девяти месяцев зимовки – соорудив на берегу надлежащую пирамиду из камней и даже пирамиду из наполненных галькой консервных банок Голднера – они ничего не положили в «почтовую» пирамиду. Ни самой краткой записки.

Адмиралтейство и Служба географических исследований снабдили экспедицию Франклина двумястами герметичными бронзовыми цилиндрами, чтобы они оставляли в них послания с сообщениями о своем местопребывании и направлении дальнейшего движения на протяжении всего пути своего следования в поисках Северо-Западного прохода, а сэр Джон использовал... ровным счетом один. Беспольный цилиндр,

отправленный на остров Кинг-Уильям в двадцати пяти милях к юго-востоку от места, где они находятся ныне, и спрятанный там за несколько дней до гибели сэра Джона.

На острове Бичи они не оставили ничего.

На острове Девон, который они обследовали на своем пути, – ничего.

На острове Гриффин, где они искали естественные гавани, – ничего.

На острове Корнуоллис, который они обошли кругом, – ничего.

На острове Сомерсет, на острове Принца Уэльского и на острове Виктория, вдоль которых они плыли на юг на протяжении всего лета 1846 года, – ничего.

И теперь, в видении Крозье, спасатели на шести кораблях, уже тоже готовых вмерзнуть в лед, обращают взоры на север, в сторону пролива Веллингтон, еще не полностью скованного льдом, и Северного полюса. На острове Бичи они не нашли никаких путеводных нитей. И с волшебной высоты птичьего полета Крозье видит, что пролив Пил на юге, по которому «Эребус» и «Террор» сумели пройти полтора года назад во время короткого летнего периода таяния льдов, сейчас, этим летом, покрыт сплошным белым панцирем, насколько хватает глаз.

Им даже не приходит в голову, что Франклин мог направиться на юг... что он мог выполнить приказ. Они намерены – в ближайшие годы, поскольку теперь сами затерты льдами в проливе Ланкастер, – продолжить поиски севернее. Дополнительный приказ, полученный сэром Джоном, предписывал – в случае, если он не сможет продолжить путь на юг и совершить переход по Северо-Западному проходу, – повернуть на север, пробиться через гипотетический ледяной пояс и выйти в еще более гипотетическое Открытое Полярное море.

В сердце своем, сокрушенном тоской, Крозье знает, что капитаны и команды на восьми спасательных кораблях все пришли к заключению, что Франклин двинулся на север, – хотя в действительности он поплыл в противоположном направлении.

Он просыпается ночью. Просыпается от собственных стонов. В каюте горит фонарь, но глаза не выносят света, поэтому он пытается понять, что происходит, по жгучей боли от прикосновений к телу и по режущим слух звукам. Двое мужчин – вестовой Джопсон и корабельный врач Гудсир – снимают с него грязную, мокрую от пота рубаху, обмывают его восхитительно теплой водой и осторожно надевают на него чистую рубаху и носки. Один из них пытается покормить его супом с ложки. Крозье выблевывает жидкое месиво, но содержимое полного до краев ведра обратилось в лед, и он смутно сознает, что двое мужчин вытирают пол. Они

заставляют его выпить воды, и он бессильно падает на холодные простыни. Один из них накрывает Крозье теплым одеялом – теплым, сухим, незаледеленным одеялом, – и ему хочется разрыдаться от счастья. Еще он хочет заговорить, но снова начинает погружаться в водоворот своих видений и не может найти и составить в фразы слова, а потом опять забывает все слова на свете.

Он видит черноволосого мальчика с зеленоватой кожей, свернувшегося калачиком у кирпичной стены цвета мочи. Крозье знает, что мальчик страдает эпилепсией и находится в какой-то психиатрической клинике, в каком-то сумасшедшем доме. «Этот мальчик – я».

Едва успев подумать так, Крозье понимает, что это не его страх. Это кошмар какого-то другого человека. Несколько мгновений он пребывал в чужом сознании.

София Крэкрофт входит в него. Крозье стонет, яростно грызя кожаный ремень.

Он видит ее голую и страстно прижимающуюся к нему в Утконовом пруду. Он видит ее отчужденную и холодную на каменной скамье в саду губернаторского дома. Он видит ее в голубом шелковом платье, стоящую и машущую рукой – не ему – на причале в Гринхайте майским днем, когда отплывали «Террор» и «Эребус». Теперь он видит ее такой, какой никогда не видел прежде, – будущую Софию, явленную в настоящем, гордую, скорбящую, втайне довольную возможностью скорбеть, полную новых сил и возрожденную к новой жизни в качестве верной помощницы, компаньонки своей тетки, леди Джейн Франклин. Она повсюду сопровождает леди Джейн – две неукротимые женщины, так назовет их пресса. София – почти так же, как тетка, – всегда внешне исполнена уверенности и надежды, пылка, женственна, эксцентрична и готова умолять весь свет о спасении сэра Джона Франклина. Она никогда не упомянет имени Френсиса Крозье, даже при закрытых дверях. Это, сразу понимает он, идеальная роль для Софии: смелая, властная, убежденная в своем праве просить и требовать, способная кокетничать десятилетиями при наличии идеального оправдания своему нежеланию связывать себя обязательствами или настоящей любовью. Она никогда не выйдет замуж. Она будет путешествовать по миру с леди Джейн, видит Крозье, публично никогда не отказываясь от надежды найти пропавшего сэра Джона, но и после утраты истинной надежды продолжая наслаждаться своим правом на помощь и сочувствие, властью и положением, которые обеспечивает ей вдовство тетки.

Крозье тужится, пытаясь вызвать рвоту, но желудок у него уже много

часов или дней пустой. Он сворачивается под одеялом клубочком и борется с мучительными спазмами.

Он находится в темной гостиной тесного, аляповато обставленного американского фермерского дома в Хайдсдейле, штат Нью-Йорк, милях в двадцати к западу от Рочестера. Крозье никогда не слышал ни о Хайдсдейле, ни о Рочестере в штате Нью-Йорк. Он знает, что дело происходит весной 1848 года, возможно, всего спустя несколько недель с настоящего момента. Сквозь узкую щель между задернутыми толстыми портьерами видны вспышки молний. Дом сотрясается от раскатов грома.

– Иди сюда, мама! – кричит одна из двух девочек, сидящих за столом. – Уверю, ты найдешь это занятным.

– Я найду это ужасным, – говорит мать, неряшливая женщина средних лет, лоб которой – от туго зачесанных назад седоватых волос до густых насупленных бровей – разделяет пополам постоянная вертикальная морщина. – Не возьму в толк, как вам удалось уговорить меня на такое.

Крозье может лишь удивляться безобразной невнятности американского произношения. Большинство американцев, с которыми он имел дело, были матросами флота Соединенных Штатов или китобоями.

– Скорее, мама!

Девочка, обращающаяся к матери столь повелительным тоном, это шестнадцатилетняя Маргарет Фокс. Она скромно одета и привлекательна на жеманный, глуповатый манер, как почти все немногие американки, с которыми Крозье доводилось встречаться в обществе. Вторая девочка за столом – это одиннадцатилетняя сестра Маргарет, Кэтрин. Младшая девочка, чье бледное лицо еле видно в мерцающем свете свечи, больше похожа на мать, вплоть до темных бровей, слишком туго зачесанных назад волос и уже наметившейся морщинки на лбу.

В щели между пыльными портьерами сверкает молния.

Мать и две девочки берутся за руки, взяв в кольцо круглый дубовый стол. Крозье замечает, что кружевная салфетка на столе пожелтела от времени. Все три закрывают глаза. Пламя единственной свечи трепещет при ударе грома.

– Есть тут кто? – спрашивает шестнадцатилетняя Маргарет.

Громкий удар. Не гром, но резкий стук, словно кто-то долбанул по столу деревянным молотком. Руки всех присутствующих покоятся на столе, на виду.

– О господи! – вскрикивает мать, явно готовая вскинуть руки и в страхе зажать рот.

Две дочери крепко держат ее, не давая разорвать круг. Стол

покачивается от их усилий.

– Сегодня вы – наш проводник? – спрашивает Маргарет.

Снова громкий СТУК.

– Вы пришли, чтобы причинить нам зло? – спрашивает Кэти.

Два СТУКА, даже громче предыдущих.

– Вот видишь, мама? – шепчет Мегги. Снова закрыв глаза, она спрашивает театральным шепотом: – Вы – тот самый добрый мистер Сплитфут, который общался с нами вчера ночью?

СТУК.

– Благодарим вас за то, что вчера вы убедили нас в реальности своего существования, мистер Сплитфут, – продолжает Мегги. Она говорит так, словно находится в трансе. – Благодарим вас за то, что рассказали маме подробности, касающиеся ее детей, назвали возраст каждого и упомянули про шестого ребенка, который умер. Вы ответите на наши вопросы сегодня?

СТУК.

– Где экспедиция Франклина? – спрашивает маленькая Кэти.

ТУК-ТУК-ТУК-тук-тук-тук-тук-ТУК-ТУК-тук-ТУК-ТУК... Стук продолжается с полминуты.

– Это и есть Спиритический Телеграф, о котором вы говорили? – шепчет мать.

Мегги шикает на нее. Стук прекращается. Крозье видит, словно проникая взглядом сквозь деревянную столешницу и шерстяную ткань юбок, что обе девочки обладают феноменальной подвижностью суставов и по очереди щелкают пальцами ног. Удивительно громкий звук для таких маленьких пальчиков.

– Мистер Сплитфут говорит, что сэр Джон Франклин, которого, как пишут в газетах, все ищут, пребывает в добром здравии и находится со своими людьми, которые тоже пребывают в добром здравии, но очень напуганы, на кораблях во льдах возле острова, расположенного в пяти днях плавания от места, где они зимовали в первый год путешествия, – нараспев говорит Мегги.

– Там, где они сейчас, очень темно, – добавляет Кэти.

Снова раздается частый стук.

– Сэр Джеймс просит свою жену Джейн не тревожиться за него, – переводит Мегги. – Он говорит, что скоро встретится с ней – на том свете, если не на этом.

– О господи! – снова восклицает миссис Фокс. – Мы должны позвать Мери Редфилд, и мистера Редфилда, и Лию, конечно, и мистера и миссис

Дьюслер, и миссис Хайд, и мистера и миссис Джуел...

– Тш-ш! – шипит Кэти.

ТУК-ТУК-ТУК, тук-тук-тук-тук-тук-тук, ТУК.

– Проводник не хочет, чтобы ты разговаривала, когда Он ведет нас, – шепчет Кэти.

Крозье стонет и грызет кусок кожаного ремня. Спазмы, начавшиеся в желудке, теперь превратились в мучительные конвульсии, сотрясающие все тело. Он то дрожит от холода, то сбрасывает одеяло, обливаясь потом.

Он видит мужчину, одетого по-эскимосски: меховая парка, меховые сапоги, меховой капюшон, как у леди Безмолвной. Но мужчина стоит на дощатой сцене перед рампой. На заднике за ним нарисованы лед, айсберги, зимнее небо. Сцена усыпана фальшивым белым снегом. На ней лежат четыре распаренные собаки с высунутыми языками, похожие на лаек гренландских эскимосов.

Бородатый мужчина в толстой парке говорит со своего испещренного белыми крапинками помоста: «Сегодня я обращаюсь к вашей человечности, а не к вашим кошелькам. – Американский акцент мужчины режет Крозье слух так же немилосердно, как акцент девочек. – И я ездил в Англию, чтобы поговорить с самой леди Франклин. Она пожелала удачи нашей следующей экспедиции – которая, разумеется, состоится только в том случае, если мы соберем необходимую для ее снаряжения сумму денег здесь, в Филадельфии, и в Нью-Йорке, и в Бостоне, – и говорит, что сыны Америки окажут ей великую честь, коли вернут домой ее мужа. И потому сегодня я взываю к вашей щедрости, но только во имя человечности. Я обращаюсь к вам от имени леди Франклин, от имени ее пропавшего мужа – и в твердой надежде принести славу Соединенным Штатам Америки...»

Крозье снова видит мужчину. Бородатый парень уже снял парку и лежит голый в постели в нью-йоркском отеле «Юнион» с очень молодой голый женщиной. Ночь сегодня жаркая, и они отбросили одеяла в сторону. Упряжных собак нигде не видеть.

– При всех своих недостатках, – говорит мужчина тихим голосом, поскольку окно открыто в нью-йоркскую ночь, – я, по крайней мере, любил тебя. Будь ты императрицей, дорогая Мегги, а не маленькой, никому не известной девочкой, занимающейся темным и сомнительным ремеслом, было бы то же самое...

Крозье осознает, что молодая обнаженная женщина – это Мегги Фокс, только несколькими годами старше. Она по-прежнему привлекательна на жеманный американский манер.

Мегги говорит голосом гораздо более звучным и глубоким, чем

девчоночий повелительный голос, недавно слышанный Крозье:

– Доктор Кейн, вы знаете, я люблю вас...

Мужчина трясет головой. Он взял трубку с ночного столика и теперь вытаскивает руку из-под головы девушки, чтобы набить трубку табаком и раскурить.

– Мегги, дорогая, я слышу эти слова, слетающие с твоих маленьких лживых уст, и рад бы поверить им. Но тебе не подняться выше своего положения, дорогая. У тебя есть много достоинств, ставящих тебя выше твоего ремесла, Мегги... ты изящна, привлекательна и при другом воспитании была бы невинной и бесхитростной. Но ты недостойна моего постоянного внимания, мисс Фокс.

– Недостойна... – повторяет Мегги.

– У меня другие цели в жизни, дитя мое, – говорит доктор Кейн. – Не забывай, у меня есть свои амбиции, как у тебя и твоих жалких сестер и матери есть свои. Я также предан своему делу, как ты, бедное дитя, предана своему – если, конечно, подобные дурацкие представления с вызыванием духов можно назвать делом. Просто помни, что доктор Кейн, исследователь арктических морей, любил Мегги Фокс, устроительницу спиритических сеансов.

Крозье просыпается в темноте. Он не знает, где он находится и в каком времени. В каюте темно. Похоже, весь корабль погружен во тьму. Шпангоуты стонут – или то эхо его собственных стонов, испущенных за последние часы и дни? Очень холодно. Теплое одеяло, которым, он смутно помнит, его накрыли Джопсон и Гудсир, теперь такое же влажное и ледяное, как простыни. Лед сдавливает корабль. Корабль продолжает стонать в ответ.

Крозье пытается встать, но он слишком слаб и истощен, чтобы пошевелиться. Он едва в состоянии двигать руками. Боль и видения накатывают на него мощной волной.

Лица людей, которых он знал, или встречал, или видел в Службе географических исследований.

Вот Роберт Макклур, один из самых коварных и честолубивых людей, каких Френсис Крозье знал в жизни, – очередной ирландец, исполненный решимости добиться успеха в английском обществе. Макклур находится на палубе корабля, затертого льдами. Повсюду вокруг ледяные и каменные стены, иные высотой шестьсот или семьсот футов. Крозье никогда прежде не видел ничего подобного.

Вот старый Джон Росс на корме маленького, похожего на яхту суденышка, которое держит курс на восток. Возвращается домой.

Вот Джеймс Кларк Росс – сейчас он старше, толще и угрюмее, чем прежде. Обледенелые снасти на бушприте сверкают в лучах восходящего солнца, когда корабль выходит из льдов в чистую воду. Он возвращается домой.

Вот Френсис Леопольд Макклинток – человек, невесть откуда знает Крозье, сначала участвовавший в поисках Франклина в составе экспедиции под командованием Джеймса Росса, а впоследствии снарядивший собственную экспедицию. Когда – впоследствии? Через сколько лет? В насколько отдаленном будущем?

Видения мелькают перед мысленным взором Крозье, словно картинки волшебного фонаря, но не дают ответов на вопросы.

Вот Макклинток идет по замерзшему морю с санным отрядом, двигаясь значительно быстрее, чем в прошлом ходили отряды лейтенанта Гора, или сэра Джона, или Крозье.

Вот Макклинток стоит у каменной пирамиды и читает записку, извлеченную из медного цилиндра. Крозье думает, не записка ли это, оставленная Гором на Кинг-Уильяме семь месяцев назад. Покрытый льдом каменистый берег и серое небо за Макклинтоком выглядят всё так же.

Потом вдруг Макклинток стоит один на каменистом берегу; оставший на несколько сотен ярдов санный отряд, едва различимый в метельной мгле, приближается к нему. Макклинток видит перед собой ужасное зрелище: большую лодку, крепко привязанную к огромным саням из дуба и железа.

Такие сани мог бы изготовить плотник Крозье, мистер Хани. Они явно сооружались с расчетом на то, что прослужат целый век. Каждая деталь, каждый узел конструкции изобличает старание и тщание мастера. Сани тяжелые – весят не менее шестисот пятидесяти фунтов. На них покоится лодка весом еще в восемьсот фунтов.

Крозье узнает лодку. Это один из полубаркасов «Террора», длиной двадцать восемь футов. Он видит, что полубаркас оснащен для речного плавания. Паруса свернуты, связаны и одеты ледяным панцирем.

Взобравшись на высокий валун и заглянув в лодку, словно через плечо Макклинтока, Крозье видит два скелета. Два черепа скалят зубы Макклинтоку и Крозье. От одного скелета осталась лишь россыпь явно изгрызенных и обглоданных костей в носовой части лодки. Кости занесены снегом.

Второй скелет сохранился в целости и все еще одет в лохмотья, похожие на офицерскую шинель и прочие теплые поддевки. На черепе у него остатки фуражки. Этот труп полусидит на кормовой банке, вытянув

костяные руки к двум заряженным дробовикам, прислоненным к планширю. У обутых в башмаки ног трупа лежат стопки свернутых шерстяных одеял и парусины, а также частично занесенный снегом джутовый мешок, наполненный патронами. На дне шлюпки, между башмаками мертвеца – словно пиратские трофеи, подлежащие пересчету и восхищенному созерцанию, – лежат пять золотых хронометров и что-то похожее на куски шоколада, завернутые в ткань каждый по отдельности, общим весом тридцать или сорок фунтов. Поблизости валяются также двадцать шесть серебряных столовых приборов; Крозье видит – и знает, что Макклинток тоже видит, – личные знаки сэра Джона, капитана Фицджереймса, шести других офицеров и самого Крозье на различных ножах, ложках и вилках. Он видит блюда и два серебряных подноса с такими же гравировками, торчащие из льда и снега.

Все двадцать пять футов дна полубаркаса, разделяющие два скелета, завалены разнообразными предметами, торчащими из-под слоя наметенного снега толщиной в несколько дюймов: два рулона листового железа, парусиновый лодочный чехол, восемь пар башмаков, две пилы, четыре напильника, куча гвоздей и два ножа рядом с мешком патронов, стоящим у ног скелета на корме.

Крозье видит также весла, свернутые паруса и мотки бечевки возле одетого скелета. Ближе к кучке обглоданных костей на носу лежат стопка полотенец, куски мыла, несколько расчесок и зубная щетка, пара тапочек ручной работы (всего в нескольких дюймах от рассыпавшихся костей плюсны и пальцев), а также шесть книг – шесть Библий и «Векфилдский священник», который сейчас стоит на полке в кают-компании «Террора».

Крозье хочет закрыть глаза, но не может. Он хочет прогнать это видение – все эти видения, – но не властен над ними.

Внезапно смутно знакомое лицо Френсиса Леопольда Макклинтока расплывается, а потом вновь обретает четкость очертаний, превращаясь в лицо более молодого человека, которого Крозье видит впервые. Все вокруг остается прежним. Молодой человек – некий лейтенант Уильям Хобсон, теперь знает Крозье непонятно откуда, – стоит на том же самом месте, где стоял Макклинток, и смотрит в шлюпку с тем же самым болезненно-недоверчивым выражением, какое Крозье минуту назад видел на лице Макклинтока.

А потом начинается самый ужасный кошмар из всех.

Незнакомец – эта помесь Макклинтока и некоего Хобсона – теперь смотрит не в шлюпку с двумя скелетами в ней, а прямо на юного Френсиса Родона Мойру Крозье, втайне от семьи пришедшего на католическую мессу

со своей бабкой-ведьмой Мойрой.

Одним из самых больших секретов в жизни Крозье был этот поступок: он не только явился на запретное богослужение с Мойрой, но и принял участие в обряде католической евхаристии, в презренном и запретном приобщении Святых Тайн.

Но фигура Макклинтока – Хобсона стоит там, точно прислуживающий в алтаре мальчик, когда Крозье – то ребенок, то испуганный мужчина пятидесяти с лишним лет – приближается к алтарной ограде, опускается на колени, запрокидывает голову, открывает рот и высовывает язык, готовясь принять запретную облатку, вкусить от плоти и крови Христовой, – символический каннибализм, с точки зрения семьи Крозье и всех прочих взрослых жителей деревни.

Но происходит что-то странное. С нависающего над ним седовласого священника в белых одеяниях капает вода на пол, на алтарную ограду и на самого Крозье. И священник слишком большой, даже в представлении ребенка, – огромный, мокрый, мускулистый, неуклюжий, он отбрасывает тень на коленопреклоненного причастника. Он – не человек.

И Крозье, голый, стоит на коленях, запрокидывает голову, закрывает глаза и высовывает язык для святого причастия.

В руке у священника, нависающего над ним, нет облатки. У него вообще нет рук. Мокрый призрак перегибается через алтарную ограду, склоняется низко над ним и открывает собственную нечеловеческую пасть, словно сам Крозье и есть облатка, которую надо проглотить.

– Господи Иисусе, Всемогуций Боже, – шепчет фигура Макклинтока – Хобсона.

– Господи Иисусе, Всемогуций Боже, – шепчет капитан Френсис Крозье.

– Он очнулся, – говорит доктор Гудсир мистеру Джопсону.

Крозье стонет.

– Сэр, вы можете сесть? – спрашивает врач. – Вы можете открыть глаза и сесть? Вот и молодец.

– Какое сегодня число? – хрипит Крозье.

Тусклый свет, проникающий в открытую дверь, и еще более тусклый свет масляного фонаря с прикрученным фитилем режет болезненно-чувствительные глаза, точно ослепительные лучи солнца.

– Сегодня вторник одиннадцатое января, капитан, – говорит вестовой. А мгновение спустя добавляет: – Год тысяча восемьсот сорок восьмой от Рождества Христова.

– Вы были очень больны целую неделю, – говорит врач. – Несколько

раз я думал, что вы умерли.

Гудсир дает Крозье глотнуть воды.

– Мне снились сны, – с трудом выговаривает Крозье, выпив немного ледяной воды.

Он чувствует собственный смрадный запах, пропитавший скомканные заледенелые простыни и одеяла.

– Последние несколько часов вы очень громко стонали, – говорит Гудсир. – Вы помните какие-нибудь сны?

Крозье помнит лишь ощущение летучей невесомости снов, но одновременно ощущение тяжеловесности своих видений, уже улетевших прочь, словно клочья тумана, гонимые сильным ветром.

– Нет, – говорит он. – Мистер Джопсон, будьте любезны принести мне горячей воды, чтобы помыться. И можете помочь мне побриться. Доктор Гудсир...

– Да, капитан?

– Будьте добры сообщить мистеру Дигглу, что капитан желает очень плотно позавтракать сегодня утром...

– Сейчас шесть склянок вечера, капитан, – говорит врач.

– Не важно. Я хочу плотно позавтракать. Галеты. Картофель. Кофе. Свинина или что-нибудь вроде... бекон, если таковой имеется.

– Слушаюсь, сэр.

– И еще, доктор Гудсир, – говорит Крозье врачу, уже двинувшемуся к двери. – Будьте добры также попросить лейтенанта Литтла явиться ко мне с докладом о происшествиях, случившихся за неделю моего отсутствия, а также попросите его принести... э-э-э... принадлежащую мне вещь.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

29 января 1848 г.

Гарри Пеглар устроил все таким образом, чтобы получить приказ отправиться с донесением на «Эребус» в день, когда вернулось солнце. Он хотел отметить это событие – насколько в настоящее время вообще можно отмечать какие-либо события – с некогда любимым человеком.

Старший унтер-офицер Гарри Пеглар был фор-марсовым старшиной на «Терроре», избранным начальником над тщательно отобранными мачтовыми матросами, которые управляют верхним бегучим такелажем и парусами при свете дня и во мраке ночи, а равно во время самого страшного ненастья и самых жестоких штормов, какие небо может послать кораблю. Подобная должность требовала силы, опыта, авторитета и, самое главное, смелости – и Гарри Пеглара уважали за все перечисленные качества. В свой сорок один год без малого он сотни раз проявлял себя самым достойным образом не только перед командой «Террора», но и на десятках других кораблей, на которых успел послужить в прошлом.

Не приходилось особенно удивляться тому, что Гарри Пеглар оставался неграмотным до двадцати пяти лет, в каковом возрасте носил звание гардемарина. В грамотного человека Пеглара превратил простой офицерский вестовой на исследовательском барке «Бигль» – чтение стало тайным пристрастием Гарри, и за время этого путешествия он уже проглотил более половины из тысячи томов из библиотеки в кают-компании «Террора», – и тот же вестовой десять с лишним лет назад заставил Гарри Пеглара задуматься над вопросом, что значит быть человеком.

Этим вестовым был Джон Бридженс. Он являлся самым старым членом экспедиции, много старше остальных. Когда они отплыли из Англии, среди матросов на «Эребусе» и «Терроре» имела хождение шутка, что Джон Бридженс одного возраста с пожилым сэром Джоном, но в двадцать раз мудрее. Гарри Пеглар, со своей стороны, знал, что так оно и есть.

Пожилые люди, носящие звание ниже капитанского или адмиральского, редко допускались к участию в экспедициях Службы

географических исследований, и потому обе команды изрядно позабавились, когда узнали, что в официальном списке личного состава возраст Джона Бридженса записан наоборот – причиной чему явилась либо рассеянность, либо чувство юмора начальника интендантской службы – и обозначен числом «26». Седовласому Бридженсу пришлось выслушать немало шуточек по поводу своего юного возраста и предполагаемой сексуальной доблести. Вестовой спокойно улыбался и ничего не отвечал.

Именно Гарри Пеглар отыскал Бридженса, в ту пору более молодого, на корабле «Бигль» во время пятилетней кругосветной научно-исследовательской экспедиции под руководством капитана Фицроя, продолжавшейся с декабря 1831 по октябрь 1836 года. Пеглар перешел с первоклассного стодвадцатипушечного линейного корабля «Принц-Регент» на скромный «Бигль» вслед за офицером, под командованием которого служил там, лейтенантом по имени Джон Лорт Стоукс. «Бигль» был всего лишь десятипушечным бригом, переоборудованным в исследовательский барк – едва ли корабль того рода, какой выбрал бы честолюбивый гардемарин вроде молодого Пеглара в обычных обстоятельствах, – но уже тогда Гарри интересовался научными изысканиями и географическими исследованиями, и путешествие на маленьком «Бигле» под командованием Фицроя стало для него познавательным и полезным во многих отношениях.

Бридженс тогда был восемью годами старше, чем Пеглар сейчас – без малого пятидесяти лет, – но уже слыл умнейшим и самым начитанным мичманом во флоте. Он также слыл содомитом, каковой факт совершенно не волновал двадцатипятилетнего Пеглара в то время. В британском военно-морском флоте было два типа содомитов: такие, которые искали удовлетворения только на берегу и никогда не предавались своему пороку в плавании, и такие, которые продолжали следовать своим наклонностям и в море, зачастую совращая юных мальчиков, служащих почти на всех кораблях военно-морского флота. Бридженс, как знали все на «Бигле» и во флоте, являлся представителем первого типа: мужчиной, который любил мужчин на берегу, но никогда не похвалялся этим и никогда не проявлял свои пристрастия в плавании. В отличие от помощника конопатчика на нынешнем корабле Пеглара, Бридженс не был педерастом. В обществе офицерского вестового мальчик в море находился в большей безопасности, чем в обществе викария в родной деревне.

Кроме того, Гарри Пеглар сожительствовал с Роуз Мюррей, когда уходил в плавание в 1831 году. Пусть и не связанные брачными узами (будучи католичкой, она отказывалась выходить за него замуж, пока он не обратится в католическую веру, чего Гарри не мог заставить себя сделать),

они жили душа в душу, когда Гарри возвращался на берег, хотя своей безграмотностью и полным отсутствием любознательности Роуз походила на молодого Пеглара, а не на человека, которым он станет впоследствии. Возможно, они поженились бы, если бы Роуз могла иметь детей, но она не могла – каковое обстоятельство полагала «Божьей карой». Роуз умерла, когда Пеглар находился в долгом плавании на «Бигле».

Но он также любил Джона Бридженса.

Еще до завершения пятилетнего путешествия исследовательского корабля «Бигль» Бридженс – поначалу принявший роль наставника с великой неохотой, но впоследствии уступивший пылкой настойчивости молодого гардемарина – научил Гарри читать и писать не только на английском, но также на греческом, латинском и немецком. Он преподавал ему основы философии, истории и естественной истории. Более того, Бридженс научил смышленного молодого человека думать.

Через два года после того плавания Пеглар разыскал старшего мужчину в Лондоне – в 1838 году Бридженс находился в долгом увольнении на берег вместе с большинством служащих флота – и попросил продолжить занятия с ним. К тому времени Пеглар уже был фор-марсовым старшиной на военном корабле «Вандерер».

Именно в те месяцы живого общения и дальнейших учебных занятий на берегу близкая дружба между двумя мужчинами переросла в отношения, больше напоминающие любовную связь. Неожиданный факт, что он оказался способен на такое, глубоко потряс Пеглара – поначалу удручил, но потом заставил пересмотреть все аспекты своей жизни, веры и самосознания. То, что он обнаружил, несколько смутило молодого человека, но, как ни странно, в сущности не изменило его представления о том, кто есть Гарри Пеглар. Еще сильнее потрясло его то обстоятельство, что именно он, а не старший мужчина стал инициатором физической близости.

Интимные отношения у них продолжались всего несколько месяцев и закончились по обоюдному желанию, а равно по причине долгих отлучек Пеглара, ходившего в море на «Вандерере» вплоть до 1844 года. Их дружба никак не пострадала. Пеглар начал писать длинные философские письма бывшему вестовому, причем писал все слова задом наперед, так что последняя буква последнего слова в каждом предложении оказывалась первой и прописной. Главным образом потому, что прежде неграмотный фор-марсовый старшина допускал чудовищные орфографические ошибки, Бридженс в одном из своих ответных посланий высказал мнение, что «ваш детский шифр, позаимствованный у Леонардо, разгадать практически

невозможно». Теперь Пеглар вел записи в своих дневниках тем же самым примитивным шифром.

Ни один из мужчин не сообщил другому, что обратился в Службу географических исследований с прошением об участии в экспедиции сэра Джона Франклина. Оба премного изумились, когда за несколько недель до отплытия увидели имена друг друга в официальном списке личного состава. Пеглар, уже более года не писавший Бридженсу, приехал из вулричских казарм на квартиру вестового в северном районе Лондона, чтобы спросить, не откажется ли он от участия в экспедиции. Бридженс же настаивал на том, что именно он должен изъять свое имя из списка. В конечном счете они сошлись во мнении, что ни одному из них не следует упускать возможность пережить столь увлекательное приключение, – безусловно, Бридженсу, в силу преклонного возраста, подобной возможности никогда больше не представится (начальник интендантской службы «Эребуса» Чарльз Гамильтон Осмер являлся старым другом Бридженса и уладил вопрос о его зачислении на службу с сэром Джоном и офицерами, причем дошел даже до того, что скрыл настоящий возраст вестового, написав «26» в официальных списках). Ни Пеглар, ни Бридженс не говорили этого вслух, но оба знали, что давнюю клятву старшего мужчины – никогда не следовать своим сексуальным склонностям в плавании – они соблюдают оба. Эта часть их жизни, знали они, навсегда осталась в прошлом.

Но в результате Пеглар почти не видел своего старого друга во время путешествия, и за три с половиной года они ни разу не оставались наедине.

Разумеется, было еще темно, когда Пеглар прибыл на «Эребус» около одиннадцати часов субботнего утра за два дня до конца января, но на юге – впервые за восемьдесят с лишним дней – наблюдалось едва заметное предрассветное свечение. Слабое это свечение нисколько не спасало от кусачего шестидесятипятиградусного мороза, и потому Пеглар не стал мешкать, заведя впереди фонари корабля.

Вид сложенных на льду мачт «Эребуса» расстроил бы любого мачтового, но удручил Гарри Пеглара тем сильнее, что именно он, вместе с фор-марсовым старшиной «Эребуса» Робертом Синклером, помогал руководить работами по оснащению обоих кораблей и укладке стеньг на хранение на бесконечно долгие зимы. Подобное зрелище неизменно производило отвратительное впечатление, и сейчас странное положение «Эребуса», стоявшего с опущенной кормой и вздернутым носом в окружении наступающего льда, нисколько его не скрашивало.

Пеглар, окликнутый часовым и приглашенный на борт, отнес послание капитана Крозье капитану Фицджереймсу, который сидел и курил трубку в офицерской столовой, поскольку в кают-компании по-прежнему размещался лазарет.

Капитаны начали использовать медные цилиндры для переправки друг другу письменных посланий – посыльным данное нововведение пришлось не по вкусу: холодный металл обжигал пальцы даже сквозь толстые перчатки, – и Фицджереймс приказал Пеглару открыть цилиндр, поскольку тот еще оставался слишком холодным, чтобы капитан мог до него дотронуться. Пеглар стоял в дверях офицерской столовой, пока Фицджереймс читал записку Крозье.

– Ответа не будет, мистер Пеглар, – сказал Фицджереймс.

Фор-марсовый старшина козырнул и поднялся обратно на палубу. Около дюжины человек вышли посмотреть на восход солнца, и еще столько же одевались внизу, чтобы присоединиться к ним. Пеглар заметил, что в лазарете в кают-компании лежит около дюжины больных – примерно столько же, сколько на «Терроре». На обоих кораблях начиналась цинга.

Пеглар увидел знакомую невысокую фигуру Джона Бридженса, стоявшего у фальшборта на корме. Он подошел и похлопал мужчину по плечу.

– А, явление Гарри в сумрачной ночи, – промолвил Бридженс, еще не повернувшись.

– В ночи недолгой, – сказал Пеглар, глядя в водянисто-голубые глаза пожилого мужчины. – Как вы узнали, что это я, Джон?

Лицо Бридженса не закрывал шарф, и Пеглар видел, что он улыбается.

– Слухи о гостях распространяются быстро на маленьком корабле, затертом льдами. Вам нужно спешно возвращаться на «Террор»?

– Нет. Капитан Фицджереймс не написал ответной записки.

– Не желаете прогуляться?

– С великим удовольствием, – сказал Пеглар.

Они спустились по ледяному откосу с правого борта и двинулись в сторону айсберга и высокой торосной гряды на юго-востоке, с которой открывался лучший вид на светящийся южный горизонт. Впервые за много месяцев «Эребус» освещался не сполохами, не огнем фонарей или факелов, а светом иного происхождения.

По пути к торосной гряде они миновали покрытый сажей и подтаявший участок льда на месте карнавального пожара. По приказу капитана Крозье там произвели основательную уборку в течение недели после несчастья, но дыры во льду, служившие гнездами для стоек каркаса,

а равно намертво вмерзшие в лед клочья парусины и обрывки снастей остались. Прямоугольник черного зала по-прежнему ясно вырисовывался, даже после многочисленных попыток удалить сажу со льда и нескольких снегопадов.

– Я читал того американского писателя, – сказал Бридженс.

– Американского писателя?

– Парень, из-за которого маленький Дик Эйлмор получил пятьдесят плетей за свои хитроумно установленные декорации к нашему прискорбному карнавалу. Станный тип по имени По, если мне не изменяет память. Очень меланхолические, болезненно-мрачные сочинения, местами просто патологически жуткие. В целом не особо хорошие, но очень американские в каком-то неопределимом смысле. Однако роковой рассказ, ставший причиной порки, мне не попадался.

Пеглар кивнул. Он споткнулся о какой-то предмет, занесенный снегом, и наклонился, чтобы выломать его из льда.

Это оказался медвежий череп, который висел над эбеновыми часами сэра Джона, погибшими при пожаре. Мясо, кожа и шерсть сгорели дотла, кость почернела от огня, глазницы зияли пустотой, но зубы по-прежнему оставались желтовато-белого цвета.

– О боже, думаю, мистеру По это понравилось бы, – сказал Бридженс.

Пеглар бросил череп обратно в снег. Вероятно, работавшие на пожарище люди не заметили его среди кусков льда, отколовшихся от айсберга. Они с Бридженсом прошли еще пятьдесят ярдов, направляясь к самой высокой торосной гряде в округе, и взобрались на нее. Пеглар то и дело подавал руку старшему мужчине, помогая карабкаться вверх.

Поднявшись на плоскую ледяную плиту на вершине гряды, Бридженс часто и тяжело дышал. Даже Пеглар, сильный и выносливый, как античные олимпийские атлеты, о которых он читал, слегка запыхался. Слишком много месяцев без настоящей физической нагрузки, подумал он.

Южный горизонт светился приглушенным тускло-желтым светом, и большинство звезд на той половине неба побледнели.

– Даже не верится, что оно возвращается, – сказал Пеглар.

Бридженс кивнул.

И внезапно оно показалось: край красно-золотого диска неуверенно выступил над темной грядой, которая походила на цепь холмов, но, по всей вероятности, являлась низкими облаками далеко на юге. Пеглар услышал, как несколько десятков мужчин на палубе «Эребуса» проорали троекратное «ура», и – поскольку звуки хорошо распространялись в очень холодном и совершенно недвижимом воздухе – услышал точно такой же, только

приглушенный расстоянием крик, донесшийся с «Террора», который едва виднелся почти в миле к востоку.

– Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос, – произнес Бридженс по-гречески.

Пеглар улыбнулся, слегка удивленный, что помнит фразу. Прошло уже несколько лет с тех пор, как он читал «Илиаду» или любое другое сочинение на греческом. Он хорошо помнил свой восторг, испытанный при первом знакомстве с этим языком и с героями Трои, когда «Бигль» стоял на якоре у Сант-Яго, вулканического острова в составе архипелага Зеленого Мыса, почти семнадцать лет назад.

Словно прочитав его мысли, Бридженс спросил:

– Вы помните мистера Дарвина?

– Молодого натуралиста? – сказал Пеглар. – Любимого собеседника капитана Фицроя? Конечно помню. Человек, с которым проводишь пять лет кряду на борту маленького барка, так или иначе оставляет впечатление, даже если он был джентльменом, а ты нет.

– И какое впечатление он произвел на вас, Гарри? – Бледно-голубые глаза Бридженса слезились, то ли от волнения при виде солнца, то ли просто от непривычного света, пусть и слабого. Красный диск, еще не успев полностью выйти из-за темной облачной гряды, снова начал опускаться.

– Мистер Дарвин-то? – Пеглар тоже щурился – не столько от восхитительного сияния солнца, сколько пытаясь получше вспомнить худого молодого натуралиста. – Я находил его человеком приятным и учтивым, как положено джентльмену. Полным энтузиазма. Конечно, он постоянно заставлял людей таскать и укладывать в ящики этих чертовых мертвых животных – в какой-то момент мне показалось, что одни только выюрки заполнят трюм до отказа, – но и сам не чурался грязной работы. Помните, как он помогал грести, когда мы буксировали старый «Бигль» вверх по реке? А в другой раз он спас лодку, подхваченную приливной волной. А однажды, когда рядом с нами плыли киты – неподалеку от побережья Чили, кажется, – я с удивлением обнаружил, что он самостоятельно забрался аж на салинг, чтобы рассмотреть их получше. Вниз он спускался уже с моей помощью, но прежде час с лишним наблюдал в бинокль за китами, стоя на салинге с развевающимися на ветру полами куртки.

Бридженс улыбнулся:

– Я почти ревновал, когда он дал вам почитать ту книгу. Что это было? Лайель?

– «Основы геологии», – сказал Пеглар. – Я ничего толком там не понял. Или, вернее, понял ровно столько, чтобы осознать, насколько опасна эта книга.

– Вы имеете в виду лайельское утверждение о возрасте вещей, – сказал Бридженс. – Совершенно нехристианскую идею, что все на планете меняется медленно, на протяжении огромных геологических периодов, а не стремительно, в силу каких-то грандиозных событий.

– Да, – сказал Пеглар. – Но мистер Дарвин был страстным сторонником этой идеи. Он производил впечатление человека, пережившего религиозное обращение.

– Полагаю, в известном смысле так оно и было, – сказал Бридженс. Теперь над грядой облаков виднелась только треть солнечного диска. – Я вспомнил мистера Дарвина, поскольку наши с ним общие друзья перед отплытием экспедиции сказали мне, что он пишет книгу.

– Он уже опубликовал несколько своих сочинений, – сказал Пеглар. – Помните, Джон, мы с вами обсуждали его новую книгу «Дневник изысканий по естественной истории и геологии стран, посещенных во время кругосветного плавания корабля „Бигль“», когда я пришел брать у вас уроки. Она была мне не по карману, но вы сказали, что читали ее. И кажется, мистер Дарвин опубликовал еще несколько томов, посвященных флоре и фауне, которые он исследовал во время плавания.

– «Зоологические результаты экспедиции на „Бигле“», – сказал Бридженс. – Да, это сочинение я тоже приобрел. Нет, я имел в виду, что он работал над гораздо более важной книгой, по словам моего дорогого друга мистера Бэббиджа.

– Чарльз Бэббидж? – спросил Пеглар. – Парень, который мастерит разные странные приборы, включая какую-то вычислительную машину?

– Он самый, – сказал Бридженс. – Чарльз говорит, что все последние годы мистер Дарвин работал над чрезвычайно интересным трудом, посвященным эволюции органических форм. Очевидно, в него включены сведения из области сравнительной анатомии, эмбриологии и палеонтологии – которые все представляли предмет повышенного интереса для нашего бывшего корабельного натуралиста, если вы помните. Но по тем или иным причинам мистер Дарвин решительно не желает публиковать свою работу, и, по словам Чарльза, возможно, книга не выйдет в свет при нашей жизни.

– Эволюция органических форм? – повторил Пеглар.

– Да, Гарри. Противоречащая всем представлениям цивилизованного христианского мира идея, что виды растений и животных не оставались

неизменными с момента творения, но изменялись и приспособлялись к условиям окружающей среды с течением времени... долгого времени. На протяжении огромных исторических периодов, описанных мистером Лайелем.

– Я знаю, что такое эволюция органических форм, – сказал Пеглар, стараясь не показывать своего раздражения, вызванного снисходительными пояснениями Бридженса. Проблема взаимоотношений учителя и ученика, не в первый раз осознал он, заключается в том, что они всегда остаются неизменными, когда все вокруг меняется. – Я читал труды Ламарка по данной теме. А также Дидро. И кажется, Бюффона.

– Да, это старая теория, – сказал Бридженс смеющимся, но одновременно слегка извиняющимся тоном. – Монтескье тоже писал об этом, и прочие упомянутые вами авторы. Даже Эразм Дарвин, дед нашего бывшего товарища по плаванию, выдвигал подобную теорию.

– Тогда почему сочинение мистера Дарвина представляется таким уж важным? – спросил Пеглар. – Идея эволюции живой природы не нова. Она отвергается церковью и другими натуралистами на протяжении многих поколений.

– Если верить Чарльзу Бэббиджу и прочим нашим с мистером Дарвином общим друзьям, – сказал Бридженс, – в новой книге – если она когда-нибудь выйдет в свет – предлагаются доказательства подлинного механизма эволюции. И приводится тысяча – возможно, десять тысяч – убедительных примеров, наглядно показывающих данный механизм в действии.

– И в чем же заключается механизм эволюции? – спросил Пеглар.

Солнце уже скрылось за горизонтом. Розовое свечение в небе поблекло до бледно-желтого, предвещавшего восход светила. Теперь, когда солнце исчезло, Пеглару с трудом верилось, что он его видел.

– В естественном отборе, вытекающем из борьбы за существование внутри бесчисленных видов, – сказал пожилой офицерский вестовой. – В отборе, в ходе которого закрепляются и накапливаются полезные признаки особей и устраняются неблагоприятные – то есть такие, которые понижают вероятность выживания или размножения, – на протяжении огромных периодов времени. Лайельских периодов времени.

Пеглар с минуту обдумывал услышанное.

– Почему вы завели этот разговор, Джон?

– Из-за нашего хищного друга, обитающего здесь во льдах, Гарри. Из-за почерневшего черепа, который вы оставили на месте черного зала, где некогда тикали эбеновые часы сэра Джона.

– Я не совсем понимаю, – сказал Пеглар. Он очень часто произносил эту фразу в бытность свою учеником Бридженса во время пятилетних странствий «Бигля», казавшихся бесконечными. Изначально путешествие планировалось завершить в двухлетний срок, и Пеглар обещал Роуз вернуться через два года или раньше. Она умерла от чахотки, когда шел четвертый год плавания «Бигля». – Вы полагаете, что обитающий во льдах зверь является некой жизненной формой, произошедшей в ходе эволюции вида от обычного белого медведя, каких мы столь часто встречали здесь?

– Как раз наоборот, – сказал Бридженс. – Я задаюсь вопросом, не столкнулись ли мы с одним из последних представителей некоего древнего вида – с животным более крупным, умным, проворным и гораздо более свирепым, чем его потомок, полярный медведь, какие водятся здесь в великом множестве.

Пеглар задумался.

– С неким допотопным животным, – наконец сказал он.

Бридженс хихикнул:

– По крайней мере в метафорическом смысле, Гарри. Вы, вероятно, помните, что я никогда не разделял буквальной веры во Всемирный потоп.

Пеглар улыбнулся:

– Да, с вами было опасно общаться, Джон. – Он задумался еще на несколько минут. Свет постепенно мерк. В небе на юге снова высыпали частые звезды. – По-вашему, это... существо... этот последний представитель вида... ходил по земле, когда здесь обитали громадные ящеры? Тогда почему мы не нашли его ископаемых останков?

Бридженс снова хихикнул:

– Нет, я почему-то не верю, что наш хищник соперничал с гигантскими ящерами. Возможно, млекопитающие типа *ursus maritimus* вообще не сосуществовали с гигантскими рептилиями. Как показал нам Лайель и как, похоже, понимает мистер Дарвин, Время... Время с большой буквы, Гарри... гораздо протяженнее, чем мы в силах себе представить.

Несколько мгновений оба мужчины молчали. Поднялся легкий ветер, и Пеглар осознал, что на таком холоде не стоит задерживаться здесь долее. Он видел, что пожилой мужчина слегка дрожит.

– Джон, вы считаете, что знание о происхождении зверя... или, вернее, существа, поскольку иногда оно кажется слишком разумным для простого зверя... поможет нам убить его? – спросил он.

На сей раз Бридженс громко рассмеялся:

– Ни в коей мере, Гарри. Между нами говоря, дорогой друг, я думаю, наше загадочное существо уже взяло верх над нами. Я думаю, наши кости

станут ископаемыми останками прежде его костей... хотя, если подумать, огромное животное, которое живет почти исключительно в полярных льдах, не размножаясь и не обитая на суше, в отличие от обычных белых медведей, и, возможно, даже охотится на обычных белых медведей, вполне может не оставлять никаких костей, никаких следов, никаких окаменелостей... по крайней мере таких, какие мы в состоянии найти на дне замерзших полярных морей при современном уровне развития техники.

Они двинулись в сторону «Эребуса».

– Скажите, Гарри, что происходит на «Терроре»?

– Вы слышали, что три дня назад у нас чуть не вспыхнул мятеж? – спросил Пеглар.

– Дело действительно зашло так далеко?

Пеглар пожал плечами:

– Положение было угрожающим. Кошмарный сон любого офицера. Помощник конопатчика Хикки и еще два или три подстрекателя разожгли беспорядки среди матросов. Толпа впала в массовую истерику. Крозье блистательно разрядил взрывоопасную обстановку. Пожалуй, я еще не встречал капитана, который бы действовал перед лицом разъяренной толпы с таким тонким расчетом и железной выдержкой, какие Крозье проявил в среду.

– И все началось из-за эскимоски?

Пеглар кивнул, потом затянул потуже шерстяной шарф на голове. Ветер теперь стал пронизывающим.

– Хикки и большинство матросов узнали, что перед Рождеством женщина проложила ход наружу, проделав дыру в корпусе. Еще до карнавала она покидала корабль из своего логова в канатном ящике и возвращалась обратно когда вздумается. Плотник мистер Хани со своими подручными заделал пролом в обшивке, а мистер Ирвинг завалил ведущий наружу тоннель на следующий день после карнавального пожара, и людям стало известно об этом.

– И Хикки, и остальные решили, что женщина имеет какое-то отношение к пожару?

Пеглар снова пожал плечами – отчасти просто для того, чтобы согреться.

– Насколько я знаю, они решили, что она и есть обитающее во льдах существо. Или, по крайней мере, его супруга. Большинство уже давно считают эскимоску языческой ведьмой.

– Большинство людей на «Эребусе» разделяют такое мнение, – сказал

Бридженс.

Зубы у него стучали. Двое мужчин прибавили шагу, спеша обратно к накренившемуся кораблю.

– Матросы под водительством Хикки собирались подстеречь девушку, когда она явится за своим ужином, – сказал Пеглар. – И перерезать ей горло. Возможно, с соблюдением неких формальностей.

– Почему же этого не произошло, Гарри?

– В подобных ситуациях всегда находятся осведомители, – сказал Пеглар. – Когда капитан Крозье прознал об этих планах – вероятно, за считанные часы до замышленного убийства, – он притащил девушку из трюма в жилую палубу и собрал там всех до единого матросов и офицеров. Он даже приказал вахтенным спуститься вниз – просто неслыханное дело.

Бридженс повернул к Пеглару бледное лицо. Теперь быстро темнело, и дул крепкий северо-западный ветер.

– Было время ужина, – продолжал Пеглар, – но капитан приказал матросам снова поднять к подволоку столы и всем сесть на палубу – не на бочонки, не на сундуки, а прямо на палубный настил, – а сам стоял перед ними, и офицеры, вооруженные пистолетами, толпились позади него. Он держал эскимоску за руку, словно собираясь швырнуть ее людям. Как кусок мяса шакалам. В известном смысле он так и поступил.

– Что вы имеете в виду?

– Капитан Крозье сказал команде, что, если они замыслили совершить убийство, они должны сделать это прямо сейчас... сию же минуту. Прямо здесь, в жилой палубе, где они едят и спят. Он сказал, что участвовать в расправе должны все – и матросы, и офицеры, – ибо убийство на корабле подобно раковой опухоли и поражает всех соучастников преступления.

– Очень странно, – сказал Бридженс. – Но удивительно, что это остановило людей, одержимых жаждой крови.

Пеглар снова кивнул:

– Потом Крозье велел выйти вперед мистеру Дигглу, стоявшему на своем месте у плиты.

– Ваш кок? – спросил Бридженс.

– Он самый. Крозье спросил мистера Диггла, что у них на ужин сегодня и что будет на ужин весь следующий месяц. «„Бедный Джон“, – ответил Диггл. – Плюс любые консервированные продукты, еще не протухшие и не ставшие отравой».

– Интересно, – заметил Бридженс.

– Затем Крозье спросил доктора Гудсира, который находился на «Терроре» в среду, сколько человек обратились к нему с жалобами на

самочувствие за последние три дня. «Двадцать один, – ответил Гудсир. – И еще четырнадцать больных лежали в лазарете, покуда вы не вызвали их на собрание, сэр».

Теперь кивнул Бридженс, словно поняв, куда клонил Крозье.

– А потом капитан сказал: «Это цинга, ребята». За три года еще никто – ни врачи, ни капитан, ни даже матросы – не произносил вслух этого слова, – продолжал Пеглар. – «Мы заболеваем цингой, матросы, – сказал капитан. – Симптомы вам известны. А если неизвестны... или если у вас не хватает мужества думать об этом... вам нужно послушать сведущих людей». Затем Крозье велел доктору Гудсиру выступить вперед, встать рядом с девушкой и перечислить симптомы цинги. «Язвы, – сказал Гудсир. – Язвы и кровоизлияния по всему телу. Кровь из лопнувших сосудов собирается под кожей, течет из-под кожи. Течет из всех естественных отверстий тела – изо рта, из ушей, из глаз, из заднего прохода. Ригидность конечностей: ваши руки и ноги сначала болят, а потом теряют подвижность и перестают работать. Вы становитесь неуклюжими, как слепой вол. Потом выпадают зубы», – сказал Гудсир. Стояла такая тишина, что не было слышно даже дыхания пятидесяти мужчин, только скрип и треск корабля под давлением льда. «И когда начинают выпадать зубы, – продолжал врач, – ваши губы чернеют и растягиваются, обнажая десны. Как у мертвеца. Десны распухают и дурно пахнут. Вот причина ужасного зловония, исходящего от цинготного больного: десны гниют и разлагаются изнутри. Но это еще не все, – сказал далее Гудсир. – Ваше зрение и слух ухудшатся, ослабеют... и мыслительные способности тоже угаснут. Внезапно вам покажется в порядке вещей взять и выйти на пятидесятиградусный мороз без перчаток и головного убора. Вы забудете, как ориентироваться по сторонам света или как забить гвоздь. И ваши чувства не просто атрофируются, но восстанут против вас, – продолжал врач. – Если дать вам свежий апельсин, когда вы больны цингой, запах апельсина может вызвать у вас страшные судороги или в буквальном смысле слова свести с ума. Скрип санных полозьев по снегу может заставить вас корчиться от боли; выстрел мушкета может стать роковым». – «Эй, послушайте! – крикнул в тишине один из приспешников Хикки. – У нас же есть наш лимонный сок!» Гудсир лишь печально потряс головой. «Запасы сока подходят к концу, – сказал он. – И в любом случае он уже не имеет особой ценности. По какой-то непонятной причине простые противцинготные средства вроде лимонного сока утрачивают свои целебные качества через несколько месяцев. Сейчас, спустя три с лишним года, он практически бесполезен».

И вот тогда наступила ужасная тишина, Джон. Вот теперь действительно стало слышно дыхание мужчин, неровное и частое. И от толпы исходил тяжелый запах – запах страха и еще чего-то. Большинство собравшихся там людей, включая значительную часть офицеров, в последние две недели обращались к доктору Гудсиру с ранними симптомами цинги. Внезапно один из сторонников Хикки выкрикнул: «Какое все это имеет отношение к нашему решению избавиться от эскимосской ведьмы, приносящей несчастье?»

Тогда Крозье выступил вперед, по-прежнему держа девушку, словно пленницу, по-прежнему словно собираясь отдать ее толпе на растерзание. «Разные капитаны и разные врачи испытывали разные средства предупреждения и излечения цинги, – сказал он. – Изнурительные физические упражнения. Молитва. Консервированные продукты. Но ни одно из этих средств в конечном счете не помогает. Какое единственное средство помогает в борьбе с цингой, доктор Гудсир?»

Тут все присутствующие повернули голову, чтобы посмотреть на Гудсира. Даже эскимоска.

«Свежая пища, – ответил врач. – Особенно свежее мясо. Недостаток каких бы полезных веществ в нашем рационе ни вызвал цингу, только свежее мясо способно излечить болезнь».

И тогда все снова посмотрели на Крозье, – продолжал Пеглар. – Капитан вытолкнул вперед девушку. «Вот единственный на двух погибающих кораблях человек, который добывал свежее мясо осенью и зимой, – сказал он. – И она стоит перед вами. Эскимосская девушка... всего лишь девушка... но именно она знает, как находить, ловить в западню и убивать тюленей, моржей и песцов, в то время как ни один из нас не в состоянии даже отыскать звериный след во льдах. Что будет, если нам придется покинуть корабли... если мы окажемся на льду без запасов продовольствия? Она единственная из ста девяти оставшихся в живых человек знает, как добыть свежее мясо, чтобы выжить... и вы хотите убить ее?»

Бридженс улыбнулся, показав свои собственные кровоточащие десны. Они уже приблизились к ледяному откосу, ведущему на «Эребус».

– Да, пусть преемник сэра Джона человек незнатного происхождения, не получивший должного образования, – тихо сказал он, – но никто никогда не обвинял его – по крайней мере, при мне – в глупости. И насколько я понял, он сильно изменился после тяжелой болезни, случившейся с ним несколько недель назад.

– Полная трансформация, – сказал Пеглар, с удовольствием пользуясь

возможностью употребить выражение, впервые услышанное от Бридженса шестнадцать лет назад.

– Как так?

Пеглар почесал замерзшую щеку над шарфом. Обледенелая рукавица громко проскребла по щетине.

– Трудно объяснить. Я лично полагаю, что капитан Крозье впервые за тридцать с лишним лет абсолютно трезв. Виски никогда внешне не сказывался на способностях этого человека – он превосходный моряк и офицер, – но алкоголь возводил своего рода преграду... стену между ним и миром. Теперь он здесь в большей мере против прежнего. Ничто не ускользает от его внимания. Я не знаю, как еще объяснить это.

Бридженс кивнул:

– Полагаю, всякие разговоры об убийстве ведьмы прекратились.

– Напрочь, – сказал Пеглар. – Матросы какое-то время даже выдавали эскимоске дополнительные галеты, но потом она опять исчезла с корабля – ушла куда-то во льды.

Бридженс начал подниматься по откосу, а потом повернулся. Очень тихим голосом, чтобы никто из вахтенных на палубе не услышал, он спросил:

– Что вы думаете о Корнелиусе Хикки, Гарри?

– Я думаю, он коварный маленький ублюдок, – сказал Пеглар, не потрудившись понизить голос.

Бридженс снова кивнул:

– Да, он такой. До меня доходили слухи о нем на протяжении многих лет, прежде чем я оказался в одной экспедиции с ним. В прошлом он имел обыкновение подчинять своей воле мальчиков, превращая практически в своих рабов. В последние годы, я слышал, он стал отдавать предпочтение мужчинам постарше, вроде этого идиота...

– Магнуса Мэнсона, – сказал Пеглар.

– Да, вроде Мэнсона, – сказал Бридженс. – Если бы Хикки заботился единственно о своем низменном удовольствии, у нас не было бы причин для беспокойства. Но этот маленький человечек гораздо опаснее, Гарри... гораздо опаснее, чем рядовой мятежник или злокозненный подстрекатель. Остерегайтесь Хикки. Не спускайте с него глаз, Гарри. Я боюсь, он может причинить большой вред всем нам. – Потом Бридженс рассмеялся. – Нет, вы только послушайте меня. «Причинить большой вред...» Можно подумать, мы все не обречены. Возможно, в следующий раз я увижу вас, когда все мы покинем корабли и двинемся по льду в последний долгий путь. Берегите себя, Гарри Пеглар.

Пеглар ничего не сказал. Фор-марсовый старшина снял рукавицу, потом перчатку и дотронулся замерзшими пальцами до замерзшей щеки вестового Джона Бридженса. Прикосновение было очень легким, и ни один из мужчин не ощутил его уже потерявшей на морозе чувствительность кожей, но и такого прикосновения было для них достаточно.

Бридженс стал подниматься по ледяному откосу. Не оглядываясь, Пеглар натянул перчатку и пустился в обратный путь к «Террору» в сгущающейся холодной тьме.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

6 февраля 1848 г.

Было воскресенье, и лейтенант Джон Ирвинг выстоял две вахты подряд в темноте на морозе – одну за своего друга Джорджа Ходжсона, который слег с симптомами дизентерии, – в результате пропустив горячий ужин в офицерской столовой и получив взамен лишь маленький жесткий кусок соленой свинины и зараженную долгоносиком галету. Но теперь до следующего дежурства у него оставалось целых восемь блаженных часов. Он мог дотащиться до своей каюты, забраться в койку, немного нагреть заледенелые одеяла теплом собственного тела и проспать восемь часов кряду.

Вместо этого Ирвинг сказал Роберту Томасу – старшему помощнику, заступавшему после него на пост вахтенного офицера, – что собирается прогуляться и скоро вернется.

Потом Ирвинг перелез через фальшборт и спустился по ледяному откосу на темный паковый лед.

Он отправился на поиски леди Безмолвной.

Ирвинг пережил потрясение пару недель назад, когда капитан Крозье, казалось, вознамерился отдать женщину на растерзание толпе, которая сплотилась в едином порыве после того, как матросы наслушались подстрекательских нащептываний помощника конопатчика Хикки, а иные принялись кричать, что эскимоска приносит несчастье и надо либо убить ее, либо вышвырнуть вон с корабля. Когда Крозье стоял там, крепко держа за руку леди Безмолвную, а потом вытолкнул ее навстречу разгневанной толпе, как какой-нибудь римский император в свое время выталкивал христианина на арену со львами, лейтенант Ирвинг не знал толком, что делать. Как младший лейтенант, он мог лишь стоять и смотреть на своего капитана, даже если это означало смерть Безмолвной. Как молодой мужчина, страстно увлекшийся единственной женщиной в радиусе четырех или пяти сотен миль, Ирвинг хотел выступить вперед и спасти ее.

Когда Крозье склонил на свою сторону большинство матросов тем доводом, что она единственная среди них, кто умеет охотиться на зверя и ловить рыбу во льдах, Ирвинг испустил тихий вздох облегчения.

Но эскимоска окончательно покинула корабль на следующий день после того собрания и теперь возвращалась к часу ужина раз в два-три дня, за галетами или редкими подарками в виде свечи, а потом снова исчезала в темных льдах. Где она жила и чем занималась там, оставалось загадкой.

Сегодня ночью было не очень темно; в небе метались яркие сполохи, и луна светила достаточно ярко, чтобы сераки отбрасывали чернильно-черные тени. На сей раз третий лейтенант Джон Ирвинг отправился на поиски Безмолвной не по собственному почину. Только вчера капитан поговорил с ним наедине и предложил Ирвингу отыскать тайное убежище эскимоски на льду – коли такое возможно сделать, не подвергая себя излишней опасности.

– Я отнюдь не шутил, когда сказал людям, что, возможно, она обладает опытом, который позволит нам выжить во льдах, – тихо проговорил Крозье, и Ирвинг подался к нему ближе, чтобы лучше слышать. – Но нам нельзя ждать: мы должны выяснить, где и как она добывает свежее мясо, прежде чем окажемся на льду без запасов провианта. Доктор Гудсир говорит, что цинга поразит всех нас, если до лета мы не найдем источник свежей пищи.

– Но если я не выслежу Безмолвную непосредственно за охотой, – прошептал Ирвинг, – как я смогу выведать у нее секрет? Она же немая.

– Я полагаюсь на вашу находчивость, лейтенант Ирвинг, – вот и все, что сказал Крозье в ответ.

Сейчас впервые со времени разговора с капитаном Ирвингу представилась возможность проявить находчивость.

В кожаной сумке через плечо Ирвинг нес несколько подарков на случай, если найдет Безмолвную и сумеет вступить с ней в общение. Там лежали галеты, гораздо более свежие, чем зараженная долгоносиком галета, которую он съел на ужин накануне. Они были завернуты в салфетку, но Ирвинг также прихватил очень красивый шелковый шейный платок, подаренный ему богатой лондонской любовницей незадолго до их... неприятного расставания. И в него был завернут главный подарок: маленькая баночка персикового джема.

Доктор Гудсир бережно хранил и скупно выдавал джем в качестве противочинготного средства, но лейтенант Ирвинг знал, что это угощение являлось одним из немногих, к которым эскимоска проявляла интерес, когда брала еду у мистера Диггла. Ирвинг видел, как загорались темные глаза девушки, когда она получала намазанную джемом галету. В течение последних месяцев он дюжину раз соскабливал лакомство со своих собственных галет, чтобы собрать драгоценное количество джема, которое сейчас он нес в крохотном фарфоровом судке, некогда принадлежавшем

матери.

Ирвинг уже обошел корабль кругом, пересек ровный участок льда по левому борту и теперь углублялся в ледяной лес сераков и айсбергов, начинавшийся ярдах в двухстах к югу. Он понимал, что сильно рискует стать очередной жертвой чудовищного существа, но оно уже пять недель не появлялось даже в пределах видимости. С карнавальной ночи оно не убило ни одного члена экипажа.

«И вдобавок ко всему, – подумал Ирвинг, – еще никто, кроме меня, не выходил на лед один, даже без фонаря, и не блуждал среди сераков».

Он остро сознавал, что вооружен одним только пистолетом, лежащим глубоко в кармане шинели.

Через сорок минут безуспешных поисков Безмолвной в ледяном лесу, во мраке ветреной ночи при сорокапятиградусном морозе, Ирвинг уже почти принял решение проявить находчивость в какой-нибудь другой раз – предпочтительно через пару недель, когда солнце будет стоять над южным горизонтом дольше чем несколько минут каждый день.

А потом он увидел свет.

Жутковатое зрелище: целый снежный сугроб в ледяной балке между несколькими сераками словно излучал из своих недр золотистое сияние, как если бы под ним горел волшебный огонь.

Или ведьмин огонь.

Ирвинг осторожно подошел ближе, останавливаясь перед тенью каждого серака, чтобы убедиться, что это именно тень, а не очередная узкая расселина во льду. Ветер тихо свистел, проносясь между зазубренными верхушками сераков и ледяных башен. Фиолетовый свет сполохов метался повсюду вокруг.

Сугроб имел форму (приданную ему либо ветром, либо руками Безмолвной) низкого купола с достаточно тонкими стенками, чтобы сквозь них проникал мерцающий желтый свет.

Ирвинг спустился в маленькую ледяную балку – на самом деле представлявшую собой просто углубление между двумя плитами пакового льда, вытолкнутыми вверх давлением и приобретшими округлость очертаний благодаря лежащему на них слою снега, – и приблизился к маленькому черному отверстию, казавшемуся слишком низким для снежного купола в высоком сугробе, наметенном у края провала.

Плечи Ирвинга едва проходили по ширине во входное отверстие – если оно действительно таковым являлось.

Прежде чем заползти внутрь, он на миг задался вопросом, не стоит ли вытащить пистолет и взвести курок. «Не особо дружественный жест

приветствия», – подумал он. Вдобавок он живо представил нож, пыряющий в лицо.

Ирвинг с трудом протиснулся в отверстие.

На протяжении первых трех футов узкий тоннель уходил вниз, а следующие футов восемь-девять поднимался. Высунув из него голову на свет, Ирвинг прищурился, поморгал, огляделся по сторонам, и у него отвалилась челюсть.

В первую очередь ему бросилось в глаза, что леди Безмолвная лежит под своими меховыми одеяниями голая. А лежала она на помосте, высеченном из прессованного снега, футах в четырех от лейтенанта Ирвинга и почти тремя футами выше. Ее обнаженные груди были на виду – он видел маленький каменный талисман в форме белого медведя, висевший на шнурке между грудями, – но она не пыталась прикрыться, пристально глядя на него немигающим взглядом. Девушка не была напугана. Очевидно, она слышала шаги незваного гостя задолго до того, как он начал протискиваться во входное отверстие снежного купола. В руке она сжимала короткий, но очень острый нож, который он впервые увидел в канатном ящике.

– Прошу прощения, мисс, – пробормотал Ирвинг.

Он не знал, что делать дальше. Правила приличия требовали, чтобы он, пятясь задом, выполз прочь из будуара дамы, сколь бы нелепые и неуклюжие телодвижения ни пришлось бы произвести для этого, но он напомнил себе, что находится здесь по важному делу.

От внимания Ирвинга не ускользнуло то обстоятельство, что сейчас, когда он зажат в узком тоннеле, Безмолвная запросто может перерезать ему горло и он не в состоянии оказать ей сколько-либо серьезного сопротивления.

Ирвинг выполз из лаза полностью, затащил следом за собой кожаную сумку и поднялся на колени, а потом на ноги. Поскольку пол снежного дома был заглублен относительно уровня снега и льда снаружи, Ирвинг мог встать во весь рост в центре купола, и над головой у него еще оставалось несколько дюймов. Он осознал, что снежный дом, снаружи казавшийся всего лишь светящимся сугробом, на самом деле сложен из вытесанных блоков спрессованного снега, в высшей степени хитроумно установленных с наклоном внутрь.

Ирвинг, получивший образование в лучшем артиллерийском училище военно-морского флота и всегда обнаруживавший способности к математике, сразу обратил внимание на верхнюю спираль снежных блоков, каждый из которых имел чуть больший наклон внутрь по сравнению с

предыдущим, и на центральный, замковый блок свода, втиснутый на место сверху. Он увидел крохотное – не более двух дюймов в поперечнике – вытяжное отверстие дымохода рядом с замковым блоком.

Как математик, Ирвинг сразу понял, что в разрезе купол имеет форму не правильного полукруга (купол круглой конструкции непременно рухнул бы), а скорее цепной линии, то есть кривой в виде подвешенной за два конца цепи. Как мужчина, Ирвинг понимал, что изучает купольный свод, снежные блоки и хитроумную конструкцию жилища для того только, чтобы не пялиться на голые груди и плечи леди Безмолвной. Решив, что он дал женщине достаточно времени, чтобы прикрыться меховыми одеяниями, он снова посмотрел в ее сторону.

Она так и не прикрыла грудь. По контрасту с белым амулетом ее смуглая кожа казалась еще смуглее. Темные глаза, напряженно-внимательные и любопытные, но не враждебные, по-прежнему смотрели на него немигающим взглядом. В руке Безмолвная по-прежнему сжимала нож.

Ирвинг шумно выдохнул и присел на покрытый паркой снежный помост, расположенный напротив спального места эскимоски.

Он впервые осознал, что в снежном доме тепло. Не просто теплее, чем в морозной ночи снаружи, не просто теплее, чем в выстуженной жилой палубе «Террора», но по-настоящему тепло. Он уже начинал потеть в своих многочисленных жестких, грязных свитерах и прочих поддевках. Он видел капельки пота на светло-коричневой груди женщины, находящейся всего в нескольких футах от него.

Снова с трудом отведя глаза в сторону, Ирвинг расстегнул шинель и осознал, что свет и тепло исходят от маленькой жестянки с парафином, по всей видимости украденной эскимоской с корабля. Он моментально устыдился последней своей мысли. Да, верно, это была жестянка с «Террора», но без парафина – одна из сотен пустых банок, которые они выбрасывали в огромную мусорную яму, выкопанную всего в тридцати ярдах от корабля. И горел в ней не парафин вовсе, а какой-то жир – не китовый, судя по запаху... может, тюлений? С длинного куска сала, привязанного к концу свитого из кишок или сухожилий шнура, свисавшего с потолка прямо над горящим светильником, в жестянку капал растопленный жир. Ирвинг сразу увидел, что, когда уровень топлива в банке понижается, фитиль, скрученный, похоже, из прядей якорного каната, становится длиннее, язычок пламени поднимается выше, продолжая растапливать сало, и банка снова наполняется жиром. Хитроумное приспособление.

Жестянка из-под парафина являлась не единственным артефактом в снежном доме. Над самодельным светильником и чуть в стороне от него находилась затейливая конструкция из четырех ребер, похоже тюленьих (как леди Безмолвной удалось поймать и убить тюленя?), воткнутых вертикально в снежную полку, выступающую из стены, и соединенных между собой сложным переплетением жил. К ней была подвешена одна из больших прямоугольных консервных банок Голднера – очевидно, тоже подобранная на мусорной свалке близ «Террора» – с пробитыми по верхним углам дырками. Ирвинг сразу понял, что висящая низко над огнем банка с успехом заменяет кастрюлю или чайник.

Леди Безмолвная так и не прикрыла грудь. Амулет в виде белого медведя слегка колебался в такт ее дыханию. Она продолжала пристально смотреть на Ирвинга.

Молодой лейтенант прочистил горло:

– Добрый вечер, мисс... гм... Безмолвная. Прошу прощения, что вторгся к вам... без приглашения... – Он умолк.

Она вообще моргает когда-нибудь?

– Капитан Крозье кланяется вам. Он попросил меня заглянуть к вам, чтобы узнать... э-э-э... как ваши дела.

Ирвинг редко чувствовал себя настолько глупо. Он был уверен, что, несмотря на многие месяцы, проведенные на корабле, девушка не понимает ни слова по-английски. Соски у нее, невольно заметил он, встали торчком от короткого дуновения холодного воздуха, сопровождавшего его появление в снежном доме.

Лейтенант вытер пот со лба. Потом снял рукавицы и перчатки, вопросительно склонив голову к плечу, словно испрашивая позволения у хозяйки дома. Потом он снова вытер покрытый испариной лоб. Просто уму непостижимо, как сильно нагрелось маленькое помещение под снежным куполом от огня единственного самодельного светильника.

– Капитан хотел бы... – начал он и осекся. – Ох, черт возьми.

Ирвинг залез в свою кожаную сумку и извлек оттуда галеты, завернутые в старую салфетку, и судочек с джемом, завернутый в прекраснейший азиатский шелковый платок.

Он протянул оба свертка Безмолвной дрожащими – непонятно почему – руками.

Эскимоска не пошевелилась.

– Пожалуйста, – сказал Ирвинг.

Безмолвная моргнула два раза, убрала нож под свои меха, взяла маленькие свертки и положила рядом с собой на ледяное ложе. Она по-

прежнему лежала на боку, приподнявшись на локте, и сосок ее правой груди почти прикасался к шелковому платку.

Ирвинг опустил взгляд и осознал, что тоже сидит на толстой шкуре, постеленной на узкую снежную скамью. «Откуда у нее вторая шкура?» – подумал он, но сразу же вспомнил, что более семи месяцев назад она получила в свое пользование парку своего спутника – седовласого старого эскимоса, который скончался на корабле, смертельно раненный выстрелом одного из людей Грэма Гора.

Женщина развязала сначала старую камбузную салфетку, не выказав никаких эмоций при виде пяти завернутых в нее галет. Ирвинг провел немало времени, выбирая наименее источенные долгоносиком галеты, и почувствовал себя слегка уязвленным тем, что его старания остались неоцененными. Развернув второй сверток, с маленьким фарфоровым судком, сверху залитым воском, эскимоска поднесла к лицу китайский шелковый платок – с затейливыми узорами ярко-красного, зеленого и синего цвета – и на мгновение прижала к щеке. Потом отложила в сторону.

«Все женщины одинаковы, везде и повсюду», – пронеслось в уме у Джона Ирвинга. Он осознал, что при всем своем богатом опыте сексуального общения с молодыми женщинами он никогда еще не испытывал столь сильного чувства... интимной близости... как сейчас, когда сидел самым невинным образом при свете самодельного светильника с этой юной аборигенкой.

Когда леди Безмолвная подцепила пластинку застывшего воска и увидела джем, она снова вскинула взгляд и уставилась на Ирвинга. Казалось, она пытается прочесть его мысли.

Он неловко изобразил жестами, как она намазывает джем на галеты и ест их.

Эскимоска не пошевелилась. И не отвела от него пристального взгляда.

Наконец она подалась вперед и вытянула правую руку, словно пытаясь достать до него. Ирвинг слегка отшатнулся, но в следующий миг понял, что она тянется к маленькой нише в стене – к узкой выемке, вырубленной в одном из ледяных блоков, – в головах снежного ложа, покрытого меховыми одеяниями, на котором он сидел. Он сделал вид, будто не заметил, что ее собственное меховое покрывало соскользнуло ниже, и постарался не пялиться на ее свободно болтающиеся груди.

Женщина протянула Ирвингу что-то бело-красное, пахнущеедохлой и уже подтухшей рыбой. Он понял, что это еще один шмат сала – тюленьего или какого другого, – который хранился на холоде в ледяной нише.

Он взял у нее сало, кивнул и продолжал неподвижно сидеть, держа шмат обеими руками над коленями. Он понятия не имел, что с ним делать. Может, он должен отнести его на корабль, чтобы вытапливать из него жир для своего собственного светильника?

Губы Безмолвной слегка дрогнули, и на мгновение Ирвингу показалось, будто она улыбнулась. Она поднесла короткий острый нож ко рту и поводила лезвием вверх-вниз, словно собираясь отрезать свою полную нижнюю губу.

Ирвинг смотрел на нее, по-прежнему держа в руках мягкий кусок сала и кожи.

Громко вздохнув (Ирвинг почти забыл, что даже без языка молодая женщина все же в состоянии издавать некоторые звуки), Безмолвная снова подалась вперед, взяла у него шмат сала, поднесла к своим губам и отрезала от него ножом несколько тонких ломтиков, каждый раз пропуская короткое лезвие между белыми зубами прямо в рот. Она прожевала, а потом вернула Ирвингу сало с полоской эластичной тюленьей кожи (теперь он был почти уверен, что это тюлень).

Ирвингу пришлось немного повозиться, чтобы добраться до спрятанных под зимней шинелью, курткой, свитерами и жилетом ножен на пояском ремне и вытащить нож. Он показал Безмолвной нож, чувствуя себя малым ребенком, ждущим похвалы за хорошо усвоенный урок.

Она еле заметно кивнула.

Ирвинг поднес вонючий скользкий шмат сала к открытому рту и быстро полоснул по нему ножом, как делала эскимоска.

Он едва не оттяпал себе нос. Он точно отхватил бы себе нижнюю губу, когда бы нож не застрял в тюленьей коже (если она была тюленьей), мягком мясе и белом сале и не дернулся немного вверх. Однако единственная капелька крови все же сорвалась с рассеченного носа.

Безмолвная не обратила внимания на кровь, еле заметно помотала головой и протянула Ирвингу свой нож.

Он сжал в руке непривычно легкий нож и повторил попытку, уверенно резанув лезвием сверху вниз, в то время как капелька крови упала с его носа на шмат сала.

Лезвие вошло в него легко, как в масло. Маленький каменный нож – просто уму непостижимо – был гораздо острее его собственного.

Большой кусок сала оказался у него во рту. Ирвинг принялся жевать, пытаясь идиотскими гримасами и кивками выразить признательность женщине.

На вкус оно походило на дохлого карпа трехмесячной давности,

вытащенного со дна Темзы за вулрическими сточными трубами.

Ирвинг почувствовал сильнейший рвотный позыв, хотел было выплюнуть комок полуразжеванного сала на пол снежного дома, потом решил, что подобный поступок не поспособствует выполнению его деликатной дипломатической миссии, и проглотил.

Ухмыляясь в знак благодарности за лакомое угощение и с трудом подавляя нестихающие рвотные позывы – одновременно украдкой промокая свой слегка рассеченный, но сильно кровоточащий нос обледенелой рукавицей, в данный момент служащей носовым платком, – Ирвинг с ужасом увидел, что эскимоска недвусмысленным жестом предлагает ему отрезать и съесть еще сала.

Продолжая улыбаться, он отрезал и проглотил второй кусок. По ощущениям все равно что проглотить чью-то огромную густую соплю, подумал он.

Удивительное дело, но пустой желудок Ирвинга громко заурчал, сведенный спазмом, и потребовал добавки. Похоже, вонючее сало удовлетворяло некую глубинную острую потребность организма, о которой он даже не догадывался. Его тело – если не разум – хотело еще.

Следующие несколько минут наблюдалась сцена прямо-таки из семейной жизни: лейтенант Ирвинг сидел на своей узкой снежной скамье, покрытой паркой из шкуры белого медведя, быстро, если не жадно, отрезая и глотая куски тюленьего сала, а леди Безмолвная ломала галеты, макала в судок его матери с таким проворством, с каким матрос подтирает с тарелки подливку корочкой хлеба, и поглощала джем с довольным гортанным урчанием.

И все это время обнаженные груди женщины оставались открытыми для неотрывного, благодарного, пусть и не вполне безмятежного созерцания лейтенанта Ирвинга.

«Что бы подумала мама, если бы увидела своего сына и свой судочек сейчас?» – подумал Ирвинг.

Когда оба закончили – Безмолвная съела все галеты и опустошила судочек, а Ирвинг основательно потрудился над салом, – он попытался вытереть губы и подбородок своей рукавицей, но эскимоска снова дотянулась до ниши и выдала ему пригоршню рыхлого снега. Поскольку температура воздуха в маленьком снежном доме была определенно выше нуля, Ирвинг неловко вытер снегом жир с подбородка и губ, промокнул лицо рукавом и протянул девушке полоску тюленьей кожи с остатками сала. Она указала рукой на нишу для хранения продуктов, и он затолкал туда кусок по возможности глубже.

«Теперь предстоит самое трудное», – подумал лейтенант.

Как объяснить – с помощью одних только жестов и мимики, – что сотне с лишним голодных человек, которым угрожает цинга, необходимо узнать ее охотничьи и рыболовные секреты?

Ирвинг разыграл целое пантомимическое представление. Под немигающим взглядом глубоких темных глаз леди Безмолвной он выразительно потер себе живот, изображая голодных людей; нарисовал в воздухе три мачты каждого корабля; затем показал, как люди заболевают, – высунул язык, скосил глаза к носу (мама всегда расстраивалась, когда он так делал) и повалился на меховую парку, – а потом указал рукой на Безмолвную и энергично изобразил, как она бросает копье, закидывает удочку и вытаскивает рыбу. Ирвинг несколько раз ткнул пальцем в нишу, куда минуту назад затолкал кусок сала, потом неопределенно махнул рукой, указывая далеко за пределы снежного дома, и снова потер живот, скосил глаза к носу и повалился на парку, а затем опять потер себе живот. Он указал на леди Безмолвную, на мгновение замялся, не зная, как сказать на языке жестов «покажи нам, как ты это делаешь», а потом повторил пантомимы с метанием копья и забрасыванием удочки, прерываясь, чтобы снова указать на эскимоску, изобразить растопыренными пальцами исходящие из глаз лучи-взгляды и снова потереть живот с целью представить голодных людей, которым необходимо преподать уроки охоты и рыболовства.

Когда он закончил, по лицу у него градом катился пот.

Леди Безмолвная пристально смотрела на молодого человека. Если она и моргнула, он не заметил этого в ходе своих шутовских кривляний.

– Ох, чертово дело, – устало сказал третий лейтенант Ирвинг.

В конце концов он просто застегнул все свои поддевки и шинель, затолкал салфетку и материнский судочек обратно в кожаную сумку и решил, что на сегодня довольно. Возможно, Безмолвная все-таки поняла смысл разыгранной пантомимы. Возможно, он никогда не узнает, так это или нет. Возможно, если он будет достаточно часто наведываться в снежный дом...

Тут мысли Ирвинга приняли глубоко личное направление, и он резко осадил себя, как кучер осаживает четверню норовистых коней.

Возможно, если он станет наведываться часто... однажды ему удастся отправиться с ней на ночную охоту на тюленя.

«Но что, если пищу по-прежнему приносит ей обитающее во льдах существо?» – подумал он. Сейчас, спустя много недель после того, как он стал свидетелем непостижимой сцены, Ирвинг уже наполовину убедил

себя, что не видел того, что видел. Однако более честная половина памяти и рассудка говорила лейтенанту, что он действительно видел это. Чудовищный зверь тогда принес эскимоске части тюленьей или еще чьей-то туши. Той ночью леди Безмолвная покинула то место среди ледяных валунов и сераков со свежим мясом.

И еще был помощник капитана «Эребуса» Чарльз Фредерик Дево, со своими рассказами про мужчин и женщин, которые превращаются в волков. Коли такое возможно – а многие офицеры и все матросы, похоже, вполне допускали такое, – почему бы туземной женщине с амулетом в виде белого медведя на груди не превращаться в существо, похожее на гигантского медведя, по-человечески коварного и злонамеренного?

Нет, он видел их обоих там на льду. Разве не так?

Ирвинг слегка содрогнулся, закончив застегивать шинель. В маленьком снежном доме было очень тепло. И все же он вгонял в дрожь, как ни странно. Лейтенант почувствовал послабляющее действие сала на кишечник и решил, что пора идти. Ему повезет, если он успеет вовремя добраться до галюна на «Терроре», и он не имел ни малейшего желания останавливаться на льду для совершения подобных жизненных отправок. Он испытывал весьма неприятные ощущения, когда обмораживал хотя бы нос.

Леди Безмолвная пристально наблюдала за ним, пока он укладывал в сумку старую салфетку и материнский судочек (предметы, дошло до него значительно позже, которые ей наверняка очень хотелось получить в свое пользование), но теперь в последний раз прижала к щеке шелковый платок и попыталась вернуть его Ирвингу.

– Нет, – сказал Ирвинг, – это подарок от меня. Знак моей дружбы и глубокого уважения. Вы должны оставить его себе. Иначе я обижусь.

Он отстранил ее руку с платком, стараясь не прикоснуться ненароком к обнаженной груди. Белый каменный амулет между грудей женщины, казалось, светился сам по себе.

Ирвинг осознал, что ему очень, очень жарко. Он почувствовал легкое головокружение. Внутри у него все всколыхнулось, успокоилось, снова всколыхнулось.

– Пока-пока, – сказал он – четыре слога, которые он вспоминал потом не одну неделю, корчась в постели от стыда, хотя женщина явно не могла понять нелепости, дурацкой игривости и неуместности подобных прощальных слов. Но все же...

Ирвинг дотронулся до козырька фуражки, намотал на голову шарф, натянул рукавицы и перчатки, прижал сумку к груди и нырнул в ледяной

тоннель, ведущий к выходу.

Молодой человек не насвистывал на обратном пути к кораблю, но испытывал великое искушение засвистеть. Он почти забыл об огромном звере-людоеде, который мог прятаться в густых тенях сераков здесь, так далеко от корабля, но, если бы такой зверь наблюдал за ним той ночью, он услышал бы, как лейтенант Джон Ирвинг разговаривает сам с собой и время от времени хлопает себя по лбу рукой в рукавице.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

15 февраля 1848 г.

– Джентльмены, настало время обсудить возможные варианты действия на ближайшие месяцы, – сказал капитан Крозье. – Мне нужно принять решение.

Офицеры, несколько мичманов и другие специалисты – два гражданских инженера, марсовые старшины и ледовые лоцманы, а также последний оставшийся в живых врач – были созваны на собрание, проводившееся в кают-компании «Террора». Крозье выбрал «Террор» не для того, чтобы избавить от неудобств капитана Фицджереймса и его офицеров (которые совершили переход за короткий период дневного света и надеялись вернуться обратно до наступления кромешной тьмы), и не для того, чтобы подчеркнуть факт смены флагманского корабля, а просто потому, что на корабле Крозье в лазарете лежало меньше людей. Здесь было проще перевести нескольких больных во временный лазарет в носовой части, чтобы освободить кают-компанию для собрания офицеров: на «Эребусе» в два раза больше человек свалилось с симптомами цинги, и доктор Гудсир заявил, что нескольких тяжелых больных нельзя трогать.

Сейчас пятнадцать мужчин сидели за длинным столом, который в январе был распилен на несколько частей, служивших операционными столами, но теперь снова приведен в прежнее состояние мистером Хани, плотником «Террора». Мужчины сняли свои шинели, рукавицы, «уэльские парики» и шарфы у главного трапа, но остались во всех прочих поддевках. В помещении стоял запах влажной шерсти и нечистых тел.

В каюте было холодно, и сквозь престонские иллюминаторы над головой не проникал свет, поскольку на палубе по-прежнему лежал трехфутовый слой снега. Висевшие на переборках масляные лампы исправно мерцали, но едва рассеивали мрак.

Собрание за столом походило на военный совет, проводившийся сэром Джоном Франклином на «Эребусе» восемнадцать месяцев назад, только теперь место во главе стола занимал Френсис Крозье. Слева от Крозье расположились шесть офицеров и мичманов, которых он попросил присутствовать. Рядом с ним сидел его старший помощник первый

лейтенант Эдвард Литтл, потом второй лейтенант Джордж Ходжсон и третий лейтенант Джон Ирвинг. Далее следовал гражданский инженер Джеймс Томпсон, получивший в экспедиции звание мичмана, но сейчас выглядевший еще более худым, бледным и изнуренным, чем обычно. Слева от Томпсона размещались ледовый лоцман Томас Блэнки, в последние дни научившийся ходить на своей деревянной ноге, и фор-марсовый старшина Гарри Пеглар, единственный унтер-офицер, приглашенный Крозье.

На другом конце длинного стола сидел капитан Фицджереймс, почти такой же худой и изможденный, как инженер «Террора». Крозье знал, что Фицджереймс уже несколько недель не давал себе труда бриться и отпустил рыжеватую бороду, как ни странно, тронутую сединой, но сегодня совершил над собой усилие – или приказал мистеру Хору, своему вестовому, побрить его. Без бороды лицо его стало казаться еще более худым и бледным, и сейчас оно было покрыто бесчисленными крохотными порезами и царапинами. Несмотря на множество свитеров и фуфаяк, надетых на Фицджереймсе, было заметно, что за последнее время он здорово отощал.

Слева от капитана Фицджереймса, по другую сторону длинного стола, разместились семь офицеров с «Эребуса». Рядом с ним сидел единственный, помимо него, военно-морской офицер, оставшийся на корабле после гибели сэра Джона, первого лейтенанта Гора и лейтенанта Джеймса Фейрхольма, убитых обитающим во льдах зверем, – лейтенант Г. Т. Д. Левеконт, чей золотой зуб поблескивал, когда он изредка улыбался. За Левеконтом сидел Чарльз Фредерик Дево, который принял должность старшего помощника после смерти Роберта Орма Серджента, убитого зверем во время работ по восстановлению ледяных пирамид в декабре.

За Дево сидел единственный оставшийся в живых врач, доктор Гарри Д. С. Гудсир. Хотя формально теперь он являлся главным врачом экспедиции и подчинялся непосредственно Крозье, оба командира и сам Гудсир сочли, что ему подобает занять место среди бывших товарищей по службе на «Эребусе».

Слева от Гудсира располагался ледовый лоцман Джеймс Рейд, а за ним – единственный присутствующий на собрании унтер-офицер с «Эребуса», фор-марсовый старшина Роберт Синклер. Ближе к другому концу стола сидели инженер «Эребуса» Джон Грегори, выглядевший гораздо лучше своего коллеги с «Террора», и сержант Тозер, который лишился расположения обоих капитанов после карнавальной ночи, когда его подчиненные открыли огонь по спасшимся из огня людям, но по-прежнему возглавлял свой сильно поредевший отряд «красномундирников» и

присутствовал здесь в качестве представителя морских пехотинцев.

Поскольку вестовые обоих капитанов лежали в лазарете с симптомами цинги, чай с источенными долгоносиком галетами подали собравшимся мистер Гибсон с «Террора» и мистер Бридженс с «Эребуса».

– Давайте обсудим все по порядку, – сказал Крозье. – Первое: можем ли мы остаться на кораблях до предполагаемого летнего таяния льдов? И данный вопрос необходимо подразумевает еще один: смогут ли корабли плыть под парусами в июле или августе, если лед растает? Капитан Фицджереймс?

Голос Фицджереймса, некогда звонкий и уверенный, теперь звучал еле слышно. Мужчины по обеим сторонам стола подались к нему, чтобы разобрать слова.

– Я не думаю, что «Эребус» продержится до лета, и, по моему мнению – которое разделяют мистер Уикс и мистер Уотсон, мои плотники, а также мистер Браун, мой боцманмат, мистер Риджен, мой рулевой, и присутствующие здесь лейтенант Левеконт и старший помощник Дево, – корабль затонет, когда лед растает.

В холодной сумрачной кают-компании, казалось, стало еще холоднее и сумрачнее. С полминуты все молчали.

– За две зимы под давлением льда всю паклю выжало из щелей между досками обшивки, – продолжал Фицджереймс тихим хриплым голосом. – Гребной вал погнут и не подлежит починке – как все вы знаете, по замыслу конструкторов он должен втягиваться в железную камеру до самой средней палубы во избежание повреждений, но сейчас его не поднять выше днища, – и у нас нет запасных валов. Сам винт раздавлен льдом, как и руль. Конечно, мы можем соорудить другой руль, но лед проломил днище судна по всей длине киля. Мы потеряли почти половину железной обшивки в носовой части и по бортам... И что самое скверное, – сказал далее Фицджереймс, – корабль сжало льдом с такой силой, что добавленные для укрепления корпуса железные поперечные балки и чугунные подкосы либо полопались, либо пробили обшивку в дюжине мест. Даже если мы заделаем все пробоины, если умудримся решить проблему с протекающей камерой гребного вала и корабль сможет держаться на плаву, у него не будет внутренних конструкций ледовой защиты. Вдобавок пущенные по бортам судна продольные деревянные брусья, которые с успехом препятствовали льду подняться выше планширя, сейчас, когда корабль стоит с сильным наклоном на корму, подвергаются давлению наступающего льда, вследствие чего обшивка корпуса вдоль них растрескалась.

Казалось, Фицджереймс только сейчас заметил, что всецело завладел

вниманием аудитории. Он отвел в сторону, а потом опустил рассеянный взгляд, словно в смущении. Снова подняв глаза через несколько секунд, он заговорил почти извиняющимся тоном:

– Что самое плохое, под давлением льда ахтерштевень и доски обшивки сильно прогнулись внутрь и весь корпус «Эребуса» значительно деформировался. Сейчас верхняя палуба вспучивается... доски палубного настила удерживаются на месте единственно весом снега... и никто из нас не верит, что мощности наших помповых насосов хватит для откачивания воды из многочисленных течей, если корабль снова поплывет. Я предоставлю мистеру Грегори доложить о состоянии парового котла, двигателя и запасов угля.

Взоры всех присутствующих обратились к Джону Грегори.

Инженер прочистил горло и облизал потрескавшиеся, кровоточащие губы.

– Паровая установка на «Эребусе» вышла из строя, – сказал он. – Чтобы поставить на место погнутый и застрявший в камере на уровне днища гребной вал, нам понадобились бы бристоольские сухие доки. К тому же оставшегося у нас угля не хватит и на день плавания под паром. К концу апреля у нас не останется угля на обогрев корабля, даже если подавать горячую воду всего по сорок пять минут в день и только в отдельные части жилой палубы.

– Мистер Томпсон, – сказал Крозье, – каково положение «Террора» в данном отношении?

Несколько долгих мгновений ходячий скелет смотрел на своего капитана, а потом заговорил неожиданно звучным голосом:

– Если бы «Террор» сегодня поплыл, сэр, мы не смогли бы идти под паром более двух часов в день. Мы успешно втянули гребной вал полтора года назад, и винт находится в рабочем состоянии – вдобавок у нас есть запасной, – но запасы угля подходят к концу. Если бы мы перетасили сюда весь оставшийся уголь с «Эребуса» и стали просто обогревать корабль, мы смогли бы подавать горячую воду в трубы отопительной системы по два часа в день до... осмелюсь предположить... начала мая. Но тогда у нас не останется угля для плавания. А если принимать в расчет количество топлива на одном только «Терроре», нам придется прекратить обогрев жилой палубы к середине или концу апреля.

– Благодарю вас, мистер Томпсон, – сказал Крозье негромким голосом, не выдававшим никаких эмоций. – Лейтенант Литтл и мистер Пеглар, будьте любезны дать свою оценку состоянию «Террора».

Литтл кивнул и несколько мгновений смотрел в стол, прежде чем

снова поднять взгляд на капитана.

– Мы пострадали не так сильно, как «Эребус», но давление льда причинило значительные повреждения корпусу, элементам внутренней конструктивной защиты, наружной металлической обшивке и рулю. Некоторые из вас знают, что перед Рождеством лейтенант Ирвинг обнаружил, что у нас не только большая часть брони по правому борту утрачена, но и десятидюймовая дубовая обшивка в носовой части прогнулась и треснула на уровне канатного ящика в трюмной палубе; и впоследствии мы обнаружили, что дубовое днище толщиной тринадцать дюймов дало разной величины трещины в двадцати или тридцати местах. Мы заменили и укрепили доски обшивки в носовой части корпуса, но не можем везде добраться до днища, ибо в трюме стоит замерзшая вода... Я думаю, «Террор» поплывет, капитан, – заключил лейтенант Литтл, – но я не могу обещать, что насосы справятся с течью. Особенно после того, как корабль простоит под натиском льда еще четыре или пять месяцев.

Гарри Пеглар прочистил горло. Он явно не привык выступать перед столь многочисленным собранием офицеров.

– Если «Террор» будет держаться на плаву, сэр, марсовая команда установит стеньги, такелаж и паруса в течение двух суток после вашего приказа. Я не могу гарантировать, что нам удастся пройти на парусах через толстый лед, какой мы видели, когда двигались в южном направлении, но, если под нами будет чистая вода, мы снова сможем идти под парусами. И если мне будет позволительно дать совет, сэр... я считаю, что с установкой стеньг лучше не тянуть.

– Вы не опасаетесь, что под натиском наступающего льда корабль опрокинется? – спросил Крозье. – Или что куски льда будут сыпаться с мачт на людей, находящихся на палубе? У нас впереди еще несколько метельных месяцев, Гарри.

– Так точно, сэр, – сказал Пеглар. – И вероятность опрокидывания всегда дает повод для тревоги, даже если наш корабль, столь сильно наклоненный, перевернется здесь на льду. Но я все же считаю, что лучше установить стеньги и такелаж заранее – на случай неожиданной оттепели. Может статься, нам придется сняться с якоря в считанные минуты, сэр. И мачтовым матросам необходима практика и тренировка, сэр. А что касается падающих на палубу кусков льда... ну, это просто будет еще одно обстоятельство, которое заставит нас держать ухо востро и смотреть в оба. В дополнение к нашей злобной зверюшке.

Несколько мужчин за столом хихикнули. Доклады Литтла и Пеглара, в целом обнадеживающие, несколько разрядили напряженную атмосферу.

Мысль, что хотя бы один из двух кораблей сможет идти под парусами, ободрила людей. Крозье показалось, что в кают-компании стало теплее, – и возможно, так оно и было, поскольку все собравшиеся там, казалось, перевели дух и снова задышали свободно.

– Благодарю вас, мистер Пеглар, – сказал Крозье. – Похоже, если мы собираемся уплыть отсюда, всем нам – обоим командам – придется воспользоваться «Террором».

Никто из присутствующих офицеров не заметил вслух, что именно это Крозье предлагал сделать восемнадцать с лишним месяцев назад. Все присутствующие офицеры, похоже, подумали об этом.

– Давайте поговорим о нашей злобной зверюшке, – сказал Крозье. – Она вроде не появлялась в последнее время.

– С первого января ко мне в лазарет не поступал ни один раненый, – сказал Гудсир. – И никто не погиб и не пропал со времени карнавальной ночи.

– Но люди видели что-то, – сказал лейтенант Дево. – Какое-то крупное существо среди сераков. И вахтенные слышали какие-то звуки в темноте.

– Вахтенные вечно слышат какие-то звуки в темноте, – сказал лейтенант Литтл. – Начиная с античных времен.

– Возможно, оно ушло, – предположил лейтенант Ирвинг. – Мигрировало. На север. Или на юг.

Все снова погрузились в молчание, обдумывая слова Ирвинга.

– Возможно, оно сожрало достаточно людей, чтобы понять, что мы не шибко вкусные, – сказал ледовый лоцман Блэнки.

Несколько мужчин улыбнулись. В устах любого другого подобная мрачная шутка показалась бы недопустимой, но мистер Блэнки дважды пострадал от клыков и когтей зверя, потерял сначала ступню, а потом ногу по колено – и тем самым заслужил известные привилегии.

– Мои люди искали зверя согласно приказам капитана Крозье и капитана Фицджереймса, – подал голос сержант Тозер. – Мы подстрелили нескольких медведей, но все они недостаточно крупные для... нашего существа.

– Надеюсь, ваши люди стреляли более метко, чем в карнавальную ночь, – заметил Синклер, марсовый старшина «Эребуса».

Тозер метнул на него недобрый взгляд.

– Такого больше не повторится, – сказал Крозье. – А пока нам следует исходить из предположения, что зверь по-прежнему жив и здоров и еще вернется. При планировании любых наших действий за пределами кораблей мы должны предусмотреть некий способ защиты от него. У нас

недостаточно морских пехотинцев, чтобы обеспечить охрану каждого санного отряда, – особенно если они вооружены и не тащат сани, – и потому, вероятно, нам останется лишь вооружить все отряды и увеличить численность каждого на несколько человек, чтобы все люди поочередно могли выполнять обязанности часовых и охранников. Даже если летом лед снова не вскрыется, при постоянном дневном свете передвигаться по замерзшему морю будет легче.

– Прошу прощения за прямоту, капитан, – сказал доктор Гудсир, – но главный вопрос заключается в том, можем ли мы позволить себе ждать до лета, прежде чем решить, следует ли нам покинуть корабли?

– А как по-вашему, доктор? – спросил Крозье.

– Мне так не кажется, – сказал врач. – У нас испортилось больше консервированных продуктов, чем мы думали. Все прочие продовольственные припасы подходят к концу. В настоящее время пищевой рацион уже значительно ниже нормы, необходимой для людей, ежедневно занятых физическим трудом на корабле или на льду. Все неуклонно теряют в весе и слабеют. Добавьте к этому резкое увеличение количества случаев цинги и... в общем, джентльмены, я просто считаю, что мало у кого на «Эребусе» или на «Терроре» – если сами корабли продержатся такой срок – останутся силы, чтобы совершить любой санный поход, если мы станем ждать таяния льдов до июня или июля.

В кают-компании снова воцарилось молчание.

В наступившей тишине Гудсир добавил:

– Вернее, у немногих из нас вполне могут остаться силы, чтобы тащить по льду сани и лодки в надежде спастись или добраться до цивилизованного мира, но им придется бросить умирать голодной смертью подавляющее большинство остальных.

– Здоровые и выносливые могли бы отправиться за подмогой и привести спасательные отряды к кораблям, – сказал лейтенант Левеконт.

Теперь подал голос ледовый лоцман Томас Блэнки:

– Любой, кто двинется в южном направлении – чтобы, скажем, дотащить по льду шлюпки до устья реки Рыбная, а потом пройти вверх по ней еще восемьсот пятьдесят миль на юг, до Большого Невольничьего озера, где находится фактория, – доберется дотуда в лучшем случае только к концу осени или к началу зимы и не сможет вернуться обратно с сухопутным спасательным отрядом раньше августа сорок девятого года. К тому времени все оставшиеся на кораблях умрут от цинги и голода.

– Мы можем нагрузить сани и все вместе двинуться на восток, к Баффинову заливу, – сказал старший помощник Дево. – Там могут

оказаться китобойные суда. Или даже спасательные корабли и санные отряды, уже ищущие нас.

– Так точно, – сказал Блэнки. – Это вариант. Но нам придется тащить сани сотни миль по открытому замерзшему морю, со всеми торосными грядами и, возможно, разводьями. Или же двигаться вдоль берега – а это путь в тысячу двести миль с лишним. А затем нам придется пересечь полуостров Бутия, со всеми горами и прочими препятствиями, чтобы достичь восточного побережья, где могут оказаться китобойцы. Одно я знаю наверное: если лед не вскрыется здесь, он не вскрыется и на нашем пути на северо-восток, к Баффинову заливу.

– Груз будет значительно легче, если мы возьмем только сани с провизией и палатками, отправляясь на северо-восток, к Бутии, – сказал лейтенант Ходжсон. – Одна шлюпка весит самое малое шестьсот фунтов.

– Более восьмисот фунтов, – тихо заметил Крозье. – Без поклажи.

– Прибавьте к этому шестьсот с лишним фунтов на сани, способные выдержать тяжесть шлюпки, – сказал Томас Блэнки, – и получится, что каждой упряжной команде придется тащить груз весом от четырнадцати до пятнадцати сотен фунтов, – и это только вес шлюпки и саней, не считая продовольствия, палаток, оружия, одежды и прочих вещей, которые нам придется взять с собой. Никто никогда не преодолевал с таким грузом расстояние свыше тысячи миль – причем по открытому морскому льду, коли мы направимся к Баффинову заливу.

– Но тащить сани по льду – особенно если мы тронемся в путь в марте или апреле, пока лед не станет рыхлым и вязким, – все же легче, чем по слякоти, – сказал лейтенант Левеконт.

– Я предлагаю оставить шлюпки и отправиться к Баффинову заливу налегке, взяв только сани и самые необходимые припасы, – сказал Чарльз Дево, сидевший рядом с Левеконтом. – Если мы достигнем восточного побережья острова Сомерсет до окончания китобойного сезона, нас непременно подберет какое-нибудь судно. И я готов побиться об заклад, что там окажутся спасательные корабли и поисковые санные отряды.

– Если мы оставим шлюпки, – сказал ледовый лоцман Блэнки, – первая же протяженная полоса чистой воды станет для нас непреодолимым препятствием. Мы все умрем там на льду.

– А почему, собственно говоря, спасатели должны оказаться у восточного побережья острова Сомерсет и полуострова Бутия? – спросил лейтенант Литтл. – Если они ищут нас, разве они не проследуют нашим курсом, через пролив Ланкастер к островам Девон, Бичи и Корнуоллис? Всем известно, какие приказы получил сэр Джон касательно пути

следования. Они предположат, что мы прошли через пролив Ланкастер, поскольку он почти всегда свободен от льда летом. У нас нет шансов преодолеть такое огромное расстояние, двигаясь на север.

– Возможно, в этом году ледовая обстановка в проливе Ланкастер такая же скверная, как здесь, – сказал ледовый лоцман Рейд. – Тогда поисковые экспедиции задержатся южнее, у восточных берегов Сомерсета и Бутии.

– Может, они найдут послания, оставленные нами в пирамидах на Бичи, коли доберутся дотуда, – сказал сержант Тозер. – И пошлют санные отряды вслед за нами.

Наступило гробовое молчание.

– Мы не оставили никаких посланий на Бичи, – наконец сказал капитан Фицджереймс.

В тишине, последовавшей за этими словами, Френсис Родон Мойра Крозье ощутил жжение странного, жаркого, чистого пламени в своей груди. Ощущения примерно такие, какие он испытал бы от первого глотка виски после многодневного воздержания, но одновременно совершенно другие.

Крозье хотел жить. Вот и все. Он был исполнен решимости жить дальше. Он собирался пережить эту черную полосу вопреки всем враждебным обстоятельствам и богам, говорящим, что он не в силах сделать этого и не сделает. Этот огонь горел у него в груди даже в мучительные, тошнотворные часы и дни, следовавшие за лихорадочной схваткой со смертью в начале января. Этот огонь разгорался все сильнее с каждым днем.

Возможно, лучше любого другого человека, сегодня сидевшего за длинным столом в кают-компании, Френсис Крозье понимал неосуществимость обсуждаемых планов. Было безумием направляться на юг, к реке Большая Рыбная. Было безумием направляться к острову Сомерсет, надеясь преодолеть тысячу двести миль прибрежного льда с торосными грядами и открытыми каналами и пересечь неисследованный полуостров. Было безумием рассчитывать, что лед вскрыется летом и позволит «Террору» – с двумя командами на борту и без продовольственных припасов – вырваться из западни, в которую завел их сэр Джон.

И тем не менее Френсис Крозье был исполнен решимости выжить. Огонь горел у него в груди, точно крепкий ирландский виски.

– Так мы отказались от мысли выплыть отсюда? – спросил Роберт Синклер.

Джеймс Рейд, ледовый лоцман «Эребуса», ответил:

– Нам пришлось бы проплыть почти триста миль на север, к безымянному проливу и проливу, открытому сэром Джоном, потом пройти через проливы Барроу и Ланкастер, а потом повернуть на юг и пересечь Баффинов залив, прежде чем лед снова сомкнется вокруг нас. В свое время при движении на юг мы пробивались через льды с помощью парового двигателя и брони. Даже если сейчас лед растает до такого состояния, в каком находился летом два года назад, мы не сможем преодолеть столь значительное расстояние под одними только парусами. И с ослабленным корпусом, лишенным металлической защиты.

– Возможно, в этом году лед растает гораздо сильнее, чем в сорок шестом, – сказал Синклер.

– Возможно, у меня из задницы выскочит стая мартышек, – сказал Томас Блэнки.

Никто из офицеров не сделал замечания ледовому лоцману, принимая во внимание его тяжелое увечье.

– Есть еще один вариант... как выплыть отсюда, я имею в виду, – сказал лейтенант Эдвард Литтл.

Взоры всех присутствующих обратились к нему. Многие мужчины сумели приберечь по несколько порций табака, добавляя к оному самые немыслимые примеси, и сейчас с полдюжины курили трубки. От дыма в темной кают-компании, слабо освещенной неверным огнем масляных ламп, стало еще темнее.

– Прошлым летом лейтенант Гор говорил, что вроде бы заметил землю к югу от Кинг-Уильяма, – продолжал Литтл. – Если он не ошибся, это должен быть полуостров Аделаида – исследованная территория, – где часто остается полоса чистой воды между припайным льдом и паковым. Если летом откроется достаточно разводий, чтобы «Террор» получил возможность пройти на юг – вероятно, всего лишь сотню с небольшим миль вместо трехсот, которые придется преодолеть, если возвращаться обратно через пролив Ланкастер, – мы смогли бы пройти по открытым каналам вдоль побережья на запад и достичь Берингова пролива. А за ним начинается исследованная территория.

– Северо-Западный морской проход, – сказал третий лейтенант Джон Ирвинг. Таким тоном, словно произнес магическую формулу.

– Но останутся ли у нас к концу лета здоровые люди, способные управлять кораблем? – спросил доктор Гудсир очень тихим голосом. – К маю цинга может поразить всех нас. И чем мы будем питаться в течение недель или месяцев нашего пути на запад?

– Дальше на запад наверняка будет больше дичи, – сказал сержант

морской пехоты Тозер. – Мускусные быки. Большие олени. Моржи. Песцы. Может статься, мы будем питаться не хуже турецких пашей к тому времени, когда достигнем Аляски.

Крозье почти ожидал, что Томас Блэнки скажет: «Может статься, у меня из задницы выскочит стадо мускусных быков», но, обычно бойкий на язык, ледовый лоцман промолчал, погруженный в свои мысли.

Вместо него заговорил лейтенант Литтл:

– Сержант, проблема состоит в том, что, даже если животные вдруг чудесным образом вернутся после двухлетнего отсутствия, никто из нас не умеет метко стрелять из мушкета... исключая ваших людей, разумеется. Но нескольких оставшихся в живых морских пехотинцев недостаточно для охоты. И похоже, никто из нас никогда не охотился на дичь крупнее птицы. Можно ли из дробовика убить животных, упомянутых вами?

– Если подойти на достаточно близкое расстояние, – угрюмо ответил Тозер.

Крозье пресек обсуждение данной темы, заговорив о другом:

– Доктор Гудсир высказал совершенно верное соображение немногим ранее: если мы станем ждать до середины лета или даже до июня, чтобы посмотреть, вскрыется ли лед, возможно, к тому времени все мы будем слишком больны и голодны, чтобы управлять кораблем. И тогда у нас точно останется слишком мало провианта, чтобы отправляться в санный поход. Мы должны исходить из предположения, что путешествие через замерзшее море к Баффинову заливу или вверх по реке Большая Рыбная займет у нас три или четыре месяца, а следовательно, если мы собираемся покинуть корабли и двинуться в путь в надежде добраться либо до Большого Невольничьего озера, либо до восточного побережья острова Сомерсет или Бутии, мы явно должны выступить еще до июня. Но когда именно?

Снова воцарилось тяжелое молчание.

– Я бы предложил – не позднее первого мая, – наконец сказал лейтенант Литтл.

– Раньше, – сказал доктор Гудсир, – если только мы не найдем способ добывать свежее мясо в ближайшее время и болезнь не перестанет распространяться с такой скоростью, как сейчас.

– Насколько раньше? – спросил капитан Фицджереймс.

– Не позже середины апреля, – сказал Гудсир.

Мужчины, окутанные облаками табачного дыма, переглянулись. Это меньше чем через два месяца.

– И еще раньше, если положение станет хуже.

– Как оно может стать хуже? – спросил второй лейтенант Ходжсон.

Молодой человек предполагал пошутить, чтобы разрядить напряженную атмосферу, но был вознагражден мрачными и сердитыми взглядами.

Крозье не хотел заканчивать военный совет на такой ноте. Офицеры, мичманы, унтер-офицеры и судовой врач за столом оценили все шансы на спасение и убедились (как и ожидал Крозье), что они ничтожны, но он не хотел, чтобы представители командного состава кораблей пали духом пуще прежнего. Крозье, всю свою жизнь страдавший меланхолией, не желал, чтобы она поразила еще кого-нибудь.

– Кстати, – сказал он, – капитан Фицджереймс решил провести богослужение на «Эребусе» в следующее воскресенье – он прочитает особую проповедь, которую мне не терпится услышать, хотя из достоверного источника я знаю, что текст будет взят не из Книги Левиафана, – и я подумал, что, раз уж обе команды соберутся вместе, надо бы выдать людям нормальные порции грога и приготовить полноценный обед.

Мужчины заулыбались и стали оживленно переговариваться. Никто из них не рассчитывал сообщить своим подчиненным добрые новости после совещания.

Фицджереймс чуть приподнял бровь. Он, понятное дело, впервые услышал о своей «особой проповеди» и воскресном богослужении, которое должно состояться через пять дней, но Крозье предположил, что отощавшему капитану пойдет на пользу, если он для разнообразия займется каким-нибудь делом и станет центром внимания. Фицджереймс едва заметно кивнул.

– Прекрасно, джентльмены, – сказал Крозье несколько более официальным тоном. – Наш обмен мнениями и сведениями оказался весьма полезным. Мы с капитаном Фицджереймсом, вероятно, еще посоветуемся наедине с несколькими из вас, прежде чем принять окончательное решение касательно наших дальнейших действий. Все офицеры с «Эребуса» могут отправляться обратно на свой корабль до захода солнца. Удачи вам, джентльмены. Увидимся в воскресенье.

Мужчины один за другим покинули кают-компанию. Фицджереймс обогнул стол, наклонился к Крозье и прошептал: «Возможно, я попрошу у вас на время Книгу Левиафана, Френсис», после чего проследовал за своими людьми к трапу, где они влезали в свои обледенелые шинели.

Офицеры «Террора» вернулись к выполнению своих обязанностей. Несколько минут капитан сидел в своем кресле во главе стола, размышляя о предметах, обсуждавшихся в ходе совещания. Огонь в его ноющей груди

горел жарче, чем когда-либо.

– Капитан?

Крозье поднял глаза. Это был старый вестовой с «Эребуса»... Бридженс. Он помогал Гибсону убирать со стола оловянные тарелки и чашки.

– О, вы можете идти, Бридженс, – сказал Крозье. – Ступайте со всеми остальными. Гибсон обо всем позаботится. Нам не нужно, чтобы вы возвращались на «Эребус» в одиночестве.

– Есть, сэр, – сказал старый офицерский вестовой. – Но я хотел спросить, нельзя ли мне переговорить с вами, капитан?

Крозье кивнул. Он не предложил вестовому сесть. Он всегда чувствовал себя неловко в обществе пожилого мужчины – слишком старого для участия в экспедиции. Если бы три года назад решение принимал Крозье, Бридженса ни за что не включили бы в список личного состава – и, уж конечно, не записали бы под видом молодого человека двадцати шести лет от роду, чтобы одурачить комиссию, – но сэру Джону показалось забавным иметь на борту вестового старше его годами, вот и все дела.

– Я не мог не слышать, капитан Крозье, как вы здесь обсуждали три возможных варианта действий: остаться на кораблях в надежде на таяние льдов, направиться на юг к реке Рыбная или двинуться по льду к Бутии. Если капитан не возражает, я бы хотел предложить четвертый вариант.

Капитан возражал. Даже такой горячий приверженец равноправия и по жизни обиженный и обойденный ирландец, как Френсис Крозье, слегка возмущился при мысли, что какой-то вестовой вознамерился давать ему советы по жизненно важным вопросам. Но он сказал:

– Продолжайте.

Вестовой подошел к книжному стеллажу, встроенному в кормовую переборку, взял с полки два толстых тома и с глухим стуком положил на стол:

– Вам известно, капитан, что в тысяча восемьсот тридцать девятом году сэр Джон Росс со своим племянником Джеймсом прошли на корабле «Виктори» вдоль восточного побережья открытого ими полуострова, ныне носящего название Бутия.

– Мне прекрасно известно это, мистер Бридженс, – холодно сказал Крозье. – Я хорошо знаю сэра Джона и его племянника сэра Джеймса.

После пяти лет, проведенных в антарктических льдах с Джеймсом Кларком Россом, подумал Крозье, он явно преуменьшает степень знакомства.

– Да, сэр. – Бридженс кивнул, но не выказал смущения. – В таком

случае, я уверен, вы знаете все обстоятельства их экспедиции. Они провели четыре зимы во льдах. В первую зиму сэр Джон стал на якорь в заливе, названном им Феликс-харбор, у восточного побережья Бутии... почти прямо на восток отсюда.

– Вы сами участвовали в той экспедиции, мистер Бридженс? – спросил Крозье, желая поскорее закончить разговор.

– Не имел такой чести, капитан. Но я прочитал два этих толстых тома, написанные сэром Джоном о своей экспедиции. Интересно знать, нашлось ли у вас время сделать то же самое, сэр?

Крозье почувствовал, как в душе у него закипает ирландский гнев. Дерзость старого вестового граничила с наглостью.

– Разумеется, я просмотрел книги, – холодно сказал он. – У меня не было времени прочитать внимательно. Это имеет какое-то отношение к делу, мистер Бридженс?

Любой другой офицер, мичман, унтер-офицер, матрос или морской пехотинец, служащий под командованием Крозье, уже все понял бы и сейчас, кланяясь, пятился бы к двери, но Бридженс, похоже, не замечал раздражения начальника экспедиции.

– Да, капитан, – сказал старик. – Дело в том, что Джон Росс...

– Сэр Джон, – перебил Крозье.

– Конечно. Сэр Джон Росс тогда оказался в ситуации, очень похожей на нашу нынешнюю, сэр.

– Чепуха. «Виктори» затерло льдами у восточного побережья Бутии, Бридженс, именно там, куда нам хотелось бы добраться, коли у нас хватит времени и необходимых средств. В сотнях миль к востоку отсюда.

– Да, сэр, но на этой же широте, хотя благодаря полуострову Бутия «Виктори» не пришлось столкнуться с проклятым паковым льдом, постоянно идущим с северо-запада. Но они провели там три зимы, капитан. Джеймс Росс прошел с санным отрядом свыше шестисот миль на запад – через Бутию и замерзшее море до острова Кинг-Уильям, который находится всего в двадцати пяти милях к юго-востоку от нас, капитан. Он дал мысу название Виктори-Пойнт... тому самому мысу с каменной пирамидой, куда ходил бедный лейтенант Гор прошлым летом, до своей прискорбной гибели.

– По-вашему, я не знаю, что сэр Джеймс открыл остров Кинг-Уильям и дал название мысу Виктори-Пойнт? – осведомился Крозье звенящим от раздражения голосом. – В ходе той экспедиции он также открыл чертов северный магнитный полюс, Бридженс. Сэр Джеймс является... являлся... самым выдающимся полярным ходоком на длинные дистанции.

– Да, сэр, – сказал Бридженс.

При виде слабой улыбки, тронувшей губы вестового, Крозье захотелось его ударить. Капитан знал – знал еще до отплытия, – что старик всем известный содомит, по крайней мере на берегу. Крозье на дух не переносил содомитов.

– Я хочу сказать, капитан Крозье, что после трех зим во льдах, когда его люди болели цингой так тяжело, как будут болеть наши к лету, сэр Джон решил, что им не выбраться из льдов и затопил «Виктори» на глубине десяти фатомов там, у восточного побережья Бутии, прямо к востоку от нас, и они направились на север, где капитан Парри оставил продовольственные припасы и шлюпки...

Крозье понял, что может повесить этого человека, но не может его заткнуть. Он молча смотрел на Бридженса и слушал.

– Как вы помните, капитан, Парри оставил припасы и шлюпки на Фьюри-бич. Росс проплыл на шлюпках вдоль берега на север, к мысу Кларенс, со скал которого открывался вид на проливы Барроу и Ланкастер, где они надеялись найти китобойные суда... но Ланкастер был скован льдом, сэр. Лето в тот год выдалось такое же холодное, какими были два наших последних лета и, возможно, будет следующее.

Крозье ждал. Впервые со времени своей январской смертельной болезни он мечтал о стаканчике виски.

– Они вернулись к Фьюри-бич и провели там четвертую зиму, капитан. Больные цингой люди находились при смерти. В июле следующего лета... в тысяча восемьсот тридцать третьем, через четыре года после того, как они вошли во льды там... они направились в шлюпках на север, а потом повернули на восток и уже прошли по проливу Ланкастер мимо бухты Адмиралтейства и бухты Нэви-Бод, когда утром двадцать пятого августа Джеймс Росс... сэр Джеймс... увидел вдаль парусное судно. Они махали руками, кричали и запускали сигнальные ракеты. Корабль скрылся за горизонтом на востоке.

– Я помню, сэр Джеймс упоминал об этом случае, – сухо сказал Крозье.

– Да, капитан, несколько в этом не сомневаюсь. – Бридженс снова улыбнулся своей слабой улыбкой, дико раздражавшей Крозье. – Но ветер стих, и люди гребли как сумасшедшие, сэр, и они все-таки нагнали китобойца. Это оказалась «Изабелла», капитан, – корабль, которым сэр Джон командовал в тысяча восемьсот восемнадцатом году... Сэр Джон, сэр Джеймс и команда «Виктори» провели четыре зимы во льдах на нашей широте, капитан, – продолжал Бридженс. – И у них умер только один

человек – плотник Томас, страдавший расстройством пищеварения и предрасположенный к болезням.

– К чему вы ведете? – спросил Крозье бесцветным голосом.

Он знал, что за время его нахождения в должности начальника экспедиции они потеряли свыше дюжины человек.

– На Фьюри-бич по-прежнему остались продовольственные припасы и шлюпки, – сказал Бридженс. – И мне кажется, любая спасательная экспедиция, посланная за нами, оставит там еще несколько шлюпок и запас провианта. Адмиралтейство наверняка в первую очередь подумает о Фьюри-бич как о месте, где надлежит оставить провиант для нас и для следующих поисковых экспедиций. Такое решение предопределяется фактом спасения сэра Джона.

Крозье вздохнул:

– Вы способны предугадывать ход мыслей Адмиралтейства, Бридженс?

– Иногда – да, – сказал старик. – Такая способность выработалась у меня за несколько десятков лет. Когда имеешь дело с дураками, спустя какое-то время начинаешь понимать ход их мыслей.

– Вы свободны, вестовой Бридженс, – отрезал Крозье.

– Слушаюсь, сэр. Но прочитайте эти два тома, капитан. Сэр Джон все подробно описывает здесь. Как выжить во льдах. Как бороться с цингой. Как отыскать и привлечь к охоте эскимосских аборигенов. Как строить маленькие дома из снега...

– Вы свободны, вестовой!

– Слушаюсь, сэр.

Бридженс козырнул и повернулся к двери, но прежде подтолкнул два толстых тома поближе к Крозье.

Капитан сидел один в выстуженной кают-компании еще минут десять. Он прислушивался к топоту ног по трапу и верхней палубе: люди с «Эребуса» покидали корабль. Потом сверху донеслись прощальные крики офицеров «Террора», желавших своим товарищам счастливого пути. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь приглушенным гулом голосов и стуком оловянных тарелок и кружек: матросы усаживались за ужин с порцией грога. Потом Крозье услышал треск талей: столы в кубрике поднимали обратно к бимсам. Он услышал, как его офицеры с топотом спускаются по трапу, вешают на крюки шинели и направляются в свою столовую. Сегодня за ужином они переговаривались оживленнее, чем за завтраком.

Наконец Крозье встал – с трудом двигая окоченевшими от холода и

болезненно ноющими ногами, – взял со стола два увесистых тома и аккуратно поставил обратно на полку стеллажа, встроенного в кормовую переборку.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

6 марта 1848 г.

Врач проснулся от криков и воплей.

С минуту он не мог сообразить, где находится, а потом вспомнил: в бывшей кают-компании сэра Джона, где ныне размещался лазарет «Эребуса». Все масляные лампы были погашены, и темноту рассеивал лишь свет, проникавший из коридора через открытую дверь. Гудсир заснул на свободной койке – на других койках спали семь тяжелых цинготных больных и один мужчина с камнями в почках. Последний был оглушен опиумом.

Гудсиру снилось, что его пациенты пронзительно кричат перед смертью. В его сне они умирали, потому что он не мог их спасти. Получивший образование анатома, Гудсир хуже трех других экспедиционных врачей, ныне покойных, разбирался в главном деле военно-морских врачей: прописывании таблеток, микстур, трав и пилюль. Доктор Педди однажды объяснил Гудсиру, что многие медицинские препараты бесполезны в случаях специфических болезней, поражающих моряков, и в основном служат лишь для интенсивного очищения желудка или кишечника, и чем сильнее слабительное, тем больше верят матросы в эффективность лечения. По утверждению покойного Педди, именно вера в медицинскую помощь помогает матросам исцелиться. В большинстве случаев, когда речь не идет о хирургическом вмешательстве, либо тело исцеляется само, либо пациент умирает.

Гудсиру снилось, что все они умирали – и пронзительно кричали перед смертью.

Но крики звучали наяву. Похоже, они доносились с нижней палубы.

Генри Ллойд, помощник Гудсира, вбежал в лазарет, с торчащим из-под свитеров подолом рубахи. Молодой человек держал в руке фонарь, и врач увидел, что тот в одних носках, без башмаков. Очевидно, он выскочил из подвесной койки и сразу бросился в лазарет.

– Что происходит? – прошептал Гудсир.

Доносящиеся снизу крики не разбудили больных.

– Капитан велел вам подойти к главному трапу, – сказал Ллойд. Он не

попытался понизить голос, звенящий от ужаса.

– Тш-ш, – прошипел Гудсир. – Что случилось, Генри?

– Чудовище проникло на корабль, доктор! – выкрикнул Ллойд, стуча зубами. – Оно внизу! Оно убивает людей там!

– Присмотрите за больными, – распорядился Гудсир. – Сходите за мной, если кто-нибудь из них проснется и почувствует себя хуже. И подите наденьте башмаки и верхнюю одежду.

Врач двинулся по коридору к трапу, проталкиваясь через толпу мичманов и унтер-офицеров, которые высыпали из своих кают, на ходу натягивая одежду. Капитан Фицджереймс стоял с Левеконтом у открытого люка. Он сжимал в руке пистолет.

– Доктор, там внизу раненые. Вы пойдете с нами, когда мы спустимся за ними. Вам надо тепло одеться.

Гудсир молча кивнул.

Старший помощник Дево спустился по трапу с верхней палубы. У Гудсира на миг перехватило дыхание, когда на него накатила волна ледяного воздуха. Последнюю неделю бушевали сильные метели и стояли небывалые для весны морозы – порой снова доходящие до ста градусов. Врач не имел возможности проводить положенное время на «Терроре». По такой непогоде сообщения между двумя кораблями не было.

Дево стряхнул снег с шинели.

– Трое вахтенных ничего не видели, капитан. Я велел им оставаться на посту и быть в полной боевой готовности.

Фицджереймс кивнул:

– Нам понадобится оружие, Чарльз.

– Сегодня мы выдали только три дробовика, которые находятся у вахтенных на палубе, – сказал Дево.

Снизу снова донесся истошный вопль. Гудсир не понял, доносится ли он из средней палубы или из трюмной, расположенной ниже. Похоже, внизу были открыты оба люка.

– Лейтенант Левеконт, – пролаял Фицджереймс, – возьмите трех людей, спуститесь через люк в офицерской столовой в винную кладовую и возьмите там столько мушкетов и дробовиков – а также сумок с патронами, порохом и дробью, – сколько сумеете унести. Я хочу, чтобы все люди здесь, в жилой палубе, были вооружены.

– Есть, сэр.

Левеконт поочередно ткнул пальцем в трех матросов, и они вчетвером принялись проталкиваться через толпу, собравшуюся в темном коридоре.

– Чарльз, – обратился Фицджереймс к старшему помощнику, – зажгите

фонари. Мы спускаемся вниз. Коллинз, вы идете с нами. Мистер Данн, мистер Браун – вы тоже.

– Есть, сэр, – хором откликнулись помощник конопатчика и боцманмат.

Генри Коллинз, второй лоцман, спросил:

– Без оружия, сэр? Вы хотите, чтобы мы спустились вниз без оружия?

– Возьмите ножи, – сказал Фицджереймс. – У меня есть это. – Он поднял однозарядный пистолет. – Держитесь за мной. В скором времени лейтенант Левеконт последует за нами с группой вооруженных людей и принесет оружие для нас. Доктор, вы тоже держитесь рядом со мной.

Гудсир молча кивнул. Он надевал свою – или чужую – шинель и никак не мог попасть рукой в рукав, точно малый ребенок.

Фицджереймс – в одной только потрепанной куртке, надетой поверх рубашки, и без перчаток – взял у Дево фонарь и начал быстро спускаться по трапу. Откуда-то снизу донесся грохот тяжелых ударов и треск, словно кто-то крушил там переборки или стенки корпуса. Истошные вопли больше не раздавались.

Гудсир вспомнил приказ капитана держаться рядом с ним и ощупью двинулся вниз следом за двумя мужчинами, забыв взять фонарь. Он не прихватил с собой сумку с медицинскими инструментами и бинтами. Браун и Данн грохотали башмаками по ступенькам у него за спиной, а замыкал шествие безостановочно чертыхающийся Коллинз.

Средняя палуба находилась всего семью футами ниже жилой, но казалась совершенно другим миром. Гудсир почти никогда не спускался сюда. Фицджереймс и старший помощник стояли поодаль от трапа, светя фонарями по сторонам. Врач осознал, что температура воздуха здесь должна быть градусов на сорок ниже, чем в жилой палубе, где они ели и спали, – а средняя температура воздуха на жилой палубе теперь была ниже нуля.

Грохот и треск прекратились. Фицджереймс приказал Коллинзу замолчать, и пятеро мужчин окружили люк, ведущий в трюм. Все, кроме Гудсира, взяли с собой фонари и теперь светили вниз, хотя тусклые лучи рассеивали туманную морозную мглу лишь в радиусе нескольких футов. Пар от дыхания висел перед ними пеленой ледяных кристаллов. Частый топот ног в жилой палубе, казалось, доносился до них с расстояния многих миль.

– Кто там дежурил сегодня ночью? – шепотом спросил Фицджереймс.

– Мистер Грегори и один кочегар, – ответил Дево. – Кажется, Кауи. А может, Плейтер.

– И мистер Уикс со своим помощником Уотсоном, – возбужденно прошептал Коллинз. – Они там работали всю ночь, заделывали пролом в корпусе по правому борту, рядом с угольным бункером.

Внизу раздался рев. Он звучал в сотню раз громче и свирепее, чем любой другой рев, какой Гудсиру доводилось слышать, – чем даже тот, что донесся из черного зала в полночь во время карнавала. Мощный звук отразился от всех шпангоутов, металлических конструкций и переборок в средней палубе. Врач был уверен, что вахтенные в завывающей метельной ночи двумя палубами выше слышат жуткий рев так ясно, как если бы существо находилось на палубе с ними. Яички у него сжались и мошонка попыталась втянуться в тело.

Рев доносился из трюма.

– Браун, Данн, Коллинз! – резко сказал Фицджереймс. – Ступайте в носовую часть и задрайте передний люк. Дево, Гудсир, следуйте за мной.

Фицджереймс засунул пистолет за пояс и, держа фонарь в одной руке, спустился по трапу в темноту.

Гудсиру пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы просто не обмочиться. Дево быстро спустился вниз за капитаном, и только чувство стыда при мысли, что он не последует за ними, в сочетании со страхом, что он останется здесь один в темноте, заставило дрожащего врача двинуться вслед за старшим помощником. Руки и ноги у него были как деревянные, и Гудсир знал, что онемели они не от холода, а от страха.

У подножья трапа – в холодном мраке, более непроницаемом и ужасном, чем любая арктическая тьма снаружи, – капитан и старший помощник стояли, держа фонари в левой руке. Фицджереймс выставял вперед взведенный пистолет. Дево крепко сжимал обычный корабельный нож. Рука у него дрожала. Никто не шевелился и не дышал.

Тишина. Грохот ударов, треск, крики прекратились.

Гудсиру захотелось завопить. Он чувствовал присутствие какого-то существа в темном трюме. Какого-то огромного и враждебного существа. Оно могло находиться в двенадцати футах от них, сразу за границей тусклого круга света от фонарей.

Вместе с уверенностью, что они здесь не одни, Гудсир почувствовал сильный запах, отдающий медью. Он хорошо знал этот запах. Свежая кровь.

– Сюда, – прошептал капитан и двинулся по узкому коридору вдоль правого борта в сторону кормы.

К котельной.

Масляная лампа, всегда горевшая там, сейчас погасла. Лишь тусклые

красно-оранжевые отсветы горящего в топке угля падали из открытой двери в коридор.

– Мистер Грегори? – Оклик Фицджереймса прозвучал достаточно громко и достаточно неожиданно, чтобы Гудсир снова почувствовал острый позыв к мочеиспусканию. – Мистер Грегори? – повторил капитан.

Ответа не последовало. Со своего места в коридоре врач видел лишь несколько квадратных футов пола котельной и несколько куч рассыпанного угля. Из котельной доносился такой запах, будто там кто-то жарил говядину. У Гудсира, против его воли, потекли слюнки.

– Оставайтесь здесь, – велел Фицджереймс Дево и Гудсиру.

Старший помощник напряженно всмотрелся сначала вперед, потом назад – водя фонарем по широкой дуге, крепко сжимая нож в поднятой руке, – в попытке разглядеть что-нибудь в темном коридоре за пределами освещенного пространства. Гудсиру оставалось лишь стоять на месте, сжимая замерзшие пальцы в кулак. От почти забытого запаха жарящегося мяса рот у него наполнился слюной и желудок заурчал, несмотря на владевший им страх.

Фицджереймс завернул за косяк и скрылся в котельной.

Целую вечность, продолжавшуюся от пяти до десяти секунд, оттуда не доносилось ни звука. Потом тихий голос капитана буквально прогремел в тишине:

– Мистер Гудсир, войдите, пожалуйста.

В помещении находились два человеческих тела. В одном врач опознал инженера мистера Грегори. У него были выпущены внутренности. Труп лежал в углу у кормовой переборки, но серые ленты кишок валялись по всему полу котельной, точно праздничные гирлянды. Гудсиру приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить на них. Второе тело – коренастый мужчина в синем свитере – лежало на животе, с вытянутыми вдоль боков и повернутыми ладонями вверх руками, головой и плечами в топке котла.

– Помогите мне вытащить его, – сказал Фицджереймс.

Врач схватил мужчину за левую ногу и за дымящийся свитер, капитан взял за другую ногу и правую руку, и они вытянули труп из огня. Верхняя челюсть мертвеца на секунду зацепилась за фланец металлической решетки, но потом соскочила с нее, сухо щелкнув зубами.

Гудсир перевернул тело на спину, а Фицджереймс снял куртку и забил язычки пламени, пляшущие в волосах трупа.

У Гарри Гудсира возникло такое ощущение, будто он наблюдает за всем происходящим откуда-то издалека. Профессионал в нем отметил с

отстраненной бесстрастностью, что низкое пламя в полупустой топке выжгло мужчине глаза, дотла сожгло нос и уши и превратило лицо в подобие пережаренного пузырящегося пирога с малиной.

– Вы узнаете его, доктор Гудсир? – спросил Фицджереймс.

– Нет.

– Это Томми Плейтер, – выдохнул Дево, стоявший в дверном проеме. – Я узнал его по свитеру и по сережке, вплавленной в ухо.

– Черт возьми, лейтенант! – рявкнул Фицджереймс. – Стойте на страже в коридоре.

– Есть, сэр, – сказал Дево и вышел прочь.

Гудсир услышал характерные звуки рвоты.

– Я хочу, чтобы вы... – начал капитан, обращаясь к врачу.

Со стороны носа донесся глухой удар страшной силы и такой громкий треск, что Гудсир решил: корабль раскололся пополам.

Фицджереймс схватил фонарь и пулей вылетел за дверь, оставив свою дымящуюся куртку в котельной. Гудсир бросился следом, а Дево устремился за ним. Они пробежали мимо перевернутых бочек и раздавленных упаковочных клетей, а потом протиснулись по узкому проходу между черными железными стенками цистерн, где хранились оставшиеся запасы пресной воды, и сложенными в ряд последними мешками угля.

Когда они пробежали мимо открытой двери угольного бункера, Гудсир бросил взгляд направо и увидел голую человеческую руку, перекинутую через железный порог. Он остановился и наклонился, чтобы рассмотреть, кто там лежит, но лучи света уже скользнули прочь, ибо капитан и старший помощник с фонарями продолжали бежать дальше. Гудсир остался в кромешном мраке – наедине с очередным трупом, надо полагать. Он выпрямился и бросился догонять мужчин.

Снова треск и грохот. Крики, теперь доносившиеся сверху. Выстрел мушкета или пистолета. Еще один выстрел. Дикая вопли. Орали несколько мужчин.

Гудсир, находившийся вне прыгающих кругов света от фонарей, выскочил из узкого коридора на открытое темное пространство и с разбегу налетел на толстый дубовый пиллерс, крепко ударившись головой. Он упал навзничь в полузамерзшую грязную жижу, покрывавшую палубный настил восьмидюймовым слоем. Он отчаянно пытался остаться в сознании, но никак не мог сфокусировать взгляд – фонари казались всего лишь плавающими расплывчатыми оранжевыми пятнами, – и все вокруг дурно пахло нечистотами, угольной пылью и кровью.

– Трапа нет! – выкрикнул Дево.

Теперь, когда в глазах у него перестало двоиться, Гудсир увидел: носовой трап, сколоченный из толстых дубовых досок и способный выдержать нескольких мужчин по двести фунтов весом, несущих на себе стофунтовые мешки с углем, был разнесен в щепки. Обломки досок висели под открытым люком наверху.

Вопли доносились со средней палубы.

– Подсадите меня! – выкрикнул Фицджереймс, который засунул пистолет за пояс, поставил фонарь на пол и теперь пытался ухватиться руками за край люка. Он начал подтягиваться.

Дево наклонился, чтобы подсадить его.

Внезапно над квадратным проемом с ревом полыхнул огонь.

Фицджереймс выругался и упал навзничь в ледяную воду всего в нескольких шагах от Гудсира. Казалось, носовой люк и вся средняя палуба над ним охвачены пламенем.

«Пожар», – подумал Гудсир. Он давно знал, что больше всего моряки боятся пожара – больше, чем боятся утонуть, замерзнуть или потеряться в открытом море, – и сейчас понял почему. Едкий дым заполз в ноздри.

Бежать некуда. Снаружи стоит стоградусный мороз и бушует метель. Если корабль сгорит, они все погибнут.

– Главный трап, – выдохнул Фицджереймс.

Он вскочил на ноги, схватил фонарь и бегом пустился в сторону кормы. Дево последовал за ним.

Гудсир пополз на четвереньках по полузамерзшей жиже, с трудом поднялся, упал, снова пополз, а потом опять встал и побежал следом за удаляющимися огнями фонарей.

По средней палубе прокатился протяжный рев. Раздался треск мушкетных выстрелов, грохнул ружейный залп.

Гудсир хотел остановиться возле угольного бункера, чтобы проверить, жив ли обладатель руки, но, когда он добежал дотуда, там было темно хоть глаз выколи. Он побежал дальше, наталкиваясь на стенки узкого коридора то одним, то другим плечом.

Огни фонарей уже поднимались к средней палубе. Клубы дыма валили из люка вниз.

Гудсир стал взбираться по трапу, получил по лицу башмаком капитана или старшего помощника (он не знал, кто находится перед ним), а потом оказался в средней палубе.

Он не мог дышать. Он ничего не видел. Вокруг него плясали тусклые огни фонарей, но густой дым поглощал лучи света.

Гудсир испытывал острое желание отыскать трап, ведущий в жилую палубу, и вскарабкаться по нему, потом подняться дальше, на свежий воздух, но справа от него – ближе к носу судна – кричали люди, и поэтому он упал на четвереньки. Здесь можно было дышать. Еле-еле. Он увидел оранжевый свет в носовой части, слишком яркий для фонарей.

Гудсир пополз вперед, нашел коридор по левому борту, слева от мучной кладовой, и пополз дальше. Впереди, где-то в дыму, люди забивали огонь одеялами. Одежда загоралась.

– Организуйте подачу воды по цепочке! – прокричал Фицджереймс из-за дымовой завесы впереди. – Передавайте сюда ведра с водой!

– Воды нет, капитан! – провозил голос столь возбужденный, что врач не узнал его.

– Давайте ведра с мочой! – Голос капитана прорезался сквозь дым и шум подобием клинка.

– Моча в них замерзла! – прокричал голос, который Гудсир узнал. Джон Салливан, грот-марсовый старшина.

– Тогда давайте снег! – прокричал Фицджереймс. – Салливан, Синклер, Реддингтон, Сили, Покок, Гитер – выстройте людей цепочкой от верхней палубы до средней. Набирайте полные ведра снега. Засыпайте снегом огонь... – Фицджереймс поперхнулся и сильно закашлялся.

Гудсир поднялся на ноги. Дым яростно вихрился вокруг него, словно кто-то распахнул настежь окно или дверь, потом на секунду расступился, и врач увидел, что творится в пятнадцати-двадцати футах впереди, возле кладовых плотника и боцмана, – ясно увидел языки пламени, лижущие переборки, – но в следующий миг видимость сократилась до двух футов. Все кашляли, и Гудсир присоединился к ним.

На него налетели мужчины, несущиеся к трапу, и Гудсир прижался спиной к переборке, задаваясь вопросом, не следует ли ему подняться в жилую палубу. Здесь от него не было пользы.

Он вспомнил голую руку, переброшенную через порог угольного бункера в трюме. При мысли о том, чтобы снова спуститься в трюм, врача замутило.

«Но чудовище здесь, в средней палубе».

Словно в подтверждение этой мысли, совсем рядом, в десяти футах от врача, разом выстрелили четыре или пять мушкетов. Залп прозвучал оглушительно. Гудсир зажал ладонями уши и упал на колени, вспомнив, как объяснял матросам «Террора», что цинготный больной может умереть от одного только звука выстрела. Он знал, что у него появились первые симптомы цинги.

– Отставить пальбу! – рявкнул Фицджереймс. – Прекратить! Здесь люди!

– Но, капитан... – раздался голос, в котором врач узнал голос капрала Александра Пирсона, самого старшего по званию среди четырех оставшихся морских пехотинцев на «Эребусе».

– Прекратить, я сказал!

Теперь Гудсир видел силуэты лейтенанта Левеконта и морских пехотинцев на фоне огня. Левеконт стоял, а морские пехотинцы, опустившись на одно колено, перезаряжали мушкеты, словно находились в гуще сражения. Врачу показалось, что стенки корпуса, переборки, шпангоут, разбросанные упаковочные клетки и короба в носовой части палубы – все охвачено пламенем. Матросы забивали огонь одеялами и кусками парусины. Искры разлетались в разные стороны.

Из огня навстречу морским пехотинцам и матросам, шатаясь, вышел человек.

– Прекратить пальбу! – проорал Фицджереймс.

– Прекратить пальбу! – эхом повторил Левеконт.

Горящий человек упал на руки Фицджереймсу.

– Мистер Гудсир! – крикнул капитан.

Джон Даунинг, интендант, прекратил сражаться с огнем в коридоре и принялся забивать языки пламени, пляшущие на дымящейся одежде раненого.

Гудсир бросился к Фицджереймсу и подхватил тяжело оседающего на пол мужчину. Правая сторона лица у него почти полностью отсутствовала – не сожженная огнем, а сорванная когтями, с болтающимися лохмотьями кожи и выпавшим из глазницы глазным яблоком, – и по груди справа тянулись параллельные следы когтей, продравших многочисленные слои одежды и глубоко пропоротивших тело. Жилет был насквозь пропитан кровью. Правая рука у мужчины отсутствовала.

Гудсир осознал, что это Генри Фостер Коллинз, второй лоцман, которого Фицджереймс ранее послал в носовую часть средней палубы вместе с Брауном и Данном, боцманматом и помощником конопатчика, чтобы задраить передний люк.

– Мне нужна помощь, чтобы отвести его в операционную, – выдохнул Гудсир.

Коллинз был крупным мужчиной, даже без руки, и теперь наконец ноги подкосились под ним. Врач умудрялся удерживать раненого в вертикальном положении только потому, что прижимал его спиной к переборке мучной кладовой.

– Даунинг! – крикнул Фицджереймс, обращаясь к высокому интенданту,

который сбивал пламя горящим одеялом.

Даунинг отшвырнул одеяло в сторону и подбежал к ним. Не задавая лишних вопросов, интендант перекинул оставшуюся руку Коллинза через свое плечо и сказал:

– После вас, мистер Гудсир.

Врач начал подниматься по трапу, но дюжина мужчин с ведрами пыталась спуститься навстречу.

– Дорогу! – проревел Гудсир. – Раненый поднимается!

Мужчины, толкаясь, отступили обратно наверх.

Пока Даунинг тащил вверх по почти вертикальному трапу Коллинза, теперь лишившегося чувств, Гудсир окинул взором палубу, где все они жили. Матросы застыли на месте и уставились на него. Врач осознал, что он сам, должно быть, походит на раненого: его руки, лицо и одежда были в крови после столкновения с пиллерсом, а также покрыты копотью.

– В лазарет! – скомандовал Гудсир, когда Даунинг подхватил на руки обожженного и покалеченного мужчину.

Интенданту пришлось развернуться боком, чтобы пронести Коллинза по узкому коридору. Позади Гудсира две дюжины мужчин, выстроившись цепочкой, передавали вниз по трапу ведра со снегом, а остальные сыпали снег на дымящиеся, шипящие доски палубного настила вокруг плиты и носового люка в кубрике. Если огонь перекинется в жилую палубу, понимал Гудсир, корабль погибнет.

Генри Ллойд вышел навстречу из лазарета, с бледным лицом и вытаращенными глазами.

– Мои инструменты приготовлены? – резко спросил Гудсир.

– Да, сэр.

– Хирургическая пила?

– Да.

– Хорошо.

Даунинг положил бесчувственное тело Коллинза на операционный стол посреди лазарета.

– Спасибо, мистер Даунинг, – сказал Гудсир. – Будьте любезны, возьмите одного-двух матросов и помогите остальным больным перебраться в пустующие каюты, на любые свободные койки.

– Есть, доктор.

– Ллойд, отыщите мистера Уолла и скажите коку и его помощникам, что нам требуется столько горячей воды, сколько они в силах разогреть на плите для нас. Но сначала выкрутите до упора фитили в масляных лампах. Потом возвращайтесь сюда. Мне понадобятся ваши руки и фонарь.

Весь следующий час доктор Гарри Д. С. Гудсир был так занят, что, если бы лазарет загорелся, он не заметил бы пожара, а лишь обрадовался бы дополнительному источнику света.

Он раздел Коллинза по пояс – на холоде от открытых ран пошел пар – и вылил на раны первую кастрюлю горячей воды, чтобы промыть по возможности лучше – не для дезинфекции, а с целью посмотреть, насколько они глубоки. Решив, что сами раны от когтей не представляют непосредственной угрозы для жизни, врач занялся плечами, шеей и лицом второго лоцмана.

Правая рука была оторвана ровно – словно отсечена ножом огромной гильотины. Привыкший иметь дело с безобразными увечьями и ужасными рваными ранами, полученными в результате различных несчастных случаев на корабле, Гудсир рассматривал плечо Коллинза с чувством сродни восхищению, если не благоговейному трепету.

Коллинз едва не умер от потери крови, но охвативший его огонь отчасти прижег открытую рану на плече. Это спасло ему жизнь. Пока.

Гудсир видел лопаточную кость – блестящую белую шишечку, – но от плечевой кости не осталось ни самого малого обломка, который надлежало бы удалить. С помощью Ллойда, державшего фонарь в трясущейся руке и время от времени прижимавшего палец туда, куда указывал врач, – чаще всего к артерии, из которой била кровь, – Гудсир туго перетянул разорванные вены и артерии. С операциями такого рода он всегда справлялся успешно – его пальцы работали почти независимо от его воли.

Удивительное дело, но в ране почти или вовсе не было обрывков ткани или прочих инородных тел. Таким образом, вероятность смертельного сепсиса значительно снижалась, хотя и не исключалась полностью. Гудсир промыл рану горячей водой из второй, и последней, кастрюли, принесенной Даунингом, потом отрезал лохмотья кожи и мяса и наложил швы где возможно. По счастью, несколько кожных лоскутов оказались достаточно длинными, чтобы врач смог завернуть их на рану и пришить широкими стежками.

Коллинз застонал и пошевелился.

Теперь Гудсир работал так быстро, как только мог, торопясь закончить самую тяжелую часть операции, пока мужчина окончательно не пришел в сознание.

Содранная правая половина лица висела у плеча Коллинза, точно спущенная карнавальная маска. Гудсир невольно вспомнил многочисленные аутопсии, в ходе которых он срезал кожу и мышцы лица и откидывал на макушку черепа, словно мокрую тряпку.

Он велел Ллойдю натянуть длинный лоскут лицевой кожи повыше и потуже – ассистент отошел на пару шагов, чтобы извергнуть содержимое желудка на пол, но сразу же вернулся, вытирая липкие пальцы о шерстяной жилет, – и Гудсир быстро пришил сорванную часть лица к толстому лоскуту кожи и мяса сразу под линией редящих волос.

Спасти второму лоцману глаз он не мог. Он попытался поставить глазное яблоко на место, но мешали осколки раздробленной подглазничной кости. Гудсир извлек осколки, но само глазное яблоко было слишком сильно повреждено.

Он взял ножницы из трясущейся руки Ллойда, перерезал глазной нерв и бросил глаз в ведро, уже наполненное кровавыми лохмотьями кожи и клочьями мяса.

– Держите фонарь ближе, – приказал Гудсир. – Прекратите трястись.

Удивительно, но часть века уцелела. Гудсир оттянул веко книзу и проворно пришил к лоскуту кожи под глазницей – на сей раз мелкими частыми стежками, ибо данному шву предстояло служить многие годы.

Если Коллинз выживет.

Сделав все, что в настоящий момент представлялось возможным сделать с изуродованным лицом второго лоцмана, Гудсир занялся ожогами и ранами от когтей. Ожоги оказались поверхностными. Раны от когтей были достаточно глубокими, чтобы в них местами проглядывали белые кости грудной клетки, – зрелище, неизменно шокирующее.

Велев Ллойдю левой рукой накладывать мазь на ожоги, а правой держать фонарь поближе, Гудсир промыл раны, стянул края разорванных мышц и наложил швы где мог. Если огонь успел своевременно остановить кровотечение, вполне возможно, в теле второго лоцмана осталось достаточно крови, чтобы он сумел выжить.

В лазарет вносили других пострадавших, но только с ожогами – порой серьезными, но не представлявшими угрозы для жизни, – и теперь, когда Гудсир оказал Коллинзу первую помощь, он повесил фонарь на медный крюк над столом и велел Ллойдю заняться остальными: промывать ожоги водой, накладывать мазь и повязки.

Он уже заканчивал с Коллинзом – давал очнувшемуся и пронзительно кричавшему мужчине опиум, чтобы тот заснул, – когда заметил капитана Фицджереймса, стоявшего рядом.

Капитан был весь в крови и копоти, как и врач.

– Он будет жить? – спросил Фицджереймс.

Гудсир положил скальпель на стол и развел руками, словно желая сказать: «Одному Богу известно».

Фицджереймс кивнул.

– Пожар потушен, – сказал капитан. – Я подумал, вы должны знать.

Гудсир кивнул. За последний час он ни разу не вспомнил о пожаре.

– Ллойд, мистер Даунинг, – сказал он, – будьте добры, перенесите мистера Коллинза вон на ту койку, что стоит ближе всех к передней перегородке. Там самое теплое место.

– Мы потеряли весь инвентарь из кладовой плотника, – продолжал Фицджереймс, – а также значительную часть продуктов, хранившихся в упаковочных клетях в носовой части, и запасов муки в мучной кладовой. По моим оценкам, треть оставшихся у нас консервов и провианта в бочках погибла в огне. И мы уверены, что трюм сильно пострадал от пожара, хотя туда еще не спускались.

– Как начался пожар?

– По всей видимости, Коллинз или один из его людей уронил фонарь, когда зверь внезапно выпрыгнул из люка, – сказал капитан.

– А что случилось с этим... существом? – спросил Гудсир.

Внезапно он почувствовал такую слабость, что схватился за край залитого кровью операционного стола, чтобы не упасть.

– Надо полагать, оно ушло с корабля тем же путем, каким пришло, – сказал Фицджереймс. – Спустилось обратно через носовой люк и скрылось через какой-то пролом в корпусе. Если только не затаилось в трюме. Я поставил вооруженных людей возле всех люков. На средней палубе так холодно и дымно, что нам придется сменять часовых каждый час... Коллинз лучше других разглядел зверя. Вот почему я пришел... хотел узнать, можно ли поговорить с ним. Все остальные видели лишь неясную фигуру за стеной огня – глаза, клыки, когти, белую массу или черный силуэт. Лейтенант Левеконт приказал морским пехотинцам открыть по нему стрельбу, но никто не видел, ранен ли он. Вся палуба за кладовой плотника залита кровью, но мы не знаем, есть ли там кровь зверя. Я могу поговорить с Коллинзом?

Гудсир помотал головой:

– Я только что дал второму лоцману опиат. Он будет спать много часов подряд. Я понятия не имею, проснется ли он вообще. У него мало шансов выжить.

Фицджереймс снова кивнул. Капитан выглядел таким же измученным, каким чувствовал себя врач.

– А что насчет Данна и Брауна? – спросил Гудсир. – Они пошли к носовому люку вместе с Коллинзом. Вы нашли их?

– Да, – мрачно сказал Фицджереймс. – Они живы. Они убежали по

коридору справа от мучной кладовой, когда начался пожар и чудовище набросилось на бедного Коллинза. – Капитан вздохнул. – Дым внизу рассеивается, мне нужно спуститься с несколькими людьми в трюм, чтобы вынести оттуда тела инженера Грегори и кочегара Томми Плейтера.

– О господи, – признался Гудсир.

Он сообщил Фицджерейсу про руку, которую видел на пороге угольного бункера.

– Я не заметил, – сказал капитан. – Я так спешил добраться до носового люка, что не смотрел под ноги – только вперед.

– Мне тоже следовало бы смотреть вперед, – уныло сказал врач. – Я врезался в пиллерс или стойку.

Фицджереймс улыбнулся:

– Я вижу. Врач, исцели себя сам. У вас глубокая ссадина поперек лба и лиловая шишка размером с кулак Магнуса Мэнсона.

– Правда? – Гудсир осторожно дотронулся до лба. Пальцы после прикосновения остались липкими, хотя он нащупал толстую корку запекшейся крови на огромной шишке. – Я зашью ссадину перед зеркалом или попрошу Ллойда сделать это позже, – устало сказал он. – Я готов идти, капитан.

– Куда, мистер Гудсир?

– В трюм, – сказал врач, подавляя приступ тошноты, вызванный одной этой мыслью. – Посмотреть, кто там лежит в угольном бункере. Возможно, он еще жив.

Фицджереймс посмотрел ему в глаза:

– Наш плотник мистер Уикс и его помощник Уотсон пропали, доктор Гудсир. Они работали в угольном бункере по правому борту, заделывали пролом в корпусе. Но они наверняка мертвы.

Гудсир мысленно отметил обращение «доктор». Фицджереймс крайне редко называл так корабельных врачей, даже Стенли и Педди, главных врачей. Они – и Гудсир – всегда оставались просто «мистерами» для аристократа Фицджереймса.

Но не на сей раз.

– Мы должны спуститься в трюм и проверить, – сказал Гудсир. – Я должен спуститься в трюм и проверить. Возможно, один или другой еще жив.

– Возможно, наш зверь тоже жив и поджидает нас там, – негромко проговорил Фицджереймс. – Никто не видел и не слышал, чтобы он покидал корабль.

Гудсир устало кивнул.

– Можно мне взять с собой мистера Даунинга? – спросил он. – Возможно, мне потребуется, чтобы кто-нибудь держал фонарь.

– Я пойду с вами, доктор Гудсир, – сказал капитан Фицджереймс. Он поднял фонарь, принесенный Даунингом. – Прошу вас, сэр.

70°05' северной широты, 98°23' западной долготы

22 апреля 1848 г.

– Лейтенант Литтл, – сказал Крозье, – пожалуйста, передайте команде приказ покинуть корабль.

– Есть, капитан.

Литтл повернулся в сторону переполненного кубрика и прокричал приказ. Прочие офицеры и оставшийся в живых второй помощник отсутствовали, и потому вслед за Литтлом приказ проорал боцман Джон Лейн. Томас Джонсон – второй боцманмат и человек, поровний Хикки и двух других мужчин в январе, – прокричал приказ в открытый люк, прежде чем закрыть и задраить его.

На нижних палубах никого не осталось, разумеется. Крозье и лейтенант Литтл прошли по каждой палубе от кормы до носа, заглядывая во все помещения – от холодной котельной и пустых угольных бункеров до забитого тросами переднего канатного ящика в трюме. На средней палубе они проверили винную и оружейную кладовые и убедились, что оттуда вынесены все мушкеты, дробовики, боеприпасы и порох, – лишь ряды абордажных сабель холодно поблескивали там в свете фонарей. Они удостоверились, что все запасы зимнего обмундирования за последние полтора месяца вынесены из баталерки, а потом заглянули в пустую кладовую капитана и равно пустую мучную кладовую. На жилой палубе Литтл и Крозье заглянули во все каюты, обратив внимание, в каком идеальном порядке офицеры оставили свои постели, полки и оставшиеся личные вещи; потом обошли кубрик, увидев подвесные койки, в последний раз свернутые и убранные на полки, и матросские сундучки, заметно полегчавшие, но по-прежнему стоявшие на своих местах, словно в ожидании ужина; потом проследовали в кормовой отсек и обнаружили заметно опустевшие стеллажи в кают-компании, где люди выбрали книги на свой вкус, чтобы взять с собой на лед десятки томов. Под конец, остановившись рядом с огромной плитой, впервые за почти три года холодной, лейтенант Литтл и капитан Крозье снова прокричали приказ покинуть корабль в открытый носовой люк, чтобы окончательно убедиться, что внизу никого не осталось. Они всех пересчитают по головам на верхней

палубе, но таков был порядок.

Потом они поднялись на верхнюю палубу, не задраив носовой люк.

Приказ покинуть корабль не стал неожиданностью для людей, теперь собравшихся на палубе. Все они были предупреждены заранее. Сегодня утром на «Терроре» оставалось всего человек двадцать пять; остальные уже находились в лагере, расположенном в двух милях к югу от Виктори-Пойнт, или перевозили на санях корабельное имущество в лагерь, или охотились, или производили разведку в окрестностях лагеря. Примерно столько же людей с «Эребуса» ждали внизу на льду, стоя рядом с санями и грудками снаряжения там, где с первого апреля были установлены палатки для хранения продовольственных и прочих припасов «Эребуса», покинутого командой.

Крозье наблюдал, как мужчины вереницей спускаются по ледяному откосу, навсегда покидая корабль. Наконец на покато́й палубе остались только он и Литтл. Пятьдесят с лишним человек внизу смотрели на них из-под низко натянутых на лоб «уэльских париков», щурясь от яркого утреннего света.

– Идите первым, Эдвард, – тихо сказал Крозье. – Я за вами.

Лейтенант козырнул, поднял тяжелый тюк с личными вещами и спустился сначала по трапу, потом по ледяному откосу, чтобы присоединиться к толпе внизу.

Крозье огляделся вокруг. Холодное апрельское солнце озаряло бескрайнее царство льда, высоких торосных гряд, бесчисленных сераков и метелей. Натянув козырек фуражки пониже на лоб, капитан посмотрел на восток, прищулив глаза, и попытался запомнить чувства, которые испытывал в данный момент.

Оставление корабля являлось самым позорным событием в жизни любого капитана. Это было признанием полного провала. Это было – почти всегда – концом долгой службы в военно-морском флоте. Для большинства капитанов, в том числе и многих знакомых Френсиса Крозье, это стало ударом, от которого они не оправятся до конца своих дней.

Крозье не испытывал такого рода отчаяния. В данный момент для него гораздо больше значения имело голубое пламя решимости, маленькое, но жаркое, по-прежнему горевшее в груди: я буду жить.

Он хотел, чтобы люди выжили, – по крайней мере, как можно больше людей. Если оставалась хоть самая слабая надежда, что кто-нибудь с «Эребуса» или «Террора» уцелеет и вернется в Англию, Френсис Родон Мойра Крозье собирался жить этой надеждой и не оглядываться в прошлое.

Он должен покинуть корабль. И повести людей прочь по замерзшему

морю.

Осознав, что примерно пятьдесят пар глаз выжидательно смотрят на него, Крозье в последний раз похлопал рукой по планширю, спустился по трапу, приставленному к правому борту несколько недель назад, когда корабль стал круче крениться на левый борт, а потом сошел вниз по утоптанному ледяному скату.

Закинув за плечи свой собственный вещевой мешок и встав в строй рядом с мужчинами, запряженными в сани, Крозье в последний раз посмотрел на корабль и сказал:

– Он чертовски хорош, правда, Гарри?

– Что верно, то верно, капитан, – согласился фор-марсовый старшина Гарри Пеглар.

Верный своему слову, он со своими марсовыми матросами сумел за последние две недели установить все стены, реи и такелаж, несмотря на метели, морозы, грозы и крепкие ветра. Лед ослепительно сверкал повсюду на вновь установленных снастях теперь неустойчивого, перевешивающего в верхней части корабля. Крозье казалось, будто судно усыпано драгоценными камнями.

После того как в последний день марта команда покинула «Эребус», Крозье и Фицджереймс решили, что, хотя «Террор» необходимо покинуть в ближайшее время, если они хотят попытаться пешком или на шлюпках добраться до безопасного места до наступления зимы, корабль следует полностью оснастить для плавания. Если они задержатся в лагере на Кинг-Уильяме до середины лета и лед вдруг чудесным образом вскрыется, тогда они смогут – теоретически – вернуться на шлюпках обратно на «Террор» и попытаться вырваться из ледового плена.

Теоретически.

– Мистер Томас! – крикнул Крозье Роберту Томасу, второму помощнику, стоявшему первым в упряжи первых из пяти саней. – Трогайтесь, когда будете готовы!

– Есть, капитан! – откликнулся Томас и налег на ремни упряжи.

Несмотря на усилия семерых мужчин, сани не шелохнулись. Полозья вмерзли в лед.

– А ну поднатужься, Боб! – рассмеялся Эдвин Лоуренс, один из матросов, стоявших с ним в упряжи.

Сани затрещали, мужчины застонали, кожаные ремни закрипели, лед хрустнул – и тяжело груженные сани поползли вперед.

Лейтенант Литтл скомандовал трогаться вторым саням, где первым в упряжи стоял Магнус Мэнсон. Благодаря невероятной силе

здоровенного Мэнсона вторые сани – хотя и нагруженные тяжелее первых – сразу сдвинулись с места, тихо скрипя деревянными полозьями по льду.

Так и пустились в поход сорок шесть мужчин: тридцать пять тянувших сани на первом отрезке пути; пятеро шедших с мушкетами и дробовиками в ожидании своей очереди встать в упряжь; четыре помощника капитана с обоих кораблей и два старших офицера – лейтенант Литтл и капитан Крозье, – которые шагали рядом, изредка подталкивая сани и еще реже сами впрягаясь в них.

Капитан вспомнил, как несколько дней назад, когда второй лейтенант Ходжсон и третий лейтенант Ирвинг собирались в очередной поход с санями и шлюпками к лагерю (оба офицера тогда получили приказ отправиться с людьми из лагеря на охоту и разведку на несколько дней), Ирвинг поразил своего командира просьбой оставить одного из двух мужчин, входивших в его отряд, на «Терроре». В первый момент Крозье удивился, поскольку всегда считал младшего лейтенанта Джона Ирвинга толковым офицером, способным справляться с матросами и обеспечивать выполнение любых приказов, но потом услышал имена означенных мужчин и сразу все понял. Лейтенант Литтл определил и Магнуса Мэнсона, и Корнелиуса Хикки в санный и разведывательный отряды Ирвинга, и Ирвинг почтительно попросил – не объясняя причин – перевести одного из мужчин в другой отряд. Крозье немедленно удовлетворил просьбу: перевел Мэнсона в санный отряд, покидавший корабль последним, а тщедушного помощника конопатчика отправил с отрядом Ирвинга. Крозье тоже не доверял Хикки, особенно после беспорядков, имевших место несколько недель назад и едва не вылившихся в мятеж, и он знал, что маленький человечек гораздо опаснее, когда рядом с ним находится здоровенный идиот Мэнсон.

Сейчас, удаляясь от корабля и видя Мэнсона, идущего в упряжи в пятидесяти футах впереди, Крозье намеренно смотрел вперед, и только вперед. Он твердо решил не оборачиваться на «Террор» по меньшей мере первые два часа пути.

Глядя на мужчин, налегающих на упряжные ремни и напрягающих силы, капитан думал о людях, которых с ними не было.

Сегодня с ними не было Фицджереймса – он остался за старшего в лагере на Кинг-Уильяме, но истинной причиной его отсутствия являлся такт. Ни один капитан не желает покидать свой корабль на глазах у другого капитана, и все капитаны очень щепетильны в данном вопросе. Крозье, который навещался на «Эребус» почти каждый день с тех пор, как корабль начал разрушаться под давлением льда через два дня после пожара

и вторжения зверя в первых числах марта, твердо положил не присутствовать там в полдень 31 марта, когда Фицджереймс покидал корабль. На этой неделе Фицджереймс ответил ему любезностью на любезность, вызвавшись выполнять командирские обязанности далеко от «Террора».

Большинство других людей отсутствовало по причине гораздо более печальной и прискорбной. Шагая рядом с последними санями, Крозье вызывал в памяти их лица.

«Террору» повезло больше, чем «Эребусу», в части потерь среди командного состава. Из своих главных офицеров Крозье потерял старшего помощника Фреда Хорнби, убитого зверем в ходе трагических событий карнавальная ночи, второго лоцмана Джайлса Макбина, убитого чудовищным существом во время санного похода в апреле прошлого года, и обоих своих врачей, Педди и Макдональда, тоже погибших во время новогоднего карнавала. Но его первый, второй и третий лейтенанты были живы и более или менее здоровы, равно как его второй помощник Томас, ледовый лоцман Блэнки и незаменимый мистер Хелпмен, его секретарь.

Фицджереймс потерял своего начальника сэра Джона и своего первого лейтенанта Грэма Гора, а также лейтенанта Джеймса Фейрхольма и старшего помощника Роберта Орма Серджента, которые все стали жертвами зверя. Таким образом, из офицеров у него остались лишь лейтенант Г. Т. Д. Левеконт, старший помощник Чарльз Дево, ледовый лоцман Рейд, корабельный врач Гудсир и старший интендант Чарльз Гамильтон Осмер. В холодной офицерской столовой, где в первые два года за столом собиралось много людей – сэр Джон, Фицджереймс, Гор, Левеконт, Фейрхольм, Стенли, Гудсир и интендант Осмер, – в последние несколько недель питались лишь капитан, единственный оставшийся в живых лейтенант, врач и интендант. И в последние дни, знал Крозье, когда «Эребус» под давлением льда накренился почти на тридцать градусов на правый борт, четверо мужчин в столовой представляли собой нелепое зрелище, вынужденные сидеть на полу, поставив тарелки на колени и крепко упираясь ногами в доски настила.

Хор, вестовой Фицджереймса, по-прежнему болел цингой, и потому обязанности вестового здесь выполнял бедный старый Бридженс, который, по-крабьи неловко передвигаясь боком, сновал по столовой, обслуживая офицеров, сидящих на наклоненном под немыслимым углом к горизонтальной поверхности полу.

«Террору» также больше повезло и в части потерь среди мичманов. Инженер, главный боцман и плотник у Крозье были живы и вполне дееспособны. «Эребус» лишился инженера Джона Грегори и плотника

Джона Уикса, растерзанных в марте, когда чудовищное существо проникло на корабль ночью. Боцман Томас Терри был обезглавлен зверем в прошлом ноябре. Больше у Фицджереймса не осталось в живых ни одного мичмана.

Из двадцати одного унтер-офицера «Террора» – помощников боцмана, интендантов, баковых, трюмных, грот-марсовых и фор-марсовых старшин, рулевых, вестовых, конопатчиков и кочегаров – Крозье потерял лишь одного: кочегара Джона Торрингтона, первого человека, умершего в экспедиции давным-давно, 1 января 1846 года, у острова Бичи. И умер молодой Торрингтон, помнил Крозье, от чахотки, которой болел еще в Англии.

Фицджереймс потерял очередного своего унтер-офицера, Томми Плейтера, в марте, когда зверь совершил налет на нижние палубы корабля. Только Томас Уотсон, помощник плотника, остался в живых после нападения чудовища той ночью, но лишился левой руки.

После того как одного человека, оружейника Томаса Берта, отправили обратно в Англию из Гренландии, еще прежде, чем они вошли в настоящие льды, на «Эребусе» оставалось двадцать унтер-офицеров. В настоящее время одни из них – в том числе престарелый парусный мастер Джон Мюррей и вестовой Фицджереймса Эдмунд Хор – слишком тяжело болели цингой, чтобы быть полезными; другие – в частности, Томас Уотсон и Генри Фостер Коллинз – были слишком сильно покалечены, чтобы исполнять служебные обязанности; а третьи – как, например, кают-компанейский вестовой Ричард Эйлмор – находились в слишком глубокой депрессии, чтобы приносить сколь-либо ощутимую пользу.

Крозье велел одному из мужчин, явно падавшему с ног от усталости, присоединиться к вооруженной охране и немного передохнуть, а сам встал в упряжь вместо него. Даже несмотря на соединенные усилия других шести мужчин, ослабленный организм капитана едва выдерживал ужасное напряжение сил, требовавшееся для того, чтобы тащить свыше пятнадцати сотен фунтов консервированных продуктов, оружия и палаток. Даже когда Крозье поймал ритм – он ходил с санными отрядами с марта, когда начал переправлять шлюпки и снаряжение на остров Кинг-Уильям, и вполне научился таскать сани, – боль от врезавшихся в ноющую грудь ремней, непомерная тяжесть груза и неприятные ощущения от пропитывавшего нижнюю одежду пота, замерзавшего, таявшего и снова замерзавшего, все равно страшно действовали на нервы и изматывали.

Крозье жалел, что у них так мало матросов и морских пехотинцев.

«Террор» потерял двух из своих старших матросов – Билли Стронга, разорванного пополам зверем, впоследствии вернувшим лишь верхнюю

половину тела, и Джеймса Уокера, который был близким другом идиота Магнуса Мэнсона, пока последний не попал полностью под влияние мозглявого, похожего на крысу помощника конопатчика. Именно из страха встретить в трюме призрак Джимми Уокера, помнил Крозье, нескладный верзила Мэнсон едва не взбунтовался много месяцев назад.

Хотя бы в этом отношении «Эребусу» повезло больше, чем «Террору». В ходе экспедиции Фицджереймс потерял только одного матроса, Джона Хартнелла, тоже умершего от чахотки и похороненного на острове Бичи в 1846-м.

Налегая на упряжные ремни, Крозье вызвал в памяти имена и лица погибших – столь многих офицеров, столь немногих матросов – и раздраженно заворчал при мысли, что зверь, похоже, намеренно охотится на руководителей экспедиции.

«Не думай так, – приказал себе капитан. – Ты наделяешь зверя умственными способностями, которыми он не обладает».

«Да неужели?» – спросила другая, более здравая часть его ума.

Рядом шагал один из морских пехотинцев, с мушкетом под мышкой. Лицо мужчины полностью скрывалось под шапками и шарфами, но по неуклюжей походке Крозье опознал в нем Роберта Хопкрафта. Рядовой морской пехоты сильно пострадал от зверя почти год назад в июне, когда погиб сэр Джон, но, хотя все раны у него зажили, из-за раздробленной ключицы он остался скособоченным влево и, казалось, ходил по прямой с известным трудом. Вторым морским пехотинцем, сопровождавшим отряд сегодня, был рядовой Уильям Пилкингтон, которому прострелили плечо в маскировочной палатке в тот же самый день, когда чудовище убило сэра Джона. Крозье заметил, что сегодня Пилкингтон не щадит раненое плечо и руку.

Сержант Дэвид Брайант, старший по званию морской пехотинец на «Эребусе», погиб тогда же, в июне, одиннадцать месяцев назад, обезглавленный зверем за считанные секунды до того, как сэра Джона постигла та же участь. За вычетом рядового Уильяма Брейна, умершего на острове Бичи в 1846-м, и рядового Уильяма Рида, который пропал во льдах прошлой осенью, 10 ноября, когда отправился с посланием на «Эребус» (Крозье точно помнил число, поскольку сам ходил на «Эребус» в тот первый день кромешной зимней тьмы), зверь сократил число морских пехотинцев, находившихся в распоряжении Фицджереймса, до четырех человек: капрала Александра Пирсона, принявшего командование, рядового Хопкрафта с раздробленной ключицей, рядового Пилкингтона с простреленным плечом и рядового Джозефа Хили.

Отряд морских пехотинцев на «Терроре» потерял лишь рядового Уильяма Хизера, когда в прошлом ноябре зверь ночью поднялся на борт и вышиб мозги несшему вахту мужчине. Но Хизер – просто уму непостижимо! – отказывался умирать. Рядовой много недель пролежал в коматозном состоянии в лазарете, находясь между жизнью и смертью, но в конечном счете морские пехотинцы перенесли товарища в подвесную койку в кубрике и с тех пор каждый день одевали, раздевали, кормили, мыли и таскали в галюн. Они относились к пускающему слюни мужчине с бессмысленным взглядом, как к своему домашнему животному. Его перевезли в лагерь только на прошлой неделе, тепло укутав и осторожно, почти почтительно усадив в специальные одноместные санки, изготовленные для него Толстяком Алексом Уилсоном, помощником плотника. Матросы не стали возражать против лишнего груза и вызвались по очереди тащить маленькие санки с живым трупом через замерзшее море и торосные гряды в лагерь.

За вычетом Хизера, у Крозье осталось пятеро морских пехотинцев: рядовые Дейли, Хэммонд, Уилкс, капрал Хеджес и тридцатисемилетний сержант Соломон Тозер, невежественный болван, но ныне командир сводного отряда из девяти оставшихся в живых и дееспособных морских пехотинцев в экспедиции сэра Джона Франклина.

После первого часа в упряжи Крозье стало казаться, будто сани идут легче, и он начал дышать ровно – вернее, пыхтеть, как положено человеку, волочащему столь неподъемный груз по столь скользкому льду.

Он перебрал в уме все категории погибших людей. Кроме юнг, разумеется, этих молодых добровольцев, которые нанялись в экспедицию в последнюю минуту и значились в списке юнгами, даром что троим из четырех было по восемнадцать лет, а Роберту Голдингу так и все девятнадцать, когда они отплывали.

Трое из четырех юнг остались в живых, хотя Крозье пришлось самолично выносить из горящего парусинового лабиринта Джорджа Чемберса в ночь пожара. Из юнг они потеряли одного только Тома Эванса, самого молодого не только по возрасту, но и по поведению; жуткий зверь утащил паренька буквально у Крозье из-под носа, когда они искали на льду в темноте пропавшего Уильяма Стронга.

Джордж Чемберс, хотя и пришел в сознание через два дня после карнавала, стал совсем другим человеком. Получив при столкновении с чудовищем сильнейшее сотрясение мозга, прежде смысленный парень превратился в идиота, даже более тупого, чем Магнус Мэнсон. Джордж не был живым трупом, как рядовой Хизер, – он мог выполнять простые

приказы, по словам боцмана «Эребуса», но почти не разговаривал после ужасной новогодней ночи.

Дейви Лейс, один из самых опытных участников экспедиции, являлся еще одним человеком, уцелевшим после двух встреч с белым зверем, но в настоящее время толку от него было не больше, чем от безмозглого в буквальном смысле слова рядового Хизера. После той ночи, когда чудовищное существо столкнулось с несшими вахту Лейсом и Джоном Хэндфордом, а потом погналось в темноте за ледовым лоцманом Томасом Блэнки, Лейс вторично впал в полную протрацию и до сих пор из нее не вышел. Его перевезли в лагерь «Террор» – вместе с тяжелоранеными и тяжелобольными вроде второго лоцмана Коллинза и Хора, вестового Фицджереймса, – тепло укутав и положив в одну из шлюпок, которую тащили на санях. В данный момент слишком много людей, обессиленных цингой, ранами и увечьями или глубокой депрессией, были мало полезны Крозье и Фицджереймсу. Рты, которые нужно кормить, и тела, которые нужно перевозить с места на место, когда все голодны и сами едва держатся на ногах.

Еле живой от усталости после двух бессонных ночей, Крозье попытался подсчитать потери.

Восемь офицеров с «Эребуса». Четыре с «Террора».

Три мичмана с «Эребуса». Ни одного с «Террора».

Один унтер-офицер с «Эребуса». Один с «Террора».

Только один матрос с «Эребуса». Два с «Террора».

Итого двадцать мертвецов, не считая трех морских пехотинцев и юнги Эванса. То есть экспедиция уже потеряла двадцать четыре своих участника. Огромные потери – на памяти Крозье за всю историю военно-морского флота ни одна арктическая экспедиция не теряла столько людей.

Но была еще более важная цифра, и Френсис Родон Мойра Крозье постарался сосредоточиться на ней: сто пять живых душ, за которых он отвечает.

Сто пять человек – включая самого Крозье, – оставшиеся в живых ко дню, когда он был вынужден покинуть корабль и бежать через замерзшее море.

Крозье опустил голову и посильнее навалился на упряжные ремни. Поднялся ветер, пелена летящего снега застилала все перед глазами, скрывая от взора сани и шагающих рядом пехотинцев.

Правильно ли он подсчитал? Двадцать погибших, не считая трех морских пехотинцев и юнги? Да, все верно: они с лейтенантом Литтлом произвели утром переключку и удостоверились в наличии ста пяти человек,

распределенных между санными отрядами, лагерем и кораблем... но уверен ли он? Не забыл ли кого-нибудь? Не допустил ли ошибки в сложении и вычитании? С цифрами у него всегда было плохо. И он очень, очень устал.

Нужно будет спросить у мистера Хелпмена. Старший секретарь никогда ничему не терял счета. Его отправили вперед с Фицджерейсом и лагерной командой, чтобы он разобрал кучи продуктов и снаряжения, уже сваленных в двух милях от Виктори-Пойнт, но мистер Хелпмен поможет Крозье запомнить точное число живых и мертвых.

Крозье мог напутать с подсчетами сейчас – он не смыкал глаз уже две... нет, три ночи и валился с ног от усталости, – но он не забыл ни одного лица и ни одного имени. И не забудет до конца жизни.

– Капитан!

Крозье вышел из транса, в который погрузился, пока тащил сани. Он понятия не имел, шел он в упряжи час или шесть часов. Все это время в мире для него не существовало ничего, кроме ослепительного блеска холодного солнца на юго-востоке, сверкания ледяных кристаллов в воздухе, собственного частого хриплого дыхания, ноющей боли во всем теле, тяжести груза позади, сопротивления льда и свежавыпавшего снега и – самое главное – странно-голубого неба с белыми облаками, клубившимися повсюду вокруг, при виде которого возникало впечатление, будто они идут по дну гигантской бело-голубой чаши.

– Капитан! – На сей раз кричал лейтенант Литтл.

Крозье осознал, что все мужчины, шедшие с ним в упряжи, остановились. Все сани прекратили движение.

Впереди, на юго-востоке, примерно в миле за ближайшей торосной грядой, трехмачтовый корабль плыл с севера на юг. Паруса у него были убраны и подвязаны к реям, точно на якорной стоянке, но тем не менее он двигался, словно несомый сильным течением, медленно и величественно скользя, надо полагать, по широкой полосе чистой воды, скрытой за ближайшей высокой грядой.

Спасение.

Ровное голубое пламя надежды в болезненно ноющей груди Крозье на пару секунд полыхнуло ярче.

Ледовый лоцман мистер Блэнки, припадая на деревянную ногу, вставленную в подобие деревянного башмака, изобретенного и изготовленного плотником Хани, подошел к Крозье и сказал:

– Мираж.

– Разумеется, – сказал капитан.

Даже несмотря на мерцающий дрожащий воздух, он почти сразу узнал характерные мачты и такелаж «Террора» и на несколько мгновений впал в смятение, доходящее до головокружения, задаваясь вопросом, не сбились ли они с пути неведомо каким образом, не повернули ли назад и не возвращаются ли обратно на северо-запад, к кораблю, покинутому несколько часов назад.

Нет. Крозье видел на льду глубокие, хотя и местами занесенные снегом, следы от санных полозьев, оставленные за месяц переходов к лагерю и обратно, следы тянулись прямо к высокой торосной гряде с узкими проходами в ней, пробитыми кирками и лопатами. И солнце по-прежнему светило впереди и справа от них, на юге. Три мачты за торосной грядой замерцали, на миг растворились в воздухе, а потом вновь обрели четкость очертаний – только на сей раз они оказались перевернутыми вверх ногами, и утопленный во льду корпус «Террора» завис над ними, сливаясь с белым небом.

Крозье, Блэнки и многие другие не раз видели такое явление прежде – мнимые изображения различных объектов в небе. Однажды ясным зимним утром, находясь на затертом льдами корабле у берегов земли, получившей имя Антарктиды, Крозье увидел дымящийся вулкан – тот самый, что называли в честь его корабля, – только он поднимался из замерзшего моря на севере. А в другой раз, уже в этой экспедиции, весной 1847 года, Крозье, поднявшись на верхнюю палубу, увидел черные сферы, плавающие в небе на юге. Сферы разделились пополам, превратившись в сплошные «восьмерки», и затем продолжили делиться, образовав подобие симметричной гирлянды черных воздушных шариков, а минут через пятнадцать бесследно растаяли в воздухе.

Два матроса в упряжи саней упали на колени в изрытый колеями снег. Один громко рыдал, а другой безостановочно сыпал самыми крепкими матросскими ругательствами из всех существующих.

– Черт побери! – проревел Крозье. – Вы не раз видели арктические миражи прежде. Прекратите распускать сопли и сквернословить – или будете тащить чертовы сани вдвоем, а я сяду на них и стану подгонять вас пинками. Поднимитесь на ноги, бога ради! Вы мужчины, а не малодушные бабы! Что за хрень такая!

Оба матроса встали и неловко отряхнули с коленей ледяные кристаллы и снег. Крозье не опознал мужчин по одежде и «уэльским парикам», да и не хотел опознавать.

Вереница саней снова поползла вперед; мужчины кряхтели от натуги,

но не чертыхались. Все знали, что высокую торосную гряду впереди – хотя санные отряды, за последние недели проходившие здесь бесчисленное число раз, и проложили через нее путь – преодолеть будет ой как непросто. Им придется затащить тяжелые сани по крутому откосу длиной по меньшей мере пятнадцать футов, по обеим сторонам которого нависают шестидесятифутовые ледяные стены, откуда в любой момент могут сорваться ледяные валуны.

– Такое впечатление, будто какой-то злой бог хочет помучить нас, – почти весело заметил Томас Блэнки.

Ледовый лоцман, освобожденный от обязанности тащить сани, по-прежнему ковылял рядом с Крозье.

Капитан ничего не ответил, и через минуту Блэнки отстал от него и пошел рядом с кем-то из морских пехотинцев.

Крозье велел одному из свободных в данный момент мужчин занять его место в упряжи – они научились сменять друг друга на ходу, не останавливая саней, – а потом отступил в сторону от колеи и посмотрел на часы. Они шли около пяти часов. Оглянувшись назад, Крозье увидел, что настоящий «Террор» уже скрылся из виду, отделенный от них по меньшей мере пятью милями замерзшего моря и несколькими низкими торосными грядами.

По-прежнему оставаясь руководителем злополучной экспедиции, Френсис Родон Мойра Крозье больше не являлся капитаном корабля Службы географических исследований Военно-морского флота Британии. Эта часть его жизни – а служба во флоте сначала простым матросом, потом военно-морским офицером была всей его жизнью с отроческой поры – навсегда закончилась. После того как он потерял так много людей и оба корабля, Адмиралтейство никогда не доверит Крозье командования другим судном.

До лагеря оставалось еще два дня пути. Крозье устремил взгляд на высокую торосную гряду впереди и устало потащился дальше.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы
22 апреля 1848 г.

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

22 апреля 1848 г.

Вот уже четыре дня я нахожусь в так называемом лагере «Террор». Думаю, он вполне оправдывает свое название.

Шестьюдесятью людьми здесь, включая меня, руководит капитан Фицджереймс.

Признаюсь, когда на прошлой неделе я впервые увидел издалика это место, на ум мне пришли картины из гомеровской «Илиады». Лагерь расположен на берегу довольно широкой бухты примерно в двух милях от каменной пирамиды, почти двадцать лет назад возведенной на мысе Виктори-Пойнт Джеймсом Кларком Россом. Это место несколько лучше всех прочих защищено от ветра со снегом, дующего со стороны пакового льда.

Возможно, сцены из «Илиады» вспомнились мне при виде восемнадцати длинных лодок на берегу замерзшего моря – четыре лодки лежат на боку, остальные четырнадцать привязаны к саням.

За лодками стоят двадцать палаток разного размера – от маленьких голландских, какими мы пользовались год назад, когда я сопровождал ныне покойного лейтенанта Гора к Виктори-Пойнт (в каждой такой палатке могут спать шесть человек, по трое в спальном мешке, сшитом из волчьих шкур и одеял, шириной пять футов), до палаток побольше, изготовленных парусником Мюрреем, в том числе двух предназначенных для капитана Фицджереймса и капитана Крозье с их личными вестовыми, и, наконец, двух самых больших палаток, размером примерно с кают-компанию «Эребуса» и «Террора», одна из которых отведена под лазарет, а другая – под матросскую столовую. Несколько других палаток служат столовыми для мичманов, унтер-офицеров, офицеров и приравненных к ним по положению гражданских лиц, как инженер Грегори и я.

Или, возможно, «Илиада» вспомнилась мне, поскольку при приближении к лагерю «Террор» ночью (а все санные отряды, отправлявшиеся с корабля «Террор», добирались до места назначения на третий день, после наступления темноты) в первую очередь в глаза бросается множество костров. Разумеется, топлива здесь нет, если не считать незначительного количества дубовых досок, привезенных с разрушенного «Эребуса» специально для этой цели, но за последний месяц сюда переправили все оставшиеся мешки угля с обоих кораблей, и многочисленные угольные костры ярко горели на берегу, когда я впервые увидел лагерь «Террор». Огонь пылал в открытых очагах, сложенных из камней, и в четырех высоких жаровнях, уцелевших после карнавального пожара.

В результате берег озарялся светом многочисленных костров, а также горевших там и сям факелов и фонарей.

Проведя в лагере «Террор» несколько дней, я решил, что он больше напоминает пиратскую лагерную стоянку, нежели лагерь Ахиллеса, Одиссея, Агамемнона и других гомеровских героев. Люди ходят в рваной, потрепанной, чиненой-перечиненой одежде. Большинство больны или хромают – либо и то и другое вместе. Заросшие густой бородой лица бледны. Глаза у всех глубоко ввалились.

Мужчины расхаживают – вернее, устало бродят – по лагерю с большими ножами, которые болтаются на самодельных перевязях, надетых поверх зимних плащей и шинелей, в звенящих ножнах, изготовленных из обрезанных штыковых ножен. Идея насчет перевязей и ножен принадлежала капитану Крозье, как и идея насчет очков, смастеренных из проволочной сетки, которые люди носят в солнечные дни, чтобы уберечься от снежной слепоты. В целом обитатели лагеря производят впечатление шайки разбойников, набранной из разного сброда.

И теперь у большинства наблюдаются симптомы цинги.

У меня было очень много работы в лазарете. Санные отряды приложили дополнительные усилия к тому, чтобы перевезти по льду и через ужасные торосные гряды дюжину коек (плюс две койки для капитанских палаток), но в данный момент у меня в лазарете находятся двадцать больных, и потому восемь человек лежат на одеялах, разостланных прямо на холодной земле. Длинными ночами палатку освещают три масляные лампы.

Большинство людей лежат в лазарете с тяжелой цингой, но не все. Уильям Хизер снова оказался на моем попечении – с золотым совершенством в черепе, вставленным доктором Педди на место кости, выбитой у

несчастливого вместе с частью мозга чудовищным зверем. Морские пехотинцы на протяжении многих месяцев заботились о Хизере и собирались заботиться о нем и в лагере (Уильяма перевезли сюда на маленьких санках, изготовленных мистером Хани), но охлаждение организма во время трехдневного перехода по замерзшему морю вызвало у него пневмонию. На сей раз рядовой морской пехоты, явивший нам поистине небывалое чудо живучести, едва ли протянет долго.

В лазарете находится также Дэвид Лейс, которого товарищи по команде называют Дейви. Его кататоническое состояние оставалось неизменным в течение многих месяцев, но после перехода через льды на прошлой неделе (он прибыл в лагерь с моим отрядом) он не способен удержать в желудке даже самое малое количество жидкого бульона или воды. Думаю, Лейс не доживет до среды.

По причине крайнего напряжения сил, потребовавшегося от людей, чтобы перевезти на санях тяжелые шлюпки и огромное количество имущества с корабля на остров (через торосные гряды, которые я преодолевал с трудом, даже когда не шел в упряжи), мне пришлось иметь дело с обычными в таких случаях ушибами и переломами. Среди прочих был один сложный перелом руки – у матроса Билли Шанкса, – и после оказания первой помощи я оставил его в лазарете, опасаясь общего заражения крови. (Кожа и мышечные ткани у него в двух местах пробиты острыми осколками кости.)

Но главным убийцей, затаившимся в этой палатке, по-прежнему остается цинга.

Мистер Хор, личный вестовой капитана Фицджереймса, вполне может стать первым человеком, умершим от цинги. Он уже много дней не приходит в сознание. Как Лейса и Хизера, его пришлось везти на санях двадцать пять миль, отделяющие наш обреченный корабль от лагеря «Террор».

Эдмунд Хор являет собой первый, но типичный пример цинги в поздней стадии. Капитанский вестовой молод: через две недели с небольшим – 9 мая – ему исполнится двадцать семь лет. Если он доживет.

Для вестового Хор крупный мужчина – шести футов ростом, – и по всем признакам он пребывал в добром здравии, когда экспедиция отплывала. Он быстро, ловко, толково и расторопно исполнял свои служебные обязанности и отличался необычными для вестовых атлетическим телосложением и физической силой. Во время соревнований по бегу налегке и с санями, часто проводившихся на льду у острова Бичи зимой 1845/46 года, он часто был победителем и предводителем различных

спортивных команд.

Начальные симптомы цинги появились у него прошлой осенью – слабость, вялость, учащающиеся приступы частичного затемнения сознания, – но болезнь приобрела более выраженные формы после трагических событий карнавальной ночи. Хор продолжал исправно исполнять обязанности вестового капитана Фицджереймса по шестнадцать часов в день и больше, но в конце концов здоровье у него сдало.

Первым явственным симптомом болезни у мистера Хора стал так называемый терновый венец.

Из-под волос Эдмунда Хора начала сочиться кровь. И не только из-под волос на голове. Сначала его шапки, потом нижние рубахи, а потом подштанники ежедневно были испачканы кровью.

Я тщательно обследовал молодого человека и обнаружил, что кровь сочится из самих волосяных луковиц. Некоторые моряки пытались предупредить появление подобного раннего симптома, наголо обривая голову, но, разумеется, это не помогало. Когда «уэльские парики», шарфы, а потом и подушки у большинства людей стали постоянно пропитываться кровью, матросы и офицеры начали носить под шапками и подкладывать под голову на ночь полотенца.

Такая мера, разумеется, не облегчала неудобств и страданий, вызванных кровотечением во всех частях тела, имеющих волосяной покров.

Подкожные кровоизлияния у вестового Хора появились в январе. Хотя к тому времени спортивные игры на льду остались в далеком прошлом и обязанности мистера Хора редко требовали от него отлучек с корабля или значительного напряжения сил, любой ушиб или синяк на его теле проступал в виде огромного красно-фиолетового пятна. И уже не заживал. Любая царапина, случайно нанесенная ножом при чистке картошки или нарезании мяса, оставалась открытой и кровоточила неделями.

К концу января ноги у мистера Хора опухли, став вдвое толще против прежнего. Ему пришлось одалживать грязные штаны у более крупных товарищей по команде, чтобы просто оставаться одетым, прислуживая своему капитану.

Постоянно усиливающаяся боль в суставах не давала несчастному спать. К началу марта любое самое незначительное движение причиняло Эдмунду Хору невыносимые муки.

Весь март Хор категорически отказывался ложиться в лазарет «Эребуса»: мол, он должен спать на своем месте и продолжать обслуживать и опекать капитана Фицджереймса. Его светлые волосы были постоянно

слипшимися от запекшейся крови. Опухшие конечности и лицо начали походить на сырое тесто. Кожа изо дня в день теряла эластичность; за неделю до разрушения «Эребуса» дело уже зашло так далеко, что, если я сильно надавливал пальцем на любой участок тела Эдмунда Хора, там навсегда оставалось углубление и появлялся новый синяк, растекавшийся и сливавшийся со старыми подкожными кровоизлияниями.

К середине апреля тело несчастного превратилось в бесформенную, сплошь покрытую синяками массу. Лицо и руки пожелтели от разлития желчи. Белки глаз стали ярко-желтыми и производили тем более жуткое впечатление, что из-под бровей постоянно сочилась кровь.

Хотя мы с моим помощником старались переворачивать пациента в постели по несколько раз в день, ко времени, когда мы вынесли Хора с погибающего «Эребуса», пролежни по всему его телу превратились в коричневатато-фиолетовые, постоянно гноящиеся язвы. Его лицо, особенно по обеим сторонам от носа и рта, тоже испещряли язвы, из которых беспрерывно сочились гной и кровь.

Гной цинготного больного имеет необычайно отвратительный запах.

Ко дню, когда мы доставили мистера Хора в лагерь «Террор», у него уже выпали все зубы, кроме двух. И это у молодого человека, который еще в Рождество мог похвастать самыми крепкими и здоровыми зубами в экспедиции!

Десны у Хора почернели и размякли. Он находится в сознании лишь малую часть дня и испытывает чудовищные муки каждую секунду. Когда мы открываем несчастному рот, чтобы накормить его, оттуда идет зловоние почти невыносимое. За неимением возможности стирать полотенца мы постелили на койку Хора парусину, которая сейчас уже вся почернела от крови. Его обледенелая грязная одежда тоже заскорузла от крови и гноя.

Как ни ужасны вид и страдания Эдмунда Хора, гораздо ужаснейшим представляется факт, что он может прожить в таком состоянии – ухудшающемся день ото дня – еще несколько недель или даже месяцев. Цинга – коварный убийца. Она долго мучает свою жертву, прежде чем даровать вечный покой. К моменту смерти человека от цинги даже самые близкие родственники зачастую не в силах узнать страдальца, и сам страдалец по причине помутненного сознания уже не в состоянии узнать своих близких.

Но здесь такой проблемы нет. За исключением братьев, служивших вместе в нашей экспедиции (а Томас Хартнелл потерял старшего брата на острове Бичи), здесь ни у кого нет родственников, которые пришли бы на сей ужасный остров в царстве льдов, ветров, тумана и молний. Некому

будет опознавать нас, когда мы умрем, – и уж тем более хоронить.

Двенадцать из лежащих в лазарете людей умирают от цинги, и у более двух третей от ста пяти оставшихся в живых участников экспедиции наблюдаются ранние симптомы болезни.

Запасы лимонного сока – самого нашего действенного противоцинготного средства, хотя и в значительной мере утратившего эффективность за последний год, – иссякнут через несколько дней. Тогда нам останется спастись только уксусом. Неделю назад в палатках с запасами продовольствия, установленных на льду рядом с «Террором», я самолично наблюдал за переливанием остатков уксуса из больших бочек в восемнадцать бочонков поменьше – по одному на каждую лодку, перевезенную на санях в лагерь.

Люди терпеть не могут уксус. В отличие от лимонного сока, едкость которого можно несколько приглушить примесью подслащенной воды или даже грога, уксус кажется на вкус чистым ядом людям, чьи нёба уже повреждены цингой, развивающейся в организме.

Офицеры, употреблявшие в пищу больше голднеровских консервированных продуктов, чем матросы (те питались своей любимой – хотя и прогорклой – соленой свининой и говядиной, пока провиантские бочки не опустели), похоже, сильнее последних предрасположены к цинге.

Данное обстоятельство подтверждает гипотезу доктора Макдональда, что в консервированных супах, овощах и мясе – в отличие от испорченных, но некогда свежих продуктов – отсутствует некий жизненно важный элемент или, наоборот, присутствует некий яд. Если бы мне чудом удалось открыть означенный элемент – ядовитый или животворный, – у меня появился бы не только шанс исцелить больных людей (возможно, даже мистера Хора), но и все шансы получить рыцарское звание, когда нас спасут или мы сами доберемся до безопасного места.

Но в существующих условиях у меня нет такой возможности. Лучшее, что я могу сделать, это настойчиво порекомендовать людям есть любое свежее мясо, добытое нашими охотниками, – даже сало и внутренности животных, я уверен супротив всякой логики, могут в известной мере предохранить нас от цинги.

Но наши охотники пока не нашли в окрестностях никакой дичи. И лед слишком толстый, чтобы пробивать в нем проруби для рыбной ловли.

Вчера вечером капитан Фицджереймс заглянул в лазарет, как он делает в начале и конце каждого своего долгого трудного дня, и, когда он совершил традиционный обход спящих больных, расспрашивая меня о переменах в состоянии каждого, я набрался смелости, чтобы задать вопрос, уже

несколько недель не дававший мне покоя.

– Капитан, – сказал я, – я вас пойму, коли вы откажетесь отвечать мне по причине своей занятости или проигнорируете мой вопрос как заданный человеком несведущим, каковым я, безусловно, являюсь... но я уже давно ломаю голову: зачем мы взяли восемнадцать шлюпок? Похоже, мы забрали с «Эребуса» и «Террора» все шлюпки до единой, но ведь нас осталось всего сто пять человек.

– Давайте выйдем наружу, если вы не возражаете, доктор Гудсир.

Как всегда, я мысленно отметил (и внутренне смутился от сознания, что я всякий раз отмечаю данное обстоятельство) обращение «доктор», которое капитан стал использовать в разговоре со мной только после вторжения зверя на «Эребус» в марте.

Я велел Генри Ллойд, своему помощнику, присматривать за больными и вышел вслед за капитаном Фицджереймсом из палатки. Еще в лазарете я заметил, что борода у него, прежде казавшаяся мне рыжей, на самом деле почти полностью седая и только окаймлена запекшейся кровью.

Капитан взял из лазарета фонарь и двинулся с ним к покрытому галькой берегу.

Разумеется, никакие винноцветные волны не набегали с плеском на берег. Вдоль береговой линии по-прежнему тянулась гряда высоких айсбергов, стоявшая стеной между нами и паковым льдом.

Капитан Фицджереймс поднял фонарь и осветил длинный ряд лодок.

– Что вы видите, доктор? – спросил он.

– Лодки, – рискнул предположить я, чувствуя себя тем самым несведущим человеком, которым отрекомендовался минуту назад.

– Вы замечаете какую-нибудь разницу между ними, доктор Гудсир?

Я пригляделся получше.

– Четыре из них не на санях, – отметил я.

На это я обратил внимание сразу, еще в первую ночь своего пребывания здесь. Я не понял, в чем дело с означенными четырьмя лодками, когда для всех остальных мистер Хани потрудился смастерить специальные сани. Это показалось мне вопиющим упущением.

– Вы совершенно правы, – сказал капитан Фицджереймс. – Эти четыре лодки – вельботы с «Эребуса» и «Террора». Длинной тридцать футов. Легче остальных. Очень прочные. Шестивесельные. С острым носом и кормой, как каноэ... теперь видите?

Теперь я увидел. Я никогда прежде не замечал, что вельботы одинаково сужаются с одного и другого конца, наподобие каноэ.

– Будь у нас десять вельботов, – продолжал капитан, – наши дела

обстояли бы значительно лучше.

– Почему? – спросил я.

– Они прочные, доктор. Очень прочные. И легкие, как я уже сказал. Мы смогли бы погрузить в них припасы и тащить вельботы по льду, не изготавливая для них сани, как для всех прочих лодок. Если бы мы нашли разводье, то смогли бы спустить вельботы на воду прямо со льда.

Я потряс головой. Понимая, что капитан Фицджереймс может счесть, и наверняка сочтет, меня за полного дурака, услышав следующий мой вопрос, я все же спросил:

– Но почему вельботы можно тащить по льду, а остальные лодки нельзя, капитан?

Капитан ответил без тени раздражения в голосе:

– Вы видите у них руль, доктор?

Я посмотрел в один и другой конец вельбота, но никакого руля не увидел. О чем и сообщил капитану.

– Вот именно, – сказал он. – У вельбота плоский киль и нет руля. Судном управляет гребец на корме.

– Это хорошо? – спросил я.

– Да, если вам нужна легкая, прочная лодка с плоским килем и без руля, который непременно сломается при волочении по льду, – сказал капитан Фицджереймс. – Вельбот легче всего тащить по льду, несмотря на то что он длиной тридцать футов и вмещает до дюжины человек вместе с изрядным количеством припасов.

Я кивнул, как если бы все понял. Я и правда почти все понял – но я страшно устал.

– Видите, какая у вельбота мачта, доктор?

Я снова посмотрел. И снова не понял, что именно должен увидеть. В чем и признался.

– У вельбота одна-единственная разборная мачта, – сказал капитан. – Сейчас она лежит под парусиной, натянутой на планшири.

– Я заметил, что все лодки покрыты парусиной и досками, – отозвался я, чтобы показать, что я не совсем уж ненаблюдательный. – Это для того, чтобы защитить их от снега?

Фицджереймс зажигал трубку. Табак у него уже давно кончился. Я не хотел знать, чем он теперь ее набивает.

– Для того, чтобы под ними могли укрыться команды всех восемнадцати лодок, даже если в конечном счете мы возьмем с собой всего десять, – негромко сказал он.

Большинство людей в лагере уже спали. Замерзшие часовые,

притопывая ногами, расхаживали взад-вперед сразу за пределами освещенного фонарем пространства.

– Мы будем прятаться под парусиной, когда пойдем по чистой воде к устью реки Бак? – спросил я.

Мне никогда не представлялось, как мы сидим на корточках под парусиной и настилом из досок. Я всегда воображал, как мы весело гребем при ярком солнечном свете.

– Возможно, мы не пойдем на лодках по реке, – сказал Фицджереймс, попыхивая трубкой, набитой чем-то похожим на сухие человеческие экскременты. – Если летом воды вдоль берега освободятся от льда, капитан Крозье примет решение плыть морем.

– До самой Аляски и Санкт-Петербурга? – спросил я.

– По крайней мере до Аляски, – ответил капитан. – Или, возможно, до Баффинова залива, если прибрежные проходы во льдах откроются к северу. – Он сделал несколько шагов вперед и осветил фонарем лодки на санях. – Вы знаете, что это за лодки, доктор?

– А они что, отличаются от предыдущих, капитан?

Я обнаружил, что страшная усталость побуждает человека высказываться честно, не испытывая смущения.

– Да, – ответил Фицджереймс. – Вот эти две, привязанные к специальным саням мистера Хани, называются тендерами. Безусловно, вы видели их, когда они стояли на палубе или на льду рядом с кораблями в течение последних трех зим.

– Да, конечно, – сказал я. – Но вы говорите, они отличаются от вельботов?

– Сильно отличаются, – произнес капитан Фицджереймс, снова зажигая трубку. – Вы заметили на них мачты, доктор?

Даже при тусклом свете фонаря я видел две мачты, торчащие над каждым судном. В парусиновом тенте были искусно прорезаны и аккуратно обметаны отверстия для них. Я сообщил капитану о своих наблюдениях.

– Очень хорошо, – сказал он без малейшего намека на снисходительность в голосе.

– А эти разборные мачты не разобрали намеренно? – спросил я, скорее с целью показать, что я внимательно слушал все предшествовавшие пояснения, нежели по какой-либо иной причине.

– Они не разборные, доктор Гудсир. Это мачты люгерного вооружения... или, возможно, они известны вам под названием гафельных. Они постоянные. И вы видите рули под кормой? И выступающие кили?

Я видел.

– Из-за рулей и килей эти лодки нельзя волочить по льду, как вельботы? – осмелился предположить я.

– Совершенно верно. Вы правильно диагностировали проблему, доктор.

– Разве рули нельзя снять, капитан?

– В принципе, можно, доктор Гудсир. Но выступающие кили... их вдавит в днище или, наоборот, вырвет из него при прохождении через первую же торосную гряду, не правда ли?

Я снова кивнул и положил руку в рукавице на планширь.

– Мне кажется или эти четыре судна действительно несколько короче вельботов?

– У вас отличный глазомер, доктор. Двадцать восемь футов длины против тридцати у вельботов. И они тяжелее. Вдобавок у них прямоугольная корма.

Я только сейчас заметил, что у этих двух лодок, в отличие от вельботов, имеются резко выраженные нос и корма. Ничего похожего на каноэ.

– Скольких человек вмещает тендер? – спросил я.

– Десятерых. Это восьмивесельное судно. На нем хватит места для незначительного количества припасов и останется место, чтобы всем укрыться внизу во время шторма, даже в открытом море. За счет двух мачт парусность у тендеров вдвое больше, чем у вельботов, но, если нам придется подниматься по реке Бак, Большой Рыбной, от тендеров будет меньше толку, чем от вельботов.

– Почему? – спросил я, чувствуя, что мне уже следует знать ответ, так как капитан уже объяснял мне.

– У них осадка больше, сэр. Давайте взглянем на следующие две лодки... ялы.

Я рассмотрел следующие два судна.

– Они, похоже, длиннее тендеров, – заметил я.

– Так и есть, доктор. Тридцать футов длиной... как вельботы. Но они тяжелее, доктор. Даже тяжелее тендеров. Тащить ялы по льду на санях – дело очень трудное, уверяю вас. Мы и досюда-то еле-еле доволокли их. Вполне возможно, капитан Крозье предпочтет оставить ялы здесь.

– В таком случае не стоило ли просто оставить их у кораблей? – спросил я.

– Нет, – помотал головой Фицджереймс. – Нам необходимо выбрать такие судна, на которых у сотни человек больше шансов продержаться несколько недель или месяцев в открытом море или даже на реке. Вам

известно, доктор, что эти лодки – все эти лодки – оснащаются по-разному для морского и речного плавания?

Теперь настала моя очередь помотать головой.

– Не важно, – сказал капитан Фицджереймс. – Мы подробно разберем различия между речной и морской оснасткой судна как-нибудь в другой раз – предпочтительно теплым солнечным днем, когда будем находиться далеко к югу отсюда. Теперь оставшиеся восемь лодок... Первые две – это полубаркасы. Следующие четыре – корабельные шлюпки. И последние две – ялики.

– Ялики вроде значительно короче остальных, – заметил я.

Капитан Фицджереймс попыхал своей зловонной трубкой и кивнул, словно я изрек некий перл мудрости из Священного Писания.

– Верно, – печально сказал он. – Длина яликов всего двенадцать футов против двадцати восьми у полубаркасов и двадцати двух у корабельных шлюпок. Но ни первые, ни вторые, ни третьи не оснащаются мачтами и парусами, и все они маловесельные. Боюсь, людям в них придется туго, коли мы выйдем в открытое море. Я не удивлюсь, если капитан Крозье решит оставить их здесь.

«Открытое море?» – подумал я. Мысль о плавании на любом из этих суденышек по любой акватории шире реки Большая Рыбная, представлявшейся мне подобием Темзы, никогда прежде не приходила мне в голову, хотя я не раз присутствовал на различных совещаниях, где обсуждалась такая возможность. Глядя на маленькие и довольно хрупкие на вид полубаркасы, ялики и шлюпки, я подумал, что людям, вышедшим на них в море, останется лишь провожать взглядом двухмачтовые тендеры и одномачтовые вельботы, скрывающиеся за горизонтом.

Но люди на маломерных суденышках будут обречены. Как людей разделят на команды? Или капитаны уже определили состав команд втайне от всех?

И к какой лодке приписали меня – на какую участь обрекли?

– Если мы решим воспользоваться лодками малого размера, мы будем тянуть жребий, кому на какую сесть, – сказал капитан. – Места же в тендерах, ялах и вельботах будут распределены между санными командами.

Должно быть, я испуганно уставился на него.

Капитан Фицджереймс рассмеялся хриплым смехом, перешедшим в надсадный кашель, и выбил золу из трубки, постучав чашечкой о башмак. Ветер усилился, и стало очень холодно. Я понятия не имел, сколько сейчас времени, хотя знал, что уже за полночь. Стемнело часов семь назад, самое

малое.

– Не беспокойтесь, доктор, – тихо проговорил он. – Я не прочитал ваши мысли. Просто догадался, о чем вы думаете, по вашему выражению лица. Как я сказал, в случае с малыми лодками мы станем тянуть жребий, но, возможно, малыми лодками мы вообще не воспользуемся. Так или иначе, мы никого не бросим. Мы свяжем суда тросами, коли выйдем в открытое море.

Я улыбнулся, надеясь, что в тусклом свете фонаря капитан увидит мою улыбку, но не мои кровоточащие десны.

– Я не знал, что парусные суда можно привязывать к непарусным, – сказал я, снова обнаруживая свое невежество.

– Как правило, нельзя, – отозвался капитан Фицджереймс. Он легко похлопал меня по спине – я едва почувствовал прикосновение сквозь многочисленные слои одежды. – Теперь, доктор, когда вы узнали секреты, касающиеся мореходных качеств всех восемнадцати лодок в составе нашего маленького флота, не пора ли нам вернуться? Сейчас довольно холодно, и мне надо немного поспать, прежде чем отправиться на обход постов в четыре склянки.

Я покусал губу, чувствуя вкус крови.

– У меня один, последний, вопрос, капитан, если вы не возражаете.

– Нисколько не возражаю.

– Когда именно капитан Крозье решит, какие лодки мы возьмем, и когда мы спустим выбранные лодки на воду? – спросил я. Голос мой звучал хрипло.

Капитан немного переместился в сторону и теперь вырисовывался черным силуэтом на фоне костра, горевшего возле палатки, где размещалась матросская столовая. Я не видел его лица.

– Я не знаю, доктор Гудсир, – сказал он после долгой паузы. – Да и сам капитан Крозье вряд ли знает. Возможно, нам повезет, и лед вскрыется через несколько недель... в таком случае я самолично доставлю вас к острову Баффина. Или, возможно, мы спустим какие-то из этих лодок на воду в устье Большой Рыбной через три месяца... может быть, мы еще успеем добраться до Большого Невольничьего озера и расположенного там поселения до наступления зимы, даже если достигнем реки только к июлю.

Он похлопал по изогнутому борту ближайшего полубаркаса. Я исполнился странной тихой гордости от сознания, что способен распознать в лодке полубаркас.

Или это один из двух ялов?

Я старался не думать о состоянии Эдмунда Хора и об участии, которая

ожидает всех нас, если мы не начнем трудное восьмисотпятидесятимильное путешествие вверх по реке Бака – носящей также название Большая Рыбная – через три месяца. Едва ли кому-нибудь из нас удастся выжить, коли мы тронемся в путь к Большому Невольничьему озеру несколькими месяцами позже.

– Если же леди Удача отвернется от нас, – тихо продолжил Фицджереймс, – возможно, эти лодки вообще никогда больше не поплывут.

Мне было нечего сказать на это. Слова звучали как смертный приговор всем нам. Я повернулся спиной к свету, собираясь направиться обратно к лазарету. Я уважал капитана Фицджереймса и не хотел, чтобы он видел мое лицо в тот момент.

Капитан Фицджереймс положил руку мне на плечо, останавливая меня.

– Коли такое случится, – горячо проговорил он, – нам просто придется топтать домой пешком, верно?

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

22 апреля 1848 г.

Крозье, державший курс на заходящее арктическое солнце, знал график этого трудного похода. Сегодня они должны пройти по льду восемь миль до первого промежуточного лагеря. Завтра им предстоит преодолеть девять миль и, если все сложится удачно, добраться до второго промежуточного лагеря к полуночи. В третий, и последний, день похода они должны пройти еще восемь миль – самый трудный отрезок пути, где сани придется перетаскивать через барьер айсбергов на границе пакового и прибрежного льда, – и достичь сравнительно безопасного убежища, коим представлялся лагерь «Террор».

Там команды обоих кораблей впервые соберутся вместе в полном составе. Если санный отряд Крозье в целости и сохранности доберется до места назначения – и будет держаться впереди зверя, следующего за ними по льду, – все сто пять человек соберутся вместе на продуваемом ветрами северо-западном побережье острова.

Во время первых санных походов к острову Кинг-Уильям в марте, проходивших большей частью в темноте, скорость передвижения была столь мала, что зачастую люди с санями становились лагерем на льду в первую ночь еще в пределах видимости от корабля. Однажды, когда дул сильный встречный ветер, отряд Левеконта преодолел меньше мили за двенадцать часов непрерывных усилий.

Но сейчас – при солнечном свете да по глубокому санному следу и через проложенные в торосных грядках проходы – идти стало гораздо легче.

Крозье не хотел оставаться на Кинг-Уильяме. Визиты на мыс Виктори-Пойнт, несмотря на сваленные там огромные груды продовольствия и снаряжения и расчищенные под палатки площадки, не убедили капитана, что люди смогут долго продержаться там. Бурные ненастья, почти всегда наступавшие с северо-запада, были смертоносными зимой, опустошительными весной и осенью и опасными для жизни летом. Ужасные грозы вроде той, какую довелось пережить покойному лейтенанту Гору во время первого посещения острова весной 1847 года, повторялись снова и снова все лето и первый месяц осени. Среди первых вещей,

которые Крозье распорядился доставить на остров прошлым летом, были запасные громоотводы с кораблей.

До самого конца марта, когда разрушился «Эребус», Крозье надеялся, что они смогут двинуться к восточному побережью полуострова Бутия, где есть вероятность найти запасы провианта и снаряжения на Фьюри-Бич, а равно вероятность быть замеченными китобоями, идущими из Баффинова залива. По примеру старого Джона Росса, они могли бы направиться пешком или на лодках на север вдоль восточного побережья Бутии к острову Сомерсет или даже к острову Девон, коли придется. Рано или поздно они увидели бы какое-нибудь судно в проливе Ланкастер.

Вдобавок в том направлении находились эскимосские поселения. Крозье точно знал это: он видел их во время своего первого арктического путешествия с экспедицией Уильяма Эдварда Парри в 1819 году, совершенного в возрасте двадцати двух лет. Он вернулся туда с Парри двумя годами позже в попытке отыскать Северо-Западный морской проход, а потом еще через два года, чтобы продолжить поиски означенного пути, которые убьют сэра Джона спустя двадцать три года.

«И еще могут убить всех нас», – подумал Крозье и энергично потряс головой, прогоняя прочь тяжелые мысли.

Солнце стояло низко над южным горизонтом. Незадолго до заката они остановятся и съедят холодный обед. Потом снова впрягутся в сани и будут идти еще шесть-восемь часов в послеполуденной, вечерней и ночной тьме, чтобы добраться до первого промежуточного лагеря, расположенного в конце первой трети пути до Кинг-Уильяма и лагеря «Террор».

Сейчас тишину нарушали лишь дыхание людей, скрип кожаных ремней и скрежет полозьев по льду. Ветер полностью стих, но воздух стал еще холоднее с постепенным угасанием тусклого послеполуденного солнца. Облака ледяных кристаллов висели над вереницей людей и саней подобием медленно тающих золотых шаров.

Крозье – который сейчас, на подходе к высокой торосной гряде, шагал ближе к голове процессии, готовый помочь тянуть, толкать и тихо чертыхаться на первом участке подъема, – посмотрел на заходящее солнце и вспомнил, сколько сил он положил однажды в прошлом на поиски пути к Бутии и китобойным судам из Баффинова залива.

В возрасте тридцати одного года он в четвертый, и последний, раз отправился с капитаном Парри в те воды – на сей раз с целью достичь Северного полюса. Они продвинулись далеко на север, установив рекорд, не побитый поныне, но в конце концов были остановлены паковым льдом, простиравшимся до северных пределов мира. Френсис Крозье больше не

верил в существование Открытого Полярного моря: экспедиция, которая однажды достигнет полюса, не сомневался он, совершит данное путешествие на санях.

Возможно, на запряженных собаками санках, какими обычно пользуются эскимосы.

В Гренландии и на восточном побережье острова Сомерсет Крозье не раз видел легкие санки аборигенов – маленькие и хрупкие, совсем не похожие на массивные сани принятого в британском военно-морском флоте образца, – влекаемые собаками. Они двигались гораздо быстрее, чем мог двигаться санный отряд Крозье при всем старании. Но он планировал направиться на восток (коли такое вообще возможно) главным образом потому, что где-то на востоке – на полуострове Бутия или за ним – обитают эскимосы. И эти аборигены – как леди Безмолвная, несколькими днями ранее отправившаяся в лагерь «Террор» вслед за санными отрядами лейтенантов Ходжсона и Ирвинга, – умеют охотиться и ловить рыбу в этом богом забытом белом мире.

Когда в начале февраля Ирвинг доложил о невозможности проследить за леди Безмолвной или вступить с ней в достаточно осмысленное общение с целью выведать, где и как она добывает тюленье мясо и рыбу, которые, согласно клятвенным заверениям Ирвинга, он видел у нее, Крозье подумал, не пригрозить ли девушке пистолетом, чтобы она показала, как добывает свежую пищу. Но в глубине души он знал, чем закончится подобная попытка: безъязыкая эскимоска будет упорно молчать и смотреть немигающим взглядом огромных черных глаз на Крозье и остальных мужчин, пока ему не придется привести свою угрозу в исполнение. Таким образом, он ничего не добьется.

Посему капитан предоставил Безмолвной спокойно жить в маленьком снежном доме, описанном Ирвингом, разрешил мистеру Дигглу время от времени выдавать ей галеты или объедки и постарался выкинуть из головы всякие мысли о ней. Судя по раздражению, испытанному при напоминании об эскимоске, когда на прошлой неделе вахтенный доложил, что она последовала за отрядами Ходжсона и Ирвинга к лагерю «Террор», держась в нескольких сотнях ярдов позади, он мало преуспел в своих стараниях не думать о ней.

Когда бы не страшная усталость, Крозье, наверное, сейчас испытывал бы легкую гордость за конструкцию и прочность разнообразных саней, которые люди тащили по замерзшему морю на северо-восток.

В середине марта – когда еще не стало очевидным, что «Эребус» разломится под давлением льда, – он приказал мистеру Хани, оставшемуся

в живых плотнику экспедиции, и его помощникам, Уилсону и Уотсону трудиться день и ночь, чтобы сконструировать и соорудить сани, способные везти не только снаряжение, но и корабельные шлюпки.

Как только они изготовили первый образец больших саней из дуба и железа, Крозье вывел людей на лед, чтобы опробовать и приноровиться половчее таскать новые сани. Он постоянно заставлял специалистов по такелажным работам, интендантов и даже мачтовых матросов совершенствовать конструкцию упряжи, чтобы люди могли производить максимально эффективные тяговые усилия без перебоев в движении. В самом скором времени они окончательно определились с конструкцией саней и решили, что для больших саней, везущих лодки, лучше всего использовать упряжь на одиннадцать человек, а для повозок поменьше, груженных различными припасами и снаряжением, – упряжь на семерых.

Таким образом, они подготовились к первым походам, связанным с переправкой грузов в лагерь «Террор» на острове Кинг-Уильям. Крозье знал: если они приступят к делу позже, если промедлят до времени, когда одни слишком сильно ослабнут от болезни, чтобы тащить сани, а другие, возможно, так и вовсе умрут, каждую из восемнадцати лодок, нагруженных по самые планшири провиантом и снаряжением, придется тащить команде численностью меньше одиннадцати. А это потребует большего напряжения сил от больных цингой, истощенных людей, чье состояние к тому времени только ухудшится.

К последней неделе марта, когда «Эребус» уже агонизировал, оба экипажа проводили на льду дни напролет, по большей части в темноте, устраивая состязания по бегу с разными санями, тщательно подбирая людей в упряжи, осваивая различные приемы и составляя лучшие упряжные команды из людей всех званий с обеих кораблей. Победители получали денежное вознаграждение золотыми и серебряными монетами, и, хотя в личной кладовой покойного сэра Джона, планировавшего купить множество товаров на Аляске, в России, Азии и на Сандвичевых островах, стояли набитые шиллингами и гинеями сундуки, Френсис Крозье производил выплаты из своего кармана.

Крозье очень хотел отправиться к Баффинову заливу, как только дни станут достаточно долгими, чтобы можно было совершать переходы на значительное расстояние. Отчасти интуитивно, отчасти из рассказов сэра Джона и из книги Бака, описавшего свое восьмисотпятидесятимильное плавание вверх по реке Большая Рыбная к Большому Невольничьему озеру (данный том находился в библиотеке «Террора», а сейчас лежал в личном вещевом мешке Крозье на санях), он знал, что шансы благополучно

закончить такое путешествие ничтожны.

Даже первые сто шестьдесят с лишним миль пути, отделяющие «Террор» от устья Большой Рыбной, могут оказаться непроходимыми, а ведь потом еще предстоит совершить труднейшее путешествие вверх по реке. Помимо сложностей, связанных с преодолением полосы припая, на этом пути существует опасность натолкнуться на открытые полыньи во льдах и оказаться перед необходимостью бросить сани – и в любом случае перетащить сани и лодки через сам плоский каменистый остров, продуваемый самыми яростными ветрами, представляется делом почти непосильным.

Достигнув реки (коли они вообще до нее доберутся), они столкнутся с тем, что Бак описал как «извилистый бурный поток протяженностью в пятьсот тридцать географических миль, бегущий по скалистой местности, где нет ни единого деревца», на котором насчитывается «не менее восьмидесяти пяти водопадов, каскадов и порогов». Крозье слабо верилось, что еще через месяц или более у людей, измученных долгим санным походом, останутся силы, чтобы преодолеть восемьдесят пять водопадов, каскадов и порогов, даже в самых прочных лодках. Одни переправы волоком убьют их.

Неделей раньше, перед своим отбытием в лагерь «Террор» с очередным санно-лодочным отрядом, судовой врач Гудсир сказал Крозье, что запасы лимонного сока – единственного оставшегося у них противочинготного средства, пусть и выдохшегося, – закончатся через три недели или раньше, в зависимости от количества людей, которые умрут за данный промежуток времени.

Крозье знал, как быстро полномасштабное наступление цинги ослабит всех. Сейчас, совершая двадцатипятимильный поход к острову Кинг-Уильям с легкими санями и полностью укомплектованными упряжными командами, ежедневно получая половину нормы пищевого довольствия и двигаясь по тропе, проложенной во льду полозьями за месяц с лишним, они покрывали чуть более восьми миль в день. На пересеченной местности или на полосе припая у Кинг-Уильяма и южнее данное расстояние, вероятно, сократится вдвое, если не больше. Когда цинга начнет расправляться с ними, они будут преодолевать лишь по миле в день, а при отсутствии ветра едва ли смогут вести тяжелые лодки против течения реки на веслах или отталкиваясь от дна шестами. Переправа волоком на любое расстояние через несколько недель или месяцев станет для них делом просто непосильным.

В пользу похода на юг к Большой Рыбной говорили лишь два

обстоятельства: слабая вероятность, что поисково-спасательная экспедиция, посланная за ними, уже направилась вниз по реке от Большого Невольничьего озера, и тот простой факт, что по мере продвижения на юг будет становиться теплее. По крайней мере, они будут двигаться к зоне оттепели.

И все же Крозье предпочитал остаться в более северных широтах и преодолеть более длинное расстояние, двигаясь на восток и север, к полуострову Бутия и через него. Он знал, что существует лишь один сравнительно безопасный способ предпринять такую попытку: добраться до Кинг-Уильяма, пересечь его, потом совершить относительно короткий переход по открытому льду, защищенному от яростного северо-западного ветра самим островом, к юго-западному берегу Бутии, а затем медленно двинуться на север вдоль полосы припая или непосредственно по прибрежной равнине и наконец перевалить через горную гряду, направляясь к заливу Фьюри и на каждом шагу надеясь встретить эскимосов.

Это был безопасный путь. Но длинный. Тысяча двести миль – почти в полтора раза длиннее, чем путь на юг к реке Бака.

Если по достижении Бутии они в самом скором времени не встретят дружелюбно настроенных эскимосов, все они погибнут за несколько недель или месяцев до возможного окончания подобного путешествия.

И тем не менее Френсис Крозье предпочитал рискнуть всем и совершить бросок через замерзшее море в северо-восточном направлении – прямо через самые ужасные паковые льды – в отчаянной попытке повторить потрясающий воображение шестисотмильный санный поход своего друга Джеймса Кларка Росса, совершенный восемнадцатью годами ранее, когда «Фьюри» затерло льдами у противоположного берега полуострова Бутия. Старый вестовой Бридженс был абсолютно прав. В свое время Джон Росс выбрал самый верный путь к спасению, когда направился с санями пешком на север, а потом поднялся на лодках в пролив Ланкастер и стал ждать там китобойцев. И его племянник Джеймс Росс доказал, что для санного отряда преодолеть расстояние от Кинг-Уильяма до Фьюри-Бич возможно – в принципе возможно.

«Эребус» еще находился в десятидневной агонии, когда Крозье отправил в испытательный поход упряжных с обоих кораблей – победителей соревнований, получивших самые крупные премии и последние деньги, остававшиеся у Френсиса Крозье, – с санями самой лучшей конструкции, предварительно приказав мистеру Хелпмену и

старшему интенданту мистеру Осмеру обеспечить эту отборную упряжную команду всем необходимым для шестинедельного пребывания на льду.

Это была команда из одиннадцати человек под началом старшего помощника с «Эребуса» Фредерика Дево, где первым в упряжи шел великан Мэнсон. Всем девятерым мужчинам предложили участвовать в походе на добровольных началах. Никто не отказался.

Крозье хотел проверить, возможно ли совершить столь долгий поход по открытому льду с тяжелыми санями, везущими доверху нагруженную лодку. Одиннадцать мужчин тронулись в путь в шесть склянок 23 марта, в темноте, при температуре воздуха минус тридцать девять градусов^[14], под громкое троекратное «ура», выкрикнутое всеми членами обеих экипажей.

Дево со своим отрядом вернулся через три недели. Никто не умер, но все были изнурены до крайности, и четверо получили серьезные обморожения. Из одиннадцати участников похода, помимо неутомимого Дево, один только Магнус Мэнсон не производил впечатления человека, находящегося при смерти от усталости и истощения.

За три недели они смогли преодолеть расстояние в неполных двадцать восемь миль по прямой от «Террора» и «Эребуса». Позже Дево прикинул, что в действительности им пришлось пройти более полутора сотен миль, чтобы удалиться от кораблей на эти двадцать восемь, но двигаться через паковые льды по прямой не представлялось возможным. Дальше к северо-востоку погодные условия были еще хуже, чем в девятом круге ада, где они уже два года томились в ледовом плену. Торосных гряд там было не счесть. Многие вздымались на высоту свыше восьмидесяти футов. Даже держаться нужного курса было почти невозможно, когда облака заволакивали солнце и звезды скрывались за облачной пеленой по несколько восемнадцатичасовых ночей подряд. Компасы, разумеется, не действовали в такой близости от северного магнитного полюса.

На всякий случай они взяли с собой пять палаток, хотя собирались спать только в двух. Ночью на открытом льду было так холодно, что последние девять ночей все одиннадцать мужчин спали – когда вообще могли заснуть – в одной палатке. Но выбора у них в любом случае не оставалось, поскольку четыре из пяти прочных палаток унесло прочь или разорвало в клочья ураганным ветром на двенадцатую ночь.

Каким-то образом Дево заставлял людей продолжать движение на северо-восток, но погода с каждым днем ухудшалась, торосные гряды преграждали путь все чаще, вынужденные отклонения от курса стали длиннее и опаснее, и вдобавок сани получили серьезное повреждение в процессе переходов через торосные гряды, требовавших поистине

геркулесовых усилий. Два дня они потратили на одну только починку саней под завывание метели.

Старший помощник решил повернуть назад на четырнадцатое утро. Теперь, когда у них осталась всего одна палатка, шансы выжить значительно снизились. Они попытались вернуться к кораблям по собственному санному следу, но из-за высокой активности льда – движения ледяных плит, перемещения айсбергов, появления новых торосных гряд – отыскать оный уже не представлялось возможным. Дево – лучший после Крозье навигатор в экспедиции Франклина – снимал показания с теодолита и секстанта, когда небо ненадолго прояснялось днем или ночью, но в конечном счете выбрал курс, основываясь главным образом на счислении пути. Он сказал людям, что точно знает местоположение отряда. Позже он признался Фицджереймсу и Крозье, что был уверен: он отклонится в сторону от кораблей миль на двадцать.

В последнюю ночь на льду палатку разорвало ветром, и они вылезли из спальных мешков и пошли наобум дальше на юго-запад, чтобы не замерзнуть до смерти. Они избавились от излишков провианта и одежды и продолжали тащить сани только потому, что нуждались в воде, дробовиках, патронах и порохе. Какое-то крупное существо шло следом за ними в течение всего похода. Они слышали, как оно бродило вокруг них в темноте по ночам.

Отряд Дево – по-прежнему двигавшийся прямо на запад, мимо «Террора», находившегося в трех милях к югу от них, – был замечен на северном горизонте рано утром на двадцать первый день похода. Их разглядел вахтенный с «Эребуса», хотя сам корабль к тому времени уже погиб: раскололся в щепки и затонул. Дево и его людям крупно повезло, что вахтенный, ледовый лоцман Джеймс Рейд, еще до рассвета забрался на громадный айсберг, служивший частью декораций Венецианского карнавала, и увидел людей в бинокль при первом проблеске зари.

Рейд, лейтенант Левеконт, судовой врач Гудсир и Гарри Пеглар возглавили отряд, который отправился вдогонку за санной командой Дево и привел людей обратно, мимо груды сломанных досок, мачт и спутанных снастей такелажа, оставшихся от затонувшего корабля. Пятеро мужчин из отборной команды Дево последнюю милю пути до «Террора» уже не могли идти сами, и их пришлось везти на санях. Шестеро человек с «Эребуса» из числа участников похода, включая самого Дево, не сдержали слез при виде своего разрушенного дома.

О том, чтобы направиться коротким путем на северо-восток к Бутии, теперь говорить не приходилось. После беседы с Дево и прочими

изнуренными мужчинами Фицджереймс и Крозье сошлись во мнении, что лишь немногие из ста пяти оставшихся в живых человек в состоянии проделать путь до Бутии, а большинство неминуемо погибнут на льду в таких условиях, даже если дни станут длиннее, температура воздуха немного повысится и солнце будет светить ярче. Вероятность наткнуться на открытые каналы во льдах только усугубляла опасность подобного предприятия.

Теперь вопрос стоял так: либо они остаются на кораблях, либо становятся лагерем на Кинг-Уильяме и в скором времени выступают на юг, к реке Бака.

Крозье решил начать эвакуацию на следующий день.

Перед самым заходом солнца и привалом на обед вереница саней наткнулась на отверстие во льду. Они остановились, и пять саней со своими упряжными встали кольцом вокруг дыры. Далеко внизу чернел круг воды – первая открытая вода, которую они увидели за последние двадцать месяцев.

– На прошлой неделе, когда мы тащили полубаркасы в лагерь, этого здесь не было, – сказал матрос Томас Тэдмэн. – Видите, как близко проходят колеи от полозьев. Мы бы заметили дыру, точно. Здесь ничего не было.

Крозье кивнул. Это была не обычная полынья – так русские называли редкие отверстия в паковом льду, не замерзавшие круглый год. Толщина льда здесь составляла свыше десяти футов – меньше, чем у твердого пака вокруг «Террора», но достаточно, чтобы выдержать каменное здание, – однако нигде поблизости не наблюдалось никаких сдвинувшихся под давлением ледяных плит и никаких трещин. Такое впечатление, будто кто-то взял гигантскую пилу вроде тех, что имелись на обоих кораблях, и пропилил идеально круглое отверстие во льду.

Но корабельными пилами не пропилить лед толщиной десять футов.

– Мы можем пообедать здесь, – предложил Томас Блэнки. – Перекусить на морском берегу, так сказать.

Мужчины замотали головой. Крозье согласился с ними – он задавался вопросом, испытывают ли все остальные такую же смутную тревогу, какую вызывает у него идеально круглая дыра во льду и черная вода глубоко внизу.

– Мы сделаем привал примерно через час, – сказал он. – Лейтенант Литтл, скомандуйте вашим саням двигаться первыми, пожалуйста.

Прошло, наверное, минут двадцать – солнце скрылось за горизонтом с

почти тропической внезапностью, и звезды уже дрожали и мерцали в холодном небе, а возглавлявшие процессию морские пехотинцы взяли с саней фонари, но еще не зажгли, – когда рядовые Хопкрафт и Пилкингтон, прикрывавшие отряд с тыла, бегом нагнали Крозье, шагнувшего рядом с последними санями.

– Капитан, – прошептал Хопкрафт, – за нами кто-то идет.

Крозье вынул свою медную подзорную трубу из футляра, притороченного сверху к поклаже на санях, и на минуту остановился вместе с двумя мужчинами, в то время как сани продолжили путь в сгущающейся тьме, поскрипывая по снегу полозьями.

– Вон там, сэр, – сказал Пилкингтон, указывая здоровой рукой. – Может, оно вылезло из той дыры во льду, капитан. Как вы думаете? Мы с Бобби думаем, что именно так и обстоит дело. Может, оно просто пряталось там в воде подо льдом, выжидая, когда мы пройдем дальше, а потом погналось за нами. Как по-вашему, сэр?

Крозье не ответил. Он видел существо в подзорную трубу, еле различимое в сумерках. Оно казалось белым, но потому только, что на несколько мгновений вырисовалось на фоне грозowych туч, собиравшихся в черном небе на северо-западе. Когда существо поравнялось с сераками и ледяными валунами, мимо которых вереница саней проползла всего двадцать минут назад, стало легче оценить его размеры. Оно было очень крупным: выше Магнуса Мэнсона, даже когда передвигалось на четырех лапах, как сейчас. Для существа таких размеров оно двигалось легко и плавно – скорее по-лисий грациозно, чем по-медвежьей неуклюже. Стараясь принять более устойчивое положение на крепчающем ветру, Крозье увидел, как зверь поднялся и пошел на двух ногах. Так он передвигался чуть медленнее, но все равно быстрее людей, волокущих сани весом в две тысячи фунтов. Теперь он возвышался над сераками, до вершины которых Крозье не достал бы, даже встав на цыпочки и вытянув руку вверх.

Потом сделалось темно, и он больше не различал существа на фоне торосных гряд и сераков. Вместе с морскими пехотинцами капитан нагнал санный отряд и положил подзорную трубу обратно в футляр; мужчины впереди налегали на упряжь, кряхтели, пыхтели и отчаянно напрягали силы.

– Держитесь поближе к саням, но постоянно поглядывайте назад и держите оружие наготове, – тихо сказал Крозье Пилкингтону и Хопкрафту. – Никаких фонарей. Вам придется полагаться только на свое зрение.

Громоздкие фигуры кивнули и отошли немного назад. Крозье заметил,

что охранники в голове процессии зажгли фонари. Он больше не видел людей – только круги света, обрамленные гало из ледяных кристаллов.

Капитан подозвал Томаса Блэнки. Деревянная нога освобождала последнего от обязанности тащить сани, хотя подошва приделанного к протезу деревянного башмака была предусмотрительно утыкана гвоздями против скольжения. С ампутированной по колено ногой Блэнки просто не мог достаточно крепко упираться в лед и достаточно сильно налегать на упряжь. Но все знали, что ледовый лоцман скоро честно выполнит свою долю работы, если не физической, то умственной: знание ледовых условий станет жизненно важным, если они наткнутся на проходы во льдах и будут вынуждены спустить лодки на воду в предстоящие недели и месяцы.

Сейчас Крозье использовал Блэнки в качестве посыльного:

– Мистер Блэнки, будьте любезны, пройдите вперед и сообщите людям, которые сейчас не тащат сани, что привал отменяется. Пусть они достанут холодную говядину и галеты из соответствующих ящиков и раздадут пищу морским пехотинцам и людям в упряжи, чтобы ели на ходу и запивали водой из бутылок, которые несут за пазухой. А также, пожалуйста, попросите наших охранников держать оружие наготове. Возможно, они пожелают снять рукавицы.

– Есть, капитан, – сказал Блэнки и скрылся во мраке.

Крозье услышал скрип снега под его деревянным башмаком с утыканной гвоздями подошвой.

Капитан знал, что через десять минут все участники похода поймут, что их преследует чудовищное существо.

69°37' 42" северной широты, 98°40' 58" западной долготы

24 апреля 1848 г.

Несмотря на то что Ирвинг ослаб от болезни и голода и едва не падал с ног от усталости, несмотря на то что у него кровоточили десны и два коренных зуба, похоже, шатались, это был один из счастливейших дней в его жизни.

Весь этот день и предыдущий он и Джордж Ходжсон – давние товарищи, подружившиеся еще на учебном линейном корабле «Экселлент» задолго до экспедиции, – возглавляли отряды, вышедшие на охоту и тщательную разведку местности. Впервые за три года вынужденного бездействия богом проклятой экспедиции Франклина третий лейтенант Джон Ирвинг чувствовал себя настоящим исследователем.

Да, действительно, остров, восточную часть которого он исследовал, – тот самый остров Кинг-Уильям, куда он приходил с лейтенантом Грэмом Гором чуть более одиннадцати месяцев назад, – кусок дерьма не стоил: населенный лишь завывающими ветрами пустынный каменистый массив суши с низкими холмами высотой не более двадцати футов над уровнем моря и снежными распадками, но Ирвинг все равно исследовал. Сегодня утром он уже успел увидеть вещи, которых не видел ни один белый человек, а возможно, и вообще ни один человек на планете. Разумеется, речь шла всего лишь о низких каменистых холмах и продуваемых ветрами снежных и ледяных равнинах, а даже не о песцовом следе или мумифицированном трупe кольчатой нерпы, но все это обнаружил он: двадцать лет назад санный отряд сэра Джеймса Росса проходил по северному берегу острова, направляясь к Виктори-Пойнт, но именно Джон Ирвинг – уроженец Бристоля, а впоследствии житель Лондона – первым исследовал глубинные районы Кинг-Уильяма.

Ирвинг был не прочь назвать внутреннюю часть острова Землей Ирвинга. Почему бы нет? Мыс неподалеку от лагеря «Террор» носил – вот уже девятнадцать лет – имя жены сэра Джона, леди Джейн Франклин, а что сделала она, дабы заслужить такую честь, кроме того, что вышла замуж за толстого лысого старика?

Разные упряжные команды уже начинали ощущать себя цельными,

обособленными сообществами. Поэтому вчера Ирвинг взял на охоту свою группу из шести человек, в то время как Джордж Ходжсон отправился со своими людьми на разведку местности согласно распоряжениям капитана Крозье. Охотники Ирвинга еще не нашли ни одного звериного следа на снегу.

Поскольку вчера все его люди были вооружены дробовиками и мушкетами, а сам Ирвинг, как и сегодня, нес с собой один только пистолет в кармане шинели, надо признать, временами он испытывал легкое беспокойство при мысли о помощнике конопатчика Хикки, шагавшем позади него с ружьем в руках. Но сейчас, когда Магнус Мэнсон находился на корабле в двадцати пяти милях отсюда, Хикки держался с Ирвингом, Ходжсоном и прочими офицерами не просто вежливо, а даже почтительно.

Джону Ирвингу невольно вспомнилось, как в родном бристольском доме учитель частенько отделял его и братьев друг от друга, когда они начинали шалить во время долгих скучных уроков. Он просто рассаживал мальчиков по разным комнатам старинного помещичьего особняка и часами проводил занятия с каждым по отдельности, переходя из одного помещения на втором этаже старого флигеля в другое и гулко стуча высокими каблуками украшенных пряжками туфель по дубовым полам. Джон и его братья Дэвид и Уильям – доставлявшие мистеру Кандрие много хлопот, когда собирались все втроем, – почти робели, оставаясь наедине с бледным, сухопарым, долговязым учителем в белом парике. Ирвинг, поначалу страшно не хотевший обращаться к капитану Крозье с просьбой оставить Мэнсона на корабле, теперь был рад, что высказался. И тем более рад, что капитан не стал допытываться насчет причины подобной просьбы; Ирвинг так и не сообщил Крозье о сцене с участием помощника конопатчика и здорового матроса, которую видел однажды ночью в трюме, и не собирался сообщать.

Но сегодня он не особо волновался по поводу Хикки или по любому другому поводу. Помимо самого Ирвинга с его пистолетом, единственным участником разведывательного отряда, имевшим при себе оружие, был Эдвин Лоуренс, вооруженный мушкетом. Стрельбы, произведенные близ выстроенных в ряд саней с лодками у лагеря «Террор», показали, что Лоуренс является единственным в данной группе человеком, способным более или менее сносно стрелять из мушкета, и посему сегодня он выступал в роли их охранника и защитника. Остальные взяли в поход лишь наскоро сшитые парусиновые сумки через плечо. Рубен Мейл, баковый старшина и весьма изобретательный малый, изрядно потрудился вместе со старым парусником Мюрреем, чтобы изготовить такие сумки для всех, и

потому они естественным образом получили название мужских сумок. В своих мужских сумках люди носили пули или порох, галеты и вяленую свинину, неприкосновенный запас в виде банки голднеровских консервов, несколько свитеров, проволочные очки, смастеренные по приказу Крозье для предохранения от снежной слепоты, дополнительный запас пороха и дробы во время охоты и спальные мешки на случай, если в силу неких непредвиденных обстоятельств они не смогут вернуться в лагерь и будут вынуждены расположиться биваком на ночь.

Сегодня утром отряд Ирвинга шел уже более пяти часов, направляясь вглубь острова. Они старались по возможности оставаться на небольших каменистых возвышенностях: там дул ветер покрепче и холоднее, но идти было легче, чем по заваленным снегом и льдом низинам. Пока они не увидели ничего такого, что могло бы повысить шансы экспедиции на выживание, – ни зеленого лишайника, ни оранжевого мха на скалах. Из книг, прочитанных в библиотеке «Террора» (в том числе двух, написанных самим сэром Джоном Франклином), Ирвинг знал, что голодные люди могут варить своего рода супы из мхов и лишайников. Очень голодные люди.

Когда разведывательный отряд остановился на привал, чтобы съесть холодный обед, утолить жажду водой и немного передохнуть в защищенной от ветра низине, Ирвинг на время передал командование грот-марсовому старшине Томасу Фарру, а сам пошел дальше один. Он сказал себе, что люди измучены тяжелыми санными походами последних нескольких недель и нуждаются в отдыхе, но на самом деле он просто хотел побыть наедине с самим собой.

Ирвинг сказал Фарру, что вернется через час и что будет часто спускаться на занесенные снегом участки склонов, оставляя там следы – для себя самого, чтобы не заблудиться на обратном пути, или для остальных, чтобы по ним они отыскали его, коли он припозднится. Шагая дальше на восток в блаженном одиночестве, лейтенант грыз черствую галету. Он чувствовал, как сильно шатаются у него два зуба, а отняв галету ото рта, увидел на ней кровь.

Несмотря на постоянное чувство голода, в последнее время у Ирвинга пропал аппетит.

С трудом преодолев очередную занесенную снегом низину, Ирвинг вышел на каменистый склон и начал устало подниматься к вершине очередного холма, где дул пронизывающий ветер.

Он остановился. По широкой заснеженной долине впереди двигались черные точки.

Ирвинг зубами стянул рукавицы и принялся рыться в парусиновой

сумке в поисках своей великолепной медной подзорной трубы, полученной в подарок от дядюшки по случаю вступления в военно-морской флот. Он не стал припадать глазом к окуляру, поскольку медный ободок последнего примерз бы к веку и щеке, едва до них дотронувшись, а так было труднее навести резкость, даже держа длинную подзорную трубу обеими руками. Руки у него дрожали.

То, что Ирвинг принял за маленькую стаю мохнатых зверей, на деле оказалось группой людей.

Охотничий отряд Ходжсона?

Нет. Три фигуры были в толстых меховых парках наподобие той, какую носила леди Безмолвная. И через заснеженную равнину медленно пробирались десять фигур, шедшие рядом, но не гуськом, в то время как Джордж ушел из лагеря всего с шестью мужчинами. И Ходжсон со своим отрядом сегодня направился на юг вдоль берега, а не вглубь острова.

И у этих людей были маленькие сани. Отряд Ходжсона не взял с собой саней. И в лагере «Террор» вообще не было таких маленьких саней.

Ирвинг попытался получше сфокусировать свою любимую подзорную трубу и затаил дыхание, чтобы она не дрожала.

Сани тащила упряжка по меньшей мере из шести собак.

Это были либо белые спасатели в эскимосских одеждах, либо настоящие эскимосы.

Ирвингу пришлось отнять от глаза подзорную трубу, а потом бессильно упасть на одно колено на холодные камни и на несколько мгновений низко опустить голову. Все плыло у него перед глазами. Физическая слабость, которую он на протяжении многих недель сдерживал одной только силой воли, накатила на него, словно волна тошноты.

«Это все меняет», – подумал он.

Фигуры внизу (похоже, они по-прежнему не видели Ирвинга – возможно, потому, что он уже немного спустился вниз по склону и стал не очень заметен на фоне темных камней в своей темной шинели) могли быть охотниками из какой-нибудь неизвестной эскимосской деревни, расположенной неподалеку. Коли так, сто пять оставшихся в живых человек с «Эребуса» и «Террора» почти наверняка спасены. Аборигены либо станут кормить их, либо научат, как самим прокормиться здесь, на этом пустынном острове.

Но может статься, это военный отряд и примитивные копья, мельком увиденные Ирвингом в подзорную трубу, предназначаются для белых людей, о вторжении которых на свою территорию эскимосы каким-то образом прознали.

Так или иначе, третий лейтенант Джон Ирвинг знал, что должен спуститься вниз, встретиться с ними и все выяснить.

Он сложил подзорную трубу и аккуратно засунул между запасными свитерами в парусиновой сумке, а потом – вскинув вверх одну руку в надежде, что эскимосы истолкуют сей жест как миролюбивый знак приветствия, – начал спускаться по длинному отлогому склону холма навстречу десяти фигурам, внезапно остановившимся.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

24 апреля 1848 г.

Третий день перехода по льду оказался чудовищно тяжелым.

За последние шесть недель Крозье совершал путешествия от корабля в лагерь по меньшей мере дважды, с одними из первых и самых больших санных отрядов. Во время тех двух походов люди по очереди волокли два из четырех длинных вельботов прямо по льду и через торосные гряды, а на санях везли только провиант и снаряжение, но, даже несмотря на слабую укатанность тропы, идти тогда было гораздо легче. Он был здоровее. И не так измучен.

Френсис Крозье не признавал этого, но после того, как он оправился от почти смертельной болезни в январе, тяжелая меланхолия, владевшая им с юности, а возможно, даже с детства, приобрела форму бессонницы. Будучи матросом, а потом капитаном, Крозье всегда гордился – как большинство капитанов – своей способностью спать очень мало и пробуждаться от самого глубокого сна при любом изменении в состоянии корабля: при перемене курса, усилении ветра в парусах наверху, частом топоте слишком большого количества ног, бегущих по палубе во время какой-нибудь особой вахты, изменении звука воды, плещущей о борта... в общем, при любой, самой незначительной перемене обстоятельств.

Но в последние месяцы, после схватки со смертью в начале января, Крозье спал все меньше и меньше с каждой ночью и наконец приобрел привычку дремать час-другой в середине ночи и порой урывать на сон полчаса или меньше в течение дня. Он говорил себе, что это просто следствие чрезвычайной занятости – нужно сделать слишком много дел и отдать слишком много приказов в последние недели и дни перед эвакуацией с корабля, – но на самом деле это меланхолия снова пыталась убить его.

Почти все время сознание Крозье находилось в оцепенении. Его острый от природы ум отупел, отравленный усталостью.

В последние две ночи, проведенные в первом и втором промежуточном лагере на морском льду, никто не мог толком заснуть, несмотря на крайнюю усталость. Необходимости устанавливать палатки не

было: уже несколько недель там постоянно стояли восемь палаток, и каждый следующий отряд устранял повреждения, причиненные ветром или снегом.

Спальные мешки из оленьих шкур, рассчитанные на трех человек, были гораздо теплее мешков, сшитых из шерстяных одеял, и места в них распределялись по жребию. Крозье даже не стал участвовать в жеребьевке, но когда в первую свою ночь на льду он вошел в палатку, которую делил вместе еще с двумя офицерами, то обнаружил, что его вестовой Джопсон расстелил спальный мешок из оленьих шкур, сшитый для него одного. И Джопсон, и двое других мужчин считали недопустимым, чтобы капитан делил спальный мешок с двумя другими храпящими, пердящими, толкающимися во сне мужчинами – пусть даже офицерами, – и Крозье не стал спорить.

А равно не сказал ни Джопсону, ни другим, что спать в одноместном мешке гораздо холоднее, чем в трехместном. Только тепло лежащих рядом тел согревало людей достаточно, чтобы они могли спать ночью.

Но Крозье и не пытался уснуть ни в первом, ни во втором промежуточном лагере.

Каждые два часа он вставал и обходил лагерь, чтобы убедиться, что часовые сменились вовремя. Ветер ночью крепчал, и часовые прятались за наспех сооруженными невысокими снежными стенами. Из-за резкого ветра и метели они не увидели бы чудовищного существа, пока не столкнулись бы с ним нос к носу.

Той ночью оно не появилось.

Когда же Крозье изредка погружался в беспокойное забытие, он снова видел кошмарные сны, посещавшие его во время январской болезни. Некоторые сны повторялись так часто – заставляя капитана всякий раз просыпаться в холодном поту, – что он запомнил отдельные фрагменты. Девочки-подростки, проводящие спиритический сеанс. Макклинток и другой мужчина, в ужасе глядящие на два скелета в лодке, один из которых сидит в бушлате и полном зимнем обмундировании, а другой представляет собой лишь груды обглоданных костей.

Крозье жил с подспудным сознанием, что один из скелетов – он сам.

Но самым ужасным был сон о причастии, где он – маленький мальчик или больной старик – стоял голый на коленях у алтаря в церкви, а огромный звероподобный священник – в насквозь промокнушем изодранном белом одеянии, в прорехах которого виднелось багровое, сожженное до мяса тело, – нависал над ним, наклонялся ниже, смрадно дыша в поднятое лицо Крозье.

Утром 23 апреля они встали в начале шестого. До восхода солнца еще оставалось почти четыре часа. Ветер продолжал дуть, хлопая коричневой парусиной голландских палаток и обжигая лица людей, собравшихся к завтраку.

На льду пищу полагалось разогревать в маленьких жестяных емкостях с надписью «варочное устройство», используя спиртовки, которые заправлялись эфиром из бутылок. Даже в безветренную погоду заправить и зажечь спиртовки зачастую было трудно или почти невозможно; при сильном же ветре такая возможность вообще исключалась, даже если рискнуть и попытаться зажечь спиртовки в палатке. Поэтому – утешаясь мыслью, что голднеровские консервированные овощи, супы и мясо уже приготовлены, – мужчины просто поели замерзшего или полузамерзшего студенистого месива прямо из банок. Они умирали от голода, а им предстояло тащить сани весь бесконечно долгий день.

Гудсир и три ныне покойных врача неоднократно говорили Крозье и Фицджерейсу о необходимости хорошо разогревать голднеровские консервированные продукты, особенно супы. Овощи и мясо, указывал Гудсир, действительно предварительно проварены или протушены, но супы – главным образом из дешевого пастернака, моркови и прочих корнеплодов – представляют собой просто «концентраты», которые нужно разводить водой и варить до готовности.

Судовой врач не мог сказать, какие именно ядовитые вещества могут содержаться в некипяченых голднеровских супах, но продолжал настаивать на необходимости разогревать последние до температуры кипения, даже во время походов. Предостережения Гудсира и стали одной из главных причин, почему Крозье и Фицджереймс приказали перевезти в лагерь «Террор» тяжелые железные печи с вельботов.

Но ни в первом, ни во втором промежуточном лагере никаких печей не было. Люди ели всю консервированную пищу холодной, прямо из банок, когда разжечь спиртовки не удавалось, – и даже когда эфир в них горел, топлива хватало только для того, чтобы растопить замерзшие супы, но уж никак не вскипятить.

Придется довольствоваться этим, думал Крозье.

Как только капитан покончил с завтраком, в животе у него снова заурчало от голода.

Изначально они собирались снять все восемь палаток в обоих промежуточных лагерях и отвезти в лагерь «Террор», чтобы держать про запас на случай, если каким-нибудь отрядам вскоре снова придется выйти на лед. Но дул слишком сильный ветер, и люди слишком устали даже за

первые сутки похода. Крозье посоветался с лейтенантом Литтлом, и они решили забрать из этого лагеря только три палатки. Возможно, завтра утром, выступая из второго промежуточного лагеря, они будут чувствовать себя лучше.

На второй день похода, 23 апреля 1848 года, трое мужчин в упряжи сломались. Одного стало рвать кровью. Двое других просто упали на лед и потом весь день уже не могли тащить сани. Одного из этих двух пришлось везти дальше вместе с поклажей.

Не желая сокращать количество вооруженных охранников, идущих впереди, позади и с флангов, Крозье и Литтл сами встали в упряжь и тащили сани почти весь тот бесконечно длинный день.

В течение второго дня похода им не пришлось преодолевать очень уж высоких торосных гряд, а санный след на данном участке пути замерзшего моря пролегал подобием торной дороги, но сильный ветер и метель сводили эти преимущества на нет. Мужчины в упряжи не видели саней, ползущих в пятнадцати футах впереди. Вооруженные морские пехотинцы, охранявшие обоз, не видели никого и ничего, когда находились в двадцати футах от саней, и вынуждены были идти вплотную к ним, чтобы не потеряться. В качестве часовых они не приносили никакой пользы.

Несколько раз в течение дня головные сани – обычно Крозье или Фицджереймса – сбивались с проложенного санного следа, и тогда всем приходилось останавливаться и ждать от пяти минут до получаса, пока несколько мужчин – связавшись веревкой, чтобы не заблудиться в метели, – бродили справа и слева от вереницы повозок в поисках неглубоких санных следов во льду, которые быстро заносило снегом.

Сбиться с дороги на середине пути значило бы не только потерять время: это вполне могло стоить всем им жизни.

Некоторые упряжные команды, тащившие более тяжелые грузы, преодолевали эти девять миль относительно ровного льда менее чем за двенадцать часов и прибывали во второй промежуточный лагерь всего через несколько часов после захода солнца. Отряд Крозье добрался туда далеко за полночь и едва вообще не проскочил мимо лагеря. Если бы Магнус Мэнсон – обладавший слухом столь же необычным, как его размеры и тупость, – не услышал хлопанья палаток на ветру далеко по левому борту, они бы прошли мимо своего пристанища и склада продовольственных припасов.

Яростный ветер, безостановочно дувший весь день, причинил лагерю значительные разрушения. Пять из восьми палаток унесло в темноту – хотя они прочно крепились ко льду металлическими штырями с винтовой

резьбой – или просто разорвало в клочья. Еле живые от усталости и голода мужчины сумели поставить две палатки из трех, взятых в первом лагере, и сорок шесть человек, которым было бы вполне удобно, но довольно тесно в восьми палатках, битком набились в пять.

Для часовых, посменно дежуривших той ночью, – шестнадцати мужчин из сорока шести – ветер, снег и мороз стали сущим адом. Крозье сам отстоял на посту с двух до четырех часов утра. Он решил воспользоваться возможностью двигаться, поскольку в своем одноместном спальном мешке все равно не мог заснуть от холода, даром что люди вокруг него в тесной палатке лежали чуть не штабелями.

Последний день похода был самым тяжелым.

Незадолго до подъема, состоявшегося в пять утра, ветер стих, но радость от перспективы увидеть наконец чистое голубое небо сводило на нет резкое понижение температуры воздуха по меньшей мере на тридцать градусов. Лейтенант Литтл произвел замеры, и в шесть утра термометр показывал шестьдесят четыре градуса ниже нуля.

«Всего-навсего восемь миль», – продолжал говорить себе Крозье, шагая в упряжи. Он знал, что все остальные думают то же самое. «Сегодня всего восемь миль, на целую милю меньше, чем вчерашний ужасный переход». Когда еще несколько мужчин упали, вконец обессиленные болезнью или усталостью, Крозье приказал охранникам положить винтовки, мушкеты и дробовики на повозки и встать в упряжь, как только покажется солнце. Все, кто могли идти, могли и тащить сани.

Относительную безопасность им обеспечивала ясная погода. Кинг-Уильям показался вдали расплывчатой коричневой полосой, едва рассвело, – стена высоких айсбергов и нагромождения берегового льда вдоль нее вырисовывались четче, блистая вдали в бледных холодных лучах солнца, словно вал из битого стекла, и видом своим повергая в уныние, – но дневной свет служил залогом того, что они не сойдутся со старого санного пути и что чудовищное существо не подкрадется к ним незаметно.

Однако существо продолжало преследовать отряд. Они видели его – маленькое пятнышко к юго-западу от них, передвигавшееся гораздо быстрее, чем могли двигаться запряженные в сани люди.

Несколько раз в течение дня Крозье или Литтл бросал упряжь, доставал подзорную трубу и смотрел на зверя.

Он находился по меньшей мере в двух милях от них и передвигался на четырех лапах. На таком расстоянии он вполне мог сойти за белого медведя, великое множество которых они успели убить за последние три года. То есть пока он не поднялся на задние лапы, возвышаясь над

окружающими ледяными валунами и гроулерами, и не начал принюхиваться, пристально глядя в их сторону.

«Он знает, где мы, – думал Крозье, глядя в свою медную подозрную трубу, потертую и исцарапанную за многие годы службы на обоих полюсах. – Он знает, куда мы направляемся. И хочет добраться туда первым».

Они шли весь день, остановившись только после раннего заката, чтобы поесть замерзшего содержимого консервных банок. Соленая свинина и галеты у них кончились. Ледяные стены, отделявшие остров Кинг-Уильям от пакового льда, загорелись в лучах солнца, засверкали подобием города, озаренного десятью тысячами газовых фонарей, за несколько минут до того, как тьма стремительно расползлась по небу, точно пролитые чернила.

До острова оставалось еще четыре мили. Восемь человек теперь лежали на санях, трое – без сознания.

Они перевалили через большой ледяной барьер, отделявший паковый лед от суши, где-то после часа ночи. Ветер оставался слабым, но температура воздуха продолжала падать. Когда они ненадолго остановились, чтобы перевязать постромки для подъема саней на тридцатифутовую ледяную стену – проход через которую, проложенный за последние недели, в результате движения льда завалило тысячами новых ледяных валунов, сорвавшихся с громадных айсбергов по обеим сторонам от него, – лейтенант Литтл снова измерил температуру воздуха. Минус восемьдесят два.

Крозье уже много часов тащил сани и отдавал приказы как во сне, оглушенный смертельной усталостью. На закате, когда он в последний раз посмотрел в подозрную трубу на юг, на исчезающее вдали существо, уже находившееся впереди них, уже поднимавшееся на стену айсбергов легкими прыжками, он неосмотрительно снял рукавицы и перчатки, чтобы сделать в своем журнале записи о местонахождении отряда. Он забыл надеть перчатки, прежде чем снова взять подозрную трубу, и кончики пальцев одной руки и ладонь другой у него мгновенно примерзли к металлу. Быстро отдернув руки прочь, он содрал кожу с мясом с четырех пальцев правой руки, включая большой, и лоскут кожи с левой ладони.

Здесь, в Арктике, такие раны не заживали, особенно после появления первых симптомов цинги. Крозье отвернулся от остальных мужчин, и его вырывало от боли. Жгучая боль в поврежденных пальцах и ладони только возрастала в течение долгих ночных часов, пока он тащил, тянул, толкал и волочил сани.

Когда около половины второго ночи они взбирались на последний ледяной барьер, под бескрайним ясным, но убийственно холодным небом, усеянным дрожащими, мерцающими звездами, Крозье тупо подумал о том, чтобы бросить здесь сани и совершить рывок по обледенелому каменистому, занесенному снегом берегу к лагерю «Террор». Другие могут вернуться вместе с ними завтра утром и помочь протащить немыслимо тяжелые повозки последнюю милю до места назначения.

Но у Френсиса Крозье еще оставалось достаточно здравого смысла и чувства ответственности, чтобы сразу отвергнуть эту мысль. Конечно, он мог поступить так – бросить сани (чего еще не делал ни один отряд) и добрести до безопасного пристанища налегке, тем самым спасая жизни людям, – но тогда он навсегда потеряет авторитет в глазах своих ста четырех оставшихся в живых матросов и офицеров.

От невыносимой боли в ободранных руках капитана часто рвало, пока они тащили и толкали сани вверх по склону ледяного хребта, – краешком сознания он отметил, что рвота у него жидкая и красная в свете фонарей, – но Крозье продолжал отдавать команды и оказывать посильную помощь, пока наконец тридцать восемь мужчин, еще способных напрягать силы, не спустились вместе с санями на лед и гальку берега.

Не будь Крозье уверен, что на таком морозе у него сорвет кожу с губ, он бы, наверное, упал в темноте на колени и поцеловал благословенную землю, когда услышал долгожданный скрип крупного песка и камня под полозьями саней, вышедших на последнюю милю пути.

В лагере «Террор» горели факелы. Крозье шел первым в упряжи головных саней, когда они вступили в лагерь. Все старались держаться прямо – или, по крайней мере, шататься, держась прямо, – пока тащили тяжеленные сани с лежащими на них в беспамятстве мужчинами последние сто ярдов по территории лагеря.

Тепло укутанные мужчины поджидали их, собравшись перед палатками. Поначалу Крозье был тронут таким проявлением заботы, уверенный, что две дюжины человек, которых он увидел в свете факелов, уже собирались послать спасательный отряд на поиски своего капитана и товарищей.

Изнемогая от жгучей боли в руках, из последних сил налегая на упряжь в стремлении поскорее преодолеть последние шестьдесят футов, остававшиеся до освещенного факелами пространства, Крозье заготовил шутку по случаю благополучного прибытия своего отряда – намереваясь объявить, что нынче снова настало Рождество, а потому всем разрешается спать всю следующую неделю, – но потом капитан Фицджереймс и несколько

офицеров выступили вперед, чтобы поприветствовать их.

Тогда Крозье увидел их глаза: глаза Фицджереймса, и Левеконта, и Дево, и Кауча, и Ходжсона, и Гудсира, и всех прочих. И он сразу понял – благодаря ли своему шестому чувству, полученному в наследство от бабушки Мойры, или своему безошибочному капитанскому чутью, или просто благодаря не замутненному мыслью, обостренному восприятию, какое присуще до крайности изнуренному человеку, – он понял: что-то случилось и отныне все пойдет не так, как он планировал или надеялся.

69°37' 42" северной широты, 98°40' 58" западной долготы

24 апреля 1848 г.

Там стояли десять эскимосов: шестеро мужчин неопределенного возраста, один древний беззубый старик, мальчик и две женщины – одна старая, с ввалившимся ртом и изборожденным морщинами лицом, а другая очень молодая. «Возможно, это мать и дочь», – подумал Ирвинг.

Все мужчины были малого роста: макушка самого высокого едва доходила до подбородка рослого лейтенанта. У двоих капюшоны были откинуты назад, являя взору растрепанные черные волосы, но все остальные пристально смотрели на Ирвинга из глубины своих капюшонов, отороченных у одних пышным белым мехом – возможно, песцовым, – а у других бурым и более жестким, похожим на росомаший.

Все представители мужского пола, кроме мальчика, были вооружены либо гарпуном, либо коротким копьем с костяным или каменным наконечником, но, когда Ирвинг приблизился и показал свои пустые руки, прежде поднятые и наставленные на него копья разом опустились. Эскимосские мужчины (охотники, решил Ирвинг) стояли спокойно, расставив ноги, с оружием в опущенных руках, а старик позади них одной рукой придерживал сани, а другой обнимал за плечи мальчика. Сани – гораздо более короткие и легкие, чем самые маленькие складные сани на «Терроре», – были запряжены шестью дикими лохматыми псами, которые лаяли и рычали, злобно скаля острые клыки, пока старик не утихомирил их несколькими ударами резного шеста.

Пытаясь сообразить, как бы вступить в общение с этими странными людьми, Ирвинг изумленно рассматривал их одеяния. У мужчин парки были короче и темнее, чем у леди Безмолвной или ее покойного спутника, но такие же пушистые. Ирвинг решил, что они сшиты, возможно, из оленьих или лисьих шкур, но белые штаны по колено – определенно из шкуры белого медведя. Одни эскимосы были в высоких меховых сапогах – похоже, тоже из оленьей шкуры, а другие в гладких и эластичных. Тюленья кожа? Или все та же оленья шкура, только вывернутая?

Их рукавицы – сшитые явно из тюленьей кожи – казались теплее и мягче его собственных.

Лейтенант рассматривал шестерых мужчин, пытаясь понять, кто у них главный, но определить это по виду представлялось затруднительным. Помимо старика и мальчика, среди эскимосов выделялся только один: самый старший мужчина, с непокрытой головой, обхваченной затейливой головной повязкой из белой оленьей шкуры, с тонким поясным ремнем, увешанным странными вещицами, и с каким-то мешочком, висящим на шее. Однако мешочек не был простым амулетом вроде каменной фигурки белого медведя, какую носила на груди леди Безмолвная.

«Безмолвная, как жаль, что тебя здесь нет», – подумал Джон Ирвинг.

– Приветствую вас, – сказал он. Потом похлопал себя по груди рукой в рукавице. – Лейтенант Джон Ирвинг с британского корабля «Террор».

Мужчины коротко переговорили друг с другом приглушенными голосами. Ирвинг расслышал слова вроде «каблуна», «каавак» и «миагорток», но, разумеется, не имел ни малейшего понятия, что они означают.

Старший мужчина, с непокрытой головой, поясным ремнем и мешочком на шее, указал пальцем на Ирвинга и сказал:

– Пиификсаак!

Несколько мужчин помолже отрицательно потрясли головой. Если эскимос употребил применительно к нему бранное слово, Ирвинг надеялся, что они выражают свое несогласие с товарищем.

– Джон Ирвинг, – повторил он, снова дотрагиваясь до своей груди.

– Сиксам иеа? – сказал мужчина, стоявший напротив него. – Суингне!

Ирвинг мог только кивнуть на это. Он снова прикоснулся к своей груди. «Ирвинг». Потом указал рукой на грудь мужчины, с вопросительным видом.

Мужчина пристально смотрел на него из-под опущенного капюшона.

В отчаянии лейтенант указал на первого пса в упряжи, который по-прежнему лаял и рычал, удерживаемый стариком, немилосердно лупившим его палкой.

– Собака, – сказал Ирвинг. – Собака.

Эскимос, стоявший ближе всех к Ирвингу, рассмеялся.

– Киммик, – отчетливо произнес он, тоже указывая на пса. – Тунок. – Мужчина потряс головой и хихикнул.

Ирвинг, хотя и дрожавший от холода, почувствовал тепло, разлившееся в груди. Он чего-то достиг. Для обозначения лохматого пса эскимосы использовали либо слово «киммик», либо слово «тунок», либо оба. Он указал на сани.

– Сани, – твердо заявил он.

Десять эскимосов уставились на него. Юная женщина прикрыла лицо руками в рукавицах. У старухи отвисла челюсть, и Ирвинг увидел во рту у нее один зуб.

– Сани, – повторил он.

Шесть мужчин, стоявшие впереди, переглянулись. Наконец эскимос, выступавший в роли собеседника Ирвинга, сказал:

– Камотик?

Ирвинг радостно кивнул, хотя понятия не имел, установилось ли уже между ними понимание. Вполне возможно, мужчина сейчас поинтересовался, не хочет ли он, чтобы его проткнули гарпуном. И все же младший лейтенант невольно расплылся в улыбке. Почти все эскимосы – кроме мальчика, старика, продолжавшего колотить пса, и мужчины без капюшона, с ремнем и мешочком на груди, – заулыбались в ответ.

– Вы, случайно, не говорите по-английски? – спросил Ирвинг, сознавая, что несколько запоздал с вопросом.

Эскимосы смотрели на него, улыбались и молчали.

Ирвинг повторил вопрос на своем школьном французском и на чудовищном немецком.

Эскимосы продолжали улыбаться и пристально смотреть на него.

Ирвинг присел на корточки, и шестеро мужчин тоже присели на корточки. Они не стали садиться на обледенелые камни, хотя поблизости находилось несколько удобных валунов. После стольких месяцев, проведенных в этом холодном краю, Ирвинг хорошо их понимал. Он по-прежнему хотел узнать чье-нибудь имя.

– Ирвинг, – сказал он, снова дотрагиваясь до своей груди. Он указал рукой на ближайшего мужчину.

– Инук, – сказал мужчина, дотрагиваясь до своей груди. Он проворно стянул рукавицу зубами и поднял правую руку. На ней не хватало мизинца и безымянного пальца. – Тикеркат. – Он снова широко улыбнулся.

– Рад познакомиться с вами, мистер Инук, – сказал Ирвинг. – Или мистер Тикеркат. Очень рад познакомиться с вами.

Он решил, что для более или менее осмысленного общения придется прибегнуть к языку жестов, и указал рукой в сторону, откуда пришел, – на северо-запад.

– У меня много друзей, – сказал он уверенным голосом, словно рассчитывая хоть в какой-то мере обезопасить себя от дикарей подобным сообщением. – Два больших корабля. Два... корабля.

Почти все эскимосы посмотрели в сторону, куда указал Ирвинг. Мистер Инук слегка нахмурился.

– Нанук, – тихо произнес он, а потом потряс головой, будто поправляя себя, и сказал: – Торнарссук.

При последнем слове все остальные отвели глаза или отпустили голову, словно в страхе или благоговейном трепете. Но лейтенант был уверен, что чувства эти вызваны отнюдь не мыслью о двух кораблях или группе белых людей.

Ирвинг облизал потрескавшиеся до крови губы. Лучше начать с ними меновую торговлю, чем завязывать длинный разговор. Медленно, чтобы не испугнуть никого из них, он залез в свою парусиновую сумку с целью посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь лакомства или безделушки, которые можно преподнести эскимосам в дар.

Ничего. Он уже съел кусок соленой свинины и черствую галету, взятые на день. Тогда что-нибудь блестящее и интересное...

В сумке лежали только рваные свитера, пара вонючих запасных носков и тряпица, прихваченная на случай естественных отправок на открытом воздухе. В тот момент Ирвинг горько пожалел, что отдал свой китайский шелковый платок леди Безмолвной, – где бы девушка ни находилась сейчас, она незаметно скрылась из лагеря «Террор» на следующий день после прибытия и больше не появлялась. Он знал, что красно-зеленый шелковый платок понравился бы дикарям.

Потом он наткнулся холодными пальцами на округлый медный бок подозрительной трубы.

Сердце у него радостно екнуло, потом сжалось от боли. Подзорная труба являлась, наверное, самой ценной из личных вещей Ирвинга: последний подарок любимого дяди, полученный незадолго до скоростной смерти последнего от сердечного приступа.

Слабо улыбаясь эскимосам, выжидательно на него смотревшим, лейтенант медленно вынул инструмент из сумки. Он заметил, что смуглолицые мужчины сжали крепче свои копья и гарпуны.

Через десять минут все члены эскимосского семейства, или клана, или племени толпились вокруг Ирвинга, словно школьники вокруг любимого учителя. Все они – даже подозрительный, искоса поглядывающий на незнакомца старший мужчина в головной повязке, с поясным ремнем и мешочком на груди – по очереди смотрели в подзорную трубу. Даже две женщины дождались своей очереди – хотя Ирвинг предоставил мистеру Инуку, своему новому посреднику, вручить медный инструмент хихикающей юной девушке и старухе. Даже древний старик, удерживавший упряжных псов на месте, подошел, чтобы взглянуть в трубу

и издать удивленный возглас, пока обе женщины тянули певучим речитативом:

Ай-йей-я-на
йе-хе-йе-йе-и-я-кана
ай-йе-и-ят-яна.

Эскимосы с восторгом смотрели в подзорную трубу друг на друга, изумленно отшатывались и заливались смехом при виде огромных лиц. Потом мужчины, быстро научившиеся фокусировать инструмент, стали наводить его на отдаленные скалы, облака и гряды холмов. Когда Ирвинг показал, что можно перевернуть трубу другим концом и сделать все предметы крохотными, маленькая долина огласилась смехом и радостными криками.

Под конец, отказавшись брать подзорную трубу обратно и вложив ее в руки мистера Инука, Ирвинг на языке жестов дал понять, что это подарок.

Эскимосы разом прекратили смеяться и уставились на него с самым серьезным видом. Ирвинг на мгновение задался вопросом, не нарушил ли он какое-нибудь табу, не оскорбил ли ненароком своих новых знакомых, но потом догадался, что просто поставил их в затруднительное положение: он преподнес им замечательный подарок, а у них с собой не имелось ничего, что можно было бы подарить в ответ.

Инок Тикеркат посоветовался с остальными охотниками, а потом повернулся к Ирвингу и произвел совершенно недвусмысленные пантомимические действия: поднес руку ко рту, затем потер себе живот.

В первый ужасный момент Ирвинг решил, что собеседник просит пищи – которой у Ирвинга не было, – но, когда он попытался жестами довести до сведения присутствующих данное обстоятельство, эскимос помотал головой и повторил свою пантомиму. Внезапно Ирвинг понял, что они спрашивают, не голоден ли он.

Сдерживая слезы, подступившие к глазам от порыва ветра или от облегчения, Ирвинг повторил жесты и энергично закивал. Инок Тикеркат взял его за плечо и подвел к саням. «Каким там словом они называли сани?» – подумал Ирвинг.

– Камотик? – вслух произнес он, наконец вспомнив.

– И-и! – одобрительно воскликнул мистер Тикеркат.

Отпихнув ногой рычащих псов, он откинул толстую меховую полость, накрывавшую сани. На камотике лежали, аккуратно уложенные рядами,

куски мяса и крупные рыбыны, мороженые и свежие.

Хозяин демонстрировал Ирвингу различные деликатесы. Показав рукой на рыбу, Тикеркат сказал: «Екалук», – с расстановкой, терпеливым голосом, каким взрослый разговаривает с ребенком. Потом показал на куски тюленьего мяса и сала: «Нат-сук». Потом на куски более темного мяса, покрупнее и сильнее замороженные: «Оо-минг-майт».

Ирвинг кивнул, сконфуженный тем, что рот у него внезапно наполнился слюной. Не понимая, должен ли он просто восхититься запасами провианта или выбрать из них что-нибудь, он неуверенно указал на тюленьё мясо.

– И-и! – снова воскликнул мистер Тикеркат.

Он взял длинный шмат мягкого мяса с салом, вытащил из-под короткой парки очень острый костяной нож и отрезал один кусок Ирвингу, другой себе.

Стоявшая рядом старуха жалобно заскулила, а потом выкрикнула: «Каактунга!» Когда никто из мужчин не обратил на нее внимания, она повторила: «Каактунга!»

Мужчина состроил Ирвингу гримасу наподобие такой, какую один мужчина обычно корчит другому, когда женщина что-нибудь требует в их присутствии, и сказал: «Орссунгувок!» Но все же он отрезал полоску тюленьего сала и бросил старухе, точно собаке.

Беззубая карга радостно захихикала и принялась жевать сало.

Все остальные незамедлительно сгрудились вокруг саней, достали ножи и принялись резать мясо и есть.

– Айпалингьякпок, – сказал мистер Тикеркат, со смехом указывая на старуху.

Все прочие охотники, старик и мальчик – все, кроме старшего мужчины в головной повязке и с мешочком на груди, – тоже рассмеялись.

Ирвинг широко улыбнулся, хотя понятия не имел, в чем заключалась шутка.

Старший мужчина в головной повязке указал на Ирвинга и резко сказал:

– Кавак... суингне! Кангунартулиорпок!

Лейтенанту не понадобился переводчик, чтобы понять, что мужчина произнес слова – независимо от их конкретного смысла – отнюдь не похвальные и не одобрительные. Мистер Тикеркат и несколько других охотников просто помотали головой, продолжая есть.

Все эскимосы, включая молодую женщину, пользовались ножом так же, как леди Безмолвная в своем снежном доме более двух месяцев назад:

отрезали ломтики мяса и сала, направляя ко рту острое лезвие, едва не задевавшее измазанные жиром губы и язык.

Ирвинг старался действовать таким же манером, но нож у него был не таким острым, и он орудовал им весьма неуклюже. Но он хотя бы не порезал себе нос, как в первый раз, в обществе леди Безмолвной. Эскимосы поглощали пищу в дружелюбном молчании, вежливо порыгивая и изредка попердывая. Мужчины время от времени пили из кожного меха или бурдюка, но Ирвинг уже достал флягу, которую держал за пазухой, чтобы вода не замерзла.

– Кии-на-оо-вит? – внезапно сказал Инук Тикеркат. Он постучал кулаком себя по груди. – Тикеркат. – Затем молодой человек снова снял рукавицу и показал два из оставшихся на руке пальцев: указательный и средний.

– Ирвинг, – сказал лейтенант, похлопав ладонью себя по груди.

– И-вунг, – повторил эскимос.

Ирвинг улыбнулся, глядя на него поверх куска сала. Он указал рукой на своего нового друга.

– Инук Тикеркат, и-и?

– Ах-ка, – сказал эскимос, помотав головой. Он широко повел обеими руками по сторонам, охватывая жестом всю группу аборигенов с собой включительно, и твердо сказал: – Инук. – Он поднял покалеченную руку и пошевелил указательным и средним пальцем, спрятав большой, а потом снова повторил: – Тикеркат.

Ирвинг понял так, что слово «Инук» относится не к конкретному человеку, а ко всем десятерым эскимосам – предположительно является названием племени, или народности, или клана. И заключил, что «Тикеркат» – не второе, а полное имя мужчины и означает оно, возможно, «Двупалый».

– Тикеркат, – проговорил Ирвинг с набитым ртом, стараясь произнести слово правильно. Он продолжал жадно есть, не обращая внимания на то, что тюленина была не очень свежей и с душком. Казалось, больше всего на свете его истощенному организму не хватало именно этого чуть прогорклого сала. – Тикеркат, – повторил он еще раз.

Затем, пока все сидели на корточках, орудовали ножами и жевали, состоялась процедура общего знакомства. Тикеркат принялся представлять Ирвингу своих товарищей и одновременно жестами объяснять значение каждого имени – если имена имели значение, – но потом мужчины включились в происходящее и стали сами разыгрывать пантомимы, раскрывающие смысл своих имен. Происходящее напоминало веселую

детскую игру.

– Талириктуг, – медленно проговорил Тикеркат, подаваясь к своему соседу, молодому человеку с бочкообразной грудной клеткой.

Двупалый схватил товарища за плечо и сжал, издав возглас вроде «а-ей-и!», а потом согнул в локте собственную руку, словно сравнивая свои бицепсы с более развитыми бицепсами другого мужчины.

– Талириктуг, – повторил Ирвинг, размышляя, значит ли это «Большие Мускулы», или «Сильная Рука», или что-нибудь в таком духе.

Следующего мужчину, ростом пониже, звали Тулугак. Тикеркат стянул у него с головы капюшон парки, показал на черные волосы и помахал руками, изображая летящую птицу.

– Тулугак, – повторил Ирвинг и вежливо кивнул мужчине, продолжая жевать. Он предположил, что, возможно, это значит «Ворон».

Четвертый мужчина стукнул себя кулаком по груди, прорычал «Амарук», а потом запрокинул голову и завыл.

– Амарук, – повторил Ирвинг и кивнул. – Волк, – подумал он вслух.

Пятый охотник, носивший имя Мамарут, разыграл невнятную пантомиму, размахивая руками и приплясывая. Ирвинг повторил имя и кивнул, но даже близко не понял, что оно может означать.

Шестого охотника, молодого человека очень серьезного вида, Тикеркат представил по имени Итуксук. Этот мужчина пристально посмотрел на Ирвинга глубокими черными глазами и ничего не сказал и не изобразил. Ирвинг вежливо кивнул, продолжая жевать сало.

Старшего мужчину в головной повязке и с мешочком на груди Тикеркат представил по имени Асияук, но мужчина никак не отреагировал, даже бровью не повел. Он явно не питал ни приязни, ни доверия к третьему лейтенанту Джону Ирвингу.

– Рад с вами познакомиться, мистер Асияук, – сказал Ирвинг.

– Афаткуг, – тихо промолвил Тикеркат, еле заметно кивая в сторону не улыбчивого старшего мужчины в головной повязке.

«Может, знахарь?» – подумал Ирвинг. Лейтенант решил, что, пока враждебность Асияюка выражается только в подозрительном молчании, особых причин для беспокойства нет.

Старика у саней молодому лейтенанту представили по имени Крингмулуардук. Тикеркат указал на все еще рычащих псов, сложил руки, точно показывая некий предмет малого размера, и рассмеялся.

Затем смеющийся собеседник Ирвинга указал на робеющего мальчика, на вид лет десяти-одиннадцати, снова похлопал себя по груди и сказал:

– Ирник, – а потом добавил: – Каджорангуак.

Ирвинг предположил, что «Ирник» может означать «сын» или «брат». Наверное, все-таки первое, подумал он. Или, возможно, мальчика звали Ирник, а «Каджорангуак» означало «сын» или «брат». Лейтенант уважительно кивнул, как в случае со всеми остальными охотниками.

Тикеркат подтолкнул вперед старуху. Она носила имя Науйя, и Тикеркат снова помахал руками, изображая летящую птицу. Ирвинг повторил имя, стараясь произнести правильно (в нем содержался звук, образованный в голосовой щели, воспроизвести который у него и близко не получилось), и почтительно кивнул. Он спросил себя, не значит ли «Науйя» что-нибудь вроде арктической крачки, чайки или какой-нибудь еще более экзотической птицы.

Старуха захихикала и запихала в рот очередной кусок сала.

Тикеркат обнял за плечи молодую женщину – на самом деле почти девочку – и сказал:

– Каманик. – Потом он широко улыбнулся и добавил: – Амук.

Девушка попыталась вырваться, не переставая улыбаться, и все мужчины, кроме предположительного шамана, громко расхохотались.

– Амук? – переспросил Ирвинг, и смех усилился.

Тулугак и Амарук так заходились хохотом, что сало вывалилось у них изо рта.

– Каманик... Амук! – повторил Тикеркат и, растопырив пальцы, обеими руками произвел хватательные движения у своей груди – повсеместно распространенный и совершенно недвусмысленный жест. Но чтобы удостовериться, что его правильно поняли, охотник схватил отбивающуюся женщину – по всей видимости, свою жену – и высоко задрал подол ее короткой темной парки.

Под меховой паркой девушка оказалась голой, и груди у нее были очень большими... просто огромными для столь молодой женщины.

Джон Ирвинг залился краской – от линии волос до самых ключиц. Он опустил взгляд на шмат сала, которое продолжал жевать. В тот момент он мог бы поставить пятьдесят соверенов на то, что «Амук» на эскимосском языке означает «Большие Сиськи».

Мужчины вокруг него выли от хохота. Киммики – похожие на волков псы, запряженные в деревянные сани, – стали рваться в упряжи. Старик за санями Крингмулуардук повалился на снег от смеха.

Внезапно Амарук – Волк? – забавлявшийся с подзорной трубой, указал на каменистый холм, с которого Ирвинг спустился в долину, и отрывисто произнес что-то вроде:

– Такува-а... каблуна кукиутуна!

Все эскимосы разом умолкли.

Похожие на волков псы залились яростным лаем.

Ирвинг встал с корточек и прикрыл ладонью глаза от солнца. Он не хотел просить подозрную трубу обратно. Он увидел силуэт человека в шинели, стремительно мелькнувший на фоне каменистого склона в самом верху.

«Замечательно!» – подумал Ирвинг. Все время, пока они угощались салом и познакомились, он пытался сообразить, как бы уговорить Тикерката и остальных вернуться вместе с ним в лагерь «Террор». Он боялся, что не сумеет объясниться на языке жестов достаточно внятно, чтобы убедить восьмерых эскимосских мужчин и двух женщин с их собаками и санями совершить трехчасовой поход обратно к побережью, и потому пытался придумать способ, как заставить пойти с собой хотя бы одного только Тикерката.

Разумеется, лейтенант не мог допустить, чтобы эскимосы просто вернулись туда, откуда пришли. Капитан Крозье будет в лагере завтра, а из нескольких разговоров с ним Ирвинг знал, что именно на контакт с местным населением усталый и загнанный в тупик капитан возлагал надежды. «Северные племена, которые Росс называл северными горцами, в большинстве своем не воинственны, – сказал однажды Крозье своему третьему лейтенанту. – Если мы наткнемся на поселение эскимосов по пути на юг, они могут снабдить нас достаточным количеством провианта, чтобы нам хватило на все время путешествия вверх по реке до Большого Невольничьего озера. На худой конец, они могут научить нас, как выжить посреди замерзшего моря, вдали от суши».

А теперь Томас Фарр и остальные пришли за ним в эту долину по оставленным на снегу следам. Человек, мелькнувший на вершине холма, спустился обратно вниз по противоположному склону – испугавшись ли при виде десятиерых незнакомцев в долине или же побоявшись вспугнуть их своим появлением? – и скрылся из виду, но Ирвинг успел рассмотреть шинель с развевающимися на ветру полами, «уэльский парик» и шарф – и понял, что одна из его проблем решена.

Если Ирвинг не сумеет уговорить Тикерката и остальных отправиться с ним в лагерь – а уговорить шамана Асияюка явно будет очень и очень непросто, – он с несколькими членами своего разведывательного отряда просто останется с эскимосами здесь в долине, задержав разговорами и другими подарками, которые наверняка найдутся в сумках у товарищей, а самого быстрого матроса пошлет обратно к побережью с приказом привести сюда Фицджереймса с многочисленным отрядом.

«Я не вправе позволить эскимосам уйти. Они могут решить все наши проблемы».

Сердце у Ирвинга бешено колотилось.

– Все в порядке, – сказал он Тикеркату и остальным самым спокойным и уверенным тоном, на какой только был способен. – Это просто мои друзья. Несколько друзей. Хорошие люди. Они вас не обидят. У нас с собой всего одна винтовка, и мы оставим ее наверху. Все в порядке. Просто мои друзья, с которыми вам будет приятно познакомиться.

Ирвинг знал, что эскимосы не понимают ни слова, но продолжал говорить – таким мягким, успокаивающим голосом, какой, наверное, использовал бы в бристольских конюшнях, пытаясь усмирить норовистого жеребца.

Несколько охотников подняли со снега свои копья и гарпуны, но Амарук, Тулугак, Талириктуг, Итуксук, мальчик Каджорангуак, старик Крингмулуардук и даже хмурый шаман Асияук вопросительно смотрели на Тикерката. Две женщины перестали жевать и тихонько отступили мужчинам за спину.

Тикеркат посмотрел на Ирвинга. Глаза эскимоса внезапно потемнели и приняли крайне враждебное выражение. Казалось, он ждал объяснений.

– Кхат-сит? – тихо произнес он.

Ирвинг выставил вперед ладони успокаивающим жестом и улыбнулся как можно непринужденнее.

– Просто друзья, – проговорил он также тихо. – Несколько друзей.

Лейтенант бросил взгляд на вершину холма. Там по-прежнему никто не появился на фоне голубого неба. Он испугался, что человек, пришедший за ним, пустился наутек, охваченный ужасом при виде собрания в долине. Ирвинг не знал, сколько времени он может прождать здесь... сколько времени он сможет удерживать здесь Тикерката и прочих эскимосов, пока они не обратятся в бегство.

Он глубоко вздохнул и понял, что должен догнать человека, скрывшегося за холмом, успокоить его, объяснить ситуацию и послать за Фарром и остальными. Ирвинг не мог ждать.

– Пожалуйста, не уходите никуда, – сказал Ирвинг. Он поставил свою кожаную сумку на снег рядом с Тикеркатом, пытаясь показать, что скоро вернется. – Пожалуйста, подождите здесь. Я быстро. Я даже не скроюсь из виду. Оставайтесь здесь, прошу вас. – Он осознал, что делает обеими руками такие жесты, словно просит эскимосов сесть, – наверное, точно так же он обращался бы к собаке.

Тикеркат не сел и ничего не ответил, но продолжал неподвижно стоять

на месте, когда Ирвинг медленно попятился.

– Я сию минуту! – крикнул лейтенант.

Он повернулся и проворно взбежал по крутой осыпи щебня и льда, а потом по темному каменистому склону на вершину холма.

Задыхаясь от напряжения, он обернулся и посмотрел вниз.

Десять фигур, лающие псы и сани оставались на прежнем месте.

Ирвинг помахал рукой, показал жестами, что скоро вернется, и начал торопливо спускаться с другой стороны возвышенности, готовый закричать вслед убегающему матросу.

Двадцатью футами ниже по северо-западному склону Ирвинг увидел нечто такое, от чего стал как вкопанный.

Крохотный человечек – совершенно голый, если не считать башмаков, – плясал вокруг валуна, на котором лежала груда снятой одежды.

«Гном», – подумал Ирвинг, вспомнив истории капитана Крозье. Зрелище казалось третьему лейтенанту просто диким. Сегодня день странных видений.

Он подступил ближе и увидел, что вокруг валуна пляшет не гном, а помощник конопатчика. Мужчина напевал какую-то матросскую песенку, пританцовывая и делая пируэты. Ирвинг не мог не заметить мертвенной бледности нечистой кожи, сплошь покрытой крупными мурашками, выпирающих ребер и что тощие бледные ягодички выглядят в высшей степени нелепо, когда он делает пируэты.

Ирвинг подошел к нему, недоверчиво трясая головой, не расположенный к смеху, но все еще охваченный радостным возбуждением от встречи с Тикеркатом и остальными, и сказал:

– Мистер Хикки, чем, собственно говоря, вы занимаетесь?

Помощник конопатчика перестал кружиться и приложил костлявый палец к губам, словно призывая лейтенанта к молчанию. Потом он наклонился над кучей сваленной на камне одежды и показал Ирвингу задницу.

«Он сошел с ума, – подумал Ирвинг. – Я не могу допустить, чтобы Тикеркат и остальные увидели его в таком состоянии». Он задался вопросом, нельзя ли привести мужчину в чувство парой пощечин и использовать все-таки в качестве посыльного. Ирвинг прихватил с собой в поход несколько листов бумаги и карандаш, но они остались в кожаной сумке в долине.

– Послушайте, мистер Хикки... – сурово начал он.

Помощник конопатчика резко повернулся кругом и выбросил вперед

руку так стремительно, что в первую секунду Ирвинг решил, что тот продолжает свой дикий танец.

Но в вытянутой руке был зажат острый корабельный нож.

Внезапно Ирвинг почувствовал острую боль в горле. Он снова попытался заговорить, но безуспешно, поднес обе руки к горлу и посмотрел вниз.

Кровь переливалась через ладони Ирвинга на грудь и капала на башмаки.

Хикки снова широко взмахнул ножом.

Вторым ударом Ирвингу рассекло трахею. Он повалился на колени и поднял правую руку, указывая на Хикки; поле зрения у него сузилось, словно ограниченное стенами черного тоннеля. Джон Ирвинг так удивился, что даже не почувствовал гнева.

Хикки, по-прежнему голый, подступил ближе, теперь на полусогнутых ногах, похожий на бледную костяную куклу со своими острыми коленками, тощими ляжками и резко обозначенными сухожилиями. Но Ирвинг повалился набок на холодный гравий, изверг из желудка колоссальное количество крови и умер еще прежде, чем Корнелиус Хикки сорвал с него одежду и принялся орудовать ножом.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

25 апреля 1848 г.

Едва они добрались до лагеря «Террор», измученные люди разбрелись по палаткам и заснули мертвым сном, но сам Крозье не сомкнул глаз всю ночь 24 апреля.

Сначала он зашел в палатку лазарета, поставленную для того, чтобы доктор Гудсир мог произвести вскрытие и подготовить тело к погребению. Труп лейтенанта Ирвинга, белый и окоченелый после долгого путешествия на реквизированных у дикарей санях, мало походил на человеческий. Кроме зияющей раны на горле – такой глубокой, что в ней виднелся белый позвонок и голова откидывалась назад, словно на оконной петле, – у молодого человека были отрезаны гениталии и выпущены кишки.

Гудсир все еще бодрствовал и работал над телом, когда Крозье вошел в палатку. Врач исследовал внутренние органы, извлеченные из трупа, тыкая в них каким-то острым инструментом. Он поднял глаза и посмотрел на Крозье странным, задумчивым, почти виноватым взглядом. Несколько долгих мгновений, пока капитан стоял над телом, оба мужчины молчали. Наконец капитан осторожно убрал со лба Ирвинга прядь светлых волос, почти касающуюся открытых помутневших, но все еще вперенных в пустоту голубых глаз.

– Приготовьте тело к погребению завтра к полудню, – сказал Крозье.

– Слушаюсь, сэр.

Крозье направился к своей палатке, где его ждал Фицджереймс.

Несколько недель назад, когда вестовой Крозье, тридцатилетний Томас Джопсон, надзирал за погрузкой и транспортировкой в лагерь «капитанской палатки», Крозье пришел в бешенство, узнав, что Джопсон не только распорядился сшить палатку вдвое большего размера (капитан рассчитывал на обычную коричневую голландскую палатку), но также приказал людям перевезти на остров огромную койку, несколько массивных дубовых кресел из кают-компания и украшенный резьбой письменный стол, прежде принадлежавший сэру Джону.

Теперь Крозье был доволен, что у него есть мебель. Он поставил тяжелый стол между входом в палатку и койкой, а два кресла задвинул за

стол. Фонарь, висевший под высоким потолком палатки, ярко освещал пустое пространство перед столом, но Фицджереймс и Крозье, сидевшие в креслах, оставались в полумраке. Обстановка напоминала помещение военного суда.

Именно это и нужно было Крозье.

– Вам следует поспать, капитан, – сказал Фицджереймс.

Крозье посмотрел на молодого капитана, который давно уже не выглядел молодо. Фицджереймс походил на живой труп – бледный до такой степени, что кожа казалась прозрачной, заросший бородой, покрытой запекшейся кровью, с впалыми щеками и глубоко ввалившимися глазами. Крозье уже несколько дней не смотрелся в зеркало и обходил стороной зеркало, висевшее в глубине его палатки, но страстно надеялся, что выглядит не так ужасно, как бывшая «восходящая звезда» Военно-морского флота Британии командор Джеймс Фицджереймс.

– Вам самому следует поспать, Джеймс, – сказал Крозье. – Я могу допросить людей один.

Фицджереймс устало помотал головой.

– Я допрашивал их, разумеется, – сказал он бесцветным, монотонным голосом, – но я не был на месте преступления и не устраивал тщательного допроса. Я знал, что вы захотите сами сделать это.

Крозье кивнул:

– Я хочу быть на месте преступления к рассвету.

– Оно находится часах в двух быстрой ходьбы в юго-западном направлении, – сказал Фицджереймс.

Крозье снова кивнул.

Фицджереймс снял фуражку и причесал грязными пальцами длинные сальные волосы. Они растапливали снег и лед на перевезенных в лагерь печах с вельботов, и полученной таким образом воды хватало для питья и на бритье – если кто-нибудь из офицеров желал побриться, – но на мытье уже ничего не оставалось. Фицджереймс улыбнулся:

– Помощник конопатчика Хикки спрашивал, можно ли ему поспать перед допросом.

– Помощник конопатчика Хикки вполне может потерпеть, как все мы, – отрезал Крозье.

– Примерно так я и ответил, – тихо проговорил Фицджереймс. – Я поставил его в караул. Холод не даст ему заснуть.

– Или убьет его, – сказал Крозье.

Судя по тону, капитан не считал такой поворот событий наихудшим из всех возможных. Громким голосом он крикнул рядовому Дейли, стоявшему

на часах у входа в палатку:

– Пригласите сюда сержанта Тозера!

Каким-то образом дородный тупой сержант умудрялся оставаться в теле, когда все остальные мужчины страшно исхудали, питаясь впроголодь. Пока Крозье проводил допрос, тот стоял по строевой стойке, без мушкета.

– Какого вы мнения о сегодняшних событиях, сержант?

– Самого хорошего, сэр.

– Хорошего? – Крозье подумал об изуродованном теле лейтенанта Ирвинга, лежащем в медицинской палатке по соседству.

– Да, сэр. Атака, сэр. Прошла как по маслу. Как по маслу. Мы спустились с того большого холма, сэр, опустив мушкеты, винтовки и дробовики так, словно настроены самым дружелюбным образом, сэр, а дикари смотрели, как мы приближаемся. С расстояния менее двадцати ярдов мы открыли огонь и дали прикурить ихней чертовой шайке, сэр. Дали прикурить как следует.

– Они стояли строем, сержант?

– Нет, капитан, не то чтобы строем, сэр. Скорее толпой, как и положено дикарям.

– И вы перестреляли их?

– О, так точно, сэр. С такого расстояния даже дробовики попадали в цель. Впечатляющее зрелище, сэр.

– Все равно что стрелять рыбу в дождевой бочке?

– Так точно, сэр. – Красное лицо сержанта Тозера расплылось в ухмылке.

– Они оказали сопротивление, сержант?

– Сопротивление, сэр? Да в общем-то, нет. Сколь-либо серьезного сопротивления они не оказали, сэр.

– Однако они были вооружены ножами, копьями и гарпунами.

– О да, сэр. Двое-трое проклятых язычников метнули свои гарпуны, а один успел бросить копье, но они все уже были ранены и не причинили нам никакого вреда, если не считать небольшой царапины на ноге молодого Сэмми Криспа, который тут же вскинул свой дробовик и отправил дикаря, слегка ранившего его, прямоком в ад, сэр. Прямоком в ад.

– И все же двое эскимосов убежали, – сказал Крозье.

Тозер нахмурился:

– Да, сэр. За это прошу прощения. Там была страшная неразбериха, сэр. И двое, которые упали на снег, поднялись на ноги и удрали, пока мы приканчивали чертовых псов.

– Зачем вы убили псов, сержант? – подал голос Фицджереймс.

Тозер казался удивленным:

– Ну как, они лаяли, рычали и бросались на нас, капитан. И вообще, они больше походили на волков, чем на собак.

– А вы подумали о том, что собаки могут нам пригодиться? – спросил Фицджереймс.

– Да, сэр. В качестве мяса.

– Опишите двоих эскимосов, спасшихся бегством, – сказал Крозье.

– Один такого малого росточка, капитан. Мистер Фарр предположил, что, возможно, это женщина. Или девушка. У нее капюшон был в крови, но она улизнала.

– Очевидно, так, – сухо сказал Крозье. – А что насчет второго?

Тозер пожал плечами:

– Невысокий мужчина в головной повязке – вот и все, что мне известно, капитан. Он упал за санями, и мы решили, что он убит. Но он вскочил на ноги и убежал вместе с девкой, пока мы разбирались с псами, сэр.

– Вы погнались за ними?

– Погнались за ними, сэр? О да, разумеется. Мы бежали что есть мочи, капитан. И на ходу перезаряжали ружья и стреляли, сэр. Думаю, я еще раз ранил ту эскимосскую суку, но она нисколько не сбавила скорости, сэр. Они просто бежали гораздо быстрее нас. Но они не вернутся сюда в ближайшее время, сэр. Уж мы об этом позаботились.

– А как насчет их друзей? – сухо спросил Крозье.

– Прошу прощения, сэр?

– Их племени. Деревни. Клана. Других охотников и воинов. Эти люди пришли откуда-то. Они явно не провели здесь во льдах всю зиму. Вероятно, они вернутся в свою деревню, если уже не вернулись. Вы подумали о том, что другие эскимосские охотники – люди, которые убивают дичь каждый день, – могут принять близко к сердцу тот факт, что мы убили восьмерых их соплеменников, сержант?

Тозер несколько смешался.

– Вы свободны, сержант. Пригласите сюда лейтенанта Ходжсона.

Ходжсон выглядел настолько же несчастным, насколько Тозер – самодовольным. Молодой лейтенант явно был глубоко потрясен смертью своего ближайшего друга и все еще испытывал дурноту после жестокой расправы с эскимосами, учиненной по его приказу, когда он случайно встретился с отрядом Ирвинга и увидел изуродованное тело последнего.

– Вольно, лейтенант Ходжсон, – сказал Крозье. – Желаете присесть?

– Нет, сэр.

– Расскажите нам, как случилось, что вы объединились с группой лейтенанта Ирвинга. Капитан Фицджереймс отдал вам приказ двигаться к югу от лагеря «Террор».

– Да, капитан. И мы так и делали почти все утро. Мы не нашли даже заячьего следа на снегу, пока шли берегом, сэр, и не могли выйти на морской лед, поскольку вдоль береговой линии там тянется сплошная стена громадных айсбергов. Поэтому около десяти часов мы повернули вглубь острова, надеясь отыскать там следы карибу, или песка, или мускусного быка, или еще какого-нибудь животного.

– Но ничего не нашли?

– Нет, сэр. Однако мы наткнулись на следы примерно десятка человек, обутых в сапоги с мягкими подошвами, наподобие эскимосских. И еще на санный след и отпечатки собачьих лап.

– И вы пошли по этим следам обратно на северо-запад, вместо того чтобы продолжать охоту?

– Да.

– Кто принял такое решение, лейтенант Ходжсон? Вы или сержант Тозер, второй по старшинству после вас в вашем отряде?

– Я, сэр. Я был единственным офицером там. Я принял это решение и все остальные тоже.

– Включая последнее решение атаковать эскимосов?

– Да, сэр. Мы незаметно наблюдали за ними с минуту с вершины холма, где бедного Джона убили, выпотрошили и... ну, вы сами знаете, что они с ним сотворили, капитан. Казалось, дикари уже собирались уходить, возвращаться обратно на юго-запад. И тогда мы решили атаковать их всеми силами.

– Каким количеством оружия вы располагали, лейтенант?

– В нашем отряде было три винтовки, два дробовика и два мушкета. А в группе лейтенанта Ирвинга – только один мушкет. Ах да, и пистолет, который мы взяли у Джона... у лейтенанта Ирвинга из кармана шинели.

– Эскимосы оставили пистолет у него в кармане? – спросил Крозье.

Ходжсон немного помолчал с таким видом, словно прежде не задавался таким вопросом.

– Да, сэр.

– Они присвоили что-нибудь из его вещей?

– Да, капитан. Мистер Хикки сообщил нам, что видел, как эскимосы отнимают у Джона... у лейтенанта Ирвинга... подозрную трубу и кожаную

сумку, прежде чем убить его на вершине холма. Когда мы поднялись на тот холм, я увидел в свою подзорную трубу, как эскимосы роются в его сумке и передают его подзорную трубу из рук в руки там, в долине, где, полагаю, они остановились на привал после того, как убили лейтенанта Ирвинга и... изуродовали тело.

– Там были следы?

– Прошу прощения, сэр?

– Следы... эскимосов... ведущие от места, где вы нашли тело лейтенанта, вниз по склону в долину, где эскимосы рылись в сумке с вещами.

– Э-э-э... да, сэр. Кажется, да, капитан. Я имею в виду, я помню тонкую цепочку следов, которые я поначалу принял за следы Джона, но которые, вероятно, принадлежали также и эскимосам. Должно быть, они поднялись вверх и спустились вниз по склону гуськом, капитан. Мистер Хикки сказал, что они все окружили Джона на вершине холма, когда перерезали ему горло и... делали другие вещи, сэр. Он сказал, что там были не все эскимосы... женщина и мальчик остались внизу... кажется... но там были шестеро или семеро язычников. Охотники, сэр. Мужчины помоложе.

– А старик? – спросил Крозье. – Насколько я понял, среди убитых аборигенов был беззубый старик.

Ходжсон кивнул:

– С единственным зубом, капитан. Я не помню, говорил ли мистер Хикки, что старик тоже находился среди охотников, убивших Джона.

– Как получилось, что вы сначала встретились с группой мистера Фарра – с разведывательным отрядом лейтенанта Ирвинга, – если вы шли по следам эскимосов на север, лейтенант?

Ходжсон энергично кивнул, словно испытал облегчение оттого, что хоть на один вопрос может ответить определенно:

– Мы потеряли следы аборигенов и саней примерно в миле к югу от места, где произошло нападение на лейтенанта Ирвинга, сэр. Вероятно, они двигались восточнее, а потом перешли через низкие возвышенности, частично покрытые льдом, но в основном каменистые, сэр... ну знаете, мерзлый щебень. Нигде в долинах мы не нашли следов – ни человеческих, ни собачьих, – поэтому продолжали двигаться строго на север, куда предположительно направлялись эскимосы. Спустившись с одного из холмов, мы увидели людей мистера Фарра – разведывательный отряд Джона, – которые как раз заканчивали обедать. К тому времени мистер Хикки уже вернулся и рассказал, что он видел всего пару минут назад, и

думаю, своим появлением мы здорово напугали Томаса и остальных... они поначалу приняли нас за эскимосов, собирающихся напасть на них.

– Вы не заметили ничего странного в поведении мистера Хикки? – спросил Крозье.

– Странного, сэр?

Крозье молча ждал ответа.

– Ну... – продолжил Ходжсон, – он очень сильно дрожал. Словно припадочный. И голос у него был очень возбужденный, почти визгливый. И он... знаете, сэр... он смеялся. Вроде как хихикал. Но все это вполне естественно для человека, который минуту назад увидел то, что увидел мистер Хикки, – не так ли, капитан?

– А что он увидел, Джордж?

– Ну... – Ходжсон опустил глаза, пытаюсь сохранить самообладание. – Мистер Хикки сказал грот-марсовому старшине Фарру, а потом повторил мне, что он отправился на поиски лейтенанта Ирвинга и поднялся на вершину холма как раз вовремя, чтобы увидеть, как шестеро или семеро эскимосов грабят лейтенанта, убивают и надругаются над телом. Мистер Хикки сказал... он все еще сильно дрожал, сэр, не оправившись от потрясения... что он видел, как они отрезают у Джона половые органы.

– Вы увидели тело лейтенанта Ирвинга всего несколькими минутами позже, не так ли, лейтенант?

– Так точно, сэр. Оно находилось минутах в двадцати пяти ходьбы от места, где группа Фарра устраивала привал.

– Но вас не начала бить безудержная дрожь после того, как вы увидели тело Ирвинга, не так ли, лейтенант? Дрожь, продолжавшаяся двадцать пять минут или дольше?

– Нет, сэр, – сказал Ходжсон, явно не понимая смысла вопроса. – Но меня вырвало.

– А когда вы приняли решение атаковать и перебить всех эскимосов?

Ходжсон шумно сглотнул:

– Когда я увидел в подзорную трубу с вершины холма, как они роются в сумке Джона и играют его подзорной трубой, капитан. Как только все мы по очереди посмотрели в долину – мистер Фарр, сержант Тозер и я – и поняли, что эскимосы развернули сани кругом и собираются уходить.

– И вы отдали приказ не брать пленных?

Ходжсон снова опустил глаза:

– Нет, сэр. Я вообще не думал, брать пленных или не брать. Я просто был... в ярости.

Крозье молчал.

– Я действительно сказал сержанту Тозеру, что нам надо расспросить одного из эскимосов насчет случившегося, капитан, – продолжал лейтенант. – Значит, надо полагать, до атаки я думал, что кто-нибудь останется в живых. Я просто был... в ярости.

– Кто скомандовал открыть огонь, лейтенант? Вы, сержант Тозер, мистер Фарр или еще кто-нибудь?

Ходжсон несколько раз подряд моргнул, очень быстро.

– Я не помню, сэр. Я не уверен, что такая команда вообще прозвучала. Я помню только, что мы приблизились к ним на расстояние ярдов тридцати... может, меньше... и я увидел, как несколько эскимосов хватаются за гарпуны или копья, или чем там они были вооружены, а в следующий миг все в нашем строю уже стреляли, перезаряжали ружья и снова стреляли. А аборигены пытались бежать, и женщины визжали... старуха вопила без умолку, как... ну, как привидение... такой пронзительный, переливчатый, протяжный вопль... даже после того, как в нее попали несколько пуль, она все продолжала визжать дурным голосом. Потом сержант Тозер подошел к ней с пистолетом Джона, и... все произошло очень быстро, капитан. Я никогда прежде не участвовал в подобной бойне.

– Я тоже, – сказал Крозье.

Фицджереймс промолчал. Он был героем нескольких кровавых кампаний во время Опиумных войн. Сейчас он сидел с потупленным взором, словно глубоко погруженный в свои мысли.

– Если мы допустили какие-то ошибки, сэр, – сказал Ходжсон, – вся ответственность лежит на мне. После смерти Джо... лейтенанта Ирвинга... я был старшим по званию офицером в двух группах. Вся ответственность лежит на мне, сэр.

Крозье посмотрел на него. Он сам чувствовал холодную бесстрастность своего взгляда.

– Вы действительно были там единственным офицером, лейтенант Ходжсон. К счастью или к несчастью для вас, вся ответственность действительно лежала и лежит на вас. Часа через два я собираюсь отправиться с вооруженным отрядом к месту убийства лейтенанта Ирвинга и расправы с эскимосами. Мы выступим при свете фонарей и пойдем по вашему санному следу, но я хочу быть на месте к восходу солнца. Из участников сегодняшних событий с нами отправитесь только вы и мистер Фарр. Пойдите поспите, поешьте и будьте готовы выступить к шести склянкам.

– Слушаюсь, сэр.

– И пришлите сюда помощника конопатчика Хикки.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы
25 апреля 1848 г.

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

25 апреля 1848 г., вторник

Мне очень нравился лейтенант Ирвинг. Он производил впечатление порядочного и внимательного к людям молодого человека. Мы с ним не водили близкого знакомства, но на протяжении всех трудных месяцев нашей экспедиции – особенно на протяжении многих недель, когда я проводил время не только на «Эребусе», но и на «Терроре», – я ни разу не видел, чтобы лейтенант уклонялся от своих служебных обязанностей, или разговаривал грубо с матросами, или обращался с ними или со мной иначе, чем с мягкостью и профессиональной учтивостью.

Я знаю, что капитан Крозье особенно глубоко потрясен сей утратой. Он был так бледен, когда вошел в лагерь сегодня в третьем часу утра, что я мог бы поручиться своей профессиональной репутацией за то, что бледнее уже стать невозможно. Но капитан побледнел еще сильнее, когда услышал страшную новость. Даже губы у него стали белыми, как паковый лед, на который мы смотрим вот уже три года без малого.

Но какие бы приязнь и уважение я ни питал к лейтенанту Ирвингу, я должен был выполнить свои профессиональные обязанности, отрешившись от всяких воспоминаний о наших с ним дружеских отношениях.

Я снял с трупа оставшуюся на нем одежду – пуговицы на всех поддевах, начиная от жилета и кончая длинной нижней рубахой, были оторваны, и насквозь пропитанные кровью слои ткани заledenели и смерзлись, превратившись в твердую складчатую массу, – и велел своему ассистенту Генри Ллойдю помочь мне обмыть тело лейтенанта Ирвинга. Вода, полученная из снега и льда, на растапливание которых помощники мистера Диггла тратили последние запасы угля с кораблей, была у нас на вес золота, но мы должны были оказать молодому Ирвингу такую честь.

Разумеется, мне не пришлось делать обычного разреза в виде

перевернутой «У» от тазовых костей до пупка, поскольку убийцы лейтенанта Ирвинга уже позаботились об этом.

В процессе работы я, по обыкновению, делал разные записи и пометки, с трудом шевеля ноющими от холода пальцами. Рана на шее лейтенанта Ирвинга была нанесена по меньшей мере двумя сильнейшими ударами незазубренного лезвия, и он умер от потери крови. Не думаю, чтобы в теле несчастного молодого офицера осталась хоть пинта крови.

Трахея и гортань у него рассечены и на шейном позвонке видны выбоины от лезвия.

Брюшная полость вскрыта многократными пилящими движениями короткого лезвия, распоровшего кожу и мышечную ткань, и почти весь кишечник, тонкий и толстый, вырезан и удален из тела. Селезенка и почки лейтенанта тоже исполосованы и взрезаны каким-то острым инструментом. Печень отсутствует.

Пенис лейтенанта ампутирован примерно у основания и тоже отсутствует. Мошонка разрезана вдоль срединной линии, и яички отрезаны. Для того чтобы прорезать мошоночную сумку и придатки яичек, потребовалось произвести многократные движения лезвием. Возможно, лезвие убийцы несколько затупилось к тому моменту.

В то время как яички отсутствуют, остатки семенного канала, уретры и значительная часть мышечной ткани у основания пениса сохранились.

Хотя на теле лейтенанта Ирвинга множество синяков – многие из них совместны с симптоматикой развивающейся цинги, – никаких других серьезных ран нигде не имеется. Интересно, что на руках и ладонях у него нет порезов, свидетельствующих о том, что он оборонялся.

Представляется очевидным, что на лейтенанта Ирвинга напали совершенно неожиданно. Убийца или убийцы перерезали ему горло прежде, чем он получил хоть малейшую возможность защищаться. Потом они потратили какое-то время на то, чтобы извлечь из брюшной полости внутренности и ампутировать гениталии многократными пилящими движениями лезвия.

Подготавливая тело лейтенанта к погребению, назначенному на сегодня, я зашил гортань и шею по возможности аккуратнее, а затем – предварительно поместив некоторое количество подверженного разложению волокнистого вещества (свернутый свитер из личных вещей лейтенанта, находившихся в сумке) в брюшную полость, чтобы она не казалась совсем пустой и впалой под мундиром, когда покойного будут опускать в могилу, – собрался зашить означенную брюшную полость по возможности аккуратнее (слишком много мышечной ткани отсутствовало).

Но в последнюю минуту я заколебался и решил сделать нечто необычное.

Я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга.

Никакой особой причины делать это не было. Причина смерти молодого лейтенанта не вызвала сомнений. Проверять желудок на наличие патологий или хронических заболеваний тоже не имело смысла – все мы страдаем цингой в той или иной степени и медленно умираем от голода.

Но я все же вскрыл желудок. Он казался странно раздутым – хотя на таком морозе едва ли мог увеличиться столь сильно в результате одной только деятельности микробов и вызванных ими гнилостных процессов, – а никакую аутопсию нельзя считать законченной без исследования подобной аномалии.

Желудок был полон.

Перед самой смертью лейтенант Ирвинг съел значительное количество тюленьего мяса с кусками кожи и много сала. Пищеварительный процесс едва успел начаться.

Эскимосы накормили его, прежде чем убить.

Или, возможно, лейтенант Ирвинг обменял свою подозрную трубу, сумку и несколько личных вещей на тюленье мясо и сало.

Но это исключено, поскольку помощник конопатчика Хикки сообщил, что он видел, как эскимосы убивают и грабят лейтенанта.

Тюленина и рыба находились на эскимосских санях, которые мистер Фарр использовал для перевозки тела лейтенанта Ирвинга в лагерь. Фарр доложил, что они повыбрасывали из саней прочие предметы – корзинки, примитивную кухонную утварь, вещи, уложенные и привязанные поверх тюленины и рыбы, – чтобы получше разместить труп лейтенанта на легких санях. «Мы хотели устроить лейтенанта Ирвинга как можно удобнее», – сказал сержант Тозер.

Получается, эскимосы сначала угостили лейтенанта своей пищей, дали ему время съесть ее, если не переварить, а потом снова уложили свои пожитки в сани, прежде чем расправиться с ним столь жестоко.

Чтобы выказать человеку дружеское расположение, а потом совершить столь зверское убийство и надругательство над телом... возможно ли поверить в существование народа столь вероломного, столь злобного и столь жестокого?

Что могло вызвать такую внезапную и резкую перемену в настроении аборигенов? Может, лейтенант каким-нибудь своим действием или словом нарушил некое священное табу? Или они просто хотели ограбить его?

Неужто медная подзорная труба стала причиной ужасной смерти лейтенанта Ирвинга?

Существует еще одна вероятность, но настолько чудовищная и неправдоподобная, что мне не хочется писать здесь о ней.

Эскимосы не убивали лейтенанта Ирвинга.

Но такое предположение тоже лишено смысла. Помощник конопатчика Хикки заявил со всей определенностью, что ВИДЕЛ, как шесть или семь аборигенов убивают лейтенанта. Он ВИДЕЛ, как они забирают сумку лейтенанта, подзорную трубу и прочие вещи, – хотя странно, что впоследствии он не обыскал карманы убитого и не нашел пистолета. Помощник конопатчика Хикки сказал сегодня капитану Фицджереймсу (я присутствовал при разговоре), что он, Хикки, НАБЛЮДАЛ с расстояния за тем, как дикари извлекают внутренности из тела нашего друга. Он прятался и наблюдал за всем происходящим.

Сейчас еще темно хоть глаз выколи и очень холодно, но капитан Крозье с несколькими людьми собирается через двадцать минут выступить к месту убийства и сегодняшней кровавой расправы над эскимосами, находящемуся в нескольких милях от лагеря. Вероятно, их тела все еще лежат там в долине.

Я только что закончил зашивать брюшную полость лейтенанта Ирвинга. Несмотря на страшную усталость (я не спал больше суток), я велю Ллойдю самому одеть покойного и произвести последние приготовления к сегодняшним похоронам. По воле Провидения Ирвинг принес с «Террора» свою парадную форму в сумке с личными вещами. В нее-то он и будет одет.

Сейчас я намерен попросить у капитана Крозье разрешения сопровождать его, лейтенанта Литтла, мистера Фарра и прочих к месту убийства.

69°37' 42" северной широты, 98°40' 58" западной долготы

25 апреля 1848 г.

В разрыве туманной пелены он увидел на замерзшей земле что-то похожее на огромный человеческий мозг: серое, с извилинами, свернутое кольцами, покрытое блестящей ледяной коркой.

Гарри Пеглар осознал, что смотрит на внутренности Джона Ирвинга.

– Вот это место, – сказал Томас Фарр.

Пеглар несколько удивился, получив от капитана приказ отправиться с ним к месту убийства. Фор-марсовый старшина не входил ни в один из двух отрядов – Ирвинга и Ходжсона, – принимавших участие во вчерашних событиях. Но потом Пеглар увидел остальных людей, выбранных для предрассветного следственного похода, – лейтенанта Литтла, Тома Джонсона (боцманмат и старого знакомого Крозье, служившего на одном с ним корабле еще в южной полярной экспедиции), грот-марсового старшину Фарра, который был здесь вчера, доктора Гудсира, лейтенанта Левеконта с «Эребуса», старшего помощника Роберта Томаса и охрану из четырех вооруженных морских пехотинцев: Хопкрафта, Хили и Пилкингтона под командованием капрала Пирсона.

Гарри Пеглар надеялся, что не льстит себе мыслью, что капитан Крозье, по каким-то своим причинам, выбрал для данного похода людей, которым больше всего доверял. Все недовольные остались в лагере «Террор»; вечный возмутитель спокойствия Хикки руководил группой, получившей приказ вырыть могилу для лейтенанта Ирвинга к похоронам, назначенным на вторую половину дня.

Отряд Крозье выступил из лагеря задолго до рассвета и при свете фонарей двинулся на юго-восток по вчерашним следам, оставленным людьми и эскимосскими санями. На голых каменистых вершинах возвышенностей следы пропадали, но легко отыскивались в заснеженных долинах внизу. За ночь температура воздуха поднялась по меньшей мере на пятьдесят пять градусов, достигнув ноля или плюсовой величины, и на землю спустился густой туман. Гарри Пеглар, выдавший на своем веку самые разные погодные условия почти на всех морях и океанах планеты, понятия не имел, откуда здесь мог взяться такой густой туман, если в

радиусе многих сотен миль нет открытой, чистой от льда воды. Вероятно, просто низкие облака, плывущие над самой поверхностью пакового льда, напоздали на этот богом забытый остров, самая высокая вершина которого поднималась всего на несколько сотен ярдов над уровнем моря. Восход солнца мало напоминал восход: лишь тусклое желтое свечение в клубящемся тумане, в какую сторону ни глянь.

Несколько минут дюжина мужчин стояла в молчании на месте убийства. Там мало чего осталось для исследования. Фуражку Джона Ирвинга отнесло ветром к валуну неподалеку, и Фарр принес ее. На обледенелых камнях темнела застывшая лужа крови; рядом с ней лежала кучка человеческих внутренностей. И валялось несколько лоскутов изорванной одежды.

– Лейтенант Ходжсон, мистер Фарр, – сказал Крозье, – вы видели здесь какие-либо следы присутствия эскимосов, когда мистер Хикки привел вас на это место?

Казалось, Ходжсона вопрос привел в замешательство. Фарр ответил:

– Кроме кровавого дела их рук, никаких, сэр. Мы подползли к вершине холма по-пластунски и посмотрели в долину, воспользовавшись подозрной трубой мистера Ходжсона, и там находились эскимосы. Все еще дрались из-за подозрной трубы Джона и прочих трофеев.

– Вы видели, как они дрались между собой? – резко спросил Крозье.

Пеглар никогда еще не видел своего капитана – или любого другого капитана, под командованием которого служил когда-либо, – таким усталым. За последние дни и недели глаза у Крозье глубоко ввалились, и голос его, всегда зычный и повелительный, теперь стал слабым и надтреснутым. Казалось, у него вот-вот начнется сочиться кровь из глаз.

В недавнее время Пеглар узнал на личном опыте, что такое кровотечения. Он еще не сказал Джону Бридженсу, но он остро чувствовал симптомы цинги. Мускулы у него, некогда бывшие предметом гордости, постепенно атрофировались. Все тело испещряли синяки. За минувшие десять дней он потерял два зуба. Каждый раз, когда он чистил оставшиеся зубы, на щетке оставалась кровь. И каждый раз, когда он облегчался, кал выходил с кровью.

– Видел ли я, как эскимосы дрались между собой? – повторил Фарр. – Да в общем-то, нет, сэр. Однако они толкались, пихались и смеялись. И двое дикарей тянули друг у друга из рук медную подозрную трубу Джона.

Крозье кивнул:

– Давайте спустимся в долину, джентльмены.

При виде крови Пеглару стало дурно. Фор-марсовый старшина

никогда прежде не видел места сухопутного боя – даже такой незначительной схватки, – и, хотя он приготовился увидеть мертвые тела, он не представлял, насколько красным будет снег от крови.

– Здесь кто-то был, – сказал лейтенант Ходжсон.

– Что вы имеете в виду? – спросил Крозье.

– Некоторые тела передвинуты, – пояснил молодой лейтенант, указывая сначала на одного мужчину, потом на другого, потом на старуху. – И с них снята верхняя одежда – меховые шубы вроде той, какую носит леди Безмолвная, а у некоторых пропали даже сапоги. И исчезла часть оружия... гарпуны и копья. Видите отпечатки на снегу, где они лежали вчера? Они исчезли.

– Сувениры? – проскрипел Крозье. – Неужели наши люди?..

– Нет, сэр, – быстро и твердо сказал Фарр. – Мы выбросили с саней несколько корзин, горшков и прочих предметов, чтобы освободить место, и затащили сани на холм, чтобы погрузить на них тело лейтенанта Ирвинга. С той минуты и до самого нашего прибытия в лагерь «Террор» мы все находились вместе. Никто не отставал от отряда.

– Несколько корзин и горшков тоже пропали, – сказал лейтенант Ходжсон.

– Похоже, здесь есть более свежие следы, но утверждать это с уверенностью нельзя, поскольку сегодня всю ночь дул сильный ветер, – сказал боцманмат Джонсон.

Капитан переходил от одного трупа к другому, переворачивая тела, если они лежали ничком. Казалось, он пристально всматривался в лицо каждого мертвеца. Пеглар заметил, что среди убитых не одни только мужчины. Там лежало тело маленького мальчика. И тело старухи, рот которой, навек разодранный в беззвучном вопле, зиял подобием черной ямы. Снег вокруг был сплошь залит кровью. Один из аборигенов получил полный заряд дроби в голову с близкого расстояния – вероятно, уже после того, как был ранен мушкетным или винтовочным выстрелом. Задняя половина черепа у него отсутствовала.

Рассмотрев все лица, словно в надежде найти там ответы на мучившие его вопросы, Крозье выпрямился. Судовой врач Гудсир, который тоже внимательно разглядывал убитых, что-то тихо проговорил на ухо капитану, стянув к подбородку свой шарф. Крозье отступил на шаг назад, посмотрел на Гудсира с видимым удивлением, но потом кивнул.

Врач опустил на колено подле одного мертвого эскимоса и извлек из своей сумки несколько хирургических инструментов, включая очень длинный нож с изогнутым зубчатым лезвием, напомнившим Пеглару пилы,

которыми они пользовались для вырезания кусков льда из железных цистерн с замерзшей водой в трюме «Террора».

– Доктору Гудсиру необходимо исследовать желудки нескольких дикарей, – сказал Крозье.

Пеглар предположил, что все остальные мужчины, помимо него самого, задались вопросом: зачем? Вслух никто ничего не спросил. Самые впечатлительные – в том числе трое морских пехотинцев – отвели глаза в сторону, когда щуплый врач распорол меховые одежды и принялся распиливать брюшную полость первого трупа. Пила врезалась в затвердевшую на морозе плоть с таким визгом, точно Гудсир пилил дрова.

– Капитан, как вы думаете, кто забрал оружие и одежду? – спросил старший помощник Томас. – Один из двух сбежавших эскимосов?

Крозье рассеянно кивнул:

– Или другие жители их стойбища, хотя с трудом верится, чтобы на этом богом забытом острове было стойбище. Возможно, эта группа эскимосов являлась частью более крупного охотничьего отряда, устраивавшего стоянку неподалеку.

– Они везли с собой очень много провианта, – сказал лейтенант Левеконт. – Представьте, сколько продовольствия может оказаться у главного охотничьего отряда. Возможно, нам удастся накормить досыта всех наших людей.

Лейтенант Литтл улыбнулся поверх своего воротника, покрытого инеем от дыхания.

– Вы готовы отправиться к ним в стойбище или на стоянку крупного охотничьего отряда и вежливо попросить у них немного пищи или совета относительно охоты? Теперь? После этого? – Литтл указал рукой на распростертые окоченелые тела и красный от крови снег.

– Я думаю, теперь нам необходимо срочно покинуть лагерь «Террор» и этот остров, – сказал лейтенант Ходжсон. Голос у молодого человека дрожал. – Они перебьют всех нас во сне. Посмотрите, что они сделали с Джо... – Он осекся, явно устыдившись своих слов.

Пеглар внимательно посмотрел на лейтенанта. Ходжсон обнаруживал все признаки истощения и усталости, как и остальные, но ни единого явного признака цинги. Фор-марсовый старшина спросил себя, ослаб бы духом он сам до такой степени, когда и если увидел бы сцену, подобную той, какую видел Ходжсон менее суток назад.

– Томас, – тихо обратился Крозье к своему боцманмату, – будьте любезны, поднимитесь на следующий холм и посмотрите, нет ли там чего-нибудь... в частности, следов, ведущих из долины... а коли таковые

имеются, то в каком количестве и какого рода.

– Слушаюсь, сэр. – Высокий боцманмат трусцой взбежал по склону, покрытому глубоким снегом, на голую каменистую вершину холма.

Пеглар обнаружил, что наблюдает за Гудсиром. Врач вскрыл сероватозеленый раздутый желудок первого эскимоса, потом занялся старухой, а затем мальчиком. Зрелище было тошнотворным. В каждом случае Гудсир – работая голыми руками – разрезал хирургическим инструментом малого размера желудок, извлекал из него содержимое и рылся в замерзшем комковатом месиве так, словно копался в куче вернувшегося из стирки белья, проверяя, все ли на месте. Иногда Гудсир с треском раскалывал застывшую массу на мелкие куски. Закончив с первыми тремя трупами, он медленно вытер снегом руки, натянул рукавицы и снова прошептал что-то на ухо Крозье.

– Можете сказать всем, – громко произнес Крозье. – Я хочу, чтобы все это слышали.

Тщедушный врач облизал потрескавшиеся, кровоточившие губы:

– Сегодня утром я вскрыл желудок лейтенанта Ирвинга...

– Зачем? – выкрикнул Ходжсон. – Желудок у бедного Джона оставался одним из немногих органов, которые проклятые дикари не изуродовали! Как вы могли...

– Тихо! – рявкнул Крозье. Пеглар отметил, что прежний властный голос вернулся к капитану. Крозье кивнул Гудсиру. – Пожалуйста, продолжайте, доктор Гудсир.

– Лейтенант Ирвинг съел так много тюленьего мяса и сала, что в буквальном смысле слова набил желудок до отказа, – сказал врач. – Он съел такую большую порцию пищи, какой никто из нас не ел уже много месяцев. Это, безусловно, была тюленьина из запасов, лежавших на санях у эскимосов. Я хотел узнать, ели ли эскимосы вместе с ним – покажет ли содержимое их желудков, что они тоже ели тюленье сало незадолго до смерти. В случае с этими тремя представляется очевидным, что они ели.

– Они преломили хлеб с лейтенантом... съели свое мясо с ним... а потом убили его, когда он собрался уходить? – спросил старший помощник Томас, явно озадаченный сообщением врача.

Пеглар тоже пришел в недоумение. Это не имело смысла... если только эти дикари не отличались такими же переменчивостью и коварством нрава, как иные туземцы, встречавшиеся ему в южных морях во время пятилетнего плавания на старом «Бигле». Фор-марсовый старшина пожалел, что здесь нет Джона Бридженса, который бы высказал свое мнение по данному поводу.

– Джентльмены, – сказал Крозье, обращаясь ко всем, включая даже морских пехотинцев, – я хотел, чтобы вы услышали это, поскольку, возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов, но я не хочу, чтобы кто-нибудь еще узнал об этом. Пока я не сочту нужным довести это до всеобщего сведения. А вполне возможно, я никогда не сделаю такого. Если кто-нибудь из вас расскажет еще кому-нибудь – хотя бы одному-единственному человеку, своему закадычному другу, – или просто проговорится во сне, клянусь Богом, я непременно узнаю, кто ослушался моего приказа хранить молчание, и оставлю этого человека во льдах, не снабдив даже пустой кастрюлей, чтобы в нее срать. Вы хорошо меня поняли, джентльмены?

Десять мужчин кивнули и пробормотали «да».

Тут вниз по склону сбежал Томас Джонсон, пыхтя и отдуваясь. Он остановился и обвел взглядом группу молчащих мужчин, словно спрашивая, в чем дело.

– Что вы увидели там, мистер Джонсон? – живо осведомился Крозье.

– Следы, капитан, – ответил боцманмат, – но старые. Ведут на юго-запад. Двое эскимосов, скрывшиеся вчера, – и люди, которые возвращались в долину за парками, оружием, горшками и прочим, – вероятно, бежали по ним. Никаких свежих следов там не видать.

– Спасибо, Томас, – сказал Крозье.

Туман вихрился вокруг них. Пеглар услышал далеко на востоке звуки, похожие на грохот пушек во время морского боя, но за последние два лета он не раз слышал такое. То грохотал отдаленный гром. В апреле. При температуре воздуха минус тридцать, самое малое.

– Джентльмены, – сказал капитан, – нам нужно заняться похоронами. Двигаемся обратно?

На обратном пути в лагерь Пеглар размышлял над всем увиденным: заледенелые внутренности офицера, вызывавшего у него симпатию; мертвые тела и все еще красная кровь на снегу; пропавшие парки, оружие и предметы утвари; омерзительное исследование содержимого желудков, проведенное доктором Гудсиром; странное заявление капитана Крозье, что «возможно, когда-нибудь в будущем мне понадобится ваша осведомленность в части данных фактов», – словно он готовил их к выступлению в роли свидетелей на военном суде или следственной комиссии в неопределенном будущем...

Пеглар предвкушал, как опишет все события сегодняшнего утра в своем личном дневнике, который вел уже очень давно. И он надеялся, что получит возможность поговорить с Джоном Бридженсом после похоронной

службы, прежде чем люди с обоих кораблей разойдутся по своим палаткам, распределятся по своим артелям и упряжным командам. Он хотел услышать, что Бридженс скажет по поводу всего этого.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

25 апреля 1848 г.

– Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?

Лейтенант Ирвинг служил под началом Крозье, но капитан Фицджереймс имел более благозвучный голос и лучше знал толк в Писании, и потому Крозье был благодарен, что он взял на себя проведение службы.

На нее собрались все обитатели лагеря «Террор», кроме часовых, лежачих больных и людей, выполняющих важные обязанности, – как Ллойд в лазарете или мистер Диггл и мистер Уолл со своими помощниками, которые трудились у четырех печей с вельботов, готовя на обед рыбу и тюленину, доставшуюся от эскимосов. По меньшей мере восемьдесят человек стояли у могилы в сотне ярдов от лагеря, похожие на темных призраков в вихрящемся тумане.

– Жало же смерти – грех, а силы греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не был тщетен пред Господом.

Другие офицеры и два помощника капитана несли Ирвинга. В силу ограниченного запаса пиломатериалов в лагере «Террор» изготовить гроб не представлялось возможным, но плотник мистер Хани отыскал достаточно досок, чтобы сколотить носилки размером с дверь, на которых тело Ирвинга, сейчас надежно зашитое в парусину, можно было бы донести до могилы и опустить в нее. Хотя веревки были переброшены через могилу на принятый во флоте манер, как положено при любом погребении на суше, глубоко опускать тело не придется. Команда Хикки сумела выкопать яму глубиной всего только в три фута – ниже промерзшая земля была твердой как камень, – и потому люди насобирали множество крупных булыжников, чтобы уложить их на тело, прежде чем засыпать могилу мерзлой землей и гравием, а сверху навалить еще булыжников. Никто по-настоящему не надеялся, что такая мера оградит могилу от посягательства белых медведей или других летних хищников, но проведенная работа являлась свидетельством добрых чувств, которые большинство людей питало к Ирвингу.

Большинство людей.

Крозье взглянул на Хикки, стоявшего рядом с Магнусом Мэнсоном и вестовым с «Эребуса», подвергшимся порке после карнавала, Ричардом Эйлмором. Вокруг них толпились другие недовольные – несколько матросов с «Террора», которые в январе рвались убить леди Безмолвную, даже если для этого придется поднять мятеж, – но, как и все остальные мужчины, собравшиеся у скорбной могилы, они сняли «уэльские парики» и фуражки и натянули шарфы до самого носа и ушей.

Допрос Хикки, проведенный Крозье в капитанской палатке среди ночи, был напряженным и коротким.

– Доброго вам утра, капитан. Желательно ли вам, чтобы я рассказал вам то, что рассказывал капитану Фицджереймсу и...

– Снимите шинель, мистер Хикки.

– Прощу прощения, сэр?

– Вы меня слышали.

– Так точно, сэр, но если вы хотите узнать, как все было, когда дикари на моих глазах убивали бедного мистера Ирвинга...

– Лейтенанта Ирвинга, помощник конопатчика. Я слышал вашу историю от капитана Фицджереймса. Вы хотите что-нибудь добавить к ней или внести какие-то поправки?

– Э-э-э... нет, сэр.

– Снимите шинель. И рукавицы тоже.

– Есть, сэр. Вот, сэр, готово. Мне просто положить одежду на...

– Бросьте на пол. Куртки тоже снимите.

– Куртки, сэр? Здесь чертовски холодно... есть, сэр.

– Мистер Хикки, почему вы вызвались отправиться на поиски лейтенанта Ирвинга, когда он отсутствовал всего немногим более часа? Никто больше не беспокоился за него.

– О, едва ли я сам вызвался, капитан. Насколько мне помнится, мистер Фарр попросил меня пойти поискать...

– Мистер Фарр доложил, что вы несколько раз спрашивали, не запаздывает ли лейтенант Ирвинг, и сами вызвались отправиться на его поиски, пока все остальные отдыхали после обеда. Почему вы так поступили, мистер Хикки?

– Если мистер Фарр говорит так... ну, наверное, мы волновались за него, капитан. То есть за лейтенанта.

– Почему?

– Можно мне надеть куртки и шинель, капитан? Здесь чертовски...

– Нет. Снимите жилет и свитера. Почему вы волновались за лейтенанта Ирвинга?

– Ну, вы понимаете, капитан.

– Не понимаю.

– Мы просто беспокоились, что один из нашего отряда вроде как пропал. Вдобавок, сэр, я здорово замерз, сэр. Мы сидели, пока ели холодную пищу, что была у нас с собой. И я подумал, что маленько согреюсь, коли пойду по следам лейтенанта и удостоверюсь, что с ним все в порядке, сэр.

– Покажите мне руки.

– Прошу прощения, капитан?

– Ваши руки.

– Слушаюсь, сэр. Извиняюсь за дрожь, сэр. Я весь день не мог согреться, а сейчас, когда разделся до рубашки...

– Переверните их. Ладонями вверх.

– Слушаюсь, сэр.

– Не кровь ли это у вас под ногтями, мистер Хикки?

– Возможно, капитан. Вы же знаете, почему так получается.

– Нет. Расскажите мне.

– Ну, мы уже много месяцев не мылись толком за отсутствием воды, сэр. А коли у тебя цинга и дизентерия, всегда выделяется кровь, когда справляешь большую нужду...

– Вы говорите, что унтер-офицер британского военно-морского флота на моем корабле вытирает задницу пальцами, мистер Хикки?

– Нет, сэр... я имею в виду... можно мне одеться теперь, капитан? Вы же видите, что я не ранен и ничего такого. На таком холоде недолго отморозить...

– Снимите рубаху и нательное белье.

– Вы серьезно, сэр?

– Не заставляйте меня повторять дважды, мистер Хикки. У нас здесь нет гауптвахты. Любой человек, отправленный мной на гауптвахту, проведет время на привязи у одного из вельботов.

– Вот, сэр. Пожалуйста. Тело как тело, только посиневшее от холода. Если бы моя бедная женушка видела меня сейчас...

– В ваших бумагах не говорилось, что вы женаты, мистер Хикки.

– О, моя Луиза уже семь лет как померла, капитан. От оспы. Да упокоит Господь ее душу.

– Почему вы говорили нескольким матросам, что, когда настанет время убивать офицеров, лейтенант Ирвинг будет первым?

– Я никогда не говорил ничего подобного, сэр.

– Мне докладывали, что вы говорили это и другие подстрекательские вещи еще до карнавала, мистер Хикки. Почему вы выделили лейтенанта Ирвинга? Что плохого сделал вам этот офицер?

– Да ничего, сэр. И никогда не говорил ничего подобного. Вызовите сюда человека, который сказал про меня такое, и я уличу его во лжи и плюну ему в глаза.

– Что плохого сделал вам лейтенант Ирвинг, мистер Хикки? Почему вы говорили матросам и с «Эребуса», и с «Террора», что Ирвинг мерзавец и лжец?

– Клянусь вам, капитан... извиняюсь, что у меня стучат зубы, капитан, но, ей-богу, на таком морозе нагишом страсть как холодно. Клянусь вам, я не говорил ничего подобного. Многие из нас относились к бедному лейтенанту Ирвингу как к сыну, капитан. Как к сыну. Только из беспокойства за него я решил пойти проверить, все ли с ним в порядке. И хорошо, что я так сделал, сэр, иначе мы никогда не поймали бы кровожадных ублюдков, которые...

– Оденьтесь, мистер Хикки.

– Слушаюсь, сэр.

– Нет, не здесь. Одевайтесь снаружи. Убирайтесь с глаз долой.

– Человек краткодневен и пресыщен печалью, – речитативом говорил Фицджеральд. – Как цветок, он выходит и опадает; убегает, как тень, и не останавливается.

Ходжсон и другие мужчины с величайшей осторожностью опускали носилки с завернутым в парусину телом на веревки, которые удерживали над мелкой могилой самые здоровые матросы. Крозье знал, что Ходжсон и прочие друзья Ирвинга по одному зашли в медицинскую палатку, чтобы отдать лейтенанту дань уважения, прежде чем старый Мюррей зашил его в парусиновый саван. Посетители оставили несколько знаков любви подле тела покойного – возвращенную подзорную трубу с разбитыми во время стрельбы стеклами, золотую медаль с выгравированным на ней именем лейтенанта, которую он получил на соревнованиях на учебном корабле «Экселлент», и по меньшей мере одну пятифунтовую банкноту, словно какой-то старый долг, наконец отданный. По какой-то причине – оптимизм? юношеская наивность? – Ирвинг уложил в небольшую сумку с личными вещами свою парадную форму, и теперь его хоронили в ней. Крозье задался праздным вопросом, сохранятся ли в целости позолоченные пуговицы мундира – все с изображением якоря и короны, – когда от мальчика ничего

не останется, кроме побелевших костей да золотой медали.

– Посреди жизни мы окружены смертью, – читал по памяти Фицджеральд усталым, но подобающе звучным голосом. – У кого нам искать помощи, как не у Тебя, Господи, Который справедливо негодует на грехи наши?

Капитан Крозье знал, что в парусиновый саван вместе с Ирвингом зашит еще один предмет, о котором никто не знал. Он лежал у него под головой, точно подушка.

Это был красно-зелено-сине-золотой китайский платок, и Крозье застал дарителя врасплох, войдя в медицинскую палатку, когда Гудсир, Ллойд, Ходжсон и остальные уже удалились, а парусник Мюррей только собирался зайти, чтобы зашить саван, уже приготовленный и подстеленный под тело Ирвинга.

В палатке находилась леди Безмолвная; склонившись над трупом, она укладывала что-то ему под голову.

В первый момент Крозье невольно потянулся за пистолетом, лежавшим в кармане шинели, но в следующий миг застыл на месте, увидев глаза и лицо эскимосской девушки. Если в этих темных глазах, едва ли похожих на человеческие, и не стояли слезы, они блестели от какого-то чувства, определить которое он не мог. Горе? В такое капитану не верилось.

Но несомненно, именно девушка аккуратно положила китайский шелковый платок под голову мертвого мальчика. Крозье знал, что платок принадлежал Ирвингу: лейтенант несколько раз повязывал его на шею по особым случаям – например, в день отплытия экспедиции в мае 1845-го.

Неужели эскимоска украла у него платок? Похитила с мертвого тела только вчера?

Неделю с лишним назад Безмолвная проследовала за санным отрядом Ирвинга с «Террора» в лагерь, а потом исчезла и больше не объявлялась. Все, включая Крозье, вздохнули с облегчением, когда она пропала. Но все сегодняшнее ужасное утро Крозье спрашивал себя, не причастна ли Безмолвная каким-либо образом к зверскому убийству офицера на голом каменистом холме, открытом всем ветрам.

Может, она вела обратно к лагерю своих друзей, эскимосских охотников, с намерением совершить набег и по пути случайно встретилась с Ирвингом, сначала досыта накормила умирающего от голода человека, а потом хладнокровно убила, чтобы он никому не рассказал о своей встрече с ними? Не Безмолвная ли была той самой «возможно, женщиной», которую мельком видели Фарр и остальные, когда она убегала вместе с эскимосом в головной повязке? Она могла переменить парку, если возвращалась в свое

стойбище на прошлой неделе, а все молодые эскимоски на первый взгляд кажутся на одно лицо.

Крозье все утро обдумывал подобные предположения, но в то остановившееся во времени мгновение, когда он и молодая женщина вздрогнули и неподвижно замерли на несколько бесконечно долгих секунд, капитан посмотрел ей в лицо и понял – то ли сердцем своим, то ли шестым чувством, о котором неустанно повторяла его бабушка Мойра, – что в душе она горько оплакивает Джона Ирвинга и возвращает ему шелковый платок, полученный от него в подарок.

Крозье предположил, что Ирвинг подарил Безмолвной платок во время своего февральского визита в снежный дом, о котором исправно доложил своему капитану... но не вдаваясь в подробности. Теперь Крозье задался вопросом, не состояли ли эти двое в любовной связи.

А потом леди Безмолвная исчезла. Стремительно поднырнула под полог палатки и бесшумно скрылась. Когда позже Крозье спрашивал мужчин в лагере и часовых, не видели ли они чего, все отвечали отрицательно.

Тогда в палатке капитан подошел к телу Ирвинга, посмотрел на бледное мертвое лицо, казавшееся еще бледнее на фоне подложенного под голову цветастого платка, а потом накинул парусину на лицо и тело лейтенанта и крикнул старому Мюррею войти и зашить саван.

– И все же, Господи милосердный, Боже Всемогущий, – говорил Фицджереймс, – не предавай нас жестоким мукам вечной смерти. Ты знаешь, Господи, тайны наших сердец; не отвращай милосердного слуха Твоего от нашей молитвы, но пощади нас, о Боже Всевышний, Всемиловитый Спаситель, справедливейший судия Предвечный, не дай нам в наш последний час отпасть от Тебя.

Фицджереймс умолк и отступил назад на пару шагов. Крозье, глубоко погруженный в свои мысли, несколько долгих мгновений неподвижно стоял на месте, пока по шарканью ног и приглушенным покашливаниям не понял, что настала его очередь произносить надгробное слово.

– Итак, мы предаем земле тело нашего друга, офицера Джона Ирвинга, – хрипло заговорил он, тоже читая по памяти, которая оставалась на удивление ясной, несмотря на туман в голове, порожденный крайней усталостью, – дабы оно обратилось во прах и восстало из праха, когда земля и море отдадут своих мертвецов... – Тело уже опустили на глубину трех футов, и Крозье бросил на него пригоршню мерзлой земли. Мелкие камешки упали на парусину над лицом Ирвинга и скатились в стороны с неожиданно отчетливым сухим шорохом, от которого болезненно

сжималось сердце. – ...И жизнь придет в мир через Господа нашего Иисуса Христа, Который по Своем пришествии изменит наше греховное тело, чтобы оно уподобилось Его светоносному телу, ибо Он всемогущ и подчиняет все Своей воле.

Служба закончилась. Матросы вытянули веревки из-под носилок с телом.

Мужчины затопали замерзшими ногами, натянули шапки и «уэльские парики», замотали потуже шарфы и сквозь туман потянулись вереницей в лагерь «Террор», где их ждал горячий обед.

Ходжсон, Литтл, Томас, Дево, Левеконт, Блэнки, Пеглар и несколько других офицеров остались, отпустив матросов, ждавших приказа засыпать тело землей. Офицеры сами зарыли могилу лопатами и принялись укладывать первый слой камней. Они хотели похоронить Ирвинга наилучшим образом, возможным в данных обстоятельствах.

По завершении работы Крозье и Фицджереймс направились в другую сторону. Они съедят свой обед гораздо позже – сейчас они собирались пройти две мили до мыса Виктори-Пойнт, где почти год назад Грэм Гор оставил в старой пирамиде Джеймса Росса медный цилиндр с оптимистическим посланием.

Крозье хотел сегодня оставить там сообщение о положении дел в экспедиции, сложившемся за одиннадцать прошедших со времени написания предыдущего послания, и о дальнейших шагах, которые он планировали предпринять.

Устало бредя сквозь туман, слыша звон корабельных колоколов где-то за пеленой, клубящейся позади (разумеется, они перевезли в лагерь колокола и с «Эребуса», и с «Террора» в вельботах, когда покинули корабли), Френсис Крозье страстно надеялся, что определится с планом дальнейших действий к тому времени, когда они с Фицджереймсом достигнут пирамиды.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

25 апреля 1848 г.

Тюленьего мяса и рыбы оказалось недостаточно, чтобы приготовить полноценный обед на девяносто пять или сто едоков (несколько человек были слишком больны, чтобы есть твердую пищу), и даже мастерство мистера Диггла и мистера Уолла, постоянно творивших чудеса кулинарного искусства из скудных запасов корабельного продовольствия, не позволило им на сей раз преуспеть в полной мере (тем более что часть продуктов на эскимосских санях сильно испортилась), но всем до единого мужчинам удалось отведать – вместе с голднеровскими супами, тушенкой или овощами – восхитительно вкусного сала или рыбы.

Гарри Пеглар поглощал пищу с аппетитом, хотя дрожал всем телом от холода и знал, что после такого обеда у него только усилится понос, которым он жестоко мучился каждый день.

После обеда и перед тем, как приступить к выполнению своих служебных обязанностей, Пеглар и вестовой Джон Бридженс вышли прогуляться с оловянными кружками чуть теплого чая в руках. Туман заглушал их голоса, хотя одновременно усиливал звуки, раздававшиеся вдали. Они ясно слышали, как в одной из палаток в противоположном конце лагеря мужчины спорят за карточной игрой. С юго-запада – со стороны, куда перед обедом направились два капитана, – доносился похожий на канонаду грохот грома, раскатывавшийся над паковым льдом. Гром гремел весь день, но гроза не пришла.

Двое мужчин остановились возле длинного ряда лодок и саней, оттащенных на некоторое расстояние от нагромождений ледяных валунов, на месте которых окажется берег узкого залива, коли лед на море вообще когда-нибудь растает.

– Скажите, Гарри, сколько лодок мы возьмем с собой, если нам придется снова выйти на лед? – спросил Бридженс.

Пеглар отхлебнул из кружки и указал рукой:

– Я не уверен, но, кажется, капитан Крозье решил взять десять из восемнадцати лодок. Теперь у нас осталось слишком мало достаточно здоровых людей, чтобы утащить с собой больше.

– Тогда зачем мы перетащили в лагерь все восемнадцать?

– Капитан Крозье не исключал возможности, что мы задержимся в лагере «Террор» еще на два или три месяца – возможно, чтобы дожидаться, когда лед вокруг мыса растает. Мы чувствовали бы себя спокойнее с восемнадцатью лодками, держа несколько из них про запас на случай, если другие выйдут из строя. И тогда мы смогли бы взять с собой гораздо больше груза: продовольствия, палаток и прочего снаряжения. Если в каждую лодку сядет по десять и более человек, будет чертовски тесно и нам придется оставить здесь слишком много припасов.

– Но вы думаете, что мы двинемся на юг всего с десятью лодками, Гарри? И скоро?

– Надеюсь, – сказал Пеглар.

Он поведал Бридженсу о том, что видел сегодня утром; о том, что сказал Гудсир по поводу содержимого желудков эскимосов, совпадающего с содержимым желудка Ирвинга, и о том, что Крозье разговаривал со всеми присутствовавшими там (возможно, за исключением морских пехотинцев), словно с потенциальными свидетелями.

– Думаю, – тихо проговорил Бридженс, – капитан Крозье не уверен, что лейтенанта Ирвинга убили эскимосы.

– Что? Но кто еще мог?..

Пеглар осекся. Озноб и тошнота, ни на минуту не отпускавшие его в последнее время, вдруг резко усилились. Он привалился плечом к вельботу, чтобы удержаться на ногах. Ему ни на миг не приходило в голову, что кто-то другой, кроме эскимосов, мог сотворить то, что сотворили с Джоном Ирвингом. Он вспомнил груду замерзших серых внутренностей на вершине холма.

– Ричард Эйлмор говорит, что мы попали в переплет по вине офицеров, – тихо, почти шепотом, сказал Бридженс. – Он говорит всем, кто не станет доносить на него, что нам нужно перебить офицеров и распределить образовавшиеся излишки провианта между людьми. Эйлмор из нашего экипажа и помощник конопатчика из вашего говорят, что нам надо немедленно вернуться на «Террор».

– Вернуться на «Террор»... – повторил Пеглар. Он знал, что из-за болезни и общего истощения туго соображает в последнее время, но подобная идея казалась напрочь лишенной смысла. Корабль затерт льдами далеко от острова и останется в ледовом плену еще не один месяц, даже если лето все-таки соизволит прийти в этом году. – Почему я не слышал ничего такого, Джон? Я не слышал никаких таких подстрекательских разговоров.

Бридженс улыбнулся:

– Они вам не доверяют, мой дорогой Гарри.

– А вам доверяют?

– Разумеется, нет. Но рано или поздно я слышу все. Вестовые, знаете ли, невидимы, поскольку они ни рыба ни мясо. К слову о рыбе и мясе – не правда ли, обед был превосходным? Вероятно, сегодня мы ели относительно свежую пищу в последний раз.

Пеглар не ответил. Мысли теснились и путались у него в голове.

– Каким образом мы можем предупредить Фицджереймса и Крозье?

– О, они располагают информацией насчет Эйлмора, Хикки и прочих, – беззаботно сказал старый вестовой. – У наших капитанов есть свои источники.

– Все источники уже давно замерзли, – сказал Пеглар.

Бридженс хихикнул:

– Очень хорошая метафора, Гарри. Не столько ироничная, как буквальная.

Пеглар потряс головой. Его до сих пор мутило от мысли, что сейчас, когда они находятся в столь отчаянном положении, один из них мог восстать на другого.

– Скажите, Гарри, какие из этих лодок мы возьмем с собой, а какие оставим? – спросил Бридженс, похлопывая по корпусу первого перевернутого вверх днищем вельбота рукой в потрепанной рукавице.

– Четыре вельбота мы возьмем точно, – рассеянно ответил Пеглар, все еще занятый мыслями о подстрекательствах к мятежу и о том, что он видел сегодня утром. – Судовые шлюпки имеют такую же длину, как вельботы, но чертовски тяжелые. Я бы их оставил, а взамен взял четыре тендера. У них длина всего двадцать пять футов, но они гораздо легче вельботов. Однако, возможно, у них слишком большая осадка для плавания по реке Большая Рыбная – если мы вообще до нее доберемся. Шлюпки поменьше, и ялики слишком легкие для плавания в открытом море и слишком хрупкие для долгого перехода через льды и путешествия по реке.

– Значит, вы полагаете, четыре вельбота, четыре тендера и два полубаркаса? – спросил Бридженс.

– Да. – Пеглар невольно улыбнулся. Несмотря на многие годы флотской службы и тысячи прочитанных книг, офицерский вестовой Джон Бридженс по-прежнему очень слабо разбирался в некоторых вещах, связанных с морским делом. – Да, Джон, я думаю, эти десять.

– В лучшем случае, – сказал Бридженс, – если большинство больных поправится, каждую лодку будут тянуть всего только десять человек. Нам

такое по силам, Гарри?

Пеглар снова потряс головой:

– Все будет совсем не так, как при переходе через замерзшее море от «Террора», Джон.

– Что ж, благодарение Господу за эту маленькую милость.

– Нет, я имею в виду другое: мы почти наверняка потащим лодки через остров, а не по морскому льду. Нам придется гораздо труднее, чем при переходе с «Террора», когда мы тащили всего по две лодки зараз и могли поставить сколько угодно людей в одну упряжную команду, когда требовалось преодолеть препятствие. И сейчас лодки будут еще тяжелее прежнего нагружены провиантом, снаряжением и больными. Полагаю, каждую лодку будут тащить по двадцать или более упряжных. И даже тогда нам придется перетаскивать наши десять лодок поочередно.

– Поочередно? – переспросил Бридженс. – Боже мой! Да нам потребуется целая вечность, чтобы дотащить даже эти десять лодок до места назначения, коли мы будем постоянно ходить взад-вперед. И чем больше мы будем слабеть от болезни и усталости, тем медленнее будем продвигаться.

– Да, – отозвался Пеглар.

– Есть ли у нас хоть самый ничтожный шанс подняться на этих лодках по Большой Рыбной до Большого Невольничьего озера и фактории?

– Сомневаюсь, – сказал Пеглар. – Возможно, некоторые из нас протянут достаточно долго, чтобы добраться с лодками до устья Большой Рыбной, и если лодки исправны и идеально оснащены для речного плавания, и если... но нет, думаю, шансов у нас никаких.

– Зачем же тогда капитанам Крозье и Фицджереймсу подвергать нас таким тяготам и мукам, коли у нас нет ни шанса? – спросил Бридженс.

В голосе старшего мужчины не слышалось ни обиды, ни тревоги, ни отчаяния – одно только любопытство. В свое время Джон задавал Пеглару тысячи вопросов по астрономии, естественной истории, философии, ботанике и многим другим предметам именно таким вот мягким, слегка любопытным тоном. Большинство вопросов он задавал, как учитель, который знает ответ, но вежливо допрашивает своего ученика. В данном случае Пеглар был уверен, что Джон Бридженс не знает ответа на вопрос.

– А какой у нас выбор? – спросил фор-марсовый старшина.

– Мы могли бы остаться здесь, в лагере «Террор», – сказал Бридженс. – Или даже вернуться на «Террор», когда наша численность... сократится.

– Зачем? – спросил Пеглар. – Чтобы просто ждать смерти?

– Ждать в терпимых условиях.

– Смерти? – Пеглар осознал, что почти кричит. – Кто, черт возьми, хочет ждать смерти в терпимых условиях? Если мы доберемся с лодками до побережья – хотя бы с несколькими лодками, – по крайней мере у некоторых из нас появится шанс. Возможно, к востоку от Бутии будет чистая от льда вода. Возможно, нам все-таки удастся подняться по реке. По крайней мере некоторым из нас. И те, кому удастся выжить, смогут рассказать родным и близким погибших о том, что с нами случилось и где мы похоронены, и о том, что в последние минуты жизни мы думали о них.

– Вы мой родной и близкий человек, Гарри, – сказал Бридженс. – Из всех мужчин, женщин или детей на свете вы единственный, кому небезразлично, жив я или умер, не говоря уже о том, где упокоятся мои кости и какие мысли посетят меня перед смертью.

У Пеглара, все еще раздраженного, учащенно забилось сердце.

– Вы еще меня переживете, Джон.

– О, в моем возрасте, с моей немощью и прогрессирующей болезнью мне едва ли...

– Вы еще меня переживете, Джон, – с упором повторил Пеглар. Он сам удивился страстной настойчивости своего голоса, а Бридженс моргнул и умолк. Пеглар взял пожилого мужчину за кисть. – Обещайте мне сделать для меня одну вещь, Джон.

– Разумеется. – В голосе Бридженса не слышалось обычной добродушной насмешки или иронии.

– Мой дневник... он небольшой, в последнее время мне трудно даже просто ясно мыслить, а уж тем более писать... я очень болен проклятой цингой, и, похоже, она пагубно действует на мои умственные способности... но последние три года я вел дневник. Записывал свои мысли. Описывал события, происходившие с нами. Если бы вы взяли его, когда я... когда я покину вас... просто взяли с собой в Англию, я был бы очень вам благодарен.

Бридженс только кивнул.

– Джон, – сказал Гарри Пеглар, – я думаю, что капитан Крозье решит выступить в поход в скором времени. В самом скором. Он знает, что мы слабеем изо дня в день. Скоро мы вообще будем не в состоянии тащить лодки. В ближайшем будущем мы начнем умирать здесь десятками, и обитающему во льдах зверю не составит труда утаскивать нас из лагеря или убивать нас в своих постелях.

Бридженс снова кивнул. Он смотрел вниз, на свои руки в рукавицах.

– Мы с вами в разных упряжных командах, мы окажемся в разных

лодках и, возможно, даже закончим поход порознь, если капитаны решат испробовать разные пути к спасению, – продолжал Пеглар. – Я хочу попрощаться с вами сегодня, раз и навсегда.

Бридженс молча кивнул. Он смотрел на свои башмаки. Туман плыл над лодками и санями, клубился вокруг двоих мужчин, словно холодное дыхание некоего чуждого бога.

Пеглар крепко обнял друга. Бридженс на мгновение застыл в напряженной позе, а потом тоже обнял Пеглара. Объятие вышло неловким, поскольку оба мужчины были в объемистых заледенелых шинелях и многочисленных поддевках.

Потом фор-марсовый старшина повернулся и медленно двинулся обратно к лагерю «Террор» и к своей крохотной круглой палатке, где дрожащие, немые мужчины, сейчас свободные от служебных обязанностей, тесно жались друг к другу в своих холодных спальнях мешках.

69°37' 42" северной широты, 98°41' западной долготы

25 апреля 1848 г.

Он заснул на ходу.

Пока они шли сквозь туман к старой пирамиде Джеймса Росса, Крозье обсуждал с Фицджеймсом доводы в пользу и против того, чтобы задержаться в лагере «Террор» на долгий срок, когда вдруг Фицджеймс разбудил его, тряхнув за плечо:

– Мы пришли, Френсис. Вот большой белый валун у полосы прибрежного льда. Мыс Виктори-Пойнт и пирамида должны находиться слева от нас. Вы действительно спали на ходу?

– Нет, конечно, – проскрипел Крозье.

– Тогда что вы имели в виду, когда сказали «не проглядите лодку с двумя скелетами» и «не проглядите девочек, проводящих спиритический сеанс»? Это лишено всякого смысла. Мы с вами обсуждали, следует ли доктору Гудсиру остаться в лагере «Террор» с тяжелобольными, пока самые здоровые из нас предпримут попытку добраться до Большого Невольничьего озера с четырьмя лодками.

– Просто думал вслух, – пробормотал Крозье.

– Кто такая Мойра? – спросил Фицджеймс. – И почему она не должна посылать вас к причастию?

Поднимаясь по пологому склону, Крозье сдвинул шапку со лба и стянул к подбородку шерстяные шарфы, чтобы туманный морозный воздух обжигал лицо.

– Где же пирамида, черт возьми? – раздраженно осведомился он.

– Не знаю, – ответил Фицджеймс. – Даже в ясный солнечный день я всегда иду вдоль берега бухты до белого валуна рядом с айсбергами, а потом поворачиваю налево, к пирамиде на мысе.

– Мы не могли проскочить мимо, – сказал Крозье. – Мы бы уже находились на чертовом паковом льду.

Им потребовалось почти сорок пять минут, чтобы найти пирамиду в тумане. В какой-то момент, когда Крозье проворчал «этот треклятый белый зверь утащил ее куда-то и спрятал, чтобы сбить нас с толку», Фицджеймс лишь посмотрел на старшего по званию офицера и ничего не сказал.

Наконец, двигаясь ощупью плечом к плечу, точно два слепца, – не рискуя расходиться в стороны в клубящемся тумане в уверенности, что даже не услышат криков друг друга сквозь неумолчный грохот приближающегося грома, – они буквально наткнулись на пирамиду.

– Она стояла не здесь, – прохрипел Крозье.

– Похоже на то, – согласился второй капитан.

– Пирамида Росса с запиской Гора стояла на вершине возвышенности на оконечности мыса Виктори-Пойнт. А мы сейчас находимся ярдах в ста оттуда, почти в самом низу долины.

– Очень странно, – сказал Фицджереймс. – Френсис, вы много раз бывали в Арктике. Этот гром – и молнии, коли таковые засверкают, – обычное явление здесь в это время года?

– Я никогда прежде не слышал грома и не видел молний ранее середины лета, – проскрипел Крозье. – И вообще ни разу не слышал ничего подобного. Звучит как нечто ужасное.

– Что может быть ужаснее грозы в конце апреля, когда температура воздуха еще минусовая?

– Орудийный огонь, – сказал Крозье.

– Орудийный огонь?

– Со спасательного корабля, который прошел по открытым во льдах каналам от пролива Ланкастер и по проливу Пил для того лишь, чтобы обнаружить, что «Эребус» разрушен, а «Террор» покинут. Они будут палить из пушек двадцать четыре часа, чтобы привлечь наше внимание, а потом уплывут прочь.

– Пожалуйста, Френсис, прекратите, – сказал Фицджереймс. – Иначе меня вырвет. А я уже отблевал свое на сегодня.

– Извините, – сказал Крозье, роясь в карманах.

– Неужели действительно есть вероятность, что это стреляют пушки? – спросил молодой капитан. – По звуку очень похоже.

– Ни малейшей, – ответил Крозье. – Этот паковый лед простирается сплошняком до самой Гренландии.

– Тогда откуда туман? – спросил Фицджереймс голосом скорее просто любопытным, нежели удрученным. – Вы что-то ищете в карманах, капитан Крозье?

– Я забыл захватить с собой медный цилиндр для посланий, который мы взяли с «Террора», – признался Крозье. – Я чувствовал тяжесть в кармане по время панихиды и думал, что это цилиндр, но это всего лишь чертов пистолет.

– А бумагу вы захватили?

– Нет. Джопсон приготовил несколько листков, но я забыл их в палатке.

– А ручку вы принесли? Чернила? Я выяснил, что чернила быстро замерзают, если не носить чернильницу в мешочке близко к телу.

– Ни ручки, ни чернил, – признался Крозье.

– Ничего страшного, – сказал Фицджереймс. – Я всегда ношу в кармане жилета и то и другое. Мы можем воспользоваться запиской Гора... написать прямо на ней.

– Если мы нашли нужную пирамиду, – пробормотал Крозье. – Пирамида Росса была высотой шесть футов. А эта мне едва по грудь.

Мужчины принялись вынимать камни с подветренной стороны пирамиды. Они не хотели разбирать все, а потом восстанавливать.

Фицджереймс засунул руку в черную дыру, пошарил там и вытащил медный цилиндр, потускневший, но целый.

– Будь я проклят! – сказал Крозье. – Это записка Грэма?

– Должно быть. – Фицджереймс стянул зубами рукавицу, неловко развернул пергамент и начал читать: «Двадцать восьмое мая тысяча восемьсот сорок седьмого года. Корабли ее величества „Эребус“ и „Террор“ перезимовали во льдах на семидесяти градусах пяти минутах северной широты и девяноста восьми градусах двадцати трех минутах западной долготы. Зиму тысяча восемьсот сорок шестого – сорок седьмого года у острова Бичи на семидесяти четырех градусах сорока трех минутах и двадцати восьми секундах северной широты...» – Фицджереймс прервал чтение. – Постойте, это ж не так. Мы провели у Бичи зиму с сорок пятого на сорок шестой год, а не с сорок шестого на сорок седьмой.

– Записку продиктовал Грэму Гору сэр Джон перед тем, как Гор покинул корабль, – проскрипел Крозье. – Должно быть, сэр Джон тогда так же плохо соображал от усталости, как мы сейчас.

– Еще никто никогда не соображал от усталости так плохо, как мы сейчас, – сказал Фицджереймс. – Так, далее в записке говорится: «Экспедицией командует сэр Джон Франклин. Все в порядке».

Крозье не рассмеялся. И не расплакался. Он сказал:

– Грэм Гор положил сюда записку всего за неделю до того, как обитающее во льдах существо убило сэра Джона.

– И за день до того, как оно убило самого Грэма Гора, – сказал Фицджереймс. – «Все в порядке». Как будто речь идет о другой жизни, правда, Френсис? Вы помните время, когда любой из нас мог с чистой совестью написать такие слова? По краям листка остались поля – можете написать здесь, коли хотите.

Двое мужчин присели на корточки с подветренной стороны пирамиды. Температура воздуха упала, и поднялся ветер, но туман продолжал клубиться вокруг них, словно не подверженный воздействию мороза и ветра. Начинало темнеть. С северо-запада по-прежнему доносился грохот канонады.

Крозье подышал на маленькую карманную чернильницу, чтобы нагреть чернила, окунул в нее ручку, пробив тонкую корочку льда, вытер перо о свой обледенелый рукав и начал писать:

«25 апреля. Корабли ее величества „Террор“ и „Эребус“, затертые льдами с 12 сентября 1846 г., были покинуты 22 апреля в пяти лигах к северо-северо-западу отсюда. Офицеры и матросы, общим числом 105 человек, стали лагерем здесь – на 69°37'42" с. ш. и 98°41' з. д. Данная записка была найдена лейтенантом Ирвингом в пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 г. и расположенной в четырех милях к северу от лагеря, куда была помещена покойным Гором в июне 1847 г. Однако пирамида Джеймса Росса не была найдена, и потому записка была перенесена сюда, в пирамиду, сооруженную сэром Дж. Россом...»

Крозье остановился. «Что я пишу, черт возьми?» Он прищурился и перечитал последние строчки. «...В пирамиде, предположительно построенной сэром Джеймсом Россом в 1831 г.»? «Однако пирамида сэра Джеймса Росса не была найдена»?

Крозье устало вздохнул. Джон Ирвинг, в далеком августе прошлого года отправлявшийся на остров к месту будущего лагеря с первой партией корабельного имущества с «Эребуса» и «Террора», получил приказ сразу после прибытия снова отыскать Виктори-Пойнт и пирамиду Росса, а потом устроить склад провианта и снаряжения для лагеря в нескольких милях к югу от нее, на берегу узкой бухты, защищенной от ветра. На самых первых, приблизительных картах местности Ирвинг отметил местоположение пирамиды неверно – в четырех милях от склада, а не в двух, как в действительности, – но они быстро обнаружили ошибку во время последующих санных походов на остров. Сейчас затуманенный от чудовищной усталости ум Крозье продолжал настаивать на том, что цилиндр с посланием Гора был перенесен из какой-то мнимой пирамиды Джеймса Росса в эту настоящую пирамиду Джеймса Росса.

Крозье потряс головой и взглянул на Фицджереймса, но второй капитан сидел на снегу, положив руки на подтянутые к груди колени, а на руки опустив голову. Он тихо похрапывал.

Взяв листок бумаги, ручку и крохотную чернильницу в одну руку,

другой рукой Крозье зачерпнул пригоршню снега и протер лицо, сморщившись и часто заморгав от обжигающего холода.

«Сосредоточься, Френсис. Бога ради, сосредоточься». Он безумно жалел, что у него нет другого листка бумаги, чтобы начать записку заново. Глядя на мелкие каракули, тянувшиеся по полям листка – в середине уже заполненного набранными типографским шрифтом строками стандартного уведомления, гласящего: «ЛЮБОМУ, нашедшему данную бумагу, предписывается немедленно передать ее военно-морскому министру», ниже повторенного на французском, немецком, португальском и других языках, и каракулями Гора, – Крозье не узнал собственного почерка. Почерк был прыгающим, корявым, неразборчивым – словно писал либо до смерти напуганный, либо окоченевший от холода, либо умирающий человек.

«Это не имеет значения, – подумал он. – Все равно записку никто не прочитает, а если и прочитает, то спустя долгое время после нашей смерти. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Сэр Джон всегда понимал это – вот почему он не оставил ни одного послания на Бичи. Он с самого начала знал...»

Он макнул перо в быстро замерзающие чернила и снова начал писать:

«Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 г., и к настоящему времени экспедиция потеряла в общей сложности 9 офицеров и 15 матросов».

Крозье снова остановился. Не ошибся ли он? Включил ли Джона Ирвинга в число погибших? Он никак не мог сосчитать. Вчера под его командованием оставалось сто пять человек... сто пять оставалось, когда он покинул «Террор», свой корабль, свой дом, свою жизнь... он не станет исправлять цифру.

В самом верху листа, на оставшемся крохотном клочке свободного места, он нацарапал «Ф. Р. М. Крозье», а потом приписал «капитан и старший офицер».

Он разбудил Фицджереймса, легко толкнув локтем в бок:

– Джеймс... поставьте здесь свою подпись.

Второй капитан протер глаза, уставился на бумагу, но, похоже, не потрудился ничего прочитать и поставил свою подпись там, куда указал Крозье.

– Добавьте «капитан британского военного корабля „Эребус“», – сказал Крозье.

Фицджереймс так и сделал.

Крозье свернул листок, засунул обратно в медный цилиндр, плотно его закрыл и положил обратно в пирамиду. Он надел рукавицу и заложил

камнями отверстие.

– Френсис, вы сообщили в записке, куда мы направляемся и когда выступаем?

Крозье осознал, что не сообщил. Он начал объяснять, почему... почему он считает, что все они погибнут в любом случае, останутся ли здесь или покинут остров. Почему он так и не решил, куда двигаться: к далекой Бутии или к легендарной, но ужасной реке Джорджа Бака, Большой Рыбной. Он начал объяснять Фицджереймсу, что от того, что они приперлись сюда и потащатся прочь отсюда, ничего не изменится и что в любом случае никто никогда не прочтает чертову записку, – так почему бы просто не...

– Тш-ш-ш! – прошипел Фицджереймс.

Кто-то ходил по кругу вокруг них, совсем близко, сразу за пределами видимости в клубящемся, вихрящемся тумане. Оба мужчины слышали тяжелые шаги по гальке и льду. Они слышали дыхание какого-то крупного существа. Оно передвигалось на четырех ногах, всего в пятнадцати футах от них, в густом тумане, и глухие удары огромных лап о землю отчетливо слышались сквозь отдаленные раскаты грома, похожие на грохот пушечных выстрелов.

Пу-ух, пу-ух, пу-ух.

Крозье слышал шумные выдохи, звучащие в такт тяжелым шагам. Сейчас существо находилось позади них, двигаясь вокруг пирамиды, двигаясь вокруг них.

Оба мужчины вскочили на ноги.

Крозье неловко вытащил пистолет из кармана. Он зубами стянул рукавицу и взвел курок, когда шаги и дыхание стихли прямо перед ними, хотя существо по-прежнему оставалось невидимым в тумане. Крозье был уверен, что чувствует смрадный рыбный дух, исходящий от него.

Фицджереймс, все еще державший в руке чернильницу и перо, возвращенные Крозье, и не имевший при себе пистолета, указал в туман, где предположительно находилось существо.

Галька захрустела, когда зверь двинулся к ним крадущейся походкой.

В тумане, на высоте пяти футов над землей, медленно проступили очертания треугольной головы. Мокрая белая шерсть сливалась с туманом. Холодные черные глаза пристально смотрели на них с расстояния всего шести футов.

Крозье направил пистолет в точку пространства чуть выше головы. Рука у него была такой твердой, что ему даже не пришлось задерживать дыхание.

Голова немного приблизилась, паря в воздухе, словно отдельно от тела. Потом из тумана выступили гигантские плечи.

Крозье выстрелил.

Выстрел прозвучал оглушительно.

Белый медведь, еще почти медвежонок, испуганно рыкнул, попятился, развернулся кругом и бросился прочь, в считанные секунды исчезнув в тумане. Частый топот лап по гальке слышался еще целую минуту, удаляясь в северо-западном направлении.

Потом Крозье и Фицджереймс принялись смеяться.

Они никак не могли остановиться. Всякий раз, когда один начинал успокаиваться, второй заливался смехом с новой силой, и в следующий миг оба снова оказывались во власти безумной, бессмысленной веселости.

Они хватались за бока от боли в грудной клетке, вызванной судорожными сокращениями диафрагмы.

Крозье уронил пистолет, и оба расхохотались еще сильнее.

Они хлопали друг друга по спине, указывали в туман и истерически смеялись до слез, которые градом лились по лицу и замерзали на щеках и бороде. Заходясь диким хохотом, они ухватились друга за друга, чтобы удержаться на ногах.

Потом капитаны бессильно упали на землю и привалились спиной к пирамиде, каковое обстоятельство повергло обоих в очередной приступ буйной веселости.

Наконец безудержный хохот сменился хихиканьем, хихиканье перешло в смущенное пофыркивание, а потом, издав несколько сдавленных смешков напоследок, мужчины умолкли, часто и тяжело дыша.

– Знаете, за что я бы сейчас отдал свое левое яйцо? – спросил капитан Френсис Крозье.

– За что?

– За стакан виски. То есть за два стакана. Один для меня, другой для вас. С меня выпивка, Джеймс. Я вас угощаю.

Фицджереймс кивнул, смахивая замерзшие слезы с ресниц и сосульку с рыжеватых усов под носом:

– Благодарю вас, Френсис. А я провозглашу первый тост за вас. Мне никогда прежде не выпадало чести служить под началом лучшего командира или лучшего человека.

– Могу я еще раз воспользоваться чернильницей и ручкой? – спросил Крозье.

Надев рукавицу, он снова вытащил несколько камней из стенки пирамиды, нашел там цилиндр, извлек из него лист бумаги, пристроил на

коленях, потом опять стянул зубами рукавицу, проткнул пером корочку льда в чернильнице и на крохотном клочке свободного места под своей подписью нацарапал:

«И завтра, 26 апреля, мы выступаем к реке Бак, Большой Рыбной».

69°?'?" северной широты, 98°?'?" западной долготы
Бухта Покоя, 6 июня 1848 г.

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

Вторник, 6 июня

Капитан Фицджереймс наконец скончался. Благодарение Богу.

В отличие от всех остальных, умерших за последние шесть недель, которые прошли с начала нашего адски тяжелого похода на юг (с лодками, от обязанности тащить которые не освобождается даже единственный оставшийся в живых врач экспедиции), капитан Фицджереймс, на мой взгляд, умер не от цинги.

Цингой он болел, здесь сомнений нет. Я только что закончил аутопсию этого славного человека, и синяки, кровоточащие десны, почерневшие губы говорят сами за себя. Но я думаю, убила его не цинга.

Три последних дня своей жизни капитан Фицджереймс провел здесь: примерно в восьмидесяти милях к югу от лагеря «Террор», на обледенелом мысе в открытом всем ветрам заливе, где береговая линия Кинг-Уильяма резко поворачивает на запад. Впервые за шесть недель мы распаковали все палатки, включая большие, и воспользовались углем из одного из нескольких мешков, взятых с собой, и железной печью с вельбота, которую одна упряжная команда дотащила так далеко. Все шесть недель мы питались холодной пищей или лишь слабо разогретой на крохотных спиртовках. В последние два дня мы ели горячую пищу – в недостаточном количестве, составляющем всего треть нормы, необходимой людям, занятым столь непосильным трудом, – но все же горячую. Два утра подряд мы просыпались на одном и том же месте. Люди называют его бухтой Покоя.

Мы остановились главным образом для того, чтобы дать капитану Фицджереймсу умереть спокойно. Но капитан не знал покоя в последние дни своей жизни.

У бедного лейтенанта Левеконта наблюдались некоторые из

симптомов, появившихся у капитана Фицджереймса незадолго до смерти. Лейтенант Левеконт скоропостижно скончался на тринадцатый день нашего ужасного похода на юг – всего в восемнадцати милях от лагеря «Террор», если мне не изменяет память, – в один день с рядовым морской пехоты Пилкингтоном, но симптомы цинги у лейтенанта и у рядового свидетельствовали о более поздней стадии заболевания, и предсмертная агония у них продолжалась не столь мучительно долго.

Признаюсь, я не знал, что лейтенанта Левеконта звали Гарри. Наши с ним отношения всегда оставались вполне дружескими, но также вполне формальными, и я помнил, что в списке личного состава он значится как Г. Т. Д. Левеконт. Теперь мне не дает покоя мысль, что я наверняка слышал – вероятно, сотни раз, – как другие офицеры время от времени называли его Гарри, но всегда был слишком занят или поглощен своими мыслями, чтобы обратить на это внимание. Только после смерти лейтенанта Левеконта я заметил, что другие мужчины называют его по имени.

Рядового Пилкингтона звали Уильям.

Я хорошо помню день в начале мая, когда после короткой общей панихиды по Левеконту и рядовому Пилкингтону один из матросов предложил назвать маленький мыс, где они похоронены, именем Левеконта, но капитан Крозье решительно отверг предложение, сказав, что, если мы станем называть каждое место в честь похороненного там человека, у нас не хватит на всех географических объектов.

Такое заявление повергло людей в замешательство и, признаюсь, меня тоже. Возможно, капитан пытался пошутить, но я был шокирован его словами. Остальные тоже оторопели, лишившись дара речи.

Возможно, именно такую цель и преследовал капитан Крозье. Больше люди действительно никогда не предлагали называть географические объекты в честь своих умерших офицеров.

В последние несколько недель – еще даже до нашего выступления из лагеря «Террор» – у капитана Фицджереймса наблюдались все признаки общего истощения организма, но четыре дня назад он был сражен неким недугом, развивающимся стремительнее цинги и причиняющим тяжелейшие муки.

У капитана уже довольно давно начались серьезные проблемы с желудком и кишечником, но второго июня он внезапно упал от слабости. На марше у нас принято не останавливаться из-за больных, но класть их в одну из больших лодок и тащить вместе с провиантом, снаряжением и прочим грузом. Капитан Крозье проследил за тем, чтобы капитана Фицджереймса устроили по возможности удобнее в его собственном

вельботе.

Поскольку мы совершаем наш длинный поход на юг поэтапно – по несколько часов кряду выбиваемся из сил, чтобы протащить пять из десяти тяжелых лодок всего на несколько сотен ярдов по ужасным камням и снегу, стараясь по возможности держаться берега, дабы не иметь дела с паковым льдом и торосными грядами, и порой за день покрываем таким манером расстояние всего в милю или меньше, – я взял за обыкновение оставаться с тяжелобольными, пока упряжные команды возвращаются за другими пятью лодками. Зачастую лишь мистер Диггл и мистер Уолл, героически готовые разогреть пищу почти на сотню умирающих от голода людей на своих крохотных спиртовках, да несколько вооруженных мушкетами мужчин, призванных защищать нас от обитающего во льдах зверя или от эскимосов, составляют мне общество в такие часы.

Если не считать тяжелобольных и умирающих.

Рвота и понос у капитана Фицджереймса были ужасными. Корчась от жестоких спазмов, этот сильный и отважный мужчина кричал в голос.

На второй день он попытался присоединиться к своей упряжной команде, тащившей вельбот, – даже офицеры время от времени встают в упряжь, – но вскоре снова упал. На сей раз рвота и спазмы не прекращались ни на минуту. Когда во второй половине того дня вельбот оставили на льду, а трудоспособные мужчины двинулись обратно, за другими пятью лодками, оставленными позади, капитан Фицджереймс признался мне, что у него сильно испортилось зрение и часто двоится в глазах.

Я спросил, надевал ли он проволочные солнцезащитные очки. Люди терпеть их не могут, поскольку они страшно мешают обзору и вызывают головную боль. Капитан Фицджереймс признался, что не надевал, но сказал, что в тот день было довольно облачно. Тогда никто не носил очков. Здесь наш разговор прервался, поскольку у него снова начался приступ поноса и рвоты.

Позже ночью, в голландской палатке, где я сидел с ним, Фицджереймс, задыхаясь, пожаловался мне на сильную боль в горле и постоянную сухость во рту. Вскоре дыхание у него стало затрудненным, и он больше не мог говорить. К рассвету у капитана парализовало руки от плеч до кистей, и он уже не мог шевелить ими, чтобы писать мне записки.

В тот день капитан Крозье дал команду на привал – первый продолжительный привал почти за шесть недель, прошедших с момента нашего выступления из лагеря «Террор». Были разбиты все палатки. Из вельбота Крозье наконец достали большую лазаретную палатку –

потребовалось почти три часа, чтобы установить ее на ветру и морозе (а в последнее время подобная тяжелая работа занимает у изнуренных людей гораздо больше времени против прежнего), – но впервые почти за полтора месяца мы сравнительно удобно устроили всех больных в одном месте.

Мистер Хор, давно страдавший цингой вестовой капитана Фицджереймса, скончался на второй день нашего похода. (В первый ужасный день мы преодолели менее мили пути и в первую ночь еще до боли ясно видели груды угля, печей и прочего имущества, оставленную на месте лагеря «Террор». Складывалось такое впечатление, будто за двенадцать часов непрерывных мучительных усилий мы не достигли ровным счетом ничего. Те первые дни – а нам понадобилась целая неделя, чтобы пересечь покрытый льдом узкий залив к югу от лагеря «Террор», покрыв при этом расстояние всего в шесть миль, – едва не истребили в нас всякий моральный дух и желание продолжать поход.)

Рядовой морской пехоты Хизер, много месяцев назад лишившийся части мозга, на четвертый день похода позволил наконец своему телу умереть. Вечером того дня оставшиеся в живых морские пехотинцы сыграли на волынке над неглубокой, наспех вырытой могилой товарища.

Вслед за ними и прочие больные продолжали умирать один за другим, но затем, после смерти лейтенанта Левеконта и рядового Пилкингтона в конце второй недели пути, наступил продолжительный период, в течение которого никто не умер. Люди убедили себя в том, что все тяжелобольные умерли и в живых остались только самые здоровые и крепкие.

Внезапный и резкий упадок сил, случившийся у капитана Фицджереймса, напомнил нам о том, что все мы неуклонно слабеем. Среди нас больше не осталось по-настоящему здоровых и крепких людей. За исключением, возможно, великана Магнуса Мэнсона, который невозмутимо топает себе вперед и, похоже, нисколько не теряет ни в весе, ни в силе.

В попытке избавить капитана Фицджереймса от постоянной рвоты я давал ему асафетиду, растительную смолу, снимающую желудочные спазмы. Но она мало помогала. Больной не мог удержать в желудке ни твердую пищу, ни жидкую. Я поил несчастного известковой водой, чтобы успокоить желудок, но и она тоже не приносила пользы.

Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фицджереймсу сироп из морского лука – дубильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычно эффективный препарат, похоже, не облегчал страданий умирающего.

Когда капитан Фицджереймс утратил способность двигать сначала

руками, а потом ногами, я пробовал пользоваться его перуанским кокаиновым вином – сильнодействующей смесью вина и кокаина, – а также костяным маслом – препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, – и камфарной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него.

Но в данном случае они не помогли. Паралич порастил все конечности капитана Фицджереймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчась от спазмов после каждого приступа, уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами.

Но, по крайней мере, омертвление его речевого аппарата избавило людей от тяжелой необходимости слышать душераздирающие крики своего капитана, изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и разверстый в беззвучных воплях рот.

Сегодня утром, на четвертый, и последний, день предсмертной агонии капитана Фицджереймса, легкие у него начали отказывать, поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы. Он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом – иногда при помощи капитана Крозье, который провел много часов рядом со своим умирающим другом, – часто усаживали Фицджереймса, или вообще поднимали с постели, поддерживая под руки, или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке, в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие.

В отчаянии я влил в рот капитану Фицджереймсу настойку лобелии (индейского табака) цвета виски, представлявшую собой практически чистый никотин, и массировал ему горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно что кормить умирающую птицу. Настойка лобелии являлась самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке, – средством, в которое безгранично верил доктор Педди. «Оно воскресило бы и Христа на день раньше», – в подпитии частенько повторял Педди, поминая имя Господа всуе.

Но и она не помогла.

Не следует забывать, что я простой хирург, не терапевт.

Я обучался на анатома и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства; хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег.

Самым ужасным в последний день жизни капитана Фицджереймса было

то, что он все время оставался в памяти и ясно сознавал все, с ним происходящее, – рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал. Его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом. А я ничем не мог помочь.

Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам, но клятва Гиппократата и христианская вера удерживали меня от такого шага.

Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из офицеров или матросов.

Капитан Фицджереймс скончался в три часа восемь минут пополудни сегодня, во вторник шестого июня, в год тысяча восемьсот сорок восьмой от Рождества Христова.

Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фицджереймса последние три года, плакали. Хотя сегодня было тепло – от пяти до десяти градусов выше нуля, – с безжалостного северо-запада налетел ледяной ветер, и слезы замерзали на бородах или шарфах.

Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух.

С холма над могилой вспорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда.

Мужчины хором испустили громкий стон. Скорбь не о смерти капитана Фицджереймса, а об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцы перезарядили мушкеты, птица уже находилась в сотне ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. (И никто из морских пехотинцев не попал бы в птицу на лету с расстояния ста ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода.)

Позже – всего полчаса назад – капитан Крозье заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз.

– Капитан Фицджереймс умер от цинги? – только и спросил он.

Я признался, что так не думаю. Он умер от какого-то более страшного недуга.

– Капитан Фицджереймс считал, что вестовой, который стал

прислуживать ему и другим офицерам после смерти Хора, травил его ядом, – прошептал капитан. – Такое возможно?

– Бридженс? – воскликнул я излишне громко.

Я был глубоко потрясен. Мне всегда нравился начитанный старый вестовой.

Крозье помотал головой.

– Последние две недели офицерам с «Эребуса» прислуживал Ричард Эйлмор, – сказал он. – Возможно ли, что причиной смерти явился яд?

Я заколебался. Если бы я ответил утвердительно, Эйлмора точно расстреляли бы на рассвете. Кают-компанейский вестовой был тем самым человеком, который в январе получил пятьдесят плетей за свое необдуманное участие в Большом Венецианском карнавале. Эйлмор также являлся другом и доверенным лицом тщедушного и порой коварного помощника конопатчика с «Террора». Эйлмор, как все мы знали, имел нрав мелочный и обидчивый.

– Вполне возможно, смерть наступила от яда, – сказал я Крозье менее получаса назад. – Но не обязательно от яда, который давали намеренно.

– Что вы имеете в виду? – осведомился Крозье.

Наш оставшийся в живых капитан выглядел сегодня вечером таким изнуренным, что мертвенно-бледная кожа его буквально лучилась при свете звезд.

– Я имею в виду, – пояснил я, – что офицеры ели самые большие порции оставшихся у нас голднеровских консервов. В испорченных консервированных продуктах зачастую содержится яд неизвестного происхождения, но сильного паралитического действия. Никто не знает, что это за яд такой. Возможно, это какие-то микроскопические организмы, которые мы не в силах рассмотреть с помощью наших оптических приборов.

– Разве мы не унюхали бы запаха, если бы консервированные продукты испортились? – шепотом спросил Крозье.

Я потряс головой и схватил капитана за рукав для пущей убедительности своих слов:

– Нет. Тем-то и страшен данный яд, что он парализует сначала голосовые связки, а потом все тело. Его невозможно обнаружить или исследовать. Он невидим, как сама Смерть.

Крозье задумался на долгую минуту.

– Я прикажу всем воздержаться от употребления консервированных продуктов на три недели, – наконец сказал он. – Некоторое время нам придется довольствоваться оставшейся у нас соленой говядиной и

дрянными галетами. Будем есть холодную пищу.

– Матросы и офицеры не придут в восторг от этого, – прошептал я. – Консервированные супы и овощи все же хоть мало-мальски напоминают нормальную пищу, необходимую в походе. Они могут взбунтоваться против такого сурового ограничения в столь тяжелых условиях.

Тогда Крозье улыбнулся. Странной, жутковатой улыбкой.

– Тогда я не всем прикажу воздержаться от консервированных продуктов! – прошипел он. – Вестовой Эйлмор будет продолжать есть их – из тех же самых банок, из которых он накладывал Джеймсу Фицджеральду. Спокойной ночи, доктор Гудсир.

Я вернулся в лазаретную палатку, обошел спящих больных, а потом заполз в свой спальный мешок и сел там, устроив на коленях портативное бюро красного дерева.

Мой почерк так неразборчив, поскольку я дрожал. И не только от холода.

Каждый раз, когда я начинаю думать, что хорошо знаю одного из матросов или офицеров, я почти сразу обнаруживаю, что заблуждаюсь. Медицинская наука никогда не проникнет в сокровенные тайники души человеческой, даже через миллионы лет прогресса.

Мы выступаем завтра до рассвета. Думаю, мы больше не будем делать остановок столь продолжительных, как двухдневная остановка на берегу бухты Покоя.

Неизвестная широта, неизвестная долгота

18 июня 1848 г.

Когда у Тома Блэнки сломалась третья по счету деревянная нога, он понял, что это конец.

Первая новая нога у него была просто загляденье. Вырезанная из одного куска твердого дуба и тщательно обструганная мистером Хани, искусным плотником с «Террора», она представляла собой истинное произведение искусства, и Блэнки любил хвастать ею. Ледовый лоцман расхаживал по кораблю на своей деревяшке, словно добродушный пират, но, когда Блэнки пришлось выходить на лед, он прикрепил к ней равно искусно вырезанную деревянную ступню. Подошва оной была утыкана великим множеством гвоздей и винтов – обеспечивавших лучшее сцепление со льдом, чем шипы на подошвах обычных зимних башмаков, – и одноногий лоцман, хотя и неспособный тащить сани, прекрасно поспевал за отрядом во время трехдневного похода от покинутого корабля к лагерю «Террор», а потом долгого пути на юг и теперь на восток.

Но сейчас он уже не поспевал.

Его первая нога сломалась прямо под коленом через девятнадцать дней после того, как они покинули лагерь «Террор», вскоре после похорон бедных Пилкингтона и Гарри Левеконта.

В тот день капитан Фицджереймс освободил Тома Хани от обязанности тащить сани, и лоцман с плотником ехали в полубаркасе на санях, влекомых двадцатью пыхтящими от напряжения мужчинами, пока Хани вырезал новую ногу и ступню из куска запасного рея.

Блэнки никак не мог решить, следует или не следует ему пользоваться деревянной ногой, пока он хромает рядом с санями и обливающимися потом, чертыхающимися моряками. Когда они все-таки отваживались выходить на морской лед – как в первые дни, когда пересекали замерзшую бухту к югу от лагеря «Террор», а затем при переходе через Тюлений залив и потом еще раз, когда пересекали широкий залив к северу от мыса, где похоронили Левеконта, – утыканная гвоздями и винтами ступня творила настоящие чудеса на льду. Но бо́льшую часть пути на юг, потом на запад вдоль и вокруг широкого мыса, а теперь снова на восток они двигались по

суше.

Когда снег и лед на камнях начали таять – а они таяли быстро этим летом, которое было значительно теплее потерянного лета 1847 года, – деревянная овальная ступня Тома Блэнки постоянно соскальзывала со склизких камней, или проваливалась в расселины во льду, или трескалась в месте присоединения к ноге.

Когда они выходили на лед, Блэнки всячески старался показать свою солидарность с товарищами: возвращался за оставленными позади лодками вместе с упряжными командами; ковылял рядом с пыхтящими от натуги потными мужчинами; нес разные мелкие предметы, если мог, и время от времени вызывался заменить какого-нибудь измученного человека в упряжи. Но все знали, что он не в состоянии достаточно сильно налегать на ремни.

К шестой неделе похода, когда они удалились от лагеря «Террор» на сорок семь миль и находились у бухты Покоя, где скончался бедный капитан Фицджереймс, Блэнки ходил уже на третьей ноге, менее прочной и ладной, чем вторая, – и он мужественно старался ковылять на своей деревяшке по камням, через ручьи и широкие разливы стоячей воды, хотя теперь уже не возвращался назад, чтобы совершить ненавистный Послеполуденный Переход со второй партией лодок.

Том Блэнки понимал, что стал слишком тяжелой обузой для изнуренных и больных людей (число которых сократилось до девятиста пяти, если не считать Блэнки), чтобы продолжать путь на юг вместе с ними.

Что заставляло Блэнки идти дальше, даже когда третья нога начала расщепляться (запасных реев, чтобы вырезать четвертую, у них больше не осталось), так это крепнущая в душе надежда, что его опыт ледового лоцмана понадобится, когда они сядут в лодки.

Но если ледяная корка на скалах и голом каменистом берегу стаивала в течение дня – по словам лейтенанта Литтла, температура воздуха порой поднималась до плюс сорока, – паковый лед за прибрежными айсбергами не обнаруживал никаких признаков таяния. Блэнки старался сохранять спокойствие. Он лучше любого другого участника экспедиции знал, что на этих широтах каналы во льдах – даже таким «вполне нормальным» летом, как это, – могут не появиться до середины, а то и до конца июля.

И все же от состояния льда зависело не только то, окажется ли Блэнки полезным, но и выживет ли он. Если они сядут в лодки в скором времени, возможно, он выживет. Для путешествия на лодке деревянная нога ему не нужна. Крозье давно назначил Томаса Блэнки шкипером полубаркаса – командиром над восемью мужчинами, – а если ледовый лоцман снова

выйдет в море, он наверняка останется в живых. Коли повезет, они смогут довести свою маленькую флотилию из десяти растрескавшихся, побитых лодок до самого устья реки Большая Рыбная, задержаться там на месяц, чтобы оснастить суденышки для речного плавания, и – при помощи самого слабого северо-западного ветра и усилий гребцов – быстро двинуться вверх по течению. Преодолевать пороги, знал Блэнки, будет трудно – особенно для него, поскольку теперь он на своей хлипкой деревяшке мог нести лишь самый незначительный груз, – но после восьми недель кошмарного похода это покажется плевым делом.

Если Томас Блэнки сумеет продержаться до дня, когда они сядут в лодки, он выживет.

Но Блэнки знал тайну, приводившую в уныние даже такого жизнерадостного человека, как он: обитающее во льдах существо, воплощение Ужаса, преследовало его.

Чудовищного зверя видели вдаль каждый день или два, пока измученные люди огибали оконечность широкого мыса, а потом двигались вдоль береговой линии на восток, каждый день после полудня возвращаясь за оставленными позади лодками и каждый вечер около одиннадцати бессильно падая в своих влажных голландских палатках, чтобы заснуть на несколько часов.

Существо следовало за ними. Иногда офицеры видели его в подозрную трубу, когда смотрели в сторону моря. Ни Крозье, ни Литтл, ни Ходжсон, ни любой другой из немногих оставшихся в живых офицеров никогда не говорили тянувшим сани людям про зверя, но Блэнки – имевший больше времени для наблюдений и размышлений, чем все прочие, – видел, как они тихо совещаются, и все понимал.

В иные разы мужчины, тащившие сани в хвосте вереницы, ясно видели зверя невооруженным глазом. Порой он шел позади, держась от них на расстоянии мили или меньше: темное пятно на фоне белого льда или белое пятно на фоне черных скал.

– Это просто один из полярных белых медведей, – сказал Джеймс Рейд, рыжебородый ледовый лоцман с «Эребуса» и ныне один из ближайших друзей Блэнки. – Они сожрут тебя при удобном случае, но в большинстве своем они довольно безобидны. Пули убивают их. Будем надеяться, что зверь подойдет ближе. Нам нужно свежее мясо.

Но Блэнки знал, что это вовсе не белый медведь, каких они убивали время от времени. Это было оно, и, хотя все участники долгого похода боялись чудовища – особенно по ночам или в течение двух часов полумрака, теперь сходивших за ночь, – один только Томас Блэнки твердо

знал, что в первую очередь оно возьмется за него.

Трудный поход пагубно сказался на всех, но Блэнки испытывал непрерывные муки – не от цинги, развившейся у него, казалось, не в такой тяжелой форме, как у остальных, а от дикой боли в обрубке ноги, оторванной зверем. Идти по каменистому, местами покрытому льдом берегу было так трудно, что к середине утра каждого дня протяженностью от шестнадцати до восемнадцати часов кровь из стертой до мяса культи переливалась через край чашевидного углубления в протезе и кожаные ремни, которыми он крепился к обрубку. Кровь просачивалась через толстые парусиновые штаны и стекала по деревянной ноге, оставлявшей кровавые следы на земле. Она пропитывала подол длинной нижней рубахи и подштанники.

В первые недели похода, когда еще стояли морозы, кровь, слава богу, замерзала. Но сейчас, когда днем температура воздуха поднималась выше нуля, Блэнки истекал кровью, как подколотая свинья.

Благодарение Богу, длинные зимние плащ и шинель скрывали самые ужасные свидетельства кровотечения от капитана и прочих, но к середине июня стало слишком тепло, чтобы оставаться в верхней одежде, когда тащишь сани, и потому тонны пропитанных потом шинелей и шерстяных свитеров были свалены в лодки. Часто мужчины шли в упряжи в одних рубашках и надевали свитера ближе к вечеру, когда свежело. В ответ на вопрос, почему он продолжает ходить в длинной зимней шинели, Блэнки отшучивался.

– Я холонокровный, ребята, – со смехом говорил он. – Холод от земли передается по деревянной ноге в самое мое нутро. Мне не хочется, чтобы вы видели, как я дрожу.

Но в конце концов ему все же пришлось снять шинель. Поскольку Блэнки выбивался из сил, чтобы просто не отстать от отряда, и поскольку от боли в стертой культе он обливался потом, даже когда стоял на месте, он больше не мог выносить бесконечные периоды замерзания и таяния всех своих зимних одежд.

Люди ничего не сказали, когда увидели кровь. У всех были свои проблемы.

Крозье и Литтл часто отводили Блэнки и Рейда в сторону и интересовались профессиональным мнением двух ледовых лоцманов насчет состояния льда сразу за стеной айсбергов, тянущейся вдоль береговой линии. Когда они снова двинулись на восток, по южному берегу мыса – который выдавался на много миль в море к юго-западу от бухты Покоя и из-за которого их и без того длинный путь к устью Большой

Рыбной удлинился, наверное, на лишние двадцать миль, – Рейд высказал мнение, что лед между данной частью Кинг-Уильяма и материком (не важно, соединяется с ним Кинг-Уильям или нет) будет вскрываться медленнее, чем паковый лед к северо-западу, где ледовые условия летом меняются динамичнее.

Блэнки был более оптимистичен. Он указал на то, что айсберги, скопившиеся здесь вдоль южного берега, становятся все меньше и меньше. Некогда мощный ледяной барьер, отделявший сушу от морского льда, теперь превратился в препятствие не более серьезное, чем скопление низких сераков. Причина в том (объяснил он Крозье, и Рейд с ним согласился), что этот мыс Кинг-Уильяма защищает данный участок моря и побережья – или, возможно, участок залива и побережья – от потока глетчерного льда, который наступал с северо-запада на «Эребус» и «Террор» и даже на берег в окрестностях лагеря. Этот бесконечный натиск ледовых масс, указал Блэнки, шел от самого Северного полюса. Здесь, к югу от юго-западного мыса Кинг-Уильяма, обстановка благоприятнее. Возможно, лед здесь вскроется раньше.

Когда он высказал такое мнение, Рейд посмотрел на него странным взглядом. Блэнки знал, что подумал второй ледовый лоцман. «Залив ли это или пролив, ведущий к устью реки Бака, на таких ограниченных пространствах лед обычно вскрывается в последнюю очередь».

Рейд поступил бы правильно, если бы сказал это вслух капитану Крозье, – он промолчал, очевидно не желая возражать своему другу и коллеге, – но Блэнки все равно смотрел в будущее с оптимизмом. На самом деле Томас Блэнки смотрел в будущее с оптимизмом каждый день с той ужасной темной ночи пятого декабря прошлого года, когда он уже распрощался с жизнью, преследуемый Обитающим во Льдах Зверем за пределами корабля, в лесу сераков.

Дважды чудовищное существо пыталось убить его. И оба раза Томас Блэнки терял лишь часть одной ноги.

Он продолжал ковылять вперед, поддерживая изнуренных, измотанных мужчин ободряющими словами и шутками, порой делясь с ними щепоткой табака или куском мороженой говядины. Товарищи по палатке, знал Блэнки, ценили его. Он дежурил в свою смену по ночам, становившимся все короче и короче, и нес дробовик, с трудом ковыляя рядом с санями в первой половине дня в качестве охранника, хотя Томас Блэнки лучше любого другого человека на свете знал, что простым дробовиком не остановить Ужасного Зверя, когда он наконец явится за очередной жертвой.

Тяготы долгого похода возрастали. Люди умирали не только от голода, цинги и различных последствий воздействия атмосферных условий – еще два человека умерли страшной смертью от отравления, постигшей капитана Фицджереймса: Джон Кауи, кочегар, уцелевший после вторжения чудовища на «Эребус» 9 марта, скончался 10 июня после многочасовых судорог и спазмов, сопровождавшихся душераздирающими воплями, и наступившего следом безмолвного паралича. 12 июня Дэниел Артур, тридцативосьмилетний интендант с «Эребуса», упал от острой боли в животе и всего восемью часами позже умер от паралича легких. Этих двоих не похоронили толком; отряд остановился лишь для того, чтобы зашить оба тела в один узкий кусок лишней парусины и засыпать камнями.

Ричард Эйлмор, ставший объектом пристального внимания после смерти капитана Фицджереймса, не обнаруживал почти никаких симптомов цинги. Ходили слухи, что, в то время как все по приказу капитана перестали употреблять разогретые консервированные продукты и потому мучились цингой еще сильнее, Эйлмор вместе с Кауи и Артуром продолжали есть консервы. Поскольку оставалось непонятным, почему голднеровские консервы стали причиной страшной смерти троих мужчин, но никак не повредили Эйлмору, напрашивалось предположение о намеренном отравлении сильнодействующим ядом. Но хотя все знали, что Эйлмор ненавидит капитана Фицджереймса и капитана Крозье, вестовой явно не имел оснований отравлять своих товарищей.

Если только он не хотел заполучить их долю продовольствия.

Генри Ллойд, помощник доктора Гудсира, в последние дни входил в число мужчин, которых тащили в лодках, – тяжело больной цингой, он постоянно блевал кровью, выплевывая выпавшие зубы, – а поскольку Блэнки являлся одним из немногих, помимо Диггла и Уолла, кто оставался возле лодок после Утреннего Перехода, он старался по мере своих сил помочь доброму доктору.

Странное дело, но, несмотря на значительное потепление, возросло число случаев обморожения. Потные мужчины, с утра снимавшие куртки и перчатки, продолжали тащить сани раздетыми весь бесконечно долгий холодный вечер (солнце теперь стояло над южным горизонтом до полуночи), пока не обнаруживали, что температура воздуха успела опуститься до минус пятнадцати^[15]. Гудсиру постоянно приходилось заниматься пальцами и участками кожи, побелевшими от обморожения или уже почерневшими вследствие омертвления тканей.

Солнечная слепота или жестокие головные боли, вызванные ослепительным блеском солнца, поразили половину мужчин. По утрам

Крозье и Гудсир ходили взад и вперед вдоль вереницы саней, уговаривая всех надеть очки, но люди терпеть не могли эти уродливые сетчатые штуковины. Джо Эндрюс, трюмный старшина «Эребуса» и старый друг Тома Блэнки, сказал однажды, что в проклятых проволочных очках чувствуешь себя так, словно смотришь сквозь черные шелковые женские панталоны, только при этом тебе далеко не так весело.

Снежная слепота и вызванные ею головные боли были еще ужаснее. Некоторые мужчины умоляли доктора Гудсира дать им настойки опия, когда у них начинала раскалываться голова, но врач отвечал, что она вся вышла. Блэнки, которого часто посылали принести лекарства из запертого сундучка доктора, знал, что Гудсир лжет. Там еще оставался маленький пузырек с настойкой опия, без этикетки. Ледовый лоцман понимал, что врач бережет его для какого-то особо ужасного случая: чтобы облегчить предсмертные страдания Крозье? Или свои собственные?

Остальные испытывали адские муки от солнечных ожогов. Руки, лица и шеи у всех покраснели и покрылись волдырями, но некоторые мужчины – снимавшие рубахи даже на самое малое время в период невыносимой полдневной жары, когда температура воздуха поднималась выше точки замерзания, – уже к вечеру обнаруживали, что кожа у них, побледневшая до мертвенной белизны за три года, проведенные в темноте жилой палубы, докрасна обгорела и быстро покрывается сплошь водяными пузырями.

Доктор Гудсир прокалывал гноящиеся волдыри ланцетом и накладывал на открытые язвы мазь, пахшую машинным маслом.

К середине июня, когда девяносто пять оставшихся в живых людей с трудом продвигались на восток вдоль южного берега мыса, почти все находились в состоянии крайнего истощения. Пока у достаточного количества мужчин оставались силы тащить чудовищно тяжелые сани с лодками и доверху нагруженные вельботы без саней, другие страдалцы могли какое-то время ехать на повозках, отчасти восстанавливая силы, и снова вставать в упряжь через несколько часов или дней отдыха. Но Блэнки знал: когда количество больных, неспособных тащить сани, возрастет, предпринятый в надежде на спасение поход закончится.

Сейчас же люди постоянно мучились столь нестерпимой жаждой, что останавливались у каждого ручейка, падали на четвереньки и лакали воду, точно собаки. Если бы не внезапная оттепель, знал Блэнки, они бы все умерли от обезвоживания организма еще три недели назад. Запасы горючего для спиртовок подошли к концу. Снег, который они жевали, в первый момент как будто утолял жажду, но на самом деле только отнимал последние силы и вызывал еще более мучительную жажду. Каждый раз,

когда они волокли сани через ручьи – а ручьев и узких речушек становилось все больше изо дня в день, – все останавливались, чтобы наполнить фляги и мехи, которые теперь не нужно было нести за пазухой, чтобы вода не замерзла.

Но хотя смерть от жажды не грозила им в ближайшее время, Блэнки видел, что люди слабеют от сотни разных других причин. Жестокий голод брал свое, не давая изнеможденным мужчинам, свободным от ночного дежурства, уснуть в течение четырех часов сумерек, выделенных Крозье на сон.

Чтобы установить и снять голландские палатки – каковое нехитрое дело еще два месяца назад, в лагере «Террор», занимало у них всего двадцать минут, – теперь требовалось два часа утром и два часа вечером. И время это увеличивалось изо дня в день по мере того, как обмороженные пальцы у них распухали все сильнее и становились все более неловкими.

Мало кто сохранил полную ясность сознания, даже у Блэнки иногда туманилось в голове. Большую часть времени капитан Крозье производил впечатление человека с самым ясным умом среди них, но порой – когда он, очевидно, думал, что никто на него не смотрит, – Блэнки видел, как лицо капитана превращается в подобие бессмысленной посмертной маски, отмеченной печатью бесконечной усталости.

Матросы, которые в ревущей тьме развязывали замысловатые узлы на тросах такелажных снастей у самого конца колеблющегося рея на высоте двух сотен футов над палубой штормовой ночью близ Магелланова пролива, теперь не могли при свете дня завязать шнуры на башмаках. Поскольку в радиусе трехсот миль не имелось никакой древесины – если не считать лодок, мачт и саней, которые они тащили с собой, искусственной ноги Блэнки да останков «Эребуса» и «Террора» почти в сотне миль к северу от них – и поскольку земля все еще оставалась мерзлой дюймом ниже поверхности, на каждой остановке мужчинам приходилось собирать кучи булыжников, чтобы придавливать края палаток и закреплять растяжки, таким образом принимая меры предосторожности против неизбежных ночных ветров.

На это тоже уходил не один час. Мужчины часто засыпали, стоя в тусклом свете полночного солнца с камнем в одной и другой руке. Иногда товарищи даже не трясли их за плечо, чтобы разбудить.

Когда ближе к вечеру восемнадцатого июня – пока мужчины совершали второй за день переход с лодками – третья нога Блэнки сломалась, расколовшись прямо под кровоточащей культей, он воспринял это как знак.

Поскольку в тот день доктор Гудсир не нуждался в его помощи, Блэнки вернулся с мужчинами за второй партией лодок, и на обратном пути его деревянная ступня застряла между двумя неподвижными камнями, и деревяшка треснула под самым коленом. То, что линия разлома оказалась так высоко, и то, что он сохранил при этом необычное присутствие духа, Блэнки тоже воспринял как знак.

Он нашел поблизости подходящий валун, устроился на нем по возможности удобнее, достал трубку и набил ее последними крохами табака, которые берег уже несколько недель.

Когда матросы остановились спросить, что он делает, Блэнки ответил: – Просто присел на минутку, полагаю. Чтобы культи отдохнула.

Когда сержант Тозер, в тот солнечный день возглавлявший группу прикрытия из нескольких морских пехотинцев, остановился, чтобы устало спросить, какого черта он тут расселся, если все продолжают путь, Блэнки сказал:

– Не обращайтесь внимания, Соломон. – Ему всегда нравилось раздражать тупого сержанта, называя его по имени. – Идите себе дальше со своими «красномундирниками» и оставьте меня в покое.

Получасом позже, когда сани с лодками уже удалились на несколько сотен ярдов к югу от него, пришел капитан Крозье с плотником мистером Хани.

– Что вы делаете, мистер Блэнки, черт возьми? – резко осведомился Крозье.

– Просто отдыхаю. Думаю, я могу переночевать здесь.

– Не глупите, – сказал Крозье. Он посмотрел на отломанную деревянную ногу и повернулся к плотнику. – Вы можете починить протез? Изготовить новый к завтрашнему вечеру, если мистер Блэнки поедет в одной из лодок тем временем?

– Так точно, сэр, – сказал Хани, косясь на деревяшку с хмурым видом мастера, раздосадованного поломкой одного из своих творений или дурным с ним обращением. – Древесины у нас осталось мало, но есть шлюпочный руль, который мы взяли про запас для полубаркасов и из которого я запросто могу выстругать новую ногу.

– Вы слышали, мистер Блэнки? – спросил Крозье. – Теперь поднимайте свою задницу, и мистер Хани поможет вам допрыгать до лодки мистера Ходжсона, что в хвосте процессии.

Блэнки улыбнулся:

– А это мистер Хани может починить, капитан? – Он стащил с культи чашу деревянного протеза и отстегнул неуклюжее крепление из кожаных

ремней и кусков листовой меди.

– Ох, черт побери, – сказал Крозье.

Он наклонился, чтобы получше рассмотреть кровоточащий, стертый до мяса обрубок, почерневший вокруг кругляшка белой кости, но тут же отшатнулся от зловония, ударившего в нос.

– Так точно, сэр, – сказал Блэнки. – Я удивляюсь, что доктор Гудсир до сих пор не унюхал. Я стараюсь держаться с подветренной стороны от него, когда помогаю ему в лазарете. Ребята из моей палатки знают, что мои дела плохи, сэр. Тут уже ничем не помочь.

– Чепуха, – сказал Крозье. – Гудсир сможет... – Он осекся.

Блэнки улыбнулся – не саркастически, а легко и непринужденно, с долей истинного юмора:

– Что он сможет, капитан? Ампутировать мне ногу по середину бедра? Эти черные и красные пятна поднимаются до самой моей задницы и причинного места, сэр, прошу прощения за столь красочные подробности. И если он действительно прооперирует меня, сколько дней мне придется лежать в лодке, как старина Хизер – да упокоит Господь душу бедолаги, – чтобы меня тащили люди, усталые и измученные не меньше меня?

Крозье промолчал.

– Нет, – продолжил Блэнки, с удовольствием попыхивая трубкой, – я думаю, мне лучше остаться здесь одному, просто расслабиться и спокойно поразмыслить о том о сем. Я прожил хорошую жизнь. Мне бы хотелось подумать о ней, пока боль и зловоние не усилятся настолько, что станут меня отвлекать.

Крозье вздохнул, посмотрел на плотника, потом на ледового лоцмана и снова вздохнул. Он вынул из кармана шинели флягу с водой:

– Вот, возьмите.

– Спасибо, сэр. Возьму. С великой благодарностью, – сказал Блэнки.

Крозье пошарил в других карманах:

– У меня нет с собой ничего съестного. Мистер Хани?

У плотника нашлась заплесневелая галета и кусочек чего-то зеленого – вероятно, говядины.

– Нет, благодарю вас, Томас, – сказал Блэнки. – Я правда не голоден. Но могу ли я попросить вас об огромном одолжении, капитан?

– О каком, мистер Блэнки?

– Моя семья живет в Кенте, сэр. В окрестностях Итам-Моута, к северу от Танбридж-Уэлса. По крайней мере, мои Бетти, Майкл и старая матушка обретались там, когда я уходил в плавание, сэр. И вот я подумал, капитан... я имею в виду, если удача улыбнется вам и позже у вас найдется время...

– Если я вернусь в Англию, клянусь вам, я разыщу ваших близких и расскажу, что вы попыхивали трубкой, благодушно улыбались и удобно сидели на валуне, точно ленивый сквайр, когда я видел вас в последний раз, – сказал Крозье. Он вынул из кармана пистолет. – Лейтенант Литтл видел зверя в подзорную трубу... он следовал за нами все утро, Томас. Скоро он появится здесь. Вы должны взять это.

– Нет, спасибо, капитан.

– Вы твердо решили, мистер Блэнки? В смысле, остаться здесь? – спросил капитан Крозье. – Если бы вы продержались... с нами... всего еще неделю-другую, ваши знания могли бы очень пригодиться нам. Кто знает, какими окажутся ледовые условия в двадцати милях к востоку отсюда?

Блэнки улыбнулся:

– Не будь с вами мистера Рейда, я бы принял ваши слова близко к сердцу, капитан. Честное слово. Но лучшего ледового лоцмана, чем он, и желать нельзя. В качестве запасного, я имею в виду.

Крозье и Хани пожали Блэнки руку. Потом они повернулись и торопливо двинулись прочь, спеша догнать последние сани, уже скрывавшиеся за возвышенностью вдаль.

Было за полночь, когда оно пришло.

У Блэнки уже много часов назад кончился табак и вода замерзла, когда он неосмотрительно оставил флягу на соседнем валуне. Он чувствовал боль, но не хотел спать.

В сумеречном небе показались редкие звезды. Поднялся северо-западный ветер, как обычно по ночам, и температура воздуха опустилась градусов на сорок ниже дневного максимума.

Блэнки положил сломанный протез, чашу и пристежные ремни на соседний валун. Хотя у него дергало пораженную гангреной культю и мучительно крутило желудок от голода, сильнее всего сегодня болела нога ниже колена – отсутствующая нога.

Внезапно существо словно возникло из пустоты.

Оно смутно вырисовывалось в темноте всего шагах в тридцати от него, если не меньше.

«Должно быть, оно вылезло из какой-то невидимой дыры во льду», – подумал Блэнки. Ему вспомнилась ярмарка в Танбридж-Уэллсе, которую он видел в детстве, с хлипкой дощатой сценой и фокусником в пурпурных шелках и высоком остроконечном колпаке с вышитыми на нем планетами и звездами. Тот мужчина появился точно так же – выскочил из люка под изумленные охи и ахи деревенских зрителей.

– Добро пожаловать, – сказал Томас Блэнки, обращаясь к темной фигуре на льду.

Существо поднялось на задние лапы – мохнатое, мускулистое, с окрашенными в красноватые тона заката когтями и тускло поблескивающими клыками, не похожее ни на одного хищного зверя, сохранившегося в памяти человечества. Блэнки прикинул, что ростом оно более двенадцати футов – возможно, все четырнадцать.

В глазах его – угольно-черных на фоне черного силуэта – не отражался свет угасающего солнца.

– Запоздываешь, – сказал Блэнки. – Я уже давно жду тебя.

Он швырнул в фигуру свою деревянную ногу.

Существо не попыталось увернуться от примитивного снаряда. Несколько долгих мгновений оно стояло неподвижно, а потом стремительно бросилось вперед, точно призрак, даже не отталкиваясь от льда ногами, надвигаясь на ледового лоцмана с разведенными в стороны передними лапами, заполняя своей темной плотной массой все поле зрения.

Томас Блэнки ухмыльнулся и крепко стиснул зубами черенок трубки.

Неизвестная широта, неизвестная долгота

4 июля 1848 г.

Единственное, что заставляло Френсиса Родона Мойру Крозье идти вперед на десятой неделе похода, – это голубое пламя, пылавшее в груди. Чем более усталым, опустошенным, больным и разбитым становилось тело, тем жарче и яростнее горело пламя. Капитан знал, что это не просто некая метафора, символизирующая его решимость. И не просто оптимизм как таковой. Голубое пламя в его груди подбиралось к сердцу, точно некая чуждая сущность, не отпускало, точно затяжная болезнь, гнездилось в нем, точно убежденность, что он сделает все возможное для того, чтобы выжить.

Временами Крозье был готов молить Бога о том, чтобы голубое пламя просто погасло и он смог смириться с неизбежным, лечь и накрыться с головой промерзлой тундрой, словно ребенок, укладывающийся сладко вздремнуть под одеялом.

Сегодня утром они не снялись со стоянки – впервые за месяц не двинулись дальше с санями и лодками. И они распаковали и кое-как установили большую лазаретную палатку, хотя большие столовые палатки не стали раскидывать. Мужчины назвали это место у маленькой бухты на южном побережье Кинг-Уильяма, во всех прочих отношениях ничем не примечательное, Госпитальным лагерем.

За последние две недели они пересекли труднопроходимые льды огромного залива, глубоко вдававшегося у основания в широкий мыс, который в течение нескольких недель, что они брели вдоль него на юго-запад, казался бесконечным. Но теперь они снова собирались двинуться на юго-восток вдоль береговой линии в основании мыса и дальше – верное направление, коли они хотят добраться до реки Бака.

Крозье взял в поход секстант и теодолит, и лейтенант Литтл тоже имел в своем распоряжении секстант, но ни один, ни другой офицер уже несколько недель не пользовался приборами, чтобы определить местоположение отряда по солнцу или звездам. Если Кинг-Уильям является полуостровом – как считало большинство полярных исследователей, включая бывшего командира Крозье, Джеймса Кларка

Росса, – значит береговая линия приведет их к устью реки. Если же островом – как предполагал лейтенант Гор и подозревал Крозье, – значит они скоро увидят материк к югу от них, пересекут пролив – по всей вероятности, очень узкий – и выйдут к реке.

В любом случае, по оценке Крозье – довольствовавшегося необходимостью двигаться вдоль береговой линии за неимением другого выбора и до поры до времени пользоваться счислением пути, – сейчас они находились примерно в девяноста милях от устья.

В этом походе они преодолевали в среднем всего лишь немногим более мили в день. В иные дни они проходили по три или четыре мили, что заставляло Крозье вспоминать фантастическую скорость, с какой они совершали переход от кораблей к лагерю по проложенной через замерзшее море широкой ледяной дороге, но в другие разы – когда им приходилось тащить сани больше по камням, чем по льду, переходить вброд потоки, а однажды и настоящую реку, выходить на неровный морской лед в случае, если берег становился слишком каменистым; когда дул крепкий встречный ветер; когда число больных и немощных, неспособных идти в упряжи, возрастало против обычного и в конечном счете они сами ехали в лодках, вынуждая тащить дополнительный груз своих товарищей, которые оставались на ногах по шестнадцать часов в день, перетаскивая сначала четыре вельбота и тендер, а потом возвращаясь за остальными тремя тендерами и двумя полубаркасами, – они удалялись всего на несколько сотен ярдов от места ночной стоянки.

Первого июля, после многих недель теплой погоды, ударили сильные морозы. С юго-востока налетела пурга, бившая прямо в лицо людям в упряжах. Мужчины достали с саней тюки с зимней одеждой, извлекли «уэльские парики» из своих сумок и мешков. К весу саней и лодок теперь прибавились сотни фунтов веса снега. Тяжелобольные, которых приходилось везти в лодках, уложив на груды припасов, снаряжения и свернутых палаток, прятались под парусиновыми лодочными чехлами.

Люди с трудом продвигались вперед три дня непрерывной пурги, наступавшей с востока и юго-востока. По ночам молнии с треском распарывали небо, и мужчины в страхе жались к парусиновому полу палаток.

Сегодня они остановились, поскольку количество больных значительно возросло и Гудсир хотел заняться ими, а Крозье хотел отправить вперед малочисленные разведывательные отряды и послать несколько более крупных охотничьих отрядов на север, вглубь острова, и на юг, на морской лед.

Они крайне нуждались в пище.

Хорошая новость и плохая новость заключалась в том, что они наконец доели последние голднеровские консервы. Когда вестовой Эйлмор, по приказу Крозье продолжавший питаться консервированными продуктами и толстеть, не умер ужасной скоропостижной смертью, постигшей капитана Фицджереймса, – хотя двое других мужчин, которым не полагалось есть консервы, скончались в страшных муках, – все снова включили голднеровские консервы в свой рацион в качестве дополнения к жалким остаткам соленой свинины, трески и галет.

Еще один мужчина умер, исходя беззвучными криками и корчась от жестокой боли в желудке и последующего паралича, – опытный двадцативосьмилетний матрос Билл Клоссон, – но доктор Гудсир понятия не имел, чем он мог отравиться, пока один из товарищей покойного, Том Макконвей, не признался, что тот украл и съел банку голднеровских персиков, которые больше никто не пробовал.

Во время очень короткой панихиды по Клоссону – чье тело упокоилось под грудой камней даже не зашитым в парусиновый саван, поскольку парусный мастер Мюррей умер от цинги и в любом случае лишней парусины не осталось, – капитан Крозье произнес слова не из знакомой людям Библии, а из своей легендарной Книги Левиафана.

– Жизнь у человека одна, и она несчастна, убога, мерзка, жестока и коротка, – нараспев произнес он. – И похоже, всего короче она у тех, кто крадет еду у своих товарищей.

Однако надгробная речь имела успех у людей. Хотя все десять лодок, которые они волокли на санях два с лишним месяца, имели старые названия, данные им в пору, когда «Террор» и «Эребус» еще бороздили моря, упряжные команды матросов немедленно переименовали три тендера и два полубаркаса, которые они всегда тащили во вторую смену, после полудня и вечером (каковую часть дня ненавидели более всего, поскольку тогда приходилось вновь преодолевать путь, уже преодоленный за долгое утро ценой отчаянных усилий), в «Несчастный», «Убогий», «Мерзкий», «Жестокий» и «Короткий».

Крозье ухмыльнулся, узнав об этом. Это означало, что люди еще не настолько изнемогли от голода и отчаяния, чтобы в них притупилась острота черного юмора, свойственного английским матросам.

Когда мятеж начался, первым голос протеста поднял человек, которого Френсис Крозье меньше всего ожидал увидеть в роли своего противника.

Была середина дня, большинство мужчин ушли из лагеря на разведку

или охоту, и капитан пытался вздремнуть несколько минут, когда услышал медленное шарканье многих подбитых гвоздями башмаков у входа в свою палатку. Он сразу понял, что случилось нечто, выходящее за пределы обычного набора каждодневных чрезвычайных происшествий. Крадущиеся шаги, пробудившие Крозье от чуткого сна (солнце в любом случае не заходило всю ночь, и в палатке всегда было слишком светло, поэтому не имело особого значения, в какое время суток ложишься спать), не предвещали ничего хорошего.

Крозье надел шинель. Он всегда носил заряженный пистолет в правом кармане шинели, но с недавних пор стал носить двухзарядный пистолет поменьше и в левом кармане.

На открытом пространстве между палаткой Крозье и большой лазаретной палаткой собралось человек двадцать пять. Из-за летящего снега, шарфов и «уэльских париков» некоторых из них было трудно опознать с первого взгляда, но Крозье не удивился, увидев Корнелиуса Хикки, Магнуса Мэнсона, Ричарда Эйлмора и с полдюжины других смутьянов во втором ряду.

Он удивился, увидев людей в первом ряду толпы.

Большинство офицеров ушли с охотничьими и разведывательными отрядами, отправленными Крозье из лагеря утром, – Крозье слишком поздно понял, что совершил ошибку, отослав прочь сразу всех своих самых верных офицеров, включая лейтенанта Литтла, своего второго помощника Роберта Томаса, своего преданного боцманмата Тома Джонсона, Гарри Пеглара и прочих, и оставив самых слабых мужчин здесь, в Госпитальном лагере, – но впереди собравшейся толпы стоял молодой лейтенант Ходжсон. Крозье также поразился, увидев бакового старшину Рубена Мейла и фор-марсового старшину с «Эребуса» Роберта Синклера. Мейл и Синклер всегда были славными малыми.

Крозье двинулся вперед так стремительно, что Ходжсон отступил на два шага назад, натолкнувшись на придурковатого верзилу Мэнсона.

– Что вам угодно? – резко осведомился Крозье, стараясь говорить по возможности громче и повелительнее, чтобы хриплый голос не звучал предательски слабо. – Что здесь происходит, черт возьми?

– Нам нужно поговорить с вами, капитан, – сказал Ходжсон. Голос молодого человека дрожал от волнения.

– О чем? – Крозье держал правую руку в кармане.

Он увидел, как доктор Гудсир выглянул из лазаретной палатки и изумленно уставился на толпу. Крозье насчитал двадцать трех мужчин и, несмотря на натянутые до самых бровей «уэльские парики» и

прикрывавшие лица шарфы, теперь распознал всех до единого. Он их запомнит.

– О том, чтобы вернуться, – сказал Ходжсон.

Мужчины подтвердили слова лейтенанта приглушенным нестройным гулом, обычным для мятежников.

Крозье отреагировал не сразу. Одна хорошая новость заключалась в том, что, если бы мятеж принял активную форму – если бы все мужчины, включая Ходжсона, Мейла и Синклера, заранее сговорились силой взять командование экспедицией в свои руки, – Крозье уже был бы мертв. Они приступили бы к действиям в полуночном сумраке.

И единственная другая хорошая новость заключалась в том, что, хотя два или три матроса имели при себе дробовики, все остальное оружие взяли с собой шестьдесят шесть мужчин, отправившихся утром на охоту.

Крозье мысленно отметил, что никогда впредь не следует отпускать из лагеря сразу всех морских пехотинцев. Тозер и остальные рвались на охоту. Капитан так плохо соображал от усталости, что разрешил им уйти, не подумав хорошенько.

Капитан переводил взгляд с одного лица на другое. Самые малодушные в толпе мгновенно опускали глаза, стыдясь встретиться с ним взглядом. Мужчины покрепче духом – как Мейл и Синклер – вызывающе смотрели на него. Хикки уставился на Крозье такими холодными враждебными глазами, какие могли бы принадлежать одному из белых медведей – или, возможно, самому обитающему во льдах существу.

– Куда вернуться? – резко спросил Крозье.

– В лагерь, – заикаясь, пробормотал Ходжсон. – Там остались консервированные продукты, уголь и печи. И другие лодки.

– Не порите чушь, – сказал Крозье. – Мы находимся по меньшей мере в шестидесяти пяти милях от лагеря. Вы доберетесь туда только к октябрю – к наступлению настоящей зимы, – если вообще доберетесь.

Ходжсон заметно сник, но тут голос подал фор-марсовый старшина «Эребуса»:

– До лагеря отсюда гораздо ближе, чем до реки, к которой мы тащим лодки, надрывая животы.

– Это не так, мистер Синклер, – отрывисто сказал Крозье. – По нашим с лейтенантом Литтлом расчетам, залив с устьем реки находится менее чем в пятидесяти милях отсюда.

– Залив, – насмешливо повторил матрос по имени Джордж Томпсон.

Он имел репутацию пьяницы и лентяя. Крозье не мог первым бросить в него камень за пьянство, но он презирал лень.

– Устье реки Бак находится в пятидесяти милях к югу от горла залива, – продолжал Томпсон. – В сотне с лишним миль отсюда.

– Следите за своим тоном, Томпсон, – предостерег Крозье голосом таким тихим и страшным, что даже этот хам растерянно моргнул и потупился. Капитан снова обвел взглядом толпу и сказал, обращаясь ко всем мужчинам: – Не имеет значения, в сорока милях или в пятидесяти находится устье реки Бак от горла залива. Велики шансы, что там появится открытая вода... мы будем плыть на лодках, а не тащить их. А теперь возвращайтесь к своим обязанностям и выбросьте из головы этот вздор.

Несколько мужчин переступили с ноги на ногу, словно собираясь двинуться прочь, но Магнус Мэнсон стоял подобием широкой стены, удерживающей озеро неповиновения на месте.

– Мы хотим вернуться на «Террор», капитан, – сказал Рубен Мейл. – Нам кажется, там у нас будет больше шансов выжить.

Теперь настала очередь Крозье растерянно моргнуть.

– Вернуться на «Террор»? Боже мой, Рубен, да ведь до корабля, наверное, более девяноста миль пути, причем не только по пересеченной местности, которой мы прошли, но и по паковому льду. Лодки и сани не выдержат такого путешествия.

– Мы возьмем только одну лодку, – сказал Ходжсон.

Мужчины позади него согласно загудели.

– Что значит «одну лодку», черт побери?

– Одну лодку, – упрямо повторил Ходжсон. – Одну лодку на одних санях.

– Нам осточертело рвать задницу в упряжи, – сказал Джон Морфин, матрос, серьезно пострадавший во время карнавала.

Крозье проигнорировал Морфина и обратился к Ходжсону:

– Лейтенант, каким образом вы собираетесь посадить двадцать три человека в одну лодку? Даже если вы похитите один из вельботов, в него поместятся только десять или двенадцать из вас, с минимальным количеством припасов. Или вы рассчитываете, что десять или более членов вашего отряда умрут прежде, чем вы достигнете лагеря. А они умрут, знаете ли. И не десять человек, а гораздо больше.

– В лагере остались малые лодки, – сказал Синклер, выступая вперед и принимая агрессивную позу. – Мы возьмем с собой один вельбот и доберемся до корабля на нем и на судовых шлюпках.

Крозье недоверчиво уставился на него, а потом просто-напросто рассмеялся:

– Вы думаете, что к северо-западу от Кинг-Уильяма лед вскрылся? Вы

это думаете, глупцы несчастные?

– Да, – сказал лейтенант Ходжсон. – На корабле осталось продовольствие. Полно консервированных продуктов. И мы сможем поплыть...

Крозье снова рассмеялся:

– Вы твердо уверены, что лед этим летом вскрылся настолько, что «Террор» находится на плаву и ждет, когда вы подгрребете к нему на своих шлюпках? И что проходы во льдах открылись на всем пути, которым мы прошли в движении на юг? Триста миль чистой воды? Зимой, когда вы доберетесь туда, если кто-нибудь из вас действительно доберется?

– По-нашему, такой вариант вернее, чем ваш! – выкрикнул вестовой Ричард Эйлмор.

Смуглое лицо мужчины искажала гримаса гнева, страха и негодования с примесью какого-то чувства, похожего на восторг от сознания того, что наконец-то пришло его время.

– Мне почти хочется пойти с вами... – начал Крозье.

Ходжсон часто заморгал. Несколько мужчин переглянулись.

– ...чтобы просто увидеть ваши лица, когда в осуществление своего верного варианта вы совершите труднейший переход через замерзшее море с бесчисленными торосными грядами для того лишь, чтобы обнаружить, что «Террор» раздавило льдами, как произошло с «Эребусом» в марте.

Он помолчал несколько секунд, давая людям возможность живо представить такую картину, а потом тихо заговорил:

– Бога ради, спросите у мистера Хани, или у мистера Уилсона, или у мистера Годдарда, или у лейтенанта Литтла, в каком состоянии находился шпангоут. В каком состоянии находился руль. Спросите у старшего помощника Томаса, насколько сильно разошлись швы обшивки еще в апреле... а сейчас июль, глупые вы люди. Если лед хоть немного стаял вокруг корабля, он, скорее всего, уже затонул. А если даже и держится на плаву, вы можете, положив руку на сердце, сказать мне, что сдюжите стоять у помповых насосов все время, пока будете вести корабль по лабиринту во льдах? Даже если вы проделаете обратный путь за время, вдвое меньшее того, что вам понадобилось, чтобы добраться сюда только от лагеря, вы придете к месту назначения, когда уже наступят зимние холода. А как вы собираетесь отыскивать путь во льдах, если корабль держится на плаву, если еще не затонул, если вы не умрете от усталости, качая помпы день и ночь?

Крозье снова обвел толпу взглядом:

– Я не вижу здесь мистера Рейда. Он ушел с разведывательным

отрядом лейтенанта Литтла. Без ледового лоцмана вам придется изрядно помучиться, отыскивая путь через блинчатый и паковый лед, между гроулерами и айсбергами. – Крозье потряс головой и хихикнул так, словно мужчины явились к нему рассказать особо хороший анекдот, а не поднять мятеж. – Возвращайтесь к своим обязанностям... сейчас же! – резко приказал он. – Я не забуду, что у вас хватило ума явиться ко мне со столь глупой идеей, но постараюсь забыть ваш возмутительный тон и тот факт, что вы пришли как шайка мятежников, а не как верноподданные служащие Военно-морского флота Британии, желающие поговорить со своим капитаном.

– Нет, – сказал Хикки голосом достаточно громким и пронзительным, чтобы удержать колеблющихся мужчин на месте. – Мистер Рейд пойдет с нами. Как и все остальные.

– С чего вдруг? – спросил Крозье, буравя взглядом мерзкого хорька.

– У них нет выбора, – сказал Хикки.

Он дернул за рукав Магнуса Мэнсона, и оба они выступили вперед, обойдя заметно встревоженного Ходжсона.

Крозье решил, что застрелит Хикки первым. Он сжимал рукоятку пистолета в кармане. Он даже не станет вынимать оружие из шинели для первого выстрела. Он выстрелит Хикки в живот, когда тот подойдет еще на три шага ближе, а потом выхватит пистолет из кармана и попытается всадить пулю в лоб тупоумному великану.

Словно в ответ на мысли Крозье о стрельбе, со стороны берега послышался треск выстрела.

Все, кроме Крозье и помощника конопатчика, повернулись посмотреть, что там происходит. Крозье ни на миг не сводил глаз с Хикки. Оба мужчины повернули голову, только когда до них донеслись крики:

– Открытая вода!

Это возвращался с пакового льда отряд лейтенанта Литтла – ледовый лоцман Рейд, боцман Джон Лейн, Гарри Пеглар и с полдюжины других мужчин, все вооруженные мушкетами или дробовиками.

– Открытая вода! – снова провозгласил Литтл. Он размахивал обеими руками, идя по каменистому берегу и явно не догадываясь о драме, разыгрывающейся у капитанской палатки. – Не более чем в двух милях к югу! Проходы, достаточно широкие для лодок! Тянутся на восток на многие мили! Открытая вода!

Хикки и Магнус отступили в ряды ликующих мужчин, где еще полминуты назад стояла угрюмая толпа мятежников. Одни бросились обниматься друг с другом, другие радостно орали «ура». У Рубена Мейла

был такой вид, словно его сейчас вырвет, а Роберт Синклер тяжело опустился на низкий камень, как если бы под ним внезапно подкосились ноги. Некогда сильный духом, фор-марсовый старшина закрыл лицо грязными руками и разрыдался.

– Возвращайтесь к своим палаткам и к своим обязанностям, – сказал Крозье. – Через час начнем грузить лодки.

Где-то в проливе между островом Кинг-Уильям и полуостровом Аделаида

9 июля 1848 г.

Находившимся в Госпитальном лагере людям не терпелось двинуться в путь уже через десять минут после возвращения отряда лейтенанта Литтла с известием об открытой воде, но прошел еще день, прежде чем они свернули палатки, и еще два дня, прежде чем лодки наконец соскользнули со льда в черную воду к югу от Кинг-Уильяма.

Сначала им пришлось дожидаться возвращения всех остальных охотничьих и разведывательных отрядов, а некоторые из них вернулись за полночь, и измученные мужчины с трудом добрались до своих палаток в тусклых арктических сумерках и попадали в свои спальные мешки, даже не узнав доброй новости. Охотники принесли очень мало дичи – хотя видели нескольких тюленей и безуспешно стреляли в них, – однако отряд Томаса убил песца и нескольких белых зайцев, а команда сержанта Тозера добыла пару куропаток.

Утром 5 июля, в среду, лазаретная палатка почти полностью опустела, ибо все, кто мог держаться на ногах, хотели принять участие в подготовке к плаванию.

В последнюю неделю Джон Бридженс исполнял обязанности помощника доктора Гудсира, заменив умершего Генри Ллойда и Томаса Блэнки, и накануне старый вестовой наблюдал за выступлением мятежно настроенной толпы, стоя в дверях лазаретной палатки рядом с врачом. Именно Бридженс описал всю сцену Гарри Пеглару, который почувствовал себя еще хуже прежнего, когда узнал, что его коллега с «Эребуса», фор-марсовый старшина Роберт Синклер, присоединился к бунтовщикам. Рубен Мейл, он знал, всегда был человеком волевым. Очень волевым.

Пеглар не испытывал ничего, кроме презрения к Эйлмору, Хикки и их приспешникам. По мнению Гарри Пеглара, все они были людьми суетными, ограниченными и – за исключением Мэнсона – невоздержанными на язык.

В четверг шестого июля они впервые за два с лишним месяца вышли на паковый лед. Многие уже забыли, как мучительно тяжело тащить сани

по открытому замерзшему морю – даже здесь, под прикрытием Кинг-Уильяма и широкого округлого мыса, который они только что обогнули. На пути по-прежнему встречались многочисленные торосные гряды, через которые приходилось перетаскивать десять лодок. Санные полозья скользили по морскому льду гораздо хуже, чем по снегу и льду на берегу. Здесь не было ни низин, чтобы укрыться, ни невысоких холмов, ни даже достаточно крупных валунов, чтобы спрятаться от ветра. Снежная буря продолжалась, и противный юго-восточный ветер крепчал все время, пока они волокли лодки к открытой воде, обнаруженной отрядом лейтенанта Литтла в двух милях от берега.

К концу первого дня они настолько выбились из сил, что даже не стали устанавливать палатки на ночь, а просто натянули брезентовые полотнища с подветренной стороны лодок и теснились под ними в своих трехместных спальных мешках на протяжении нескольких часов летних арктических сумерек.

Даже несмотря на снежную бурю и многочисленные препятствия на паковом льду, они, движимые надеждой и радостным возбуждением, преодолели две мили к середине утра пятницы 7 июля.

Канал исчез. Закрылся. Литтл указал на тонкий лед – толщиной от трех до восьми дюймов, не более, – в месте, где он находился несколько дней назад.

Ведомые ледовым лоцманом Рейдом, большую часть дня они двигались зигзагообразным курсом по недавно замерзшему каналу во льдах сначала на юго-восток, потом прямо на восток.

Теперь, вдобавок к разочарованию и постоянным физическим и моральным страданиям, усугублявшимся пургой и насквозь промокшими одеждами, они испытывали нервное напряжение, в первый раз за долгие годы ступая по тонкому льду.

Вскоре после полудня рядовой морской пехоты Джеймс Дейли – один из шести человек, посланных вперед проверять прочность льда, тыча в него длинными баграми, – провалился под лед. Товарищи вытащили его, но к тому времени он уже посинел в буквальном смысле слова. Доктор Гудсир раздел Дейли догола прямо на льду, завернул в плотные шерстяные одеяла и уложил под парусиновый чехол в один из тендеров, накрыв сверху еще несколькими одеялами. Двум другим мужчинам пришлось остаться с товарищем и лежать по обе стороны от него в желтоватом полумраке под лодочным чехлом, чтобы согреть теплом своих тел. Несмотря на все принятые меры, рядовой Дейли безостановочно дрожал всем телом, стучал зубами и почти до самого вечера находился в бредовом состоянии.

Лед, на протяжении двух лет остававшийся недвижимым и незыблемым, как континентальная суша, теперь колебался под ногами, совершая медленное волнообразное движение, вызывавшее у всех головокружение, а у иных и рвоту. Под чудовищным давлением даже толстый лед временами оглушительно трещал далеко впереди, близко, по сторонам, позади или прямо под ногами. Много месяцев назад доктор Гудсир объяснил людям, что одним из симптомов развивающейся цинги является повышенная чувствительность к звукам – звук ружейного выстрела может убить человека, сказал он, – и теперь большинство из восьмидесяти девяти мужчин, тащивших сани по льду, обнаружили у себя данный симптом.

Даже такой идиот, как Магнус Мэнсон, понимал, что, если одна из лодок или все разом провалятся под лед – лед, который не выдержал одного-единственного тощего изможденного доходягу вроде Джеймса Дейли, – у людей в упряжи не будет ни шанса спастись. Они утонут еще прежде, чем умрут от переохлаждения. Привыкшие двигаться по льду тесной вереницей, люди нервничали, теперь вынужденные растягиваться длинной цепью, чтобы лодки оставались на значительном расстоянии одна от другой. Порой во время пурги ни одна упряжная команда не видела других, и ощущение полной изоляции от всех и вся было ужасным. Возвратившись за оставленными позади тремя тендерами и двумя полубаркасами, они тащили лодки в стороне от старого следа и постоянно опасались, как бы новый, нехоженный лед не проломился под ними.

Некоторые раздраженно предполагали, что они уже прошли мимо узкого залива, ведущего на юг к устью реки Бак. Пеглар видел морские карты и показания теодолита, которые изредка снимал Крозье, и знал, что отряд все еще находится на значительном расстоянии к западу от залива – милях в тридцати, самое малое. А потом предстоит повернуть на юг и преодолеть еще шестьдесят или шестьдесят пять миль до устья реки. Когда бы они двигались по суше – даже если бы у них вдруг появилась пища и люди чудом выздоровели, – они бы достигли входа в залив только к августу, а устья реки к концу сентября, самое раннее.

Надежда найти открытую воду заставляла сердце Гарри Пеглара биться учащенно. Разумеется, в последние дни сердце у него билось неровно большую часть времени. Мать всегда беспокоилась по поводу сердца Гарри – в детстве он перенес скарлатину и часто чувствовал боль в груди, – но он постоянно говорил ей, что подобные тревоги глупы и беспочвенны, что он фор-марсовый старшина одного из крупнейших кораблей в мире и что ни одного человека со слабым сердцем не возьмут на такую должность. Пеглар убедил мать, но на протяжении многих лет с ним

порой случались приступы сердцебиения, после которых он по несколько дней кряду чувствовал колотье и стеснение в груди и столь сильную боль в левой руке, что был вынужден взбираться на верхние реи фок-мачты, пользуясь только одной правой. Остальные мачтовые думали, что он выпендривается.

В последние недели сердце у Пеглара почти все время билось учащенно. Две недели назад у него онемели пальцы левой руки, и боль теперь не отпускала ни на минуту. Вдобавок ко всему он испытывал страшные неудобства из-за постоянного поноса – Пеглар всегда был стеснительным человеком и даже не мог толком справиться нужду за борт корабля (что всем остальным представлялось плевым делом), предпочитая потерпеть до наступления темноты.

Но здесь не имелось никакого гальюна. Ни даже какого-нибудь паршивого кустика или достаточно крупного валуна, чтобы за ним спрятаться. Мужчины из упряжной команды Пеглара смеялись над тем, что старшина частенько далеко отстает от группы и рискует попасться в лапы чудовищу, только бы никто не увидел, как он всего-навсего гадит.

Но в последние недели Пеглара тревожили не добродушные насмешки товарищей, а необходимость бежать во всю мочь после каждой задержки в пути, чтобы догнать свою команду и снова встать в упряжь. Он настолько ослаб от внутреннего кровотечения и долгого недоедания – не говоря уже о «трепыханиях в груди» (как мать Гарри называла приступы сердцебиения) и постоянной боли в области сердца и в левой руке, – что с каждым разом ему становилось все труднее и труднее нагонять удаляющиеся лодки.

Поэтому в пятницу 7 июля Гарри Пеглар был, наверное, единственным из восьмидесяти девяти мужчин, кто весь день радовался метели и туману, который сгустился, когда метель начала стихать.

Туман осложнял ситуацию. Возрастала опасность, что упряжные команды,двигающиеся по ненадежному льду на столь значительном расстоянии друг от друга, собьются с пути, – возвращаться за оставленными позади тремя тендерами и двумя полубаркасами было рискованно и до того, как ближе к вечеру сгустился туман, – и потому капитан Крозье скомандовал остановиться, чтобы обсудить положение вещей. Не более пятнадцати человек получили разрешение собраться в одном месте, причем поодаль от одной из лодок. Сегодня вечером в упряжах шло меньше людей, чем требовалось для того, чтобы тащить громоздкие тяжелые сани и лодки.

Если отряд когда-нибудь достигнет долгожданной открытой воды, сани станут материально-технической проблемой. Существовала большая

вероятность, что им понадобится снова погрузить на сани тендеры и полубаркасы с выступающими киями и несъемными рулями, прежде чем они достигнут устья реки Бака, поэтому они не могли просто бросить разбитые повозки на льду. Перед тем как выступить в поход в четверг, Крозье приказал людям в порядке эксперимента снять шесть лодок с саней, сложить или разобрать тяжелые сани, насколько позволяет конструкция, и аккуратно уложить их в лодки. На это дело ушел не один час.

Погрузить лодки обратно на сани, прежде чем выйти на паковый лед, оказалось едва-едва по силам ослабшим людям. Пальцы изнуренных, больных цингой мужчин с трудом справлялись с самыми простыми узлами. Самый незначительный порез подолгу кровоточил. От самого слабого удара на дряблых руках и обтянутых тонкой кожей ребрах оставались синяки размером с ладонь.

Но теперь они знали, что могут сделать это: снять лодки с саней, погрузить в них сани, приготовить лодки к спуску на воду.

Если они найдут канал во льдах в ближайшее время.

Крозье приказал каждой упряжной команде зажечь фонари на носу и корме лодки. Он отозвал назад почти бесполезных морских пехотинцев, пробующих лед баграми, и поставил лейтенанта Ходжсона с одним из тяжелых вельботов, нагруженным наименее важными предметами снаряжения, идти в тумане первым.

Все до единого понимали, что таким образом молодой Ходжсон расплачивается за свою связь с мятежниками. Его упряжную команду возглавлял Магнус Мэнсон, и в нее входили также Эйлмор и Хикки – все они на протяжении многих месяцев входили в состав разных команд. Если головная команда провалится под лед, остальные услышат пронзительные крики и плеск воды в густом вечернем тумане, но ничего не смогут поделать, кроме как обойти опасное место стороной.

Прочим командам теперь надлежало держаться ближе друг к другу, чтобы видеть фонари соседних лодок в сгущающемся мраке.

Около девяти вечера все действительно услышали крики и вопли людей из головной команды Ходжсона, но те не провалились под лед. Они снова нашли открытую воду на расстоянии более мили к юго-западу от места, где Литтл обнаружил полынью в среду.

Остальные команды послали вперед людей с фонарями и стали двигаться по предположительно тонкому льду с опаской, но лед оставался прочным и толщиной более фута до самого неведь откуда взявшегося прохода.

Полоса черной воды имела ширину всего около тридцати футов, но

тянулась далеко вперед, теряясь в тумане.

– Лейтенант Ходжсон, – распорядился Крозье, – освободите в своем вельботе место для шестерых гребцов. Пока оставьте лишний груз на льду. Потом командование вельботом примет лейтенант Литтл – мистер Рейд, вы пойдете с лейтенантом Литтлом, – и вы будете следовать по каналу два часа, коли такое возможно. Парус не поднимайте, лейтенант. Идите только на веслах, но заставьте людей грести энергично. Через два часа – коли канал не кончится раньше – поворачивайте назад и возвращайтесь к нам с вашим мнением, имеет ли смысл спускать лодки на воду. Четыре часа вашего отсутствия мы потратим на разгрузку и разборку саней и подготовку лодок к плаванию.

– Есть, сэр, – откликнулся Литтл и принялся отрывисто отдавать приказы остальным.

Пеглару показалось, что молодой Ходжсон готов расплакаться. Он явственно представлял, как тяжело быть офицером всего двадцати с лишним лет и сознавать, что твоя карьера уже закончилась. «Это станет парню хорошим уроком», – подумал Пеглар. Он прослужил не один десяток лет во флоте, где людей вешали за участие в мятеже и жестоко пороли за одну мысль о мятеже, и Гарри Пеглар никогда не считал несправедливым ни данное правило, ни данное наказание.

К нему подошел Крозье:

– Гарри, вы достаточно хорошо себя чувствуете, чтобы отправиться с лейтенантом Литтлом? Мне бы хотелось, чтобы вы сидели на руле. Мистер Рейд и лейтенант Литтл будут находиться на носу.

– О да, капитан. Я чувствую себя прекрасно.

Пеглар был потрясен тем, что капитану Крозье показалось, будто он выглядит или притворяется больным. «Разве я как-нибудь симулировал?» От одного такого предположения ему стало еще хуже прежнего.

– Мне нужен надежный рулевой и третье мнение относительно наших шансов с этим каналом, – прошептал Крозье. – И мне нужен по меньшей мере один человек, умеющий плавать.

Пеглар улыбнулся, хотя у него похолодело в животе при одной мысли о погружении в черную ледяную воду. Температура воздуха сейчас была ниже ноля, и вода, сильно насыщенная солью, тоже имела минусовую температуру.

Крозье похлопал Пеглара по плечу и отошел, чтобы переговорить со следующим «добровольцем». Фор-марсовому старшине было совершенно ясно, что капитан тщательно отбирает надежных людей для этого разведывательного плавания, а других, равно надежных и бдительных –

таких как лейтенант Дево, второй помощник Роберт Томас, боцманмат и приверженец строгой дисциплины с «Террора» Том Джонсон, а также всех морских пехотинцев, – хочет оставить с собой.

Через тридцать минут они подготовили вельбот к спуску на воду.

Это была странно снаряженная экспедиция-в-экспедиции. Они взяли с собой сумку с небольшим количеством соленой свинины и галетами, а также несколько бутылок воды на случай, если заблудятся или задержатся дольше назначенного срока по какой-нибудь иной причине. Каждому из девяти мужчин выдали по ледорубу или кирке. Если они натолкнутся на маленький айсберг, нависающий над каналом и препятствующий дальнейшему движению, или ледяную корку на воде, они попытаются прорубить путь. Пеглар знал, что, если их остановит широкая полоса более толстого льда, они потащат вельбот волоком до следующего участка открытой воды, коли смогут. Он надеялся, что у него осталось еще достаточно сил, чтобы наравне с другими тащить, толкать и тянуть тяжелую лодку сотню ярдов или больше.

Боцманмат Джонсон вручил лейтенанту Литтлу двустволку и сумку патронов, которые последний положил на носу вельбота.

На случай, если они по какой-либо причине застрянут там, среди оставшегося на борту снаряжения, знал Пеглар, имелась палатка вдвое больше обычной и брезентовое полотнище, служившее палаточным полом. В лодке оставались также три трехместных спальных мешка. Но они не собирались заблудиться.

Мужчины забрались в вельбот и расселись по местам в клубящемся тумане. Прошлой зимой Крозье и другие офицеры и старшины обсуждали, следует ли приказать мистеру Хани – и мистеру Уиксу, впоследствии погибшему на «Эребусе» в марте, – нарастить борта лодок. Тогда маленькие суденышки были бы лучше подготовлены для плавания в открытом море. Но в конечном счете они решили оставить высоту планширей прежней, чтобы успешнее справиться с трудностями речного плавания. Для этой же цели Крозье приказал укоротить все весла, чтобы было легче грести на реке.

Оставшаяся на борту добрая тонна продовольствия и снаряжения мешала расположиться удобно. Шести матросам на веслах пришлось поставить ноги на брезентовые мешки, подняв колени до уровня подбородка, в каковой нелепой позе им предстояло грести, а рулевой Пеглар обнаружил, что сидит не на кормовой банке, а на перевязанном веревками тюке, но все кое-как примостились, и еще осталось место для лейтенанта Литтла и мистера Рейда, которые устроились на носу со своими

длинными баграми.

Пятидесяти мужчинам не терпелось поскорее спустить лодку на воду. Согласный хор голосов грянул «раз-два-три!» и «раз-два, взяли!» – и тяжелый вельбот тронулся с места, проскользил по льду, наклонился вперед, погрузив нос на два фута в черную воду, гребцы оттолкнулись веслами от льда, а мистер Рейд и лейтенант Литтл покрепче ухватились за планшири. Мужчины на льду еще раз поднатужились, весла наконец окунулись в воду, и в следующий миг они уже плыли прочь в тумане – первая лодка с «Эребуса» или «Террора», спущенная на воду за два года и почти одиннадцать месяцев.

Позади них раздался дружный вопль ликования, за которым последовало более традиционное троекратное «гип-гип-ура!».

Пеглар вывел лодку на середину узкого канала – имевшего здесь ширину не более двадцати футов, которой едва хватало для укороченных весел, – и к тому времени, когда он бросил через плечо взгляд назад, все оставшиеся на льду мужчины уже скрылись в тумане.

Следующие два часа походили на сон. Пеглару случалось и прежде водить маленькие лодки по проходам во льдах – осенью сорок пятого года они неделю с лишним обшаривали загроможденные айсбергами заливы и бухты, прежде чем нашли хорошее место стоянки для двух кораблей у острова Бичи, и Пеглар на протяжении многих дней командовал одним из маленьких суденышек, – но теперь все было совсем иначе. Канал оставался узким – не более тридцати футов в ширину, – а порой сужался до такой степени, что за невозможностью грести они отталкивались веслами от льда, о который терлись бортами, и вдобавок постоянно поворачивал то вправо, то влево, но не настолько круто, чтобы лодка не могла вписаться в поворот. Нагромождения ледяных глыб мешали обзору в одну и другую сторону, и туман продолжал сгущаться вокруг, изредка чуть рассеиваясь, а потом сгущаясь еще плотнее. Все звуки казались приглушенными и одновременно более громкими, и это действовало на нервы; мужчины невольно понижали голос до шепота, когда возникала необходимость сказать что-то.

Дважды они натыкались на участки, где в первом случае путь преграждали плавучие льдины, а во втором сам канал замерз, – и оба раза большинству мужчин пришлось вылезать из вельбота, чтобы расталкивать льдины баграми или прорубать путь кирками. Несколько человек тогда выходили на лед по одну и другую сторону, брались за тросы, привязанные к носу и к банкам, или хватались за планшири и протаскивали,

пропихивали скрипящий вельбот через узкую расселину. После обоих трудных участков канал опять расширился настолько, что мужчины могли забраться обратно в вельбот и снова грести, временами отталкиваясь веслами от льда.

Таким образом, они медленно продвигались вперед уже почти два полных часа, по истечении которых собирались повернуть обратно, когда извилистый канал вдруг резко сузился, – борта лодки стали тереться об лед, но гребцы отталкивались от него веслами, а Пеглар стоял на носу, поскольку руль здесь был бесполезен, – а затем они неожиданно выплыли на самый широкий участок открытой воды из всех пройденных. Словно в ознаменование того, что все трудности остались позади, туман рассеялся, и видимость возросла до многих сотен ярдов.

Они достигли либо настоящей открытой воды, либо огромного озера посреди льда. В разрыв туманной пелены и облаков над нею хлынул солнечный свет, и вода стала синей. Несколько низких плоских айсбергов, один площадью с часть хорошего крикетного поля, виднелись впереди на глади лазурного моря. Солнечные лучи преломлялись на бесчисленных гранях айсбергов, и усталые мужчины прикрыли глаза ладонью, ослепленные блеском солнца, снега и воды.

Шестеро гребцов испустили громкий вопль ликования.

– Еще рано радоваться, ребята, – сказал лейтенант Литтл. Он стоял, поставив одну ногу на нос вельбота, и смотрел в подзорную трубу. – Мы пока не знаем, насколько далеко простирается пространство открытой воды... ведет ли из этого озера во льдах еще какой-нибудь канал помимо нашего. Давайте проверим это, прежде чем повернуть назад.

– О, открытая вода простирается до самого материка! – прокричал матрос по имени Берри со своего места на веслах. – Я нутром чую. Чистое от льда море и благоприятные ветра на всем пути к устью реки Бак, все в порядке. Мы вернемся сюда с остальными, поднимем паруса и будем на месте завтра к часу ужина.

– Надеюсь, вы правы, Алекс, – сказал лейтенант Литтл. – Но давайте все-таки потратим немного времени и сил, чтобы убедиться окончательно. Я хочу принести нашим товарищам только хорошие новости.

Ледовый лоцман мистер Рейд указал рукой назад, на канал, из которого они вышли:

– Здесь дюжины узких заливчиков. Может статься, нам будет трудно отыскать настоящий канал, коли мы не пометим его сейчас. Ребята, гребите обратно к нему. Мистер Пеглар, пожалуйста, возьмите вот тот запасной багор и воткните там в снег на видном месте, чтобы мы не проскочили

мимо на обратном пути. Он будет служить нам ориентиром.

– Слушаюсь, – сказал Пеглар.

Отметив багром нужное место, они двинулись вперед по открытой воде. Большой плоский айсберг находился всего в сотне ярдов от прохода, и они прошли рядом с ним.

– Мы могли бы расположиться на нем лагерем, и там еще осталось бы полно места, – сказал Генри Сэйт, один из матросов с «Террора», сидевший на веслах.

– Мы не хотим располагаться лагерем, – рассмеялся лейтенант Литтл. – Мы настоялись лагерем на всю оставшуюся жизнь. Мы хотим вернуться домой.

Мужчины встретили слова лейтенанта возгласами одобрения и налегли на весла. Пеглар, сидевший у руля, затянул песню, и все подхватили хором – впервые за много месяцев они по-настоящему пели.

Только через три часа – спустя целый час с оговоренного времени своего возвращения – они убедились окончательно.

«Открытая вода» оказалась иллюзией – озером во льдах длиной немногим более полутора миль и шириной немногим более двух третей мили. На извилистых южном, восточном и северном ледяных берегах открывались дюжины каналов, но все они на поверку оказались тупиковыми путями, просто узкими заливчиками.

На юго-восточной границе озера они пришвартовались, глубоко забив кирку в шестифутовую ледяную стену и привязав к ней вельбот, а потом вырубili во льду ступеньки – и все мужчины выбрались из вельбота и посмотрели в сторону, где надеялись увидеть открытую воду.

Сплошная белизна. Лед, снег и сераки. И облака снова наплывали, клубясь над ледяным полем подобием тумана. Пошел снег.

После того как лейтенант Литтл посмотрел в подзорную трубу во всех направлениях, они посадили самого легкого матроса Берри на плечи самому высокому, тридцатилетнему Билли Венцаллу, и дали Берри подзорную трубу. Он совершил полный оборот, напряженно всматриваясь в даль и говоря Венцаллу, когда поворачиваться.

– Ни даже какого-нибудь паршивого пингвина, – сказал он.

Это была старая шутка, отсылавшая к путешествию капитана Крозье на Южный полюс. Никто не засмеялся.

– Там где-нибудь виднеется темное небо? – спросил лейтенант Литтл. – Какое обычно бывает над открытой водой? Или верхушка большого айсберга?

– Нет, сэр. И облака приближаются.

Литтл кивнул:

– Давайте возвращаться, ребята. Гарри, спускайтесь первым и выровняйте вельбот.

Никто не проронил ни слова за полтора часа, что они гребли назад. Солнце скрылось за облаками, и туман снова сгустился еще прежде, чем они переправились через озеро, но вскоре в тумане неясно вырисовался плоский айсберг размером с центральную часть крикетного поля, и они поняли, что движутся в верном направлении.

– До нашего канала рукой подать! – крикнул с носа Литтл. Временами туман сгущался так сильно, что сидевший на корме Пеглар с трудом различал лейтенанта. – Мистер Пеглар, возьмите чуть левее, пожалуйста.

– Есть, сэр.

Гребцы даже не подняли глаз. Они казались глубоко погруженными в горькие мысли. Снова секла снежная крупа, но теперь метель летела с северо-запада. По крайней мере, гребцы сидели спиной к ветру.

Когда туман наконец немного рассеялся, они находились менее чем в ста футах от канала во льдах.

– Я вижу багор, – бесцветным голосом сказал мистер Рейд. – Немного по правому борту. Вы отлично установили ориентир.

– Что-то не так, – сказал Пеглар.

– Что вы имеете в виду? – спросил лейтенант.

Несколько гребцов подняли голову и хмуро посмотрели на Пеглара.

– Видите там серак или большой ледяной валун рядом с багром? – спросил Гарри.

– Да, – ответил лейтенант Литтл. – И что?

– Его там не было, когда мы выплывали из канала, – сказал Пеглар.

– Табань! – резко приказал Литтл, но, хотя гребцы уже торопливо гребли в обратном направлении, тяжелый вельбот продолжал по инерции двигаться вперед, ко льду.

Ледяной валун зашевелился.

*Кинг-Уильям, неизвестная широта, неизвестная долгота
18 июля 1848 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

Вторник, 18 июля 1848 г.

Девять дней назад, когда наш капитан послал лейтенанта Литтла с восемью людьми вперед по каналу во льдах с приказом вернуться через четыре часа, все остальные попытались по возможности выспаться за ничтожно малое время, остававшееся до истечения означенного срока, – мы потратили свыше двух часов на погрузку саней в лодки, а потом, не тратя времени на распаковку и установку палаток, постарались заснуть в наших сшитых из оленьих шкур и одеял спальных мешках, положенных на брезентовые полотнища, постеленные на льду рядом с лодками. Сейчас, в первой декаде июля, солнце уже не стоит над горизонтом всю ночь напролет, и мы проспали – или просто пролежали, пытаясь заснуть, – несколько часов темноты. Мы все безумно устали.

По истечении условленных четырех часов старший помощник Дево разбудил людей, но лейтенант Литтл так и не объявился. Капитан разрешил большинству из нас снова лечь спать.

Еще через два часа все были на ногах, и я старался оказывать посильную помощь в приготовлениях к спуску лодок на воду, выполняя приказы второго помощника Кауча. (Разумеется, будучи врачом, я всегда боюсь повредить руки, хотя, надо признать, за время нашего путешествия они претерпели все возможные беды помимо сильного обморожения и ампутации.)

И вот через семь часов после того, как лейтенант Литтл, Джеймс Рейд, Гарри Пеглар и шестеро матросов отправились на разведку, восемьдесят оставшихся на льду человек приготовились последовать за ними на своих лодках. Из-за движения льда и падения температуры воздуха канал сузился за несколько часов нашего сна, и потому для того, чтобы правильно установить на льду и аккуратно спустить на воду лодки, потребовалась

известная ловкость. В конце концов все лодки – три вельбота (головным командовал капитан Крозье, а я сидел во втором по счету, под командованием второго помощника Кауча), четыре тендера (под командованием второго помощника Роберта Томаса, боцмана Джона Лейна, боцманмата Томаса Джонсона и второго лейтенанта Джорджа Ходжсона, к которому капитан по-прежнему относится с долей недоверия) и два полубаркаса под командованием боцманмата Сэмюела Брауна и первого помощника Дево (теперь Дево занимал третье по старшинству положение в экспедиции после капитана Крозье и лейтенанта Литтла и потому получил ответственное задание замыкать вереницу судов) – были спущены на воду.

К тому времени похолодало и шел легкий снег, но густой туман поднялся выше и обратился в плотные облака, плывущие всего в сотне футов над льдом. Хотя видимость значительно возросла против вчерашнего, низкая облачная пелена производила гнетущее впечатление, – казалось, мы находимся в каком-то странном бальном зале посреди заброшенного арктического дворца, с растрескавшимся белым мраморным полом под ногами и низким потолком над головой, покрытым росписью в виде облаков, создающей полную иллюзию реальности.

Когда девятую, и последнюю, лодку столкнули на воду и команда забралась в нее, мужчины предприняли жалкую попытку крикнуть «ура», поскольку большинство этих мореходов впервые почти за два года пускались в плавание, но крик замер, так и не набрав силу. Тревога за судьбу команды лейтенанта Литтла была слишком велика, чтобы ликовать от души.

Первые полтора часа мы продвигались вперед с огромным трудом. Временами коварный извилистый канал сужался настолько, что матросам приходилось выходить из лодок и прорубать путь топорами и кирками. В иные разы тем же матросам приходилось идти по ненадежному льду по краям прохода, волоча лодки за привязанные к ним тросы, поскольку за отсутствием нормальной открытой воды грести не представлялось возможным.

Хотя канал, имевший края более угловатые и ломаные, чем любой речной берег, петлял не хуже какого-нибудь извилистого ручья, в целом мы постоянно двигались на восток или юго-восток.

Тишину нарушали лишь стоны и треск льда вокруг да редкие ответные стоны гребцов, налегающих на весла. Но со своего места на передней банке второго вельбота, сразу за стоящим на носу мистером Каучем, – где я сидел, сознавая полную свою бесполезность в деле продвижения лодки вперед и ощущая себя таким же мертвым грузом, как бедный Дэвид Лейс,

находящийся в глубокой коме, но все еще дышащий, которого товарищи на протяжении трех с лишним месяцев везли в одном из полубаркасов без единого слова жалобы, а мой новый помощник, бывший вестовой Джон Бридженс, кормил и отмывал от нечистот каждый вечер в медицинской палатке с такой заботой, словно ухаживал за любимым парализованным дедом (парадоксально, ибо Бридженсу уже за шестьдесят, а коматозному Лейсу всего сорок), – так вот, со своего места я слышал перешептывания гребцов.

– Литтл и остальные, должно быть, заблудились, – прошептал матрос по имени Кумз.

– Лейтенант Эдвард Литтл никак не мог заблудиться! – прошипел в ответ Чарльз Бест. – Он мог застрять, но не заблудиться.

– Где застрять? – прошептал Роберт Ферьер, сидевший за соседним веслом. – Канал сейчас открыт. И был открыт вчера.

– Может, лейтенант Литтл и мистер Рейд нашли впереди свободный для навигации путь до самого устья реки Бак и просто подняли парус и поплыли дальше, – прошептал Том Макконвей, сидевший через банку. – Я лично думаю, они уже там... жрут лососей, которые запрыгивают прямо в лодку, и выменивают у аборигенов тюленину на побрякушки.

Никто ничего не сказал в ответ на это неправдоподобное предположение. Любое упоминание об аборигенах повергало людей в тихий ужас после зверского убийства лейтенанта Ирвинга и расстрела восьми дикарей 24 апреля. Полагаю, большинство мужчин – несмотря на отчаянную надежду на спасение или любую помощь – скорее боялись встречи с местными племенами, нежели уповали на нее. Месть, по мнению некоторых философов, является одним из самых универсальных побудительных мотивов человеческого существа.

Через два с половиной часа после того, как мы покинули место нашей ночной стоянки, вельбот капитана Крозье выскочил из узкого канала на широкое пространство чистой воды. Люди в головной лодке и моей собственной испустили радостный вопль. У самого выхода из канала, словно оставленный здесь в качестве ориентира, вертикально стоял длинный черный багор, глубоко воткнутый в снег. С обращенной к северо-западу стороны багор побелел от налипшего снега и застывшей измороси.

Но и этот ликующий крик стих, не успев набрать силу, когда тесная вереница лодок вышла на открытую воду.

Вода была красной.

На плоском льду справа и слева от прохода мы увидели темно-красные полосы и пятна, которые могли быть только кровью. От этого зрелища меня

бросило в дрожь, а у всех остальных, я заметил, отвисла челюсть.

– Спокойно, ребята, – пробормотал мистер Кауч, стоявший на носу нашего вельбота. – Это просто следы нападения белых медведей на тюленей. Мы не раз видели летом такие лужи тюленьей крови.

Капитан Крозье в головном вельботе говорил своим матросам примерно то же самое.

Минутой позже мы узнали, что кровавые свидетельства бойни остались не от тюленей, задранных белыми медведями.

– О боже! – воскликнул Кумз.

Все мужчины перестали грести. Три вельбота, четыре тендера и два полубаркаса сбились в кучу на подернутой зыбью воде с красноватым оттенком.

Из воды вертикально торчал нос вельбота лейтенанта Литтла. Мы отчетливо видели написанное черной краской название лодки (одной из пяти, не переименованных после произнесенной в мае короткой надгробной речи капитана Крозье, взятой из Книги Левиафана) – «Леди Дж. Франклин». Вельбот был переломлен надвое примерно в четырех футах от носа, и только носовая часть – обломки расщепленных банок и доски разбитого корпуса едва виднелись под темной ледяной водой – держалась на поверхности.

Девять наших лодок растянулись цепью и медленно двинулись вперед, а люди начали собирать другие плавающие на воде предметы: весло, обломки планширя и кормы, румпель, «уэльский парик», сумка из-под патронов, рукавица, клочок жилета.

Матрос Ферьер, подцепивший длинным багром что-то похожее на обрывок синего бушлата, вдруг заорал от ужаса и едва не уронил багор в воду.

Там плавало человеческое тело, обезглавленное, по-прежнему одетое в синюю шерстяную куртку, с безжизненно раскинутыми в черной воде руками и ногами. На месте шеи зияла страшная рваная рана. Пальцы его – вероятно, распухшие в ледяной воде после смерти и сейчас похожие на неестественно толстые и короткие обрубки, – казалось, шевелились в слабых струях, колеблемые мелкими волнами, и напоминали извивающихся белых червей. Создавалось впечатление, будто безгласное тело пытается что-то сказать нам на языке жестов.

Я помог Ферьеру и Макконвею затащить останки в лодку. Рыбы или какой-то морской хищник обгрыз пальцы мертвеца по второй сустав, но в ледяной воде процесс гниения и разложения еще не начался.

Вельбот капитана Крозье подплыл к нашему, ткнувшись носом в наш

борт.

– Кто это? – пробормотал один из матросов.

– Гарри Пеглар, – крикнул другой. – Я узнал бушлат.

– Гарри Пеглар не носил зеленого жилета, – заметил третий.

– Сэмми Крисп носил! – воскликнул четвертый.

– Тихо! – рявкнул капитан Крозье, а потом обратился ко мне: – Доктор Гудсир, будьте добры, выверните карманы нашего несчастного товарища, если вас не затруднит.

Я так и сделал. Из большого кармана мокрого жилета я вытащил почти пустой кисет из тисненой красной кожи.

– Ох черт! – сказал Томас Тэдмэн, сидевший в моей лодке рядом с Робертом Ферьером. – Это бедный мистер Рейд.

Так оно и было. Все мужчины сразу вспомнили, что накануне вечером ледовый лоцман был в зеленом жилете и синем бушлате, и все мы тысячу раз видели, как он набивает трубку табаком из выцветшего красного кожаного кисета.

Мы посмотрели на капитана Крозье, словно ожидая от него объяснений по поводу участи, постигшей наших товарищей, хотя, разумеется, в глубине души все мы и сами знали.

– Положите тело мистера Рейда под лодочный чехол, – приказал капитан. – Мы обыщем все вокруг, чтобы проверить, не остался ли кто в живых. Держитесь в пределах слышимости друг от друга.

Лодки снова растянулись цепью. Мистер Кауч отвел наш вельбот обратно к проходу во льдах, и мы медленно поплыли вдоль края ледяного поля, поднимавшегося на высоту примерно четырех футов над уровнем воды. Мы останавливались возле каждого пятна крови на горизонтальной поверхности льда и вертикальной ледяной стенке, но ни одного тела больше не обнаружили.

– О черт! – простонал тридцатилетний Френсис Покок, сидевший на корме у руля. – Там кровавые борозды от пальцев, словно чудовище стаскивало человека обратно в воду.

– Задраить глотку, и чтобы я больше не слышал подобных разговоров! – сердито оглядываясь на гребцов, рявкнул мистер Кауч, который стоял, поставив одну ногу на нос вельбота, и небрежно держал в руке длинный багор, словно настоящий гарпун.

Мужчины умолкли.

На северо-западной границе разводья мы нашли три кровавых пятна, причем третье выглядело так, словно жертву не стаскивали в воду, а сожрали прямо на месте, примерно в десяти футах от края ледяного поля.

Там остались кости ног, несколько обглоданных ребер, лоскут, похожий на человеческую кожу, и клочки одежды, но ни черепа, ни каких-либо предметов, поддающихся опознанию, мы не обнаружили.

– Высадите меня на лед, мистер Кауч, – сказал я. – Я осмотрю останки.

Я так и сделал. Когда бы дело происходило на суше практически в любом уголке мира, кроме Арктики, жужжащие рои мух уже кружили бы над красным мясом и мышцами, не говоря уже о слегка присыпанной снегом кучке кишок, похожей на кротовый холмик, но здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим свистом северо-западного ветра да треском льда.

Я крикнул сидящим в вельботе мужчинам (они отворачивали лицо прочь), что произвести опознание невозможно. Даже несколько клочков изодранной одежды не позволяли установить личность жертвы. На месте трагедии не осталось ни головы, ни башмаков, ни рук, ни ног, ни даже туловища, за исключением обглоданных ребер, куска позвоночника с мышцами и половины тазовой кости.

– Оставайтесь на месте, мистер Гудсир! – крикнул Кауч. – Я посылаю к вам Марка и Тэдмэна с пустой сумкой из-под патронов, чтобы уложить в нее останки несчастного. Капитан Крозье захочет их похоронить.

Задача была не из приятных, но мы справились с ней быстро. В конечном счете я велел гримасничающим матросам уложить в сумку-саван только ребра и половину тазовой кости. Позвоночник намертво вмерз в лед, а прочие останки были слишком омерзительны, чтобы с ними возиться.

Мы едва успели оттолкнуться от льда и двинуться дальше вдоль южной границы открытой воды, когда с северной стороны донесся крик.

– Человек! – прокричал какой-то матрос. – Мы нашли человека!

Полагаю, у всех нас бешено колотилось сердце, пока Кумз, Макконвей, Ферьер, Тэдмэн, Марк и Джонс налегали на весла, а сидевший на руле Френсис Покок направлял лодку к плавучей льдине размером с центр крикетного поля, которую отнесло на середину этих нескольких сотен акров открытой воды посреди льдов. Все мы страстно желали – всем нам было необходимо – найти кого-нибудь живого из команды лейтенанта Литтла.

Но такому не суждено было случиться.

Капитан Крозье, уже находившийся на льдине, попросил меня подойти к лежавшему там труп. Признаюсь, я даже почувствовал легкую досаду: можно подумать, капитан не мог констатировать смерть, не заставив меня обследовать очередное мертвое тело. Я валился с ног от усталости.

Это оказался Гарри Пеглар, всеми любимый фор-марсовый старшина с

«Террора». Почти голый – в одном только белье, – он лежал на льду в скрюченной позе, подтянув колени к самому подбородку, скрестив лодыжки, словно в последние минуты жизни потратил остатки энергии на попытки согреться, сжимаясь в клубочек все плотнее и плотнее, обхватывая себя руками в тщетных стараниях унять страшную дрожь.

Его голубые глаза были открыты и подернуты льдом. Окоченелое посиневшее тело на ощупь напоминало каррарский мрамор.

– Должно быть, он доплыл до льдины, сумел забраться на нее и замерз здесь, – тихо предположил мистер Дево. – Чудовище не схватило и не покалечило Гарри.

Капитан Крозье лишь кивнул. Я знал, что капитан хорошо относился к Гарри Пеглару и очень на него полагался. Мне тоже нравился формарсовый старшина.

Потом я увидел, на что смотрит Крозье. Вся покрытая свежевypавшим снегом льдина – особенно рядом с трупом Гарри Пеглара – была испещрена огромными отпечатками лап с отчетливо обозначенными когтями, похожими на следы белого медведя, только в три-четыре раза больше.

Существо много раз обошло вокруг Гарри. Наблюдало, как несчастный мистер Пеглар дрожит и умирает от холода? Наслаждалось зрелищем? Неужели последнее, что угасающим взором видел Гарри Пеглар на сей земле, – это ужасное белое чудовище, нависающее над ним, вперяющее в него черные немигающие глаза? Почему существо не съело нашего друга?

– Зверь передвигался на задних лапах все время, пока находился на льдине, – только и сказал капитан Крозье.

Другие мужчины из лодок подошли с куском парусины.

Из озера во льдах не было выхода, если не считать быстро замерзающего канала, которым мы приплыли. Дважды обойдя кругом пространство открытой воды (пять лодок двигались по часовой стрелке, четыре – против), мы обнаружили лишь тупиковые заливчики, разломы во льду и еще две кровавые полосы на месте, где, похоже, кто-то из нашей разведывательной команды выбрался на лед и попытался бежать, но был схвачен и утащен обратно в воду. Там, слава богу, мы нашли только лоскуты синей шерстяной ткани, но никаких останков.

Было уже за полдень, и всеми, я уверен, владело единственное желание: убраться подальше от проклятого места. Но у нас на руках находились тела трех наших товарищей – или части тел, – и мы считали необходимым похоронить их с должными почестями. (Думаю, многие из нас полагали – и, как оказалось, справедливо, – что эта погребальная

церемония станет последней, которую наша экспедиция сможет себе позволить провести.)

Среди плавающих на воде предметов мы не нашли ничего полезного помимо брезентового полотнища от одной из голландских палаток, находившихся на борту обреченного вельбота лейтенанта Литтла. В него мы завернули тело нашего друга Гарри Пеглара. Останки скелета, которые я осматривал возле устья прохода, мы оставили в парусиновой сумке из-под патронов, а туловище мистера Рейда зашили в лишний спальный мешок.

При погребении в море в ногах человека, предаваемого пучине, принято класть одно или несколько пушечных ядер, чтобы тело с достоинством ушло ко дну, а не болталось на поверхности непотребным образом, но, разумеется, у нас не имелось никаких ядер. Матросы сняли дрек с плавающей носовой части «Леди Дж. Франклин» и отыскиали несколько пустых консервных банок, чтобы утяжелить различные саваны с останками.

Нам потребовалось довольно много времени, чтобы вытащить девять оставшихся лодок из черной воды и снова установить тендеры и полубаркасы на сани. У некоторых изможденных мужчин – больных цингой и еле живых от голода – работы по сборке саней и погрузке на них лодок отняли последние силы. Потом матросы собрались у края ледового поля, выстроившись широкой дугой, чтобы на лед нигде не приходилось слишком много веса.

Никто из нас не был расположен слушать длинную надгробную речь – и уж тем более взятую из проникнутой иронией легендарной Книги Левиафана, прежде всеми ценимой, – поэтому мы с некоторым изумлением и с немалым волнением выслушали восемьдесят девятый псалом, прочитанный капитаном по памяти.

«Господи! Ты нам прибежище в род и род.

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог.

Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: „Возвратитесь, сыны человеческие!“

Ибо пред очами Твоими тысяча лет как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.

Ты как наводнением уносишь их; они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает.

Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении.

Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего.

Все наши дни прошли во гневе Твоем; мы теряем лета наши, как звук.
Дней наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет;
и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.

Кто знает силу гнева Твоего, и ярость Твою по мере страха Твоего?
Научи нас счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое.
Обратись, Господи! Умилосердись над рабами Твоими.
Рано насыти нас милостию Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши.

Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие.

Да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя.
И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в делах рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь».
И все мы хором повторили: «Аминь».

Потом наступила тишина. В лицо нам дул слабый ветер со снегом. Черная вода плескалась о лед со звуком, похожим на жадное лакание голодного зверя. Лед трещал и слегка подрагивал под нашими ногами.

Думаю, все мы восприняли произнесенные слова как надгробную речь и последнее «прощай», обращенные к каждому из нас. До сегодняшнего дня, до потери вельбота лейтенанта Литтла со всей командой – включая приветливого мистера Рейда и всеми любимого Гарри Пеглара, – полагаю, многие из нас все еще верили в возможность спастись. Теперь мы понимали, что шансов выжить у нас практически не осталось.

Долгожданная открытая вода, вселившая во всех нас надежду, оказалась коварной ловушкой.

Лед не отпустит нас.
И обитающее во льдах существо не даст нам уйти.
– Шапки долой! – скомандовал боцманмат Джонсон.
Мы стянули наши разношерстные головные уборы.

– Знайте, Искупитель наш жив, – сказал капитан Крозье скрипучим хриплым голосом, которым только и говорил теперь. – И Он в последний день восставит из праха распадающуюся плоть нашу. И хотя черви наших грехов уничтожат наши тела, мы во плоти нашей узрим Бога, мы узрим Его сами, наши глаза, не глаза другого, увидят Его... Господи, прими в царство Твое смиренных рабов Твоих, ледового лоцмана Джеймса Рейда, формарсового старшину Гарри Пеглара и их неизвестного товарища по

команде; и вместе с двумя погибшими, личности которых нами установлены, прими в царство Твое души лейтенанта Эдварда Литтла, матроса Александра Берри, матроса Генри Сэйта, матроса Уильяма Венцалла, матроса Сэмюела Криспа, матроса Джона Бейтса и матроса Дэвида Симза... Когда придет срок нам последовать за ними, пожалуйста, Господи, позволь нам воссоединиться с ними в царстве Твоем... Господи, услышь нашу молитву о наших товарищах, и о нас самих, и о наших душах. Приклони слух Твой к нашей мольбе, не останься равнодушным к нашим слезам. Смилуйся над нами немного, дабы мы могли восстановить наши силы, прежде чем тоже покинем сей бранный мир и перейдем в мир иной. Аминь.

– Аминь, – шепотом повторили мы.

Боцманы подняли парусиновые саваны с останками и бросили в черную воду, где они утонули в считанные секунды. Из глубины поднялись белые пузыри, словно последняя попытка наших покойных товарищей заговорить, а потом поверхность озера снова стала черной и недвижимой.

Сержант Тозер и два морских пехотинца дали один залп в воздух из мушкетов.

Несколько долгих мгновений капитан Крозье пристально смотрел в черное озеро с выражением лица, ясно свидетельствовавшим об обуревающих его чувствах, сдерживаемых усилием воли.

– Теперь мы двинемся дальше, – твердо сказал он наконец нам, всем нам, глубоко подавленным, погруженным в уныние и мысленно смирившимся с поражением людей. – Мы сможем протащить сани и лодки еще милю, прежде чем остановиться на ночлег. Здесь идти будет легче.

На деле идти здесь оказалось значительно труднее. В конечном счете просто невозможно – не из-за обычных торосных гряд и привычных трудностей, сопряженных с перетаскиванием через них лодок (хотя и это раз от раза становилось все проблематичнее для ослабших от голода и болезни людей), но из-за разломов во льду.

Перетаскивая лодки по обыкновению за два захода, но теперь, после потери девятерых человек, еще меньшими силами, в тот долгий вечер 10 июля мы преодолели немногим более половины мили, прежде чем разбили на льду палатки и наконец легли спать.

Сон наш был прерван менее чем через два часа, когда лед под нами начал трещать и колебаться. Все ледяное поле ходило ходуном. Охваченные тревогой, мы выползли из палаток и в смятении принялись беспорядочно толочься на месте. Матросы начали сворачивать палатки и готовиться к

погрузке имущества в лодки, пока капитан Крозье и старший помощник Дево не призвали всех к спокойствию громкими криками. Офицеры указали, что лед не трескается, только колеблется.

Минут через пятнадцать движение льда постепенно сошло на нет, и поверхность замерзшего моря снова стала незыблемой и твердой как камень. Мы заползли обратно в палатки.

Часом позже лед опять начал трещать и колебаться. Многие снова выскочили из ненадежных укрытий в ветреную тьму, но самые отважные остались в своих спальных мешках. Спустя несколько минут все спраздновавшие труса заползли обратно в зловонные, битком набитые маленькие палатки – где не стихали храп и пердеж спящих, где стоял тяжелый дух испарений давно не мытых тел, теснившихся во влажных спальных мешках, и застарелый запах пота, исходивший от мужчин, уже несколько месяцев не менявших одежды, – с красными от стыда лицами. К счастью, в такой темноте никто этого не заметил.

Весь следующий день мы, выбиваясь из сил, тащили лодки на юго-восток по льду, теперь не более надежному, чем туго натянутая резина. Стали появляться трещины, но, хотя самые глубокие из них свидетельствовали, что толщина льда составляет шесть и более футов, у нас пропало ощущение, будто мы движемся по ледяному полю: теперь нам казалось, будто мы перебираемся с одной плавучей льдины на другую в волнующемся океане белизны.

Здесь следует упомянуть, что на второй вечер после того, как мы покинули замкнутое озеро во льдах, я, во исполнение своих обязанностей, разбирал личные вещи погибших, большая часть которых осталась с основным грузом припасов и снаряжения, когда разведывательная команда лейтенанта Литтла уплыла на вельботе, и уже дошел до маленького узелка фор-марсового старшины Гарри Пеглара, где находились несколько жалких предметов одежды, несколько писем, роговая гребенка и несколько книг, когда мой помощник Джон Бридженс спросил: «Можно мне взять некоторые из этих вещей?»

Я удивился. Бридженс указывал на гребенку и толстую тетрадь в кожаном переплете.

Я уже успел заглянуть в тетрадь. Пеглар вел дневник своего рода примитивным шифром – писал слова задом наперед, последнее слово в каждом предложении заканчивая прописной буквой, – но, хотя описание событий последнего года нашей экспедиции могло представлять известный интерес для родственников, почерк фор-марсового старшины и структура

предложений, не говоря уже об орфографии, становились все более и более невнятными и корявыми в течение месяцев, непосредственно предшествовавших нашему уходу с кораблей и последовавших за ним, и под конец записи носили совсем уже обрывочный и бессвязный характер. Одна запись гласила: «Смерть, где твоё жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, што... (следующая строка размыта водой)... красильщик скал...»

На другой стороне этой страницы Пеглар трясущейся рукой нарисовал неровный круг и в нём нацарапал: «лагерь разчищен». Дата написана неразборчиво, но, по всей видимости, данная запись относится к концу апреля. На одной из страниц поблизости содержались следующие обрывочные записи: «Придется ли нам итти по твердой земле... нам понадобится грог, чтобы промочить наши... ибо я думаю... время... мне лежать рядом и... в 21-ю ночь свиршилось...»

Я предположил, что эту запись Пеглар сделал вечером 21 апреля, когда капитан Крозье сообщил людям с «Террора» и «Эребуса», что на следующее утро последние из них покинут корабль.

Иными словами, в тетради содержались беспорядочные заметки полуграмотного человека, не делавшие чести ни писательскому таланту, ни образованности Гарри Пеглара.

– Зачем вам это? – спросил я Бридженса. – Пеглар был вашим другом?

– Да, доктор.

– Вам нужна расческа? – (Старый вестовой был почти лысым.)

– Нет, доктор. Просто вещица на память о человеке. Расчески и дневника мне хватит.

Очень странно, подумал я, поскольку к настоящему времени все старались избавиться от лишних вещей, а не добавлять тяжелые тетради к грузу, который приходилось тащить.

Но я отдал Бридженсу и расческу, и дневник. Никому не потребовались ни рубашка Пеглара, ни носки, ни запасные шерстяные штаны, ни Библия, поэтому на следующее утро я оставил их в куче ненужных вещей. В общем и целом брошенные на льду последние пожитки Пеглара, Литтла, Рейда, Берри, Криспа, Бейтса, Симза, Венцалла и Сэйта сошли за скорбную пирамиду в память о погибших.

Следующим утром, 12 июля, нам начали встречаться новые кровавые пятна на льду. Поначалу мужчины испугались, что это очередные свидетельства гибели наших товарищей, но капитан Крозье подвел нас к одному из залитых кровью участков и показал, что посреди застывшей

темно-красной лужи лежит труп белого медведя. Это всё были убитые белые медведи, от многих из которых остались лишь проломленная голова, окровавленная белая шкура, раздробленные кости и лапы.

Поначалу мужчины успокоились. Затем, разумеется, все задались вопросом: «Кто убил этих огромных хищников за считанные часы до нашего появления здесь?»

Ответ напрашивался сам собой.

К 16 июля люди, казалось, окончательно выбились из сил и уже не могли продолжать путь. За восемнадцатичасовой день непрерывных усилий мы преодолевали менее мили. Зачастую, вставая лагерем на ночь, мы видели кучу выброшенной одежды и снаряжения, оставшуюся на месте нашей предыдущей ночной стоянки. Мы нашли еще несколько убитых белых медведей. Наш моральный дух был так низок, что, проводи мы голосование на той неделе, большинство наверняка проголосовали бы за то, чтобы отказаться от всяких дальнейших попыток, лечь на лед и умереть.

Ночью 16 июля, когда все спали и лишь один часовой нес дежурство, капитан Крозье попросил меня явиться к нему в палатку. Теперь он спал вместе с Чарльзом Дево, своим старшим интендантом Чарльзом Гамильтоном Осмером (у которого наблюдались симптомы пневмонии), Уильямом Беллом (старшиной-рулевым «Эребуса») и Филипом Реддингтоном, бывшим баковым старшиной сэра Джона и капитана Фицджереймса.

Капитан кивнул, и все, кроме старшего помощника Дево и мистера Осмера, покинули палатку, чтобы предоставить нам возможность поговорить наедине.

– Доктор Гудсир, – начал капитан, – мне нужен ваш совет.

Я кивнул и приготовился слушать.

– У нас есть теплая одежда и палатки, – сказал капитан Крозье. – Запасные башмаки, которые люди по моему приказу везут в полубаркасах со снаряжением и прочими припасами, спасли многих от ампутации ног.

– Совершенно верно, сэр, – сказал я, хотя понимал, что он хочет спросить совета не по данному вопросу.

– Завтра утром я собираюсь сообщить людям, что нам придется бросить один вельбот, два тендера и один полубаркас и продолжать путь только с пятью лодками, – сказал капитан Крозье. – Эти два вельбота, два тендера и полубаркас находятся в лучшем состоянии, чем прочие лодки, и в них хватит места на всех для плавания по открытой воде – коли мы найдем таковую, прежде чем доберемся до устья реки Бака, – поскольку у нас осталось совсем мало груза.

– Люди будут очень рады слышать это, капитан, – сказал я.

Я лично так очень обрадовался. Поскольку теперь я шел в упряжи наравне с другими, я в буквальном смысле слова почувствовал, как часть непомерной тяжести свалилась с моих ноющих плеч при известии, что кошмарные дни, когда приходилось перетаскивать лодки за два захода, остались позади.

– Что мне нужно знать, – продолжал капитан бесконечно усталым хриплым голосом, с сумрачным лицом, – так это можно ли еще урезать рацион. Вернее, смогут ли люди тащить сани, когда мы урежем рацион. Меня интересует ваше профессиональное мнение, доктор.

Я уставился в брезентовый пол палатки. Один из котелков мистера Диггла – или, возможно, разборное устройство для разогревания чая, которым пользовался мистер Уолл, когда у нас еще оставались бутылки с эфиром для спиртовок, – прожег в нем круглую дыру.

– Капитан, мистер Дево, – наконец сказал я, прекрасно понимая, что говорю вещи, для них очевидные, – люди и сейчас получают гораздо меньше пищи, чем необходимо для поддержания сил при каждодневном тяжелом физическом труде. – Я глубоко вздохнул и продолжал: – Они едят только холодную пищу. Последние консервированные продукты были съедены много недель назад. Спиртовки мы оставили на льду с последней пустой бутылкой из-под эфира. Сегодня вечером каждый человек получит на ужин одну галету, кусочек холодной соленой свинины, унцию шоколада, несколько глотков чая с малой порцией сахара и менее столовой ложки рома.

– И щепоть табака, – добавил мистер Осмер.

Я кивнул:

– Да, и щепоть табака. Они поистине любят табак. Но нет, капитан, люди не смогут обойтись меньшим количеством пищи, чем ныне.

– Им придется, – сказал капитан Крозье. – Соленая свинина у нас кончится через шесть дней. Ром – через десять.

Мистер Дево прочистил горло:

– Насколько мне известно – и известно всем здесь присутствующим и всем участникам экспедиции, – мы подстрелили и съели ровно двух тюленей с тех пор, как покинули бухту Покоя два месяца назад.

– Мне кажется, – сказал капитан Крозье, – сейчас самое лучшее для нас – двинуться обратно на север, к берегу Кинг-Уильяма, каковой путь займет у нас, может, три дня, может, четыре. Там можно питаться мхом и всякой дрянью, произрастающей на скалах. Мне говорили, что из съедобных разновидностей мха и лишайника варится почти вкусный суп.

Если, конечно, удастся найти съедобные разновидности означенных растений.

Сэр Джон Франклин, устало подумал я. Человек, который съел свои башмаки. Мой старший брат рассказывал мне эту историю за несколько месяцев до нашего отплытия. Сэр Джон по своему горькому опыту точно знал бы, какие мхи и лишайники выбирать.

– Люди будут рады вернуться на сушу, капитан, – только и мог сказать я. – И они будут счастливы услышать, что теперь нам придется тащить меньше лодок.

– Благодарю вас, доктор, – сказал капитан Крозье. – Это все.

Кивнув на прощание, я удалился, проведая самых тяжелых цинготных больных – от лазаретной палатки мы уже, разумеется, избавились, и мы с Бридженсом каждый вечер обходили палатки одну за другой, консультируя и пользуясь лекарствами наших пациентов, – а потом с трудом добрал до своей собственной палатки (которую делил с Бридженсом, находящимся в бессознательном состоянии Дейви Лейсом, умирающим инженером Томпсоном и тяжелобольным плотником мистером Хани) и мгновенно забылся сном.

Именно той ночью лед расступился и поглотил палатку, где спали пятеро наших морских пехотинцев: сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли.

Один только Уилкс успел выбраться из палатки, прежде чем она погрузилась в темное море, и был оттащен от расселины за считанные секунды до того, как она сомкнулась с оглушительным треском.

Но Уилкс слишком ослаб от болезни, слишком сильно переохладился и слишком сильно испугался, чтобы оправиться, хотя мы с Бридженсом закутали его в последние сухие одеяла, остававшиеся у нас, и уложили в спальный мешок между нами. Он умер незадолго до рассвета.

Тело Уилкса мы оставили на льду вместе с очередной кучей одежды, четырьмя лодками и тремя саними.

Ни по нему, ни по другим морским пехотинцам панихиды не проводилось.

Никто не закричал «ура», когда капитан Крозье объявил, что нам больше не придется тащить эти четыре лодки и сани.

Мы повернули на север и двинулись к суше, скрывавшейся сразу за горизонтом.

Тремя часами позже лед снова дал многочисленные трещины, и наш путь на север преградили расселины и разводья, которые были слишком малы, чтобы спускать лодки на воду, но слишком широки, чтобы

перетаскивать через них сани и лодки.

Кинг-Уильям, неизвестная широта, неизвестная долгота

26 июля 1848 г.

Когда Крозье засыпал – даже на несколько минут, – сны возвращались. Два скелета в лодке. Несносные американские девчонки в полутемной комнате, щелкающие пальцами ног с целью симитировать постукивание вызванных духов по столу. Американский доктор, выдающий себя за полярного исследователя, низенький толстый человечек в эскимосской парке, с покрытым толстым слоем грима лицом на ярко освещенной газовыми лампами сцене. Потом снова два скелета в лодке. Ночь всегда заканчивалась сном, который пугал Крозье больше всех прочих...

Он – маленький мальчик и находится в огромном католическом соборе вместе с бабушкой Мемо Мойрой. Он совершенно голый. Мемо подталкивает его к алтарной ограде, но он боится идти вперед. В соборе холодно; мраморный пол под босыми ногами юного Френсиса холоден; белые деревянные скамьи покрыты льдом.

Стоя на коленях у алтарной ограды, юный Френсис Крозье чувствует одобрительный взгляд Мойры, находящейся где-то сзади, но он слишком испуган, чтобы обернуться. Кто-то идет.

Священник словно поднимается из люка в мраморном полу по другую сторону алтарной ограды. Мужчина слишком большой – просто огромный, – и он в белых, насквозь мокрых одеяниях, с которых стекает вода. Пахнущий кровью, потом и еще чем-то более отвратительным, он нависает над маленьким Френсисом Крозье.

Френсис закрывает глаза и – как его учила Мемо, когда он стоял на коленях на тонком коврике в ее гостиной, – высовывает язык, чтобы причаститься Святых Даров. Хотя он понимает всю важность и необходимость данного таинства, он страшно боится брать в рот облатку. Он знает, что жизнь его никогда уже не будет прежней после того, как он примет католическое причастие. И знает также, что жизнь его закончится, коли он не причастится.

Священник подступает ближе и наклоняется над ним...

Крозье проснулся в вельботе. Как всегда, когда он пробуждался от своих кошмаров (даже если засыпал всего на несколько минут), сердце у

него бешено колотилось и во рту пересохло от страха. И он дрожал всем телом, но скорее от холода, нежели от страха или воспоминания о страхе.

Лед вскрылся в части пролива или залива, где они находились 17 и 18 июля и четыре последующих дня. Крозье собрал людей в одном месте на большой плавучей льдине, где они остановились; они сняли с саней тендеры и полубаркас, погрузили в них все имущество, за исключением палаток и спальных мешков, и оснастили все пять лодок для плавания.

Каждую ночь, когда льдина начинала колебаться, давать трещины и раскалываться, полусонные люди выскакивали из палаток в уверенности, что лед разверзается под ними и море готово поглотить их, как сержанта Тозера и других морских пехотинцев. Каждую ночь оглушительный треск льда, похожий на треск ружейных выстрелов, постепенно стихал, резкие колебания льдины мало-помалу превращались в плавное ритмичное покачивание, и они заползали обратно в палатки.

Стало теплее, в отдельные дни температура поднималась почти до точки замерзания воды – пара недель в конце июля почти наверняка останется единственным намеком на лето за два последних затертых льдами арктических года, – но люди мерзли и страдали сильнее, чем когда-либо. Временами шел настоящий дождь. Когда было слишком холодно для дождя, шерстяная одежда промокала насквозь от ледяных кристаллов в туманном воздухе, поскольку по такой теплой погоде было невозможно носить водонепроницаемые зимние плащи поверх бушлатов и шинелей. Пот пропитывал грязное белье, грязные рубахи и носки, драные заиндевелые штаны. Хотя припасы у них почти полностью истощились, пять оставшихся лодок стали много тяжелее, чем десять, которые они волокли прежде, ибо в дополнение к принимающему пищу, еще дышащему, но по-прежнему остающемуся в коматозном состоянии Дейви Лейсу теперь с каждым днем приходилось везти все больше и больше тяжелобольных. Доктор Гудсир ежедневно докладывал Крозье об очередных пациентах, ноги у которых – постоянно мокрые и в мокрых носках, несмотря на все запасные башмаки, взятые по приказу капитана, – начинали гнить, чернеть с пальцев и пяток, пораженные гангреной и теперь требующие ампутации.

Голландские палатки были сырыми. Заиндевелые спальные мешки, которые они с треском раскатывали поздно вечером и в которые забирались с наступлением темноты, были мокрыми внутри и снаружи и никогда не высыхали. Когда люди просыпались утром после нескольких минут прерывистого сна (крепко заснуть теперь редко удавалось, поскольку истощенные тела не вырабатывали никакого тепла и не могли согреться, сколько ни тряслись), стенки пирамидальных палаток внутри покрывал

толстый слой инея, осыпавшегося кусками или стекавшего каплями на головы, плечи и лица людей, пока они пытались пить свои несколько жалких глотков чуть теплого чая, который утром разносили по палаткам капитан Крозье, мистер Дево и мистер Кауч, – странное превращение командиров в вестовых, произошедшее по инициативе Крозье в первую неделю на льду и теперь принимавшееся людьми как должное.

Мистер Уолл, кок с «Эребуса», болел чем-то похожим на чахотку и почти все время лежал скрючившись на дне одного из тендеров, но мистер Диггл оставался все тем же энергичным, бранчливым, шумливым, деятельным и заразительно жизнерадостным человеком, каким был все три года на своем посту у огромной фрейзеровской плиты на борту британского корабля «Террор». Теперь, когда запасы эфира закончились и все спиртовки и железные печи с вельботов были брошены позади с лишним грузом, работа мистера Диггла заключалась в том, чтобы дважды в день делить на порции ничтожные остатки соленой свинины и прочих продуктов, всегда под строгим наблюдением мистера Осмера или какого-нибудь другого офицера. Но мистер Диггл, никогда не терявший оптимизма, смастерил примитивную плитку, которую предполагал заправлять тюленьим жиром и готов был разжечь, если они добудут тюленей.

Каждый день Крозье отправлял охотничьи отряды на поиски тюленей для мистера Диггла, но тюлени встречались крайне редко и всегда успевали нырнуть в крохотные полыньи во льду, не давая охотникам времени толком прицелиться. Несколько раз, по словам мужчин из охотничьих отрядов, они ранили дробью или даже мушкетной или ружейной пулей черных кольчатых нерп, но те умудрялись перед смертью соскользнуть в черную воду и уйти на глубину, оставляя лишь кровавые полосы на льду. Иногда охотники падали на четвереньки и слизывали кровь.

Крозье много раз прежде бывал в Арктике летом и знал, что к середине июля в море и на плавучих льдинах должна кипеть жизнь: огромные моржи, нежащиеся в солнечных лучах на льдинах и шумно плещущиеся в воде рядом с ними; многочисленные тюлени, резвящиеся в воде, точно дети, и потешно ползающие на брюхе по льду; белухи и нарвалы, выбрасывающие фонтаны, распространяющие вокруг рыбный запах; белые медведицы, плавающие в черной воде со своими неуклюжими детенышами и отслеживающие тюленей на льдинах, выбирающиеся на лед из моря и резкими движениями тела стряхивающие воду со своей странной шкуры, обходящие стороной крупных и опасных самцов, которые запросто сожрут и детенышей, коли голодны, и, наконец, морские птицы, летающие над головой в таком великом множестве, что голубое летнее небо кажется

почти темным, – птицы, разгуливающие по берегу, по плавучим льдинам и сидящие на изломанных вершинах айсбергов, похожие на ноты партитуры, и бесчисленные крачки, чайки, исландские кречеты, кружащие низко над морем, куда ни кинь взгляд.

Этим летом, как и предыдущим, никаких живых существ на льду не наблюдалось – только неуклонно слабеющие люди Крозье, задыхающиеся от напряжения в своих упряжах, и их неумолимый преследователь, постоянно мелькающий вдаль и остающийся вне досягаемости мушкетного или ружейного огня. Несколько раз вечером люди слышали тьяканье песцов и часто находили их изящные следы на снегу, но ни один ни разу не попался на глаза охотникам. Когда они видели и слышали китов, огромные морские млекопитающие неизменно оказывались слишком далеко, чтобы люди могли их настичь – даже пускаясь бегом во всю мочь и с риском для жизни перепрыгивая с одной колеблющейся льдины на другую, – и всякий раз небрежно выскакивали из воды, ныряли и уходили на глубину, снова скрываясь из виду.

Крозье понятия не имел, смогут ли они убить нарвала или белуху с помощью маломощного огнестрельного оружия, оставшегося у них, но думал, что смогут, – несколько ружейных пуль, всаженных в мозг, убьют любое существо, за исключением Зверя, следующего за ними по пятам (которого матросы уже давно считали не зверем вовсе, а разгневанным Богом из Книги Левиафана), – а если у них достанет сил вытащить кита на лед и разделать, китового жира хватит на много недель или даже месяцев работы самодельной плиты мистера Диггла, и они все будут есть ворвань и свежее мясо, пока не лопнут.

Больше всего Крозье хотел убить само существо. В отличие от своих людей капитан знал, что оно смертно: просто животное, и только. Возможно, более разумное, чем даже пугающе хитрый и сообразительный белый медведь, но все равно – животное.

Если бы он сумел убить существо, знал Крозье, один факт его смерти – радость мести за столь многих погибших товарищей, пусть даже оставшимся участникам экспедиции все равно суждено умереть позже от голода и цинги, – временно укрепил бы моральное состояние уцелевших людей лучше, чем непочатый бочонок рома.

Они не видели Зверя и никаких признаков его присутствия, кроме убитых белых медведей, с тех пор, как покинули замкнутое озеро во льдах, где погиб лейтенант Литтл со своими людьми. Каждый отряд, посылавшийся капитаном на охоту, получал приказ немедленно возвращаться, если они найдут следы существа на снегу. Крозье твердо

решил взять с собой всех до единого мужчин, способных держаться на ногах, и все огнестрельное оружие на охоту за Зверем – коли понадобится, он прикажет людям греметь кастрюлями и сковородами и кричать на манер индийских загонщиков, преследующих тигра в высокой траве.

Но Крозье понимал, что толку от этого будет не больше, чем от засады покойного сэра Джона. Чтобы заставить Зверя приблизиться к ним, знал капитан, нужна приманка. Крозье не сомневался, что существо по-прежнему следует за ними по пятам, подходит ближе в темное время суток, теперь становившееся все длиннее, и прячется где-то – возможно, под льдом – при свете дня, и оно подойдет еще ближе, коли они сумеют подманить его. Но у них нет свежего мяса, а если хоть фунт такового и появится, мужчины всё съедят, а не пустят на приманку для зверя.

И все же, думал Крозье, вспоминая невероятно огромные размеры и массу чудовищного существа, там свыше тонны мяса и мышц, возможно, несколько тонн, поскольку крупный самец белого медведя весит до полутора тысяч фунтов, а белые медведи рядом со своим жутким сородичем выглядят как охотничьи псы рядом с рослым мужчиной – а значит, они смогут сытно питаться на протяжении многих недель, коли сумеют убить своего убийцу. И даже если они будут есть мясо Зверя неподжаренным, как ели соленую свинину во все время похода, знал Крозье, они каждое мгновение будут наслаждаться чувством мести, точно изысканным блюдом.

Если бы дело выгорело, знал Френсис Крозье, он бы сам остался на льду в качестве приманки. Если бы это спасло и накормило хотя бы нескольких из его людей, Крозье взялся бы выполнить роль приманки для Зверя в надежде, что его люди, показавшие себя никудышными стрелками еще даже до гибели в ледяной воде последних морских пехотинцев с «Террора», все же сумеют произвести достаточное количество достаточно метких выстрелов, чтобы убить чудовище, останется ли в живых приманка или нет.

При мысли о морских пехотинцах он невольно вспомнил о теле рядового Генри Уилкса, оставленном в одной из пяти брошенных лодок неделю назад. Никто не собирался на несостоявшиеся похороны Уилкса; только Крозье, Дево и несколько ближайших друзей морского пехотинца произнесли несколько прощальных слов над телом перед рассветом.

«Нам следовало использовать труп Уилкса в качестве приманки», – подумал Крозье, лежа на дне подрагивающего вельбота, битком набитого спящими мужчинами.

Потом он осознал – и не в первый раз, – что у них имеется приманка

посвежее. Дэвид Лейс оставался мертвым грузом на протяжении последних восьми месяцев, с декабрьской ночи, когда существо погналось за ныне покойным ледовым лоцманом Блэнки. С той самой ночи Лейс постоянно смотрел в пустоту остекленелым взглядом, ни на что не реагировал, не приносил никакой пользы и вот уже четыре месяца лежал в лодке, словно сто тридцать фунтов грязного тряпья, но тем не менее умудрялся каждый вечер проглатывать свой бульон из соленой свинины и каждое утро выпивать свои несколько глотков чая с сахаром.

К чести людей, никто из них – даже злонамеренные шептуны Хикки и Эйлмор – не предложил бросить на льду Лейса или любого из других тяжелобольных, в настоящее время неспособных передвигаться самостоятельно. Но всем наверняка приходила в голову одна и та же мысль...

Съесть их.

Сначала съесть Лейса, а потом других, когда они умрут.

Френсис Крозье был так голоден, что допускал мысль о поедании человечины. Он не стал бы убивать человека, чтобы съесть его... пока не стал бы... но если человек умер, зачем оставлять столько мяса – а в Уилксе было много фунтов лишнего веса даже перед самой смертью – гнить на арктическом летнем солнце? Или, еще хуже, оставлять на съедение существу, следующему за ними?

В бытность свою новоиспеченным лейтенантом двадцати с лишним лет Крозье узнал – как рано или поздно узнавали все моряки, но обычно еще юнгами, а Крозье узнал вскоре после случившихся событий – подлинную историю капитана Полларда, командовавшего американским бригом «Эссекс» в 1820 году.

«Эссекс» получил пробоину и затонул, как впоследствии сообщили немногие выжившие, в результате нападения спермацетового кита. Дело произошло в одной из самых пустынных частей Тихого океана, и все двадцать членов команды тогда охотились на китов в своих вельботах и по возвращении обнаружили быстро тонущий корабль. Забрав с корабля несколько инструментов, несколько навигационных приборов и один пистолет, уцелевшие люди пустились в плавание на трех вельботах. Из провизии у них были лишь две живые черепахи, пойманные на Галапагосских островах, два бочонка галет и шесть бочонков пресной воды.

Они повели вельботы к Южной Америке.

Сначала, разумеется, они убили и съели больших черепах. Потом им повезло поймать нескольких злополучных летучих рыб, случайно

запрыгнувших в лодку, но если черепашие мясо они умудрялись кое-как готовить, то рыб ели уже сырыми. Потом они ныряли в море, отскабливали полипов с корпусов своих лодок и ели их.

Они чудом наткнулись на остров Хендерсон – один из немногих крохотных островков посреди бескрайнего голубого простора Тихого океана. В течение четырех дней двадцать мужчин ловили крабов, чаек и искали яйца. Но капитан Поллард понимал, что на острове недостаточно крабов, чаек или яиц, чтобы двадцать человек могли прокормиться более недели, и потому семнадцать из двадцати проголосовали за то, чтобы плыть дальше. 27 декабря 1820 года они спустили лодки на воду и помахали на прощанье рукой трем оставшимся на острове товарищам.

К 28 января лодки разнесло далеко в разные стороны штормом, и вельбот капитана Полларда поплыл один на восток под бескрайним небом. Теперь дневной рацион пятерых мужчин состоял из полутора унций галет на каждого. По далеко не случайному совпадению, именно такой рацион Крозье совсем недавно тайно обсуждал с доктором Гудсиром и старшим помощником Дево, когда запасов соленой свинины у них осталось всего на несколько дней.

На куске галеты и нескольких глотках пресной воды в день люди Полларда – его племянник Оуэн Коффин, освобожденный от рабства чернокожий по имени Барзиллай Рэй и два матроса – продержались девять недель.

Они все еще находились в тысяче шестистах милях от суши, когда доели последние галеты и одновременно допили последнюю воду. Даже если люди Крозье продержатся на галетах еще месяц и достигнут устья реки Бака, до ближайшего поселения все равно останется восемьсот с лишним миль.

На борту вельбота у Полларда не было мертвецов, поэтому они тянули жребий. Молодой племянник Полларда, Оуэн Коффин, вытащил короткую соломинку. Потом они тянули жребий, чтобы выбрать того, кто сделает дело. На сей раз короткую соломинку вытащил Чарльз Рамселл.

Юный Коффин дрожащим голосом попрощался с товарищами (Крозье всегда помнил холодок ужаса, разлившийся у него в паху, когда он впервые услышал эту часть истории от пожилого матроса, который на пару с ним нес вахту высоко на бизань-мачте далеко от берегов Аргентины и для пущего эффекта изобразил дрожащий голос мальчика, прощающегося с товарищами), а потом положил голову на планширь и закрыл глаза.

Капитан Поллард, как он сам впоследствии рассказал, отдал Рамселлу свой пистолет и отвернулся.

Рамселл выстрелил мальчику в затылок.

Остальные четверо, включая капитана Полларда, дядю мальчика, сначала выпили кровь из тела, пока она не загустела. В отличие от воды бескрайнего океана, кровь – хотя и солоноватая – годилась для питья.

Потом они срезали с костей мясо и ели сырым.

Потом они раскалывали кости Оуэна и высасывали из них костный мозг, до последней капли.

Питаясь останками юнги, они продержались тринадцать дней и уже собрались снова тянуть жребий, когда чернокожий матрос Барзиллай Рэй умер от истощения. И снова кровь, мясо, костный мозг поддерживали в них жизнь, пока 23 февраля 1821 года их не подобрал китобоец «Дофин».

В последующие десятилетия Френсис Крозье ни разу не встречался с капитаном Поллардом, но следил за его карьерой. Злополучный американец сохранил свое звание и вышел в море еще лишь раз – и снова потерпел кораблекрушение. После того как беднягу спасли вторично, ему уже никогда больше не доверяли командования кораблем. Согласно последним слухам о нем, дошедшим до Крозье всего за несколько месяцев перед отплытием экспедиции сэра Джона три года назад, капитан Поллард жил в Нантакете, работал городским ночным сторожем и все местные жители и тамошние китоловы старались держаться от него подальше. Говорили, что Поллард преждевременно состарился, разговаривал вслух сам с собой и со своим давно умершим племянником и постоянно прятал галеты и соленую свинину в стропилах своего дома.

Крозье знал, что через несколько недель, если не дней, им тоже придется принять решение поедать своих мертвецов.

Теперь людей осталось слишком мало, и немногие уцелевшие были слишком слабы, чтобы тащить лодки, но четырехдневный отдых на льдине, продолжавшийся с 18 по 22 июля, несколько не восстановил силы. Крозье, Дево и Кауч (молодой лейтенант Ходжсон, формально занимавший второе по старшинству положение, в последнее время не получал от капитана никаких полномочий) каждое утро поднимали людей и отправляли на охоту или ставили чинить сани либо конопатить и ремонтировать лодки, чтобы только они не лежали весь день в своих заиндевевших спальнях мешках в мокрых палатках, но, в сущности, всем оставалось лишь сидеть целыми днями на смежных плавучих льдинах, поскольку многочисленные крохотные полосы открытой воды, трещины и расселины во льду, небольшие разводья и участки тонкого ненадежного льда не позволяли двинуться ни на юг, ни на восток, ни на север.

Крозье решительно не желал поворачивать обратно на запад и северо-

запад.

Но льдины не дрейфовали в нужном направлении – на юго-восток, к устью реки Бака, – а просто кружили на месте, как паковый лед, две долгих зимы державший в плену «Эребус» и «Террор».

Наконец в субботу 22 июня, во второй половине дня, их собственная льдина дала многочисленные трещины, и Крозье скомандовал всем сесть в лодки.

Вот уже шесть дней они плыли вереницей, связанные тросами, по разводьям и каналам, слишком маленьким или коротким, чтобы идти на веслах или на парусах. У Крозье остался один секстант (более тяжелый теодолит он бросил на льду), и, пока все прочие спали, он снимал с прибора показания, когда облачная пелена ненадолго расступалась. По его подсчетам, они находились примерно в восьмидесяти пяти милях от устья реки Бака.

Крозье, теперь со дня на день ожидавший увидеть впереди узкий перешеек – гипотетический полуостров, соединяющий Кинг-Уильям с уже нанесенным на карту полуостровом Аделаида, – проснулся в лодке на рассвете среды 26 июля и обнаружил, что воздух стал холоднее, на голубом небе ни облачка и милях в пятнадцати к югу и северу виднеется земля.

Позже, собрав пять лодок вместе, Крозье встал на носу головного вельбота и крикнул:

– Люди, Кинг-Уильям – не полуостров, а остров. Теперь я уверен, что впереди, на юго-востоке и до самой реки Бак, простирается море, но я готов поспорить на свой последний соверен, что там нет суши, соединяющей мыс, который вы видите далеко на юго-западе, и мыс, виднеющийся далеко на северо-востоке. А поскольку мы, по всей вероятности, находимся севернее полуострова Аделаида, мы выполнили задачу, стоявшую перед экспедицией сэра Джона Франклина. Это Северо-Западный проход. Ей-богу, вы сделали это!

Раздались слабые возгласы радости, за которыми последовал кашель.

Если бы льдины и лодки дрейфовали на юг, через несколько недель пеших переходов и плавания люди достигли бы устья реки. Но каналы и разводья, по которым они плыли, по-прежнему открывались только в северном направлении.

Условия жизни в лодках были столь же невыносимыми, как в палатках на плавучих льдинах. Люди страдали от страшной тесноты. Даже несмотря на уложенные поперек банок доски, обеспечивающие верхние спальные места в вельботах и тендерах с надстроенными мистером Хикки бортами (разобранные сани тоже служили своего рода крестообразной палубой в

средней части переполненных тендеров и полубаркасов), мужчины во влажной шерстяной одежде днем и ночью тесно жались друг к другу. Им приходилось свешиваться за борт, чтобы испражниться (впрочем, необходимость в данном естественном отпавлении возникала все реже и реже, даже у тяжелых цинготных больных, по мере того как запасы пищи и воды иссякали), и часто неожиданная волна окатывала голые задницы и спущенные штаны мужчин, потерявших последние остатки стыдливости, после чего у них выскакивали чирьи и начинался лихорадочный озноб, не дававший уснуть долгими ночами.

Утром в пятницу 28 июля 1848 года впередсмотрящий на вельботе Крозье – самого щуплого мужчину на каждой лодке посылали на короткую мачту с подзорной трубой – заметил лабиринт каналов между льдинами, ведущий прямо к мысу на северо-западе, милях в трех от них.

Дееспособные мужчины в пяти лодках гребли – а при необходимости, когда каналы сужались, отталкивались веслами от льда, в то время как самые крепкие прорубали путь кирками и двигали лодки баграми, – восемнадцать часов кряду.

В начале двенадцатого ночи они высадились на каменистый берег в темноте, которую изредка рассеивали лишь проблески лунного света в разрывах облачной пелены, снова затянувшей небо.

Люди были слишком изнурены, чтобы выгружать сани и ставить на них тендеры и полубаркасы. Они слишком устали, чтобы распаковывать свои мокрые голландские палатки и спальные мешки.

Они упали на камни прямо там, куда дотащили тяжелые лодки по покрытому льдом и галькой берегу, темному от высокого прилива. Они спали, сбившись в кучи, согреваемые лишь слабым теплом тел своих товарищей.

Крозье даже не поставил часового. Если чудовищное существо хочет напасть на них сегодня ночью, пускай нападает. Но перед сном он потратил час на попытки снять точные показания с секстанта и определить местоположение по навигационным таблицам и картам, которые по-прежнему таскал с собой.

По его подсчетам, они провели на льду двадцать пять дней, за каковой срок прошли пешком, продрейфовали и проплыли в лодках в общей сложности сорок шесть миль на юго-юго-восток. Они снова находились на Кинг-Уильяме где-то к северу от полуострова Аделаида и теперь еще дальше от устья реки Бака, чем были двумя днями ранее: примерно в тридцати пяти милях к северо-западу от горла узкого залива по другую сторону безымянного пролива, который они просто не смогли пересечь. А

если добавить шестьдесят с лишним миль пути по заливу к устью реки и восьмьсот миль вверх по реке, в общей сложности получается более девятист миль до Большого Невольничьего озера и спасения.

Крозье аккуратно положил секстант в деревянный футляр, убрал футляр в непромокаемую сумку, нашел в вельботе влажное одеяло и расстелил его на камнях рядом с Дево и тремя спящими мужчинами. Он забылся сном в считанные секунды.

Капитану снилась Мемо Мойра, подталкивающая его к алтарной ограде, и ждущий там священник в насквозь мокрых одеяниях.

Лежа в окружении храпящих мужчин на залитом лунным светом неизвестном берегу, Крозье в своем сне закрыл глаза и высунул язык, чтобы причаститься Тела Христова.

Речной лагерь

29 июля 1848 г.

Джон Бридженс всегда – втайне от всех – сравнивал различные периоды своей жизни с различными произведениями литературы, оказавшими влияние на его жизнь.

В отрочестве и юности он время от времени видел себя то одним, то другим персонажем «Декамерона» Боккаччо или «Кентерберийских рассказов» Чосера – а далеко не все выбранные персонажи имели характер сколь-либо героический. (В течение нескольких лет отношение Бридженса к миру можно было выразить фразой «поцелуй меня в зад».)

В возрасте от двадцати до тридцати лет он чаще всего отождествлял себя с Гамлетом. Станным образом стремительно взрослеющий принц Датский (Бридженс был уверен, что за несколько недель сценического времени юноша Гамлет к пятому акту чудом превращается в зрелого мужчину по меньшей мере тридцати с лишним лет) колебался в нерешительности между словом и делом, между мотивом и действием, скованный такой глубокой и неумолимой рефлексией, которая заставляла его размышлять обо всем, даже о самой мысли. Молодой Бридженс был жертвой такой же рефлексии и, подобно Гамлету, часто задавался самым существенным из всех вопросов: быть или не быть? Тогдашний наставник Бридженса, элегантный профессор, изгнанный из Оксфорда, и первый откровенный содомит, которого молодой человек встретил в жизни, презрительно объяснял, что знаменитый монолог никоим образом не является размышлением о возможности самоубийства, но Бридженс знал лучше. Слова «так трусами нас делает стыдливость» были обращены прямо к душе юноши Джона Бридженса, глубоко неудовлетворенного своей жизнью, несчастного из-за своих противоестественных наклонностей, несчастного из-за необходимости притворяться не тем, кем он является на самом деле, несчастного в своем притворстве и несчастного в своей искренности, но в первую очередь несчастного из-за того, что он в силах лишь думать о смерти, ибо страх, что способность мыслить – «видеть сны, быть может» – сохранится и за гробом, удерживал его даже от быстрого, решительного, хладнокровного самоубийства.

К счастью, в молодости, когда он еще не стал самим собой, Джона Бридженса удерживали от самоубийства еще две вещи помимо нерешительности: книги и иронический склад ума.

В зрелые годы Бридженс чаще всего отождествлял себя с Одиссеем. Основанием для сравнения несостоявшегося ученого, превратившегося в скромного вестового, с данным литературным героем служили не столько странствия по миру, сколько гомеровский эпитет, характеризующий утомленного бесконечными скитаниями путешественника, – греческое слово, переводящееся как «хитроумный» или «лукавый», которое современники применяли для обозначения отличительной особенности Одиссея (а иные – например, Ахилл – употребляли в оскорбительном смысле). Бридженс использовал свое хитроумие не для манипуляции другими людьми, а скорее на манер одного из кожаных-деревянных или великолепных железных щитов, какими гомеровские герои прикрывались от направленных в них смертоносных пик и копий.

Он использовал свое хитроумие, чтобы стать и оставаться невидимым.

Однажды, много лет назад, во время пятилетнего плавания «Бигля», где он познакомился с Гарри Пегларом, Бридженс упомянул о данной аналогии с Одиссеем – высказав мнение, что все люди в подобном путешествии в той или иной степени являются современными Улиссами, – в разговоре с находившимся на борту естествоиспытателем (они двое часто играли в шахматы в крохотной каюте мистера Дарвина), и молодой орнитолог с печальными глазами и острым умом проницательно посмотрел на вестового и промолвил: «Но почему-то я сомневаюсь, что дома вас ждет Пенелопа, мистер Бридженс».

После этого вестовой стал еще осмотрительнее. Он понял – как понял Одиссей после многолетних странствий, – что хитростью в этом мире ничего не достичь и что гордыня всегда карается богами.

С недавних пор Джон Бридженс полагал, что литературный герой, с которым у него больше всего общего – мировоззрение, мысли, чувства, воспоминания, будущее, печаль, – это король Лир.

И подошло время последнего акта.

Они задержались на два дня у устья реки, впадавшей в безымянный пролив к югу от Кинг-Уильяма, который на деле оказался не полуостровом, а островом. В конце июля река здесь текла вольным потоком, и они смогли наполнить водой все бочонки, но никто ни разу не увидел и не поймал ни одной рыбы. Никакие животные, похоже, не приходили сюда на водопой – даже песцы. Самым большим достоинством данного места стоянки

являлось то, что незначительное углубление речной долины здесь отчасти защищало от сильного ветра и позволяло людям сохранять относительное спокойствие во время гроз, бушевавших каждую ночь.

Оба утра мужчины – с надеждой и мольбой к небесам – расстилали на камнях палатки, спальные мешки и всю одежду, без которой могли обойтись, чтобы они высохли на солнце. Солнце, разумеется, больше не показывалось. Несколько раз моросил дождь. За последние полтора месяца они видели чистое голубое небо лишь однажды – в свой последний день плавания в лодках, – и в последующие несколько дней большинству мужчин пришлось обратиться к доктору Гудсиру по поводу солнечных ожогов.

У Гудсира – как хорошо знал Бридженс, теперь исполнявший обязанности помощника врача, – осталось совсем мало лекарств в ящике, куда он сложил все медикаменты из запасов трех своих покойных коллег и свои собственные. В аптечке доброго доктора еще остались кое-какие слабительные средства (главным образом касторка и настойка ипомеи, изготовленная из семян пурпурного вьюнка); общеукрепляющие противочинготные препараты (только камфара и костяное масло, ибо все запасы настойки лобелии были израсходованы в первые месяцы после появления у людей симптомов цинги); немного опиума в качестве успокоительного; немного настоя мандрагорового корня и доверова порошка для притупления боли и только лишь медный купорос для дезинфекции ран или обработки волдырей от солнечных ожогов. Выполняя распоряжения доктора Гудсира, Бридженс пользовал купоросом единственно стонущих мужчин, которые сняли рубашки, пока гребли, и ко всем своим прочим болячкам и недугам добавили еще и сильнейшие солнечные ожоги.

Но солнца, чтобы высушить палатки, спальные мешки и парусиновые сумки, теперь не было. Люди постоянно ходили в мокрой одежде и по ночам стонали, дрожа от холода и трясясь в лихорадке.

Разведка местности, произведенная самыми здоровыми и быстроногими мужчинами, показала, что, пока они плыли в лодках и земля оставалась вне зоны видимости, они проскочили мимо глубоко врезающейся в сушу бухты, которая находилась менее чем в пятнадцати милях к северо-западу от реки, где они наконец высадились на берег. И что самое главное, все разведчики доложили, что всего десятью милями восточнее береговая линия острова изгибается и уходит на северо-восток. Если дело обстояло именно так, значит они быстро приближались к юго-восточной оконечности Кинг-Уильяма, откуда открывался кратчайший путь

с острова к заливу с устьем реки Бака.

Река Бака, цель их путешествия, находилась к юго-востоку за проливом, но капитан Крозье сообщил людям, что планирует продолжать пеший поход в восточном направлении до места, где береговая линия, сейчас тянущаяся на юго-восток, делает изгиб. Там, на юго-восточной оконечности острова, они снова станут лагерем на самой высокой возвышенности и будут наблюдать за проливом. Если в течение следующих двух недель лед вскрыется, они поплывут в лодках. В противном же случае они попытаются перетащить лодки по льду до полуострова Аделаида и, достигнув суши, направиться прямо на восток и преодолеть пятнадцать или даже меньше миль, которые, по расчетам Крозье, останутся до узкого залива, тянущегося на юг, к устью реки Бак.

В шахматах эндшпиль всегда был слабым местом Джона Бридженса. Заключительная стадия партии редко ему удавалась.

Вечером, накануне намеченного на раннее утро выступления из Речного лагеря, Бридженс аккуратно упаковал все свои пожитки – включая толстую тетрадь с дневниковыми записями, которые он вел последний год (пять полностью исписанных тетрадей он оставил на «Терроре» 22 апреля), – уложил в свой спальный мешок вместе с запиской к товарищам, содержащей наказ поделить между собой все полезные вещи, засунул в карман бушлата дневник и расческу Гарри Пеглара, а также свою старую платяную щетку, с которой не расставался уже много лет, и отправился в маленькую медицинскую палатку доктора Гудсира, чтобы попрощаться.

– Что значит – вы пойдете пройти и, возможно, не вернетесь ко времени нашего выступления в поход завтра утром? – осведомился Гудсир. – Как вас понимать, Бридженс?

– Прошу прощения, доктор, мне просто очень хочется прогуляться.

– Прогуляться, – повторил Гудсир. – Но почему, мистер Бридженс? Вы в среднем на тридцать лет старше всех уцелевших участников экспедиции, но в десять раз здоровее любого.

– По части здоровья мне всегда везло, сэр, – сказал Бридженс. – Боюсь, здесь все дело в наследственности. Или нет, скорее в той доле благоразумия, какую я выказывал на протяжении многих лет.

– Тогда почему... – начал врач.

– Просто пришло время, доктор Гудсир. Признаюсь, в далекой молодости я подумывал о карьере трагического актера. Одной из немногих вещей, усвоенных мной насчет данного ремесла, является то, что великие актеры умеют уходить со сцены вовремя, прежде чем прискучат публике или начнут переигрывать.

– Вы говорите прямо как стоик, мистер Бридженс. Последователь Марка Аврелия. Если император недоволен вами, вы идете домой, набираете теплую ванну...

– О нет, сэр, – сказал Бридженс. – Не стану скрывать, я всегда восхищался философией стоицизма, но на самом деле до смерти боялся ножей и кинжалов. Император легко заполучил бы мою голову, мою семью и земельные владения, ибо я страшный трус, когда дело доходит до острых лезвий. Я просто хочу прогуляться сегодня вечером. Быть может, вздремнуть.

– И видеть сны, быть может? – спросил Гудсир.

– Да, вот в чем трудность, – признал вестовой. Печаль и тревога – и, возможно, страх – в его голосе казались неподдельными.

– Вы действительно полагаете, что у нас нет шансов спастись? – спросил врач с искренним любопытством, лишь слегка окрашенным грустью.

Бридженс с минуту молчал. Потом наконец сказал:

– Я правда не знаю. Возможно, все зависит от того, отправили ли уже поисковую экспедицию на север от Большого Невольничьего озера или от других факторий. Я вполне допускаю, что отправили, – ведь от нас вот уже три года нет никаких известий, – а коли так, надежда на спасение есть. Я точно знаю, что если кто-нибудь из нашей экспедиции и может вернуть нас домой, то только капитан Френсис Родон Мойра Крозье. Адмиралтейство всегда недооценивало его, таково мое скромное мнение.

– Скажите это капитану сами, дружище, – сказал Гудсир. – Или, по крайней мере, сообщите ему, что вы уходите. Вы обязаны сделать это.

Бридженс улыбнулся:

– Я бы так и сделал, доктор, но мы оба прекрасно знаем, что капитан не отпустил бы меня. Он человек стоический, но не стоик. Он может заковать меня в цепи, чтобы не дать мне... уйти с миром.

– Да, – согласился Гудсир. – Но вы окажете мне великую милость, коли останетесь. В ближайшее время мне предстоит произвести ряд ампутаций, и здесь мне понадобится ваша твердая рука.

– Тут остаются другие люди, моложе меня, которые могут помочь вам и у которых руки гораздо тверже – да и сильнее – моих.

– Но ни одного столь же умного, – сказал Гудсир. – Ни одного, с кем я мог бы разговаривать, как разговариваю с вами. Я высоко ценю ваши советы.

– Благодарю вас, доктор. – Бридженс снова улыбнулся. – Я не хотел говорить вам, сэр, но я всегда испытывал дурноту от всего, связанного с

кровью и болью. С самого детства. Я почитал за великую честь возможность работать с вами в последнее время, но это занятие противно моей впечатлительной натуре. Я всегда соглашался со святым Августином, который говорил, что единственным настоящим грехом является человеческая боль. Если вы собираетесь производить ампутации, мне тем более лучше уйти. – Он протянул руку. – Прощайте, доктор Гудсир.

– Прощайте, Бридженс. – Доктор крепко пожал руку пожилого мужчины обеими руками.

Бридженс двинулся из лагеря в северо-восточном направлении, выбрался из неглубокой речной долины – как и повсюду на острове Кинг-Уильям, ни один холм или скалистый хребет здесь не поднимался на высоту более пятнадцати – двадцати ярдов над уровнем моря, – нашел каменистую грядку, свободную от снега, и зашагал по ней прочь от стоянки.

Солнце теперь заходило около десяти вечера, но Джон Бридженс решил, что не станет идти до темноты. Милях в трех от Речного лагеря он нашел на гряде сухое место, сел, вынул из кармана бушлата галету – свою дневную норму довольствия – и медленно съел. Залежалая черствая галета показалась одним из самых изысканных яств, какие он пробовал когда-либо в жизни. Бридженс забыл взять с собой воды, но зачерпнул ладонью немного снега и положил в рот, чтобы он таял там.

Закат на юго-западе являл собой прекрасное зрелище. Солнце ненадолго показалось в просвете между низкими серыми облаками и серой каменистой грядой, на несколько мгновений зависло там подобием оранжевого огненного шара – такого рода закатами любовался Одиссей, а не Лир, – а потом скрылось за горизонтом.

Спустились серые мягкие сумерки, и температура воздуха, в течение дня державшаяся на уровне двадцати – двадцати пяти градусов, сейчас быстро падала. Скоро поднимется ветер. Бридженс хотел заснуть прежде, чем с северо-запада с воем налетит еженощный ветер или над землей и проливом разбушует гроза.

Он вытащил из кармана три последних оставшихся там предмета.

Первым была платяная щетка, которой вестовой Джон Бридженс при исполнении своих обязанностей пользовался свыше тридцати лет. Он дотронулся пальцем до пушинок и ниточек, застрявших в щетине, улыбнулся с легкой иронией, понятной только ему одному, и положил щетку в другой карман.

Следующим предметом была костяная гребенка Гарри Пеглара. На ней между зубьями все еще оставалось несколько тонких каштановых волос.

Бридженс на несколько секунд крепко сжал расческу в холодном голом кулаке, а потом убрал в карман к платяной щетке.

Последним был дневник Гарри Пеглара. Бридженс наобум раскрыл тетрадь.

«Смерть, где твое жало? Ад для того, кто теперь хоть немного сомневается, што... красильщик скал...»

Бридженс покачал головой. Он знал, что последнее слово в действительности означает «сказал», что бы ни гласила размытая водой и не поддающаяся прочтению часть фразы. Он научил Пеглара читать, но так и не научил писать грамотно. Бридженс подозревал – поскольку Гарри Пеглар являлся одним из самых умных людей, каких ему доводилось встречать в жизни, – что дело здесь в некоем врожденном дефекте мозга, какого-то неизвестного медицине отдела или участка коры головного мозга, отвечающего за правильное написание слов. Даже после того, как Гарри освоил алфавит и стал читать самые сложные книги, неизменно обнаруживая глубокое понимание предмета и проницательность истинного ученого, он так ни разу и не смог написать Бридженсу даже самого короткого письма без пропущенных букв или переставленных букв и грубых орфографических ошибок в самых простых словах.

«Смерть, где твое жало?..»

Бридженс улыбнулся в последний раз, положил тетрадь в нагрудный карман бушлата, где мелкие хищники, питающиеся падалью, не доберутся до нее, поскольку он будет на ней лежать, и растянулся на камнях, подложив под щеку голые ладони.

Он пошевелился лишь раз, чтобы поднять воротник повыше и натянуть шапку пониже на лоб. Ветер крепчал, и было очень холодно. Потом он принял прежнюю позу.

Джон Бридженс заснул еще прежде, чем серый сумеречный свет окончательно померк на юго-западе.

Лагерь Спасения

13 августа 1848 г.

Через две недели они добрались до юго-восточной оконечности острова Кинг-Уильям, где береговая линия резко изгибалась и уходила на северо-восток, и там стали лагерем, чтобы передохнуть, поохотиться и подождать, не появятся ли проходы во льду пролива к югу от них. Доктор Гудсир сказал Крозье, что ему нужно время заняться больными и пострадавшими, которых они везли в пяти лодках. Место стоянки получило название Конец Земли.

Когда Крозье узнал от доктора Гудсира, что по меньшей мере пятерым мужчинам необходимо срочно ампутировать ноги – а это означало, понимал он, что ни один из этих пятерых не двинется дальше, ибо даже у ходячих матросов больше не осталось сил, чтобы тащить лишний груз в лодках, – он переименовал открытый всем ветрам мыс в лагерь Спасения.

Идея, поданная Гудсиром и до сих пор обсуждавшаяся капитаном только с ним одним, заключалась в том, чтобы врач остался здесь с людьми,правляющимися после ампутации. Четверых Гудсир уже прооперировал, и пока никто из них не умер; последнего человека, мистера Диггла, он собирался оперировать сегодня утром. Все прочие матросы, слишком больные или изнуренные, чтобы продолжать путь, могли по желанию остаться с Гудсиром и мужчинами, перенесшими ампутацию, в то время как Крозье, Дево, Кауч, верный боцманмат Джонсон и все, у кого еще остались силы, поплывут на юг, когда – или если – лед снова вскрыется. Потом эта маленькая группа, путешествуя налегке, поднимется вверх по реке до Большого Невольничьего озера и вернется обратно вместе со спасательным отрядом весной – или даже через месяц-другой, еще до наступления зимы, если вдруг свершится чудо и они встретятся со спасательным отрядом, следующим по реке на север.

Крозье знал, что вероятность такого чуда мала, а вероятность, что хоть кто-нибудь из больных в лагере Спасения доживет до следующей весны, коли помощь не подоспеет раньше, не имеет смысла даже обсуждать. Первые два летних месяца 1848 года они крайне редко возвращались с охоты с добычей, и в августе положение дел не изменилось. Для рыбной

ловли лед был слишком толстым повсюду, если не считать малочисленных узких расселин и редких полыней, не замерзающих круглый год; и они не сумели поймать ни одной рыбы, даже пока плыли в лодках. Как смогут Гудсир и несколько других мужчин, ухаживающих за умирающими, продержаться здесь целую зиму? Крозье знал, что врач подписал себе смертный приговор, вызвавшись остаться с обреченными людьми, и Гудсир знал, что капитан знает это. Ни один, ни другой не говорил об этом вслух.

Однако на данный момент в силе оставался именно такой план действий, если только Гудсир не передумает сегодня утром или если вдруг не случится подлинное чудо и лед не вскрыется на всем пути к побережью материка сейчас, на второй неделе августа, в каком случае они все смогут пуститься в плавание на двух потрепанных вельботах, двух тендерах и одном растрескавшемся полубаркасе, взяв с собой всех безногих инвалидов, до предела истощенных и неспособных держаться на ногах от слабости людей и самых тяжелых цинготных больных.

«В качестве возможной пищи?» – думал Крозье.

Это был следующий вопрос, стоявший на повестке дня.

Теперь капитан постоянно носил с собой два пистолета, когда выходил из палатки, – свой большой револьвер в правом кармане шинели, как обычно, и двухзарядный дуствольный маленький пистолет (который американский капитан дальнего плавания, много лет назад продавший его Крозье, презрительно называл «пугачом для речных крыс») – в левом. Он больше не повторял однажды допущенной ошибки и никогда одновременно не отправлял на задание самых надежных своих людей – Кауча, Дево, Джонсона и нескольких других, – оставляя в лагере недовольных вроде Хикки, Эйлмора и придурковатого верзилы Мэнсона. И со дня, когда месяц с лишним назад в Госпитальном лагере едва не вспыхнул мятеж, Френсис Крозье не доверял второму лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону, своему баковому старшине Рубену Мейлу и фор-марсовому старшине «Эребуса» Роберту Синклеру.

Открывавшийся из лагеря Спасения вид наводил уныние. Небо вот уже две недели затягивала плотная пелена низких облаков, и Крозье не мог воспользоваться секстантом. Снова начал дуть крепкий северо-западный ветер, и стало заметно холоднее, чем было два последних месяца. Пролив к югу от острова Кинг-Уильям по-прежнему представлял собой сплошную массу льда, но не ровного, пересеченного редкими торосными грядами, по какому они давным-давно совершали переход от «Террора» к лагерю, а изобилующего айсбергами и флобергами, часто искрещенного торосными грядами, с редкими полынями, в которых десятью футами ниже

поверхности льда чернела вода, но которые никуда не вели, и бесчисленными остроугольными сераками и ледяными валунами. Крозье не верил, что хоть один человек в лагере Спасения – в том числе и великан Мэнсон – готов двинуться в путь, пусть даже с единственной лодкой, через этот ледяной лес и эти цепи ледяных гор.

Грохот, резкий треск, скрежет и стоны льда, теперь не стихавшие ни днем ни ночью, оставались последней их надеждой. Лед содрогался в мучительных конвульсиях. Время от времени далеко от берега открывались крохотные каналы, иногда державшиеся часами. Потом они закрывались с оглушительным грохотом. Торосные гряды до тридцати футов высотой вырастали в считанные секунды, а через несколько часов рушились с такой же скоростью, с какой возникали новые. Айсберги раскалывались и рассыпались на куски под давлением льда, напирающего со всех сторон.

«Еще только 13 августа», – говорил себе Крозье. Но разумеется, поскольку лето уже близилось к концу, настало время думать не «еще только 13 августа», а «уже 13 августа». Зима была не за горами. «Эребус» и «Террор» застряли во льдах неподалеку от Кинг-Уильяма 15 сентября 1846 года и потом так уже и не сдвинулись с места.

«Еще только 13 августа», – повторял себе Крозье. Если только Небо ниспошлет маленькое чудо, у них еще осталось время, чтобы пересечь пролив под парусом или на веслах – возможно, перетаскивая лодки волоком на отдельных коротких участках пути, – преодолеть в общей сложности семьдесят пять миль, по его расчетам остававшиеся до устья реки, и там переоснастить потрепанные лодки для путешествия вверх по реке. Если повезет еще немного, сам залив за замерзшим проливом окажется свободным от льда на протяжении всех шестидесяти миль пути – из-за неизбежно сильного в летнюю пору течения Большой Рыбной, несущей свои сравнительно теплые воды на север. На самой же реке им ежедневно придется выкладываться на все сто в попытке опередить наступающую зиму, ценой невероятных усилий продвигаясь вверх по течению, – но все же такое путешествие возможно.

Теоретически.

Сегодня утром – в воскресенье, если Крозье не сбился со счета, – Гудсир производил последнюю ампутацию при помощи своего нового ассистента Томаса Хартнелла, а потом Крозье планировал собрать людей на своего рода богослужение.

Там он объявит, что Гудсир остается здесь с инвалидами и тяжелыми цинготными больными, и сообщит о своем намерении двинуться дальше с несколькими самыми здоровыми мужчинами и по меньшей мере с двумя

лодками, вскрыется лед или нет.

Если Рубен Мейл, Ходжсон, Синклер или заговорщики из числа приспешников Хикки пожелают выдвинуть иной план действий, не оспаривая власти своего капитана, Крозье был готов не только обсудить все предложения, но и согласиться с ними. Чем меньше людей останется в лагере Спасения, тем лучше – особенно если от них отделятся самые неблагонадежные.

Из хирургической палатки слышались душераздирающие вопли: доктор Гудсир приступил к ампутации левой ноги мистера Диггла, пораженной гангреной.

Крозье, с пистолетом в одном и другом кармане шинели, отправился на поиски Томаса Джонсона, чтобы велеть тому собрать людей.

Мистер Диггл, всеми любимый участник экспедиции и превосходный кок, с которым Френсис Крозье много лет прослужил в экспедициях на оба полюса и которого, к великой радости команды «Террора», перед самым отплытием переманил с корабля сэра Джона, умер от потери крови и ряда осложнений сразу после операции и за считанные минуты до переклички.

Каждый раз, когда оставшиеся в живых участники экспедиции проводили на стоянке более двух дней, боцманы чертили палкой на снегу и гравии на каком-нибудь сравнительно ровном участке местности приблизительные контуры верхней и жилой палуб «Эребуса» и «Террора», чтобы люди знали, где стоять во время переклички. В первые дни в лагере «Террор» и позже на пространстве, ограниченном контурами верхней палубы одного корабля, порой возникала толкотня и неразбериха, когда сотня с лишним человек с обоих судов пыталась разместиться там, но сейчас численность отряда сократилась до численности команды единственного корабля.

В тишине, наступившей после переклички и предшествовавшей короткой проповеди Крозье, – в тишине, казавшейся тем более глубокой после пронзительных криков мистера Диггла, – капитан обвел взглядом толпу оборванных, бородатых, грязных мужчин с ввалившимися глазами, сгорбленных и бессильно свесивших руки по бокам на манер усталых обезьян, каковая поза означала строевую стойку.

Из тринадцати офицеров с «Эребуса» девять умерли: сэр Джон, командор Фицджереймс, лейтенант Грэм Гор, лейтенант Г. Т. Д. Левеконт, лейтенант Фейрхольм, старший помощник Серджент, второй лоцман Коллинз, ледовый лоцман Рейд и главный судовой врач Стенли. Из офицеров к настоящему времени в живых остались старший и второй

помощники, Дево и Кауч, фельдшер Гудсир (он встал в строй с некоторым опозданием и сутулился еще сильнее прочих мужчин, не в силах поднять взгляд от усталости и уныния) и старший интендант Чарльз Гамильтон Осмер, переборовший тяжелую пневмонию для того только, чтобы свалиться с цингой.

От внимания Крозье не ускользнуло то обстоятельство, что все военноморские офицеры с «Эребуса» умерли, а уцелевшие являлись простыми старшинами или гражданскими лицами, получившими почетное офицерское звание на время службы на корабле.

Все три мичмана с «Эребуса» – инженер Джон Грегори, боцман Томас Терри и плотник Джон Уикс – умерли.

«Эребус» отошел от берегов Гренландии с двадцать одним унтер-офицером на борту, и к данному моменту пятнадцать из них оставались живы, хотя иные – как, например, вестовой старшего интенданта Уильям Фаулер, так и не оправившийся полностью после ожогов, полученных во время карнавала, – были просто голодными ртами, которые приходилось ежедневно кормить.

На поверке, проведенной в Рождество 1845 года, на «Эребусе» насчиталось бы девятнадцать матросов. К настоящему времени пятнадцать из них все еще были живы.

Из семи морских пехотинцев из команды «Эребуса», присутствовавших на перекличке в начале плавания, до августа 1848 года дожили трое – капрал Пирсон и рядовые Хопкрафт и Хили, – но все они слишком тяжело болели цингой, чтобы нести караул или ходить на охоту, а уж тем более тащить лодки. Но сегодня утром они стояли среди других оборванных, сгорбленных мужчин, тяжело опираясь на мушкеты.

Оба юнги, числившиеся в списке команды «Эребуса», – Дэвид Янг и Джордж Чемберс, которым было по восемнадцать, когда два корабля отплыли от берегов Англии, – остались в живых, но Чемберс получил сильнейшее сотрясение мозга при столкновении с чудовищным зверем во время карнавала и с ночи пожара превратился практически в идиота. Тем не менее он мог идти в упряжи, когда приказывали, есть, когда предлагали, и самостоятельно дышать.

Таким образом, согласно только что проведенной перекличке, из шестидесяти пяти членов экипажа «Эребуса» к 13 августа 1848 года в живых осталось тридцать девять человек.

С офицерским составом «Террора» дела обстояли чуть лучше – по крайней мере в том смысле, что два старших морских офицера, капитан Крозье и второй лейтенант Ходжсон, пока были живы. Вторым помощником

Роберт Томас и мистер И. Дж. Хелпмен – секретарь Крозье и еще один штатский, служивший в экспедиции в офицерском звании, – являлись двумя другими уцелевшими.

Сегодня на переключке отсутствовали лейтенанты Литтл и Ирвинг, а также старший помощник Хорнби, ледовый лоцман Блэнки, второй лоцман Макбин и оба судовых врача Крозье, Педди и Макдональд.

Четверо из одиннадцати офицеров «Террора» по-прежнему оставались в живых.

Крозье начинал плавание с тремя мичманами в составе команды – инженером Джеймсом Томпсоном, боцманом Лейном и старшим плотником Томасом Хани, – и все трое до сих пор были живы, хотя инженер превратился в живые мощи и не мог даже держаться на ногах, не говоря уже о том, чтобы идти в упряжи, а мистер Хани не только обнаруживал симптомы цинги в поздней стадии, но и лишился обеих ступней в результате ампутации, проведенной накануне вечером. Невероятно, но при всем при этом плотник все еще цеплялся за жизнь и даже сумел крикнуть «здесь!» из своей палатки, когда в ходе переключки прозвучало его имя.

Три года назад «Террор» вышел в плавание с двадцать одним унтер-офицером на борту, и в это облачное августовское утро шестнадцать из них были живы – кочегар Джон Торрингтон, фор-марсовый старшина Гарри Пеглар и интенданты Кенли и Родс оставались единственными выбывшими из данной группы, пока буквально несколько минут назад к ним не присоединился кок Джон Диггл.

Из девятнадцати матросов «Террора», некогда откликавшихся на свое имя в ходе проверки, сегодня откликнулось десять, хотя в живых оставалось одиннадцать: Дэвид Лейс, по-прежнему находящийся в коме и ни на что не реагирующий, лежал в палатке доктора Гудсира.

Из шести морских пехотинцев, числившихся в списках личного состава британского военного корабля «Террор», в живых не осталось никого. Рядовой Хизер, протянувший много месяцев со своим проломленным черепом, наконец скончался на второй день после выступления из Речного лагеря, и его тело было брошено на каменистом берегу, без похорон или прощальных слов.

В списках команды «Террора» изначально числились двое юнг, и сегодня на проверке один из них – Роберт Голдинг, без малого двадцати трех лет от роду и, уж конечно, давно не мальчик, хотя по-детски легковверный (Крозье часто видел, как он внимает речам Корнелиуса Хикки), – откликнулся на свое имя.

Из шестидесяти двух членов экипажа «Террора» тридцать пять дожили до богослужения, которое проводилось в лагере Спасения 13 августа 1848 года.

В живых осталось тридцать девять членов экипажа «Эребуса» и тридцать пять членов экипажа «Террора» – в общей сложности семьдесят четыре человека из ста двадцати шести, отплывших от берегов Гренландии летом 1845 года.

Но четверым из них за последние сутки ампутировали одну или обе ступни, и по меньшей мере еще двадцать были слишком больны, слишком тяжело травмированы, слишком истощены или слишком слабы, чтобы продолжать путь.

Пришло время принять решение.

– Всемогущий Боже, – нараспев начал Крозье измученным хриплым голосом, каким только и говорил теперь, – к Которому восходит дух почивших во Христе и с Которым души правоверных, освобожденные от бремени плоти, пребывают в радости и счастье, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты соблаговолил избавить нашего брата Джона Диггла, тридцати девяти лет, от горестей сего греховного мира, и молим Тебя, коли будет на то Твоя милосердная воля, в скором времени принять и всех нас, собравшихся здесь, в круг Твоих избранных и таким образом ускорить пришествие Твоего царства, дабы мы, вместе со всеми почившими в истинной вере в Твое святое Имя, достигли совершенства и обрели блаженство в теле и духе, осиянные Твоей вечной славой, через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

– Аминь, – хором прохрипели шестьдесят два мужчины, еще способные стоять в строю.

– Аминь, – донеслись слабые голоса остальных двенадцати, лежавших в палатках.

Крозье не распустил собрание.

– Офицеры и матросы британских военных кораблей «Эребус» и «Террор», участники экспедиции сэра Джона Франклина, товарищи по плаванию! – громко произнес он. – Сегодня нам предстоит определиться с выбором дальнейших действий. Все вы – согласно уставу обоих кораблей и уставу Королевской службы географических исследований, письменное обязательство исполнять которые вы скрепили словом чести, – находитесь под моим командованием и будете находиться, покуда я не уволю вас. До сих пор вы выполняли приказы сэра Джона, капитана Фицджереймса и мои – и правильно делали. Многие наши друзья и товарищи перешли в мир иной,

но семьдесят четыре человека упорствуют. В сердце своем я твердо решил, что все вы, находящиеся сегодня в лагере Спасения, должны выжить и вернуться в Англию, в свои дома, к своим семьям, и, видит бог, я сделаю все от меня зависящее, чтобы наши усилия увенчались успехом. Но сегодня я предоставляю вам самостоятельно выбрать путь, которым вы намерены достичь цели.

Мужчины начали переговариваться приглушенными голосами. Крозье помолчал несколько секунд, а затем продолжил:

– Наши планы вам известны: доктор Гудсир остается здесь с больными и увечными, которые не в состоянии продолжить путешествие, а самые здоровые двинутся дальше к реке. Есть ли среди вас такие, кто хочет попробовать найти иной путь к спасению?

Наступило молчание, мужчины принялись переглядываться и переминались с ноги на ногу, но потом вперед выступил Ходжсон:

– Сэр, среди нас действительно есть такие, сэр. Те, кто хочет вернуться обратно, капитан Крозье.

Несколько долгих мгновений капитан молча смотрел на молодого офицера. Он знал, что Ходжсон служит своего рода прикрытием для Хикки, Эйлмора и нескольких самых ревностных их приспешников, которые вот уже много месяцев исподволь подстрекали людей к мятежу, но задавался вопросом, знает ли об этом сам молодой Ходжсон.

– Обратно куда, лейтенант? – наконец спросил Крозье.

– К кораблю, сэр.

– Вы полагаете, что «Террор» по-прежнему находится там, лейтенант?

Словно в подкрепление вопроса, над морским льдом к югу от них прокатился грохот, похожий на серию пушечных выстрелов и тяжелый гул. Айсберг в сотне ярдов от берега раскололся и рассыпался на куски.

Ходжсон по-детски пожал плечами:

– Лагерь «Террор» никуда не делся, что бы ни случилось с кораблем, капитан. Мы оставили там провиант, уголь и лодки.

– Верно, – сказал Крозье. – И сейчас все мы с великой радостью воспользовались бы теми запасами продовольствия, даже консервированными продуктами, ставшими причиной ужасной смерти нескольких из нас. Но, лейтенант, отсюда до лагеря «Террор» восемьдесят – девяносто миль и почти сто дней пути. Неужели вы и прочие действительно полагаете, что сможете добраться до него – налегке ли, с лодками ли – перед лицом наступающей зимы? К тому времени, когда вы достигнете хотя бы только лагеря, будет конец ноября. Кромешная тьма. А вы помните морозы и грозы прошлого ноября?

Ходжсон кивнул и ничего не сказал.

– Мы не собираемся идти до конца ноября, – сказал Корнелиус Хикки, выступая из строя и становясь рядом со сгорбленным молодым лейтенантом. – Мы думаем, лед вдоль берега вскрылся на всем протяжении обратного пути. Мы пойдем под парусом и на веслах вокруг чертова мыса, по которому волокли пять лодок, точно египетские рабы, и будем в лагере «Террор» через месяц.

Мужчины стали украдкой перешептываться.

Крозье кивнул:

– Возможно, лед действительно вскрылся для вас, мистер Хикки. А возможно, и нет. Но даже если и вскрылся, отсюда все равно более ста миль пути до корабля, который вполне мог разрушиться за последние несколько месяцев и уж точно будет намертво затерт льдами ко времени, когда вы до него доберетесь. Отсюда до устья реки по меньшей мере на тридцать миль меньше, и вероятность, что залив к югу от нас свободен от льда, значительно выше.

– Вы нас не переубедите, капитан, – твердо сказал Хикки. – Мы все обсудили между собой и постановили возвращаться.

Крозье пристально смотрел на помощника конопатчика. У него возникло свойственное каждому капитану инстинктивное желание немедленно пресечь любые проявления неповиновения, причем крайне резко и решительно, но он напомнил себе, что именно этого и хотел. Настало время избавиться от недовольных и спасти тех, кто полагался на здравый смысл своего командира. Вдобавок план Хикки мог даже оказаться осуществимым. Все зависело от того, где вскрылся лед – если он вообще вскрылся где-нибудь в течение лета. Люди заслуживали права самостоятельно выбрать свой последний шанс.

– Сколько человек идет с вами, лейтенант? – спросил Крозье, обращаясь к Ходжсону, как если бы тот действительно являлся командиром группы.

– Ну... – начал молодой человек.

– Магнус идет, – сказал Хикки, давая великану знак выйти из строя. – И мистер Эйлмор.

Угрюмый кают-компанейский вестовой неспешно выступил вперед, с вызовом и нескрываемым презрением глядя на Крозье.

– И Джордж Томпсон... – продолжал помощник конопатчика.

Крозье не удивился, что Томпсон примкнул к группе заговорщиков под водительством Хикки. Этот матрос всегда отличался наглостью и ленью и – пока не кончился ром – напивался при каждой возможности.

– Я тоже иду... сэр, – сказал Джон Морфин, становясь рядом с прочими.

Уильям Оррен, которому только что стукнуло двадцать шесть, молча выступил из строя и присоединился к группе Хикки.

За ним последовали Джеймс Браун и Френсис Данн – конопатчик и помощник конопатчика с «Эребуса».

– Мы думаем, это наш единственный шанс, капитан, – промолвил Данн и опустил глаза.

Крозье ждал, когда о своих намерениях объявят Рубен Мейл и Роберт Синклер, – сознавая, что, если большинство стоящих в строю мужчин присоединятся к группе Хикки, его собственные планы двинуться дальше на юг рухнут, – и немало удивился, когда вперед медленно вышли Уильям Гибсон, офицерский вестовой с «Террора», и кочегар Льюк Смит. Они исправно служили на корабле и были выносливыми упряжными.

Чарльз Бест – благонадежный матрос «Эребуса», всегда хранивший преданность лейтенанту Гору, – выступил из строя вместе еще с четырьмя матросами, последовавшими за ним: Уильямом Джерри, Томасом Уорком, серьезно пострадавшим во время карнавала, молодым Джоном Стиклендом и Абрахамом Сили.

Перед капитаном стояли шестнадцать человек.

– Так, значит, это все? – спросил Крозье, ощущая разлившийся в животе холодок облегчения, от которого мучительно засосало под ложечкой, как от голода, теперь ни на миг не отпускавшего.

Перед ним стояли шестнадцать человек; им понадобится одна лодка, но без них у него остается еще вполне достаточно верных людей, чтобы отправиться вместе с ними к реке, оставив нескольких ухаживать за больными здесь, в лагере Спасения.

– Я отдам вам полубаркас, – сказал он Ходжсону.

Лейтенант благодарно кивнул.

– Полубаркас весь разбит и оснащен для речного плавания, а тащить сани – только задницу рвать, – заявил Хикки. – Мы возьмем вельбот.

– Вы возьмете полубаркас, – отрезал Крозье.

– Мы хотим также взять с собой Джорджа Чемберса и Дейви Лейса, – сказал помощник конопатчика, который стоял перед своими людьми, сложив на груди руки и расставив ноги, точно Наполеон из кокни.

– Черта с два, – сказал Крозье. – С какой стати вам брать с собой двух человек, которые не в состоянии сами о себе заботиться?

– Джордж может идти в упряжи, – сказал Хикки. – И мы все время ухаживали за Дейви и хотим ухаживать и впредь.

– Нет, – сказал доктор Гудсир, выступая вперед и становясь между Крозье и людьми Хикки, – вы не ухаживали за мистером Лейсом, и вы хотите взять его и Джорджа Чемберса не в качестве спутников. Они вам нужны в качестве пищи.

Лейтенант Ходжсон растерянно заморгал, не веря своим ушам, но Хикки сжал кулаки и дал знак Магнусу Мэнсону. Коротышка и верзила одновременно шагнули вперед.

– Стойте, где стоите! – проревел Крозье.

Позади него три оставшихся в живых морских пехотинца – капрал Пирсон, рядовой Хопкрафт и рядовой Хили, – явно больные и еле державшиеся на ногах, вскинули свои длинные мушкеты и прицелились.

Что еще важнее, старший помощник Дево, помощник Эдвард Кауч, боцман Джон Лейн и боцманмат Том Джонсон взяли на изготовку свои дробовики.

– У нас тоже есть ружья! – прорычал Корнелиус Хикки.

– Нет, – сказал капитан Крозье. – Пока вы находились на переключке, старший помощник Дево собрал все оружие. Если вы мирно уйдете завтра, вы получите один дробовик и патроны. Если вы сейчас сделаете еще хоть шаг, вы все получите заряд дробы в лицо.

– Вы все умрете. – Корнелиус Хикки наставил костлявый палец на людей, молча стоявших в строю на своих местах, и повел рукой по широкой дуге, словно тощий флюгер. – Если вы пойдете за Крозье и остальными дураками, вы все умрете. – Помощник конопатчика повернулся к врачу. – Доктор Гудсир, мы прощаем вам ваши слова насчет того, почему мы хотим спасти Джорджа Чемберса и Дейви Лейса. Пойдемте с нами. Вы не сможете спасти этих людей... – Хикки презрительно указал на провисшие мокрые палатки, где лежали больные. – Они уже мертвы, просто еще не знают этого, – продолжал он голосом, на удивление громким и звучным для столь тщедушного человечка. – А мы выживем. Пойдемте с нами, и вы снова увидите своих близких, доктор Гудсир. Если вы останетесь здесь – или даже присоединитесь к Крозье, – вы покойник. Пойдемте с нами.

Гудсир по рассеянности вышел из палатки в очках и сейчас снял их и принялся неторопливо протирать мокрые стекла окровавленной полкой своего шерстяного жилета. Невысокий и щуплый, с по-детски пухлыми губами и скошенным подбородком, лишь частично прикрытым курчавой бородкой, которая отросла под жидкими бакенбардами, Гудсир казался совершенно спокойным. Он снова водрузил очки на нос и посмотрел на Хикки и стоявших за ним мужчин.

– Мистер Хикки, – негромко промолвил он, – я благодарен вам за великодушное предложение спасти мою жизнь, но должен вам заметить, что вы не нуждаетесь во мне для того, чтобы осуществить задуманное, а именно расчленить тела ваших товарищей с целью обеспечить себя запасом мяса.

– Я не... – начал Хикки.

– Даже дилетанту не составляет труда освоить диссекционную анатомию, – перебил Гудсир достаточно громким голосом, чтобы заставить помощника конопатчика замолчать. – Когда один из джентльменов, взятых вами в качестве личного запаса пищи, умрет – или когда вы поможете ему умереть, – вам нужно всего-навсего заточить нож поострее и начать резать.

– Мы не собираемся... – проорал Хикки.

– Но я настоятельно рекомендую вам прихватить с собой пилу, – возвысив голос, продолжил Гудсир. – Одна из пил мистера Хикки вполне подойдет вам. Ножом вы легко отсечете пальцы и срежете мясо с голеней, бедер и живота, но вам наверняка понадобится пила, чтобы отделить от туловища руки и ноги.

– Черт вас побери! – истерически выкрикнул Хикки.

Он двинулся вперед вместе с Магнусом Мэнсоном, но остановился, когда помощники капитана и морские пехотинцы снова вскинули мушкеты и дробовики.

Сохраняя полную невозмутимость и даже не глядя на Хикки, врач указал на огромного Магнуса Мэнсона, как если бы он являлся анатомической таблицей, висящей на стене:

– Когда приступаешь к делу, оно оказывается немногим сложнее, чем разделка рождественского гуся. – Он прочертил в воздухе несколько вертикальных линий в области верхней половины туловища Мэнсона и одну горизонтальную чуть ниже пояса. – Руки следует отрезать в месте плечевого сустава, разумеется, но, чтобы отрезать ноги, вам придется распилить тазовые кости.

У Хикки вздулись жилы на шее и бледное лицо покраснело, но он не произнес ни слова, в то время как Гудсир продолжал:

– Я бы воспользовался своей маленькой пястной пилой, чтобы отрезать ноги на уровне колена и, разумеется, руки на уровне локтя, а потом взялся бы за скальпель, чтобы отсечь отборные части – бедра, ягодицы, бицепсы, трицепсы, дельтовидные и икроножные мышцы. Только потом вы приступаете к разделке грудной клетки – срезаете грудные мышцы – и добираетесь до подкожного жира, который у вас, джентльмены, мог сохраниться в области лопаток, по бокам и на пояснице. Конечно,

количество жировых отложений и мышц будет незначительным, но я уверен, мистер Хикки употребит по назначению все до единой съедобные части ваших тел.

Один из матросов позади Крозье упал на колени, корчась от рвотных позывов.

– У меня есть специальный анатомический инструмент для отделения ребер от грудины, – негромко сказал Гудсир, – но, боюсь, я не могу одолжить его вам. Хороший молоток и зубило – они входят в набор инструментов, имеющийся в каждой лодке, – послужат вам для данной цели почти столь же успешно. Я бы посоветовал вам сначала срезать и съесть все мясо с костей, а головы, кисти, ступни и внутренности – все содержимое мягкой брюшной полости – ваших друзей оставить на потом... Предупреждаю: раскалывать длинные кости, чтобы извлечь из них костный мозг, труднее, чем вы думаете. Вам понадобится какой-нибудь скребковый инструмент – вроде стамески мистера Хани, предназначенной для резьбы по дереву. И учтите: костный мозг, извлеченный из сердцевины костей, будет комковатым и красным... и смешанным с острыми осколками и фрагментами кости, а потому есть его сырым небезопасно. Я рекомендую вам класть костный мозг ваших товарищей в котелок и кипятить несколько минут на медленном огне, прежде чем употребить в пищу.

– Да пошел ты... – прорычал Корнелиус Хикки.

Доктор Гудсир кивнул.

– Ах да, еще одно, – мягко добавил он. – Когда вы перейдете к поеданию мозгов друг друга, это будет проще простого. Просто отпилите нижнюю челюсть и выбросите прочь вместе с нижними зубами, а затем воспользуйтесь любым ножом, чтобы пробить и прорубить мягкое нёбо и проникнуть в черепную полость. Если пожелаете, можете перевернуть череп и сидеть вокруг него, зачерпывая мозг ложкой, точно рождественский пудинг.

С минуту все молчали: тишину нарушал лишь шум ветра и треск, скрип, стоны льда.

– Есть еще желающие покинуть лагерь завтра? – громко спросил капитан Крозье.

Рубен Мейл, Роберт Синклер и Сэмюел Хани – баковый старшина «Террора», фор-марсовый старшина «Эребуса» и кузнец «Террора» соответственно – выступили вперед.

– Вы уходите с Хикки и Ходжсоном? – спросил Крозье.

Он постарался не выдать потрясения, которое испытал.

– Нет, сэр, – сказал Рубен Мейл, помотав головой. – Мы не с ними. Но

мы хотим попытаться вернуться к «Террору».

– Лодка нам не нужна, сэр, – сказал Синклер. – Мы попробуем пройти по суше. Пересечь остров. Может, мы найдем песцов или еще каких-нибудь животных, обитающих в удалении от моря.

– Вам будет трудно ориентироваться на местности, – сказал Крозье. – От компасов здесь толку никакого, а я не могу отдать вам свой последний секстант.

Мейл потряс головой:

– Не беспокойтесь, капитан. Мы будем пользоваться счислением пути. Если чертов ветер дует нам в рыло – извиняюсь за выражения, капитан, – значит мы идем в верном направлении.

– Я служил матросом, прежде чем стал кузнецом, сэр, – сказал Сэмюел Хани. – Мы все моряки. Если нам не суждено умереть в море, возможно, нам удастся умереть хотя бы на борту нашего корабля.

– Хорошо, – сказал Крозье, обращаясь ко всем мужчинам, по-прежнему стоявшим там, и стараясь говорить так, чтобы его услышали и больные в палатках. – Мы соберемся в шесть склянок и поделим оставшиеся у нас галеты, ром, табак и прочие припасы. Поровну на каждого. Даже на людей, прооперированных вчера и сегодня. Все увидят, сколько чего у нас осталось, и все получат по равной доле. Отныне каждый из вас – кроме тех, кого кормит доктор Гудсир, – будет сам определять свою дневную норму питания.

Крозье холодно посмотрел на Хикки, Ходжсона и прочих:

– Ваши люди – под надзором мистера Дево – приготовят полубаркас к походу. Вы выступите завтра на рассвете, и до той поры я не желаю вас видеть, кроме как при дележе снаряжения и продовольствия в шесть склянок.

Лагерь Спасения

15 августа 1848 г.

В течение двух дней после ампутаций, смерти мистера Диггла, переклички, обнаружения планов мистера Хикки и дележа жалких остатков продовольствия врач не испытывал желания вести дневник. Он бросил замызанную тетрадь в кожаном переплете в свою походную медицинскую сумку и оставил там.

Великий Дележ (как Гудсир уже мысленно его называл) оказался делом печальным и томительно долгим, затянувшимся почти на весь арктический августовский вечер. Вскоре стало ясно, что – по крайней мере в части продовольствия – никто никому не доверяет. Казалось, всех снедала неотступная тревога, будто кто-то прячет пищу, утаивает пищу, не желает делиться с другими. Потребовались многие часы, чтобы разгрузить все лодки, выложить все припасы, обшарить все палатки, разобрать запасы мистера Диггла и мистера Уолла при участии представителей от каждого отряда людей с обоих кораблей – офицеров, мичманов, унтер-офицеров, матросов, – производя поиски и раздачу съестного под алчными взглядами остальных мужчин.

Томас Хани умер ночью после Дележа. Гудсир велел Томасу Хартнеллу поставить в известность капитана, а потом помог зашить труп плотника в спальный мешок. Два матроса отнесли его к сугробу в сотне ярдов от лагеря, где уже лежало окоченевшее тело мистера Диггла. Оставшиеся в живых снова начали проводить похороны и заупокойные службы – не по приказу капитана или принятому путем голосования решению, а просто по единодушной молчаливой договоренности.

«Не для того ли мы положили трупы в сугроб, чтобы они не испортились и сохранились в качестве будущей пищи?» – думал врач.

Он не мог ответить на собственный вопрос. Он знал одно: подробно объясняя Хикки и всем прочим собравшимся мужчинам методику расчленения человеческого тела, призванного послужить пищей (что он делал намеренно, ибо перед перекличкой обсудил с капитаном такой тактический ход), Гарри Д. С. Гудсир с ужасом обнаружил, что у него текут слюнки.

И врач знал, что он явно не одинок в такой своей реакции на мысль о свежем мясе... не важно чем.

Лишь горстка мужчин собралась на рассвете следующего дня, понедельника 14 августа, чтобы посмотреть, как Хикки и пятнадцать его спутников покидают лагерь со своим полубаркасом, установленным на разбитых санях. Гудсир тоже пришел проводить их, предварительно удостоверившись, что мистер Хани тайно погребен в сугробе.

Он опоздал на проводы трех мужчин, выступивших из лагеря раньше. Мистер Мейл, мистер Синклер и Сэмюел Хани – не приходившийся родственником недавно скончавшемуся плотнику – еще до рассвета выступили в свой запланированный поход через остров, взяв с собой только рюкзаки, спальные мешки из шерстяных одеял, немного галет, воду и один дробовик с патронами. Они не взяли даже единственной голландской палатки, рассчитывая укрываться в вырытых в сугробах пещерах в случае, если зима застигнет их в пути. Гудсир решил, что трое мужчин, по всей вероятности, попрощались с товарищами накануне вечером, поскольку они покинули лагерь еще прежде, чем серый свет нового утра забрезжил над южным горизонтом. Мистер Кауч позже сказал доктору Гудсиру, что они направились на север, вглубь острова и прочь от берега, и планировали повернуть на северо-запад на второй или третий день путешествия.

Врач крайне удивился тому, насколько тяжело люди Хикки – в противоположность трем упомянутым мужчинам, отправившимся в путь налегке, – нагроутили свою лодку. Все обитатели лагеря, включая Мейла, Синклера и Сэмюела Хани, избавлялись от бесполезных предметов – щеток для волос, гребенок, книг, полотенец, несессеров для письменных принадлежностей, – жалких остатков цивилизованной жизни, которые они тащили с собой сто дней и теперь не желали тащить дальше, и по какой-то необъяснимой причине Хикки и его люди погрузили в свой полубаркас значительную часть этого хлама вместе с палатками, спальными мешками и продовольствием. В одной сумке у них лежали сто пять кусков черного шоколада, завернутые каждый по отдельности, – суммарная доля этих шестнадцати мужчин от тайного запаса, прибереженного мистером Дигглом и мистером Уоллом в качестве сюрприза: по семь кусков шоколада на каждого.

Лейтенант Ходжсон обменялся рукопожатием с Крозье, и еще несколько мужчин неловко попрощались со старыми товарищами, но Хикки, Мэнсон, Эйлмор и самые озлобленные из группы не произнесли ни слова. Затем боцманмат Джонсон вручил Ходжсону незаряженный дробовик с сумкой патронов и пронаблюдал за тем, как молодой лейтенант

укладывает их в тяжело нагруженную лодку. С запряженными в сани с длинной лодкой двенадцатью мужчинами из шестнадцати и Мэнсоном в качестве головного упряжного, они покинули лагерь в тишине, нарушаемой лишь скрипом полозьев по гальке, потом по снегу, потом снова по камням и снова по льду и снегу. Через двадцать минут они скрылись из виду к западу от лагеря Спасения.

– Вы думаете о том, удастся ли им осуществить свои планы, доктор Гудсир? – спросил помощник капитана Эдвард Кауч, который стоял рядом с Гудсиром и обратил внимание на задумчивость последнего.

– Нет, – сказал Гудсир. Он так устал, что мог ответить только честно. – Я думал о рядовом Хизере.

– О рядовом Хизере? – переспросил Кауч. – Но мы же оставили его тело...

– Да, – сказал врач. – Труп морского пехотинца лежит под куском парусины рядом с нашим санным следом неподалеку от Речного лагеря, в двенадцати днях пути отсюда – даже меньше, если учесть, что многочисленная команда Хикки тащит всего один полубаркас.

– Господи Иисусе! – прошипел Кауч.

Гудсир кивнул:

– Я просто надеюсь, что они не найдут тела вестового. Мне нравился Джон Бридженс. Он был достойным человеком и заслуживает лучшей участи, чем стать кормом для мерзавцев вроде Корнелиуса Хикки.

Во второй половине дня Гудсира вызвали на совещание, проводившееся возле четырех лодок на берегу – двух вельботов, по обыкновению перевернутых вверх днищем, и двух тендеров, по-прежнему стоявших на санях, но разгруженных, – вне пределов слышимости обитателей лагеря, занятых своими обязанностями или дремлющих в палатках. Там присутствовали капитан Крозье, старший помощник Дево, старший помощник Роберт Томас, второй помощник Кауч, боцманмат Джонсон, боцман Джон Лейн и капрал морской пехоты Пирсон, который еле держался на ногах от слабости и был вынужден прислониться к растрескавшемуся корпусу перевернутого вельбота.

– Спасибо, что пришли без промедления, доктор, – сказал Крозье. – Мы собрались здесь, чтобы обсудить меры защиты на случай возвращения Корнелиуса Хикки и наши собственные планы на ближайшие недели.

– Но, капитан, – сказал врач, – вы же не ожидаете, что Хикки, Ходжсон и остальные вернутся обратно?

Крозье вскинул руки в перчатках и пожал плечами. Сыпал легкий снег.

– Возможно, он по-прежнему хочет заполучить Дэвида Лейса. Или трупы мистера Диггла и мистера Хани. Или даже вас, доктор.

Гудсир потряс головой и поделился своими мыслями насчет тел – начиная с тела рядового Хизера, – которые лежат вдоль всего обратного пути, словно склады замороженного мяса.

– Да, мы думали об этом, – сказал Чарльз Дево. – Возможно, главным образом именно поэтому Хикки считает, что сможет добраться до лагеря «Террор». Но мы все равно собираемся обеспечить круглосуточную охрану лагеря Спасения на несколько ближайших дней и отправить боцманмата Джонсона, здесь присутствующего, вместе с одним-двумя матросами, чтобы они следовали за отрядом Хикки три или четыре дня – просто на всякий случай.

– Что же касается нашего будущего, доктор Гудсир, – проскрипел Крозье, – каким оно вам видится?

Настала очередь врача пожать плечами.

– Мистер Джопсон, мистер Хелпмен и инженер Томпсон не протянут более нескольких дней, – тихо проговорил он. – Насчет пятнадцати-семнадцати остальных моих цинготных больных я просто ничего не могу сказать наверняка. Несколько из них могут выжить... в смысле, оправиться от цинги. Особенно если мы найдем для них свежее мясо. Но из восемнадцати человек, которые, возможно, останутся со мной в лагере Спасения – кстати, Томас Хартнелл вызвался остаться в качестве моего помощника, – только трое или четверо будут в состоянии охотиться на тюленей на льду или песцов в глубине острова. Причем недолго. Я полагаю, все прочие оставшиеся здесь умрут от голода не позднее пятнадцатого сентября. Большинство – раньше...

Он не стал говорить, что некоторые смогут протянуть дольше, питаясь телами умерших. А также не упомянул, что сам он, доктор Гарри Д. С. Гудсир, твердо решил не становиться людоедом, чтобы выжить, и не помогать тем, кто сочтет нужным заняться каннибализмом. Инструкции касательно расчленения тел, данные во время вчерашней переклички, были последним его словом по данному предмету. Однако при этом он никогда не осудит людей, оставшихся в лагере Спасения или продолживших путь на юг, которые в конечном счете действительно начнут поедать человечину, чтобы хоть немного продлить дни своей жизни. Если кто-нибудь в экспедиции Франклина и понимал, что человеческое тело является всего лишь физической оболочкой души – и представляет собой просто кусок мяса, когда душа уходит, – то этим человеком был их уцелевший врач и анатом, доктор Гарри Д. С. Гудсир. Решение не продлевать свою

собственную жизнь на несколько недель или даже месяцев за счет поедания человеческой плоти он принял для себя одного, по причинам нравственного и философского порядка, имевшим отношение только к нему самому.

– Возможно, у нас есть другой выбор, – тихо проговорил Крозье, словно прочитав мысли Гудсира. – Сегодня утром я решил, что отряд, планировавший выступить к реке, может задержаться в лагере Спасения еще на неделю – или даже на десять дней – в надежде, что лед вскроется и тогда мы все пустимся в путь на лодках... даже умирающие.

Гудсир нахмурился и с сомнением посмотрел на четыре лодки вокруг них.

– Разве мы все поместимся в эти несколько лодок? – спросил он.

– Не забывайте, доктор, что нас стало на девятнадцать человек меньше после ухода недовольных, – сказал Эдвард Кауч. – И еще двое умерли со вчерашнего утра. Таким образом, получается пятьдесят три человека на четыре лодки, включая нас.

– И как вы сами говорите, – добавил Томас Джонсон, – в течение следующей недели еще несколько больных умрут.

– И у нас практически не осталось пищи, чтобы тащить лодки волоком, – подал голос капрал Пирсон, который стоял, тяжело привалившись к перевернутому вельботу.

– И я решил оставить здесь все палатки, – сказал Крозье.

– А где мы будем укрываться во время грозы? – спросил Гудсир.

– На льду – под лодками, – ответил Дево. – На открытой воде – под лодочными чехлами. Я так и делал, когда пытался добраться до полуострова Бутия в прошлом марте, в самый разгар зимы, и под лодкой или в лодке теплее, чем в этих сраных палатках... прошу прощения за грубое слово, капитан.

– Я вас прощаю, – сказал Крозье. – Кроме того, каждая голландская палатка сейчас весит в три-четыре раза больше, чем в начале нашего похода. Они никогда не высыхают. Они, наверное, впитали в себя добрую половину всей арктической влаги.

– Как и наши подштанники, – сказал помощник Роберт Томас.

Все рассмеялись. Двое из них от смеха зашлись надсадным кашлем.

– Я также собираюсь оставить здесь все большие бочки для воды, кроме трех, – сказал Крозье. – Две из них, вероятно, будут уже пусты ко времени нашего отбытия. На каждой лодке будет только один маленький бочонок для хранения продуктов.

Гудсир потряс головой:

– Но каким образом вы будете утолять жажду во время плавания или

перехода через пролив?

– Мы будем утолять жажду, доктор, – сказал капитан. – Не забывайте: если лед вскрыется, вы с больными поплывете с нами, а не останетесь здесь умирать. И мы будем регулярно наполнять бочонки пресной водой, когда достигнем реки. А до тех пор... я должен сделать признание. Мы – офицеры – действительно утаили кое-что, о чем не сообщили вчера во время Дележа. Немного горючего для спиртовок, спрятанного под фальшивым дном одной из последних бочек из-под рома.

– Мы будем растапливать снег и лед, чтобы получать питьевую воду, – сказал Джонсон.

Гудсир медленно кивнул. Он настолько смирился с неизбежной скорой смертью, что мысль о возможном спасении показалась почти мучительной. Усилием воли он подавил желание снова исполниться надежды. Скорее всего, все они – команда Хикки, группа мистера Мейла и отряд Крозье – погибнут в течение следующего месяца.

И, снова словно прочитав мысли Гудсира, Крозье спросил:

– Что нам понадобится, доктор, чтобы не умереть от цинги и истощения и продержаться еще три месяца, которые, вероятно, уйдут у нас на путешествие вверх по реке до Большого Невольничьего озера?

– Свежая пища, – просто ответил врач. – Я убежден, что мы в силах поправить здоровье нескольких цинготных больных, коли добудем свежую пищу. Если не овощи и фрукты, о которых здесь, я знаю, и думать не приходится, то свежее мясо, особенно сало. Даже кровь животных поможет.

– Почему мясо и сало задерживают развитие столь страшного заболевания или даже исцеляют от него, доктор? – спросил капрал Пирсон.

– Понятия не имею, – сказал Гудсир, трясая головой. – Но я уверен в этом так же, как уверен в том, что все мы умрем от цинги, если не добудем свежего мяса... еще даже прежде, чем умрем от голода.

– Если Хикки и остальные доберутся до лагеря «Террор», послужат ли голднеровские консервированные продукты той же цели? – поинтересовался Дево.

Гудсир снова пожал плечами:

– Возможно, хотя я согласен с мнением моего покойного коллеги, фельдшера Макдональда, что свежая пища всегда лучше консервированной. И я убежден, что в голднеровских консервах содержались два типа ядов: один – действующий медленно и коварно, а другой, как в случае с бедным капитаном Фицджереймсом и другими, действующий крайне быстро и страшно. В любом случае мы, поставленные перед необходимостью искать и добывать свежее мясо или рыбу, находимся

в лучшем положении, чем они, возлагающие надежды на испорченные консервы.

– Мы надеемся, – сказал капитан Крозье, – что в открытых водах залива, среди плавучих льдин, будет полно тюленей и моржей, пока не наступит настоящая зима. А на реке мы будем время от времени останавливаться, чтобы охотиться на оленей, песцов или карибу, но, вероятно, главным образом нам придется полагаться на рыбную ловлю... которая там вполне возможна, если верить таким путешественникам, как Джордж Бак и наш сэр Джон Франклин.

– Сэр Джон съел свои башмаки, – сказал капрал Пирсон.

Никто не указал умирающему от голода морскому пехотинцу на неуместность подобной шутки, но никто и не засмеялся и никак на нее не отреагировал, пока наконец Крозье не сказал:

– Именно по этой причине я и взял с собой сотни запасных башмаков. Не просто для того, чтобы у людей ноги оставались сухими, что – как вы убедились, доктор, – оказалось невозможным. Но для того, чтобы съесть всю эту кожу во время предпоследнего этапа нашего похода на юг.

Гудсир недоверчиво уставился на него:

– У нас будет только один бочонок воды для питья, но сотни башмаков флотского образца для еды?

– Да, – сказал Крозье.

Внезапно все восемь мужчин начали смеяться столь безудержно, что никак не могли остановиться: когда одни переставали хохотать, кто-нибудь снова заливался смехом, и все прочие присоединялись к нему.

– Тише! – наконец сказал Крозье тоном учителя, призывающего к порядку расшалившихся школьников, хотя сам продолжал хихикать.

Мужчины, занятые своими обязанностями в лагере Спасения ярдах в двадцати от них, смотрели в их сторону с любопытством, написанным на бледных лицах.

Гудсир вытер слезы и сопли, пока они не замерзли на лице.

– Мы не станем ждать, когда лед вскроется здесь у берега, – сказал Крозье в неожиданно наступившей тишине. – Завтра, когда боцманмат Джонсон тайно последует вдоль побережья на северо-запад за группой Хикки, мистер Дево и несколько самых наших здоровых людей направятся на юг по льду, взяв с собой лишь рюкзаки и спальные мешки, – если повезет, они будут двигаться почти так же быстро, как Рубен Мейл с двумя своими товарищами, – и пройдут по меньшей мере десять миль по проливу, чтобы посмотреть, нет ли там открытой воды. Если в пределах пяти миль от лагеря открыты проходы во льдах, мы все выступим в путь.

– У людей не осталось сил... – начал Гудсир.

– У них появятся силы, если они узнают, что до открытой воды – и спасения – остается всего день или два пути, – сказал капитан Крозье. – Два человека, выжившие после ампутации ног, добровольно встанут в упряжь и пойдут на своих кровавых обрубках, коли станет известно, что там нас ждет открытая вода.

– И если нам хоть немного повезет, – сказал Дево, – мои люди вернутся с убитыми тюленями и моржами.

Гудсир посмотрел вдаль, на трещащий, ходящий ходуном, искрещенный торосными грядами холмистый лед, простирающийся под низкими серыми облаками.

– А вы сможете дотащить тюленей и моржей до лагеря через этот зыбкий белый кошмар? – спросил он.

Дево лишь широко ухмыльнулся в ответ.

– Нам остается благодарить Небо за одну вещь, – сказал боцманмат Джонсон.

– За какую такую вещь, Том? – спросил Крозье.

– Наш обитающий во льдах друг, похоже, потерял к нам интерес и отстал от нас, – сказал боцманмат, все еще мускулистый. – Мы не видели и не слышали его со дней, предшествовавших нашей стоянке в Речном лагере.

Все восемь мужчин, включая самого Джонсона, разом вытянули руку к ближайшей лодке и постучали костяшками пальцев по дереву.

Лагерь Спасения

17 августа 1848 г.

Двадцатидвухлетний Роберт Голдинг вбежал в лагерь Спасения сразу после заката в четверг 17 августа, взволнованный, дрожащий и едва ли в состоянии внятно изъясняться от возбуждения. Помощник капитана Роберт Томас перехватил парня у палатки Крозье:

– Голдинг, я думал, вы находитесь на льду с группой мистера Дево.

– Да, сэр. Я там, мистер Томас. То есть был там.

– Что, Дево уже вернулся?

– Нет, мистер Томас. Мистер Дево отправил меня назад с сообщением для капитана.

– Можете доложить мне.

– Да, сэр. То есть нет, сэр. Мистер Дево велел доложить только капитану. Одному капитану, прошу прощения, сэр. Благодарю вас, сэр.

– Что здесь за шум, черт побери? – спросил Крозье, вылезая из палатки.

Голдинг повторил, что получил от старшего помощника приказ передать сообщение одному только капитану, извинился, забормотал что-то невнятное и пошел вслед за Крозье прочь от палаток, выстроенных по кругу.

– Теперь объясните мне, что происходит, Голдинг. Почему вы не с мистером Дево? С ним и разведывательным отрядом что-нибудь случилось?

– Да, сэр. То есть... нет, капитан. Я имею в виду, кое-что действительно случилось там на льду, сэр. Я при этом не присутствовал – нас оставили охотиться на тюленей, сэр, Френсиса Покока, Джозефуса Гитера и меня, а мистер Дево с Робертом Джонсом, Биллом Марком, Томом Тэдмэном и остальными вчера пошел дальше на юг, но вечером они вернулись... в смысле, только мистер Дево и еще двое... через час после того, как мы слышали выстрелы...

– Успокойся, малый, – сказал Крозье, кладя руки на плечи трясущегося Голдинга. – Передай мне сообщение мистера Дево, слово в слово. А потом расскажи, что ты видел.

– Они оба мертвы, капитан. Оба. Я видел одно тело... его приволокли на одеяле, сэр, она страшно изуродована... но вот второго я не видел.

– Кто «они оба»? – резко спросил Крозье, хотя по слову «она» уже догадался о части правды.

– Леди Безмолвная и чудовище, капитан. Эскимосская девка и обитающее во льдах существо. Я видел ейное тело, а вот евонного не видел. Мистер Дево сказал, что оно лежит рядом с проливом в миле от места, где мы стреляли тюленей, и велел привести вас и доктора, чтобы вы увидели, сэр.

– Рядом с проливом? – переспросил Крозье. – С проливом открытой воды во льдах?

– Да, капитан. Я его еще не видел, но именно там лежит труп чудовища, по словам мистера Дево и Толстяка Уилсона, который был с ним и тащил, волочил по льду одеяло, точно сани, сэр. Безмолвная, она лежала на одеяле, понимаете, вся изуродованная и мертвая. Мистер Дево сказал, чтобы я привел вас и доктора, и больше никого, и чтобы я никому больше не говорил, иначе он прикажет мистеру Джонсону выпороть меня, когда вернется.

– А зачем нужен доктор? – спросил Крозье. – Кто-нибудь из людей пострадал?

– Думаю, да, капитан. Хотя не уверен. Они все еще там... у дыры во льду, сэр. Покок и Гитер пошли обратно на юг с мистером Дево и Толстяком Алексом Уилсоном, так велел мистер Дево, а меня он отправил обратно в лагерь и велел привести вас и доктора, и больше никого. И сказал никому больше не говорить. Покамест. Ах да... и чтобы доктор прихватил свою сумку с ножами и прочими инструментами... и, возможно, несколько ножей побольше, чтобы разрезать тушу чудовища. Вы слышали ружейные выстрелы нынче вечером, капитан? Мы с Пококом и Гитером слышали, а мы находились по меньшей мере в миле от полыньи.

– Нет. Сквозь постоянный треск и грохот чертова льда мы не смогли бы расслышать ружейные выстрелы, раздавшиеся на расстоянии двух миль, – сказал Крозье. – Подумай хорошенько, Голдинг. Почему именно мистер Дево велел привести только меня и доктора Гудсира, чтобы мы увидели... что бы там ни было?

– Он сказал, что абсолютно уверен, что чудовище мертво, но мистер Дево сказал, что оно совсем не такое животное, как мы думали, капитан. Он сказал... я не помню точно, как он выразился. Но мистер Дево говорит, что это все меняет, сэр. Он хочет, чтобы вы и доктор увидели зверя и узнали, что там случилось, прежде чем все остальные в лагере узнают.

– Так что же все-таки там случилось? – настойчиво спросил Крозье.

Голдинг потряс головой:

– Я не знаю, капитан. Мы с Пококом и Гитером охотились на тюленей, сэр... одного подстрелили, капитан, но он соскользнул в свою дыру во льду, и мы не смогли до него добраться. Мне очень жаль, сэр. Потом мы услышали выстрелы на юге. А немного погодя – через час, может быть, – появляется мистер Дево с Джорджем Канном, у которого все лицо в крови, и Толстяком Уилсоном, и Уилсон волочит по льду одеяло с телом леди Безмолвной, и она вся разорвана на куски, только... нам надо поспешить, капитан. Пока луна светит.

Действительно, ночь сегодня выдалась на редкость ясная, после огненно-красного заката – Крозье как раз вынимал свой секстант, собираясь определить координаты лагеря по звездам, когда услышал шум у палатки, – и огромная, полная бело-голубая луна только что взошла над айсбергами и нагромождениями льда на юго-востоке.

– Зачем идти ночью? – спросил Крозье. – Разве дело не может подождать до утра?

– Мистер Дево говорит, что не может, капитан. Он велел вам кланяться и просить, чтобы вы сделали милость взять с собой доктора Гудсира и пройти две мили – здесь не больше двух часов хода, даже со всеми ледяными стенами, – чтобы посмотреть, что там такое у полыньи.

– Хорошо, – сказал Крозье. – Поди передай доктору Гудсиру, чтобы он явился ко мне, прихватив свою медицинскую сумку и одевшись потеплее. Я буду ждать вас двоих возле лодок.

Голдинг вывел четырех мужчин на лед (Крозье проигнорировал просьбу Дево прийти только с одним врачом и приказал боцману Джону Лейну и трюмному старшине Уильяму Годдарду отправиться с ними, вооружившись дробовиками), провел через скопление айсбергов и ледяных валунов, через три высокие торосные гряды и наконец через лес сераков, где обратный путь Голдинга в лагерь был отмечен не только его следами, но также воткнутыми в снег бамбуковыми палочками, которые они везли с прочим грузом от самого «Террора». Двумя днями раньше группа Дево взяла с собой изрядное количество таких вешек, чтобы отмечать путь и обозначать наиболее проходимые места среди нагромождений льда на случай, если они найдут открытую воду и впоследствии поведут к ней людей с лодками. Луна светила так ярко, что все предметы отбрасывали четкие тени. Даже тонкие бамбуковые палочки походили на стрелки лунных часов, отбрасывающие чернильно-черные штрихи теней на бело-

голубой лед.

В течение первого часа тишину нарушали лишь тяжелое дыхание мужчин, скрип снега под башмаками да треск льда повсюду вокруг. Потом Крозье спросил:

– Ты уверен, что она мертва, Голдинг?

– Кто, сэр?

Раздраженный вздох капитана обратился облачком ледяных кристаллов, искрящимся в лунном свете.

– Сколько особей женского пола насчитывается в округе, черт возьми? Леди Безмолвная, разумеется.

– О да, сэр. – Парень хихикнул. – Она мертва, все в порядке. У нее сиськи оторваны напрочь.

Капитан бросил на него свирепый взгляд; они спустились с очередной низкой гряды и вступили в тень высокого айсберга, блистающего голубым светом.

– Но ты уверен, что это леди Безмолвная? Это не может быть другая аборигенка?

Казалось, вопрос озадачил Голдинга.

– Но разве здесь есть другие эскимоски, капитан?

Крозье потряс головой и знаком велел парню идти дальше.

Они достигли полыньи примерно через полтора часа после выступления из лагеря.

– С твоих слов я понял, что полынья находится дальше, – сказал Крозье.

– Я и досюда-то не доходил раньше, – сказал Голдинг. – Когда мистер Дево нашел чудовище, я охотился на тюленей вон там. – Он неопределенно махнул рукой, указывая назад и влево от отверстия в тонком льду, возле которого они сейчас стояли.

– Вы сказали, что кто-то из людей ранен? – спросил доктор Гудсир.

– Да, сэр. У Толстяка Алекса Уилсона все лицо было в крови.

– По-моему, ты говорил, что лицо было окровавлено у Джорджа Канна, – сказал Крозье.

Голдинг энергично помотал головой:

– Нет, капитан. У Толстяка Алекса Уилсона.

– Это была его кровь или еще чья-то? – спросил Гудсир.

– Не знаю, – ответил Голдинг с неожиданными раздраженными нотками в голосе. – Мистер Дево просто велел сказать вам, чтобы вы прихватили свои инструменты. Я так понял, что кто-то ранен, раз вы понадобились мистеру Дево.

– Что ж, здесь никого нет, – сказал боцман Джон Лейн, осторожно обходя полынью, имевшую не более двадцати пяти футов в поперечнике, и пристально вглядываясь сначала в черную воду восемью футами ниже поверхности льда, а потом в лес сераков, обступающий их со всех сторон. – Где они? Кроме тебя, с мистером Дево было еще восемь человек, когда он покидал лагерь, Голдинг.

– Я не знаю, мистер Лейн. Он велел мне привести вас именно сюда.

Трюмный старшина сложил у рта ладони рупором и крикнул:

– Эге-гей! Мистер Дево? Эге-гей!

Откуда-то справа донесся ответный крик. Голос звучал невнятно, приглушенно, но явно возбужденно.

Знаком велел Голдингу следовать за ним, Крозье углубился в лес сераков двенадцатифутовой высоты. Ветер, пролетающий между ледяными башнями затейливых очертаний, протяжно и жалобно стонал; все знали, что края у сераков острее и тверже большинства корабельных ножей.

Впереди, на залитом лунным светом участке ровного льда между сераками, стояла темная человеческая фигура.

– Если это Дево, – прошептал Лейн капитану, – значит он потерял восьмерых своих людей.

Крозье кивнул:

– Джон, Уильям, вы двое идите вперед – медленно, – держите дробовики наготове, со взведенными курками. Доктор Гудсир, будьте добры остаться здесь со мной. Голдинг, ты тоже ждешь здесь.

– Слушаюсь, сэр, – прошептал Уильям Годдард.

Он и Джон Лейн стянули зубами рукавицы, вскинули ружья, взвели один из двух курков на своих дустволках и осторожно двинулись к залитому лунным светом открытому пространству между сераками.

Огромная тень выступила из-за последнего серака и со страшной силой сшибила головами Лейна и Годдарда. Оба мужчины рухнули на лед, точно коровы под кувалдой мясника на скотобойне.

Другая темная фигура, невесть откуда появившаяся, сбила Крозье с ног ударом по затылку, заложила ему руки за спину, когда он попытался встать, и приставила нож к шее.

Роберт Голдинг схватил доктора Гудсира и поднес длинный нож к горлу врача.

– Не двигайтесь, доктор, – прошептал парень, – или я сам вас маленько прооперирую.

Громадная фигура подняла Годдарда и Лейна за шиворот и поволокла на открытое пространство. Носки их башмаков чертили борозды на снегу.

Из-за сераков вышел третий человек, подобрал дробовики Годдарда и Лейна, один отдал Голдингу, а другой оставил себе.

– Давай туда, – сказал Ричард Эйлмор, делая знак двустволкой.

С по-прежнему приставленным к горлу ножом, зажатым в руке неясной фигуры, в которой теперь Крозье по запаху опознал лодыря и выпивоху Джорджа Томпсона, капитан встал и, подгоняемый толчками, спотыкаясь вышел из тени сераков и двинулся к человеку, стоящему в лунном свете.

Магнус Мэнсон бросил тела Лейна и Годдарда на лед перед своим хозяином Корнелиусом Хикки.

– Они живы? – прохрипел Крозье.

Томпсон по-прежнему заламывал капитану руки за спину, но теперь, когда на пленника были направлены дула двух дробовиков, отнял нож от горла.

Хикки наклонился, словно собираясь осмотреть мужчин, и двумя плавными, легкими движениями перерезал обоим горло ножом, внезапно появившимся у него в руке.

– Теперь уже не живы, мистер Великий и Всемогущий Крозье, – сказал помощник конопатчика.

Кровь, хлеставшая на лед, казалась черной в лунном свете.

– Именно таким способом ты и зарезал Джона Ирвинга? – спросил Крозье дрожащим от ярости голосом.

– Да пошел ты... – сказал Хикки.

Крозье посмотрел волком на Роберта Голдинга:

– Надеюсь, ты получишь свои тридцать сребреников.

Голдинг хихикнул.

– Джордж, – обратился помощник конопатчика к Томпсону, стоявшему за капитаном, – Крозье носит пистолет в правом кармане шинели. Вытащи его. Дики, принеси мне пистолет. Если Крозье шевельнется, убей его.

Томпсон вынул пистолет, в то время как Эйлмор держал капитана под прицелом присвоенного дробовика. Потом Эйлмор приблизился, взял пистолет и коробку патронов, найденную Томпсоном, и попятился прочь, снова подняв дробовик. Он пересек залитое лунным светом пространство и отдал пистолет Хикки.

– Все эти неизбежные горести и беды существования, – внезапно сказал доктор Гудсир. – Зачем людям добавлять к ним новые? Почему представители нашего вида всегда должны принимать на себя полную меру страданий, ужаса и бренности существования, предначертанных Богом, а

потом усугублять свое положение? Вы можете ответить мне на этот вопрос, мистер Хикки?

Помощник конопатчика, Мэнсон, Эйлмор, Томпсон и Голдинг уставились на врача так, словно он вдруг заговорил на арамейском.

То же самое сделал и другой единственный живой человек здесь, Френсис Крозье.

– Что тебе угодно, Хикки? – спросил Крозье. – Убить еще несколько порядочных людей с целью запастись мясом для похода?

– Мне угодно, чтобы ты заткнулся, к чертовой матери, а потом умер медленной и мучительной смертью, – сказал Хикки.

Роберт Голдинг зашелся идиотическим смехом. Стволы дробовика у него в руках выбили барабанную дробь на спине Крозье.

– Мистер Хикки, – сказал Гудсир, – вы же понимаете, что я никогда не стану помогать вам, расчленяя тела моих товарищей по плаванию.

Хикки оскалил мелкие зубы, блеснувшие в лунном свете.

– Станешь, доктор. Я ручаюсь. Или увидишь, как мы станем резать тебя по кусочку и скармливать тебе твое собственное мясо.

Гудсир ничего не ответил.

– Том Джонсон и другие найдут вас, – сказал Крозье, ни на миг не сводивший пристального взгляда с лица Корнелиуса Хикки.

Помощник конопатчика расхохотался:

– Джонсон уже нашел нас, Крозье. Вернее, мы нашли его.

Он повернулся назад и поднял со снега джутовый мешок.

– Как там ты всегда называл Джонсона, Крозье? Своей надежной правой рукой? Вот она. – Он подкинул в воздух окровавленную правую руку, отрубленную по локоть, и пронаблюдал за тем, как она падает у ног Крозье.

Крозье не посмотрел на нее.

– Ты жалкий кусок дерьма. Ты полное ничтожество – и всегда был ничтожеством.

Лицо Хикки исказилось, словно под действием лунного света он превращался в некое существо, не принадлежащее к роду человеческому. Его тонкие губы растянулись, обнажив мелкие зубы, каковую жуткую гримасу все прочие видели лишь у цинготных больных в предсмертные часы. В глазах его отразилось нечто большее, чем безумие, нечто большее, чем просто ненависть.

– Магнус, – сказал Хикки, – задуши капитана. Медленно.

– Хорошо, Корнелиус, – сказал Магнус и тяжелой поступью двинулся вперед.

Гудсир попытался броситься навстречу верзиле, но Голдинг крепко держал его одной рукой, а другой приставлял дробовик к затылку.

Крозье не шевельнулся, пока великан неуклюже шагал к нему. Когда тень Магнуса упала на Крозье и державшего его Джорджа Томпсона, последний слегка отшатнулся, и одновременно с ним Крозье тоже немного подался назад, а потом резко дернулся вперед, рывком высвободил левую руку и засунул ее в левый карман шинели.

Голдинг едва не спустил курок дробовика и ненароком не снес Гудсиру полчерепа – так сильно он испугался, когда карман капитанской шинели вдруг полыхнул ярким пламенем и приглушенный грохот двух выстрелов прокатился над льдом и отразился эхом в лесу сераков.

– Ай, – сказал Магнус Мэнсон, медленно поднимая руки к животу.

– Черт побери, – спокойно сказал Крозье. По неосторожности он выстрелил из обоих стволов двухзарядного пистолета.

– Магнус! – выкрикнул Хикки, бросаясь к великану.

– Кажись, капитан подстрелил меня, Корнелиус, – проговорил Магнус смущенным и слегка недоуменным голосом.

– Гудсир! – крикнул Крозье, пользуясь всеобщим замешательством. Капитан резко повернулся кругом, ударил Томпсона в пах коленом и вырвался. – Бежим!

Врач попытался. Он дергался, отбивался и уже почти высвободился из хватки Голдинга, когда более молодой и сильный парень подсечкой повалил противника ничком и крепко уперся в спину Гудсира коленом, равно крепко прижав к его затылку стволы дробовика.

Крозье прыжками неся к серакам.

Хикки спокойно взял у Ричарда Эйлмора дробовик, прицелился и выстрелил из обоих стволов.

Верхушка серака раскололась и осыпалась ровно в тот момент, когда Крозье упал на живот, проскользив по льду и собственной крови.

Хикки отдал дробовик обратно Эйлмору и торопливо расстегнул куртки и жилет Магнуса, разорвав рубахи и грязную нательную фуфайку.

– Мне не очень больно, – пророкотал Магнус Мэнсон. – Скорее щекотно.

Голдинг подтащил к нему Гудсира, подгоняя пинками и толчками. Врач надел очки и обследовал два пулевых отверстия.

– Я не уверен, но мне кажется, две мелкокалиберные пули не пробили слой подкожного жира мистера Магнуса, не говоря уже о слое мышечной ткани. Боюсь, здесь всего лишь две незначительные поверхностные раны. Теперь я могу осмотреть капитана Крозье, мистер Хикки?

Хикки рассмеялся.

– Корнелиус! – крикнул Эйлмор.

Крозье, оставляя за собой кровавый след, поднялся на четвереньки и пополз к серакам и густой тени от сераков. Потом он с трудом встал на ноги и, шатаясь как пьяный, пошел к ледяным башням.

Голдинг хихикнул и вскинул дробовик.

– Нет! – крикнул Хикки.

Он вытащил из кармана бушлата большой пистолет Крозье и тщательно прицелился.

В двадцати футах от сераков Крозье посмотрел назад через плечо.

Хикки выстрелил.

От удара пули Крозье крутанулся на месте и упал на колени. Тело его обмякло, но он напряг силы и уперся рукой в лед, пытаясь встать.

Хикки сделал пять шагов вперед и снова выстрелил.

Крозье повалился навзничь и распластался на спине, с поднятыми коленями.

Хикки сделал еще два шага и снова выстрелил. Одна нога Крозье дернулась в сторону и вытянулась на льду, когда пуля пробила коленную чашечку или мышцы под ней. Капитан не издал ни звука.

– Корнелиус, милый... – Магнус Мэнсон говорил хнычущим тоном ребенка, набившего себе шишку. – У меня живот начинает болеть.

Хикки повернулся кругом:

– Гудсир, дай ему что-нибудь от боли.

Врач кивнул. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо, очень напряженно и совершенно бесстрастно:

– У меня с собой целая бутылка доверова порошка, порой называемого кокаином. Я дам его Мэнсону. Весь, коли вам угодно. Вместе с настоем мандрагорового корня, опиумом и морфином. Это снимет любую боль. – Он полез в свою медицинскую сумку.

Хикки поднял пистолет и наставил врачу в левый глаз:

– Если от твоих лекарств Магнуса хотя бы стошнит и уж тем более если сейчас ты вытащишь из своей поганой сумки скальпель или любой другой режущий инструмент, клянусь Богом, я отстрелю тебе яйца и не дам тебе умереть, покуда ты не сожрешь их. Ты понял, доктор?

– Я понял, – сказал Гудсир. – Но все мои последующие действия обусловлены клятвой Гиппократова. – Он извлек из сумки пузырек с мерной ложкой и налил в нее немного жидкого морфина. – Выпейте это, – обратился он к верзиле.

– Спасибо, доктор, – прогудел Магнус Мэнсон. Он заглотил лекарство.

– Корнелиус! – крикнул Томпсон, указывая рукой.

Крозье исчез. Кровавая полоса тянулась к серакам.

– Ох, черт, – со вздохом сказал помощник конопатчика. – Этот козел доставляет больше хлопот, чем заслуживает. Дики, ты перезарядил ружье?

– Так точно, – откликнулся Эйлмор, поднимая дробовик.

– Томпсон, возьми запасной дробовик, что я принес, и оставайся здесь с Магнусом и врачом. Если добрый доктор сделает что-нибудь, что тебе не понравится, – хотя бы пернет без спроса, – отстрели ему яйца.

Томпсон кивнул. Голдинг хихикнул. Хикки со своим пистолетом и вооруженные дробовиками Голдинг с Эйлмором медленно пересекли залитое лунным светом открытое пространство, а потом, двигаясь гуськом, осторожно вступили в лес сераков, отбрасывающих густые тени.

– Может статься, здесь его будет трудно найти, – прошептал Эйлмор, когда они вступили в искрещенный черными тенями и полосами лунного света ледяной лес.

– Я так не думаю, – сказал Хикки, указывая на широкий кровавый след, который тянулся прямо вперед между ледяными башнями подобием азбуки Морзе.

– У него остался маленький пистолет, – прошептал Эйлмор, крадучись переходя от серака к сераку.

– Насрать на него и насрать на его пистолетик, – сказал Хикки, широко шагая прямо вперед, немного поскользываясь на льду и крови.

Голдинг громко фыркнул.

– Насрать на него и насрать на его пистолетик, – нараспев повторил он и снова захихикал.

Кровавый след обрывался сорока футами дальше, у края черной полыньи. Хикки бросился вперед и уставился вниз, где горизонтальные красные полосы превращались в вертикальные, тянущиеся вниз по отвесной восьмифутовой стенке ледяной плиты.

– Пропади все пропадом, к чертям собачьим! – проорал Хикки, расхаживая взад-вперед. – Я хотел напоследок пустить пулю в физиономию великого капитана, глядя ему в глаза. Черт бы его побрал! Он лишил меня такого удовольствия.

– Гляньте, мистер Хикки, сэр, – хихикнул Голдинг.

Он показал пальцем на предмет, похожий на человеческое тело, плавающее лицом вниз в темной воде.

– Это всего лишь поганая шинель, – сказал Эйлмор, осторожно выступая из тени со вскинутым дробовиком.

– Всего лишь поганая шинель, – повторил Роберт Голдинг.

– Значит, он потонул, – сказал Эйлмор. – Не пора ли нам убираться отсюда, пока Дево или еще кто-нибудь не пришел на звук выстрелов? До нашей стоянки два дня пути, а нам еще нужно разделить трупы перед уходом.

– Никто пока никуда не уходит, – сказал помощник конопатчика. – Возможно, Крозье еще жив.

– Весь израненный и без шинели? – спросил Эйлмор. – И посмотри на шинель, Корнелиус. Дробь разнесла ее в клочья.

– Возможно, он еще жив. Мы должны убедиться, так это или нет. Возможно, его тело всплывет на поверхность.

– И что ты собираешься делать? – спросил Эйлмор. – Палить по мертвому телу?

Хикки резко повернулся и свирепо посмотрел на него, заставив гораздо более высокого Эйлмора попятиться.

– Да, – сказал Корнелиус Хикки. – Именно это я и собираюсь делать. – Обращаясь к Голдингу, он пролаял: – Приведи сюда Томпсона, Магнуса и врача. Мы привяжем доктора к одному из сераков, и ты будешь присматривать за Магнусом и разрезать Лейна и Годдарда на удобные для переноски куски, пока Эйлмор, Томпсон и я обыскиваем окрестности.

– Я буду разрезать? – вскричал Голдинг. – Но вы же сказали мне, что именно для этого мы и захватываем Гудсира, Корнелиус. Это он должен разделять трупы, а не я.

– В будущем свеживанием мертвецов будет заниматься Гудсир, Бобби, – сказал Хикки. – Сегодня это придется сделать тебе. Мы не можем доверять доктору Гудсиру... покуда не отведем его к нашим людям и не окажемся во многих милях отсюда. Будь хорошим мальчиком, приведи доктора и привяжи к сераку, покрепче, самыми надежными узлами. И вели Магнусу притащить сюда трупы, чтобы ты смог заняться ими. И возьми ножи из сумки Гудсира, а также резак и плотницкую пилу, которые я принес в мешке.

– Ох, ладно, – сказал Голдинг. – Но я бы лучше пошел на поиски. – Он поплелся прочь.

– Капитан потерял, должно быть, добрую половину крови, пока дополз досюда от места, где ты всадил в него несколько пуль, Корнелиус, – сказал Эйлмор. – Если он не бросился в воду, он не мог нигде спрятаться, не оставив кровавого следа.

– Ты совершенно прав, Дики, голубчик, – сказал Хикки со странной улыбкой. – Положим, ползти он еще может, но остановить кровотечение из таких ран точно не в силах. Мы будем искать, покуда не убедимся, что он

либо потонул, либо подох от потери крови где-нибудь среди сераков. Ты начнешь поиски вон оттуда, с южного края полыньи. Я осмотрю все к северу от нее. Будем двигаться по часовой стрелке. Если увидишь какой-нибудь след – хотя бы капельку крови, хотя бы крохотную вмятину на снегу, – останавливайся и кричи. Я присоединюсь к тебе. И будь осторожен. Нам не нужно, чтобы полудохлый ублюдок выскочил из тени и схватил один из наших дробовиков, верно?

На лице Эйлмора отразились удивление и тревога.

– Ты действительно думаешь, что у него еще осталось достаточно сил, чтобы выкинуть такой номер? Когда в нем три пули и заряд дробы, я имею в виду. Без шинели он в любом случае замерзнет в считанные минуты. Сейчас холодает и ветер крепчает. Ты действительно думаешь, что он притаился в засаде, Корнелиус?

Хикки улыбнулся и кивнул в сторону черной полыньи:

– Нет. Я думаю, он отдал концы и утонул там. Но мы должны убедиться. Мы не уйдем отсюда, покуда не убедимся, даже если нам придется искать до рассвета.

В конечном счете они искали три часа при свете восходящей и потом заходящей луны. Ни возле полыньи, ни среди сераков, ни на открытых ледяных полях за сераками, ни на высоких торосных грядах к северу, югу и востоку не оказалось никаких следов: ни капель крови, ни отпечатков башмаков, ни борозд на снегу.

Роберту Голдингу потребовалось полных три часа, чтобы разрезать тела Джона Лейна и Уильяма Годдарда на куски нужного размера, но все равно парень справился с делом бестолково и развел жуткую грязь. Ребра, кисти, ступни и части позвоночника валялись на льду вокруг него, словно он находился в эпицентре взрыва на скотобойне. Сам молодой Голдинг так измазался в крови, что к тому времени, когда Хикки и остальные вернулись, Эйлмор, Томпсон и даже Магнус Мэнсон оторопело уставились на него, и Хикки долго и безудержно смеялся.

Они набили джутовые мешки и сумки мясом, завернутым в куски непромокаемой промасленной ткани, которые принесли с собой, но кровь все равно просачивалась из них.

Они отвязали Гудсира, дрожавшего от холода или ужаса.

– Пора идти, доктор, – сказал Хикки. – Наши ребята ждут нас на льду в десяти милях к западу отсюда, чтобы радушно принять тебя.

– Мистер Дево и остальные пустятся в погоню за вами, – сказал Гудсир.

– Нет, не пускайся, – с полной уверенностью ответил Корнелиус Хикки. – Только не сейчас, когда они знают, что теперь у нас по меньшей мере три дробовика и пистолет. Если они вообще когда-нибудь узнают, что мы были здесь. – Обращаясь к Голдингу, он сказал: – Дай нашему новому товарищу по команде мешок, Бобби, пускай тащит.

Когда Гудсир отказался взять объемистый мешок, Магнус Мэнсон ударом сбил его с ног, едва не переломав ребра. На третий раз, после еще двух попыток всучить ему мокрый от крови мешок и еще двух крепких ударов, врач взял ношу.

– Пойдемте, – сказал Хикки. – Здесь мы закончили.

Лагерь Спасения

19 августа 1848 г.

Старший помощник Чарльз Дево невольно расплывался в широкой улыбке, когда со своими восемью людьми возвращался в лагерь Спасения утром субботы 19 августа. В кои-то веки он нес одни только добрые новости своему капитану и остальным.

Всего в четырех милях от берега паковый лед вскрылся, между плавучими льдинами образовались годные для плавания каналы, и разведывательный отряд потратил еще день, следуя вдоль них, пока наконец не вышел к открытой воде, простиравшейся до самого полуострова Аделаида и почти наверняка до узкого залива с устьем реки Бака, находившегося дальше к востоку, за полуостровом. Дево увидел низкие холмы полуострова Аделаида менее чем в двенадцати милях от айсберга, на который они взобрались на южной оконечности ледяного поля. Двигаться дальше без лодки не представлялось возможным, каковое обстоятельство заставило старшего помощника радостно ухмыльнуться тогда и заставляло радостно ухмыляться сейчас.

Все могли покинуть лагерь Спасения. Теперь у всех появился шанс выжить.

Не менее хорошая новость заключалась в том, что они провели два дня, стреляя тюленей на плавучих льдинах на краю свободного от льда моря. Два дня и две ночи Дево и его люди обжирались тюленьим мясом и салом, утоляя потребность истощенного организма, столь острую, что, хотя от жирной пищи им становилось плохо – после многих недель, проведенных впроголодь на галетах да старой соленой свинине, – после каждого приступа рвоты они лишь чувствовали еще сильнее голод, смеялись и почти сразу снова принимались жадно уплетать мясо.

Каждый из восьми мужчин волок тюленью тушу сейчас, когда они, следуя по отмеченному бамбуковыми вешками пути, преодолевали последнюю милю берегового льда, остающуюся до лагеря. Сорок шесть обитателей лагеря Спасения наедятся до отвала сегодня вечером, как и восемь торжествующих разведчиков, в очередной раз.

«В общем и целом, – думал Дево, когда они вышли на галечный берег

и миновали лодки, радостными возгласами и криками „ура“ пытались привлечь внимание людей в лагере, – если не считать молодого Голдинга, по собственному почину повернувшего назад в первый же день похода по причине острой желудочной колики, экспедиция удалась на славу. Впервые за много месяцев – даже лет – капитан Крозье и остальные получают хорошие новости, которые стоит отметить».

Они все вернутся домой. Если они выступят в поход сегодня – самым крепким из них придется тащить лодки с больными всего четыре мили по извилистому пути между торосными грядами, аккуратно нанесенными Дево на карту, – уже через три или четыре дня они спустят лодки на воду и достигнут устья реки Бака через неделю. И вполне возможно, проходы во льду уже открылись ближе к берегу!

Грязные, оборванные, сторбленные существа выползли из палаток, отвлеклись от своих разнообразных работ по лагерю – и молча уставились на отряд Дево.

Громкие радостные крики людей Дево – Толстяка Алекса Уилсона, Френсиса Покока, Джозефуса Гитера, Горджа Канна, Томаса Тэдмэна, Томаса Макконвея и Уильяма Марка – стихли, когда они увидели угрюмые, неподвижные лица и безумные глаза встречающих. Все обитатели лагеря увидели тюленьи туши, которые они тащили, но никак не отреагировали.

Помощники капитана Кауч и Томас вышли из своих палаток и прошли по каменистому берегу, чтобы встать перед толпой призраков, населяющих лагерь Спасения.

– Что, кто-нибудь умер? – спросил Чарльз Фредерик Дево.

Второй помощник капитана Эдвард Кауч, старший помощник капитана Роберт Томас, старший помощник капитана Чарльз Дево, трюмный старшина «Эребуса» Джозеф Эндрюс и грот-марсовый старшина «Террора» Томас Фарр теснились в большой палатке, которую доктор Гудсир использовал под лазарет. Люди с ампутированными ногами, узнал Дево, либо умерли за четыре дня его отсутствия, либо были перемещены в палатки поменьше, где лежали другие больные.

Пятеро мужчин, собравшиеся здесь сегодня утром, являлись последними облеченными хоть какими-то полномочиями офицерами, которые остались в живых – или, по крайней мере, находились в лагере Спасения и могли самостоятельно передвигаться – из всей экспедиции Джона Франклина. У них едва хватило табака, чтобы четверо из пятерых (Фарр не курил) набили свои трубки. Палатка была наполнена голубым дымом.

– Вы уверены, что кровавую расправу, следы которой вы обнаружили там, учинил не наш зверь? – спросил Дево.

Кауч потряс головой:

– Поначалу мы так и подумали – на самом деле даже не усомнились, – но кости, головы и куски мяса, которые мы там нашли... – Он умолк и стиснул зубами черенок трубки.

– На них остались следы ножа, – закончил Роберт Томас. – Лейна и Годдарда расчленил человек.

– Не человек, – сказал Томас Фарр, – а некая гнусная тварь в человеческом обличье.

– Хикки, – выплюнул Дево.

Остальные кивнули.

– Мы должны отправиться в погоню за ним и прочими убийцами, – сказал Дево.

Несколько мгновений все молчали. Потом Роберт Томас спросил:

– Зачем?

– Чтобы произвести над ними суд.

Четверо из пяти мужчин переглянулись между собой.

– У них теперь три дробовика, – сказал Кауч. – И почти наверняка пистолет капитана.

– У нас больше людей... оружия... пороха, дробы, патронов, – отозвался Дево.

– Да, – сказал Томас Фарр. – А сколько из них погибнет в сражении с Хикки и его каннибалами? Томас Джонсон так и не вернулся, вы знаете. А перед ним стояла задача просто проследить за шайкой Хикки, убедиться, что они действительно уходят, как обещали.

– Я не верю своим ушам, – сказал Дево, вынимая изо рта трубку и приминая табак в чубуке. – А как же капитан Крозье и доктор Гудсир? Вы собираетесь просто бросить их? Оставить на потеху Корнелиусу Хикки?

– Капитан погиб, – промолвил трюмный старшина Эндрюс. – У Хикки нет причин оставлять Крозье в живых – разве для того только, чтобы пытаться и мучить его.

– Значит, нам тем более необходимо послать спасательный отряд вдогонку за ними, – стоял на своем Дево.

С минуту все остальные молчали. Клубы голубого дыма плавали вокруг них. Томас Фарр распустил шнуровку и раздвинул чуть пошире полы палатки, чтобы впустить свежий воздух.

– Прошло уже почти два дня с момента, когда там на льду случилось то, что случилось, – сказал Эдвард Кауч. – И пройдет еще несколько дней,

прежде чем любой отряд, нами посланный, отыщет группу Хикки и сразится с ними, если вообще их найдет. Этому мерзавцу нужно всего лишь отойти дальше на лед или вглубь острова, чтобы избавиться от погони. Ветер замечает следы в считанные часы... даже санный след. Вы действительно полагаете, что капитан Крозье, если он сейчас жив – в чем я лично сомневаюсь, – будет жив или находиться в таком состоянии, когда его спасение еще возможно, через пять дней или неделю?

Дево погрыз черенок трубки.

– Тогда доктор Гудсир. Нам нужен врач. По логике вещей, его Хикки должен оставить в живых. Возможно, Хикки со своими приспешниками вернулся именно из-за Гудсира.

Роберт Томас потряс головой:

– Может, Корнелиус Хикки и нуждается в докторе Гудсире для своих дьявольских целей, но мы в нем теперь не нуждаемся.

– Что вы имеете в виду?

– От большей части лекарств и инструментов нашего доброго доктора мы давно избавились – у него оставалась только одна медицинская сумка, – пояснил Фарр. – А Томас Хартнелл, исполнявший обязанности помощника врача, знает, какие снадобья давать, в каком количестве и от каких болячек.

– А как насчет хирургических операций? – спросил Дево.

Кауч печально улыбнулся:

– Дружище, неужели вы действительно думаете, что хоть один из тех, кому впредь потребуется операция, выживет, как бы ни сложились наши обстоятельства?

Дево не ответил.

– А что, если Хикки и его люди вообще не собираются никуда уходить? – спросил Эндрюс. – И не собирались? Он вернулся, чтобы убить капитана, захватить Гудсира и разрезать на куски бедных Джона Лейна и Билла Годдарда, словно заколотых свиней. Для него все мы скот, подлежащий забою. Что, если он просто прячется за ближайшей возвышенностью, выжидает момент, чтобы напасть на весь лагерь?

– Вы превращаете помощника конопатчика прямо в чудище какое-то, – сказал Дево.

– Он сам в него превратился, – ответил Эндрюс. – Только не просто в чудище, а в дьявола. В самого настоящего дьявола. Он и его ручной монстр Магнус Мэнсон. Они продали души – черт бы их побрал – и за это получили какую-то темную силу. Помяните мое слово.

– Вам не кажется, что одного настоящего монстра хватит для любой арктической экспедиции? – спросил Роберт Томас.

Никто не засмеялся.

– Это все один настоящий монстр, – наконец промолвил Эдвард Кауч. – И он не в новинку роду человеческому.

– Так что все вы предлагаете? – спросил Дево после очередной паузы. – Чтобы мы пустились в бегство от гнусного мозглявого помощника конопатчика и просто двинулись с лодками на юг завтра?

– Я лично считаю, что надо выступить сегодня же, – сказал Джозеф Эндрюс. – Как только мы погрузим в лодки те немногие вещи, которые берем с собой. И идти всю ночь. Если повезет, луна будет светить достаточно ярко, когда взойдет. Если нет, мы израсходуем часть оставшегося у нас горючего для фонарей. Вы сами говорили, Чарльз, что бамбуковые вешки, которыми отмечен путь, все еще на месте. После первой же настоящей снежной бури мы их не найдем.

Кауч потряс головой:

– Люди Дево устали. Наши – полностью деморализованы. Давайте устроим пир сегодня вечером – съедим всех до единого тюленей, притащенных вами, Эдвард, – и выступим завтра утром. У всех нас в душе окрепнет надежда после сытного ужина при свете заправленных тюленьим жиром светильников и крепкого сна.

– Но под охраной часовых, – заметил Эндрюс.

– О да, – сказал Кауч. – Я сам встану в дозор сегодня. Я в любом случае не особо голоден.

– Еще остается вопрос командования, – проговорил Томас Фарр, переводя взгляд с одного лица на другое.

Несколько мужчин вздохнули.

– Всю полноту командования принимает на себя Чарльз, – сказал Роберт Томас. – Сэр Джон самолично назначил его старшим помощником капитана «Эребуса» после гибели Грэма Гора, значит он старший по должности офицер.

– Но к тому времени вы уже были старшим помощником на «Терроре», Роберт, – сказал Фарр Томасу. – Старшинство принадлежит вам.

Томас решительно помотал головой:

– «Эребус» был флагманским кораблем. Когда Гор был жив, все понимали, что он облечен большими полномочиями, чем я. Теперь Чарльз занимает должность Гора. Он главный. Я ничего не имею против. Командир из мистера Дево лучший, чем из меня, а нам понадобится умелое руководство.

– Я не могу поверить, что капитан Крозье умер, – сказал Эндрюс.

Четверо из пяти мужчин задымили трубками сильнее. Все молчали.

Снаружи до них доносились голоса людей, разговаривающих о тюленях, чей-то смех, а также беспрестанный треск и пушечный грохот ломающегося льда.

– Формально руководителем экспедиции сейчас является лейтенант Джордж Генри Ходжсон, – наконец произнес Фарр.

– Да раскаленную кочергу в задницу этому лейтенанту Джорджу Генри Ходжсону! – прорычал Джозеф Эндрюс. – Если бы этот скользкий тип приполз сейчас обратно, я бы придушил его собственными руками и нассал на труп.

– Я сильно сомневаюсь, что лейтенант Ходжсон еще жив, – тихо проговорил Дево. – Значит, мы постановили, что я исполняю обязанности командующего экспедицией, Роберт занимает должность моего первого помощника, а Эдвард – второго?

– Так точно, – хором сказали остальные четверо.

– В таком случае учтите, что я собираюсь советоваться с вами четыремья, когда нам придется принимать решения, – сказал Дево. – Я всегда хотел командовать собственным кораблем... но не в таких поганных обстоятельствах. Мне понадобится ваша помощь.

Окутанные клубами табачного дыма мужчины кивнули.

– Я хотел бы прояснить еще один вопрос, прежде чем мы выйдем и прикажем людям готовиться к сегодняшнему пиру и завтрашнему выступлению в поход, – сказал Кауч.

Дево, сидевший в теплой палатке без головного убора, поднял брови.

– Что насчет больных? Хартнелл говорит, что шестеро из них не смогут идти, даже если от этого будет зависеть их жизнь. Слишком тяжелая форма цинги. Например, Джопсон, вестовой капитана. Мистер Хелпмен и наш инженер Томпсон умерли, но Джопсон продолжает цепляться за жизнь. Хартнелл говорит, бедняга не в силах даже поднять голову, чтобы попить, – приходится ему помогать, – но он все еще дышит. Мы возьмем его с собой?

Дево пристально посмотрел на Кауча, потом на остальных трех мужчин, пытаясь прочесть ответ на их лицах, но тщетно.

– И если мы все-таки возьмем Джопсона и остальных умирающих, – продолжил Кауч, – то в каком качестве?

Дево не пришлось уточнять, что имеет в виду второй помощник. «Мы возьмем их с собой как товарищей по плаванию или в качестве пищи?»

– Если мы оставим их здесь, – сказал он, – они наверняка станут кормом для Хикки, коли он вернется, как некоторые из вас полагают.

Кауч потряс головой:

– Я не об этом спрашиваю.

– Знаю. – Дево глубоко вздохнул, едва не закашлявшись от густого дыма. – Хорошо, – сказал он. – Вот первое мое решение, принятое в должности начальника экспедиции Франклина. Когда утром мы тронемся в путь, все люди, которые смогут дойти до лодок и встать в упряжь – или хотя бы забраться в одну из лодок, – отправятся с нами. Если кто-нибудь умрет по дороге, тогда мы и решим, тащить ли тело дальше. Я решу. Но завтра утром лагерь Спасения покинут только те, у кого хватит сил дойти до лодок.

Все мужчины промолчали, но несколько кивнули. Никто не смотрел Дево в глаза.

– Я сообщу людям о своем решении после ужина, – сказал Дево. – Каждый из вас четырех должен выбрать одного надежного человека в напарники по ночному дежурству. Эдвард составит график дежурств. Не давайте своим напарникам объедаться до беспамятства. Нам понадобится сохранять ясность рассудка – по крайней мере некоторым из нас, – покуда мы благополучно не достигнем открытой воды.

Все четверо мужчин согласно кивнули.

– Хорошо, ступайте сообщите своим людям насчет праздничного ужина, – сказал Дево. – Здесь мы закончили.

20 августа 1848 г.

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

Суббота, 20 августа 1848 г.

Удача, которая на протяжении многих месяцев и лет отворачивалась от сэра Джона, командора Фицджереймса и капитана Крозье, похоже, улыбается этому дьяволу, Хикки.

Они не знают, что я случайно сунул дневник в свою медицинскую сумку, – вернее, по всей видимости, знают, поскольку тщательно обыскивали сумку два дня назад, когда взяли меня в плен, но не придают этому никакого значения. Я делю палатку с одним только лейтенантом Ходжсоном, который теперь такой же пленник, как я, и он не возражает против того, чтобы я писал в темноте.

Я все еще не в силах до конца поверить в жестокое убийство своих товарищей – Лейна, Годдарда и Крозье, – и, когда бы не видел собственными глазами, как половина отряда Хикки пожирала человечину на пиру, устроенном в пятницу ночью по возвращении к месту стоянки на льду неподалеку от нашего старого Речного лагеря, я бы до сей поры не верил в возможность подобного варварства.

Пока еще не все участники дьявольского легиона Хикки поддались соблазну каннибализма. Хикки, Мэнсон, Томпсон и Эйлмор, разумеется, с великим наслаждением поедают человеческую плоть, равно как матрос Уильям Оррен, вестовой Уильям Гибсон, кочегар Льюк Смит, конопатчик Джеймс Браун и его помощник Данн.

Но остальные воздерживаются вместе со мной: Морфин, Бест, Джери, Уорк, Стиклэнд, Сили и, конечно же, Ходжсон. Мы все питаемся заплесневелыми галетами. Из числа ныне воздерживающихся, полагаю, только Стиклэнд, Морфин и лейтенант сумеют противиться искушению долго. Люди Хикки убили всего одного тюленя по пути на запад вдоль побережья, но этого хватило лишь для того, чтобы заправить тюленьим жиром плитку, а запах жарящегося мяса ужасно соблазнителен.

Хикки пока не причинил мне вреда. Даже вчера и позавчера вечером, когда я отказался есть человечину или расчленять другие тела впоследствии. До поры до времени мясо мистера Лейна и мистера Годдарда утолило их голод и прочих и избавило меня от необходимости выбирать, стать ли мне шеф-поваром каннибалов или же самому быть убитым и расчлененным.

Но к дробовикам не позволено прикасаться никому, помимо мистера Хикки, мистера Эйлмора и мистера Томпсона – последние двое стали лейтенантами нового Бонапарта в образе нашего ничтожного помощника конопатчика, – а Магнус Мэнсон сам по себе является оружием, которое лишь один человек (если он еще остается человеком) вправе пускать в ход.

Говоря о сопутствующей Хикки удаче, я имею в виду не только счастливую возможность питаться свежим мясом, которую злодей изыскал своими силами. Скорее, я подразумеваю сегодняшнее открытие, когда всего в двух милях к северо-западу от нашего старого Речного лагеря, где пропал мистер Бридженс, мы наткнулись на проходы во льдах, тянущиеся в западном направлении и вдоль берега.

Растленная команда Хикки почти сразу сняла с саней, оснастила, нагрузила и спустила на воду полубаркас, и с тех пор мы быстро идем под парусом и на веслах, держа курс на запад.

Вы спросите: каким образом семнадцать человек могут поместиться в лодку, рассчитанную на восемь-двенадцать человек?

Отвечу: мы буквально сидим верхом друг на друге, и – хотя мы везем с собой только палатки, оружие, патроны, бочки с водой и наш ужасный провиант – лодка так тяжело нагружена и имеет такую большую осадку, что вода чуть не переливается через планшири с обеих сторон, особенно когда ширина каналов позволяет нам идти галсами без помощи весел.

Я слышал, как Хикки и Эйлмор перешептывались, когда мы высадились на лед и разбили палатки сегодня вечером, – они не особо старались понизить голос.

От кого-то придется избавиться.

Впереди открытая вода, путь свободен – может статься, до самого лагеря или даже до корабля «Террор», как и предсказывал пророк Корнелиус Хикки во время стычки с капитаном на берегу безымянной бухты шесть недель назад, в июле, когда мятеж не вспыхнул только благодаря возвращению разведчиков с известием об открытой воде, – и, вполне возможно, Хикки и прочие оставшиеся с ним люди достигнут лагеря и корабля за три дня спокойного плавания, таким образом стремительно покрыв расстояние, которое мы, двигаясь в

противоположном направлении, преодолели за три с половиной месяца тяжелейшего пешего похода.

Но теперь, когда они больше не нуждаются в упряжных, кого из людей принесут в жертву для пополнения запасов продовольствия и с целью облегчить лодку к завтрашнему плаванию?

Пока я пишу, Хикки со своим великаном, Эйлмор и прочие руководители отряда идут по лагерю, властно приказывая всем выйти из палаток, хотя час уже поздний и стоит темная ночь.

Коли буду жив завтра, я продолжу писать.

Лагерь Спасения

20 августа 1848 г.

Они обращались с ним как с древним стариком и оставляли его здесь, поскольку считали его древним стариком, немощным и даже умирающим, но это нелепо. Томасу Джопсону был всего тридцать один год. Сегодня, двадцатого августа, ему исполнился тридцать один год. Сегодня у него день рождения, но никто из них, кроме капитана Крозье, который по неизвестной причине перестал заглядывать к нему в палатку, даже не знал, что нынче у него день рождения. Они обращались с ним как с древним стариком, поскольку от цинги у него выпали почти все зубы, и все волосы выпали по непонятной причине, и сильно кровоточили десны, глаза и задний проход, но он никакой не старик. Сегодня ему стукнул тридцать один год, и они оставляли его умирать в его день рождения.

Джопсон слышал шум пиршества накануне вечером – воспоминания о криках, смехе и запахе жарящегося мяса были обрывочными, бессвязными, поскольку весь предыдущий день он провел в полубредовом состоянии, часто впадая в беспамятство, – но, пробудившись в сумерках, он обнаружил, что кто-то поставил возле него тарелку с куском жирной тюленьей кожи, несколькими шматками сочного белого сала и куском почти сырого красного мяса, воняющего рыбой. Джопсона вырвало – одной слизью, поскольку он не ел уже целый день или несколько дней, – и он вытолкнул мерзкую тарелку с тухлятиной из палатки.

Он понял, что они оставляют его, когда позже вечером товарищи по команде один за другим прошли мимо палатки, не говоря ни слова, даже не заглядывая к нему, но просовывая внутрь по одной-две черствых, зеленых от плесени галеты, которые складывали рядом с ним, точно камни, приготовленные для его могилы. Тогда он был слишком слаб, чтобы протестовать, – и слишком поглощен своими видениями, – но понял, что эти несколько паршивых кусков плохо пропеченной и совершенно несъедобной муки – это все, что он получит в награду за многие годы верной службы Военно-морскому флоту Британии, Службе географических исследований и капитану Крозье.

Они оставляли его умирать.

Этим воскресным утром он впервые за несколько дней, а может, и недель, проснулся с более или менее ясной головой – для того только, чтобы услышать, как товарищи готовятся навсегда покинуть лагерь Спасения.

С берега доносились крики: люди там переворачивали два вельбота, ставили на сани два тендера и нагружали все четыре лодки.

«Как они могут бросить меня?» У Джопсона не укладывалось в голове, что они смогут так поступить с ним. Разве он не находился неотступно рядом с капитаном Крозье сотни раз во время его болезней, тяжелых приступов депрессии или запоев? Разве он – спокойно и безропотно, как подобает хорошему вестовому, – не выносил ведра блевоты из капитанской каюты среди ночи и не подтирал задницу ирландскому пьянице?

«Наверное, именно поэтому этот ублюдок и оставляет меня умирать».

Джопсон с трудом открыл глаза и попытался перевернуться в своем мокром спальном мешке. Это оказалось делом почти непосильным. Слабость, волнами расходившаяся по телу от подвздошной области, снедала его. Голова раскалывалась от боли каждый раз, когда он открывал глаза. Земля под ним ходила ходуном, словно палуба любого из кораблей, на которых ему доводилось огибать мыс Горн в штормовую погоду. Кости ломило.

«Подождите меня!» – крикнул он. Джопсону показалось, что он крикнул, но слова прозвучали лишь у него в уме. Он должен нагнать их, пока они не стащили лодки на лед... показать им, что он может идти в упряжи наравне с самыми здоровыми. Возможно, он даже сумеет обмануть их, умудрившись через силу проглотить кусочек вонючей тухлой тюленины.

Джопсон не мог поверить, что они поставили на нем крест, словно он уже умер. Он живой человек, с хорошим послужным списком, с превосходным опытом работы в должности личного вестового и с биографией верноподданного королевы, не говоря уже о семье и доме в Портсмуте (если жена Элизабет и сын Эвери еще живы и если их еще не выселили из дома, который они сняли на двадцать восемь фунтов, полученных Томасом Джопсоном от Службы географических исследований в качестве аванса из жалованья в шестьдесят пять фунтов, положенного за первый год экспедиции).

Лагерь Спасения теперь казался пустым, если не считать тихих стонов, которые могли доноситься из соседних палаток, а могли быть и просто шумом непрерывного ветра. Обычный скрип гальки под башмаками, тихие чертыханья, редкий смех, приглушенные голоса мужчин, идущих на

дежурство или с дежурства, крики между палатками, стук молотка или визг пилы, запах табака – все пропало, кроме неясных и постепенно замирающих вдали звуков. Люди действительно покидали лагерь.

Томас Джопсон не собирался оставаться здесь и умирать в этом холодном временном лагере у черта на рогах.

Собрав все оставшиеся у него – а также невесть откуда появившиеся – силы, Томас Джопсон стянул с плеч шерстяной спальный мешок и принялся выползать из него. Дело отнюдь не упростил тот факт, что ему пришлось отдирать от тела корки засохшей крови и прочих выделений, прежде чем он выбрался из спального мешка и пополз к выходу.

Преодолев ползком, казалось, многие мили, Джопсон рванулся вперед, упал плашмя в проеме палатки и задохнулся от обжигающе холодного воздуха. Он настолько привык к полумраку и духоте своего парусинового пристанища, что на открытом воздухе у него сперло дыхание и прищуренные глаза заслезились от ослепительного блеска солнца.

Через несколько мгновений Джопсон осознал, что блеск солнца был обманом зрения: на самом деле утро стояло пасмурное и туманное и клубы морозного тумана плавали между палатками, точно призраки всех мертвецов, оставленных позади. Капитанскому вестовому невольно вспомнился густой туман того дня, когда они послали лейтенанта Литтла, ледового лоцмана Рейда, Гарри Пеглара и прочих вперед по первому открытому проходу во льдах.

«Навстречу гибели», – подумал Джопсон.

Подтягиваясь на руках, ползя по галетам и кускам тюленины – принесенным ему, словно жертвенный дар какому-то поганому языческому идолу, – Джопсон протаскил сквозь полукруглое входное отверстие палатки онемевшие безжизненные ноги.

Он увидел поблизости еще две или три палатки и на мгновение исполнился надежды, что ходячие мужчины покинули лагерь на время, что все они просто занимаются чем-то возле лодок и скоро вернутся обратно. Но потом заметил, что большинство голландских палаток отсутствует.

«Нет, не отсутствует». Теперь, когда глаза привыкли к рассеянному свету, проникавшему сквозь туман, он увидел, что большинство палаток здесь, на южном краю лагеря – ближайшему к лодкам и береговой линии, – свернуты и придавлены камнями, чтобы ветер не унес. Джопсон впал в недоумение. Если они действительно покинули лагерь, почему не взяли с собой палатки? Складывалось впечатление, будто они решили выйти на лед, но собирались вскоре вернуться. Но куда? И зачем? Тяжелобольной и недавно страдавший галлюцинациями вестовой не находил во всем этом

никакого смысла.

Потом туманная пелена плавно колыхнулась, расступилась, и он увидел ярдах в пятидесяти от своей палатки берег, где мужчины тащили, толкали и тянули лодки на лед. Джоппсон на глаз прикинул, что на каждую лодку приходится по меньшей мере десять человек, – значит, почти все обитатели лагеря уходили, бросая здесь его и других тяжелобольных.

«Как может доктор Гудсир бросить меня?» – подумал Джоппсон. Он попытался вспомнить, когда врач в последний раз приходил к нему, чтобы накормить бульоном или умыть. Вчера за ним ухаживал Хартнелл, не так ли? Или это было несколько дней назад? Он не мог вспомнить, когда врач в последний раз осматривал его или поил лекарством.

– Подождите! – крикнул он.

Только это был не крик, а еле слышный хрип. Джоппсон осознал, что вот уже несколько дней – а возможно, и недель – не разговаривал нормальным голосом, и звук, который он сейчас издал, казался слабым и приглушенным даже для его болезненно обостренного слуха.

– Стойте!

На сей раз получилось не лучше. Он понял, что должен помахать рукой, чтобы они заметили его, вернулись за ним.

Томас Джоппсон не мог поднять ни одну, ни другую руку. При попытке сделать это он бессильно повалился вперед, ударившись лицом о землю.

Он слишком слаб.

Ничего страшного, он просто поползет за ними, и в конце концов они увидят его и вернутся. Они не бросят товарища по команде, достаточно здорового, чтобы проползти сотню ярдов.

Подтягиваясь на ободренных руках, извиваясь всем телом, Джоппсон прополз еще три фута и снова упал лицом на обледенелую гальку. Туман клубился вокруг, скрывая от взора даже палатку в нескольких шагах позади него. Ветер стонал – или, возможно, то стонали другие брошенные больные в двух-трех палатках, – и холод морозного утра проникал сквозь грязную шерстяную рубаху и грязные штаны, пробирал до костей. Джоппсон осознал, что, если он будет ползти прочь от палатки, возможно, у него не хватит сил вернуться обратно и он умрет от холода и сырости здесь, на берегу.

– Стойте! – крикнул он. Голос звучал слабо, как мяуканье новорожденного котенка.

Извиваясь, судорожно дергаясь всем телом, он прополз еще три фута... четыре... и распластался на камнях, хрипя и задыхаясь, словно раненный гарпуном тюлень. От ослабших, онемелых рук теперь было не

больше пользы, чем от тюленьих лап... или даже меньше.

Джопсон попытался упереться подбородком в мерзлую землю, чтобы, отталкиваясь от нее, продвинуться вперед еще на фут-другой. Он мгновенно расколол один из последних оставшихся зубов пополам, но повторил попытку. Его тело было слишком тяжелым. Оно казалось прикованным к земле собственным весом.

«Мне всего тридцать один год! – яростно, гневно подумал он. – Сегодня мой день рождения».

– Стойте... стойте... стойте... стойте... – Каждое следующее слово звучало тише предыдущего.

Тяжело дыша, Джопсон распластался на животе, с вытянутыми вдоль тела безжизненными руками, болезненно вывернул шею и прижался щекой к измазанному кровью обледенелым округлым камням так, чтобы смотреть прямо вперед.

– ...стойте...

Туман взвихрился и потом расступился.

Он видел ярдов на сто вперед – видел непривычно пустое место на галечном берегу, где совсем недавно стояли лодки, нагромождения прибрежных ледяных глыб и за ними сорок с лишним человек с четырьмя лодками – где пятая? – и люди с трудом брели по льду в южном направлении, обнаруживая явные признаки слабости, заметные даже с такого расстояния, и двигаясь немногим быстрее и ловчее, чем двигался сам Джопсон.

– Стойте!

Крик отнял у него последнюю толику энергии – Джопсон чувствовал, как нутряное тепло утекает из тела в мерзлую землю, – но получился громким, как любое произнесенное нормальным голосом слово.

– Стойте!!! – Наконец-то он крикнул по-настоящему. Это был голос мужчины, а не мяуканье котенка или хрип умирающего тюленя.

Но слишком поздно. Люди и лодки уже находились ярдах в ста от него – плохо различимые темные силуэты на сером фоне бескрайнего ледяного пространства, – и треск льда и стоны ветра заглушили бы даже звук ружейного выстрела, не говоря уже об одиноком голосе человека, оставленного позади.

На мгновение туман рассеялся еще сильнее, и благословенный свет пролился с небес – словно солнце собиралось растопить лед повсюду и вернуть зеленые побеги, и живых существ, и надежду в сей забытый богом безрадостный, пустынный край, – но потом туман опять сгустился и закружился вокруг Джопсона, заволакивая все перед глазами, обвивая

влажными, холодными, серыми щупальцами.

А потом люди и лодки исчезли.

Словно их никогда и не было.

Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям

8 сентября 1848 г.

Помощник конопатчика Корнелиус Хикки ненавидел королей и королев. Он считал их кровососущими паразитами на заднице государства.

Но он обнаружил, что сам совсем не прочь быть королем.

Его план дойти под парусом и на веслах до лагеря «Террор» или до самого корабля рухнул, когда их полубаркас – уже не так тесно набитый людьми – обогнул юго-западный мыс Кинг-Уильяма и наткнулся на наступающий паковый лед. Широкие разводья превратились в узкие каналы, которые никуда не вели или закрывались прямо перед ними, когда они пытались вести лодку вдоль береговой линии, теперь тянувшейся на северо-восток.

Гораздо дальше к западу была настоящая открытая вода, но Хикки боялся удаляться от острова на расстояние, превышающее пределы видимости, по той простой причине, что никто из оставшихся в живых людей в лодке не знал навигацкого дела.

Единственная причина, почему Хикки и Эйлмор столь великодушно позволили Джорджу Ходжсону присоединиться к ним – вернее, внушили молодому лейтенанту желание присоединиться к ним, – заключалась в том, что этот болван обучался, как все военно-морские офицеры, искусству навигации по звездам. Но в первый же день похода Ходжсон признался, что не может определить их местоположение или проложить курс к лагерю в море без секстанта, а единственный оставшийся в экспедиции секстант по-прежнему находился во владении капитана Крозье.

Одной из причин, побудивших Хикки, Мэнсона, Эйлмора и Томпсона вернуться назад и выманить Крозье и Гудсира на лед, было желание каким-нибудь образом заполучить этот чертов секстант, но здесь природная смекалка подвела Корнелиуса Хикки. Они с Дики Эйлмором так и не сумели придумать ни одной мало-мальски убедительной причины для того, чтобы Бобби Голдинг попросил Крозье взять с собой секстант, – и потому они решили под пытками заставить ирландского джентльмена написать в лагерь записку с требованием прислать ему инструмент, но в конечном счете, увидев своего мучителя поверженным на колени, Хикки предпочел

убить его на месте.

Поэтому, как только они нашли открытую воду, молодой Ходжсон стал им не нужен, даже в качестве упряжного, и Хикки положил предать лейтенанта быстрой и милосердной смерти.

Для подобной цели отлично сгодился пистолет и запасные патроны Крозье. В первые дни после возвращения к месту стоянки с Гудсиром и запасом провианта Хикки разрешал Эйлмору и Томпсону держать при себе два захваченных дробовика – в распоряжении самого Хикки находился третий, полученный от Крозье в день их отбытия из лагеря Спасения, – но потом решил, что лишнее оружие в отряде ни к чему, и приказал Магнусу выбросить дробовики в море. Так оно было лучше: король Корнелиус Хикки владел пистолетом, распоряжался единственным дробовиком и патронами и повелевал неотлучно находившимся при нем Магнусом Мэнсоном. Эйлмор был слабаком, знающим жизнь только по книгам, и прирожденным заговорщиком, а Томпсон неотесанным хамом и выпивохой, не заслуживающим доверия, – подобные вещи Хикки чувствовал инстинктивно и понимал благодаря своему острому природному уму, – и потому, когда в первых числах сентября запас провианта в виде останков Ходжсона подошел к концу, он приказал Магнусу сшибить двух вышеназванных мужчин головами, связать и притащить, оглушенных, к месту, где Хикки в присутствии дюжины остальных своих подчиненных произвел над ними короткий суд, признал Эйлмора и Томпсона виновными в подстрекательстве и заговоре против командира и товарищей и убил обоих выстрелом в затылок.

В случае со всеми тремя жертвами, принесенными для общего блага, – Ходжсоном, Эйлмором и Томпсоном, – проклятый врач Гудсир отказался выполнять свои обязанности главного прозектора.

За каждый такой отказ командору Хикки приходилось определять строптивому врачу наказание. Гудсир подвергся наказанию уже трижды и еле волочил ноги сейчас, когда они, вынужденные обстоятельствами, снова высадились на берег.

Корнелиус Хикки верил в удачу – свою собственную удачу, – и по жизни ему всегда везло, но, если вдруг удача отворачивалась от него, он всегда был готов своими силами придать событиям счастливый поворот.

В данном случае, когда они обогнули огромный мыс на юго-западной стороне острова Кинг-Уильям – при возможности идя под парусом, гребя изо всех сил, когда каналы поблизости от берега сужались, – и увидели впереди сплошной паковый лед, Хикки приказал вытащить лодку на берег, и они снова погрузили полубаркас на сани.

Он не видел необходимости напоминать своим людям о том, как им повезло. В то время как люди Крозье почти наверняка умерли или умирали в лагере Спасения – либо на паковом льду пролива к югу от него, – немногие избранные под водительством Хикки преодолели уже более двух третей, а возможно, и полных три четверти пути к лагерю «Террор» и всем оставленным там продовольственным запасам.

Хикки решил, что руководителю такого ранга – правящему королю экспедиции Франклина – не пристало идти в упряжи, – вдобавок благодаря ему (и только ему) люди сытно питались и не могли жаловаться на болезни или нехватку сил, – и потому часть пути он положил сидеть на корме полубаркаса, погруженного на сани, позволяя дюжине своих уцелевших подданных, за исключением одного только хромящего Гудсира, тащить оные по льду, гальке и снегу, пока они огибали северную оконечность мыса.

Последние несколько дней Магнус Мэнсон ехал с ним в полубаркасе – не просто потому, что теперь все признали в Магнусе супругу царствующего короля, а равно Великого Инквизитора и Палача. У бедного Магнуса опять заболел живот.

Хромой Гудсир все еще оставался в живых главным образом по той причине, что Корнелиус Хикки панически боялся болезней и инфекций. Недуги, поражавшие людей в лагере Спасения и раньше, – в особенности сопровождавшаяся кровотечениями цинга – внушали помощнику конопатчика отвращение и ужас. Он нуждался во враче, который ухаживал бы за ним, хотя пока у него не наблюдалось никаких симптомов болезни, которой столь страшно мучились остальные.

Члены упряжной команды Хикки – Морфин, Оррен, Браун, Данн, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Сили и Стиклэнд – тоже не обнаруживали никаких признаков цинги теперь, когда они снова питались свежим или почти свежим мясом.

Один только Гудсир выглядел совершенно больным (помимо того, что хромял по понятным причинам), каковое обстоятельство объяснялось тем, что этот болван упорно продолжал питаться остатками галет и водой. Хикки понимал, что скоро ему придется вмешаться в дело и заставить врача перейти на более здоровый, противцинготный рацион – самыми полезными и питательными были такие мясистые части человеческого тела, как бедро, голень, предплечье и плечо, – дабы тот не умер из-за своего собственного ослиного упрямства. В конце концов, докторам положено знать такие вещи. На черствых галетах и воде может прожить крыса за неимением другой пищи, но уж никак не взрослый мужчина.

Чтобы не допустить смерти врача, Хикки давно забрал у него из сумки все медикаменты и сам присматривал за ними, позволяя Гудсиру давать лекарства Мэнсону или остальным только под своим строгим наблюдением. Он также позаботился о том, чтобы доктор не имел доступа к ножам, а пока они плыли в лодке, всегда приставлял к нему одного из мужчин, который следил за тем, чтобы Гудсир не бросился за борт.

До сих пор врач не обнаруживал никакой склонности к самоубийству.

Желудочные боли у Магнуса теперь стали такими сильными, что он не только ехал вместе с Хикки в полубаркасе днем, но и порой не спал ночью. Хикки не помнил, чтобы друг когда-нибудь прежде мучился бессонницей.

Разумеется, причиной недомогания были крохотные пулевые ранения, и теперь Хикки заставлял Гудсира ежедневно обрабатывать их. Врач утверждал, что раны поверхностные и никаких воспалительных процессов в них не происходит. Он показал и Хикки, и простодушному Магнусу, который задрал рубаху и с тревогой вглядывался в свой живот, что мышечные ткани в области желудка у него по-прежнему розовые и здоровые.

– Тогда откуда боль? – настойчиво спросил Хикки.

– Это обычное дело при любом ушибе – особенно при сильном ушибе мышц, – ответил врач. – Место ушиба может болеть несколько недель. Но это не опасно и уж тем более не представляет угрозы для жизни.

– Вы можете удалить шары? – спросил Хикки.

– Корнелиус, – прохныкал Магнус, – я не хочу, чтобы меня оскопили.

– Я имею в виду пули, милый, – сказал Хикки, потрепав великана по руке. – Маленькие пули, что засели у тебя в животе.

– Возможно, – сказал Гудсир. – Но лучше не пытаться. По крайней мере, пока мы на марше. В ходе операции потребуется разрезать мышечную ткань, которая уже почти зажила. Может статься, потом мистеру Мэнсону придется пролежать несколько дней... и всегда существует высокий риск сепсиса. Если мы все-таки решим удалить пули, мне было бы гораздо удобнее сделать это в лагере или на самом корабле. Чтобы после операции пациент мог провести в постели несколько дней или дольше.

– Я не хочу, чтобы у меня болел живот, – пророкотал Магнус.

– Ну конечно не хочешь, – сказал Хикки, глядя своего дружка по могучей груди и плечам. – Дай ему морфина, Гудсир.

Магнус всегда с удовольствием проглатывал свою ложку морфина, а потом с час сидел на носу полубаркаса с блаженной улыбкой, прежде чем засыпал.

Таким образом, в пятницу восьмого сентября в мире короля Хикки все было в полном порядке. Одиннадцать его упряжных животных – Морфин, Оррен, Браун, Данн, Гибсон, Бест, Джерри, Уорк, Сили и Стиклэнд – находились в добром здравии и прилежно тащили сани каждый день. Магнус большую часть времени был счастлив – ему нравилось сидеть на носу лодки, словно он офицер, и озирая местность, простиравшуюся позади них, – и в бутылках оставалось еще достаточно морфина и лауданума, чтобы продержаться до прибытия в лагерь или на сам корабль. Гудсир был жив, ковылял рядом с санями и ухаживал за королем и его супругой. Погода стояла хорошая – хотя постепенно холодало, – и ничто не указывало на близкое присутствие зверя, который охотился на них в предшествующие месяцы.

Хотя они не ограничивали себя в еде, у них оставалось достаточно провианта в виде останков Эйлмора и Томпсона, чтобы еще несколько дней питаться тушеным мясом, – они обнаружили, что человеческий жир представляет собой такое же топливо, как китовый, хотя горит не столь жарким огнем и сгорает быстрее, – и Хикки планировал тянуть жребий, если до прибытия в лагерь «Террор» понадобится принести в жертву еще кого-нибудь.

Конечно, они могли бы просто урезать рацион, но Корнелиус Хикки знал, что процедура вытягивания жребия поселит ужас в сердца одиннадцати, и без того безропотных, упряжных животных и еще раз покажет, кто главный в этой экспедиции. Хикки всегда спал чутко, а теперь вообще вполглаза, не выпуская из руки пистолет, но последнее публичное жертвоприношение – после которого, вероятно, Магнусу придется в четвертый раз наказать Гудсира за строптивость, – сломит последнюю тайную волю к сопротивлению, которая еще может оставаться в сердцах вероломных упряжных животных.

Сегодня же, в пятницу восьмого сентября, погода была чудесная: температура воздуха держалась между двадцатью и тридцатью градусами^[16], и голубое небо становилось еще голубее к северу, куда они держали путь. Тяжелая лодка высоко стояла на санях, и деревянные полозья с шорохом и скрипом ползли по льду и гальке. Недавно принявший лекарство Магнус блаженно улыбался, держась обеими руками за живот и тихо напевая себе под нос.

До лагеря и могилы Джона Ирвинга у Виктори-Пойнт, знали все они, оставалось меньше тридцати миль и меньше пятнадцати – до могилы лейтенанта Левеконта на берегу. Сейчас, когда люди восстановили свои силы, они покрывали от двух до трех миль ежедневно – и, вероятно, смогут

покрывать больше, если их рацион снова улучшится.

Для этой цели Хикки минуту назад выдрал страницу из одной из многочисленных Библий, по настоянию Магнуса собранных и погруженных в полубаркас перед выступлением из лагеря Спасения (пусть преданный идиот умел читать не лучше своего любимого помощника конопатчика), и сейчас разрывал страницу на одиннадцать одинаковых полосок.

Сам Хикки, разумеется, не будет тянуть жребий, как не будут Магнус и чертов лекарь. Но сегодня вечером Хикки велит каждому из мужчин написать свое имя или поставить свою подпись на одной из полосок бумаги и прикажет Гудсиру просмотреть все полоски и во всеуслышание подтвердить, что все написали свои подлинные имена или поставили свои собственные подписи.

Потом полоски с именами отправятся в карман бушлата королю – и все будет готово к предстоящей торжественной церемонии.

*Юго-западный мыс острова Кинг-Уильям
5 октября 1848 г.*

Из личного дневника доктора Гарри Д. С. Гудсира

6, 7 или, возможно, 8 октября 1848 г.

Я выпил последний глоток зелья. Пройдет несколько минут, прежде чем оно подействует в полной мере. Пока же я постараюсь наверстать упущенное в части своих дневниковых записей.

В последние дни я вспоминал подробности признания, сделанного мне молодым Ходжсоном в палатке несколько недель назад, в ночь накануне его смерти от руки мистера Хикки.

Лейтенант прошептал:

– Прошу прощения за беспокойство, доктор, но мне нужно сказать кому-нибудь о своем глубоком раскаянии.

Я прошептал в ответ:

– Вы не католик, лейтенант Ходжсон. А я не ваш духовник. Спите и не мешайте спать мне.

Ходжсон настаивал:

– Я еще раз прошу прощения, доктор. Но мне необходимо сказать кому-нибудь, как глубоко я раскаиваюсь, что предал капитана Крозье, который всегда был добр ко мне, и позволил мистеру Хикки захватить вас в плен. Я искренне раскаиваюсь и безумно сожалею о случившемся.

Я лежал молча, не произнося ни слова, никак не откликаясь на слова мальчика.

– С самого дня гибели Джона... в смысле лейтенанта Ирвинга, моего близкого друга еще по артиллерийскому училищу, – упорно продолжал Ходжсон, – я не сомневался, что убийство совершил помощник конопатчика Хикки, и испытывал перед ним ужас.

– Почему же вы примкнули к мистеру Хикки, если считали его таким чудовищем? – прошептал я в темноте.

– Я... боялся. Я хотел быть на его стороне именно потому, что он такой

страшный человек, – прошептал Ходжсон.

А потом мальчик расплакался.

– Как вам не стыдно, – сказал я.

Но я обнял плачущего мальчика и похлопывал по спине, пока он не уснул.

На следующее утро мистер Хикки собрал всех и приказал Магнусу Мэнсону поставить лейтенанта Ходжсона на колени перед ним. Сам же помощник конопатчика, размахивая пистолетом, объявил, что он, мистер Хикки, не намерен терпеть бездельников в своей команде, и еще раз объяснил, что все добросовестные люди будут сытно питаться и останутся в живых, в то время как все лодыри умрут.

Потом он приставил длинный ствол пистолета к затылку Джорджа Ходжсона и вышиб ему мозги.

Я должен сказать, что перед смертью мальчик держался мужественно. Все то утро он не выказывал ни малейшего страха. Последнее, что он сказал перед выстрелом, было: «Пошел к черту».

Мне бы хотелось встретить смерть столь же мужественно. Но я точно знаю, что у меня так не получится.

Со смертью лейтенанта Ходжсона спектакль мистера Хикки не закончился; не закончился он и после того, как Магнус Мэнсон раздел мальчика донага и оставил труп лежать за земле перед собравшимися мужчинами.

От этого зрелища сердце у меня мучительно сжалось. Как медик, должен сказать, что я даже не представлял, что человек, еще совсем недавно живой, может быть таким худым, каким был бедный Ходжсон. От рук у него остались одни только кости, обтянутые кожей. Ребра и грудина выступали так сильно, что грозили прорвать кожу. И все тело бедного мальчика было сплошь покрыто синяками и кровоподтеками.

Тем не менее мистер Хикки велел мне выйти вперед, вручил мне большие ножницы и попросил приступить к вскрытию тела лейтенанта прямо перед собравшимися мужчинами.

Я отказался.

Мистер Хикки любезным голосом повторил просьбу.

Я снова отказался.

Тогда мистер Хикки приказал мистеру Мэнсону забрать у меня ножницы и раздеть меня догола, как лежащий у наших ног труп.

Когда с меня сорвали всю одежду, мистер Хикки прошелся передо мной взад-вперед и указал пальцем на отдельные части моего голого тела. Мистер Мэнсон стоял рядом, с ножницами в руке.

– В нашем братстве нет места бездельникам, увиливающим от своих обязанностей, – сказал мистер Хикки. – И хотя мы нуждаемся во враче – ибо я намерен заботиться о драгоценном здоровье своих людей, всех до единого, – он должен понести наказание, если отказывается служить нашему общему благу. Сегодня он отказался дважды. В знак нашего недовольства мы отрежем два каких-нибудь несущественных отростка.

И мистер Хикки принялся тыкать стволом пистолета в различные части моего тела: пальцы, нос, пенис, яички, уши.

Потом он взял мою руку.

– Пальцы необходимы врачу, если он собирается быть нам полезным, – театрально провозгласил он и рассмеялся. – Их мы оставим напоследок.

Почти все мужчины рассмеялись.

– Однако ему не нужны ни яйца, ни член, – сказал мистер Хикки, тыча в вышеупомянутые органы очень холодным стволом пистолета.

Мужчины снова рассмеялись. Похоже, они с великим нетерпением ждали дальнейших событий.

– Но сегодня мы милосердны, – сказал мистер Хикки.

Затем он приказал мистеру Мэнсону отрезать мне два пальца на ноге.

– Какие два, Корнелиус? – спросил здоровенный идиот.

– На твой выбор, Магнус, – ответил наш церемониймейстер.

Мужчины снова рассмеялись. Они были определенно разочарованы, что дело ограничится отрезанием всего-навсего пальцев, однако с нескрываемым удовольствием наблюдали за Магнусом Мэнсоном в роли вершителя судьбы моих фаланг. Винить их не приходится. Матросы в большинстве своем не имеют никакого образования и не любят людей образованных.

Мистер Мэнсон выбрал два моих больших пальца.

Зрители рассмеялись и зааплодировали.

Ножницы были быстро пущены в дело, и огромная физическая сила мистера Магнуса послужила к моему благу при ампутации.

Зрители снова засмеялись и выказали великий интерес к происходящему, когда мне принесли мою медицинскую сумку и я перетянул поврежденные артерии, остановил кровотечение, как сумел – чувствуя при этом страшную слабость, – и наложил повязку на раны.

Мистер Мэнсон получил распоряжение отнести меня в мою палатку; он ухаживал за мной заботливо, как мать за больным ребенком.

Именно в тот день мистер Хикки решил изъять у меня самые действенные лекарственные препараты. Но еще прежде я слил большую часть морфина, опия, лауданума, ядовитой каломели и настоя

мандрагорового корня в одну матовую, безобидную на вид бутылку с надписью «Свинцовый сахар», которую спрятал не в медицинской сумке, а в другом месте. Потом я долил в бутылки с остатками перечисленных средств воды до прежнего уровня.

Теперь каждый раз, когда я даю мистеру Мэнсону лекарство от «больного живота», он получает восемь частей воды на две части морфина. Однако великан, похоже, не замечает, что целебное средство утратило эффективность, каковое обстоятельство в очередной раз напоминает мне о том, сколь важна вера пациента в медицину.

Со дня смерти лейтенанта Ходжсона я еще несколько раз отказывался выполнять приказы мистера Хикки, лишившись в общей сложности восьми пальцев ног, одного уха и крайней плоти.

Последняя операция вызвала у зрителей такой веселый смех – несмотря на лежащие перед ними трупы, – словно они присутствовали на цирковом представлении.

Я знаю, почему мистер Хикки так и не выполнил свою неоднократно повторенную угрозу лишить меня полового члена или яичек. За годы службы во флоте помощник конопатчика видел достаточно много травм, чтобы знать: кровотечение из подобных ран остановить зачастую невозможно – особенно если кровью истекает сам врач, который находится в полуобморочном или шоковом состоянии, когда необходимо срочно провести операцию, – а мистер Хикки не хочет, чтобы я умер.

Уже когда я потерял семь из десяти пальцев на ногах, ходить стало чрезвычайно трудно. Я никогда прежде по-настоящему не понимал, насколько важны наши пальцы для удержания равновесия. И разумеется, боль, которую я постоянно испытываю последний месяц, нельзя назвать незначительной.

Полагаю, я впаду в грех гордыни – да и просто солгу, – если скажу здесь, что ни разу не думал о том, чтобы воспользоваться для притупления боли смесью морфина, опия, лауданума (и прочих медицинских препаратов), содержащейся в бутылке, которую я много недель назад припрятал для своего последнего часа.

Но я так ни разу и не вынул бутылку из потайного места.

До сей поры.

Признаюсь, я думал, что смесь подействует быстрее.

Я совсем не чувствую ступней – какое счастье! – и ноги у меня онемели до коленных чашечек. Но если дело будет продолжаться такими темпами, пройдет еще десять минут или больше, прежде чем микстура паразит мое сердце и другие жизненно важные органы.

Мне следовало принять дозу побольше. Полагаю, я просто струсил, когда не выпил все залпом.

Признаюсь здесь (для сугубо научных целей, если кто-нибудь когда-нибудь найдет мой дневник), что микстура описанного состава не только довольно сильно действует, но и довольно сильно одурманивает. Если бы этим темным ветреным вечером здесь находился кто-нибудь – кроме мистера Хикки и, возможно, мистера Мэнсона в королевском полубаркасе надо мной, – он увидел бы, что в последние минуты жизни я расслабленно качаю головой и улыбаюсь пьяной улыбкой.

Но я не рекомендую повторять сей эксперимент ни для каких целей, помимо медицинских – причем только в самом крайнем случае.

А теперь я хочу сделать настоящее признание.

В первый, и последний, раз за все годы врачебной практики я лечил пациента не в полную меру своих возможностей.

Я говорю, разумеется, о бедном мистере Магнусе Мэнсоне.

Мой первоначальный диагноз касательно двух пулевых ранений являлся ложью. Да, действительно, пули были малого калибра, но, надо полагать, крохотный пистолет был заряжен значительным количеством пороха, ибо обе пули, как мне стало понятно в ходе первого же осмотра, пробили слабоумному великану кожу, слой мышечной ткани и стенку брюшной полости.

После первого же осмотра я знал, что пули находятся либо в желудке, либо в селезенке, либо в печени, либо в другом жизненно важном органе мистера Мэнсона и что его жизнь зависит от тщательного обследования и срочной операции по удалению пуль.

Я солгал.

Если ад существует – во что я больше не верю, ибо эта Земля с некоторыми обитающими на ней людьми сама по себе является адом, достаточно страшным для любой Вселенной, – я буду заслуженно низвергнут в самый нижний круг оного.

Но мне все равно.

Должен сказать, в груди у меня похолодело и плыцы... пАлцы тоже холодеют.

Когда окло мсца назад РЗзбушвалас пурга, я взблагдрил Бга.

Тгда кзалсь, что мы и впрвду сумем дбратся до лагеря. Казалсь, что мистер Хикки победил. Мы находлись – мне кажтся – менее чем в двдцати млях отт лагеря и преодлевали 3 или 4 миили в день при хршей погде, кгда рзразлась првая зтяжная снжная буря.

Если Богг существует... я... блгадрю Тбя, милый Боже.

Снег. Тьма. Ужасный ветер день и ночь.

Даже те, кто могли ходить, больше не могли тящить сани и бросили упряжь. Палатки пвалило ветром, потом унесло прочь. Температура упала до минус 50.

Зима ударила как молот Божьего гнева, и мистру Хики ничего не оставалось, кроме как натянуть брезентовые плотнишки по бортам своего королевского полбаркаса и перстрелять половину людей, чтобы накормит другую половину.

Некоторые убивали в пугу и умерли.

Некоторые остались и были застрелены.

Некоторые замрзли до смерти.

Некоторые съели друг и всеравно умерли.

Мистер Хики и мистер Мэнсон сидят там в своей лодке на ветру. Я не знаю наверняка, но думаю, что мистер Мэнсон уже умер.

Я убил его.

Я убил людей, которых оставил в лагере Спасения.

Мне так жаль.

Мне так жаль.

Всю свою жизнь, мой брат знает, как бы мне хотелось, чтобы мой брат был здесь сейчас, Томас знает, всю свою жизнь я любил Платона и Диалоги Сократа.

Как в случае с великим Сократом, только я совсем невеликий, яд, вполне мной заслуженный, распространяется по моему телу, и члены мои немеют, мои пальцы – пальцы хирурга – деревенеют и

Как рад

Написать записку, сейчас приколотую к моей груди

СЪЕШТЕ БРЕННЫЕ ОСТАТКИ

ДОКТОРА ГАРРИ Д. С. ГУУДСЕРАКОЛИ

ВАМ УГГОДНО

ЯДД В ЭТИХ КОСТЯХ

И ПОЛТИ УБЬЕТЕ И ВАС ТОЖЕ

люди в лагере Спасения

Томас, если мой дневник найду и прочитаю

Мне очень жаль.

Я сделал все, что мог, но так и не

Раны мистера Мэнсона Я НЕ РАСКА

Да храни Бг ЛЮде

Юго-восточный мыс острова Кинг-Уильям

18 октября 1848 г.

В какой-то момент в последние дни или недели Корнелиус Хикки осознал, что он уже не король.

Теперь он стал богом.

На самом деле – он еще не убедился окончательно, но сильно подозревал и был почти уверен – Корнелиус Хикки стал Богом.

Все умерли, но он остался в живых. Он больше не чувствовал холода. Он больше не чувствовал голода или жажды – тем более былой потребности в утолении голода и жажды. Он хорошо видел в темноте ночей, становившихся все длиннее, и ни метель, ни воющий ветер не служили помехой для его зрения и слуха.

Простым смертным понадобилось соорудить брезентовый навес у борта лодки, когда палатки изорвало и унесло ветром, и они жались под ним друг к другу, словно овцы, повернувшись задницами к ветру, пока не умерли, но Хикки чувствовал себя прекрасно на своем высоком троне на корме полубаркаса.

Когда по прошествии трех с лишним недель вынужденной стоянки (метели, ветра и стремительно крепчающие морозы не позволяли продолжать путь) его упряжные животные начали скулить и просить пищи, Хикки спустился к ним, как бог, и они получили свои хлеба и рыбы.

Он застрелил Стикланда, чтобы накормить Сили.

Он застрелил Данна, чтобы накормить Брауна.

Он застрелил Гибсона, чтобы накормить Джерри.

Он застрелил Беста, чтобы накормить Смита.

Он застрелил Морфина, чтобы накормить Оррена... или, возможно, все было наоборот. Хикки больше не считал нужным хранить в памяти такие мелочи.

Но теперь все, кого он столь великодушно накормил, умерли и лежали там, окоченелые, намертво вмерзнув в свои шерстяные спальные мешки или скрючившись на льду в жутких позах предсмертных судорог. Возможно, они просто надоели Хикки, и он пристрелил и их тоже. Он смутно помнил, как неделю или две назад, когда сам еще нуждался в пище,

вырезал отборные куски из трупов мужчин, которых застрелил, чтобы накормить остальных. Или, возможно, просто из прихоти. Он не помнил подробностей. Они не имели значения.

Когда снежные бури закончатся – а Хикки знал, что Он в любой момент может приказать пурге прекратиться, коли пожелает, – он, возможно, воскресит нескольких мужчин, чтобы они дотащили его и Магнуса до лагеря.

Проклятый врач умер – отравился и теперь лежал, окоченелый, в своей маленькой брезентовой палатке в нескольких ярдах от полубаркаса и общей могилы под брезентовым полотнищем, – но, если не считать легкого раздражения, Хикки предпочел оставить без внимания это досадное событие. Даже боги страдают разными фобиями, и Корнелиус Хикки всегда панически боялся ядов и всяких инфекций. Бросив на Гудсира единственный взгляд от входа в палатку – и всадив в труп единственную пулю, дабы удостовериться, что чертов лекарь не притворяется мертвым, – новый бог Хикки попятился и оставил в покое отравленное существо и его заразный брезентовый саван.

Магнус на протяжении нескольких недель безостановочно скулил и жаловался на своем излюбленном месте на носу лодки, но вот уже день или два хранил странное молчание. В последний раз он пошевелился во время короткого затишья между метелями, когда тусклый свет зимнего дня освещал полубаркас, занесенный снегом брезентовый навес рядом с ним, низкий холм, на котором они находились, берег к западу и бескрайние ледяные поля за ним: он открыл рот, словно собираясь обратиться с какой-то просьбой к своему любовнику.

Но никаких слов или хотя бы очередной жалобы не последовало; вместо этого горячая кровь сначала наполнила открытый рот Магнуса, а потом хлынула из него фонтаном, полилась по бороде, груди, животу и бережно прижатым к нему рукам, растекаясь лужей на дне полубаркаса у башмаков великана. Кровь по-прежнему оставалась там, но теперь замерзла, застыла извилистыми струями, похожая на длинную темную (но покрытую льдом) бороду какого-то библейского пророка. С тех пор Магнус не издал ни звука.

Короткий смертный сон друга не беспокоил Хикки – Он знал, что может воскресить Магнуса в любой момент, когда пожелает, – но неотрывный взгляд открытых глаз над разинутым ртом и замерзшим водопадом крови через пару дней начал действовать богу на нервы. Особенно неприятно было просыпаться под этим взглядом. Особенно когда глаза покрылись ледяной коркой и превратились в два холодных белых

немигающих ока.

Тогда Хикки встал со своего трона на корме и медленно двинулся вперед, мимо прислоненного к борту дробовика и сумки с патронами, через центральные банки, мимо россыпи завернутых в ткань кусков шоколада (которые, возможно, Он соблаговолит съесть, коли голод когда-нибудь вернется), мимо плотницких пил, кучи гвоздей, рулонов листового свинца, перешагнул через аккуратную стопку полотенец и шелковых платков у залитых кровью башмаков Магнуса и наконец оттолкнул ногой в сторону несколько из множества Библий, которые друг в последние дни подтащил поближе и сложил подобием маленькой стенки между собой и Хикки.

Но рот Магнуса не желал закрываться – Хикки не мог даже отодрать или сколоть замерзшую реку крови, излившуюся из него на грудь, – и белые глаза тоже никак не закрывались.

– Извини, милый, – прошептал он. – Но ты же знаешь, как я не люблю, когда на меня пялятся.

Он выковырял ножом замерзшие глазные яблоки и выбросил далеко в завывающую тьму. Он поставит глаза на место позже, когда воскресит Магнуса.

Позже, по Его приказу, снежная буря пошла на убыль и стихла. Вой ветра прекратился. С обращенного к западу наветренного борта полубаркаса, высоко стоявшего на санях, намело пятифутовый сугроб снега.

Было очень холодно, и обладающий сверхъестественным зрением Хикки видел вдали новые черные тучи, надвигающиеся с севера, но сегодня вечером в мире царило спокойствие. Он видел солнце, заходящее на юге, и знал, что пройдет шестнадцать или восемнадцать часов, прежде чем оно взойдет снова, так же на юге, и что в скором времени оно вообще перестанет подниматься над горизонтом. Тогда наступит Эпоха Тьмы – десять тысячелетий тьмы, – но это вполне устраивало Корнелиуса Хикки.

Однако сегодня ночь стояла холодная и тихая. Ярко сияли звезды – вообще-то, Хикки знал названия некоторых зимних созвездий, сейчас появившихся в небе, но сегодня не мог отыскать даже Большую Медведицу, – и Он спокойно сидел себе на корме своей лодки, надежно защищенный от холода теплым бушлатом и шерстяной шапкой, положив руки в перчатках на планшири, устремив неподвижный взгляд вперед, в сторону лагеря и даже далекого корабля. Он доберется туда, когда решит воскресить своих упряжных животных. Он думал о минувших месяцах и годах и дивился predetermined чуду своего превращения в бога.

Корнелиус Хикки не сожалел ни о каких событиях своей прошлой,

преходящей жизни. Он делал то, что должен был делать. Он воздал по справедливости надменным ублюдкам, которые по глупости своей смотрели на него свысока, и явил всем проблеск своего божественного света.

Внезапно он почувствовал какое-то движение на западе. С некоторым трудом – было очень холодно – Хикки повернул голову налево и посмотрел на замерзшее море.

Что-то двигалось к нему. Вероятно, это его слух – неестественно и сверхъестественно чуткий, как все прочие его тонко настроенные и обострившиеся сейчас чувства, – уловил звуки движения по растрескавшемуся льду.

Какое-то громадное существо шло к нему на двух ногах.

Хикки увидел бело-голубую шерсть, озаренную светом звезд. Он улыбнулся. Он обрадовался гостю.

У него больше не было причин бояться обитающего во льдах существа. Хикки знал, что теперь оно явилось к нему не как хищник, а как смиренный почитатель. В настоящее время оно не могло даже тягаться с ним силой: Корнелиус Хикки мог приказать существу бесследно исчезнуть или изгнать его легким взмахом руки в самый дальний уголок вселенной.

Оно приближалось, изредка опускаясь и прыжками передвигаясь на четырех лапах, но чаще шагая на двух ногах, как человек, хотя и поступью, несколько не похожей на человеческую.

Хикки почувствовал странную тревогу, нарушившую его глубокий космический покой.

Существо скрылось из виду, когда подошло почти вплотную к полубаркасу и саням. Хикки слышал, как оно обходит брезентовый навес, забирается под него, рвет окоченелые трупы длинными когтями, щелкает зубами размером с ножи, шумно выдыхает время от времени, – но не видел его. Он осознал, что боится повернуть голову.

Он смотрел прямо перед собой, в пустые глазницы Магнуса.

Потом внезапно существо появилось, нависло над планширем, возвышаясь на шесть или более футов над лодкой, которая сама возвышалась на шесть футов над санями и снежными сугробами.

У Хикки перехватило дыхание.

Чудовище, явленное в свете звезд сверхъестественно зоркому взору Хикки, оказалось гораздо страшнее прежнего, гораздо страшнее, чем он мог представить. Оно претерпело такую же чудесную и ужасную трансформацию, какая произошла с Ним, Корнелиусом Хикки.

Громадное существо перегнулось через планширь. Оно выдохнуло

облако ледяных кристаллов, повисшее в воздухе между носом и кормой лодки, и помощник конопатчика почуял смрад мертвечины, тысячелетний тлетворный дух смерти.

Хикки повалился бы на колени и преклонился бы перед чудовищным существом, когда бы мог пошевелиться, но он в буквальном смысле слова застыл на месте. Теперь он не мог даже повернуть голову.

Существо обнюхало тело Магнуса Мэнсона, снова и снова тычась длинным, невероятно жутким рылом в замерзший водопад крови на груди Магнуса. Хикки хотел объяснить, что это тело его возлюбленной королевы и что его надо сохранить, дабы Он – не помощник конопатчика Хикки, а Тот, кем он стал, – однажды смог вставить глаза своей возлюбленной супруги обратно в глазницы и вдохнуть жизнь в мертвое тело.

Стремительным, но почти небрежным движением существо откусило Магнусу голову.

Хруст костей был таким ужасным, что Хикки зажал бы уши, когда бы сумел отнять руки от планширей. Он не мог даже пальцем пошевелить.

Существо взмахнуло передней лапой, толщиной превосходящей массивную ляжку Магнуса, и одним ударом раздробило грудную клетку мертвеца – осколки ребер и позвонки брызнули в разные стороны. Хикки осознал, что существо не переломало Магнусу кости, как сам Магнус у него на глазах не раз переламывал ребра и позвоночник мужчинам послабее; оно разбило Магнуса вдребезги, как человек разбивает бутылку или фарфоровую куклу.

«Ищет душу, чтобы сожрать», – подумал Хикки, понятия не имевший, почему он так подумал.

Теперь Хикки не мог повернуть голову даже на дюйм, и потому ему оставалось лишь смотреть, как обитающее во льдах чудовище выскребает из тела Магнуса Мэнсона все внутренности и поедает, разгрызая огромными зубами, точно кубики льда. Потом существо содрало замороженную плоть с костей Магнуса и разбросало кости по всей носовой части полубаркаса, но предварительно разгрызло самые крупные и высосало костный мозг. Ветер снова поднялся и протяжно застонал вокруг полубаркаса, слагая из стонов заунывную мелодию. Хикки представилось, будто безумный демон ада в белой меховой шубе играет на костяной флейте.

Потом чудовище направилось к нему.

Сначала оно опустилось на четыре лапы и скрылось из виду – невозможность видеть чудовище почему-то вызывала еще сильнейший ужас, – а потом вдруг стремительно выросло у кормы, точно торосная

гряды, и перегнулось через планширь, заполняя все поле зрения Хикки. Черные, немигающие, нечеловеческие, совершенно холодные глаза находились всего в нескольких дюймах от широко раскрытых глаз помощника конопатчика. Жаркое дыхание обволокло его.

– ...ох... – сказал Корнелиус Хикки.

Это было последнее слово, произнесенное помощником конопатчика, – не столько слово, сколько долгий, исполненный ужаса бессловесный выдох. Хикки почувствовал, как теплое дыхание исходит из него самого, поднимается из груди в горло и истекает через открытый, судорожно искривленный рот, тихо свистя между зубами со сколотой эмалью, но в следующий миг он понял, что это не дыхание навек покидает его, а дух, душа.

Чудовищное существо вдохнуло в себя душу Хикки.

Но потом оно отшатнулось, потрясло огромной головой, раздраженно фыркнуло, словно отплевываясь от какой-то мерзости. Оно опустилось на все четыре лапы и навсегда покинуло поле зрения Хикки.

Все навсегда покинуло поле зрения Хикки. Звезды спустились с неба и застыли ледяными кристаллами на его широко раскрытых глазах. Ворон опустился на него, как тьма, и пожрал то, до чего не соизволил дотронуться Туунбак. В конце концов незрячие глаза Хикки растрескались от мороза, но он не моргнул.

Его тело осталось прямо сидеть на корме, с расставленными ногами, крепко упертыми в дно лодки, рядом с россыпью трофейных золотых часов и кучей одежды, снятой с мертвецов, с примерзшими к планширям руками в перчатках, – пальцы правой руки находились всего в нескольких дюймах от стволов заряженного дробовика.

На следующее утро, перед поздним рассветом, снова началась снежная буря и небо опять принялось завывать на все лады – и весь следующий день, и всю следующую ночь снег сыпал в открытый, судорожно искривленный рот помощника конопатчика и покрывал его синий бушлат, шерстяную шапку и вытаращенные растрескавшиеся глаза тонким белым саваном.

Блаженство смерти, теперь знает он, состоит в том, что там нет боли и нет сознания своего «я».

Плохая новость насчет смерти, теперь знает он, заключается в том, что там (как он и опасался каждый раз, когда помышлял о самоубийстве и отказывался от него именно по этой причине) продолжают сны.

Хорошая новость насчет плохой новости заключается в том, что сны эти чужие.

Крозье свободно плывет по течению в теплом море «не-я» и слушает чужие сны.

Если бы после перехода в блаженное состояние посмертного плавания у него осталась хоть толика аналитических способностей, свойственных ему при жизни, прежний Френсис Крозье подивился бы своей мысли насчет «слушания» снов, но эти сны и вправду скорее слушаешь, точно чье-то пение – хотя там нет ни слов, ни мелодии, ни голосов, – а не «видишь», как всегда бывает при жизни. Хотя в постигаемых слухом снах присутствуют в высшей степени определенные зрительные образы, Френсис Крозье никогда не встречал таких персонажей, форм и красок по другую сторону смертной завесы, и именно это не облеченное в голос, не облеченное в напевные звуки повествование наполняет его смертные сны.

Вот красивая эскимосская девушка по имени Седна. Она живет одна со своим отцом в снежном доме далеко к северу от постоянных эскимосских поселений. Слухи о красоте девушки распространяются окрест, и разные молодые люди пускаются в долгий путь через ледяные поля и пустынные скалистые острова, чтобы засвидетельствовать свое почтение седовласому отцу и добиться руки Седны.

Ни один из поклонников не пленяет сердце девушки ни своими речами, ни лицом, ни фигурой, и в конце весны, когда лед начинает вскрываться, она уходит одна далеко в ледяные поля, спасаясь от очередного ежегодного нашествия луноликих поклонников.

Поскольку дело происходит во времена, когда животные еще говорили на языке, понятном людям, одна птица прилетает к ней и уговаривает Седну своей песней. «Пойдем со мной в страну птиц, где все так же прекрасно, как моя песня, – поет птица. – Пойдем со мной в страну птиц,

где нет голода, где ты всегда будешь жить в шатре из прекраснейших оленьих шкур и лежать на мягчайших медвежьих шкурах, где твой светильник всегда будет наполнен жиром. И я, и мои друзья будем выполнять любые твои желания, и ты всегда будешь одета в наряды из самых наших красивых и ярких перьев».

Седна верит своему пернатому поклоннику, сочетается с ним браком по обычаю Настоящих Людей и отправляется со своим супругом в долгий путь через моря и льды в страну птиц.

Но птица солгала.

Они живут не в шатре из прекраснейших оленьих шкур, а в убогом пристанище, наспех сооруженном из лоскутов гниющей рыбьей кожи. Холодный ветер свободно разгуливает по нему и смеется над наивным легковерием Седны.

Она спит не на мягчайших медвежьих шкурах, а на жестких моржовых. В светильнике нет жира. Другие птицы не обращают на нее внимания, и она носит свои старые одежды, в которых выходила замуж. Муж приносит ей в пищу лишь сырую рыбу.

Седна постоянно повторяет своему пернатому супругу, что очень скучает по отцу, и в конце концов птицы позволяют старому эскимосу навестить дочь. Старику приходится совершить многонедельное плавание на своей утлой лодчонке.

Когда он прибывает, Седна притворяется радостной и довольной, покуда они не остаются наедине в темном, зловонном жилище, и тогда Седна заливается слезами и жалуется отцу, что муж жестоко обращается с ней и что она потеряла все – молодость, красоту, счастье, – выйдя замуж за птицу, а не за одного из молодых поклонников из племени людей.

Отец приходит в ужас и помогает Седне придумать план убийства мужа. На следующее утро, когда пернатый супруг возвращается с сырой рыбой для Седны, девушка с отцом, вооруженные гарпуном и веслом из отцовского каяка, нападают и убивают птицу. Потом отец и дочь пускаются в бегство из страны птиц.

Много дней они плывут на юг, к стране Настоящих Людей, но, когда друзья и родственники находят пернатого супруга Седны мертвым, они исполняются гневом и летят на юг, хлопая крыльями так громко, что звук этот слышен даже в краю Настоящих Людей, находящемся в тысяче лиг оттуда.

Расстояние, которое Седна с отцом преодолели за неделю плавания, птицы покрывают в считанные минуты. Они спускаются к маленькой лодке, словно черная яростная туча, состоящая из острых клювов, когтей и

перьев. Ударами могучих крыльев они поднимают ужасный ветер, который вызывает сильное волнение на море и грозит перевернуть маленькую лодку.

Отец решает вернуть дочь птицам в качестве жертвоприношения и бросает ее за борт.

Седна изо всех сил вцепляется в борт лодки. Мертвой хваткой.

Отец берет нож и отрезает первые фаланги ее пальцев. Упав в море, суставы пальцев превращаются в первых китов. Ногти становятся китовым усом, какой часто находят на отлогих берегах.

И все же Седна продолжает цепляться за лодку. Тогда отец отрезает вторые фаланги пальцев.

Они падают в море и превращаются в тюленей.

Но Седна по-прежнему цепляется. Когда объятый ужасом отец отрезает последние фаланги, они падают на плавучие льдины и в воду и превращаются в моржей.

Когда вместо пальцев у нее остаются только обрубки костей, похожие на когти покойного пернатого супруга, Седна наконец падает в воду и идет ко дну океана. Она покоится там и поныне.

Именно Седна является повелительницей всех китов, моржей и тюленей. Если Настоящие Люди угождают ей, она посылает к ним животных и приказывает тюленям, моржам и китам, чтобы они позволяли ловить и убивать себя. Если Настоящие Люди вызывают у нее неудовольствие, она держит китов, моржей и тюленей при себе в темных глубинах, и Настоящие Люди страдают и умирают от голода.

«Что за чертовщина?» – думает Френсис Крозье. Это голос его собственного «я» нарушает плавное течение постигаемых слухом чужих снов.

Словно откликаясь на призыв, возвращается боль.

«Мои люди!» – кричит он. Но он слишком слаб, чтобы кричать. Он слишком слаб, чтобы произнести это вслух. Он слишком слаб, чтобы хотя бы вспомнить, что значат эти четыре слога. «Мои люди!» – снова кричит он. Но из груди у него вырывается только стон.

Она истязает его.

Крозье приходит в чувство не сразу, но постепенно, в ходе мучительных попыток открыть глаза, сводя воедино разрозненные обрывки с трудом обретенного сознания на протяжении многих часов и даже дней, каждый раз выплывая из пучины смертного сна под действием жестокой боли и четырех бессмысленных слогов – «Мои люди!» – и в конце концов приходит в себя настолько, чтобы вспомнить, кто он такой, увидеть, где он находится, и понять, кто рядом с ним.

Она истязает его.

Эскимосская девочка-женщина, известная ему под именем леди Безмолвной, продолжает резать его грудь, руки, бока, спину и ногу раскаленным острым ножом. Боль нестерпима и неослабна.

Он лежит подле нее в тесном помещении – не в снежном доме, какой Джон Ирвинг описывал Крозье, а в своего рода палатке, сооруженной из шкур, натянутых на изогнутые палки или кости; мерцающий огонь нескольких плашек озаряет голое тело девушки и голые, искромсанные, окровавленные грудь, руки и живот самого Крозье. Похоже, она разрезает его на мелкие кусочки.

Крозье пытается закричать, но снова обнаруживает, что слишком слаб для этого. Он пытается оттолкнуть прочь истязющую руку с ножом, но он слишком слаб, чтобы поднять свою собственную руку, а тем более остановить чужую.

Ее карие глаза пристально смотрят в глаза Крозье, видят снова затеплившуюся в них жизнь, а потом опять сосредоточенно вглядываются в раны, которые она наносит ножом, кромсая и истязая его тело.

Крозье умудряется издать слабый, еле слышный стон. Потом он снова проваливается во тьму, но не в чужие, постигаемые слухом сны и в блаженное состояние свободы от собственного «я», а в черное штормовое море боли.

Она кормит его бульоном из голднеровской консервной банки, по всей видимости украденной с «Террора». Бульон имеет привкус крови какого-то морского животного. Потом она отрезает тонкие ломтики тюленьего мяса и сала странным кривым ножом с костяным черенком, зажимая шмат тюленины в зубах и орудуя острым лезвием в опасной близости от губ, тщательно прожевывает кусочки и наконец проталкивает один за другим между запекшимися, растрескавшимися губами Крозье. Он пытается выплюнуть их – он не желает, чтобы его кормили, как беспомощного птенца, – но она подбирает жирные комки и запихивает все до единого обратно ему в рот. Не в силах сопротивляться, он находит в себе силы прожевать и проглотить.

Потом он снова погружается в сон под колыбельную завывающего ветра, но вскоре просыпается. Крозье осознает, что лежит голый между меховыми полостями, – он не видит нигде в тесном помещении своей одежды, всех своих многочисленных рубашек и свитеров, – и что теперь она перевернула его на живот, подложив под него кусок гладкой тюленьей кожи, чтобы кровь из израненной груди не испачкала мягкие шкуры и меха, устилающие пол палатки. Она режет, кромсает, ковыряет длинным прямым ножом его спину.

Не в силах сопротивляться или перевернуться на спину, Крозье может лишь стонать. Ему представляется, что она режет его на кусочки, которые жарит и ест. Он чувствует, как она прижимает что-то влажное и скользкое к многочисленным ранам на спине.

В какой-то момент мучительной пытки он снова засыпает.

«Мои люди!»

Только через несколько дней нестерпимой боли, проведенных частично в беспамятстве, частично в сознании и в полной уверенности, что Безмолвная режет его на кусочки, Крозье вспоминает, что в него стреляли.

Он просыпается в темноте, которую рассеивает лишь слабый свет луны или звезд, проникающий в узкие щели между туго натянутыми шкурами. Эскимосская девушка спит рядом с ним, согреваясь теплом его тела и отдавая ему свое тепло, и оба они голые. Крозье не испытывает ни слабейшего сексуального возбуждения или плотского влечения – ничего, кроме физиологической потребности в тепле. Боль слишком мучительна.

«Мои люди! Я должен вернуться к своим людям! Предупредить их!»

Он впервые за несколько дней вспоминает Хикки, лунный свет, выстрелы.

Рука Крозье лежит у него на груди, и теперь он с трудом передвигает ладонь повыше и дотрагивается до места, куда пришелся заряд дробин. Верхняя часть груди и плечо сплошь покрыты вздувшимися рубцами и ранами, но у него такое ощущение, будто все дробинки и лоскутки ткани, вогнанные с ними в тело, аккуратно извлечены. В самые глубокие раны вложено что-то мягкое, на ощупь похожее на влажный мох или морские водоросли; у Крозье возникает острое желание выковырять эту дрянь и выбросить прочь, но не хватает силы.

Спина в области лопаток у него болит еще сильнее, чем искромсанная грудь, и Крозье вспоминает дикую боль, которую он чувствовал, когда Безмолвная ковырялась там ножом. Еще он вспоминает тихий хлюпающий звук, раздавшийся после того, как Хикки спустил курок, но перед выстрелом – старый порох отсырел, и, вероятно, оба заряда воспламенились с далеко не полной взрывной силой, – а также вспоминает мощный удар переднего края дробового облака, заставивший его крутануться на месте и рухнуть на лед. Он получил один выстрел в спину с предельного расстояния, на какое стреляет дробовик, и один в грудь.

«Все ли дробинки выковыряла эскимоска? Все ли лоскутки грязной ткани, вогнанные с ними в тело?»

Крозье щурится в полумраке. Он вспоминает лазарет доктора Гудсира и терпеливый голос врача, объясняющего, что во время боевых действий на море, как и в случае с большинством ран, полученных людьми в данной экспедиции, истинной причиной смерти являются не сами раны, а сепсис, вызванный занесенной в них инфекцией и развивающийся впоследствии.

Он медленно передвигает ладонь с груди на плечо. Он вспоминает, что, разрядив в него дробовик, Хикки еще несколько раз выстрелил из его собственного пистолета, и первая пуля попала... вот сюда. Крозье судорожно всхлипывает, когда нащупывает пальцами глубокую дыру в бицепсе. Она забита все той же влажной скользкой дрянью. От страшной боли, пронзившей плечо при прикосновении, у него кружится голова и тошнота подкатывает к горлу.

Под ребром слева он находит еще одно пулевое отверстие. Дотронувшись до него – у Крозье едва хватает сил, чтобы просто переместить туда руку, – он громко охает и на миг теряет сознание.

Очнувшись, Крозье осознает, что Безмолвная извлекла пулю у него из-под ребра и здесь тоже наложила на рану целебную припарку.

Судя по резкой боли при дыхании, пуля перебила по меньшей мере одно ребро слева, изменила траекторию движения и засела под левой лопаткой. По всей видимости, Безмолвная извлекла ее оттуда.

Он тратит несколько мучительно долгих минут и расходует последние остатки силы, чтобы дотянуться рукой до самой болезненной раны.

Крозье не помнит, чтобы ему стреляли в ногу, но жгучая боль над и под коленом свидетельствует, что третья пуля прошла там навывлет. Он нащупывает входное и выходное отверстия трясущимися пальцами. Всего двумя дюймами выше – и пуля раздробила бы колено, раздробленное колено стоило бы ему ноги, а потеря ноги означала бы верную смерть. Здесь тоже наложена целебная припарка, и, хотя Крозье нащупывает струпись, кровотечения, похоже, нет.

«Неудивительно, что у меня жар. Я умираю от сепсиса».

Потом он осознает, что жар, который он чувствует, возможно, и не лихорадочный вовсе. Эти шкуры так надежно защищают от холода и лежащее рядом нагое тело Безмолвной выделяет столько тепла, что Крозье по-настоящему жарко впервые за... какое время? Месяцы? Годы?

С великим трудом Крозье откидывает верх меховой полости, накрывающей их обоих, чтобы впустить под нее немного прохладного воздуха.

Безмолвная слабо шевелится, но не просыпается. Глядя на нее в полумраке, Крозье думает, что она похожа на девочку-подростка – возможно, на одну из младших дочерей его кузена Альберта.

С этой мыслью – вспоминая, как он играл в крокет на зеленой лужайке в Дублине, – Крозье снова погружается в сон.

Она одета в парку и стоит на коленях перед ним; руки у нее раздвинуты примерно на фут, и веревка, скрученная из сухожилий или кишок какого-то зверя, пляшет между растопыренными пальцами.

Крозье тупо смотрит.

Сложно перекрещенная веревка раз за разом складывается в две фигуры. Первая состоит из трех линий, образующих два треугольника сверху, в углах которых находятся большие пальцы девушки, и двойной петли снизу в центре, и представляет собой подобие остроконечного купола. А вторая (правая рука отведена далеко в сторону, и два прямых отрезка веревки тянутся почти до самой левой руки, где веревка обхватывает только большой палец и мизинец) представляет собой маленький замысловатый контур, похожий на карикатурную фигуру с четырьмя овальными ногами или лапами и головой в виде петельки.

Крозье понятия не имеет, что значат эти фигуры или эта игра. Он медленно мотает головой, давая понять, что не хочет играть.

Безмолвная несколько мгновений пристально смотрит на него

немигающими темными глазами. Потом она разрушает фигуру, изящным движением уронив маленькие руки на колени, и кладет веревку в костяную миску, из которой он пьет свой бульон. Через секунду она выползает из палатки, поднырнув под многочисленные пологи.

Ошеломленный сильной струей холодного воздуха, ворвавшейся внутрь за эти секунды, Крозье пытается поползти к выходу. Он должен посмотреть, где он находится. Судя по непрестанному треску и глухому гулу, они по-прежнему на льду – вероятно, поблизости от места, где в него стреляли. Крозье не представляет, сколько времени прошло с той ночи, когда Хикки напал из засады на них четверых – на него самого, Гудсира и несчастных Лейна и Годдарда, – но он надеется, что это произошло всего несколько часов назад, самое большее – день или два. Если он уйдет отсюда сейчас же, возможно, он еще успеет предупредить людей в лагере Спасения, прежде чем Хикки, Мэнсон, Томпсон и Эйлмор появятся там и сотворят еще какое-нибудь зло.

Крозье в состоянии приподнять голову и плечи на несколько дюймов, но он слишком слаб, чтобы выбраться из-под шкур, а тем более доползти до выхода и выглянуть из-под пологов палатки, сооруженной из оленьих шкур. Он снова засыпает.

Спустя какое-то время – он даже не знает, тот ли самый это день и возвращалась ли в палатку девушка, пока он спал, – Безмолвная будит его. Сквозь щели между оленьими шкурами сочится все тот же тусклый свет, в палатке горят все те же плошки с салом. В вырытой в снежном полу ямке, которую эскимоска использует для хранения продуктов, лежит кусок свежей тюленины, и Крозье видит, что девушка сняла тяжелую парку и осталась в одних только коротких штанах, надетых мехом внутрь. Изнанка мягкой шкуры светлее, чем смуглая кожа Безмолвной. Ее груди покачиваются, когда она снова опускается на колени перед Крозье.

Внезапно между пальцами у нее снова начинает плясать веревка. На сей раз девушка показывает сначала фигурку животного, потом веревка провисает, перекручивается на новый манер и складывается в подобие остроконечного овального купола.

Крозье мотает головой. Он не понимает.

Безмолвная бросает веревку в миску, берет короткий кривой нож с костяным черенком, похожим на рукоятку крюка грузчика, и начинает нарезать на тонкие ломтики кусок тюленины.

– Я должен найти своих людей, – шепчет Крозье. – Ты должна помочь мне найти моих людей.

Безмолвная внимательно смотрит на него.

Капитан не знает, сколько дней пролетело. Он очень много спит. В редкие часы бодрствования он пьет свой бульон, ест тюленьё мясо и сало, которые Безмолвная больше не разжевывает за него, хотя по-прежнему сама кладет куски ему в рот, а она меняет припарки на ранах и моет его. Крозье испытывает неопишное унижение оттого, что вынужден справлять нужду в очередную голднеровскую консервную банку, установленную на снегу на расстоянии вытянутой руки от него, и что именно девушке приходится регулярно выносить и опорожнять банку где-то на ледяном поле. Крозье не становится легче от сознания, что содержимое банки быстро замерзает и от него почти нет запаха в тесной палатке, уже насквозь пропитанной запахами рыбы, тюленины и человеческого пота.

– Мне нужно, чтобы ты помогла мне вернуться к моим людям, – снова хрипит он.

Он полагает, что, скорее всего, они находятся неподалеку от полыньи, где Хикки напал на них, – не более чем в двух милях от лагеря Спасения.

Он должен предупредить остальных.

Крозье смущает тот факт, что всякий раз, когда он просыпается, сквозь щели в стенах палатки сочится одинаково тусклый свет. Вероятно, по какой-то причине, объяснить которую в силах один доктор Гудсир, он просыпается только ночью. Возможно, Безмолвная одурманивает его своим бульоном из тюленьей крови, чтобы он спал днем. Чтобы не убежал.

– Пожалуйста, – шепчет он.

Ему остается лишь надеяться, что, несмотря на свою немоту, дикарка немного научилась понимать английскую речь за месяцы, проведенные на «Терроре». Гудсир с уверенностью утверждал, что леди Безмолвная все слышит, хотя и не может говорить за отсутствием языка, и, когда она гостила на корабле, Крозье сам не раз видел, как она вздрагивает при неожиданных громких звуках.

Безмолвная продолжает пристально смотреть на него.

«Она не только дикарка, но еще и идиотка», – думает Крозье. Будь он проклят, если еще хоть раз обратится с просьбой к этой язычнице. Он будет продолжать есть и пить, выздоравливать и набираться сил, а в один прекрасный день оттолкнет ее в сторону и отправится в лагерь сам.

Безмолвная моргает и отворачивается, чтобы поджарить кусок тюленины на маленькой самодельной плитке, заправленной жиром.

Он просыпается на другой день – вернее, на другую ночь, поскольку свет все такой же тусклый, как всегда, – и видит, что Безмолвная стоит над

ним на коленях и снова играет в свою странную игру.

Первая фигура, сложившаяся из растянутой между пальцами веревочки, представляет собой знакомый остроконечный купол. Девушка проворно шевелит пальцами. Появляются два вертикальных овала головы и туловища, но теперь с двумя ногами или ластами, а не с четырьмя. Она раздвигает руки шире, и веревочная фигурка непонятным образом начинает двигаться – скользит от правой руки к левой, переставляя ноги-петли. Пальцы девушки пляшут, и между руками у нее снова появляется овальный купол, но – медленно осознает Крозье – не совсем такой, как прежде. Остроконечная верхушка исчезла, и теперь контур купола представляет собой правильную цепную линию, какие он изучал в бытность свою гардемаринком, разглядывая иллюстрации в учебниках геометрии и тригонометрии.

Крозье трясет головой.

– Я не понимаю, – хрипит он. – Я не вижу никакого смысла в твоей чертовой игре.

Безмолвная внимательно смотрит на него, щурится, бросает веревку в кожаный мешок и начинает вытаскивать Крозье из-под шкур.

У него по-прежнему нет сил сопротивляться, но он и не напрягает свои отчасти восстановленные скудные силы, чтобы помочь девушке. Безмолвная усаживает его прямо и натягивает на него нижнюю рубаху из оленьей шкуры, а потом толстую меховую парку. Крозье страшно изумляет малый вес одежды – хлопчатобумажные и шерстяные вещи, которые он носил последние три года, весили свыше тридцати фунтов до того, как насквозь пропитались потом и влагой, но этот эскимосский наряд явно весит не более восьми фунтов. Он чувствует, насколько свободно болтаются на нем и рубаха, и парка, но насколько плотно ворот и края рукавов облегают шею и запястья, препятствуя возможному проникновению холода под одежду.

Смущенный, Крозье пытается помочь натянуть на свои голые ноги легкие короткие штаны из оленьей шкуры – такие же, какие Безмолвная носит в палатке, только побольше размером, – а потом длинные чулки из оленьей шкуры, но непослушные пальцы скорее мешают, нежели помогают. Безмолвная отталкивает руки Крозье прочь и заканчивает одевать его с бесстрастной ловкостью, известной только матерям и няням.

Крозье смотрит, как девушка надевает ему на ноги плотные носки, похоже сплетенные из травы, и подтягивает повыше к щиколоткам. Надо полагать, они обеспечивают теплоизоляцию, и Крозье трудно даже представить, сколько времени потребовалось Безмолвной – или другой

женщине, – чтобы сплести из травы такие длинные плотные носки. меховые сапоги, натянутые на него Безмолвной поверх травяных носков, имеют высокие голенища, в которые заправляются штанины, и он замечает, что подошва у них сделана из грубой кожи, значительно толще оленьих шкур, пошедших на прочие предметы одежды.

В первые часы своего бодрствования в палатке Крозье удивлялся обилию парок, мехов, оленьих шкур, горшков, скрученных из сухожилий шнуров, заправленных тюленьим жиром светильников, вырезанных, похоже, из мыльного камня, кривых ножей и прочих инструментов, но потом понял очевидную вещь: именно леди Безмолвная утащила добро восьми эскимосов, убитых лейтенантами Ходжсоном и Фарром. Остальное имущество – голднеровские консервные банки, ложки, ножи, ребра морских млекопитающих, обломки досок и даже старые бочарные клепки, использовавшиеся в качестве элементов палаточного каркаса, – наверняка подобрано на свалке у «Террора», или в покинутом лагере, или на льду, где Безмолвная провела несколько месяцев в одиночестве.

Когда процесс одевания заканчивается, Крозье бессильно валится на бок, опираясь на локоть, и, задыхаясь, спрашивает:

– Теперь ты отведешь меня к моим людям?

Безмолвная надевает на него рукавицы, натягивает на голову капюшон, отороченный мехом белого медведя, крепко хватается за край медвежьей полости под ним и выволакивает его из палатки.

Холодный воздух обжигает легкие, и Крозье заходится кашлем, но через минуту осознаёт, что совершенно не мерзнет. Он чувствует, как тепло собственного тела плавает вокруг него под просторными одеяниями, явно не пропускающими воздуха. Безмолвная с минуту суетится вокруг него, усаживая на кучу сложенных шкур. По всей видимости, она не хочет, чтобы он лежал на льду, даже на медвежьей полости, поскольку в этих странных эскимосских нарядах человеку теплее, когда он сидит, позволяя воздуху, нагретому теплом собственного тела, свободно циркулировать под одеждой.

Словно в подтверждение этой догадки, Безмолвная расстилат на льду медвежью шкуру, аккуратно ее сворачивает и добавляет к груде шкур, уложенных у него за спиной. Ноги у Крозье мерзли всякий раз, когда он поднимался на палубу или выходил на лед, а последние три месяца постоянно оставались мокрыми и холодными, но, удивительное дело, сейчас холод льда, похоже, не проникает сквозь толстые кожаные подошвы сапог и травяные носки.

Безмолвная принимается разбирать палатку ловкими уверенными

движениями, а Крозье тем временем оглядывается вокруг.

Сейчас ночь. «Почему она вытащила меня ночью? Какие-то непредвиденные обстоятельства?» Судя по звукам, они находятся на паковом льду; быстро исчезающая стоянка расположена среди сераков, айсбергов и торосных гряд, слабо поблескивающих в свете редких звезд, выглядывающих из-за низких облаков. Крозье видит темную воду полыньи футах в тридцати от места, где он лежал в палатке, и сердце у него бьется учащенно. «Мы по-прежнему находимся там, где Хикки напал на нас из засады, в двух милях от лагеря Спасения. Я знаю путь обратно».

Потом он осознаёт, что эта полынья гораздо меньше той, к которой их привел Роберт Голдинг, – черное пятно открытой воды имеет менее восьми футов в длину и всего четыре в ширину. Да и вмерзшие в паковый лед айсберги вокруг выглядят иначе. Они гораздо выше айсбергов, окружавших место засады, и их гораздо больше. И торосные гряды, хребты здесь тоже значительно выше.

Крозье, прищурившись, вглядывается в небо, но видит лишь слабо мерцающие звезды. Если бы облака разошлись и если бы у него были секстант, таблицы и карты, возможно, он сумел бы определить свое местонахождение...

«Если бы... если бы... возможно...»

Единственное знакомое скопление звезд, которое Крозье замечает среди облаков, походит скорее на зимнее созвездие, нежели на летнее, какое должно находиться в данной части неба в середине или в конце августа. Он помнит, что был ранен ночью 17 августа, – он уже сделал ежедневную запись в своем походном журнале, когда Роберт Голдинг вбежал в лагерь, – и уверен, что с момента нападения прошло не более нескольких дней.

Он лихорадочно озирается по сторонам, пытаясь рассмотреть где-нибудь над горизонтом тусклое свечение, свидетельствующее о недавнем закате или близком рассвете на юге или востоке. Повсюду вокруг только ночная тьма, и воющий ветер, и редкие мерцающие звезды.

«Боже мой... где солнце?!»

Крозье по-прежнему не чувствует холода, но дрожит так сильно, что вынужден напрячь свои скудные силы и схватиться обеими руками за сложенные в кучу шкуры, чтобы не упасть.

Леди Безмолвная делает нечто очень странное.

Она разобрала палатку в считанные секунды – даже в полумраке Крозье видит, что наружные стенки палатки сделаны из тюленьих шкур, – и теперь становится на колени на одну из тюленьих шкур и распарывает ее пополам своим кривым ножом.

Потом она тащит две половинки тюленьей шкуры к полынье и погружает в воду, толкая кривой палкой, чтобы они промокли насквозь. Возвратившись к месту, где всего минуту назад стояла палатка, девушка вынимает мороженую рыбу из хранилища, вырубленного во льду на ее половине палатки, и проворно укладывает рыбины цепочкой, голова к хвосту, вдоль одного края каждой из двух половинок быстро заледеневающей шкуры.

Крозье не видит ни малейшего смысла в действиях девушки. Такое впечатление, будто она совершает некий безумный языческий ритуал здесь, на крепчающем ветру под звездами. Но проблема в том, что она разрезала наружный покров палатки. Даже если она снова поставит палатку из оленьих шкур, натянутых на изогнутые палки, ребра и кости, стенки жилища больше не будут надежно защищать от ветра и холода.

Не обращая на него внимания, Безмолвная туго скатывает половинки тюленьей шкуры вдоль, заворачивая в них уложенную цепочкой рыбу, растягивая мокрую кожу, чтобы рулон получился как можно более тугим. Крозье с удивлением замечает, что с одного конца обоих рулонов она оставила торчать половину рыбины и теперь занимается тем, что осторожно загибает вверх головную часть одной и другой рыбы.

Через две минуты девушка поднимает два семифутовых рулона тюленьей шкуры, в которые завернута рыба, – теперь оба они замерзли, обратившись в подобие двух дубовых брусов с загнутой вверх рыбьей головой на одном конце каждого, – и укладывает на лед параллельно друг другу.

Теперь она расстилает на льду маленькую шкуру, опускается на нее на колени и с помощью сухожилий и кожаных ремешков связывает оленьи рога и кости (прежде служившие каркасом палатки), чтобы посредством их соединить между собой две семифутовые скатки тюленьей кожи с завернутой в них рыбой.

– Мать Божья, – хрипит Крозье. «Два рулона мокрой тюленьей кожи с закатанной в них мороженой рыбой – это полозья. Оленьи рога – это поперечины». – Да ты сооружаешь сани, черт возьми, – шепчет он.

Пар от дыхания висит облаком ледяных кристаллов в ночном воздухе. Удивление Крозье сменяется легкой паникой. 17 августа и раньше было не так холодно – далеко не так холодно, даже среди ночи.

По оценке Крозье, Безмолвной потребовалось полчаса или меньше, чтобы соорудить сани с полозьями из мороженой рыбы и поперечинами из оленьих рогов, но теперь он сидит вот уже часа полтора или все два (следить за течением времени трудно за отсутствием карманных часов и

поскольку он то и дело погружается в легкую дрему), пока женщина возится с санными полозьями.

Сначала она вынимает из парусиновой сумки с «Террора» что-то похожее на смесь ила и мха. Принеся от полыньи несколько голднеровских консервных банок воды, она лепит из мха и ила шарики размером с кулак, а потом укладывает по длине самодельных полозьев, ровно размазывая и прихлопывая голыми ладонями. Крозье не понимает, почему руки у нее не коченеют, хотя она часто прерывается, чтобы засунуть их под парку и погреть на собственном голом животе.

Безмолвная разравнивает полузамерзшее месиво ножом, удаляя лезвием излишки, словно скульптор, работающий над глиняным макетом. Потом она приносит еще воды из полыньи и поливает застывший слой обмазки, поверх которого мгновенно образуется твердый ледяной панцирь. Под конец она обрызгивает водой изо рта кусок медвежьей шкуры и трет влажным мехом полозья по всей длине, пока ледяная корка на них не становится совершенно гладкой. В свете звезд полозья перевернутых саней – два часа назад бывшие просто рыбой и тюленьей шкурой – кажутся Крозье стеклянными.

Безмолвная переворачивает сани полозьями вниз, проверяет ремни и узлы, садится на надежно закрепленные поперечины из оленьих рогов и обломков деревянных брусьев, испытывая их прочность, а затем привязывает оставшиеся два рога – самые длинные, изогнутые, прежде служившие элементами палаточного каркаса – торчком к саням сзади, таким образом получая подобие ручек.

Потом она укладывает на поперечины медвежьей и тюленьей шкуры и направляется к Крозье, чтобы помочь ему подняться на ноги и дойти до саней.

Он отталкивает руку девушки и пытается идти сам.

Он не помнит, как упал лицом в снег, но зрение и слух возвращаются к нему, когда Безмолвная затаскивает его на сани, выпрямляет ему ноги, прислоняет спиной к гряде шкур, опертой на задние стойки, и накрывает несколькими толстыми меховыми полостями.

Он видит, что она привязала к передней поперечине длинные кожаные ремни, концы которых сплела в подобие упряжи, надевающейся на уровне пояса. Он вспоминает ее игры с веревкой и наконец понимает, что она пыталась сказать ему: палатка (остроконечный купол) разбирается и они двое уходят (шагающие веревочные фигурки, хотя Крозье определенно не шел на своих двоих сегодня ночью) в другой купол, без остроконечной верхушки. (Другая палатка, только куполообразная? Снежный дом?)

Когда все упаковано и уложено – запасные меховые полости, парусиновые сумки, завернутые в шкуры горшки и плоски с тюленьим салом навалены на Крозье, – Безмолвная встает в упряжь и начинает тянуть сани по льду.

Полозья скользят легко, точно стеклянные, гораздо легче и тише, чем полозья тяжело нагруженных саней с «Террора» и «Эребуса». Крозье с великим изумлением осознает, что по-прежнему не чувствует холода: после двух или более часов неподвижного сидения на льду он нисколько не замерз, если не считать кончика носа.

Небо затянуто плотной облачной пеленой. На горизонте, в какую сторону ни глянь, нет ни малейшего признака рассвета. Френсис Крозье понятия не имеет, куда женщина везет его. Обратно к острову Кинг-Уильям? На юг, к полуострову Аделаида? К реке Бак? Прочь от суши, в ледяные поля?

– Мои люди, – хрипит он. Он пытается повысить голос, чтобы она услышала его сквозь вздохи ветра, сухой шорох снега и треск толстого льда под ними. – Мне надо вернуться к моим людям. Они ищут меня. Мисс... мэм... леди Безмолвная, пожалуйста. Ради всего святого, отвезите меня в лагерь Спасения.

Безмолвная не оборачивается. Он видит только заднюю часть ее капюшона и белую меховую оторочку, слабо поблескивающую в призрачном, почти несуществующем свете звезд. Крозье не понимает, как она находит путь в такой темноте или как столь хрупкая девушка может без видимых усилий тащить сани с ним и прочим грузом.

Они бесшумно скользят вперед, к окутанной тьмой нагромождениям ледяных глыб.

Седна на морском дне решает, послать ли тюленя наверх, чтобы другие животные или Настоящие Люди охотились на него, но в конечном счете тюлень сам решает, позволить себя убить или нет.

И в известном смысле тюлень всего один.

Тюлени похожи на Настоящих Людей в том смысле, что у каждого из них две души – одна преходящая, умирающая вместе с телом, и одна вечная, покидающая тело в час смерти. Первая душа, тарник, представляет собой крохотный пузырек воздуха и крови, который любой охотник может найти в тюленьих внутренностях и который имеет форму самого тюленя, только в сотни раз уменьшенного.

Когда тюлень умирает, его вечная душа покидает тело и вселяется в своем неизменном виде в тюлененка, являющегося потомком тюленя, который решил позволить убить и съесть себя.

Настоящие Люди знают, что в течение своей жизни охотник будет множество раз ловить и убивать одного и того же тюленя, моржа или медведя.

В точности то же самое происходит с вечной душой любого представителя племени Настоящих Людей, когда его преходящая душа умирает вместе с телом. Инуа – вечная душа, – сохранившая все свои воспоминания и способности, только в скрытом виде, переселяется в мальчика или девочку из рода умершего человека. Это одна из причин, почему Настоящие Люди никогда не наказывают своих детей, сколь бы непослушными или даже дерзкими они ни росли. Кроме детской души, в ребенке обитает также инуа взрослого – отца, дяди, деда, прадеда, матери, тети, бабушки или прабабушки, обладающая всей мудростью охотника, главы рода или шамана, – порицать и бранить которую нельзя.

Тюлень не сдастся первому встречному охотнику из племени Настоящих Людей. Охотник должен взять над ним верх не только благодаря своей хитрости, ловкости и мастерству, но также благодаря собственной смелости и качеству своей инуа.

Эти инуа – души Настоящих Людей, тюленей, моржей, медведей, оленей, птиц, китов – существовали в виде бесплотных духов еще до появления Земли, а Земля очень стара.

В начальный период истории Вселенной Земля представляла собой парящий диск под небом, опертым на четыре колонны. Под Землей находилась область тьмы, где обитали духи (и где большинство обитает и по сей день). В ту пору Земля была почти все время покрыта водой и не населена человеческими существами – ни Настоящими Людьми, ни другими, – пока из-под холмов на ней не выползли два человека, Аакулуджууси и Уумаанииртук. Эти двое стали первыми из племени Настоящих Людей.

В ту пору не было ни звезд, ни луны, ни солнца, и двоим первым людям и их потомкам приходилось жить и охотиться в кромешной тьме. Поскольку тогда еще не было шаманов, которые руководили бы действиями Настоящих Людей, первые человеческие существа имели весьма ограниченные возможности и охотились только на мелких животных – зайцев, куропаток, воронов, – и они не умели жить правильно. Единственным украшением, которое они изредка носили, являлся аангуак – амулет из раковины морского ежа.

Тогда же, в начале времен, к двум мужчинам на Земле присоединились женщины (они вышли из ледников, как мужчины вышли из земных недр), но они были бесплодными и все время бродили по берегу, вглядываясь в море или копаясь в земле в поисках детей.

Второй Век Вселенной наступил после долгой и ожесточенной борьбы между лисой и вороном. Тогда появились времена года, а потом жизнь и смерть; вскоре после появления времен года началась новая эпоха, когда преходящая душа человеческих существ стала умирать вместе с телом, а вечная инуа стала переселяться в другое тело.

Тогда шаманы постигли некоторые тайны мироздания и начали учить Настоящих Людей жить правильно, создав законы, которые запрещали кровосмешение, браки с представителями других родов, убийство и прочие поступки, нарушающие природный Порядок Вещей. Шаманы также умели заглядывать в прошлое – сколь угодно далекое, даже предшествующее появлению Аакулуджууси и Уумаанииртука из недр Земли, – и стали объяснять людям происхождение таких великих духов вселенной (инуа), как, например, Душа Луны, или Наарджук, душа самого сознания, или Сайла, Душа Воздуха, самая могущественная из всех древних стихий. Именно Сайла сотворяет жизненную силу, которой наделяет все вещи мира, и свой гнев она выражает в метелях и снежных бурях.

Именно тогда Настоящие Люди узнали о Седне, известной в других холодных краях под именем Уинигумаутук или Нулиаюк. Шаманы объяснили, что все человеческие существа – Настоящие Люди,

краснокожие туземцы, живущие далеко к югу от Настоящих Людей, и даже бледнолицые люди, появившиеся гораздо позднее, – родились после совокупления Седны-Уинигумаитук-Нулиаюк с собакой. Вот почему собакам позволено иметь имена, душу имени и даже принимать частицу инуа своего хозяина.

Инуа луны Анингат вступил в кровосмесительную связь со своей сестрой Сикник, инуа солнца, и жестоко обращался с ней. Жена Анингата, Улиларнак, любила извлекать внутренности из своих жертв – Настоящих Людей или животных – и настолько невзлюбила шаманов за вмешательство в дела духов, что в наказание заставила их безудержно смеяться. До сего дня с шаманами случаются приступы безудержного смеха, от которых они зачастую умирают.

Настоящие Люди обладают знанием о трех самых могущественных духах во вселенной – всепроникающей Душе Воздуха, Душе Моря, повелевающей всеми животными, которые обитают в море или кормятся дарами моря, и последнего члена троицы, Души Луны, – но эти три первородных инуа слишком могущественны, чтобы обращать внимание на Настоящих Людей (или любых других человеческих существ), и потому Настоящие Люди не поклоняются этой троице. Шаманы редко пытаются вступить в общение с могущественнейшими из духов – такими, как Седна, – и довольствуются тем, что запрещают Настоящим Людям нарушать различные табу к недовольству Души Моря, Души Луны или Души Воздуха.

Но постепенно, со сменой многих поколений, шаманы – известные среди Настоящих Людей под именем ангаккуитов – постигали все новые и новые тайны сокрытой от взора вселенной и малых духов инуа. За много веков некоторые из шаманов обрели дар ясновидения – способность прозревать грядущее. Настоящие Люди называют этот дар кауманик или ангаккуа – в зависимости от того, каким образом он проявляется. Как некогда человеческие существа приручили своих дальних родственников, волков, превратив последних в собак, так и ангаккуит, умеющий слышать чужие мысли и передавать свои мысли другим, укрощает, приручает и подчиняет своей власти малых духов, являющихся ему. Эти прирученные духи получили имя туурнгаитов и помогали шаманам не только видеть незримый мир духов и далекое прошлое, предшествующее появлению первых людей на Земле, но также заглядывать в умы других человеческих существ, чтобы узнавать о проступках Настоящих Людей, нарушающих естественный порядок мироздания. Духи-сподручники туурнгаиты помогают шаманам восстанавливать порядок и гармонию. Они учат

ангаккуитов своему языку, языку малых духов, который называется ириналиутит, чтобы шаманы могли обращаться непосредственно к своим собственным предкам и к более могущественным духам вселенной, инуа.

Когда шаманы овладели языком ириналиутит своих сподручных туурнгаитов, они обрели способность помогать людям признавать свои проступки и ошибки, чтобы лечить болезни и приводить в порядок хаос, который представляют собой дела рук человеческих, таким образом восстанавливая порядок самого мироздания. Свод законов и табу, переданный шаманами соплеменникам, был таким же сложным, как замысловатые фигуры, которые и поныне женщины из племени Настоящих Людей складывают из натянутой между пальцами веревки.

Шаманы также выступали в роли защитников.

Некоторые малые злые духи скитаются среди Настоящих Людей, всячески им досаждая и вызывая ненастье, но шаманы научились изготавливать и наделять чудесной силой священные ножи, убивающие этих тупилаитов.

Чтобы остановить саму снежную бурю, ангаккуиты изобрели и передавали из поколения в поколение особый кривой нож, которым можно перерезать сайлагиксактук, артерию ветра.

Еще шаманы умеют летать и выступать в роли посредников между Настоящими Людями и духами, но они также могут (и такое бывает довольно часто) злоупотреблять своими способностями и причинять человеческим существам вред, используя илисииксиник – могущественные чары, которые они наводят на людей, пробуждая в них зависть, дух соперничества и даже лютую ненависть, вынуждающую представителя племени Настоящих Людей убивать себе подобных без всякой причины. Нередко шаман теряет власть над своими сподручными духами туурнгаитами, и, когда такое случается, коли быстро не поправить дело, этот неумелый шаман становится сродни огромной глыбе железной руды, притягивающей к себе летние молнии, и Настоящим Людям остается только ослепить шамана и бросить на произвол судьбы или убить, обезглавив и схоронив голову подальше от тела, чтобы он не смог оживить себя и преследовать обидчиков.

Большинство шаманов, обладающих хоть малой толикой магической силы, умеют летать, исцелять больных людей, даже целые семьи или деревни (на самом деле они просто помогают людям исцелиться самостоятельно, восстановив душевную гармонию после признания своих ошибок и проступков), покидать свои тела, чтобы подниматься на луну или опускаться на морское дно (туда, где обитают инуа, могущественнейшие из

духов), а также – после шаманских заклинаний, произнесенных на языке ириналиутит, особых песен и битья в бубны – превращаться в животных вроде белого медведя.

В то время как большинство духов, не населяющих тела, довольствуются пребыванием в тонком духовном мире, за пределами последнего обитают существа, заключающие в себе инуа чудовищ.

Некоторые из малых чудовищ называются тупилеками, и в действительности они были сотворены людьми, известными под именем илиситуков, сотни и тысячи лет назад. Илиситуки являлись не шаманами, а скорее злыми стариками и старухами, которые обладали значительной шаманской силой, но использовали свои способности больше для поверхностных занятий магией, чем для исцеления людей.

Все человеческие существа и в особенности Настоящие Люди живут за счет поедания душ – они это хорошо знают. Что такое охота, если не стремление одной души найти другую душу и полностью подчинить своей власти через смерть? Когда, например, тюлень позволяет охотнику убить себя, охотник после убийства и перед разделкой туши должен выказать почтение инуа тюленя, позволившего себя убить, дав ему (поскольку он водоплавающее животное) символический глоток воды. Некоторые охотники из племени Настоящих Людей для этой цели носят с собой ложки с длинной ручкой, но старейшие и опытнейшие охотники по-прежнему поят мертвого тюленя водой из собственного рта.

Все мы поедатели душ.

Но злые старики и старухи илиситуки были еще и похитителями душ. С помощью заклинаний они подчиняли своей воле охотников, многие из которых тогда уходили со своими семьями из деревни, чтобы жить – и умереть – далеко на морском льду или в горах в глубине острова. Потомки этих жертв похитителей душ назывались кивитоками и всегда славились крайней жестокостью.

Когда члены семьи и жители деревни начинали подозревать старых илиситуков в темных делах, колдуны часто создавали маленьких злобных животных – тупилеков, – которые преследовали, калечили или убивали их врагов. Изначально тупилеки представляли собой маленькие неодушевленные предметы величиной с «чертов палец», но, когда они оживали с помощью магии илиситуков, они могли вырастать до любых, сколь угодно больших размеров и принимать самые ужасные формы. Но поскольку при свете дня таких чудовищ было легко заметить и спастись бегством, тупилеки предпочитали принимать обличья настоящих животных – моржа, например, или белого медведя. Тогда ничего не подозревающий

охотник, проклятый злым илиситуком, из преследователя превращался в преследуемого. Человеческим существам редко удавалось спастись от кровожадных тупилеков, посланных совершить убийство.

Но в наши дни на свете осталось очень мало злых колдунов илиситуков – среди всего прочего и по той причине, что, коли тупилеку не удавалось убить намеченную жертву (если в дело вмешивался шаман или сам охотник оказывался настолько умен и ловок, что спасался собственными силами), он неизменно возвращался и безжалостно убивал своего создателя. Один за другим старые илиситуки становились жертвами своих собственных ужасных творений.

Но много тысячелетий назад настало время, когда Седна, Душа Моря, вспылала гневом на родственных духов, Душу Воздуха и Душу Луны.

Чтобы убить их – двух остальных членов триады, объединяющей главные силы мира, – Седна создала собственного тупилека.

Эта одушевленная машина для убийства была столь ужасна, что получила свое собственное имя и стала зваться Туунбаком.

Туунбак мог свободно переходить из мира духов в земной мир людей и обратно, а также принимать любое обличье, какое пожелает. Каждое обличье, им принятое, было столь ужасно, что даже бесплотные духи не могли прямо посмотреть на него, не ввергнувшись в безумие. Его великая сила – направленная Седной только на разрушение и убийство – являла собой ужас в чистом виде. Вдобавок Седна наделила своего Туунбака способностью повелевать ититкусыкьюками, бесчисленными малыми злыми духами, обитающими за пределами тонкого мира.

В схватке один на один Туунбак мог бы убить и Душу Луны, и Сайлу, Душу Воздуха.

Но Туунбак, хотя и ужасный во всех отношениях, был не таким осторожным и неприметным, как малые тупилеки.

Сайла, чья жизненная сила наполняет вселенную, почуяла смертоносное присутствие чудовища, преследующего ее в тонком мире. Понимая, что Туунбак может убить ее, и понимая также, что вселенная снова ввергнется в хаос, коли она погибнет, Сайла призвала Душу Луны помочь ей убить чудовищное существо.

Анингат, Душа Луны, не имел желания помогать ей. И судьба мира не волновала его.

Тогда Сайла обратилась с просьбой о помощи к Наарджуку, Душе Сознания и одному из старейших духов инуа (который, как и сама Сайла, появился на свет в незапамятные времена, когда космический хаос отделился от тонкого, но идущего в рост зеленого побега Порядка).

Наарджук согласился.

В битве, которая продолжалась десять тысячелетий и после которой остались дыры, разрывы и пустоты в ткани тонкого мира, Сайла и Наарджук объединенными усилиями отразили яростную атаку Туунбака.

Как и все тупилеки, не сумевшие выполнить поставленную перед ними задачу, Туунбак вернулся, чтобы убить своего создателя, Седну.

Но Седна, многому научившаяся на горьком опыте еще даже до предательства, совершенного отцом в далеком прошлом, прекрасно понимала, какую опасность представляет для нее Туунбак, еще прежде, чем создала чудовище, и потому теперь она с помощью заклинаний, произнесенных на языке ириналиутит, привела в действие тайную слабость, которой наделила свое творение.

В тот же миг Туунбак перенесся на поверхность Земли и навсегда лишился способности возвращаться в тонкий мир или на морское дно и превращаться в бесплотного духа. Теперь Седне не грозила опасность.

С другой стороны, Земля и все ее обитатели оказались в опасности.

Седна изгнала Туунбака в самую холодную и пустынную часть густонаселенной Земли – в край вечных льдов у Северного полюса. Она выбрала Северный полюс, а не какую-нибудь другую далекую холодную местность, поскольку только на Крайнем Севере, который многие божества инуа считали центром Земли, жили шаманы, имевшие хоть какой-то опыт противостояния разгневанному злым духам.

Туунбак, лишенный способности превращаться в чудовищного бесплотного духа, но по-прежнему чудовищный по своей сути, вскоре переменил обличье, как делают все тупилеки, и стал самым ужасным из всех живых существ, обитающих на Земле. Он выбрал обличье и природу самого разумного, самого коварного и самого жестокого хищника на Земле – полярного белого медведя, – но размерами и хитростью превосходил обычного медведя настолько, насколько последний превосходит жалкую собачонку. Туунбак убивал и пожирал свирепых белых медведей, поглощая их души, с такой же легкостью, с какой Настоящие Люди охотились на куропаatok.

Чем сложнее душа-инуа живого существа, тем она вкуснее для хищника, пожирающего души. Вскоре Туунбак понял, что ему больше нравится поедать людей, чем нануков – медведей, – и больше нравится поедать человеческие души, чем души моржей или даже огромные, кроткие и разумные души-инуа косаток.

На протяжении многих десятилетий Туунбак пожирал человеческих существ. Обширные территории заснеженного Севера, некогда усеянные

деревнями, морские просторы, некогда выдавшие флотилии каяков, и защищенные от ветра долины, слышавшие смех тысяч Настоящих Людей, вскоре опустели, покинутые человеческими существами, обратившимися в бегство на юг.

Но спастись от Туунбака было невозможно. Сотворенный Седной тупилек превосходил в скорости бега и плавания, в проворстве, сообразительности и физической силе любого человека на свете. Он приказал злым духам ититкусикьюкам передвинуть ледники дальше на юг и заставил сами ледники преследовать людей, бежавших в одетые зеленью края, чтобы Туунбак в своей белой мохнатой шкуре не изнывал там от жары и мог маскироваться среди снегов, продолжая пожирать человеческие души.

Сотни охотников отправлялись из деревень Настоящих Людей, чтобы убить чудовище, но ни один из них не вернулся живым. Иногда Туунбак глумился над семьями погибших, возвращая части мертвых тел – порой оставляя головы, руки, ноги и туловища сразу нескольких охотников сваленными в одну кучу, чтобы родственники не смогли даже провести погребальный обряд должным образом.

Казалось, сотворенное Седной чудовище собирается сожрать все человеческие души на Земле.

Но, как и надеялась Седна, шаманы из сотен деревень Настоящих Людей, расположенных на границе холодного северного края, распространили устное послание, а затем собрались все вместе на территории шаманов ангаккуитов и обратились с мольбой о помощи ко всем дружественно настроенным духам, посоветовались со своими сподручными туурнгаитами и в конце концов придумали, как справиться с Туунбаком.

Они не могли убить ужасного Бога Который Ходит Как Человек, – даже Сайла, Душа Воздуха, и Седна, Душа Моря, не могли убить тупилека Туунбака.

Но они могли остановить его. Они могли воспрепятствовать чудовищу продвинуться дальше на юг и убить всех человеческих существ и всех Настоящих Людей.

Лучшие из лучших шаманов – ангаккуиты – отобрали лучших мужчин и женщин из своего числа, обладающих даром ясновидения и способностью слышать и передавать мысли, и свели лучших мужчин с лучшими женщинами, как сегодня Настоящие Люди случают упряжных собак, чтобы вывести еще более сильное и умное потомство.

Родившихся в результате детей, наделенных даром ясновидения, стали

называть сиксам иеа, или «небесные повелители духов», и послали их вместе с семьями на север, чтобы они помешали Туунбаку убивать Настоящих Людей.

Небесные повелители духов научились призывать Туунбака гортанным пением. Целиком посвятив свою жизнь общению с Туунбаком, они позволили ревнивому чудовищу лишиться их возможности разговаривать с себе подобными.

В обмен на обещание тупилека-убийцы не охотиться больше за человеческими душами небесные повелители духов пообещали Богу Который Ходит Как Человек, что они – Настоящие Люди и все прочие человеческие существа – больше не будут строить свои жилища в царстве льда и снега. Они пообещали Богу Который Ходит Как Человек, что никогда впредь не станут охотиться или ловить рыбу в его владениях, не испросив у него позволения.

Они пообещали, что все грядущие поколения сиксам иеа и прочих Настоящих Людей будут помогать Богу Который Ходит Как Человек утолять зверский аппетит, ловя для него рыбу, убивая моржей, тюленей, оленей, зайцев, китов, волков и даже меньших братьев Туунбака, белых медведей, чтобы он ел досыта. Они пообещали, что ни один представитель человеческого племени на каяке или лодке никогда не вторгнется в морские владения Бога Который Ходит Как Человек, кроме как для того, чтобы привезти пищу или пропеть гортанные песни, услаждавшие слух зверя, или отдать кровожадному чудовищу дань.

Благодаря своему дару предвидения сиксам иеа знали, что со вторжением во владения Туунбака бледнолицых людей – каблуна – начнется Конец Времен. Отравленный бледными душами каблуна, Туунбак заболит и умрет. Настоящие Люди забудут свои обычаи и свой язык. В их домах поселятся пьянство и отчаяние. Мужчины ожесточатся сердцем и станут бить своих жен. Души-инуа детей утратят покой, и добрые сны перестанут приходить к Настоящим Людям.

Когда Туунбак умрет от каблуна-болезни, знали небесные повелители духов, в его холодных белых владениях начнется потепление и таяние льдов. Белым медведям станет негде жить, и их детеныши умрут. Тюленям и моржам будет негде кормиться. Лишившись своих мест для гнездования, птицы будут кружить в небе и призывать на помощь Ворона.

Такое вот будущее видели они.

Сиксам иеа знали: как ни страшен Туунбак, такое будущее без него – и без родного холодного края – будет еще страшнее.

Но тогда, задолго до наступления Конца Времен, поскольку молодые

ясновидцы, небесные повелители духов, разговаривали с Туунбаком, как могли разговаривать лишь Седна и прочие духи – не голосом, но единственно посредством передачи мыслей, – все еще живой Бог Который Ходит Как Человек прислушался к их предложениям и обещаниям.

Туунбак, который – как все величайшие из великих духов инуа – любит поклонение и почитание, согласился. Он пообещал питаться приношениями людей, а не их душами.

На протяжении многих поколений ясновидящие сиксам иеа продолжали сочетаться браком только с мужчинами и женщинами, обладающими таким же даром. В малолетстве ребенок сиксам иеа отказывался от возможности разговаривать с остальными людьми, чтобы показать Богу Который Ходит Как Человек, что он посвящает свою жизнь общению только с ним одним, с Туунбаком.

На протяжении многих поколений малочисленные семьи сиксам иеа, которые живут гораздо дальше к северу, чем остальные Настоящие Люди (по-прежнему испытывающие ужас перед Туунбаком), и всегда строят свои жилища на постоянно покрытой глетчерами и снегом земле или паковом льду, стали известны под именем Людей Прямоходящего Бога, и даже их язык превратился в странную смесь из всех прочих наречий Настоящих Людей.

Разумеется, сиксам иеа не могут изъясняться вслух ни на каком наречии – только на беззвучном языке мыслей, каким владеют кауманики и ангаккуа. Но они все же остаются людьми, они любят свои семьи и принадлежат к своим родам, объединяющим многочисленные родственные семьи, и потому для общения с другими Настоящими Людьми мужчины сиксам иеа пользуются особым языком жестов, а женщины сиксам иеа имеют обыкновение прибегать к играм с натянутой между пальцами веревочкой, которым научились от своих матерей.

Прежде чем покинуть деревню
и отправиться на лед,
чтобы найти моего будущего мужа,
который приснился мне и моему отцу,
когда весла еще были чистыми,
мой отец взял темный камень, аумаа,
и пометил каждое весло.

Он знал, что не вернется
живым со льда.

Мы оба видели в наших снах,
которые приходят к сиксам иеа
и всегда сбываются,
что он, мой любимый Айя,
умрет там на руках бледнолицего.

Вернувшись со льда,
я искала тот камень повсюду,
на склонах холмов
и в руслах рек,
но так и не нашла.

Вернувшись к своим людям,
я найду весла, на которых аумаа
оставил серый знак.
Жизнь обозначена короткой линией
на конце лопасти,
но над ней проведена
длинная линия смерти.

Приходи еще! – кричит Ворон.

Крозье просыпается с адской головной болью.

В последние дни он почти всегда просыпается по утрам с сильнейшей головной болью. Казалось бы, человек с изрешеченными дробью спиной, грудью и руками и с тремя тяжелыми пулевыми ранениями должен чувствовать по пробуждении боль иного рода, но, хотя и она в самом скором времени начинает терзать его, в первую очередь он замечает именно ужасную головную боль.

Она напоминает Крозье о годах, когда он каждый вечер напивался виски и на следующее утро горько сожалел об этом.

Иногда по пробуждении – как сегодня утром – в больной голове у него звучит эхо бессмысленных слогов и слов. Все слова изобилуют щелкающими звуками и похожи на слова тарабарского наречия, какие на ходу придумывают дети, пытаясь найти верное количество слогов для песенки, сопровождающей прыганье через скакалку, но в течение мучительных секунд, предшествующих окончательному пробуждению, Крозье кажется, что они имеют какой-то смысл. В последние дни он постоянно чувствует страшную умственную усталость, словно проводит все ночи за чтением Гомера на греческом. Френсис Родон Мойра Крозье никогда в жизни не пытался читать на греческом. Да и не хотел. Он всегда предоставлял заниматься этим ученым и помешанным на книгах бедолагам вроде старого вестового Бридженса, друга Пеглара.

Этим темным утром он просыпается в снежном доме, разбуженный Безмолвной, которая с помощью веревочных фигур, сменяющих друг друга у нее между растопыренными пальцами, говорит, что пора снова идти охотиться на тюленя. Она уже одета в парку и исчезает в ведущем наружу тоннеле, как только заканчивает общение с ним.

Раздраженный тем, что позавтракать сегодня не придется – хотя бы куском холодного тюленьего сала, оставшегося со вчерашнего ужина, – Крозье одевается, под конец натягивает парку и рукавицы и ползет вниз по тоннелю, выходящему на юг, с подветренной стороны жилища.

В темноте снаружи Крозье осторожно поднимается на ноги – иногда левая нога у него плохо работает по утрам – и оглядывается вокруг. Снежный дом слабо светится, озаренный изнутри плоской, которую они

оставляют гореть, чтобы помещение не выстужалось, даже когда уходят. Крозье ясно помнит долгий санный поход через льды к этому месту – где бы оно ни находилось – и помнит, как он сидел на санях, закутанный в меха и совершенно беспомощный тогда, много недель назад, и наблюдал с чувством, похожим на благоговейный трепет, за Безмолвной, потратившей долгие часы на рытье ямы в снегу и строительство снежного дома.

С тех пор Крозье, со своим математическим складом ума, провел не один час, лежа под меховыми полостями в уютном маленьком помещении и восхищаясь криволинейными очертаниями купола и точным, без видимого труда давшимся расчетом, с каким женщина вырезала снежные блоки – при слабом свете звезд! – и возвела из них наклоненные внутрь стены.

Созерцая купол из-под своих мехов долгой ночью или темным днем, он думал: «От меня толку – как собаке от пятой ноги, – но также думал: – Эта штукавина должна рухнуть». Верхние блоки кладки находились почти в горизонтальном положении. Они имели трапециевидную форму, и последний блок – замковый – девушка протолкнула наружу, а потом подровняла его края и втянула обратно внутрь, поставив на место. Под конец Безмолвная забралась на самый верх сложенного из снежных блоков купола, попрыгала там, а потом съехала вниз по стенке.

Поначалу Крозье решил, что она просто резвится, как ребенок, каким иногда казалась, но потом понял, что она просто проверяла прочность и устойчивость нового жилища.

На следующий день – очередной день без солнца – эскимоска с помощью горячей площадки растопила внутреннюю поверхность стен снежного дома, а потом дала ей снова замерзнуть, после чего стены покрылись тонкой, но очень твердой ледяной коркой. Затем она разморозила тюленьи шкуры, которые сначала служили наружным покровом палатки, потом санными полозьями, и прикрепила к сухожилиям, пропущенным между снежными блоками кладки, таким образом обшив изнутри стены и потолок снежного дома. Крозье сразу понял, что шкуры защищают от капель воды, образующихся при повышении температуры воздуха в жилище.

Крозье поразило, насколько тепло в снежном доме: всегда по меньшей мере на пятьдесят градусов теплее, чем снаружи, и зачастую достаточно тепло, чтобы они оба оставались в одних только коротких штанах из оленьей шкуры, когда не лежали под меховыми полостями. Справа от входа на вырубленной в снегу полке находилась «кухня», и на сооруженной из оленьих рогов и палок раме над огнем там не только висели разнообразные сосуды для приготовления пищи, но также сушилась одежда. Как только

Крозье восстановил силы настолько, что стал выходить из снежного дома вместе с Безмолвной, она с помощью языка жестов и веревочных фигур объяснила, что по возвращении они каждый раз обязательно должны сушить верхнюю одежду.

Кроме кухонной полки справа от входа и полки для сидения слева от него, в глубине снежного дома находилась вырубленная в снегу широкая платформа, где они спали. Немногочисленные обломки досок и палки – в прошлом служившие элементами палаточного каркаса и поперечинами саней, – которыми Безмолвная укрепила платформу по краям, намертво вмерзли в снег, препятствуя ее осыпанию. Затем эскимоска усыпала снежное ложе остатками мха из парусиновой сумки – вероятно, используя оный в качестве утеплительного материала, – а потом аккуратно расстелила на нем оленьи и медвежьи шкуры. Затем она знаками объяснила Крозье, что они будут спать головами к выходу, подложив под них вместо подушек свернутые одежды, теперь сухие. Все одежды.

В первые дни и недели Крозье отказывался снимать на ночь короткие штаны из оленьей шкуры, хотя леди Безмолвная неизменно спала голой, но в скором времени обнаружил, что в них чересчур уж жарко. Все еще слишком слабый, чтобы испытывать физическое влечение к женщине, он вскоре привык забираться под меховые полости в чем мать родила и надевать сухие, не пропитанные потом штаны и прочую одежду только по пробуждении утром.

Всякий раз, когда Крозье ночью просыпался голый рядом с Безмолвной под меховыми полостями, распаренный от тепла, он пытался вспомнить все месяцы на борту «Террора», когда он постоянно мерз во влажной одежде, а в темной жилой палубе вечно капало с обледенелых стен и подволока и воняло керосином. В голландских палатках было еще хуже.

Сейчас он надвигает пониже на лоб отделанный мехом капюшон парки, чтобы защитить лицо от холода, и оглядывается по сторонам.

Разумеется, сейчас темно, как ночью. Крозье понадобилось много времени, чтобы смириться с мыслью, что он провел в беспамятстве – или был мертвым? – много недель после того, как в него стреляли, прежде чем впервые очнулся и осознал присутствие Безмолвной рядом; но во время их долгого санного похода над южным горизонтом наблюдалось лишь кратковременное тусклое свечение – значит, вне всяких сомнений, сейчас по меньшей мере ноябрь. После переселения в снежный дом Крозье пытался вести счет дням, но из-за постоянной темноты снаружи и странного режима сна и бодрствования (ему казалось, иногда они спят по

двенадцать часов кряду) он не знал наверное, сколько недель миновало со времени их прибытия сюда. Вдобавок из-за снежных бурь они часто сидели в доме невесты по сколько дней и ночей подряд, питаясь только рыбой и тюлениной из запасов, хранившихся в «морозильной камере».

Созвездия в небе – сегодня оно очень ясное, а значит, день очень холодный – являются зимними созвездиями, и воздух такой морозный, что звезды дрожат и мерцают в высоте, как на протяжении многих лет, когда Крозье наблюдал за ними с палубы «Террора» или любого другого корабля, на котором ходил в Арктику.

Разница только в том, что сейчас он не чувствует холода и не знает своего местоположения.

Крозье идет по следам Безмолвной вокруг снежного дома и направляется к покрытому льдом берегу и покрытому льдом морю. На самом деле у него нет необходимости идти по следам, поскольку он знает, что заснеженный берег находится ярдах в ста к северу от снежного дома и что Безмолвная всегда выходит на лед, когда охотится на тюленей.

Но, даже ориентируясь здесь по сторонам света, он все равно не в состоянии определить свое местоположение.

От лагеря Спасения и всех прочих лагерей, разбивавшихся на южном побережье острова Кинг-Уильям, замерзшие проливы всегда находились к югу. Возможно, они с Безмолвной сейчас находятся на полуострове Аделаида, расположенном через пролив к югу от Кинг-Уильяма, или даже на самом острове, но где-то на восточном или северо-восточном побережье, не нанесенном на карту.

Крозье совершенно не помнит, как Безмолвная перетаскивала его к палатке после нападения Хикки – или сколько раз меняла место стоянки, прежде чем он вернулся с того света, – и лишь очень смутно представляет, сколько времени продолжалось их путешествие на санях с рыбными полозьями, прежде чем она построила снежный дом.

Они могут находиться где угодно.

Даже если они двигались на север, они могут находиться вовсе не на Кинг-Уильяме, а на одном из островов в проливе Джеймса Росса к северо-востоку от Кинг-Уильяма или на каком-нибудь не нанесенном на карту острове либо к востоку, либо к западу от Бутии. В удалении от берега здесь начинаются холмы – не горы, но холмы, значительно выше всех, какие Крозье видел когда-либо на Кинг-Уильяме, – и само место стоянки защищено от ветра лучше любого из тех, что он или его люди находили когда-либо, включая лагерь «Террор».

Шагая по скрипящему снегу и хрустящей гальке к морскому льду,

Крозье думает о сотнях предпринятых им за последние недели попыток объяснить Безмолвной, что ему необходимо уйти, найти своих людей, вернуться к своим людям.

Она всегда смотрит на него без всякого выражения.

Постепенно он пришел к мысли, что Безмолвная понимает его – если не слова, произносимые на английском, то чувства, за ними скрытые, – но никогда не отвечает, ни взглядом, ни на языке веревочных фигур.

Ее способность все понимать – и развившаяся в нем самом способность улавливать сложные мысли, скрытые за пляшущими веревочными фигурами у нее между пальцами, – граничит со сверхъестественной. Иногда он чувствует такую близость со странной туземной девушкой, что, просыпаясь среди ночи, не сразу понимает, где чье тело. Порой на льду он слышит, как она зовет его из темноты, прося подойти поскорее или принести гарпун, веревку или инструмент... хотя у нее нет языка и она ни разу не издала ни звука в его присутствии. Она понимает очень многое, и временами Крозье кажется, что именно ее сны он видит каждую ночь, и он задается вопросом, не приходится ли девушке видеть его кошмарный сон про священника в белых одеяниях, нависающего над ним, ожидающим причастия.

Но она не желает отвести Крозье к его людям.

Трижды Крозье пытался уйти один – потихоньку выползал из снежного дома, когда она спала или притворялась спящей, прихватывал с собой лишь сумку с тюленьим салом для поддержания жизни да нож для защиты, – и все три раза заблудился: дважды в глубине острова или полуострова, где они находятся, и один раз далеко на морском льду. Все три раза Крозье шел, пока хватало сил – вероятно, по несколько дней подряд, – а потом падал, готовый принять смерть как справедливое наказание за то, что он оставил своих людей умирать.

Каждый раз Безмолвная находила его. Каждый раз она укладывала Крозье на медвежью полость, накрывала шкурами и молча тащила многие холодные мили обратно к снежному дому, где отогревала его обмороженные руки и ступни на своем голом животе под меховыми покрывалами и не смотрела на него, пока он плакал.

Сейчас он находит девушку в нескольких сотнях ярдов от берега; она склоняется над тюленьей отдушиной во льду.

Как бы он ни старался – а он старался, – Крозье еще ни разу не удавалось отыскать ни одной чертовой отдушины. Он сомневается, что в силах найти таковую летом при свете дня, а уж тем более при свете луны и звезд или в крошечной тьме, как Безмолвная. Вонючие тюлени

чрезвычайно умны и хитры, и не приходится удивляться, что его люди сумели подстрелить всего нескольких за все месяцы, проведенные на льду, и ни одного не убили через отдушину.

С помощью своей говорящей веревки Безмолвная объяснила Крозье, что тюлень может задерживать дыхание под водой всего на семь или восемь минут – самое большее на пятнадцать. (Эти единицы времени Безмолвная обозначила определенным количеством ударов сердца, но Крозье полагал, что перевел их в минуты достаточно точно.) Если он понял Безмолвную правильно, у каждого тюленя есть своя территория, как у собаки, волка или белого медведя. Даже зимой тюлень должен защищать границы своей территории, и потому, чтобы обеспечить себя достаточным запасом воздуха в своих подледных владениях, тюлень находит самый тонкий лед и выдалбливает там конусообразную отдушину, достаточно широкую в нижней части, чтобы туда поместилось все тело, но с предельно маленьким отверстием на самой поверхности льда, через которое может дышать. Безмолвная показала Крозье острые зазубрины на ластах мертвого тюленя и для пущей наглядности поскребла ими лед.

Крозье верит Безмолвной, когда она при посредстве своей говорящей веревки объясняет, что на территории одного тюленя находятся дюжины таких конусообразных отдушин, но он не может найти ни одной, хоть ты тресни. «Конусы», которые она ясно изображает с помощью своей веревки и сама без труда находит здесь среди нагромождений ледяных глыб, практически невидимы среди сераков, торосных гряд, ледяных валунов, маленьких айсбергов и расселин. Крозье наверняка сотню раз спотыкался о чертовы отдушины, но неизменно принимал их просто за неровности льда.

Сейчас Безмолвная сидит на корточках возле такой тюленьей отдушины. Крозье находится в дюжине ярдов от нее, и она знаком велит ему оставаться на месте.

На некотором расстоянии от отдушины – как же все-таки она их находит? – Безмолвная кладет на лед маленькие прямоугольные кусочки оленьей шкуры, которые подбирает и перекладывает вперед после каждого шага, и приближается к ней, осторожно переставляя ноги в толстых меховых сапогах с одного на другой, чтобы снег ни разу не скрипнул, пусть сколь угодно тихо. Оказавшись рядом с отдушиной, она медленными плавными движениями, подобными движениям русалки, втыкает в снег разветвленные оленьи рога и укладывает на них нож, гарпун, веревки и другие охотничьи принадлежности, чтобы иметь возможность взять любой нужный предмет, не производя ни малейшего шума.

Перед выходом из снежного дома Крозье перетянул свои рукава и

штанины ремнями, как учила Безмолвная, чтобы одежда не шуршала. Но он знает, что, если сейчас подойдет ближе к отдушине, произведенный им шум покажется тюленю подо льдом сродни грохоту рухнувшей башни из консервных банок – если там есть тюлень, – и потому он напрягает зрение, всматриваясь в лед под ногами, различает квадратный кусок оленьей шкуры размером два на два фута, который Безмолвная неизменно оставляет для него, и медленно, осторожно опускается на него на колени.

Крозье знает, что до его прихода, когда Безмолвная уже нашла отдушину, она осторожно и медленно убрала ножом снег, прикрывающий отверстие, и расширила само отверстие костяным наконечником, насаженным на толстый конец гарпуна. Потом она обследовала отверстие с целью убедиться, что оно находится прямо над глубоким вертикальным тоннелем во льду, – в противном случае шансы на точный удар гарпуном невелики, – а потом снова возвела над ним маленький снежный холмик. Затем она взяла тоненькую косточку, привязанную длинной веревкой, скрученной из сухожилий, к другой косточке и опустила ее глубоко под лед, положив другой конец сигнального устройства на оленьи рога.

Теперь она ждет.

Проходят часы.

Поднимается ветер. Облака начинают затягивать звездное небо, и со стороны берега метет снег. Безмолвная неподвижно сидит на корточках над отдушиной, в припорошенной снегом парке, сжимая в правой руке гарпун с костяным наконечником, опертый толстым концом на воткнутые в снег ветвистые оленьи рога.

Крозье видел, как она охотится на тюленя иными способами. В одном случае она прорубает во льду два отверстия и – с помощью Крозье, вооруженного одним или двумя гарпунами, – буквально приманивает к себе тюленя. Может, тюлень и является воплощением осторожности в животном царстве, но, бесспорно, любопытство – его ахиллесова пята. Крозье дотягивается концом своего оснащенного специальным приспособлением гарпуна к отверстию, возле которого сидит Безмолвная, и осторожно водит гарпуном вверх-вниз, заставляя вибрировать две тонкие косточки с воткнутыми в них расщепленными стержнями пера, закрепленные у наконечника. В конце концов тюлень, снедаемый любопытством, выныривает посмотреть на источник странных звуков...

При ярком лунном свете Крозье не раз изумленно наблюдал за Безмолвной, которая ползла на животе по льду, прикидываясь тюленем, двигая руками, как лапами. В таких случаях он даже не замечает тюленью голову, высовывающуюся из отверстия во льду, пока девушка не делает

внезапное, невероятно стремительное движение рукой и мгновение спустя не подтягивает обратно к себе гарпун, привязанный к кисти длинной веревкой. Чаще всего с загарпуненным мертвым тюленем на другом конце.

Но сейчас в ночном мраке зимнего дня у них имеется только тюленья отдушина, и Крозье вот уже несколько часов стоит на коленях на своей подстилке, наблюдая за Безмолвной, склонившейся над почти невидимым снежным холмиком. Примерно каждые полчаса она медленно тянет руку назад к оленьим рогам, берет с них странный маленький инструмент – изогнутую деревяшку дюймов десять длиной с тремя воткнутыми в нее птичьими когтями – и скребет им по льду над отдушиной так тихо, что он не слышит ни звука с расстояния нескольких футов. Но тюлень, по всей вероятности, слышит царапанье достаточно ясно. Даже если животное находится подле другой отдушины, в сотнях ярдов отсюда, в конце концов оно исполнится жгучего любопытства, которое окажется для него губительным.

С другой стороны, Крозье понятия не имеет, каким образом Безмолвная может рассмотреть в темноте тюленя, чтобы точно метнуть гарпун. Возможно, при солнечном свете летом, поздней весной или ранней осенью очертания животного еще смутно проглядываются подо льдом и нос его виден в крохотном отверстии отдушины – но при свете звезд? К тому времени, когда сигнальное устройство начинает вибрировать, тюлень запросто может уже повернуть и снова уйти на глубину. Может, она нюхом чувствует приближение тюленя, поднимающегося из глубины? Или чувствует неким иным образом?

Крозье изрядно замерз (свидетельство того, что он скорее лежит на своей подстилке, нежели сидит прямо) и дремлет, когда маленькое сигнальное устройство из косточек и перьев срабатывает.

Через секунду у него сна ни в одном глазу, а Безмолвная молниеносным движением поднимает гарпун и швыряет прямо вниз в отдушину еще прежде, чем Крозье успевает моргнуть и окончательно очнуться от дремы. Потом она подается назад всем телом и что есть силы тянет на себя толстую веревку, уходящую под лед.

Крозье с трудом встает – левая нога противно ноет и подламывается под ним – и ковыляет к Безмолвной со всей скоростью, на какую способен. Он знает, что сейчас наступил один из сложнейших моментов охоты на тюленя: надо вытащить животное на лед прежде, чем оно, яростно дернувшись, сорвется с зазубренного костяного наконечника гарпуна, коли только ранено, либо просто застрянет подо льдом или пойдет ко дну, коли уже мертво. Скорость играет роль, как всегда говорили на флоте.

Соединенными усилиями они вытаскивают тяжелое животное из отверстия. Безмолвная тянет веревку одной, на удивление сильной, рукой, а зажатым в другой руке ножом рубит лед, расширяя дыру.

Тюлень мертв, но ничего более скользкого Крозье в жизни не встречал. Он подсовывает руку в рукавице под ласту у самого основания, стараясь держаться подальше от бритвенно-острых зазубрин на конце, и рычажным усилием приподнимает и выволакивает мертвое животное на лед. Все это время он судорожно хватая ртом воздух, чертыхается и смеется в голос – свободный от необходимости соблюдать тишину, – а Безмолвная, разумеется, хранит безмолвие, если не считать шумного, с легким присвистом дыхания.

Когда тюлень благополучно вытащен на лед, Крозье отступает назад, зная, что последует дальше.

Тюлень, едва различимый в слабом свете звезд, пробивающемся сквозь низкие, стремительно несущиеся по небу облака, лежит на льду, устремив в пустоту неподвижный и как будто осуждающий взгляд черных глаз; лишь тоненькая черная струйка крови стекает из открытой пасти на белый снег.

Слегка задыхаясь, Безмолвная опускается на лед на колени, потом на четвереньки, а потом ложится на живот, лицом к морде мертвого тюленя.

Крозье молча отступает еще на шаг назад.

Безмолвная достает из-под парки крохотную фляжку, вырезанную из кости, и набирает в рот воды из нее. Она хранила фляжку у голых грудей под мехом, чтобы вода не замерзла.

Подавшись вперед, она прижимается губами к губам тюленя в странном подобии поцелуя и даже открывает рот, как делают шлюхи, целуя взасос мужчин, по меньшей мере на четырех континентах, где бывал Крозье.

«Но у нее нет языка», – напоминает он себе.

Безмолвная выпускает воду изо рта в пасть тюленя.

Крозье знает, что, если смертной душе тюленя, еще не покинувшей тело, нравится красота искусно изготовленного гарпуна и зазубренного наконечника, убившего животное, а равно другие охотничьи принадлежности, если ей нравится хитрость и выдержка Безмолвной и особенно если ей нравится вода из ее рта, она расскажет другим тюленьим душам, что им нужно приходить к этому охотнику, коли они хотят испытать такой чистой, свежей воды.

Крозье понятия не имеет, откуда он это знает, – Безмолвная никогда не объясняла ему этого ни с помощью веревки, ни на языке жестов, – но он знает это наверное. Словно знание приходит к нему через головную боль,

которая мучает его по утрам.

Ритуал закончен. Безмолвная поднимается на ноги, стряхивает снег со штанов и парки, собирает свои драгоценные инструменты и гарпун, и они вдвоем волокут тюленя примерно двести ярдов до своего снежного дома.

Они едят весь вечер. Крозье кажется, он никогда не наестся вволю мясом и салом. К концу вечера лица у обоих измазаны жиром, как у свиней, и он показывает пальцем на свое лицо, потом на лицо Безмолвной и разражается хохотом.

Безмолвная никогда не смеется, разумеется, но Крозье кажется, что по лицу ее проскальзывает легчайшая тень улыбки, прежде чем она спускается в ведущий к выходу тоннель и возвращается – голая, в одних только коротких штанах, – с пригоршнями свежего снега, чтобы вытереть лицо сначала им, а потом мягкой оленьей шкурой.

Они пьют ледяную воду, греются у огня, а потом снова едят тюленину и снова пьют, выходят из дома и расходятся в разные стороны, чтобы справить нужду, а по возвращении развешивают свои влажные одежды на сушильной раме над низким огнем, чистят зубы пальцами, тонкими щечками и снегом, а потом забираются, голые, под меховые полости.

Едва успев задремать, Крозье просыпается от прикосновения маленькой руки к бедру и половым органам.

Он реагирует мгновенно: член напрягается и встает. Он настолько хорошо помнит свои прежние душевные муки и угрызения совести, что старается не думать о них.

Они оба тяжело дышат. Она закидывает ногу ему на бедро и тихонько водит ею вверх-вниз. Он берет в ладони ее груди – такие теплые, – а потом опускает руки ниже, чтобы подхватить ее ягодицы и прижать ее промежность теснее к своему бедру. Твердый член пульсирует, набухшая головка вибрирует, точно перья сигнального устройства для охоты на тюленя, при каждом соприкосновении с ее потной кожей.

Безмолвная откидывает меховые полости, садится на него верхом и – движением руки таким же стремительным, как при броске гарпуна, – ловит его член и вводит в себя.

– О боже... – выдыхает он, когда они сливаются в единое целое.

Крозье чувствует упругое сопротивление напряженным членом, потом толчком входит глубоко в нее, преодолевая сопротивление, и сознает – глубоко потрясенный, – что он овладел девственницей. Или она овладела им.

– О господи... – с трудом выговаривает он, когда они начинают двигаться быстрее.

Он притягивает Безмолвную к себе за плечи и пытается поцеловать, но она отворачивает лицо, прижимается щекой к его щеке, потом к шее. Крозье совсем забыл, что эскимосские женщины не умеют целоваться, – первая вещь, которую любой английский полярный путешественник узнает от старых ветеранов.

Это не важно.

Он извергается в нее через минуту или меньше. Такая долгая минута.

Какое-то время Безмолвная неподвижно лежит на нем, тесно прижавшись маленькими потными грудями к его равно потной груди.

Когда к нему возвращается способность думать, он задается вопросом, есть ли кровь. Он не хочет пачкать прекрасные белые шкуры, устилающие снежное ложе.

Но Безмолвная снова двигает тазом. Теперь она сидит прямо, по-прежнему верхом на нем, устремив на него немигающий взгляд черных глаз. Темные соски покачивающихся грудей похожи еще на одну пару глаз, пристально наблюдающих за ним. Он все еще не обмяк внутри ее, и ее движения – уму непостижимо, такого никогда не случалось с Френсисом Крозье при общении с портовыми шлюхами в Англии, Австралии, Новой Зеландии и любых других странах, – заставляют его снова ожить, снова восстать и тоже задвигать бедрами.

Она запрокидывает голову назад и опирается сильной рукой на его грудь.

Так они занимаются любовью много часов подряд. Один раз она покидает снежное ложе, чтобы принести обоим воды напиться – растопленного снега в маленькой голднеровской жестянке, что висела на раме над угасающим огнем, – и спокойно смывает со своих бедер кровавые разводы, когда они оба заканчивают пить.

Потом она ложится на спину, раздвигает ноги и затягивает Крозье на себя, крепко взяв за плечо.

Поскольку солнце зимой не восходит, Крозье так никогда и не узнает, занимались ли они любовью всю долгую арктическую ночь напролет, а возможно, много дней и ночей подряд без остановки (у него именно такое ощущение к тому времени, когда они засыпают), но в конце концов они все-таки забываются сном. От тепла дыхания и испарений разгоряченных тел открытые участки ледяных стен подтаивают, и с них капает вода, и в снежном доме так тепло, что первые полчаса или около того они спят, не накрываясь меховыми полостями.

Когда он сотворил сушу,
в мире еще царила тьма.
Тулуниграк, Ворон, услышал сон Двух Людей про свет.
Но света не было.
Все вокруг окутывала тьма, как было всегда.
Ни солнца. Ни луны. Ни звезд. Ни огня.

Ворон летел над сушей, пока не нашел снежный дом,
где жил старик со своей дочерью.
Он знал, что они прячут свет,
тайно хранят малую частицу света,
и потому вошел.
Он прополз по тоннелю.
Он выглянул из катака.
Там висели два мешка, сшитые из шкур,
в одном находилась тьма,
в другом находился свет.

Дочь старика бодрствовала,
а ее отец спал.
Она была слепая.
Тулуниграк послал дочери мысль,
чтобы ей захотелось поиграть.
«Дай мне поиграть с шаром!» – вскричала дочь.
Старик проснулся и взял мешок,
в котором находился дневной свет.
Мешок из шкуры карибу
был теплым от света,
который хотел вырваться наружу.

Ворон послал дочери мысль,
чтобы она толкнула шар дневного света к катаку.
«Нет!» – крикнул отец.

Слишком поздно.
Шар скатился вниз по катаку,
запрыгал по тоннелю.

Тулуниграк ждал там.
Он поймал шар.
Он выбежал из тоннеля,
выбежал с шаром дневного света.

Ворон принялся рвать клювом
раздутый мешок из шкуры,
в котором находился дневной свет.
Старик из снежного дома
гнал за ним по льду,
но владелец дневного света не был человеком.
Он был соколом.
«Питкиктуак! – завопил Перегрин. —
Я убью тебя, хитрец!»

Он камнем упал на Ворона,
но Ворон уже успел разорвать мешок.
Взошло солнце.
Свет пролился повсюду.
Куагаа Сайла! Взошло солнце!
«Уунукпуаг! Уунукпуагмун! Тьма!» —
провизжал Сокол.
«Куагаа! Свет повсюду!» —
победно воскликнул Ворон.

«Ночь!»
«Свет дня!»
«Тьма!»
«Свет дня!»
«Ночь!»
«Свет!»

Они продолжали кричать.
Ворон воскликнул:

«Свет дня для всей земли!

Свет дня для Настоящих Людей!»

Плохо, если будет одно
и не будет другого.

И вот, Ворон принес свет в одни края,
а Перегрин удерживал тьму в других.
Но животные сражались.
Двое Людей сражались.
Они швырялись светом и тьмой друг в друга.
День и ночь пришли в равновесие.

Зима следует за летом.
Две половинки целого.
Свет и тьма дополняют друг друга.
Жизнь и смерть дополняют друг друга.
Ты и я дополняем друг друга.

Снаружи Туунбак бродит в ночи.
Все, к чему мы прикасаемся,
источает свет.

Все пребывает в равновесии.

Они пускаются в долгий путь вскоре после того, как солнце начинает робко показываться над южным горизонтом в полдень, и всего на несколько минут.

Но Крозье понимает, что время действовать для них и время принимать решение для него определило не возвращение солнца; неистовство в небесах, продолжающееся остальные двадцать три с половиной часа в сутки, заставило Безмолвную решить, что время настало. Когда они с нагруженными санями навсегда уходят от своего снежного дома, переливчатые полосы разноцветного света скручиваются и раскручиваются над ними, точно пальцы, сжимающиеся в кулак и разжимающиеся. Северное сияние становится все ярче в темном небе с каждым днем и с каждой ночью.

В это долгое путешествие они отправляются с санями более надежной конструкции. Повозка вдвое длиннее наспех сооруженных шестифутовых саней, на которых Безмолвная перевозила Крозье, когда он не мог ходить, и полозья у нее набраны из маленьких, тщательно обструганных кусочков дерева, соединенных крепежными деталями, вырезанными из моржового бивня. Основанием полозьев служат пластинки китового уса, а не просто застывший слой вязкой массы из торфяного мха и тины, хотя Безмолвная и Крозье по-прежнему несколько раз в день поливают полозья водой, чтобы на них образовалась тонкая ледяная корка. Поперечины изготовлены из оленьих рогов и последних обломков досок и брусьев, у них оставшихся, включая опалубку снежного ложа; вертикальные задние стойки саней представляют собой прочно закрепленные на месте оленьи рога и моржовые бивни.

Упряжь из кожаных ремней теперь рассчитана на двоих – никто не поедет на повозке, покуда не получит травму или не заболеет, – но Крозье знает, что Безмолвная смастерила эти сани с великим тщанием в надежде, что еще до конца года их потащит упряжка собак.

Она беременна. Она не сказала Крозье об этом – ни с помощью веревки, ни взглядом, ни жестом, ни каким иным способом, – но он знает, и она знает, что он знает. Если ничего не случится, ребенок появится на свет в месяце, который Крозье по привычке называет июлем.

На санях они везут все свои меховые полости, шкуры, кухонные принадлежности, инструменты, голднеровские жестянки для воды, полученной из растопленного снега, и запас мороженой рыбы, тюленины, моржового мяса, убитых песцов, зайцев и куропаток. Но Крозье знает, что часть провианта предназначена для времени, которое, возможно, никогда не наступит – по крайней мере для него. А часть, возможно, уйдет на подарки – в зависимости от того, какое решение он примет и что потом случится на льду. Он знает, что в зависимости от принятого им решения, возможно, им обоим вскоре придется поститься, – хотя, насколько он понимает, поститься должен только он один. Безмолвная будет поститься вместе с ним просто потому, что теперь она его жена и не станет есть, коли он не ест. Но если он умрет, она возьмет сани с провиантом и вернется обратно на сушу, чтобы жить своей жизнью и выполнять свои обязанности.

Много дней они идут на север по берегу, огибая скалы и слишком высокие холмы. Порой, когда местность становится непроходимой, они вынуждены выходить на лед, но они не хотят оставаться там надолго. Пока не хотят.

Лед местами раскалывается, но в нем образуются лишь узкие каналы. Они не останавливаются, чтобы наловить там рыбы, и не задерживаются возле полыней, но продолжают идти вперед, по десять или около того часов в день, возвращаясь обратно на сушу сразу, как только местность там снова становится проходимой, хотя на берегу им приходится гораздо чаще обновлять ледяной панцирь на полозьях.

Вечером на восьмой день похода они останавливаются на вершине холма и смотрят на скопление освещенных снежных куполов внизу.

Безмолвная предусмотрительно спускается к маленькой деревне с подветренного склона холма, но все же один из псов, привязанных к воткнутому в снег или землю колышку, заливается яростным лаем. Однако остальные собаки не присоединяются к нему. Крозье глазее на освещенные снежные строения – одно состоит из нескольких куполов: большого и четырех маленьких, соединенных между собой традиционными тоннелями. При одной мысли о таком поселении – а уж тем более при виде оного – у Крозье мучительно ноет под ложечкой.

Откуда-то снизу доносится смех, приглушенный снежными блоками и оленьими шкурами.

Он может спуститься туда, знает Крозье, и попросить обитателей деревни помочь ему найти путь к лагерю Спасения, а потом отыскать своих людей. Он знает, что здесь живет община шамана, который спасся бегством во время жестокой расправы с восемью эскимосами на противоположной

стороне острова Кинг-Уильям, и что они приходится дальними родственниками Безмолвной, как и все восемь убитых тогда.

Он может спуститься вниз и попросить эскимосов о помощи, и он знает, что Безмолвная последует за ним и переведет его слова, прибегнув к помощи говорящей веревки. Она его жена. Он знает также: если он не сделает того, что они попросят его сделать там, на льду, вполне вероятно, эскимосы – с каким бы почтением, благоговением и любовью они ни относились к Безмолвной, мужем которой он является, – поприветствуют его доброжелательными улыбками, кивками и смехом, а потом, когда он будет есть или спать или потеряет бдительность, свяжут ему руки кожаными ремнями, наденут кожаный мешок на голову, а затем станут по очереди – и мужчины и женщины – наносить ножом удар за ударом, покуда он не умрет. Он видел сон о том, как истекает кровью на белом снегу.

Или, возможно, нет. Возможно, Безмолвная ничего не знает. Если она и видела во сне такое будущее, она не поделилась с ним и не рассказала, чем все закончилось.

Он в любом случае не хочет ничего выяснять сейчас. Эта деревня, эта ночь, завтрашний день – пока он еще не принял решение касательно другой вещи – не являются его ближайшим будущим, каким бы оно ни было, если оно вообще у него есть.

Он кивает Безмолвной в темноте, и они поворачивают прочь от деревни и тащат сани на север вдоль побережья.

В течение долгих дней и ночей похода – на ночь они сооружают только навес из оленьей шкуры, подвешенной к оленьим рогам в задней части саней, и спят под ним, тесно прижавшись друг к другу и накрывшись меховыми полостями, – у Крозье полно времени для раздумий.

За последние несколько месяцев – вероятно, потому, что у него не было собеседника (по крайней мере, способного общаться посредством обычной речи), – он научился разговаривать с разными частями своего ума и сердца так, словно они разные души со своими собственными мнениями. Одна из них, самая старшая и самая усталая его душа, знает, что он оказался несостоятельным во всех отношениях. Его люди – люди, доверившие своему командиру дело спасения своих жизней, – все умерли или заплутали во льдах. А в сердце своем, в душе сердца своего Крозье знает, что все люди, заплутавшие здесь, уже мертвы и кости их лежат на каком-нибудь безымянном берегу или среди пустынного ледяного поля. Он подвел всех их.

Он может, по крайней мере, последовать за ними.

Крозье по-прежнему не знает своего местоположения, хотя с каждым днем все сильнее подозревает, что они перезимовали на западном берегу большого острова где-то к северо-западу от Кинг-Уильяма, почти на той широте, где находятся лагерь и сам «Террор», хотя на расстоянии сотни или более миль от них. Ему пришлось бы двинуться на запад через замерзшее море и, возможно, пересечь еще несколько островов, а потом всю северную часть самого острова Кинг-Уильям и преодолеть еще двадцать пять миль по льду, чтобы достичь корабля, покинутого более десяти месяцев назад.

Или, возможно, он ошибается.

Но в последние месяцы Крозье достаточно хорошо освоил искусство выживания, чтобы полагать, что он в состоянии найти путь обратно к лагерю Спасения и даже добраться до реки Бака при наличии достаточного времени, охотясь по дороге и строя снежные дома или палатки из шкур при приближении неминуемых снежных бурь. Он может последовать за своими людьми этим летом, спустя десять месяцев после того, как покинул их, и найти какие-нибудь следы, пусть даже на это уйдут годы.

Безмолвная пойдет с ним – он точно знает, – даже если это будет означать смерть для нее и для всего, ради чего она живет сейчас.

Но он не попросит Безмолвную идти с ним. Он пойдет один, так как подозревает, что – несмотря на все свои новые знания и опыт – погибнет в ходе такого путешествия на юг. Если он не умрет на льду – наверняка получит какое-нибудь серьезное повреждение на реке, по которой придется подниматься. Если его не убьют река, тяжелая травма или болезнь, он наверняка встретится с какими-нибудь враждебно настроенными эскимосами или с еще даже более свирепыми индейцами дальше к югу. Англичане – особенно бывалые арктические исследователи – склонны считать эскимосов варварским, но миролюбивым народом, в высшей степени добродушным и не воинственным. Но Крозье видел правду в своих снах: эскимосы – обычные люди и берутся за оружие, совершают убийства, а в трудные времена даже предаются каннибализму с такой же легкостью, как некоторые члены его английской команды.

Гораздо короче и безопаснее похода на юг, знает Крозье, другой путь: если он двинется отсюда прямо на восток по замерзшему морю, прежде чем паковый лед вскрыется летом (если вообще вскрыется), а потом пересечет полуостров Бутия и, оказавшись на восточном побережье оногo, повернет на север и доберется до Фьюри-Бич или места стоянки прошлых экспедиций и просто дождется там какого-нибудь китобойца или спасательного корабля. В таком случае шансы выжить и спастись представляются превосходными.

Но что, если он вернется в цивилизованный мир... обратно в Англию? Он навсегда останется капитаном, который бросил всех своих людей умирать. Его неизбежно предадут морскому суду. Какой бы вердикт ни вынес суд, позор станет для него пожизненным наказанием.

Но не это удерживает Крозье от похода на восток или на юг.

Женщина рядом с ним носит под сердцем его ребенка.

Сильнее всего Френсис Крозье мучается сознанием своей несостоятельности в этом отношении.

Ему почти пятьдесят три года, и до сих пор он любил лишь однажды, когда сделал предложение избалованной девочке-женщине, которая заморочила ему голову, а потом использовала его для своего удовольствия, как матросы используют портовых шлюх. «Нет, – думает он, – как я использовал портовых шлюх».

Теперь каждое утро и часто по ночам он просыпается рядом с Безмолвной с сознанием, что видел ее сны, а она, он точно знает, видела его сны. Просыпается, согретый теплом ее тела, и чувствует реакцию своего тела на это тепло. Каждый день они выходят на холод и борются за жизнь вместе, используя опыт и знания Безмолвной, чтобы охотиться на другие души и поедать другие души, дабы две их преходящие, смертные души могли прожить дольше.

«Она носит нашего ребенка. Моего ребенка».

Ему почти пятьдесят три года, и теперь его просят поверить в нечто столь абсурдное, что одна мысль об этом должна вызывать у него смех. Его просят (если он правильно понимает говорящую веревку и сны, а он полагает, что наконец научился понимать их правильно) сделать нечто столь ужасное и мучительное, что если он и не умрет, то наверняка лишится рассудка.

Он должен поверить, что такое безумие, против которого все в нем восстает, является верным поступком. Он должен поверить, что сны – простые сны – и любовь к этой женщине заставят его отказаться от здравого смысла, чтобы стать...

Кем стать?

Сдаться.

Шагая в упряжи рядом с Безмолвной под небом, расцвеченным яркими красками сполохов, он напоминает себе, что Френсис Родон Мойра Крозье ни во что не верит.

Вернее, если и верит во что-нибудь, то только в гоббсовского Левиафана.

Жизнь дается лишь раз, и она несчастна, убога, отвратительна,

жестока и коротка.

Этого не может отрицать ни один здравомыслящий человек. Френсис Крозье, несмотря на свои сны и головную боль, человек здравомыслящий.

Если господин в смокинге, сидящий в хорошо натопленной библиотеке в своем лондонском особняке, в состоянии понять, что жизнь дается лишь раз и она несчастна, убога, отвратительна, жестока и коротка, то как может отрицать это человек, который в холодной ночи тащит сани, нагруженные мороженым мясом и шкурами, через безымянный остров к замерзшему морю, под беснующимся небом, в тысяче и более миль от любого цивилизованного очага?

Идя навстречу своей гибели, такой страшной, что и не представить.

Они тащат сани по берегу четыре дня, а на пятый достигают оконечности острова, и Безмолвная выходит на лед и продолжает путь в северо-западном направлении. Здесь они двигаются медленнее – из-за неизбежных торосных гряд и постоянного движения ледяных плит – и затрачивают гораздо больше усилий. Они идут медленнее также и для того, чтобы не повредить сани. На своей заправленной салом плитке они растапливают снег, чтобы получить воду для питья, но не задерживаются, чтобы добыть свежее мясо, хотя Безмолвная часто указывает на тюленьи отдушины во льду.

Солнце теперь выходит минут на тридцать каждый день. Крозье не знает, верно ли он оценивает время. Его часы исчезли вместе с одеждой после того, как Хикки стрелял в него, а Безмолвная его спасла... неизвестно как. Она никогда не рассказывала.

«Тогда я умер в первый раз», – думает он.

Теперь его просят умереть снова – умереть в своем прежнем качестве, чтобы обрести новое.

Но много ли людей получают хотя бы такой второй шанс? Сколько капитанов, видевших смерть или бесследное исчезновение ста двадцати пяти своих подчиненных, не преминули бы им воспользоваться?

«Я могу исчезнуть».

Крозье видел множество шрамов на своей руке, груди, животе и ноге каждый вечер, когда он раздевался догола, чтобы заползти под меховые полости, и он чувствует и хорошо представляет, насколько ужасны шрамы от пули и дроби у него на спине. Возможно, они служат объяснением и оправданием нежелания говорить о прошлом.

Он может добраться до восточного побережья Бутии, охотиться и ловить рыбу в относительно теплых водах там, скрываться от кораблей британского военно-морского флота и прочих английских спасательных

судов и дожждаться какого-нибудь американского китобойца. Если до появления последнего придется ждать два или три года, он сможет продержаться такое время. Теперь он в этом уверен.

А потом вместо того, чтобы вернуться на родину в Англию – была ли Англия для него родиной когда-нибудь? – он может сказать своим американским спасителям, что не помнит, что с ним случилось и на каком корабле он служил, – в качестве доказательства продемонстрировав свои ужасные раны, – и отправиться с ними в Америку по окончании промыслового сезона. Там он сможет начать новую жизнь.

Многим ли людям выпадает шанс начать новую жизнь в его возрасте? Многие хотели бы получить такую возможность.

Последует ли за ним Безмолвная? Сможет ли она выносить любопытные взгляды и смешки матросов и еще более любопытные взгляды и перешептывания «цивилизованных» американцев в каком-нибудь городе Новой Англии или в Нью-Йорке. Поменяет ли свои меховые одежды на хлопчатобумажные платья и корсеты из китового уса, зная, что навсегда останется совершенно чужой в совершенно чужой стране?

Она сделает это.

Крозье уверен в этом, как ни в чем другом.

Она последует за ним туда. И она умрет там, причем очень скоро. От горя, от сознания своей чуждости незнакомому миру и от злобных, мелочных, враждебных и неукротимых мыслей, которые будут вливаться в нее, как яд из голднеровских консервных банок влился в Фицджереймса, – незримые, злоторные, смертоносные.

Он уверен и в этом тоже.

Но Крозье мог бы вырастить своего сына в Америке и начать новую жизнь в этой почти цивилизованной стране – возможно, стать капитаном частного парусного судна. Он потерпел сокрушительную неудачу в качестве капитана британского военно-морского флота, в качестве офицера и джентльмена – ладно, джентльменом он никогда не был, – но никто в Америке никогда не узнает об этом.

Нет-нет, на любом крупном парусном судне он рано или поздно окажется в порту, где его могут знать. Если какой-нибудь английский военно-морской офицер узнает Крозье, его повесят как дезертира. Но вот маленькое рыболовное судно... выходить в море на рыбный промысел из какого-нибудь прибрежного провинциального городка в Новой Англии, где, возможно, в порту его будет ждать американская жена, воспитывающая вместе с ним сына после смерти Безмолвной.

«Американская жена?»

Крозье украдкой бросает взгляд на Безмолвную, шагающую в упряжи справа от него. Сполохи малинового, красного, фиолетового и белого света расцвечивают ее меховую парку и капюшон. Она не смотрит на него. Но он уверен, что она знает, о чем он думает. А если не знает сейчас, узнает позже, когда ночью они будут лежать рядом и видеть сны.

Он не может вернуться в Англию. Он не может отправиться в Америку.

Но альтернатива...

Он дрожит и натягивает капюшон пониже, чтобы оторочка из меха белого медведя лучше удерживала тепло дыхания.

Френсис Крозье не верит ни во что. Жизнь дается лишь раз, и она несчастна, убога, отвратительна, жестока и коротка. В ней нет плана, нет смысла, нет скрытых тайн, которые возмещали бы столь очевидные горести и банальность. Ничто из того, что он узнал за последние шесть месяцев, не убедило его в обратном.

Не так ли?

Вместе они тащат сани все дальше по замерзшему морю.

На восьмой день они останавливаются.

Это место ничем не отличается от всех остальных, которые они миновали в своем движении по замерзшему морю на прошлой неделе, – возможно, лед здесь чуть ровнее, возможно, крупных ледяных глыб и торосных гряд здесь поменьше, но, в сущности, это все тот же пак. Крозье видит поодаль несколько маленьких полыней – пятна темной воды смотрятся как дефекты на белом льду, – и лед здесь местами растрескался, образовав несколько маленьких временных, никуда не ведущих каналов. Если весна в этом году не собирается наступить двумя месяцами раньше положенного срока, она хорошо изображает свое пришествие. Но за проведенные в Арктике годы Крозье не раз видел подобные ложные весенние оттепели и знает, что по-настоящему пак начнет вскрываться только в конце апреля, если не позже.

Тем временем у них имеются участки открытой воды и полным-полно отдушин – возможно, даже шанс убить моржа или нарвала, коли таковые появятся, – но Безмолвная не намерена охотиться.

Они оба выходят из упряжи и оглядываются по сторонам. Они сделали остановку во время короткой интерлюдии полдневных сумерек, которые сейчас сходят за светлое время суток.

Безмолвная становится напротив Крозье, снимает с него рукавицы, а потом снимает свои. Ветер очень холодный, и без рукавиц нельзя

оставаться долее минуты, но в течение этой минуты она держит его за руки и пристально смотрит ему в глаза. Она переводит взгляд на восток, потом на юг, потом снова на него.

Вопрос понятен.

У Крозье бешено колотится сердце. Сколько он себя помнит, такого страха он не испытывал ни разу за все годы взрослой жизни – и, уж конечно, не испытывал в ночь, когда Хикки напал на него из засады.

– Да, – говорит он.

Безмолвная натягивает рукавицы и начинает разгружать сани.

Пока Крозье помогает ей выгружать вещи на лед, а потом разбирать сами сани, он снова задается вопросом, каким образом она нашла это место. Он успел понять, что, хотя иногда Безмолвная ориентируется по звездам и луне, чаще всего она просто уделяет самое пристальное внимание ориентирам на местности. Даже посреди пустынных ледяных полей она тщательно считает торосные гряды и наметенные ветром сугробы, неизменно подмечая, в каком направлении тянутся гряды. По примеру Безмолвной Крозье начал измерять время не днями, а периодами сна: сколько раз они останавливались для сна – не важно, днем или ночью.

Здесь, на льду, он стал много лучше разбираться – почерпнув знания от Безмолвной – в особенностях холмистого льда, старого зимнего льда, новых торосных гряд, толстого пака и опасного нового льда. Теперь он может найти канал во льдах, находящийся на расстоянии многих миль от него, просто по потемнению нависающих над открытой водой облаков. Теперь он обходит стороной опасные расселины и рыхлый лед, почти не отдавая себе отчета в своих действиях.

Но почему именно это место? Откуда она знала, что нужно прийти именно сюда, чтобы сделать то, что они собираются сделать?

«Я собираюсь сделать», – думает он, и сердце у него начинает биться чаще.

Но еще не сейчас.

В быстро сгущающихся сумерках они связывают поперечины и вертикальные стойки разобранных саней, сооружая незатейливый каркас маленькой палатки. Они проведут здесь лишь несколько дней – если только Крозье не останется здесь навеки – и потому не пытаются найти сугроб для строительства снежного дома, да и не особо заботятся о качестве палатки. Это будет просто временное укрытие.

Несколько шкур пойдут на наружные стенки, все прочие пойдут внутрь.

Пока Крозье расстилат внутри шкуры и меховые полости, Безмолвная

быстро и ловко вырубают ледяные блоки из ближайших ледяных валунов и возводит невысокую стену с наветренной стороны палатки. Это несколько защитит от ветра.

Зайдя в палатку, она помогает Крозье установить плوشку с салом, над которой готовят пищу, и раму из оленьих рогов в «прихожей», а затем они принимаются растапливать снег, чтобы получить воду для питья, и сушат свою одежду на раме над огнем. Ветер завывает над пустыми полуразобранными санями, от которых теперь остались одни только полозья.

Три дня они оба постятся. Они ничего не едят и пьют воду, чтобы унять бурчание в желудке, но покидают палатку на долгие часы – даже когда идет снег, – чтобы размяться и разрядить нервное напряжение.

Крозье поочередно мечет оба гарпуна и оба копья в большой ледяной валун; Безмолвная забрала оружие у своих убитых сородичей и еще несколько месяцев назад приготовила один тяжелый гарпун с длинной веревкой и одно легкое копье для каждого из них, очевидно с учетом того, что Крозье встанет на ноги.

Теперь он швыряет гарпун с такой силой, что тот входит в ледяную глыбу на десять дюймов.

Безмолвная подходит ближе, откидывает капюшон и пристально смотрит на него в переливчатом свете сполохов сияния.

Он трясет головой и пытается улыбнуться.

Он не знает, как сказать на языке жестов: «Разве не так ты поступаешь со своими врагами?» Вместо этого он неловко обнимает Безмолвную: мол, он никуда не уйдет и не собирается использовать гарпун по назначению в ближайшее время.

Крозье никогда прежде не видел такого полярного сияния.

Весь день и всю ночь ниспадающие с небес занавесы переливчатого цвета мечутся от одного горизонта до другого, а средоточие всего этого великолепия, похоже, находится прямо над ним. За все годы, проведенные в экспедициях у Северного или Южного полюса, он ни разу не видел ничего, хотя бы отдаленно напоминающего такое буйство света и красок. Теперь слабый свет солнца, поднимающегося над горизонтом на час или около того в середине дня, почти не приглушает яркость поднебесного огня.

И теперь воспринимаемые зрением фейерверки имеют звуковое сопровождение.

Повсюду вокруг лед гудит, трещит, стонет и скрежещет под страшным давлением – грохот взрывов сменяется массированным огнем пехоты,

переходящим в пушечную канонаду.

Шум и постоянное колебание пакового льда под ними еще сильнее нервируют Крозье, и без того измученного ожиданием и донельзя издерганного. Теперь он ложится спать не раздеваясь – плевать, что потеет и мерзнет в одежде, – и в течение каждого периода сна раз по пять просыпается и выходит из палатки в уверенности, что огромное ледяное поле раскалывается.

Оно не раскалывается, хотя в радиусе сотни ярдов от палатки в нем там и сям открываются расселины, от которых в разные стороны разбегаются трещины – со скоростью, превосходящей предельную, какую может развить человек, бегущий по прочному на вид льду. Потом расселины закрываются и бесследно исчезают. Но грохот взрывов продолжается, как продолжается неистовство в небе.

В последнюю свою ночь в этой жизни Крозье спит прерывистым сном – от голода он мерзнет так, что даже тело Безмолвной его не согревает, – и ему снится, что Безмолвная поет.

Грохот льда превращается в размеренный барабанный бой, звучащий аккомпанементом тонкому, нежному, печальному голосу:

Айя-йя-йяпапе!
Айя-йя-йяпапе!
Айя-йя, айя-йя-йя...
Скажи, разве так уж прекрасна жизнь на земле?
Здесь я исполняюсь радости
Всякий раз, когда заря брезжит над землей
И огромное солнце
Медленно всплывает в небо.

Но там, где ты,
Я лежу и дрожу от страха
Перед личинками и червями
Или морскими существами без души,
Которые прогрызают мои ключицы
И выедают мои глаза.
Айи-йяй-йя...
Айя-йя, айя-йя-йя...
Айя-йя-йяпапе!
Айя-йя-йяпапе!

Крозье просыпается в холодном поту. Он видит, что Безмолвная уже проснулась и пристально смотрит на него немигающими темными глазами, и в приступе запредельного ужаса он понимает, что слышал сейчас не голос жены, поющий песню мертвого человека – песню мертвого человека, обращенную к собственному живому «я», оставшемуся в прошлом, – но голос своего нерожденного сына.

Крозье и его жена встают и одеваются молча. Снаружи – хотя сейчас, вероятно, утро – по-прежнему стоит ночь, но ночь, расцвеченная тысячью ярких, переливчатых красок, наложенных поверх мерцающих звезд.

Треск льда по-прежнему звучит подобием барабанного боя.

Теперь у него остался единственный выбор: сдаться или умереть.

Мальчик и мужчина, которыми он был пятьдесят с лишним лет, предпочли бы умереть, чем сдаться. Человек, которым он является сейчас, предпочел бы умереть, чем сдаться.

Но что, если сама смерть есть всего лишь окончательная капитуляция? Голубое пламя в его груди не примет ни первого, ни второго.

В снежном доме, лежа под меховыми полостями, он узнал о другого рода капитуляции. Подобие смерти. Превращение из того, кто он есть, в нечто другое, которое не «я», но и не «никто».

Если два таких разных человека, напрочь лишенные возможности устного общения, могут видеть одни и те же сны, значит, наверное, – даже если оставить в стороне все сны и не принимать во внимание все прочие верования, – другие реальности тоже могут проникать друг в друга.

Он страшно напуган.

Они выходят из палатки в одних только сапогах, чулках, коротких штанах и тонких рубашках из оленьей шкуры, которые иногда носят под паркой. Сегодня очень холодно, но после полудня ветер стих.

Он понятия не имеет, сколько сейчас времени. Солнце уже давно зашло, а они еще не ложились спать.

Треск льда под давлением похож на размеренный барабанный бой. Неподалеку от палатки открылись новые расселины.

Северное сияние расстилает пологи радужного света от звездного зенита до самого горизонта на севере, востоке, юге и западе. Все вокруг, включая их двоих, окрашивается поочередно в красный и фиолетовый, белый и синий цвет.

Он опускается на колени и поднимает лицо.

Она стоит над ним, слегка наклонившись вперед, словно выглядывая тюленя в отдушине.

Как было велено, он держит руки опущенными, но она крепко берет его за плечи. Голыми руками.

Она нагибается к нему и широко открывает рот. Он тоже открывает рот. Их губы почти соприкасаются.

Она делает глубокий вдох и начинает дуть ему в рот, в горло.

Именно с этим – когда они практиковались долгими часами в зимней тьме – у него возникали трудности. Вдыхать дыхание другого человека –

все равно что захлебываться водой.

Тело его напрягается, он старается не закашляться, не отпрянуть назад.

Каттайяк, Пиркусиртук, Нипакухиит. Все абсурдно звучащие имена, которые он смутно помнит по своим снам. Все имена, которые Настоящие Люди, обитающие во льдах Северного полярного круга, получают за то, что они с Безмолвной делают сейчас.

Она начинает с короткой ритмичной последовательности нот.

Она играет на его голосовых связках, как на свирели.

Тихие звуки поднимаются ввысь и смешиваются с треском льда и пульсирующим светом сполохов.

Она повторяет ритмичную музыкальную фразу, но на сей раз делает короткие паузы между звуками.

Он набирает полные легкие ее дыхания и выдувает ей обратно в рот вместе со своим собственным.

У нее нет языка, но голосовые связки целы. И, колеблемые его дыханием, они издают высокие, чистые звуки.

Она извлекает музыку из его горла. Он извлекает музыку из ее горла. Ритмичная мелодия набирает темп, звуки накладываются друг на друга, подгоняют друг друга. Музыкальные созвучья усложняются – похожая на пение флейты и гобоя одновременно, равно похожая на пение человеческого голоса, воспроизводимая горлом мелодия разносится на многие мили над окрашенным светом сполохов льдом.

В течение первого получаса примерно каждые три минуты они прерываются и судорожно ловят ртом воздух. В такие моменты они нередко разражались хохотом, пока практиковались (с помощью говорящей веревки она объяснила, что, когда это было всего лишь женской игрой, среди всего прочего интерес заключался в том, чтобы заставить напарника рассмеяться), но сегодня ночью ни о каком смехе не может идти и речи.

Снова звучит мелодия.

Теперь она похожа на пение одного человеческого голоса, одновременно низкого, как бас тромбона, и высокого, как сопрано флейты. Играя на голосовых связках друг друга, они могут формировать слова из звуков, и сейчас она так и делает – вплетая слова в мелодию, она играет на его голосовых связках, как на сложном музыкальном инструменте, и слова обретают форму.

Они импровизируют. Когда один меняет темп, другой должен сразу подстроиться. В этом смысле, теперь понимает он, такое пение очень похоже на акт соития.

Он принаравливается незаметно вдыхать между звуками, чтобы они

двое получили возможность издавать более протяжные и чистые ноты. Темп ускоряется почти до экстатического, потом замедляется, потом снова ускоряется. Это игра «делай, как водящий», в которой водящие постоянно чередуются: один меняет темп и ритм, другой подлаживается под него, как чуткий любовник в процессе соития, и потом уже сам берет инициативу. Они поют так, извлекая ноты друг у друга из горла, целый час, потом два часа, иногда продолжая по двадцать и более минут без передышки.

Мышцы диафрагмы у него болезненно ноют. Горло горит. Мелодия теперь такая сложная и ритмически разнообразная, словно исполняемая дюжиной свирелей, такая затейливая, многоголосая и исполненная нарастающей мощи, словно крещендо сонаты или симфонии.

Он предоставляет ей вести. Этот голос, порожденный ими двоими, эти звуки и слова, произносимые ими двоими, теперь принадлежат ей. Он сдается.

В конце концов она останавливается и падает на колени рядом с ним. Они оба настолько обессилены, что не могут держать голову прямо. Они тяжело, с присвистом, дышат, точно собаки после шестимильного забега.

Лед перестал трещать. Ветер перестал шуметь. Северное сияние пульсирует медленнее.

Она легко дотрагивается до его лица, поднимается на ноги и скрывается в палатке, опуская за собой полог.

Он находит в себе силы встать и скинуть одежду. Голый, он не чувствует холода.

В тридцати футах от места, где они пели свою песню, открылась расселина, и теперь он направляется к ней. Сердце у него бьется все так же часто.

В шести футах от черной воды он снова опускается на колени, поднимает лицо к небу и закрывает глаза.

Он слышит, как существо поднимается из воды в нескольких футах от него, слышит скрежет когтей по льду и шумное дыхание, когда оно выбирается из моря, слышит треск льда под его тяжестью, но не опускает головы и не открывает глаз. Еще рано.

Выплеснувшаяся из расселины вода окатывает его голые колени, грозя приморозить их ко льду. Он не шевелится.

Он чует запах мокрой шерсти, мокрого тела, тяжелый запах океанских глубин, чувствует, как тень существа падает на него, но не открывает глаз. Еще рано.

Только когда по телу у него бегут мурашки и он весь покрывается гусиной кожей, ощущая близкое присутствие громадного существа, и

только когда смрадное дыхание обволакивает его, он наконец открывает глаза.

Мокрая шерсть, похожая на мокрые, облепившие тело одеяния священника. Свежие багровые ожоги на белом. Зубы. Черные глаза в трех футах от его собственных, заглядывающие глубоко в него, глаза хищника, высматривающего его душу... высматривающие, есть ли у него душа. Массивная треугольная голова опускается ниже, заслоня пульсирующее небо.

Покоряясь единственно человеку, с которым он хочет быть, и человеку, которым он хочет стать, – но только не Туунбаку и не вселенной, которая погасит голубое пламя у него в груди, – он снова закрывает глаза, запрокидывает голову, открывает рот и высовывает язык точно так, как учила его бабушка Мойра, готовя к святому причастию.

68°30' северной широты, 99° западной долготы

28 мая 1851 г.

Весной в год появления на свет их второго ребенка, девочки, они гостили в семье Силны, принадлежащей к общине Людей Прямоходящего Бога, возглавляемой старым шаманом Асияюком, когда пришлый охотник по имени Инупиюк принес известие, что одна община Настоящих Людей получила аитусерк – дары – в виде деревянных и металлических предметов и прочих ценных вещей от мертвых каблуну – белых людей.

Талириктуг на языке жестов обратился к Асияюку, который перевел жесты для Инупиюка. Талириктуг высказывал предположение, что упомянутое сокровище представляет собой ножи, вилки и прочие предметы со шлюпок «Эребуса» и «Террора».

Асияюк прошептал Талириктугу и Силне, что Инупиюк является каваком – буквально, «человеком с юга», – но также добавил слово на наречии инуктитут, обозначающее тупость. Талириктуг понимающе кивнул, но продолжал задавать вопросы на языке жестов, которые раздраженный шаман переводил глупо ухмыляющемуся охотнику. Отчасти, знал Талириктуг, Инупиюк чувствовал себя неуютно потому, что всю жизнь прожил на юге и никогда прежде не видел сиксам иеа, небесных повелителей духов, и не знал толком, являются ли Талириктуг и Силна человеческими существами или нет.

Судя по всему, предметы были подлинными. Талириктуг с женой возвратились в свою гостевую иглу, где она нянчила ребенка, и он погрузился в раздумья. Когда он поднял глаза, она обращалась к нему при посредстве веревки.

«Нам следует пойти на юг, – сказала веревка, пляшущая у нее между пальцами. – Если ты хочешь».

Он кивнул.

В конце концов Инупиюк согласился проводить их до деревни, находящейся на юго-востоке, и Асияюк решил отправиться с ними – очень необычно, поскольку старый шаман в последнее время крайне редко путешествовал на значительные расстояния. Асияюк взял с собой свою лучшую жену Чайку – молодую Наую с большими грудями – амуку, – у

которой тоже остались шрамы после роковой встречи с каблуна тремя годами ранее. Она и шаман были единственными, кто спасся тогда, но молодая женщина не выказывала никакой неприязни к Талириктугу. Ей хотелось узнать об участии последних каблуна, которые, как все знали, двинулись на юг по льду три года назад.

Шесть охотников из общины Людей Прямоходящего Бога тоже изъявили желание пойти с ними – главным образом из любопытства и с целью поохотиться по дороге, поскольку лед в проливе начал вскрываться очень рано этой весной, – и в конце концов они отправились в путь на нескольких лодках, так как вдоль берега уже открылись каналы.

Талириктуг и Силна со своими двумя детьми предпочли путешествовать – как и четверо охотников – в длинном двойном каяке, но Асияук был слишком стар и слишком исполнен достоинства, чтобы сидеть на веслах в каяке. Он сидел с Науйей посередине поместительного открытого умияка, а двое молодых охотников гребли за него. Все терпеливо ждали умияк, когда не было ветра для его парусов, поскольку эта тридцатифутовая лодка везла столь значительный запас свежей пищи, что им редко приходилось останавливаться, чтобы охотиться или ловить рыбу, если не возникало такого желания. Благодаря умияку они также смогли взять с собой сани каматик на случай, если придется путешествовать по суше. Инупиук, охотник с юга, тоже плыл в умияке, как шесть киммиков – собак.

Хотя Асияук великодушно предложил Силне и детям места в своем теперь переполненном умияке, она при посредстве говорящей веревки сообщила, что предпочитает каяк. Талириктуг знал, что жена никогда не допустит, чтобы дети – особенно двухмесячная Каннеюк – находились в такой близости от свирепых псов. Их двухлетний сын Туугак – «Ворон» – не боялся собак, но в данном случае у него не было выбора. Он сидел в каяке между Талириктугом и Силной. Малышка Каннеюк (чье тайное имя, каким нарекают сиксам иеа, было Арнаалук) лежала в амотике Силны, большом капюшоне для переноски детей.

Они тронулись в путь холодным, но ясным утром, и, когда они оттолкнулись от покрытого галькой берега, пятнадцать оставшихся членов общины Людей Прямоходящего Бога затянули прощальную песню:

Ай-ей-яй-я-на
Йе-хе-йе-йе-и-ян-я-куана
Ай-йе-йи-яй-яна.

На вторую ночь путешествия, прежде чем двинуться на веслах и под парусом по каналам во льдах прочь от ангилак кикиктака – «самого большого» острова, который Джеймс Росс давным-давно назвал Кинг-Уильям, хотя аборигены, сообщившие Россу про него, продолжали называть его «кикиктак, кикиктак, кикиктак», – они остановились менее чем в миле от лагеря Спасения.

Талириктуг пошел туда один.

Он уже возвращался в лагерь однажды. Два лета назад, всего за несколько недель до рождения Ворона, они с Силной наведались туда. Тогда не минуло еще и года с той поры, когда человек, которым Талириктуг являлся прежде, был предан, заманен в засаду и застрелен, как собака, но уже почти ничто не говорило о том, что в недавнем прошлом здесь находилось место стоянки шестидесяти с лишним англичан. Все голландские палатки изорвало и унесло прочь ветром, если не считать нескольких лоскутов парусины, намертво вмерзших в гальку. Там остались лишь несколько сложенных из камней очагов да несколько кругов, выложенных из булыжников, которыми придавливались полы палаток.

И кости.

Он нашел несколько длинных костей, части изгрызенного позвоночника и всего один череп, без нижней челюсти. Держа череп в руках, он страстно надеялся, что это не доктор Гудсир.

Все разбросанные по берегу и обглоданные нануками кости он собрал и похоронил вместе с черепом в одной могиле, положив на возведенную из булыжников надгробную пирамиду найденную среди камней вилку, по обычаю Настоящих Людей и даже Людей Прямоходящего Бога, с которыми он провел лето, отсылавших разные полезные инструменты и дорогие сердцу покойных вещи в мир духов вместе с мертвыми.

Едва положив вилку на пирамиду, он осознал, что инуит счел бы это возмутительной напрасной тратой драгоценного металла.

Потом он задумался о том, какую молитву прочитать над могилой.

Молитвы на языке инуктитут, которые он слышал последние три месяца, не годились. Но в ходе своих неуклюжих усилий овладеть эскимосским наречием (пусть он никогда не сможет произнести вслух ни слова на нем) тем летом он развлекался попытками переводить на инуктитут «Отче наш».

В тот вечер, стоя у надгробной пирамиды, под которой покоились кости его товарищей, он попытался мысленно прочитать молитву:

«Налегаувит Каилауле. Пийорнаят пинатуале нунаме сорло киангме...»

Отче наш, сущий на небесех, да святится имя Твое...

Два лета назад он был способен только на это, но и этого было достаточно.

Сейчас, почти два года спустя, возвращаясь к своей жене из лагеря Спасения, опустевшего еще сильнее прежнего (вилка исчезла, и надгробная пирамида была разрушена и разграблена Настоящими Людьми с юга, даже кости бесследно пропали), Талириктуг невольно улыбнулся при мысли, что, будь даже ему дарованы библейские годы жизни, он никогда не овладеет наречием Настоящих Людей.

Каждое слово в нем – даже простые существительные – имело десятки значений, а тонкости синтаксиса были абсолютно неподвластны средних лет человеку, который в отрочестве стал моряком и так и не выучил даже латынь. Слава богу, ему никогда не придется говорить на этом языке вслух. От напряженных усилий понять изобилующую прищелкивающими звуками разговорную речь у него начиналась головная боль вроде той, какой он мучился на первых порах, когда стал видеть сны Силны.

Например, Большой Медведь. Обычный белый медведь. Люди Прямоходящего Бога и остальные Настоящие Люди, встречавшиеся ему в течение двух последних лет, называли зверя нанук, что было довольно просто, но он также слышал разные варианты, которые можно записать (на английском, поскольку у Настоящих Людей нет письменности) следующим образом: нанок, нэнувак, наннуралук, токоак, писугтук и аюялунак. А теперь от Инупиюка, охотника с юга (который, он уже понял, был вовсе не таким тупым, как утверждал Асияук), он узнал, что многие южные общины Настоящих Людей называют Большого Медведя еще и торнарссук.

После нескольких мучительных месяцев – тогда он еще лечился и заново учился есть и глотать пищу – он вполне удовольствовался тем, что вообще получил имя. Когда люди Асияюка начали называть его Талириктуг – «Сильная Рука» – после случая, имевшего место во время охоты на белого медведя, когда он один вытащил из воды тушу убитого медведя, чего не смогли сделать три охотника с упряжкой собак (дело было вовсе не в его сверхчеловеческой силе, просто он один увидел, где веревка гарпуна запуталась среди ледяных валунов), он не возражал против своего нового имени, хотя без него чувствовал себя лучше.

Много месяцев назад, когда они с Безмолвной пришли в состоящую из иглу деревню, чтобы женщины помогли ей при родах Ворона, он не удивился, узнав, что среди Настоящих Людей, говорящих на наречии инуктикут, его жена зовется именем Силна. Он видел, что она воплощает в себе одновременно дух Сайлы, богини воздуха, и Седны, богини моря.

Свое тайное имя – имя сиксам иеа, небесной повелительницы духов, – она не желала или не могла сообщить ему ни посредством говорящей веревки, ни во снах.

Он знал и свое тайное имя. В первую ночь невыносимых мук после того, как Туунбак отнял у него язык и прошлую жизнь, он услышал свое тайное имя во сне. Но он никогда никому его не скажет, даже Силне, которую он продолжал называть Безмолвной, мысленно обращаясь к ней во время занятий любовью и в общих снах.

Деревня называлась Талойоак и представляла собой скопление палаток и малочисленных снежных домов, где жили в общей сложности человек шестьдесят. Там было даже несколько прилепившихся к скалам домов из дерна, на крышах которых летом вырастет трава.

Местные жители звались олеекаталиками, каковое слово, предположил он, означало «люди в плащах», хотя шкуры, которые они носили накинутыми на плечи поверх парок, больше походили на шерстяные шарфы англичан, чем на настоящие плащи. Глава общины был примерно одного возраста с Талириктугом и довольно привлекателен, хотя у него не осталось ни одного зуба, отчего он выглядел старше своих лет. Он носил имя Икпакхуак, которое, как объяснил Асияюк, означало «Грязный», даром что с виду и по запаху он показался Талириктугу не грязнее всех остальных и почище некоторых.

Жену Икпакхуака – значительно моложе мужа годами – звали Хигилак. Асияюк с глупой ухмылкой объяснил, что данное имя означает «Ледяной Дом», но Хигилак держалась с гостями отнюдь не холодно. Она вместе с мужем радушно приняла отряд Таликтуга, накормив горячей пищей и вручив всем подарки.

Он осознал, что никогда не поймет этих людей.

Икпакхуак, Хигилак и прочие члены семьи угостили их умингмаком, жареным мясом овцебыка, которое Талириктуг ел с удовольствием, но Силна, Асияюк, Науйя и остальные через силу, поскольку они были нетсиликами, «людьми, питающимися тюлениной». По завершении церемонии знакомства и трапезы он сумел на языке жестов, истолковываемых Асияюком, перевести разговор на дары каблуну.

Икпакхуак признал, что община плаща действительно владеет таким сокровищем, но, прежде чем показать дары гостям, попросил Силну и Талириктуга продемонстрировать всем жителям деревни свои магические способности. Большинство олеекаталиков никогда в жизни не видели ни одного сиксам иеа – хотя сам Икпакхуак несколько десятилетий назад знал

отца Силны, Айю, – и Икпакхуак вежливо спросил, не согласятся ли Силна и Талириктуг немного полетать над деревней и, возможно, превратиться в тюленей, только не в медведей, пожалуйста.

Силна объяснила – при помощи говорящей веревки и Асиюка в роли переводчика, – что два небесных повелителя духов не желают этого делать, но они оба покажут гостеприимным олеекаталикам обрубки языков, отнятых у них Туунбаком, а ее муж-каблун – сиксам иеа доставит им редкое удовольствие увидеть его шрамы... шрамы, оставшиеся после яростной схватки со злыми духами, произошедшей много лет назад.

Это вполне устроило Икпакхуака и его людей.

После демонстрации шрамов Талириктугу удалось заставить Асиюка снова вернуться к разговору о дарах каблуна.

Икпакхуак мгновенно кивнул, хлопнул в ладоши и послал мальчишек за сокровищами. Дары каблуна передавали по кругу из рук в руки.

Несколько разных деревянных деталей, в том числе хорошо сохранившаяся свайка.

Золотые пуговицы с якорем.

Фрагмент любовно расшитой нижней рубашки.

Золотые часы, цепочка от них и горсть мелких монет. Инициалы «ЧФД» на задней крышке часов наводили на мысль, что они принадлежали Чарльзу Дево.

Серебряный пенал с инициалами «ЭК» на внутренней стороне крышки.

Наградная золотая медаль с выгравированной благодарственной надписью, некогда полученная сэром Джоном Франклином от Адмиралтейства.

Серебряные вилки и ложки с гербами различных офицеров Франклина.

Маленькая фарфоровая тарелка с выведенным на ней эмалевой краской именем «Сэр Джон Франклин».

Скальпель.

Портативное бюро красного дерева, которое человек, сейчас державший его в руках, сразу узнал, поскольку в прошлом оно принадлежало ему.

«Неужели мы действительно тащили все это дерьмо в лодках сотни миль? – подумал Крозье. – А до этого везли тысячи миль из Англии? О чем мы думали?» Он закрыл глаза, борясь с приступом тошноты, подкатившей к горлу.

Безмолвная дотронулась до его руки. Она почувствовала, как внутри у

него все переворачивается. Он посмотрел ей в глаза, чтобы показать, что он по-прежнему здесь, хотя это было не так. Не совсем так.

Они двинулись на веслах вдоль побережья на запад, к устью реки Бака.

На вопрос, где они нашли сокровища каблуна, олеекаталики Икпакхуака отвечали расплывчато, даже уклончиво – несколько из них говорили о месте под названием Кинуна, которое могло являться одним из крохотных островков в проливе к югу от Кинг-Уильяма, но большинство охотников сказали, что они нашли сокровища к западу от Талойоака, в месте под названием Куглуктук, каковое слово Асияук перевел как «падающая вода».

Крозье решил, что речь идет о первом по счету маленьком водопаде на реке Бака, находящемся неподалеку от устья.

Они провели там неделю, занимаясь поисками. Асияук с женой и три охотника остались с умяком в устье реки, но Крозье и Безмолвная с детьми, по-прежнему снedaемый любопытством охотник Инупиук и остальные охотники поднялись на каяке вверх по течению примерно на три мили, к первым низким водопадам.

Он нашел там несколько бочарных клепок. Кожаную подошву с дырками, оставшимися от гвоздей. Из-под песка и тины на берегу он извлек восьмифутовую изогнутую дубовую доску, некогда отполированную, – возможно, от планширя одного из тендеров. (Олеекаталики сочли бы такую находку настоящим сокровищем.) И больше ничего.

Потерпев неудачу, они шли на веслах вниз по течению обратно к побережью, когда повстречали старика с тремя женами и четырьмя сопливыми детьми. Жены тащили на спине свернутые олени шкуры; по словам старика, они пришли к реке порыбачить. Он никогда прежде не видел ни одного каблуна, тем более сразу двух безъязыких повелителей духов сиксам иеа, и страшно испугался, но один из сопровождавших Крозье охотников успокоил его. Старика звали Пухтоорак, и он принадлежал к общине Кикиктаркуак из племени Настоящих Людей.

После обмена съестными припасами и добродушными шутками старик поинтересовался, что они делают так далеко от северных территорий Людей Прямоходящего Бога, и, когда один из охотников объяснил, что они ищут живых или мертвых каблуна, возможно, проходивших здесь, – или их сокровища, – Пухтоорак сказал, что никогда не слышал, чтобы каблуна проплывали по этой реке, но, прожевав и проглотив огромный кусок подаренной тюленины, добавил: «Прошлой

зимой я видел большую лодку каблуна – размером с айсберг – с тремя торчащими из нее палками, вмерзшую в лед неподалеку от Утьюлика. Думаю, в ней находились мертвые каблуна. Несколько наших молодых людей вошли внутрь – им пришлось прорубить каменными топорами дыру в стенке, – но они оставили все деревянные и металлические сокровища на месте, поскольку в доме с тремя палками, сказали они, обитают призраки».

Крозье взглянул на Безмолвную. «Я правильно его понял?»

«Да», – кивнула она. Каннеюк заплакала, и Силна распахнула свою летнюю парку и дала малышке грудь.

Крозье стоял на скале и смотрел за корабль, затертый льдами. Это был «Террор».

Путешествие от устья реки Бака до этой части побережья Утьюлика заняло у них восемь дней. Через охотников из общины Людей Прямоходящего Бога, понимавших язык жестов, Крозье предложил щедрое вознаграждение Пухтоораку, если он согласится взять с собой свою семью и показать путь к лодке каблуна с тремя торчащими из крыши палками, но старый кикиктаркуак не хотел иметь никакого дела с населенным призраками домом каблуна. Хотя прошлой зимой он не заходил внутрь вместе с молодыми людьми, он видел там следы разложения, оставленные пиификсааками – вредоносными духами, населявшими место.

Утьюликом на наречии инуитов называлось западное побережье полуострова, известного Крозье под именем Аделаиды. Каналы во льдах заканчивались очень далеко к западу от залива, ведущего к устью реки Бака, – сужающийся пролив там был покрыт сплошным паком, – и потому им пришлось высадиться, спрятать каяки и умиак Асияюка и продолжить путь на тяжелом каматике, запряженном шестью собаками. Пользуясь своего рода методом счисления пути, которым, Крозье знал, он никогда не овладеет, Безмолвная провела отряд через внутренний перешеек полуострова шириной миль двадцать пять к той части западного побережья, где Пухтоорак видел корабль – и даже, признался он, стоял на его палубе.

Асияюк не хотел покидать свою удобную лодку, когда настало время двигаться по льду к суше. Если бы Силна, одна из наиболее почитаемых повелительниц духов в племени Людей Прямоходящего Бога, не выразила знаками настойчивую просьбу, чтобы он присоединился к ним (а просьба сиксам иеа являлась приказом даже для суровейшего из шаманов), Асияюк велел бы своим охотникам отвезти его обратно домой. В конечном счете он с шиком ехал на каматике, накрывшись меховыми полостями, и даже время

от времени помогал, швыряя в псов камешки и покрикивая «Хо! Хо! Хо!», когда хотел, чтобы они взяли влево, и «Но! Но! Но!», когда хотел повернуть направо. Крозье задавался вопросом, не открывает ли старый шаман для себя заново давно забытое удовольствие катиться на санях, влекомых собачьей упряжкой.

Теперь был вечер восьмого дня путешествия, и они смотрели на «Террор». Даже Асияук казался испуганным и подавленным.

Самое точное описание местоположения корабля, данное Пухтоорак, сводилось к тому, что дом с тремя палками «вмерз в лед рядом с островом, находящимся милях в пяти к западу от некоего мыса», и что его охотничьему отряду «тогда пришлось пройти мили три на север по ровному льду и пересечь по пути несколько островов, чтобы добраться до корабля от упомянутого мыса. Мы увидели корабль со скалы на северной оконечности крупного острова».

Разумеется, Пухтоорак не употреблял слова «мили», «корабль» и даже «мыс». В действительности старик сказал, что дом каблуна с тремя палками и со стенками, как у умияка, находится к западу от тикерката – что означает «два пальца», каковым словосочетанием Настоящие Люди называют два узких мыса на этом участке побережья Утьюлика, – и неподалеку от северной оконечности одного крупного острова там.

Крозье со своим отрядом из десяти человек – охотник с юга Инупиюк оставался с ними до последнего – двинулся по неровному льду на запад от «двух пальцев» и пересек два маленьких островка, прежде чем достиг большого. На северной оконечности крупного острова они нашли скалу, возвышавшуюся почти на сотню футов над паковым льдом.

В двух или трех милях оттуда три мачты «Террора» косо поднимались к низким облакам.

Крозье пожалел, что у него нет с собой подзорной трубы, но он и без нее легко узнал мачты своего старого корабля.

Пухтоорак был прав: на последнем отрезке пути лед оказался значительно ровнее, чем на берегу и между материком и островами. Наметанным взглядом опытного моряка Крозье сразу определил почему: к северо-востоку отсюда тянулась цепь островков, которая образовывала своего рода естественную дамбу, защищавшую этот участок моря площадью пятнадцать – двадцать морских миль от преобладающих северо-западных ветров.

Крозье совершенно не представлял, каким образом «Террор» мог в конечном счете оказаться здесь, почти в двухстах милях от места, где без малого три года простоял рядом с «Эребусом», затертый льдами.

Впрочем, ломать голову осталось недолго.

Настоящие Люди, в том числе Люди Прямоходящего Бога, из года в год жившие в тени живого чудовища, приближались к кораблю с явной опаской. Разговоры Пухтоорака о призраках и злых духах сильно подействовали на них – даже на Асияюка, Науйю и охотников, не присутствовавших при встрече со стариком. Сам Асияюк бормотал заклинания, отпугивающие духов, и защитительные молитвы все время, пока они шли по льду, что, впрочем, никому не прибавляло спокойствия. Когда шаман нервничает, знал Крозье, все нервничают.

Единственным человеком, пожелавшим идти рядом с Крозье впереди, была Безмолвная, которая несла обоих детей.

«Террор» кренился градусов на двадцать на левый борт, нос корабля смотрел на северо-восток, а мачты наклонялись в сторону северо-запада; большая часть правого борта находилась надо льдом. Удивительное дело, но один якорь – носовой с левого борта – был опущен: якорный трос уходил в толстый лед. Крозье удивился: глубина здесь, по его оценке, составляла самое малое двадцать фатомов – возможно, гораздо больше, – все северное побережье острова позади них было изрезано маленькими бухтами. В самом крайнем случае – если только там не бушевал шторм – здравомыслящий капитан, ищущий безопасное место стоянки, вывел бы корабль в пролив к востоку от крупного острова и бросил бы якорь между ним – скалы на нем защищали бы от ветра – и тремя малыми, длиной не более двух миль, островами, расположенными восточнее.

Но «Террор» стоял здесь, примерно в двух с половиной милях от северной оконечности большого острова, с брошенным в глубокую воду якорем.

Один раз обойдя корабль кругом и взглянув на наклоненную палубу со стороны обращенного на северо-запад борта, Крозье понял, почему охотничьему отряду Пухтоорака пришлось прорубать дыру в поднятой надо льдом правой стенке корпуса, чтобы проникнуть внутрь: все люки на верхней палубе были задраены и заколочены.

Крозье вернулся к отверстию, сделанному эскимосами в потрескавшемся правом борту. Он решил, что сумеет протиснуться в него. Он вспомнил, что Пухтоорак говорил о топорах из звездного дерьма, которыми охотники прорубали дыру здесь, и невольно улыбнулся, несмотря на тягостные чувства, им владевшие.

«Звездным дерьмом» Настоящие Люди называли метеориты, которые находили на льду, и метеорический металл. Крозье слышал от Асияюка выражение «улуриак анокток» – «звездное дерьмо, падающее с неба».

Крозье пожалел, что у него сейчас нет с собой кинжала или топора из звездного дерьма. Он имел при себе один только обычный рабочий нож с лезвием из моржового бивня. В каматике находились гарпуны, но чужие – свои они с Безмолвной оставили в каяке неделю назад, – и он не хотел просить на время гарпун для того только, чтобы войти с ним в корабль.

У саней, стоявших в сорока футах позади, киммики – крупные псы с жуткими желтыми глазами и душами своих хозяев – лаяли, рычали, выли и бросались друг на друга и на любого, кто к ним приближался. Им не нравилось это место.

Крозье знаками сказал Безмолвной: «Пусть Асияук спросит у них: хочет ли кто-нибудь пойти со мной?»

Она быстро выполнила просьбу, не прибегая к помощи веревки, пользуясь одними только пальцами. Но старый шаман всегда понимал Безмолвную гораздо быстрее, чем разбирал жесты Крозье.

Никто из Настоящих Людей не желал лезть в эту дыру.

«Увидимся через несколько минут», – знаками сказал Крозье Безмолвной.

Она широко улыбнулась. «Не болтай глупостей, – жестами ответила она. – Я и дети идем с тобой».

Он протиснулся в отверстие, и Безмолвная секундой позже последовала за ним, с Вороном на руках и Каннеюк в особой сумке из мягкой шкуры, которую она иногда носила на лямках на груди. Оба ребенка спали.

Там было очень темно.

Крозье понял, что молодые охотники Пухтоорака прорубили отверстие в корпусе на уровне средней палубы. Здесь им повезло, поскольку, возьми они чуть ниже, они наткнулись бы на железную обшивку угольных бункеров и резервуаров для хранения воды в трюмной палубе и не смогли бы прорубить дыру никакими силами, даже своими топорами из звездного дерьма.

В десяти футах от отверстия было темно, хоть глаз выколи, и потому Крозье продвигался на ощупь, по памяти, держа Безмолвную за руку. Они немного прошли вперед по покатой палубе, а потом повернули в сторону кормы.

Когда глаза его привыкли к темноте, в проникавшем сквозь пролом в корпусе слабом рассеянном свете Крозье рассмотрел, что надежно запертая на висячий замок дверь винной кладовой и следующая за ней дверь пороховой камеры взломаны. Он понятия не имел, чьих рук это дело, но

сомневался, что здесь поработали люди Пухтоорака. Перед своим уходом с корабля они специально заперли эти двери, и именно сюда в первую очередь наведались бы любые белые люди, вернувшиеся на «Террор».

Бочки, в которых содержался ром (запас рома у них был таким большим, что им пришлось оставить бочки здесь, когда они покинули корабль), были пусты. Но бочки с порохом сохранились в целости, равно как ящики и бочонки с дробью, парусиновые сумки с патронами, выстроенные в козлах почти по всей длине двух переборок мушкеты – унести с собой все они никак не могли – и две сотни штыков, подвешенных вдоль бимсов.

Такое количество одного только металла сделало бы общину Асияюка самой богатой в мире Настоящих Людей.

Оставшегося здесь пороха и дробы хватило бы дюжине крупных общин Настоящих Людей на добрых двадцать лет, и они стали бы бесспорными властителями Арктики.

Безмолвная дотронулась до голой кисти Крозье. В такой темноте на языке жестов не пообщаешься, и потому она послала мысль: «Ты чувствуешь это?»

Крозье с великим изумлением осознал, что она – впервые за все время – мысленно обратилась к нему на английском. Она либо погружалась в его сны глубже, чем он предполагал, либо была очень внимательна во время своего пребывания на этом самом корабле. Они впервые общались посредством слов в бодрствующем состоянии.

«Это? – мысленно ответил он. – Да».

Дурное место. Населенное воспоминаниями, точно пропитанное смрадным запахом.

Чтобы разрядить нервное напряжение, он повел Безмолвную дальше, указал рукой в сторону носа и послал ей образ канатного ящика в трюмной палубе.

«Я ждала там тебя», – мысленно ответила она. Слова прозвучали так отчетливо, словно она громко произнесла их вслух в темноте – разве только ни один из детей не проснулся.

Крозье задрожал, взволнованный признанием.

Они поднялись по главному трапу в жилую палубу.

Здесь было гораздо светлее. Крозье осознал, что дневной свет – наконец-то – проникает сквозь престонские иллюминаторы, врезанные в верхнюю палубу. Заиндевевшие выпуклые стекла казались матовыми, но в кои-то веки не были ни засыпаны снегом, ни накрыты брезентом.

Жилая палуба казалась пустой: все подвесные койки аккуратно

свернуты и убраны на место, обеденный стол висит под подволоком между бимсами, а матросские сундуки стоят вдоль стен. В центре носовой части кубрика темнела огромная холодная фрейзеровская плита.

Крозье попытался вспомнить, жив ли был мистер Диггл, когда его, капитана, выманили на лед и расстреляли. Впервые за долгое время он мысленно произнес это имя: мистер Диггл.

«Впервые за долгое время я думаю на своем языке».

Крозье невольно улыбнулся. «На своем языке». Если действительно существует богиня вроде Седны, которая правит миром, ее настоящее имя – Ирония Судьбы.

Безмолвная потянула его в сторону кормы.

Каюты и офицерские столовые, в которые они заглянули, были пустыми.

Крозье гадал, кто же все-таки добрался до «Террора» и поплыл на нем в южном направлении.

Дево со своими людьми из лагеря Спасения?

Он почти не сомневался, что мистер Дево и остальные двинулись дальше на юг в лодках.

Хикки со своими людьми?

Памятуя о докторе Гудсире, он надеялся, что так оно и есть, хотя и не верил в такую возможность. Помимо лейтенанта Ходжсона (а Крозье подозревал, что он прожил недолго в этой шайке головорезов), среди них едва ли был человек, способный управлять «Террором», а тем более отыскивать путь во льдах.

Таким образом, оставались три человека, которые покинули лагерь Спасения с намерением совершить пеший поход по суше, – Рубен Мейл, Роберт Синклер и Сэмюел Хани. Могли ли баковый старшина, формарсовый старшина и кузнец провести «Террор» по каналам во льдах почти на двести миль в южном направлении?

Крозье почувствовал головокружение и легкую тошноту, когда в памяти всплыли имена и лица мужчин. Он почти слышал их голоса. Он слышал их голоса.

Пухтоорак был прав: теперь здесь обитали пиификсааки – призраки, оставшиеся на корабле, чтобы преследовать живых.

На койке Френсиса Родона Мойры Крозье лежал труп.

Насколько они могли судить, обследовав в темноте среднюю и трюмную палубы, это был единственный труп на корабле.

«Почему он решил умереть в моей постели?» – недоумевал Крозье.

Мертвец был ростом с Крозье. По одежде установить личность покойного – он умер под одеялами в бушлате, вязаной шапке и шерстяных штанах, что казалось странным, поскольку плавание, по всей видимости, происходило летом, – не представлялось возможным. Крозье не имел ни малейшего желания обшаривать его карманы.

Голые кисти и шея мужчины побурели, высохли и сморщились, но именно при виде лица Крозье пожалел, что престонские иллюминаторы так хорошо пропускают свет.

Глаза походили на коричневые стеклянные шарики. Растрепанные волосы и борода были такими длинными, что казалось вполне вероятным, что они продолжали расти еще много месяцев после смерти мужчины. Губы усохли и из-за сокращения лицевых мышц растянулись в ужасном оскале, обнажив зубы и десны.

Именно зубы производили самое жуткое впечатление. Передние зубы, не выпавшие от цинги, были желтыми, очень широкими и невероятно длинными – три дюйма, самое малое, – словно они продолжали расти, как на протяжении всей жизни растут резцы у кролика или крысы, пока не погибаются и не вонзаются в собственное горло животного, если их постоянно не стачивать обо что-нибудь твердое.

Зубы мертвеца были поистине невероятными, но Крозье все смотрел на них в сером сумеречном свете, проникавшем сквозь иллюминатор в подволоке своей бывшей каюты. Это, осознал он, не первая невероятная вещь, которую он увидел или пережил за последние несколько лет. И вполне возможно, не последняя.

«Пойдем», – знаком сказал он Безмолвной. Он не хотел посылать мысли здесь, где все вещи слушали и слышали.

Крозье пришлось воспользоваться пожарным топором, чтобы вскрыть задраенный и заколоченный главный люк. Не задаваясь вопросом, кто задраил люк и зачем – или задраил ли его столь прочно человек, чей труп сейчас лежал в каюте внизу, – он отбросил топор в сторону, выбрался на верхнюю палубу и помог Безмолвной подняться по трапу.

Ворон беспокойно зашевелился, пробуждаясь, но снова тихонько засопел, когда Безмолвная укачала его на руках.

«Подожди здесь», – знаками сказал он и снова спустился вниз.

Сначала он вынес на верхнюю палубу тяжелый теодолит и несколько своих старых справочников, быстро снял показания прибора и нацарапал координаты своего местоположения на полях пропитанного солью судового журнала. Потом он отнес теодолит и книги обратно вниз и бросил там,

хорошо понимая, что произведенное в последний раз вычисление координат корабля является, наверное, самым бесполезным и бессмысленным поступком из всех, какие он совершал в течение своей долгой жизни, состоявшей из бесполезных и бессмысленных поступков. Но он также понимал, что должен сделать это.

Как должен сделать то, что сделал в следующую очередь.

В темной пороховой камере он вскрыл один за другим три бочонка с порохом и содержимое первого высыпал на пол средней палубы и ступеньки ведущего в трюм трапа, содержимое второго растряс по всей жилой палубе (в частности, за открытой дверью своей каюты), а содержимое третьего рассыпал черными полосами по верхней палубе, где стояла Безмолвная с детьми. Асияюк и восемь остальных эскимосов обогнули корабль и теперь наблюдали за происходящим со стороны левого борта, с расстояния тридцати ярдов.

Крозье хотел остаться под открытым небом, пусть даже сумеречным, но заставил себя еще раз спуститься в среднюю палубу.

Из последнего оставшегося на корабле бочонка с керосином он расплескал горючее во всех трех палубах, хорошенько облив двери и переборки собственной каюты. Он колебался с минуту всего лишь раз, в дверях кают-компаний, глядя на стеллажи с сотнями томов.

«Господи, что плохого в том, если я возьму несколько книг, чтобы коротать за ними время долгими темными зимами?»

Но теперь в них обитала инуа мертвого корабля. Чуть не плача, Крозье плеснул на стеллажи керосином.

Разлив остатки горючего по верхней палубе, он отшвырнул пустой бочонок далеко на лед.

«Одна последняя ходка вниз, – на пальцах сказал он Безмолвной. – Спускайся с детьми на лед, любимая».

Шведские спички лежали там, где он их оставил: в ящике его стола.

На мгновение Крозье показалось, будто он слышит скрип койки и шорох обледенелых одеял, под которыми шевелится мумифицировавшийся труп. Он явственно услышал треск иссохших сухожилий, когда мертвая коричневая рука с длинными коричневыми пальцами и ужасно длинными желтыми ногтями медленно поднялась и потянулась к нему.

Крозье не повернулся. И не побежал. И не глянул через плечо. Он медленно вышел из каюты, переступая через полосы черного пороха и лужицы керосина.

Он немного спустился по главному трапу, прежде чем зажег и бросил первую спичку. Порох вспыхнул с громким хлопком, пламя охватило

переборку, обильно политую керосином, и стремительно побежало к носу и корме по пороховому следу.

Хотя огня в одной средней палубе было вполне достаточно – шпангоуты и бимсы высохли до состояния трута в этой арктической пустыне, – он все же задержался, чтобы поджечь порох в жилой палубе, а затем на верхней.

Потом он одним прыжком покрыл десять футов до ледяного откоса с обращенного к западу борта и мысленно чертыхнулся от боли, пронзившей левую ногу, так и не выздоровевшую окончательно. Ему следовало спуститься по веревочному трапу, как наверняка хватило ума сделать Безмолвной.

Хромая, как старик, которым он, несомненно, скоро станет, Крозье спустился на лед и присоединился к остальным.

Корабль горел почти полтора часа, прежде чем затонул.

Грандиозный пожар. День Гая Фокса за Северным полярным кругом.

Он мог запросто обойтись без пороха и керосина, понял он, глядя на бушующее пламя. Шпангоуты, парусина и доски так сильно высохли, что весь корабль вспыхнул, словно выпущенный из мортиры зажигательный снаряд, для пальбы которыми он и был сконструирован много десятилетий назад.

«Террор» затонул бы в любом случае, едва только лед здесь растает через несколько недель или месяцев. Прорубленное топорами отверстие в борту стало для него смертельной раной.

Но он сжег корабль не поэтому. Если бы кто спросил его (чего никогда не случится), он не сумел бы объяснить толком, почему «Террор» следовало уничтожить. Он знал, что не хочет, чтобы «спасатели» с британских судов побывали на покинутом корабле и вернулись на родину с рассказами о нем, нагоняющими страх на отвратительных граждан Англии и вдохновляющими мистера Диккенса или мистера Теннисона на достижение новых высот сентиментального красноречия. Он также знал, что эти спасатели вернутся в Англию не с одними только рассказами. То, что завладело кораблем, было заразным, как чума. Он видел это очами своей души и чуял всем своим нутром – как человеческим, так и нутром сиксам иеа.

Настоящие Люди радостно завопили, когда горящие мачты рухнули.

Им всем пришлось отойти на сотню ярдов. «Террор» прожег во льду свою собственную могилу, и вскоре после того, как охваченные огнем мачты с такелажем рухнули, горящий корабль начал с шипением и

бульканьем погружаться в морские глубины.

Рев пламени разбудил детей, и воздух так нагрелся от огня, что все они – Безмолвная, хмурый Асияук, пышногрудая Науйя, охотники, блаженно ухмыляющийся Инупиук и даже Талириктуг – сняли свои парки и свалили в кучу на каматике.

Когда представление закончилось, и корабль затонул, и солнце спустилось к южному горизонту, и длинные тени вытянулись на сером льду, они оставались там до последнего и ликовали при виде поднимавшегося над водой пара и горящих обломков, все еще валявшихся там и сям на льду.

В конце концов они двинулись обратно к большому острову и лежащим за ним малым островкам, рассчитывая достичь большой земли прежде, чем придется стать на ночлег. Дневной свет благоприятствовал походу до самой полуночи. Все они хотели поскорее уйти со льда и оказаться подальше от места гибели корабля до того, как наступят несколько часов полумрака, а потом крошечной тьмы. Даже псы перестали лаять и рычать и, казалось, налегли на построжки сильнее, когда они миновали последний островок на своем пути к большой земле. Асияук, под своими меховыми полостями на санях, спал и храпел, а оба ребенка бодрствовали и изъявляли готовность поиграть.

Талириктуг взял в левую руку сучащую ножками и ручками Каннеюк, а правой обнял за плечи Силну. Ворон, все еще сидевший на руках у матери, пытался вырваться, изъявляя желание идти на своих двоих.

Талириктуг – не в первый раз – задался вопросом, как отец и мать, лишенные языка, собираются воспитать из мальчика настоящего мужчину. Потом он вспомнил – тоже не в первый раз, – что теперь он принадлежит к одной из немногих оставшихся в мире культур, где не ставят цели воспитывать из детей настоящих мужчин или женщин. Ворон уже обладал инуа какого-то взрослого мужчины. Его отцу остается лишь ждать, чтобы увидеть, насколько она достойна.

Инуа Френсиса Крозье, продолжавшая жить и здравствовать в Талириктуге, не питала никаких иллюзий относительно жизни – несчастной, убогой, отвратительной, жестокой и короткой.

Но возможно, она необязательно дается всего лишь раз.

Обнимая Силну за плечи одной рукой, стараясь не обращать внимания на залиvistый храп шамана, на Каннеюк, только что описавшую его лучшую летнюю парку, и на хныканье яростно брыкающегося сына, Талириктуг и Крозье продолжал шагать на восток по замерзшему морю к суше.

*10 ноября 2005 г.
Лонгмонт, Колорадо*

От автора

Я хочу выразить благодарность авторам, чьи источники позволили мне получить информацию о «Терроре». Идея написать об этом периоде исследования Арктики посетила меня при чтении абзаца, вернее, примечания, повествующего об экспедиции Франклина, в книге Ранульфа Фиенна «Гонка к полюсу – Трагедия и героизм экспедиции Скотта в Антарктике» (Hyperion, 2004), посвященной исследованию Южного полюса. Книги, к которым я обращался на ранних стадиях работы, – «Мерцание льда. Судьба потерянной экспедиции Франклина» Скота Кукмана (John Wiley & Sons, Inc., 2000), «Застывшее время. Судьба экспедиции Франклина» Оуэна Битти и Джона Гейгера (Greystone Books, Douglas & McIntyre, 1987) и «Взыскующие Грааль. Поиски Северо-Западного прохода и Северного полюса, 1818–1909» Пьера Бёртона (Second Lyons Press Edition, 2000).

Чтение этих книг привело меня к изучению более ранних исследований – «Рассказ о путешествии к берегам Полярного океана» (John Murray, 1823), «Рассказ о Второй экспедиции к берегам Полярного океана» (John Murray, 1828) – обе книги принадлежат перу сэра Джона Франклина. «Дневник путешествия в Баффинов залив и в пролив Барроу, в 1850–1851 годах, на кораблях „Леди Франклин“ и „София“, под командованием В. Пинни, в поисках пропавших кораблей флота ее величества „Эребус“ и „Террор“» Питера Шютера (Longman, Grown & Green, 1852), «Рассказ об открытиях и судьбе сэра Джона Франклина» Макклинтока (John Murray, 1859), «Последняя экспедиция сэра Джона Франклина» Ричарда Сиро (ASM Press, 1939), «Поиски Северо-Западного прохода» (Langmans, Green & Co, 1958) и «Арктические экспедиции в поисках сэра Джона Франклина» Элиши Кэт Кейн (T. Nelson & Sons, 1998).

Другие источники, к которым я обращался, – «Пленники Севера: портреты пяти исследователей Арктики» Пьера Бёртона (Carroll & Graff, 2004), «Девяносто градусов северной широты: покорение Северного полюса» Фергуса Флинина (Grove Press, 2001), «Последнее плавание на „Карлуке“»: рассказ уцелевшего участника экспедиции» Уильяма Ленда Мак-Кинли (St. Vlarin's Grillin Edition, 1976), «Море слов: аннотированный словарь к романам Патрика О'Брайена» Дина Кинга (Henry Holt & Co., 1995), «Ледовый лоцман: проклятие „Карлука“, 1913» Дженнифер Нивен (Hyperion, 2000), «Арктические гребцы: плаванья вдоль берегов Севера»

Джилла Фредстона (North Point Press, 2001), «Таинственные и опасные берега: история исследователя Чарльза Френсиса Холла» Чанси Лумиса (Modern Library, 2000), «Хрустальная пустыня: лето в Арктике» Дэвида Г. Кемпбелла (Mariner Books, Houghton Viffin, 1992), «Край Земли: Скотт и Амундсен на пути к Южному полюсу» Роланда Хантфорда (Modern Library, 1999), «К северу от полуночи: арктическая одиссея» Алвы Симона (Broadway Books, 1998), «Царство белой смерти: Восточная Арктика» Велериана Албанова (Modern Library, 2000), «Там, где кончается Земля: исследования Арктики» Питера Матьессена (National Geographic, 2003), «Проклятый проход: жизнь Джона Рея, забытого исследователя Арктики» Кэна Макгугана (Carroll & Graff, 2001), «Худшее путешествие на свете» Эпсли Черри-Жерара (National Geographic, 1992 и 2000) и «Шеклтон» Роланда Хартфорда (Fawcett Columbine, 1985).

Много полезной информации я нашел в книгах «Инуиты» Нэнси Бонвиллан (Chelsea House Publications, 1995), «Эскимосы» Кая Бирке-Смита (Crown, 1971), «Страна Четвертого мира» Сэма Холла (Knopf, 1987), «Древняя Земля: Священный кит и ритуалы охотников-инуитов» Тома Ловенстайна (Farrar, Straus and Giroux, 1993), «Пересекая Арктику» Джонатана Уотермана (Knopf, 2001), «Охотники полярного Севера: эскимосы» Уолли Херберта (Time-Life Books, 1981), «Эскимосы» Эрнста Барча (University of Oklahoma Press, 1988), «Инуиты: слово обретает форму» Раймонда Брассе (Editions Glenat, 2002).

Приношу искреннюю благодарность за поиск всех этих книг Карен Симмонс.

Полезные иллюстрации и карты я обнаружил в периодике того времени. В «Harper's Weekly» (апрель, 1851), «Atheneum» (февраль, 1849), «Blackwood's Edinburgh Magazine» (ноябрь, 1885) и в ряде других изданий. Письмо доктора Г. Гудсира к своему дяде, от 2 июля 1845 года, находится в собрании Королевского географического общества Шотландии и цитировалось в книге Оуэна Битти и Джона Гейгера «Застывшее время. Судьба экспедиции Франклина».

Много информации я почерпнул из интернета, просмотрев архивы Адмиралтейства, военно-морского министерства, официальные документы Министерства внутренних дел и документы расследования по делу продуктовых поставок Голднера для нужд экспедиции Франклина в архивах Верховного королевского суда. В Интернете выставлена и коллекция документов Крозье (Полярный исследовательский институт Скотта), и документы Софии Крэкрофт, ее корреспонденция и примечания к записям Джейн Франклин.

Выражаю признательность моему агенту Ричарду Кертису, редакторам Михаэлю Меццо и Риган Артур и, как всегда, – Карен и Джейн Симмонс, которые терпеливо ждали окончания моей «полярной экспедиции».

notes

Примечания

1

То есть -45° по Цельсию.

2

$$+45\text{ }^{\circ}\text{F} = +7\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

3

То есть -1° по Цельсию.

4

$$-22\text{ }^{\circ}\text{F} = -20\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

5

+6 °F =−14 °C.

6

По Цельсию это перепад на 15–20 градусов.

7

$$-70\text{ }^{\circ}\text{F} = -56\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

8

$$+80\text{ }^{\circ}\text{F} = +26\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Хладнокровие (*фр.*).

10

$$-73\text{ }^{\circ}\text{F} = -59\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

11

$$-80\text{ }^{\circ}\text{F} = -62\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

12

$$-100\text{ }^{\circ}\text{F} = -73\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

13

По Цельсию – на 71°.

14

$$-39\text{ }^{\circ}\text{F} = -40\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

15

$$-15\text{ }^{\circ}\text{F} = -26\text{ }^{\circ}\text{C}.$$

16

То есть от $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$.